

СОМЕРСЕТ МОЭМ

Пироги и пиво,
или
Скелет
в шкафу

•
Острие бритвы





СОМЕРСЕТ МОЭМ

Пироги и пиво,
или
Скелет
в шкафу
•
Острие бритвы

РОМАНЫ

Перевод с английского



МОСКВА

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

1981

ПРЕДИСЛОВИЕ

У.-С. Моэм прожил долгую жизнь, почти 92 года (1874—1965), а литературная деятельность его продолжалась шестьдесят пять лет. 1897 и 1962 — годы первой и последней публикаций — таковы конечные точки его биографии профессионального писателя. Начинал он вместе с Уэллсом, Голсуорси, Конрадом, Кипплингом, Беннетом, а, завершая свой путь, успел еще остро воспринять такое новое явление в идеологической жизни Англии, как первые романы и пьесы «рассерженных молодых людей».

Литературный путь Моэма не оборвался с его смертью. Наоборот, самые серьезные работы о нем стали появляться с середины 60-х годов и появляются до сих пор. И если раньше в очерках английской литературы XX века Моэму обычно уделялось несколько строк, то теперь стало ясно: писательская долговечность пересекла пределы его земного существования.

Литературная биография Моэма фактически вмещает не менее пяти биографий: он был драматургом, новеллистом, романистом, критиком-эссеистом, публицистом. Во всех этих жанрах Моэм работал подолгу и оставил десятки произведений, которые доньше переиздаются и широко читаются на разных языках мира.

Следовало бы назвать еще один жанр — автобиографический. Автобиографическое начало присутствует в большей части прозы Моэма, полностью заполняя такие книги, как «Подводя итоги» (1938), «Дневник писателя» (1949), «Точки зрения» (1959). Однако этот очень важный элемент творчества Моэма — явление сложное и нередко обманчивое. Следует прежде всего разграничить понятия литературной маски рассказчика, которая под разными именами — в том числе и под собственным его именем — появляется в романах и рассказах, и образа

автора, который возникает «на наших глазах» в его эссе и воспоминаниях, — этих долгих, свободно скользящих с темы на тему и будто бы совсем откровенных беседах писателя с читателем.

Литературная маска — персонаж по имени Эшенден («Луна и грош», цикл рассказов «Эшенден, или Британский агент», «Пирог и пиво»), персонаж по имени Сомерсет Моэм («Острие бритвы»), повествователь во всех рассказах, где действие описывается от первого лица, — безмянный джентльмен-путешественник, ненасытно любознательный и не лишенный авантюристической жилки. Персонажи эти далеко не идентичны, но в чем-то сходны; сближает их между собой и характерная позиция стороннего наблюдателя, лишь иногда, волею обстоятельств, оказывающегося в центре действия. Что же касается собственного лица рассказчика и его размышлений по поводу происходящего, то обо всем этом читателю остается лишь догадываться.

Совсем иначе обстоит дело с рассказчиком в книге Моэма «Подводя итоги» (рус. пер. 1957). Точнее было бы назвать ее «Предварительные итоги» — перед автором было еще четверть века активной профессиональной деятельности, но Моэм предусмотрительно решил разобраться в своем «хозяйстве» заблаговременно. Здесь-то и был создан основной вариант автопортрета писателя.

Авторы посмертно вышедших книг о Моэме сетуют на то, что писатель явно не желал появления своей полной и достоверной биографии и предпринял весьма эффективные меры в этом направлении. Запретил публикацию своих писем, постепенно уничтожил большинство личных бумаг — в опубликованный «Дневник писателя» вошла лишь четверть записей, которые Моэм вел всю жизнь, остальное было им сожжено. «Все, что он намеревался поведать о себе, — говорит английский литературовед Э. Кертис в своей книге о писателе¹, — он поведал сам. Он решительно не желал, чтобы вносились какие-либо коррективы и дополнения в образ Сомерсета Моэма, столь тщательно создававшийся и культивировавшийся им самим...»

Что же именно говорит о себе автор книги «Подводя итоги», что за образ он «создает и культивирует»?

«Я считаю, что мне очень повезло: хотя я никогда особенно не любил людей, они меня так интересуют, что, кажется, неспособны мне надоесть». «...У меня нет врожденной веры в людей. Я склонен ожидать от них скорее дурного, чем хорошего. Это — цена, которую приходится платить за чувство юмора». «...Я не вижу особой разницы между людьми. Все они — смесь из великого и мелкого, из добродетелей и пороков, из благородства и низости»².

¹ A. Curtis. The pattern of Maugham. Ind. Hamilton, 1974.

² С. Моэм. Подводя итоги. Пер. М. Ф. Лорие. М., ИЛ, 1957.

На звание выдающегося идеалиста-человеколюбца Моэм явно не претендует. Еще менее — на роль общественного деятеля, даже самого скромного масштаба. И совсем уже отмежевывается он от позиции бескорыстного художника, презирающего деньги и материальные блага.

Может быть, он просто циник? Моэм предусмотрел и такое обвинение. «Меня часто называют циником. Меня обвиняют в том, что в своих книгах я делаю людей хуже, чем они есть. По-моему, я в этом неповинен. Я просто выявляю некоторые их черты, на которые многие писатели закрывают глаза».

Столь же честно, с максимальной отстраненностью определяет он свои «профессиональные возможности». Знает сильные стороны своего дарования: умение развивать действие, острую наблюдательность, чувство юмора и ясность слога. Но, вспоминая писательскую юность, замечает без обиняков: «Язык у меня был банальный, словарь ограниченный, фразы избитые, грамматика сильно хромала». Да и теперь, когда многое преодолено, Моэм-писатель, по мнению Моэм-критика, «недобирает» каких-то существенных свойств: фантазии, поэтичности и «...той теплоты, широкой человечности и душевной ясности, которую мы находим лишь у самых великих художников». Есть в этой книге и такое беспощадное наблюдение: «У меня больше силы характера, чем ума, и больше ума, чем таланта».

В общем, со страниц его автобиографических и литературоведческих эссе встает образ человека, превыше всего ценящего «золотую середину», человека просвещенного, терпимого, по-житейски мудрого, трезвого и спокойного в самооценках. Корректного джентльмена, которому, однако, ничто человеческое не чуждо. Скептика, умеющего при этом отдать должное доброте, мужеству, стоицизму, преклоняться перед взлетами интеллектуальных и духовных поисков. Консерватора в политике, сознающего, однако, масштабы и глубину страданий огромных масс людей, обездоленных социальным и экономическим неравенством, более того, полагающего неизбежным и «только справедливым» грядущие революционные катаклизмы...

Назвать этот образ маской было бы ошибкой или предвзятостью: все эти качества, черты и тенденции были в большей или меньшей мере присущи Моэму. И все же психологический облик его далеко не совпадает с этой стройной картиной душевного равновесия.

Границы откровенности и искренности автобиографа определяют гордостью человека, который всегда хочет быть хозяином положения. Особая чувствительность — неотъемлемое, изначальное качество художника, воспринимающего все явления жизни острее, чем прочие, всегда была в характере Моэма. И умение сострадать, — о чем говорит хотя бы такая запись в дневнике, относящаяся к его работе в больнице св. Фомы: «Для того чтобы отвергнуть существование бога, достаточно один раз увидеть, как ребенок умирает от менингита». Однако и в

жизни, и в книгах своих Моэм проявляет упорное стремление загонять эти качества как можно глубже. Внутренняя противоречивость дисгармоничного, легко ранимого, высокомерного и несчастливого человека скрыта под гладкой, чуть не лакированной поверхностью, под всей этой трагикомической «хроникой происшествий», которую ведет он в своей непринужденной, добродушно-язвительной, неприкрашенной манере. Устами одного из своих героев (Уилли Эшендена из «Пирогов и пива» — романа, о котором еще пойдет речь) Моэм весьма саркастически высказался о роли долголетия в литературной репутации британских авторов. К литературным долгожителям, по его мнению, англичане питают ни с чем не сравнимое уважение. Почтенный возраст романиста — залог шпета критиков.

Моэму не было и шестидесяти лет, когда он поделился этими наблюдениями, но, как оказалось, нечто подобное ожидало и его самого. В 50-х годах писатель внезапно очутился на новых литературных высотах. Конечно, широкая читательская популярность сопровождала его давно. Но именно в последнее десятилетие, когда писатель не публиковал больше художественных произведений, к нему пришли академическое признание, титул мастера и международная слава, к которой, впрочем, была примешана и доля сенсационности. Моэм стал вызывающе богат — книги его издавались, а пьесы шли во множестве стран — обладая колючим характером, он вел на своей «Мавританской вилле» на Французской Ривьере все более замкнутый образ жизни, способствовавший возникновению всевозможных легенд.

Сквозная тема, проходящая через все творчество Моэма, — бремя страстей человеческих. «Бремя страстей человеческих» — это и заглавие одного из самых значительных и в то же время наименее характерных его романов (1915). Не характерен он потому, что многое в этом массивном, свободном по форме «романе воспитания» не отвечает привычному читательскому представлению о Моэме, — мастере строить напряженную драматическую или иронически-комедийную фабулу, скептике, который с профессиональным интересом, но без особых эмоций наблюдает странные зигзаги человеческого поведения на разных широтах земного шара...

Филип Кэри, главное действующее лицо романа, был ровесником Моэма, молодость которого тоже пришлась на конец XIX века — закатную эру викторианской Англии и Британской империи. По жизненным обстоятельствам, по своему психологическому строю, по направленности духовных и интеллектуальных поисков Филип Кэри близок к юному Уилли Моэму — сироте, воспитывавшемуся в семье дяди — провинциального священника, ученику закрытой школы в Кентербери, лондонскому студенту-медику в больнице св. Фомы, прошедшему акушерскую практику в трущобных кварталах города. Даже

тема тягостного физического недостатка автобиографична: у Кэри это хромота, у Моэма — заикание, очень осложнявшее его жизнь в детстве и юности. Из всех литературных масок Моэма, Филип Кэри — менее всего маска. Обращаясь к своему еще недавнему прошлому, сорокалетний Моэм стремился воскресить события и состояния духа, память о которых все еще мучила его. Чтобы «отделаться» от прошлого, надо было воссоздать его во всех подробностях, но в преображенном виде. Преодолеть его, подчинив своей писательской воле.

В этот край внутренней своей жизни писатель больше не вернется, хотя в географический край своего детства, отрочества и юности кентский городок Уайтстебл — в книгах он станет Блэкстеблом — вернется еще не раз. После Филипа Кэри лирический герой Моэма сменяется его масками — вариантами того образа, который он будет создавать «на публику», но вместе с тем и для самого себя, до конца своей долгой жизни.

«Время страстей человеческих» остается неизменной темой Моэма и в новеллах, где бы ни развертывались их четкие и насыщенные фабулы, — среди экзотики Южных морей или в чиппендейловских интерьерах лондонских салонов. Однако роман с его большим повествовательным пространством давал возможности более широкого и разностороннего раскрытия этой кардинальной для писателя темы. В следующем после «Времени страстей человеческих» произведении этого жанра «Луна и грош» (1919) речь идет об одной лишь страсти — к искусству, но страсти столь всепоглощающей и жестокой, бескорыстной и бесчеловечной (ведь художнику Стрикленду безразлично, увидит ли хоть одна живая душа его полотна), что с ней не может сравниться самое «роковое» любовное рабство. Пожалуй, нигде больше Моэм не писал с таким темпераментом, словно заряженный творческой яростью своего героя, его неистовой живописью. Стрикленд, показанный как существо откровенно аморальное и по-человечески отталкивающее, подсудно импонирует рассказчику тем, что сумел стряхнуть с себя бесцветное respectable существование биржевого маклера, добропорядочного буржуа и семьянина и обрести нечто невероятное для человека его круга — личную свободу. Стремление к личной свободе, к независимости от уклада и условностей социальной касты — мотив, проходящий через всю прозу и драматургию Моэма.

В связи с этим возникает вопрос, который, судя по литературе о Моэме, всегда вызывал весьма резкие разногласия: вопрос о месте самого писателя в системе буржуазных ценностей. Моэма именовали — назовем две самые крайние точки зрения — сатириком-обличителем и коммерческим писателем, умело щекочущим нервы той самой буржуазной читательской аудитории, мораль и нравы которой он живописует столь едко и зло.

Прежде чем попытаться ответить на этот вопрос, следует еще раз послушать самого Моэма, в объективном отношении которого к собственной особе мы уже имели случай убедиться.

«Я всегда был рассказчиком историй. Вот почему я оказался несколько на отшибе среди литераторов моего поколения. Хотя меня не меньше, чем других, касается и тревожит беспорядок, царящий в нашем мире, и социальная несправедливость, и политическая сумятица, я никогда не считал роман лучшим средством выражения взглядов на подобные вопросы. У меня нет склонности к проповедничеству и пророчествованию. Я питаю всепоглощающий интерес к человеческой натуре, и мне всегда казалось, что лучше всего я могу делиться своими наблюдениями, рассказывая истории». (Из автобиографического очерка, вышедшего в Нью-Йорке в 1959 г.)

Нам представляется, что Моэм, как обычно, говорит о себе правду хотя и не самую глубинную. Мы можем пойти несколько дальше и заметить, что такие элементы буржуазного самосознания, как эгоцентрический индивидуализм и убежденность в главенствующей роли денег в жизни человека и общества, не чужды писателю и что сам он слишком крепко «сидит» в своей общественной системе, чтобы можно было без натяжки находить у него сознательное намерение подрывать устои буржуазного общества.

Следует ли из всего этого, что Моэм — приспособившийся, коммерческий литератор, угождающий вкусам буржуазии, прославляющий ее добродетели? Вовсе нет. Ему всегда было присуще стремление к независимости — человеческой и литературной. Стремление писать правду о людях, пусть самую неприятную. И безжалостный свет этой правды частенько пробирался в самые глухие тайники благополучного, респектабельного буржуазного быта. Разумеется, Моэм поддерживал контакт с читательскими аудиториями — множественное число здесь будет уместнее, потому что читали Моэма не только во множестве стран, но и в различных общественных кругах. Писал он всегда предельно ясно и понятно, то есть демократично, что очень вредило ему в глазах интеллигентской элиты, но широкие читательские контингенты привлекало и располагало. Однако и здесь не было приспособленчества — такова художественная индивидуальность писателя. В эру «постджойсовских» литературных экспериментов, и подлинно новаторских, и явно вторичных, когда писать просто и понятно считалось попросту «немодным», Моэм продолжал работать в традиционных формах последовательно развивающегося повествования с четкой фабулой, в которой, по его словам, есть «начало, середина и конец». Язык его прост, разговорен, и при том, что речь рассказчика нет-нет да и блеснет изящным ироническим афоризмом, остроумным наблюдением, в диалогах Моэм не чурается расхожих выражений, клише, трюизмов. Психологический рисунок

его резок и не знает полутонов, сильнее всего как художник он в сфере комического — не заражающе веселого, а легкого, непринужденного и весьма язвительного «нравописания». Там, где Моэм терпит неудачу, он бывает тривиален и мелодраматичен, и в его огромном литературном наследии немало беллетристического шлама. Но все это, повторим, были действительно неудачи, а не следствие компромиссов, неуважения к собственному литературному труду. Литературе Моэм был предан абсолютно, работал неустанно и систематично и всегда оставался самим собой. Не шел на поводу у критики, мало прислушивался к советам, мог оборвать сенсационную карьеру драматурга (в сезон 1908 г. на лондонских сценах шли четыре пьесы Моэма одновременно), чтобы засесть за огромный роман в новом для себя духе... Такую же последовательность сохранял он и в самом существе своей писательской работы. Чутко следя за сменой общественных запросов и настроений, откликаясь на них, странствуя по морям и континентам в поисках сюжетов и персонажей, Моэм остается верен своему призванию: изображать людей «такими, каковы они есть», — какими он видит их. Общественное положение, состояние, служебный и светский престиж — все отходит на задний план, когда в действие вступают странности человеческой природы, ее непоследовательность, иррациональность, когда речь идет о тяжком, порой разрушительном и катастрофичном воздействии страстей, — будь это чувственное влечение, тщеславие, властолюбие, корыстность или жажда творчества, или жажда независимости. Моэм не склонен как-либо оценивать «качество» этих властных инстинктов; если можно найти в его произведениях след некой моральной проповеди, то, пожалуй, это будет проповедь гедонистического аморализма — в пику ригористам и ханжам. Однако — и это важно — ему совершенно чужд любой вариант «культы силы», малейшее любование жестокостью. Киплинговское «бремя белого человека» не играет никакой роли в колониальных рассказах Моэма, а сам белый человек часто выглядит весьма непрезентабельно.

Эта сжатая характеристика художественного мироощущения Моэма будет, однако, неполной и неверной, если мы не подчеркнем еще раз важной его особенности: скептический, а порой даже циничский взгляд на людские пороки и заблуждения ни в коей мере не заглушает в писателе способности видеть в человеке и привлекательные, достойные уважения, а подчас и восхищения свойства: искреннюю доброту, самоотверженность, отвагу, высокие духовные помыслы. Свойства эти представляются ему очень редкими — но тем более драгоценными, и он находит в своем писательском регистре соответствующие звучания, когда обращается к героям, наделенным такими дарами.

К двум произведениям, составившим настоящий том, сказанное имеет непосредственное отношение. Среди двадцати романов, опубликованных Моэмом между 1897 и 1948 годами, и читатели, и критики — в этом смысле разногласий не наблюдается — лучшими признают четыре: «Время страстей человеческих» (1915), «Луна и грош» (1919), «Пирог и пиво» (1930) и «Острие бритвы» (1944). Первые три книги уже выходили на русском языке. «Острие бритвы» переводится впервые. Очень удачной представляется мысль объединить в одном томе эти два романа, разделенные полутора десятками лет, совершенно несхожие по житейским, социальным и психологическим ситуациям, но все же родственные между собой именно тем, что оба они открывают читателю несколько иного Моэма, обогащают наше представление о нем. Если возможен такой парадоксальный образ, как Моэм-лирик, Моэм, который с нежностью и доверием взирает на человеческое существо, возникающее под его пером, — то в обеих книгах, в каждой из них на свой лад, этот образ присутствует. Конечно, в каждом из них есть и Моэм-сатирик, скептик, ведущий свой невозмутимо едкий комментарий с ярмарки житейской суеты, — будь это лондонский литературный салон начала века, или чикагская «аристократическая» гостиная, или значные места Парижа. Но непривычно мягкая, непривычно взволнованная интонация все время пробивается на поверхность, как бы раздваивая наше восприятие.

Еще одна общая особенность этих романов: каждый из них был связан с определенными обстоятельствами биографии автора. И, наконец, оба они имели особый читательский резонанс, хотя и по совершенно разным причинам. Заглавие «Пирог и пиво, или Скелет в шкафу» сразу приобщает нас к писательскому замыслу: в нем есть и юмор, и пародийность. Первая половина его позаимствована из шекспировской «Двенадцатой ночи» (слова сэра Тоби, обращенные к Мальволио: «Думаешь, если ты такой уж святой, так на свете не будет больше ни пирогов, ни хмельного пива?»). Вторая — употребительный английский идиом, означающий скандальную фамильную тайну. Замысел, как это нередко бывало у Моэма, первоначально предназначался для рассказа. Ранняя запись в дневнике содержит набросок сюжета: «...меня просят написать воспоминания о знаменитом романисте, друге моего детства, живущем в У. с женой, заурядной женщиной, отнюдь не сохраняющей ему верности. Там он пишет свои великие произведения. Позже он женится на своей секретарше, которая с ним нянчится и постепенно делает из него выдающуюся личность». В 1880-х годах в Уайтстебле жил известный литератор с семьей, человек добродушный и общительный, который вел довольно богемный образ жизни и в один прекрасный

день исчез из города со всеми домочадцами, оставив множество долгов. Рассказ так и не был написан, а фигура неизвестного литератора сослужила свою службу в «Пирогам и пиве» — с нее был отчасти «списан» Эдуард Дриффилд в пору своей неизвестности.

Моэм редко изображал литературную среду в своей прозе, «Пирог и пиво» — и в этом смысле необычная книга: помимо того, что добрая часть повествования посвящена сценам из быта литературного Лондона конца XIX — начала XX веков, три главных его персонажа — писатели. Это: Эдуард Дриффилд, Элрой Кир и сам рассказчик Уилли Эшенден — очередная литературная маска Сомерсета Моэма. Здесь он предстает в собственном своем возрасте, в облики суховатого, саркастичного, пронизательного джентльмена, автора с прочной, хотя и не сенсационной репутацией. В Элрое Кире — модном и пробивном беллетристе, снобе, добродушном себялюбце и карьеристе (все эти качества с успехом заменяют ему талант) с ужасом узнал себя Хью Уолпол, очень популярный в свое время романист. Очевидно, портрет был убийственно похож — оригинал узнали многие. (Моэм отрицал, что именно Уолпол послужил прототипом данного персонажа, но позднее признавался в этом в частных беседах.) Но если Элрой Кир был встречен в литературных кругах с веселым добродушием, то Эдуард Дриффилд оказался источником больших неприятностей для Сомерсета Моэма. В 1928 году — за два года до выхода романа — умер Томас Гарди, к тому времени писатель уже прославленный, современный классик, хотя путь его к этому званию был достаточно долог и тернист. В Дриффилде и критика, и читательская аудитория «узнали» Томаса Гарди, что вызвало общее и шумное возмущение. Шокирующие аналогии во многом были обоснованы: внешность Дриффилда — и в зрелые годы, и в глубокой старости, положение писателя-патриарха, пришедшее лишь на склоне лет, два брака, наконец, жесткий реализм его поздних «сельских» романов, в свое время осужденный как «чрезмерный», — все это действительно ассоциировалось с автором «Тэсс» и «Джуда Незаметного». С другой стороны, между литературным образом и реальным лицом были коренные различия: плебейское происхождение Дриффилда, его прошлое матроса, его склонности к «простецким» развлечениям, отсутствие щепетильности в денежных делах, да и обе его жены — все это с жизнью и характером Гарди не имело ничего общего. На этот раз категорические утверждения Моэма, что Эдуард Дриффилд — лицо собирательное и вымышленное и в его замысле никакого посягательства на «честь» английского классика не было, соответствовали истине. Тем не менее успеху романа сопутствовал скандальный привкус, немало ему повредивший. С линией Дриффилда — Эшендена связана вторая часть заглавия книги: «...или Скелет в шкафу». Кажется, что может быть несообразнее в приложе-

нии слова «скелет» к героине книги — очаровательной, пышущей здоровьем и жизнелюбием Рози? Однако именно она, бывшая барменша из матросского трактира, а затем законная жена Дриффилда, позднее от него сбежавшая, и оказывается тем самым «скелетом в шкафу», с которым не знают, как поступить и биограф, и вторая супруга знаменитого старца. Ведь с этой «вульгарной бабенкой» связана пора творческого расцвета Дриффилда — после того, как она оставила мужа ради торговца углем из Блэкстебла, Дриффилд не написал уже ничего значительного — он только превращался в «живой монумент» под эгидой литературных дам типа миссис Бартон Трафффорд и благомыслящих критиков типа Элроя Кира.

Рози Дриффилд имеет непосредственное отношение и к Эшендену, как выясняется в ходе его воспоминаний, но отношение ее к самому Моэму оставалось скрытым десятки лет. А подлинное имя женщины, которая была ее прототипом, стало известно лишь после смерти писателя. В предисловии к переизданию «Пирогов и пива» (1950) Моэм сделал признание, которое было для всех неожиданным, — настолько тщательно зашифровал он в свое время реальное лицо, изображенное под именем Рози:

«В юности я был близок с молодой женщиной, которой в этой книге дал имя Рози. Она обладала серьезными недостатками, способными приводить в бешенство, но была прекрасна и честна. Связь наша в конце концов распалась, как все связи подобного рода, но память об этой женщине жила во мне год за годом. Я знал, что рано или поздно введу ее в роман». Подлинное имя героини открыл в конце 60-х годов художник Джералд Кэлли, знавший ее с начала 1900-х годов. Это была Этельуинн Джонс, дочь известного драматурга Генри Артура Джонса, актриса — играла она и в пьесах Моэма. Она отличалась безыскусственным, открытым и доброжелательным нравом, была очень хороша собой и в молодости вела весьма свободный образ жизни. Роман ее с Моэмом продолжался лет восемь, она могла, но ~~не~~ захотела стать его женой и впоследствии вышла замуж за английского аристократа. Таков был прототип, вернее, прообраз Рози Дриффилд, крестьянской девушки из Кента, не выдержавшей роли жены маститого писателя. Ничего удивительного, что Рози считалась полностью вымышленной фигурой, учитывая то, как тщательно замаскировал автор ее реальную модель. Но для Моэма тайная связь между Рози и Этельуинн была абсолютно реальна: он так хорошо знал свою возлюбленную, что облик ее — необыкновенно мягкий, женственный, сияющий ровным светом милой доброты и спокойствия, — очень естественно отлился в облик Рози Дриффилд. И самый «аморализм» этой неверной жены и любовницы Моэм — Эшенден воспринимает как нечто естественное и почти беспорочное, нечто сродное щедрости природы. Разумеется, все это не исключает страданий, но,

страдающая, ни Эшенден, ни Дриффилд не проявляют злопамятства. Роза — не разрушительница, не мучительница, как Милдред из «Бремена страстей человеческих», — она просто добра и человечна. Теплое, мажорное звучание «мелодии Розы» находит отзвук и в других темах романа. Любопытно, что и сам Блэкстебл, и семья приходского священника, в которой живет сирота — юный Эшенден, и даже закрытая школа в соседнем Теркенбери (читай: Кентербери) здесь предстают в совершенно ином свете, чем в «Бремене страстей», хотя основой писателю служат те же самые личные воспоминания, что долго мучили Моэма. Все приобрело более светлую ностальгически-юмористическую окраску, и вместо несчастливого, трудно растущего Филипа Кэри в ретроспективном рассказе Эшендена возникает смешной, не складный, пропитанный снобизмом подросток, которого приручили и пригрели «подозрительные» в глазах добропорядочных обывателей Дриффилды. И нынешний Эшенден — личность в общем мало симпатичная, литератор, искушенный в житейских делах и секретах карьеры, — проявляет истинную верность их памяти и абсолютно не намерен «подбросить» Элрою Киру соответствующий материал для биографии «Дриффилда-монумента» — то есть порочить его первую жену.

Если «Бремя страстей человеческих» — самая исповедальная книга Моэма, «Луна и грош» — самая темпераментная, «Пироги и пиво» — самая веселая и лиричная, то «Острие бритвы» — самая философичная; вернее, это единственное его художественное произведение, в котором сквозное действие определяется духовными поисками героя. После «Острия бритвы» Моэм опубликовал лишь два исторических романа («Тогда и теперь», 1946, и «Каталина», 1948), не представляющих серьезного интереса, так что книгу эту можно считать за вершиной и в какой-то мере итогом его писательского пути. Итог, на первый взгляд неожиданный: неожиданно не только содержание романа, но и сама позиция рассказчика, здесь максимально приближенного к автору. Сомерсет Моэм, прагматик, агностик, совершенно чуждый какому-нибудь мистицизму, вводит в свое повествование тему Веданты — древнеиндийского религиозного учения и излагает устами своего героя основы этого учения. Некоторые факты литературной биографии писателя говорят о том, что интерес его к религиозно-философским исканиям, вернее — религиозно-нравственным, не был чем-то совсем новым либо случайным. «Современные святые» — люди добрые и бескорыстные, осмеянные и поруганные своими ближними, встречаются у него неоднократно, начиная с рассказа «Скверный пример» (1899) и кончая последней его пьесой «Шэппи» (1933). Криминально-мелодраматический роман «Тесный угол» (1932) с подлинно «моэмовской» игрой темных страстей, развертывающейся на экзотическом фоне, содержит размышления о буддизме, а в центре действия фигура идеалиста-романтика Кристиссена. В романе «Рас-

крашенная вуаль» (1925) героиня — суетная молодая женщина преклоняется перед тихой самоотверженностью католических монахинь, которые выхаживают больных и брошенных детей в охваченном эпидемией китайском городе. Заметим, кстати, что и зловещая фигура миссионера Дэвисона из рассказа «Дождь» более всего отталкивает своим беспощадным нетерпимым фанатизмом; но Дэвисон — не лицемер и не ханжа, а человек, страстно убежденный, не жалеющий себя ни в чем: он готов послать в тюрьму «падшую женщину», но себя за падение казнит смертью.

Таким образом, хотя Моэм никогда не был — да и здесь не стал религиозным писателем, этот аспект романа «Острие бритвы» подготовлен предшествующей историей творчества и не ради одного, лишь эффекта на вопрос: долго ли он работал над «Острием бритвы», — писатель ответил: «Шестьдесят лет».

Прослеживается в предшествующих произведениях и другая важнейшая тема романа: тема отчужденности солдата, вернувшегося с фронта, от образа жизни и самой духовной атмосферы общества, которое прежде было для него своим. Именно об этом написан ранний роман «Герой» (1901), в котором молодой ветеран англо-бурской войны Уортон возвращается домой в провинциальный городок и не может приспособиться к мирной жизни. (В 1920 году Моэм переработал этот роман в драму «Неведомое».) В рассказе «Падение Эдуарда Барнарда» (1921) и в особенности в пьесе «Путь вверх», которая была написана в 1924 году и осталась в рукописи (Моэм был недоволен этой вещью и запретил ее публикацию), созданы ситуации, ясно предвосхищающие сюжетную линию «Острия бритвы»: в обоих произведениях герой — молодой американец, а действие происходит в Чикаго. Таковы некоторые факты литературной предыстории романа. Однако не случайно он появился не в 20-х годах, а двадцать лет спустя — многое должно было накопиться в писательской памяти Моэма, но главным образом многое должно было совершиться в мире: ведь настроения «потерянного поколения» после первой мировой войны питались иными источниками, чем смятение и бунт западной молодежи 50-х годов. В писательской «копилке» Моэма — его дневнике — есть подробные записи о Лансе, французском шахтерском поселке, где он жил в 1939 году, еще более подробные и пространные — о пребывании в Индии в 1938-м. Он собирался еще раз приехать в эту страну через год-два, задуман был большой роман с «индийским фоном». Война разрушила эти замыслы, но она же, волею случая, свела Моэма с людьми, общение с которыми несомненно способствовало созданию «Острия бритвы». В начале 40-х годов Моэм поселился в Калифорнии и сблизился с группой английских писателей-эмигрантов, горячо увлеченных индийской философией: Джералдом Хэрдом, Олдосом Хаксли, Кристофером Ишервудом. Они издава-

ли журнал «Веданта и Запад», переводили и комментировали священные тексты. Таким образом Моэм, издавна тяготевший и к философии, и к Востоку, оказался в самом центре «информации», которая особенно занимала его после посещения Индии.

Наблюдения эти, впрочем, использованы в романе не впрямую, а с поправкой на время действия, которое Моэм отвел лет на двадцать назад, в эру «потерянного поколения» и завершил в конце 30-х годов. Вторая мировая война была в самом разгаре, Моэм не был ее участником; поэтому он обратился к временам, событиям и нравам, досконально ему известным, пережитым и отложившимся в памяти. Однако те конкретные формы, которые приняло «отступничество» Ларри Даррела, — не просто богоискательство, но обращение к индийскому мистицизму, — могли возникнуть лишь в 40-е годы, и Моэм чутко улавливает дух времени. Надо отметить еще одну особенность романа: Ларри Даррел, как ни один герой Моэма, близок к идеалу гармоничного человека. Все его чудачества, самоотверженные устремления, интеллектуально-метафизические интересы «вписаны» в натуру совершенно здоровую, не знающую никаких крайностей. Ларри — совсем не аскет, но, в отличие от типичного персонажа Моэма, он не знает рабства страстей. В том, с какой симпатией, даже нежностью создает писатель в высшей степени привлекательный облик этого милого и скромного «современного святого», угадывается тоска по настоящей, а не деланной гармонии, по истинной духовной свободе, по независимости от материальных благ — всему, что всегда было недостижимо для Сомерсета Моэма. Экземпляры «Острия бритвы» попали в действующую армию, и Моэм впервые в жизни стал получать тысячи писем от молодых американцев-фронтовиков, очень лично воспринявших размышления Ларри Даррела об истоках зла, о месте его «в системе мироздания». Реальность войны — и повседневная, конкретная, и та общая устрашающая реальность фашизма в действии, что все глубже раскрывалась перед людьми, неизбежно наталкивала на такие размышления. Но был и другой аспект в истории Ларри — его «выпадение» из недр буржуазного общества, вернее, его попытка устроить в недрах этого общества свое автономное существование в качестве неприметного нью-йоркского таксиста, несущего «свет истины» своим соотечественникам. Ближайшее десятилетие показало, как зорко провидел писатель некоторые процессы, происходившие в среде американской молодежи после войны. Однако наибольшей художественной удачей — в этом сходятся и самые строгие критики романа — оказалась фигура Эллиота Темплтона. Портреты английских снобов Моэм всегда писал с особым удовольствием, в этом плане вполне можно признать его преемником У. Теккерея. Снобизм — то есть психологическая зависимость от сложной системы социальных амбиций и табу в своей

снедающей, испепеляющей форме — такая же страсть, как и все прочие. Темплтон как бы венчает эту галерею профессиональных светских людей, в его комическом снобизме есть нечто монументальное. А в конечном счете, когда обнажается вся никчемность этой тщательно выстроенной жизни европейского денди на закваске американского бизнесмена, — и нечто патетически жалкое. Но Темплтон — не просто сноб, он и добрый малый, и великодушный, щедрый родственник... Все это изображено ненавязчиво, с большим искусством и с гораздо большим проникновением в существо характера, чем в других персонажах романа. Ведь и сам Ларри Даррел с начала и до конца показан только через восприятие рассказчика: проницательного, исполненного симпатии, но стороннего человека.

Очевидно, именно эта старательно укрепленная позиция стороннего наблюдателя, как бы приросшая маска Моэма во всех ее вариантах, удерживала его подчас от исследования опасных глубин, вынуждала, регистрируя эмоциональные взрывы и катастрофы, останавливаться перед порогом душевного мира человека. Но главное заключается в том, что ощущаемая нами некоторая «эмоциональная недостаточность» в книгах Моэма не имеет ничего общего с фальшью. Литература о Моэме огромна: посвященный ему библиографический указатель насчитывает более двух с половиной тысяч названий. Советская критика долгое время не уделяла Моэму сколько-нибудь значительного внимания. Однако в последние годы появляются работы, говорящие о стремлении дать вдумчивую, объективную и справедливую оценку его творчества. Характерна в этом смысле посвященная Моэму глава в «Истории английской литературы» Г. В. Аникина и Н. П. Михальской. Одно свойство писательской личности С. Моэма критики называют обычно в первую очередь: *честность*. Ричард Олдингтон говорит о нем как о художнике «точного, ясного, бескомпромиссного и неукрашенного» стиля. «Честный, не признающий восторженности» интеллект Моэма отмечает Грэм Грин, несколько раз о нем писавший. Теодор Драйзер еще в 1915 году горячо приветствовал американское издание «Бремени страстей человеческих» статьей «Глазами реалиста». И думается, что это определение можно отнести ко многим книгам, созданным Сомерсетом Моэмом за его долгую, непростую, насыщенную взыскательным непрерывным трудом писательскую жизнь.

И. Лесидова

Пироги и пиво,
или
Скелет
в шкафу

Перевод *А. Иорданского*



ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА

Этот роман я сначала задумал как рассказ, и к тому же не очень длинный. Вот какую запись я сделал, когда у меня появился его замысел: «Меня просят написать воспоминания о знаменитом романисте, друге моего детства, живущем в У. с женой, заурядной женщиной, отнюдь не сохраняющей ему верности. Там он пишет свои великие произведения. Позже он женится на своей секретарше, которая с ним нянчится и делает из него выдающуюся личность. Мои размышления о том, не вызывает ли у него даже в преклонном возрасте некоторого беспокойства то, что его превращают в монумент».

В то время я писал серию рассказов для журнала «Космополитен». Согласно контракту, каждый из них должен был иметь размер от 1200 до 1500 слов, чтобы вместе с картинкой занимать не больше полосы журнала. Иногда я давал себе волю — тогда картинка переходила на противоположную полосу, и мне освобождалось еще немного места. Я решил, что этот сюжет пригодится для такой цели, и держал его в запасе.

Но образ Розы я вынашивал уже давно. Многие годы я хотел о ней написать, но для этого все не представлялось удобного случая. Я никак не мог изобрести такую ситуацию, в которой для нее нашлось бы подходящее место, и уже начал было думать, что из этого так ничего и не получится. Да и не очень я об этом жалел. Персонаж, живущий в голове автора, еще не написанный, остается в полной его власти; мысли автора постоянно к нему

возвращаются, воображение понемногу его обогащает, и все это время автор испытывает своеобразное наслаждение от того, что там, у него в голове, живет разнообразной и трепетной жизнью некто покорный капризам его фантазии и в то же время каким-то странным образом наделенный собственной, от него не зависящей волей. Но как только образ перенесен на бумагу, он больше не принадлежит писателю. Он забыт. Просто удивительно, насколько безвозвратно перестает после этого существовать личность, которая на протяжении, может быть, многих лет занимала ваши мысли.

И вдруг мне пришло в голову, что в моем наброске есть тот самый подходящий для этого персонажа фон, который я искал. Сделаю-ка я ее женой моего знаменитого романиста! Я понял, что такой сюжет мне никак не втиснуть и в две тысячи слов, и поэтому решил немного повременить и воспользоваться этим материалом для одного из рассказов подлиннее, на 14—15 тысяч слов, с которыми начиная с «Дождя» я не без успеха выступал. Но чем больше я размышлял, тем меньше мне хотелось потратить свою Розу даже на такой рассказ. На меня нахлынули старые воспоминания. Я понял, что сказал еще далеко не все, что хотел, о городке У. из своего наброска, который в «Бремени страстей человеческих» назвал Блэкстеблом. Почему бы теперь спустя столько лет не подойти ближе к подлинным фактам? Так дядя Уильям, священник из Блэкстебла, и его жена Изабелла превратились в приходского священника дядю Генри и его жену Софи. А Филип Кэри из той, ранней книги в «Пирогам и пиве» стал «мною».

Когда книга вышла, она навлекла на меня с разных сторон обвинения в том, будто под именем Эдуарда Дриффилда я изобразил Томаса Гарди. Но я такого намерения не имел. Гарди подразумевался мной не в большей степени, чем Джордж Мередит или Анатоль Франс. Как видно из того первого наброска, моя мысль состояла в том, что преклонение, окружающее писателя, когда он находится на склоне лет и на вершине славы, должно быть, раздражает в нем ту живую искорку духа, которая все еще сохранила способность откликаться на полеты его фантазии. Я подумал, что ему, наверное, приходит в голову множество странных, беспокойных дум, хотя внешне он хранит то достоинство, какого требуют от него почтителю.

Когда я в восемнадцатилетнем возрасте прочитал «Тэсс из рода д'Эрбервиллей», я пришел в такой восторг, что твердо решил жениться на молочнице; но другие книги Гарди не производили на меня такого сильного впечатления, как на большинство моих современников и я не считал его таким уж блестящим стилистом. Он никогда не интересовал меня так, как одно время Джордж Мередит, а позже — Анатоль Франс. Биографию Гарди я знал плохо. Да и теперь я знаю ее лишь настолько, чтобы с уверенностью утверждать: совпадения между ней и жизнью Эдуарда Дриффилда очень незначительны. Они сводятся только к тому, что оба начинали в бедности и оба были женаты дважды.

Встречался с Томасом Гарди я всего один раз. Это было на обеде у леди Сент-Хельер, более известной в светском обществе того времени под именем леди Жен. Она, хотя и жила в гораздо более чопорном мире, чем нынешний, любила приглашать к себе каждого, кто так или иначе привлек внимание публики. А я был тогда популярным и модным драматургом. Это был один из тех пышных обедов, какие устраивались до войны, — с множеством блюд, с супом и бульоном, рыбой, несколькими горячими закусками, шербетом (чтобы гости могли перевести дух), жарким, дичью, десертом, мороженым и сладким. За столом сидело двадцать четыре человека, и каждый из них был персона, чем-нибудь выдающаяся: или почетным титулом, или положением в обществе, или своим вкладом в искусство. Когда дамы удалились в гостиную, моим соседом оказался Томас Гарди. Помню, это был маленький человечек с грубыми чертами лица. Одетый во фрак и крахмальную рубашку со стоячим воротничком, он все равно чем-то странно напоминал о земле. Он был любезен и учтив. Меня тогда поразила в нем какая-то любопытная смесь застенчивости и самоуверенности. Не помню, о чем мы говорили, но знаю, что разговор продолжался три четверти часа. Под конец он удостоил меня большого комплимента — спросил (не слышав раньше моего имени), чем я занимаюсь.

Говорят, что в образе Элроя Кира два-три писателя нашли намек на себя. Но они ошиблись. Этот персонаж — собирательный: от одного писателя я взял внешность, от другого — тягу к хорошему обществу, от третьего — сердечность, от четвертого — гордость своей спортивной удачью, и вдобавок довольно много — от себя самого. Дело

в том, что я обладаю незавидной способностью сознавать свою собственную нелепость и нахожу в себе много достойного осмеяния. Думаю, именно поэтому (если верить всему, что я часто о себе слышу и читаю) я вижу людей в не столь лестном свете, как многие авторы, таким злополучным свойством не обладающие. Ведь все образы, которые мы создаем, — это лишь копии с нас самих. Конечно, не исключено, что другие писатели и в самом деле благороднее, бескорыстнее, добродетельнее и возвышеннее меня. В таком случае естественно, что они, будучи сами ангелами во плоти, создают своих героев по собственному образу и подобию.

Когда же я захотел нарисовать портрет писателя, который пользуется любыми средствами, чтобы разрекламировать свои книги и обеспечить им сбыт, мне не нужно было присматриваться к какому-то определенному человеку: это слишком обычное явление. К тому же оно не может не вызывать сочувствия. Каждый год остаются незамеченными сотни книг, многие из которых обладают большими достоинствами. Автор каждой такой книги писал ее много месяцев, а думал о ней, может быть, много лет; он вложил в нее какую-то часть самого себя, которой он после этого уже навсегда лишился. Сердце разрывается, когда думаешь, как велика вероятность, что эта книга потеряется в потоке произведений, загромаждающих столы критиков и обременяющих полки книжных лавок. Ничего нет противоестественного в том, что автор пользуется для привлечения внимания публики любыми доступными ему средствами. Что именно следует для этого делать, его учит опыт. Он должен превратиться в общественного деятеля; он должен постоянно находиться в поле зрения. Он должен давать интервью и добиваться, чтобы его фотографии печатали в газетах. Он должен писать письма в «Таймс», выступать на митингах и заниматься социальными проблемами; он должен произносить послеобеденные речи; он должен высказываться о книгах, которые рекламируют издатели; и он должен неукоснительно появляться там, где нужно, в те моменты, когда нужно. Он не должен допускать, чтобы о нем забыли. Это нелегкая и беспокойная работа, ибо ошибка может дорого ему обойтись. Было бы жестоко не сочувствовать автору, прилагающему такие усилия, чтобы уговорить мир прочесть книгу, которую он искренне считает этого достойной.

Есть лишь один вид рекламы, который я презираю, — это вечера, устраиваемые по выходе книги. Автор обеспечивает присутствие на таком вечере фотографа, приглашает светских хроникеров и всех выдающихся людей, с которыми знаком. Хроникеры, по крайней мере, хоть уделяют ему абзац в своих статьях, а фотографии печатаются в иллюстрированных журналах, — выдающиеся же люди приходят только за тем, чтобы получить даром экземпляр книги с автографом. Этот позорный обычай не становится менее предосудительным в тех случаях, когда предполагается (иногда, несомненно, справедливо), что вечер устроен за счет издателя. Когда я писал «Пирог и пиво», такие вечера еще не вошли в моду, а они могли бы дать мне материал еще для одной яркой главы.

I

Я заметил, что, когда кто-нибудь звонит вам по телефону и, не застав вас дома, просит передать, чтобы вы немедленно, как только придете, позвонили ему по важному делу, дело это обычно оказывается важным не столько для вас, сколько для него. В тех случаях, когда речь идет о том, чтобы сделать вам подарок или оказать услугу, большинство людей способно взять себя в руки и не проявлять чрезмерного нетерпения. Поэтому, когда я пришел домой как раз вовремя, чтобы успеть выпить рюмочку, покурить, прочитать газету и одеться к обеду, и узнал от своей квартирной хозяйки мисс Феллоуз, что меня просил немедленно позвонить мистер Элрой Кир, то я решил, что вполне могу пренебречь его просьбой.

— Это не тот писатель? — спросила она.

— Он самый.

Она ласково взглянула на телефон.

— Соединить вас с ним?

— Нет, спасибо.

— А что сказать, если он опять будет звонить?

— Спросите его, что мне передать.

— Хорошо, сэр.

Мисс Феллоуз осталась недовольна. Она захватила пустой сифон, окинула взглядом комнату, чтобы удостовериться, все ли в порядке, и вышла. Мисс Феллоуз — большая любительница литературы. Я не сомневаюсь, что она прочла все книги, написанные Роем. И была от них в восторге — об этом свидетельствовало то, что она явно не одобрила мое пренебрежение к его звонку.

Вернувшись домой снова, я нашел на буфете записку, написанную ее крупным, разборчивым почерком: «Мистер Кир звонил два раза. Не можете ли вы завтра с ним пообедать? Если нет, то какой день был бы вам удобен?»

Я удивленно поднял брови. В последний раз я виделся с Роем три месяца назад, да и то всего каких-нибудь несколько минут на одном званом обеде. Он был, как всегда, очень дружелюбен и, когда мы расставались, выразил сожаление, что мы так редко видимся.

— Ужасное место этот Лондон, — сказал он. — Вечно не хватает времени повидать тех, кого хочется. Давайте на будущей неделе как-нибудь вместе пообедаем, а?»

— С удовольствием, — ответил я.

— Я загляну в свою записную книжку, как приеду домой, и позвоню вам.

— Ладно.

Я знаком с Роем уже двадцать лет и знаю, что маленькая записная книжка, куда он записывает все назначенные свидания, всегда у него с собой, в верхнем левом кармане жилета. Поэтому я не удивился, так и не дождавшись его звонка. И теперь я никак не мог заставить себя поверить, что он бескорыстно стремится проявить гостеприимство. Куря трубку перед сном, я перебирал возможные причины, по которым Рою могло понадобиться, чтобы я с ним пообедал. Может быть, какая-нибудь его поклонница пристала к нему с просьбой познакомить ее со мной; может быть, эту встречу просил организовать приехавший на несколько дней в Лондон американский издатель. Но я был бы несправедлив к своему старому приятелю, если бы подумал, что у него не хватит изобретательности выкрутиться. Кроме того, он просил назначить день по моему выбору, а значит, вряд ли собирался с кем-то меня свести.

Никто не может лучше Роя проявить самую искреннюю сердечность по отношению к собрату писателю, чье имя у всех на устах; и никто не может столь же добродушно отвернуться от него, когда бездеятельность, неудача или чужой успех затмевают его славу. У всякого писателя бывают взлеты и падения, и я прекрасно сознавал, что в тот момент не находился в центре внимания публики. Очевидно, я мог бы найти повод вежливо отклонить приглашение Роя, хотя он человек решительный, и если бы ему для каких-то своих целей понадобилось встретиться со мной, то остановить его можно было бы,

только недвусмысленно послав к черту. Но меня одолело любопытство. Кроме того, я питаю к Рою самые теплые чувства.

Я с восхищением следил за его успехами в литературном мире. Его карьера могла бы служить образцом для любого начинающего писателя. Не припомню ни одного из своих современников, кто добился бы такого значительного положения с таким небольшим талантом. Талант Роя, как умеренная доза лекарства, мог бы уместиться в одной столовой ложке. Он прекрасно это понимал, и временами ему, должно быть, казалось почти чудом, что он ухитрился сочинить уже около тридцати книг. Я не могу не предположить, что он впервые прозрел, прочитав, что гениальность, как сказал однажды в послеобеденной речи Томас Карлайл, — не что иное, как бесконечная работоспособность. Это запало ему в голову. «Если все дело в этом, — сказал, вероятно, он себе, — то и я могу быть гением не хуже других». И когда один экзальтированный критик на страницах дамского журнала впервые назвал его гением (а в последнее время критики делают это все чаще), он, наверное, удовлетворенно вздохнул, как человек, после многочасовых стараний решивший кроссворд. Ни один из тех, кто многие годы был свидетелем его неустанного труда, не может отрицать, что право на гениальность он, во всяком случае, заработал.

Свой жизненный путь Рой начал при довольно благоприятных обстоятельствах. Он был единственный сын государственного деятеля, который, прослужив много лет в колониальной администрации Гонконга, закончил свою карьеру губернатором Ямайки. Отыскав Элроя Кира на убористых страницах справочника «Кто есть кто», вы могли бы прочесть: «Един. с. сэра Реймонда Кира (см.), КОМГ¹, КОВ², и Эмили, мл. доч. покойного генерал-майора Перси Кэмпердауна (Индийская армия)».

Образование Рой получил в Винчестере и в Новом колледже Оксфорда. Он был президентом студенческого общества, и если бы, к несчастью, не заболел корью, то вполне мог бы войти в университетскую команду на ежегодных лодочных гонках. Годы учения он провел без особого блеска, но зато вполне добропорядочно и долгов к окончанию университета не имел. Даже тогда он отли-

¹ КОМГ — командир ордена св. Михаила и св. Георгия.
² КОВ — командир ордена Виктории.

чался бережливостью, не проявлял склонности сорить деньгами и был примерным сыном. Он знал, что его родители многим пожертвовали, чтобы дать ему такое дорогостоящее образование. Отец его, выйдя в отставку, жил в скромном, но вполне приличном доме близ Струда, в Глостершире, и время от времени приезжал в Лондон, чтобы присутствовать на парадных обедах, имевших отношение к колониям, которыми он когда-то управлял. В таких случаях он обычно заходил в клуб «Атенеум», где состоял членом. Через старого приятеля по клубу он сумел добиться, чтобы Роя по окончании Оксфорда взяли в наставники к сыну одного очень знатного лорда, отличавшемуся слабым здоровьем. Это позволило Рою смолodu познакомиться с высшим светом. Такой возможности он не упустил. В его книгах не найти тех ляпсусов, какие попадают в произведениях писателей, изучавших жизнь светского общества лишь по иллюстрированным журналам. Он знал, как разговаривают между собой герцоги и как к ним адресуются члены парламента, адвокаты, букмекеры и камердинеры. Есть что-то пленительное в том изяществе, с каким он в своих первых повестях обращается с вице-королями, посланниками, премьер-министрами, членами королевской семьи и высокопоставленными дамами. Он дружелюбен без покровительственности и фамильярен без дерзости. Он не дает вам забыть об их положении, но вместе с вами с удовлетворением сознает, что они созданы из той же плоти, как и каждый из нас. Я всегда жалел, что по приговору моды жизнь аристократии перестала быть подходящей темой для серьезной литературы, и Рой, всегда чуткий к веяниям времени, вынужден в поздних повестях ограничиваться духовным миром присяжных поверенных, бухгалтеров и маклеров. В этих кругах он чувствует себя далеко не так свободно.

Я впервые познакомился с ним вскоре после того, как он перестал быть наставником и целиком посвятил себя литературе. Это был тогда видный, статный молодой человек шести футов роста, атлетического сложения, с широкими плечами и уверенными движениями. Он был не красив, но по-мужски приятен на вид, с большими, честными голубыми глазами и волнистыми светло-каштановыми волосами; у него был довольно короткий, широкий нос и квадратный подбородок. Сразу видно — честный, чистый, здоровый человек.

Он много занимался спортом. Прочитав в его ранних книгах такие точные и яркие описания охоты с гончими, нельзя было усомниться в том, что он писал по собственному опыту; до самого последнего времени он, бывало, покидал свой письменный стол, чтобы денек поохотиться. Его первый роман вышел в те времена, когда литераторы, чтобы показать свою мужественность, пили пиво и играли в крикет; и в течение нескольких лет трудно было найти такую литературную команду, где не фигурировало бы его имя. Не знаю почему, но эта литературная школа сейчас утратила былое величие, на ее книги не обращают внимания, и, хотя их авторы остались крикетистами, им все труднее печатать свои произведения. Рой уже много лет назад бросил крикет и выработал у себя тонкий вкус к красным сухим винам.

Когда вышла первая повесть Роя, он держался очень скромно. Повесть была невелика, написана добротнo и, как и все, что он писал с тех пор, без единой погрешности против хорошего вкуса. Он послал ее с любезным письмом всем тогдашним ведущим писателям и каждому написал, как он восхищается его произведениями, как много почерпнул, изучая их, и как искренне стремится следовать, пусть на подобающем расстоянии, по пути, проложенному адресатом. Он приносит свою книгу к ногам великого художника как дань уважения со стороны молодого, начинающего литератора к тому, кого он всегда будет считать своим учителем. Умоляя о снисхождении, сознавая, какая с его стороны дерзость — просить столь занятого человека тратить время на жалкие потуги новичка, он все-таки надеется услышать критическое слово и полезные указания.

Лишь немногие из авторов, к которым он обратился, прислали в ответ вежливые отписки. Остальные были польщены и ответили подробно. Книгу они похвалили, а автора многие пригласили на обед. Их не могла не покорить такая искренность, не мог не согреть такой энтузиазм. Он просил их совета с трогательным смирением и обещал последовать ему с внушающей доверие непосредственностью. Вот человек, почувствовали они, на которого стоит потратить кое-какие усилия.

Повесть имела значительный успех. Она принесла ему обширные знакомства в литературных кругах, и вскоре ни одно парадное чаепитие в Блумсбери, Кэмден-Хилле

или Вестминстере не обходилось без Роя, передающего бутерброды или поспешающего на помощь пожилой леди, чтобы взять у нее пустую чашку. Он был так молод, весел, прям, так заразительно смеялся чужим шуткам, что не мог не нравиться. Он вступил в обеденные клубы, члены которых — литераторы, молодые адвокаты и дамы в ярких платьях, увешанные бусами, — собирались в отелях Виктория-стрит или Холборна, чтобы съесть обед за три с половиной шиллинга и поговорить об искусстве и литературе. Скоро у него обнаружили немалые способности к произнесению послеобеденных речей. Он был так мил, что собратья писатели, его современники и соперники, простили ему даже благородное происхождение. Он не скупился на похвалы их незрелым произведениям, а получая на отзыв рукопись, никогда не находил в ней недостатков. Все решили, что он не просто славный парень, но и хороший ценитель литературы.

Рой написал вторую повесть. Он очень старался и не пренебрег советами, полученными от старших братьев по ремеслу. Было лишь справедливо, что многие из них по его просьбе написали рецензии для газет, с редакторами которых договорился Рой, и было лишь естественно, что рецензии оказались лестными. Повесть имела успех, но не такой, чтобы возбудить у его соперников ревнивые чувства. Наоборот, она подтвердила их подозрение, что он звезд с неба не хватает. Он был отличный парень, ничуть не чванился, и каждый с удовольствием помогал человеку, который никогда не поднимется так высоко, чтобы стать помехой ему самому. Я знаю, что кое-кто теперь горько улыбается, размышляя о своей ошибке.

Но когда говорят, что слава вскружила Рою голову, это неправда. Рой не утратил той скромности, которая в молодости была самой привлекательной его чертой.

— Я знаю, что я не великий писатель, — говорит он. — В сравнении с гигантами я просто не существую. Я думал, что когда-нибудь напишу действительно великую вещь, но уже давно перестал об этом даже мечтать. Я только хочу, чтобы обо мне говорили: он делает все, на что способен. Я тружусь. Я не позволяю себе никакой небрежности. По-моему, я хорошо умею строить сюжет, могу создавать героев, похожих на живых людей. Ну и, в конце концов, все проверяется на практике: в Англии было продано тридцать пять тысяч экземпляров «Игольного ушка», а в Америке — восемьдесят тысяч, и за право печатать мою

следующую вещь предлагают столько, сколько мне никогда еще не платили.

В конце концов, что, кроме скромности, побуждает его даже сейчас писать рецензентам, благодарить их за похвалу и приглашать на обед? Больше того, когда кто-нибудь резко его критикует, — а Рой, особенно с тех пор, как его репутация упрочилась, не раз подвергался очень злобным нападкам, — он, в отличие от большинства из нас, не может просто пожать плечами, обругать про себя негодяя, которому не понравилась книга, и забыть об этом. Рой посылает критику длинное письмо, рассказывает, как ему жаль, что книга показалась плохой, но что рецензия сама по себе так интересна и, он берет на себя смелость сказать, свидетельствует о таком критическом чутье и вкусе, что он чувствует себя обязанным написать это письмо. Никто более его не стремится совершенствоваться, и он надеется, что еще способен чему-то научиться. Он не хотел бы навязываться, но если у критика нет никаких дел в среду или четверг, то не может ли критик пообедать с ним в «Савое» и объяснить, почему же именно он счел книгу столь плохой?

Никто не может заказать обед лучше Роя, и обычно оказывается, что, проглотив полдюжины устриц и хороший кусок седла молодого барашка, критик проглотил и свои претензии к Рою. Всего лишь справедливо, что, когда выходит следующая книга Роя, критик видит в ней большой шаг вперед.

Одна из трудностей, с которыми приходится сталкиваться в жизни, состоит в том, как быть с людьми, которые когда-то были вашими друзьями, но со временем перестали вас интересовать. Если положение обеих сторон по-прежнему скромно, то разрыв происходит сам собой и не оставляет никакого следа. Но если один из двоих достиг известности, то дело осложняется. У него множество новых друзей, но старые неумолимы; он очень занят, но они считают, что имеют преимущественное право на его время; если он не бежит по первому их зову, они вздыхают и, пожав плечами, говорят: «Ну что ж, ты, наверное, не лучше других. Как стал теперь большим человеком, так со мной и видеться не пожелаешь».

Разумеется, именно так он и хотел бы поступить, если бы у него хватило мужества. Но в большинстве случаев мужества не хватает. Он поддается и принимает приглашение на воскресный ужин. Холодный ростбиф

оказывается чересчур холодным, сделанным из мороженого австралийского мяса, да еще пережаренным; а уж бургундское... и почему только они называют это бургундским? Неужели они никогда не бывали в Боне и не жили в «Отель-де-ля-пост»? Конечно, приятно поболтать о добром старом времени, когда вы делили в мансарде корку хлеба; но вам становится немного не по себе при мысли о том, как недалеко ушла от мансарды комната, в которой вы сидите. Вы успокаиваетесь, когда друг начинает рассказывать про свои книги, которых не покупают, и про свои рассказы, которых не печатают; режиссеры даже не читают его пьес, а когда он сравнивает их с тем, что ставят теперь (тут он бросает на вас укоряющий взгляд), то это, знаешь ли, просто обидно. Вы смущенно отводите глаза и преувеличиваете собственные неудачи, чтобы он понял, что и вам нелегко живется. Вы как можно пренебрежительнее отзываетесь о собственных произведениях, и вас слегка коробит, когда выясняется, что мнение о них хозяина совпадает с вашими словами. Вы говорите о непостоянстве публики, давая ему возможность утешиться мыслью, что и ваша популярность недолговечна. Он дружески, но строго критикует вас.

«Я не читал твоей последней книги,— говорит он,— но читал предпоследнюю. Забыл, как она называется».

Вы называете ее.

«Я ожидал от нее большего. По-моему, она не так хороша, как те, что ты писал раньше. Ты знаешь, конечно, какая мне больше всех нравится?»

Это не первый такой случай в вашей практике, и вы смело называете самую первую свою книгу. Вам тогда было двадцать лет, книга была бесхитростной и неумелой, и на каждой ее странице запечатлена ваша неопытность.

«Лучше тебе не написать,— говорит он от души, и вы чувствуете, что вся ваша карьера представляет собой долгий путь упадка по сравнению с той, первой удачей.— Мне все кажется, что ты не совсем оправдал те надежды, которые тогда подавал».

Газовое пламя в камине обжигает вам ноги, но ваши руки холодны как лед. Вы тайком поглядываете на часы и думаете, не обидится ли ваш друг, если вы уйдете в десять. Вы велели шоферу ждать за углом, чтобы машина не стояла у дверей и не оскорбляла своим великолепием бедности друга, но в дверях он говорит:

«Остановка автобуса в конце улицы. Я тебя провожу».

Вы в смущении сознаетесь, что у вас есть машина. Ему кажется очень странным, что она ждет за углом. Вы отвечаете, что это одна из причуд шофера. Когда вы садитесь в машину, друг смотрит на вас со снисходительным превосходством. Вы нервничаете и приглашаете его как-нибудь с вами пообедать. Пообещав прислать ему записку, вы уезжаете, размышляя, не подумает ли он, что вы хвастаете своей шикарной жизнью, если пригласите его в «Кларидж», или что вы скупердяй, если предложите Сохо.

Рой Кир избавлен от подобных переживаний. Если сказать, что он бросал людей, получив от них все, что мог, это прозвучит грубовато; но чтобы выразить то же самое деликатнее, потребуется столько времени и нужно будет так тонко подбирать легкие, игривые намеки и полутона, что поскольку в сущности дело обстоит именно так, то этим можно и ограничиться. Большинство из нас, поступив с кем-нибудь нехорошо, сохраняет к нему злобное чувство. Однако ничем не смущаемая душа Роя чужда такой мелочности. Сделав кому-нибудь большую гадость, он способен не питать потом к этому человеку никакой злобы.

«Бедный старина Смит,— говорит он.— Я так его люблю, он просто прелесть. Жаль, что он на меня злится. Я хотел бы что-нибудь для него сделать. Нет, я его уже много лет не видел. Не стоит пытаться поддерживать старую дружбу. Это болезненно для обеих сторон. Ведь человек вырастает из своих старых привязанностей, и тут уж ничего не поделаешь».

Но если он сталкивается с тем же Смитом на каком-нибудь приеме вроде закрытого вернисажа в Королевской академии,— никто не может быть более сердечным. Он трясет Смита за руку и говорит, как восхищен встречей. Лицо его сияет. Он источает дружеские чувства, как благостное солнце — свои лучи. Смит приходит в восторг от такой удивительной сердечности: со стороны Роя было чертовски мило сказать, что он не пожалел бы ничего, лишь бы написать такую книгу, как последняя книга Смита.

Если же Рою кажется, что Смит его не видит, он старается отвернуться и смотреть в другую сторону. Однако Смит его видел и остается недоволен тем, что Рой им

пренебрег. Смит принимается язвить. Он говорит, что прежде Рой был рад разделить с ним бифштекс в скверном ресторанчике или провести с ним отпуск в рыбацкой хижине в Сент-Айвсе. Смит говорит, что Рой — предатель. Он говорит, что Рой — сноб. Он говорит, что Рой — лицемер.

Однако в этом Смит не прав. Самая яркая черта Элроя Кира — его искренность. Нельзя лицемерить на протяжении двадцати пяти лет. Лицемерие — самый трудный и утомительный порок из всех, которым человек может предаваться. Оно требует постоянной бдительности и редкой целеустремленности. В нем нельзя упражняться на досуге, как в прелюбодеянии или чревоугодии; оно занимает все ваше время. Лицемерие требует еще и циничного юмора, и хотя Рой много смеется, я никогда не думал, что чувство юмора у него сильно развито; а уж циником он быть не способен — в этом я уверен. Хотя я дочитал до конца лишь некоторые его книги, но начинал читать многие из них. По-моему, печать искренности лежит на каждой из их многочисленных страниц. Именно это, очевидно, и было главной причиной их устойчивой популярности. Рой всегда искренне верил в то, во что в тот момент верили все остальные. Когда он писал повести об аристократии, он искренне верил, что ее представители развращены и аморальны, но все же им присуще известное благородство и врожденная способность управлять Британской империей. Позже, начав писать о средних классах, он искренне верил, что это хребет нации. Его негодяи всегда были гнусными, герои — возвышенными, а девы — чистыми.

Когда Рой приглашает на обед автора лестной рецензии, то делает это потому, что искренне ему благодарен за доброе мнение; а когда приглашает автора нелестной рецензии, то делает это потому, что искренне стремится исправиться. Когда в Лондон приезжают его неизвестные поклонники из Техаса или Западной Австралии, он водит их по Национальной галерее не только из уважения к своим читателям; он делает это потому, что искренне интересуется впечатлением, которое производит на них искусство.

Чтобы убедиться в его искренности, достаточно послушать, как он читает лекции. Когда он стоит на кафедре, в великолепно сидящем фраке или, если это более уместно, в свободном, не очень новом, но безукоризненно

спитом пиджаке, и серьезно, открыто, но с подкупающей скромностью смотрит на слушателей, нельзя сомневаться, что он относится к своей задаче с полной ответственностью. Хотя время от времени он притворяется, будто не может найти нужное слово, это делается только для того, чтобы оно прозвучало более эффектно. Его голос глубок и мужествен. Он хороший рассказчик и никогда не бывает скучным. Он любит читать лекции о молодых писателях Англии и Америки и разъясняет аудитории их достоинства с жаром, свидетельствующим о его великодушии. Быть может, он говорит даже слишком много, потому что, прослушав его лекцию, вы чувствуете, что уже все о них знаете и что вам вовсе не обязательно читать их книги. Я полагаю, именно поэтому после того, как Рой читает лекцию в каком-нибудь провинциальном городке, никто не покупает ни единой книги тех авторов, о которых он рассказывал, но зато спрос на его собственные всегда повышается.

Его энергия неистощима. Он не только совершал успешные турне по Соединенным Штатам, но и изъездил с лекциями всю Великобританию. Нет такого крохотного клуба или ничтожного кружка самообразования, которым Рой не уделит бы хоть часа. Время от времени он обрабатывает свои лекции и издает их в виде маленьких, аккуратных томиков. Большинство людей, этим интересующихся, по крайней мере, листали его книги «Современные романисты», «Русская литература» и «Некоторые писатели»; и лишь немногие будут отрицать, что в них чувствуется глубокое понимание литературы и личное обаяние автора.

Но этим отнюдь не исчерпывается его деятельность. Он активный член организаций, призванных защищать интересы авторов или облегчать их участь, когда болезнь или старость доводят их до нищеты. Он всегда рад помочь, когда в законодательных органах рассматриваются вопросы авторского права, и всегда готов войти в состав делегаций, посылаемых за границу для установления дружественных отношений между писателями разных стран. На приемах можно рассчитывать на его ответное слово от имени литературы, и он неизменно входит в комиссии для подобающей встречи какой-нибудь заморской литературной знаменитости. Ни один благотворительный базар не обходится без экземпляра хотя бы одной из его книг с автографом. Он никогда не отказывает в интервью.

Он справедливо говорит, что никто лучше его не знает трудностей литературного ремесла, и что если он может, приятно поболтав с каким-нибудь скромным журналистом, помочь тому заработать несколько гиней, то у него не хватит жестокости ответить отказом. Обычно он приглашает интервьюера пообедать и редко производит на него невыгодное впечатление. Единственное условие, которое он ставит, заключается в том, чтобы просмотреть статью перед ее опубликованием. Его никогда не выводят из себя газетчики, которые в самые неподходящие моменты звонят знаменитому человеку и требуют сообщить читателям, верит ли он в бога или что ест на завтрак. Он принимает участие во всех публичных диспутах, и все знают, что он думает о сухом законе, вегетарианстве, джазе, чесноке, спорте, браке, политике и месте женщины в доме.

Его взгляды на брак остались абстрактными, ибо он успешно избежал этого состояния, которое столь многие деятели искусства с таким трудом пытались примирить со служением своему призванию. Всем известно, что в течение нескольких лет он питал безнадежную страсть к одной замужней даме из высшего света, и, хотя он говорил о ней не иначе, как с рыцарственным преклонением, все догадывались, что она обошлась с ним жестоко. Об этом пережитом им испытании напоминает необычная горечь, которой проникнуты повести, написанные им в середине творческого пути.

Душевные муки, перенесенные им в то время, помогают ему вежливо уклоняться от авансов дам с сомнительной репутацией, которые когда-то были украшением веселых компаний, а теперь стремятся сменить непрочное настоящее на надежный брак с известным писателем. Как только он замечает в их ясных глазах тень брачной конторы, он говорит им, что память о его единственной большой любви не позволит ему принять на себя какие бы то ни было постоянные узы. Его донкихотство может их раздражать, но не может оскорбить. Он едва заметно вздыхает при мысли, что навсегда лишен радостей домашнего очага и отцовства, но он готов на эту жертву. Он заметил, что публика не желает иметь дела с женами писателей и художников. Художник, который повсюду, куда бы ни шел, берет с собой жену, лишь всем надоедает и поэтому часто оказывается не приглашенным туда, куда бы ему хотелось. Если же он оставляет жену дома, то по возвращении его ждет сцена. Это лишает

человека покоя, столь необходимого, чтобы добиться всего, на что он способен. Элрой Кир холост, и теперь, когда ему минуло пятьдесят лет, ему, вероятно, предстоит таковым и остаться.

Он являет собой пример того, что может сделать и до каких высот может подняться писатель благодаря трудолюбию, здравому смыслу, честности и умелому сочетанию разнообразных хитростей и уловок. Он неплохой человек, и лишь злостный критикан мог бы позавидовать его успеху. Я почувствовал, что, если засну с мыслями о нем, это обеспечит мне безмятежный сон. Я нацарапал записку мисс Феллоуз, выколотил пепел из трубки, погасил свет в гостиной и лег спать.

II

Когда на следующее утро мне принесли газеты и письма, среди них был и ответ на записку, которую я оставил мисс Феллоуз. Он гласил, что мистер Элрой Кир ожидает меня в час пятнадцать в своем клубе на Сент-Джеймс-стрит. Около часа я заглянул в собственный клуб и выпил коктейль — на то, что меня угостит коктейлем Рой, я не особенно надеялся. Потом я не спеша прошелся по Сент-Джеймс-стрит, разглядывая витрины магазинов, и так как до назначенного времени оставалось еще несколько минут (я не хотел быть чересчур пунктуальным), то я зашел в аукционный зал Кристи посмотреть, не приглянется ли мне там что-нибудь. Аукцион уже начался, и стоявшие кучкой смуглые низкорослые люди передавали друг другу серебряные викторианские вещи, а аукционист, скужающим взглядом следя за их движениями, монотонно бормотал: «Предложено десять шиллингов, одиннадцать, одиннадцать с половиной...» Было начало июня, стояла прекрасная погода, воздух на улице был чист и прозрачен, и от этого картины на стенах аукционного зала казались очень тусклыми. Я вышел. Люди шли по улице весело и беззаботно, как будто им в душу проник покой этого дня и среди своих дел они с удивлением ощутили внезапное желание остановиться и взглянуть в картину жизни.

Клуб Роя принадлежал к числу степенных. В вестибюле находились лишь швейцар преклонных лет и раскислый, и мне неожиданно пришла в голову печальная мысль, что все члены клуба отправились хоронить метрд-

отеля. Когда я произнес фамилию Роя, рассыльный повел меня в пустой коридор, где я оставил шляпу и трость, а потом в пустой холл, стены которого были увешаны портретами государственных мужей эпохи Виктории в натуральную величину. Рой встал с кожаного дивана и радостно поздоровался со мной.

— Пойдемте прямо наверх? — сказал он.

Я оказался прав, полагая, что он не угостит меня коктейлем, и похвалил себя за предусмотрительность. Он повел меня по величественной парадной лестнице, покрытой тяжелым ковром; ни единой души не попалось нам навстречу. Мы вошли в столовую для гостей, где тоже оказались единственными посетителями. Это была комната солидных размеров, очень чистая и белая, с большим окном, украшенным роскошными лепными гирляндами. Мы уселись около него, и сдержанный официант подал нам карточку. Говядина, баранина, холодная лососина, пирог с ревенем, пирог с крыжовником... Пробегая этот неизбежный список, я вздохнул при мысли о ресторанах за углом, где была французская кухня, кипела жизнь и сидели хорошенькие, накрашенные женщины в летних платьях.

— Рекомендую паштет из телятины с ветчиной, — сказал Рой.

— Ладно.

— Салат я смешаю сам, — сказал он официанту небрежно, но властно, а потом, еще раз взглянув в карточку, великодушно добавил:

— А как насчет спаржи?

— Очень хорошо.

Он сделался еще величественнее.

— Спаржу на двоих, и скажите шефу, чтобы выбрал сам. Ну, а что бы вы хотели выпить? Что вы скажете о бутылке рейнвейна? Мы здесь большие любители рейнвейна.

Когда я согласился, он велел официанту позвать управляющего винным погребом. Я не мог не восхищаться тем властным, но безукоризненно вежливым тоном, каким он отдавал приказания. Чувствовалось, что именно так должен хорошо воспитанный король посылать за каким-нибудь своим фельдмаршалом. Дородный управляющий в черном костюме с серебряной цепью на шее — знаком своей должности — поспешил явиться с картой вин в руках. Рой кивнул ему со сдержанной фамильярностью.

— Здравствуйте, Армстронг. Мы хотим «Либфрау-милх» двадцать первого года.

— Хорошо, сэр.

— Много его еще осталось? Знаете, ведь больше его не достать.

— Боюсь, что нет, сэр.

— Ну, нечего тревожиться раньше времени. Верно, Армстронг?

Рой добродушно улыбнулся управляющему. Опыт многолетнего общения с членами клуба подсказал тому, что это замечание требовало ответа.

— Да, сэр.

Рой засмеялся и взглянул на меня. Занятный человек этот Армстронг.

— Так вот, заморозьте его, Армстронг. Не слишком, а в самую меру. Покажите моему гостю, что мы здесь понимаем в этом толк.

Он повернулся ко мне.

— Армстронг служит у нас уже сорок восемь лет.

Когда управляющий ушел, Рой сказал:

— Надеюсь, вы не пожалеете, что пришли сюда. Здесь тихо, и мы сможем как следует поговорить. Давненько нам это не удавалось. А вы как будто в прекрасной форме.

Это привлекло мое внимание к внешности Роя.

— Но до вас мне далеко, — ответил я.

— Плоды честной, трезвой и праведной жизни, — засмеялся он. — Много работы. Много спорта. Как ваши успехи в гольфе? Надо будет нам как-нибудь сыграть партию.

Я знал, что Рой прекрасно играет в гольф и что меньше всего он стремится к тому, чтобы потерять целый день с посредственным игроком вроде меня. Но я почувствовал, что мне ничего не грозит, если даже я и приму столь неопределенное приглашение.

Рой выглядел воплощением здоровья. В его вьющихся волосах появилась сильная проседь, но она ему шла и делала еще моложе его открытое, загорелое лицо. Глаза его, глядевшие на мир с таким неподдельным чистосердечием, были ясны и чисты. Он уже утратил былую стройность, и я не удивился, что, когда официант принес булочки, Рой попросил для себя диетических хлебцев. Легкая полнота лишь усугубляла его достоинство: она придавала больший вес его словам. Из-за того, что его движе-

ния стали более неторопливыми, чем раньше, вас охватывало приятное чувство доверия к нему; он так плотно заполнял свое кресло, что трудно было отделаться от впечатления, будто он сидит на постаменте.

Не знаю, удалось ли мне, излагая здесь разговор Роя с официантом, показать, что его беседа обычно не отличалась ни остроумием, ни блеском, но он говорил непринужденно и так много смеялся, что иногда казалось, будто его слова и вправду остроумны. У него всегда находилось что сказать, и он мог обсуждать злободневные темы с такой легкостью, что его собеседники не чувствовали никакого напряжения мысли.

Писатели всю жизнь работают над словом, и многим из них свойственна дурная привычка слишком точно подбирать выражения в разговоре. Сами того не замечая, они правильно строят фразы, означающие именно то, что они хотят сказать,— не больше и не меньше. Этим они несколько отпугивают лиц из высших слоев общества, чей лексикон ограничен их нехитрыми духовными потребностями, и такие лица не без колебаний вступают с ними в беседу. С Роем никто никогда не чувствовал подобного стеснения. С танцором-гвардейцем он мог разговаривать, пользуясь совершенно понятными ему словами, с графиней — любительницей скачек мог вести беседу на языке конюхов. О нем с восторгом и облегчением говорили, что он ничуть не похож на писателя. Не было комплимента, который доставлял бы ему большее удовольствие.

Благоразумные люди всегда употребляют множество ходячих фраз, общепринятых эпитетов, глаголов, смысл которых известен лишь тем, кто возвращается в определенном кругу; эти дешевые блески украшают светскую беседу и избавляют от необходимости думать. Американцы, самые изобретательные люди на земле, довели такой способ до столь высокого совершенства и выдумали столь широкий ассортимент многозначительных банальностей, что могут вести занимательный и оживленный разговор, ни на мгновение не задумываясь над тем, что говорят. Это освобождает их мозг для размышления о более важных вопросах — например, о большом бизнесе или о прелюбодеянии. У Роя тоже был обширный репертуар, а чутьем на модные словечки он обладал безошибочным; они в изобилии, но всегда к месту уснащали его речь, и он вставлял их каждый раз с радостной готовностью, как

будто только сию минуту их породило его плодотворное воображение.

На этот раз он говорил о том о сем, о наших общих знакомых, о новых книгах, об опере. Он был очень весел. Он всегда отличался жизнерадостностью, но сегодня от его веселья просто захватывало дух. Он сетовал на то, что мы так редко видимся, и с той прямою, которая была одной из его приятнейших черт, говорил мне, как он меня любит и какого высокого обо мне мнения. Я чувствовал, что должен ответить ему тем же дружелюбием. Он расспрашивал меня о книге, которую писал я, а я расспрашивал его о книге, которую писал он. Мы пожаловались друг другу, что ни один из нас не пользуется тем успехом, какого заслуживает. Мы съели паплет из телятины с ветчиной, и Рой рассказал мне, как он смешивает салат. Мы пили рейнвейн и одобрительно причмокивали губами.

А я все думал, когда же он доберется до сути дела. Я не мог заставить себя поверить, что в разгар лондонского сезона Элрой Кир способен потратить целый час на собрата по перу, который не ведет критического раздела и не пользуется никаким влиянием решительно нигде,— только для того, чтобы поговорить о Матиссе, русском балете и Марселе Прусте. Кроме того, за его весельем я смутно чувствовал, что он как будто чего-то ждет. Не знай я, что он процветает, я бы заподозрил его в намерении занять у меня сотню фунтов.

Дело шло к тому, что обед кончится, а ему так и не представится случай высказаться. Я знал, что он осторожен. Может быть, он решил, что лучше воспользоваться этой первой после столь долгой разлуки встречей лишь для восстановления дружеских отношений, и рассматривал нашу приятную, обильную трапезу лишь как приманку?

— Пойдемте пить кофе в соседнюю комнату? — предложил он.

— Пожалуйста.

— По-моему, там удобнее.

Я прошел за ним в другую комнату, гораздо более просторную, с огромными кожаными креслами и необозримыми диванами; на столах здесь лежали газеты и журналы. В углу вполголоса разговаривали два старых джентльмена. Они враждебно взглянули на нас, но это не помешало Рою дружески их приветствовать.

— Здравствуйте, генерал, — воскликнул он, весело кивнув головой.

Я постоял у окна, глядя на открывавшийся за ним радостный день, и пожалел, что плохо знаю исторические события, связанные с Сент-Джеймс-стрит. К моему стыду, я не знал даже названия клуба напротив, а спросить Роя боялся, чтобы он не начал презирать меня за незнание вещей, известных каждому приличному человеку. Он подозвал меня, спросив, буду ли я пить с кофе коньяк, и когда я отказался, продолжал настаивать. Клуб славился своим коньяком. Мы сели рядом на диван у элегантного камина и закурили сигары.

— Здесь со мной обедал Эдуард Дриффилд, когда в последний раз перед смертью был в Лондоне, — небрежно сказал Рой. — Я заставил старика попробовать наш коньяк, и он был в восторге. В прошлое воскресенье я побывал в гостях у его вдовы.

— В самом деле?

— Она передавала вам всяческие приветы.

— Очень мило с ее стороны. Я не думал, что она меня помнит.

— Ну как же, конечно, помнит. Вы обедали там лет шесть назад, верно? Она говорит, что старик был так рад вас видеть.

— Она-то, по-моему, была не очень рада.

— О нет, вы ошибаетесь. Ну, конечно, ей приходилось соблюдать большую осторожность. Старика просто осаждали люди, которые хотели с ним увидаться, и она должна была беречь его силы. Она всегда боялась, что он переутомится. Уж если на то пошло, вообще удивительно, как это он у нее продержался, да еще в здравом уме и твердой памяти, до восьмидесяти четырех лет. После его смерти я довольно-таки часто ее видел. Она очень одинока. В конце концов, она двадцать пять лет только и делала, что ухаживала за ним. А это, знаете, нелегко. Мне ее вправду жаль.

— Она сравнительно молода. Пожалуй, еще выйдет замуж.

— О нет, она не сможет этого сделать. Это было бы ужасно.

Мы пригубили коньяк и помолчали.

— Вы, кажется, один из тех немногих, кто знал Дриффилда, пока он еще не пользовался известностью. Вы когда-то часто с ним виделись, верно?

— Более или менее. Я был почти мальчишкой, а он уже был в летах. Так что закадычными приятелями мы не были.

— Может быть, и нет, но вы, наверное, знаете о нем много такого, чего другие не знают.

— Пожалуй, да.

— А вам никогда не приходило в голову написать о нем воспоминания?

— Что вы, конечно, нет!

— А не кажется ли вам, что вы должны это сделать? Это же был один из великих романистов нашего времени. Последний из викторианцев. Исполин. Если каким-нибудь книгам, написанным за последние сто лет, суждено бессмертие, то это его романы.

— Сомневаюсь. Мне они всегда казались довольно скучными.

Рой поглядел на меня смеющимися глазами.

— Как это похоже на вас! Во всяком случае, вы должны признать, что находитесь в меньшинстве. Я, не стыдясь, сознаюсь, что читал его книги не раз и не два, а раз по пять, и с каждым разом они кажутся мне все лучше и лучше. Вы читали, что писали о нем после его смерти?

— Кое-что.

— Единодушие было просто потрясающим. Я прочел все.

— Но если везде говорилось одно и то же, стоило ли все читать?

Рой добродушно пожал плечами, но не ответил.

— По-моему, великолепно выступил «Таймс литерари сапплмент». Старик был бы рад, если бы прочел. Я слышал, что «Куортерли» готовит о нем статью в следующем номере.

— А я все равно считаю, что романы у него довольно скучные.

Рой снисходительно улыбнулся.

— Вас не смущает то, что ваше мнение расходится со всеми авторитетами?

— Ничуть. Я пишу уже тридцать пять лет, и вы не можете себе представить, сколько писателей на моих глазах были провозглашены гениями, час-другой наслаждались славой и погружались в забвение. Любопытно, что потом с ними случилось. Умерли они, или попали в сумасшедший дом, или где-нибудь служат? Может быть,

они живут в захолустных деревушках и украдкой дают почитать свои книги местному доктору и старым девам из благородных семей? А может, их все еще считают великими людьми в каком-нибудь итальянском пансионе?

— Да, это неудачники. Я знавал таких.

— Вы даже читали о них лекции.

— Приходится. Почему не помочь людям, если можешь и если знаешь, что из них все равно ничего не получится? Черт возьми, можем же мы себе позволить быть великодушными! И потом у Дриффилда нет с ними ничего общего. В полном собрании его сочинений тридцать семь томов, и последний экземпляр был продан на аукционе у Сотеби за семьдесят восемь фунтов. Это говорит само за себя. Тиражи его книг росли из года в год и в прошлом году были больше, чем когда-либо раньше. Можете мне поверить, эти цифры показывала мне миссис Дриффилд, когда я был там в последний раз. Дриффилд останется навсегда.

— Кто знает?

— Ну, по-вашему, вы все знаете,— съязвил Рой в ответ, но я не смутился. Я знал, что мои слова раздражают его, и это доставляло мне удовольствие.

— По-моему, первые впечатления, оставшиеся у меня с детства, были правильными. Мне говорили, что Карлайл — великий писатель, и мне было очень стыдно, когда я убедился, что не могу прочесть «Французскую революцию» и «Сартор ресартус». А кто их читает теперь? Чужие мнения казались мне вернее моих собственных, и я заставлял себя считать великолепным писателем Джорджа Мередита. Но про себя я думал, что он пишет выпендренне, неискренне и многословно. Сейчас многие так считают. Мне говорили, что культурный молодой человек должен восхищаться Уолтером Патером, и я им восхищался, но, боже мой, какая скучища его «Мариус»!

— Ну, конечно, Патера, по-моему, теперь в самом деле никто не читает, и от Мередита уже ничего не осталось, а что до Карлайла, то это попросту претенциозный болтун...

— Но вы не представляете, как уверены были все в их бессмертии тридцать лет назад.

— И вы никогда не делали ошибок?

— Одну или две. Я и наполовину так не ценил Ньюмена, как ценю сейчас, а звонкие четверостишия Фиджеральда нравились мне гораздо больше, чем теперь.

Я не смог одолеть «Вильгельма Мейстера» Гете, а теперь считаю его шедевром.

— А что из того, что казалось вам хорошим тогда, все еще вам нравится?

— Ну, «Тристрам Шенди», и «Эмилия», и «Ярмарка тщеславия». «Мадам Бовари», «Пармская обитель» и «Анна Каренина». И Вордсворт, и Китс, и Верлен.

— Вы, конечно, извините, но я позволю себе заметить, что это не особенно оригинально.

— Пожалуйста. Я и не думаю, что это оригинально. Но вы спросили, почему я доверяю своему собственному суждению, и я попытался объяснить: что бы я ни утверждал из робости и из уважения к тогдашнему просвещенному мнению, на самом деле я не восхищался некоторыми авторами, которых тогда считали достойными восхищения. И время как будто показало, что я был прав. А то, что мне тогда откровенно и инстинктивно нравилось, выдержало испытание временем и для меня, и для критики вообще.

Рой помолчал. Он заглянул в свою чашку — не знаю, хотел ли он посмотреть, не осталось ли там еще кофе, или пытался найти что сказать. Я поднял глаза на часы над камином. Через минуту я смогу уйти, не нарушая приличий. Может быть, я все-таки ошибался и Рой пригласил меня лишь для того, чтобы поболтать о Шекспире и о музыкальных новинках? Я упрекнул себя за то, что так дурно о нем думал, и бросил на него сочувственный взгляд. Если такова была его единственная цель, это могло означать одно: он устал и разочарован. Такое бескорыстие могло свидетельствовать лишь о том, что, по крайней мере в данный момент, у него на душе скверно.

Но он заметил, что я посмотрел на часы, и заговорил.

— Не понимаю, как вы можете отрицать, что если человек на протяжении шестидесяти лет пишет книгу за книгой и пользуется все растущей популярностью, — значит, в нем что-то есть? Ведь в Ферн-Корте целые шкафы забиты переводами книг Дриффилда на языки всех цивилизованных народов. Конечно, я согласен, многое из того, что он написал, в наше время кажется слегка старомодным. Он расцвел в неудачную эпоху, и у него осталась склонность к пустословию. Большая часть его сюжетов мелодраматична. Но вы должны согласиться, что одно достоинство у него есть — это чувство прекрасного.

— В самом деле? — сказал я.

— В конце концов, это самое главное, а у Дриффилда нет такой страницы, которая не была бы проникнута чувством прекрасного.

— Да? — сказал я.

— Жаль, что вас не было, когда мы поехали преподнести ему к восьмидесятилетнему юбилею его портрет. Это было действительно памятное событие.

— Я читал об этом в газетах.

— Знаете, там были не только писатели — это было очень представительное общество: наука, политика, деловой мир, искусство, высший свет. Не часто собирается такая коллекция знаменитостей, как та, что вышла тогда из поезда в Блэкстебле. Все были ужасно тронуты, когда премьер вручил старику орден «За заслуги». Он произнес прекрасную речь. Я не стыжусь сказать, что у многих в тот день навернулись слезы на глаза.

— А Дриффилд тоже плакал?

— Нет, он держался на удивление спокойно. Он был, как всегда — такой, знаете, чуть застенчивый, скромный, с безупречными манерами. Он, конечно, был полон благодарности, но немного суховат. Миссис Дриффилд боялась, чтобы он не переутомился, и, когда мы сели обедать, он остался в кабинете, а она велела отнести ему кое-что на подносе. Пока все пили кофе, я улизнул к нему. Он курил трубку и глядел на портрет. Я спросил, понравился ли ему портрет. Он ничего не ответил, только чуть улыбнулся. Потом он спросил, как я считаю, можно ли ему вынуть зубные протезы, а я сказал, что нет и что вся депутация сейчас придет прощаться. Потом я спросил, не думает ли он, что это удивительные минуты. «Занятно, — сказал он. — Очень занятно». По-моему, он был просто потрясен. В последние годы он очень неопрятно ел, да и курил тоже — весь обсыпался табаком, когда набивал трубку. Миссис Дриффилд не любила, чтобы он в таком виде показывался людям, но я-то, конечно, был не в счет. Я почистил его, а потом все пришли поздравить его руку, и мы возвратились в город.

Я встал.

— Ну, мне в самом деле пора. Я очень рад, что с вами повидался.

— Я сейчас собираюсь на закрытый вернисаж в Лестерскую галерею. Я там кое-кого знаю. Если хотите, я вас проведу.

— Это очень любезно с вашей стороны, но они прислали мне приглашение. Нет, я, пожалуй, не пойду.

Мы спустились по лестнице, и я взял шляпу. Когда мы вышли на улицу и я повернул в сторону Пиккадилли, Рой сказал:

— Я провожу вас до угла.

Он зашагал со мной в ногу.

— Вы ведь знали его первую жену?

— Чью?

— Дриффилда.

— А! — Я уже забыл о нем. — Да.

— Хорошо знали?

— Достаточно хорошо.

— Кажется, она была просто ужасна.

— Этого я что-то не припомню.

— Как будто страшно вульгарная женщина. Ведь она была буфетчицей, да?

— Верно.

— Не понимаю, как его угораздило на ней жениться. Я везде слышал, что она изменяла ему на каждом шагу.

— Да, на каждом шагу.

— Вы вообще-то помните, какая она была?

— Прекрасно помню. — Я улыбнулся. — Она была прелесть.

Рой усмехнулся.

— Большинство о ней другого мнения.

Я промолчал. Мы дошли до Пиккадилли, и я, остановившись, протянул ему руку. Он пожал ее, но, как мне показалось, без своей обычной сердечности. У меня осталось впечатление, будто он разочарован нашей встречей. Я не мог понять почему. Он не добился от меня, чего хотел, по той простой причине, что не дал мне ни малейшего намека на то, что бы это могло быть. Не спеша шагая мимо аркады отеля «Риц» и вдоль ограды парка до угла Хаф-Мун-стрит, я размышлял, не было ли мое поведение более обычного отпугивающим. Ясно, что Рой счел случай неподходящим, чтобы просить меня о каком-то одолжении.

Я свернул на Хаф-Мун-стрит. После веселой суматохи Пиккадилли здесь царила приятная тишина. Это была почтенная, респектабельная улица. В большинстве домов здесь сдавались квартиры, но об этом не извещали вульгарные объявления: на некоторых об этом гласили начищенные до блеска медные таблички, какие вывешивают

врачи, на окнах других было аккуратно выведено: «Квартиры». На одном-двух особенно благопристойных домах просто была обозначена фамилия владельца: не зная, в чем дело, можно было подумать, что здесь помещается портной или ростовщик. В отличие от Джермин-стрит, где тоже сдают комнаты, здесь не было такого напряженного уличного движения; только кое-где у дверей стояли пустые шикарные машины да иногда такси высаживало какую-нибудь пожилую леди. Чувствовалось, что здесь живут не веселые обитатели Джермин-стрит с их чуть сомнительной репутацией — любители скачек, встающие по утрам с головной болью и требующие рюмочку, чтобы прийти в себя, — а респектабельные дамы, приехавшие из провинции на шесть недель в разгар лондонского сезона, и пожилые джентльмены, принадлежащие к клубам, куда не всякого пускают. Чувствовалось, что они из года в год приезжают в один и тот же дом и, может быть, знавали его владельца, еще когда он был в услужении. Моя хозяйка мисс Феллоуз когда-то служила кухаркой в нескольких очень хороших домах, но вы бы никогда об этом не догадались, увидев ее идущей за покунками на рынок. Она не была ни толстой, ни краснолицей, ни неряшливой, какими мы обычно представляем себе кухарок: это была женщина средних лет, худая, с решительным выражением лица; держалась она очень прямо, одевалась скромно, но по моде, красила губы и носила монокль. Она отличалась деловитостью, хладнокровием, спокойным цинизмом и брала очень дорого.

Я снимал у нее комнаты в первом этаже. Гостиная была оклеена старыми обоями под мрамор, а на стенах висели акварели, изображавшие всякие романтические сцены: кавалеров, расстающихся со своими дамами, и рыцарей былых времен, пирующих в роскошных залах. В комнате стояли высокие папоротники в горшках, а кресла были обиты выцветшей кожей. Комната чем-то странно напоминала о восьмидесятих годах, только за окном вместо собственных экипажей проезжали крайслеры. Окна задергивались занавесями из тяжелого красного репса.

III

В этот день у меня было много дел, но разговор с Роем и то ощущение, которое, не знаю почему, сильнее обычного охватило меня, как только я вошел в свою

комнату, — ощущение позавчерашнего дня, продолжающего жить в памяти еще не старых людей, — все это побуждало к тому, чтобы погрузиться в воспоминания. Как будто меня обступили все, кто когда-то жил в этой комнате, с их старомодными манерами, в странных одеждах: мужчины с подстриженными бачками и в скюртуках, женщины в юбках с турнюрами и в оборках. Отдаленный городской шум, который я не то слышал, не то воображал (дом стоял в самом конце Хаф-Мун-стрит), и прелесть солнечного июньского дня (*le vierge, le vivace et le bel aujourd'hui*¹) придали моим грезам особую остроту, не лишённую приятности. Казалось, прошлое, в которое я вглядывался, потеряло свою реальность, и я как будто из заднего ряда темной галерки смотрел сцену из какой-то пьесы. Но возникавшие передо мной картины не смазывались, как в жизни, когда непрерывная толчея впечатлений лишает их отчетливости, а были четкими, резкими и определенными, как пейзаж, тщательно выписанный художником середины викторианской эпохи.

По-моему, жизнь сейчас стала интереснее, чем сорок лет назад, и мне кажется, что люди стали общительнее. Конечно, может быть, тогда они были достойнее и добродетельнее или, как говорят, мудрее. Не знаю; знаю только, что они были сварливее, слишком много ели, частенько слишком много пили и вели слишком малоподвижную жизнь. У них вечно была не в порядке печень, а нередко — и пищеварение. Они были раздражительны. Я говорю не о Лондоне, которого совершенно не знал, пока не стал взрослым, и не о знати, увлекавшейся охотой; я имею в виду провинцию и людей помельче — джентльменов с небольшим доходом, священников, отставных офицеров и тому подобных, тех, кто составлял местное общество. Их жизнь была невероятно скучной. В гольф тогда не играли; кое-где были скверные теннисные корты, но играла в теннис лишь молодежь; раз в год в собрании устраивались танцы; в послеобеденное время те, у кого были экипажи, ездили кататься, а остальные «делали моцион»!

Конечно, они не сознавали, что лишены развлечений, о существовании которых и не подозревали, и увеселяли себя тем, что время от времени устраивали маленькие

¹ Начало стихотворения Ст. Малларме «Лебедь».

приемы (чай, на который приходили со своими музыкальными инструментами и исполняли песни Мод Валери Уайт и Тости); но дни тянулись долго, и люди скучали. Соседи, обреченные прожить до конца своих дней в миле друг от друга, ссорились не на жизнь, а на смерть и, ежедневно встречаясь в городе, не здоровались на протяжении двадцати лет. Они были тщеславны, упрямы и своенравны. Такая жизнь нередко порождала необычные типы: люди не были так похожи друг на друга, как сейчас, и создавали себе некоторую известность своими причудами, но поладить с ними было нелегко. Может быть, мы в самом деле легкомысленны и беззаботны, но мы не питаем друг к другу такой подозрительности. Мы грубоваты, но добродушны, более уживчивы и не так чванливы.

Я жил у дяди и тети на окраине маленького приморского городка в Кенте. Город назывался Блэкстебл, и дядя был в нем приходским священником. Тетя происходила из очень знатной, но обедневшей немецкой семьи и принесла с собой в приданое только письменный стол-маркетри, изготовленный по заказу одного из ее предков в семнадцатом веке, и набор бокалов. К тому времени, как я появился на сцене, из них осталось лишь несколько штук, служивших украшением гостиной. Мне очень нравился выгравированный на них большой герб. Там было не знаю сколько полей, значение которых тетя объясняла мне с полной серьезностью, прекрасные геральдические звери и невероятно романтичный шлем, возвышавшийся над короной. Тетя была простодушная, кроткая и благожелательная старая леди, но, хоть она и прожила тридцать лет замужем за скромным священником с очень небольшим доходом сверх жалованья, она не забыла своего высокородного происхождения. Когда соседний дом снял на лето богатый лондонский банкир, сейчас хорошо известный в финансовых кругах, и мой дядя нанес ему визит (я полагаю, главным образом ради того, чтобы добиться от него пожертвования в фонд поощрения священнослужителей), она отказалась поехать к нему — ведь он был не дворянин. И никто не упрекнул ее в снобизме: все сочли это вполне естественным. У банкира был сын примерно моего возраста, и, уж не помню как, я с ним познакомился. Я до сих пор не забыл, какой последовал спор, когда я попросил разрешения пригласить его к нам. Разрешение было нехотя дано, но побывать в гостях у него мне не позволили. Тетя сказала, что так я,

чего доброго, попрошусь в гости и к угольщику, а дядя добавил:

— Дурные знакомства портят хорошие манеры.

Каждое воскресенье банкир приходил в церковь на утреннюю службу и каждый раз оставлял на блюде для пожертвований полсоверена. Но если он думал, что его щедрость производит благоприятное впечатление, он сильно ошибался. Об этом знал весь Блэкстебл, но все считали, что он лишь кичится своим богатством.

Блэкстебл состоял из одной извилистой улицы, выходящей к морю, с маленькими двухэтажными домами. Часть их составляли особняки, но немало было и лавок. От этой улицы отходили короткие улочки, заканчивавшиеся с одной стороны в поле, а с другой — в болотах. Гавань была окружена лабиринтом узких кривых переулков. Уголь в Блэкстебл доставляли пароходами из Ньюкасла, и в гавани кипела жизнь. Когда я подростом настолько, что мне разрешили гулять одному, я часами бродил здесь, разглядывал грубоватых перемазанных моряков в шерстяных фуфайках и смотрел, как разгружают уголь.

В Блэкстебле я и встретился впервые с Эдуардом Дриффилдом. Мне тогда было пятнадцать лет, и я только что приехал на каникулы. В первое же утро я взял полотенце и купальные трусы и отправился на пляж. Небо было чистое, воздух горячий и прозрачный, а Северное море придавало ему особенный привкус, так что просто жить и дышать было наслаждением. Зимой жители Блэкстебля торопливо шагали по пустым улицам, съезжившись и стараясь подставить жгучему восточному ветру как можно меньшую поверхность тела. Но теперь они никуда не спешили и стояли кучками между «Герцогом Кентским» и расположенным чуть дальше по улице «Медведем и ключом». Слышался их протяжный восточно-английский говор; может быть, он и некрасив, но я до сих пор по старой памяти нахожу в нем какое-то ленивое очарование. У них были розовые лица с голубыми глазами и высокими скулами и светлые волосы. Они производили впечатление чистых, честных и искренних людей. Не думаю, чтобы они отличались особенным умом, но были бесхитростны и простодушны. Выглядели они здоровыми и, несмотря на невысокий рост, были по большей части сильны и подвижны. В то время уличного движения в Блэкстебле почти не существовало, и куч-

кам людей, болтавших между собой там и сям на дороге, почти не приходилось уступать место экипажам — разве что проезжала двуколка доктора или фургон булочника.

Мимоходом я зашел в банк, чтобы поздороваться с управляющим, который состоял у моего дяди церковным старостой, и, выходя оттуда, встретил дядиного помощника. Он остановился, чтобы пожать мне руку. Его сопровождал какой-то незнакомец, которому он меня не представил. Это был невысокий бородатый человек, одетый довольно безвкусно: светло-коричневый костюм с бриджами, туго обтягивающими ноги ниже колен, темно-синие чулки, черные башмаки и шляпа с низкой тульей и широкими полями. Тогда бриджей почти не носили, и я по молодости лет тут же решил, что это человек дурного тона. Но пока я болтал с дядиным помощником, он дружелюбно смотрел на меня с улыбкой в светло-голубых глазах. Я чувствовал, что ему ничего не стоит присоединиться к нашему разговору, и принял надменный вид. Я не желал, чтобы со мной заговорил этот мужлан, одетый в бриджи, как лесничий, а фамильярно-добродушное выражение его лица меня возмущало. Сам я был одет безукоризненно: белые фланелевые брюки, голубая фланелевая куртка с гербом школы на нагрудном кармане и черно-белая шляпа с очень широкими полями.

Вскоре дядин помощник сказал, что ему пора идти (я был счастлив, потому что никогда не отличался умением закончить уличный разговор и вечно сторал от застенчивости, тщетно поджидая удобного случая), но добавил, что после обеда зайдет к нам, и попросил передать это дяде. Незнакомец кивнул и улыбнулся мне на прощанье, но я смерил его ледяным взглядом. Я решил, что он дачник, а с дачниками мы в Блэкстебле дела не имели, считая лондонцев вульгарными. Мы говорили: ужасно, что каждый год сюда приезжает вся эта городская шваль, но, конечно, это необходимо для блага торгового сословия. Впрочем, даже оно вздыхало с некоторым облегчением, когда сентябрь подходил к концу и Блэкстебл вновь погружался в свой обычный мир и покой.

Придя домой к обеду с еще мокрыми, прилипшими к голове волосами, я сказал, что встретил дядиного помощника и что он после обеда придет.

— Сегодня ночью умерла старая миссис Шеперд,— объяснил дядя.

Дядиною помощника звали Гэллоуэй; это был высокий, тощий, нескладный человек с растрепанными черными волосами и маленьким, болезненным смуглым лицом. Вероятно, он был еще совсем молод, но мне казался пожилым. Говорил он очень быстро и сильно жестикулировал. Из-за этого люди считали его немного странным, и мой дядя не взял бы его к себе в помощники, если бы не его огромная энергия: дядя был крайне ленив и очень обрадовался, что нашелся человек, готовый принять на себя столько работы.

Покончив с делами, мистер Гэллоуэй зашел попрощаться с тетей, и она пригласила его остаться пить чай.

— С кем это вы были сегодня утром? — спросил я его, как только он сел.

— О, это Эдуард Дриффилд. Я вас не познакомил, потому что не знал, будет ли ваш дядя доволен таким знакомством.

— Я думаю, это было бы крайне нежелательно,— сказал дядя.

— А почему? Кто он такой? Он не из Блэкстебла?

— Он родился в нашем приходе,— сказал дядя.— Его отец был управляющим у старой мисс Вулф в Ферн-Корте. Но они не принадлежали к нашей церкви.

— Он женился на девушке из Блэкстебла,— сказал мистер Гэллоуэй.

— И венчались, кажется, по нашему обряду,— сказала тетя.— Правда, что она была буфетчицей в «Железнодорожном гербе»?

— Судя по ее виду, вполне могла быть,— ответил мистер Гэллоуэй с улыбкой.

— Надолго они сюда?

— Да, как будто. Они сняли дом в том переулке, где церковь конгрегационалистов.

Хотя новые улицы Блэкстебла, несомненно, имели названия, никто в городе тогда их не знал и не употреблял.

— А он в церковь ходит? — спросил дядя.

— Еще не спрашивал,— ответил мистер Гэллоуэй.— Знаете, он вполне образованный человек.

— Трудно поверить.

— Насколько я знаю, он кончил хэвершемскую школу и получил массу всяких стипендий и призов. Его

послали учиться в Уодхэм, но он сбежал и поступил в матросы.

— Я слышал, что он человек довольно легкомысленный, — сказал дядя.

— Но он не похож на моряка, — заметил я.

— О, он это занятие бросил много лет назад. С тех пор кем он только не перебивал.

— Всего понемногу, и ничего толком, — сказал дядя.

— А теперь, насколько мне известно, он писатель.

— Ну, это ненадолго.

Я никогда еще не видел писателя и заинтересовался.

— А что он пишет? — спросил я. — Книжки?

— Кажется, — ответил дядин помощник, — и еще статьи. В прошлом году весной он напечатал повесть. Он обещал дать ее почитать.

— На вашем месте я не стал бы тратить время на всякую чушь, — сказал дядя, который никогда ничего не читал, кроме «Таймс» и «Гардиан».

— А как она называется? — спросил я.

— Он говорил мне название, но я забыл.

— Во всяком случае, тебе совершенно необязательно это знать, — сказал дядя мне. — Я категорически возражаю против того, чтобы ты читал эту дрянь. Самое лучшее для тебя — провести каникулы на воздухе. К тому же у тебя, кажется, есть задание на лето?

Задание действительно было — «Айвенго». Я читал его, когда мне было десять лет, и теперь перспектива перечитывать его и писать о нем сочинение приводила меня в отчаяние.

Думая о том величии, которого достиг впоследствии Эдуард Дриффилд, я не могу не улыбаться при воспоминании о том, как его персону обсуждали за столом моего дяди. Недавно, после смерти Дриффилда, когда его почитатели начали кампанию за то, чтобы он был погребен в Вестминстерском аббатстве, нынешний блэкстеблский священник, третий по счету после моего дяди, написал письмо в редакцию «Дейли мейл», в котором указал, что Дриффилд родился в этом приходе и не только провел здесь многие годы, особенно на протяжении последних двадцати пяти лет, но и сделал город местом действия нескольких самых знаменитых своих книг; поэтому было бы естественно, чтобы его прах покоился на том кладбище, где под сенью кентских вязов почивают в мире его отец и мать. Блэкстебл был в восторге, когда вестмин-

стерский настоятель довольно резко отказал в разрешении захоронить Дриффилда в аббатстве и миссис Дриффилд напечатала в газетах полное достоинства открытое письмо, где выражала уверенность, что исполняет заветное желание покойного мужа, хороня его среди простых людей, которых он так хорошо знал и любил. Если только почтенные горожане Блэкстебла не изменились в корне с тех пор, как я их знал, им должны были не очень понравиться эти слова насчет «простых людей», но, как я узнал впоследствии, они так или иначе всегда терпеть не могли вторую миссис Дриффилд.

IV

Два или три дня спустя после обеда с Элроем Киром я, к своему удивлению, получил письмо от вдовы Эдуарда Дриффилда. Оно гласило:

«Дорогой друг,

я слышала, что Вы на прошлой неделе имели долгий разговор с Роем об Эдуарде Дриффилде, и была очень рада, узнав, что Вы так хорошо о нем отзывались. Он часто говорил мне о Вас. Он восхищался Вашим талантом и был так рад, когда Вы приехали к нам обедать. Я подумала — нет ли у Вас каких-нибудь писем от него; если есть, не предоставите ли Вы мне их копии? Я была бы очень рада, если бы смогла уговорить Вас приехать сюда ко мне на два-три дня. Я теперь живу очень удивленно, здесь никто не бывает, так что приезжайте, когда Вам будет удобно. Я с удовольствием снова повидаюсь с Вами, и мы поболтаем о прежних временах. Я хочу попросить Вас об одном одолжении и уверена, что ради моего дорогого покойного мужа Вы мне не откажете.

Всегда искренне Ваша,

Эми Дриффилд».

Я встречался с миссис Дриффилд лишь однажды, и она не вызвала у меня особого интереса. Я не люблю, когда ко мне обращаются «дорогой друг», — одного этого было бы достаточно, чтобы я не принял ее приглашения. Кроме того, меня вообще возмутил самый тон письма: оно было написано так, что какой бы повод для отказа

я ни изобрел, все равно было бы совершенно очевидно, что я просто не пожелал приехать. Писем от Дриффилда у меня не было. Кажется, много лет назад я несколько раз получал от него коротенькие записки, но тогда он был еще никому не известен, и даже если бы я имел привычку хранить письма, мне никогда не пришло бы в голову сохранить эти. Откуда я мог знать, что его провозгласят величайшим романистом нашего времени? Я заколебался только потому, что, по словам миссис Дриффилд, она хотела о чем-то меня попросить. Это наверняка будет что-нибудь нудное, но отказаться было бы невежливо и, в конце концов, ее муж был человек весьма достойный.

Письмо пришло рано утром, и после завтрака я позвонил Рою. Как только его секретарь услышал мое имя, он соединил нас. Если бы я писал детективный рассказ, я немедленно заподозрил бы, что моего звонка ждали, и мои подозрения подтвердил бы бодрый и мужественный голос Роя. Это неестественно, чтобы человек в столь ранний час проявлял такую жизнерадостность.

— Надеюсь, я не разбудил вас? — сказал я.

— Конечно же, нет! — Он залился здоровым смехом. — Я на ногах с семи часов. Катался верхом в парке, а теперь как раз собираюсь завтракать. Приезжайте — позавтракаем вместе.

— Я очень люблю вас, Рой, — ответил я, — но вы — не тот человек, завтрак с которым мне доставил бы удовольствие. Кроме того, я уже завтракал. Послушайте, я только что получил письмо от миссис Дриффилд с просьбой приехать к ней в гости.

— Да, она говорила мне, что собирается вас пригласить. Мы можем поехать вместе. У нее вполне приличный корт, и принимает она очень хорошо. Думаю, вам понравится.

— А чего ей от меня нужно?

— Ну, вероятно, она хотела бы сказать вам это сама.

Голос Роя сделался настолько сладким, что мне пришло в голову: именно так он объявил бы будущему отцу семейства о том, что его жена намерена вскорости исполнить его заветное желание. Но на меня это не подействовало.

— Бросьте, Рой, — сказал я. — Старого воробья на мякине не проведешь. Выкладывайте.

Наступила секундная пауза. Я почувствовал, что Рою мой тон не понравился.

— Вы заняты сегодня утром? — спросил он вдруг. — Я хотел бы к вам заехать.

— Хорошо, приезжайте. Я буду дома до двух.

— Я приеду через час.

Я повесил трубку, закурил и еще раз просмотрел письмо от миссис Дриффилд.

Тот обед, о котором она писала, я прекрасно помнил. Как-то я несколько дней отдыхал недалеко от Теркенбери у некой леди Ходмарш — неглупой и хорошенькой американки, жены одного баронета, совершенно лишённого интеллекта, но обладавшего очаровательными манерами. Вероятно, чтобы скрасить монотонность семейной жизни, она часто принимала у себя людей, имевших отношение к искусству, собирая разнообразную и оживлённую компанию. Представители знати и дворянства с изумлением и некоторой робостью встречались у нее с художниками, писателями и актерами. Леди Ходмарш не читала книг и не видела картин, написанных людьми, которым оказывала гостеприимство, но ей нравилось их общество, и она любила чувствовать свою причастность к миру искусства. Однажды разговор у нее коснулся Эдуарда Дриффилда — самого знаменитого из ее соседей. Я заметил, что когда-то очень хорошо его знал, и она предложила в понедельник, когда большинство гостей возвратится в Лондон, съездить к нему пообедать. Я колебался: Дриффилда я не видел уже тридцать пять лет и не мог предположить, чтобы он меня вспомнил, а если и вспомнил бы (впрочем, об этом я умолчал), то, по всей вероятности, без особой радости. Но при этом случился один молодой пэр — некий лорд Скэллион, который проявлял такой бурный интерес к литературе, что, вместо того чтобы править Англией в соответствии со всеми законами божескими и человеческими, тратил всю свою энергию на сочинение детективных романов. Он выразил сильнейшее желание повидать Дриффилда и, как только леди Ходмарш высказала свое предложение, заявил, что это было бы восхитительно. Самой главной гостьей была одна толстая молодая герцогиня, чье преклонение перед знаменитым писателем оказалось настолько сильным, что она была готова отменить назначенные в Лондоне дела и остаться здесь до самого вечера.

— Вот нас уже четверо,— сказала леди Ходмарш.— Думаю, больше они принять и не смогут. Я сейчас же отправлю телеграмму миссис Дриффилд.

Мне ничуть не улыбалось явиться к Дриффилду в этой компании, и я попытался охладить их пыл.

— Мы надоедим ему до смерти,— сказал я.— Он терпеть не может, когда на него сваливается такая толпа незнакомых людей. Он же очень стар.

— Именно поэтому, если они хотят повидать его, пусть сделают это сейчас. Долго он не протянет. А миссис Дриффилд говорит, что он любит общество. У них бывают только доктор и священник, и наш визит будет для него все-таки развлечением. Миссис Дриффилд говорила, что я всегда могу привозить каких-нибудь интересных людей. Конечно, ей приходится быть очень осторожной: к нему навязываются всякие люди, которые мечтают на него поглазеть, и интервьюеры, и авторы, которые хотят, чтобы он прочел их книги, и глупые восторженные женщины. Но миссис Дриффилд просто удивительна. Она к нему никого не пускает, кроме тех, кого, как она считает, ему нужно повидать. То есть он бы не выдержал и недели, если бы принимал каждого, кто хочет с ним встретиться. Ей приходится беречь его силы. Но к нам, конечно, все это не относится.

Ко мне-то, подумал я, это и в самом деле не относится; но, поглядев на герцогиню и на лорда Скэллиона, я заметил, что про себя они тоже так думают, и решил промолчать.

Мы поехали в светло-желтом роллс-ройсе. Ферн-Корт находился примерно в трех милях от Блэкстебла. Это был оштукатуренный дом, построенный, вероятно, около 1840 года, некрасивый и без всяких претензий, но основательный. И спереди и сзади по обе стороны двери выступали вперед по два широких эркера, и еще два таких же эркера были на втором этаже. Низкую крышу скрывал простой парапет. Дом был окружен садом, занимавшим около акра, где деревья стояли, пожалуй, слишком часто, но выглядели хорошо ухоженными, а из окна гостиной открывался красивый вид на леса и зеленую низину. Гостиная была обставлена в точности так, как полагается обставлять гостиную в скромном загородном доме, и от этого почему-то становилось немного не по себе. На удобных креслах и большом диване были чистые чехлы из яркого ситца, и занавеси из того же сит-

ца висели на окнах. На маленьких чиппендейловских столиках стояли большие восточные вазы с душистыми сухими лепестками. На кремовых стенах висели красивые акварели работы художников, пользовавшихся популярностью в начале столетия. Повсюду были изящно расположенные цветы, а на рояле стояли в серебряных рамках фотографии знаменитых актрис, покойных писателей и младших представителей царствующего дома.

Герцогиня, разумеется, воскликнула, что это чудная комната. Как раз такая комната, в какой знаменитый писатель должен проводить остаток своих дней.

Миссис Дриффилд приняла нас скромно, но уверенно. Это была женщина, по-моему, лет сорока пяти, с резкими чертами маленького смуглого лица, в черной шляпке, плотно облежавшей голову, и сером костюме. Стройная, среднего роста, она выглядела оживленной, деловой и больше всего напоминала овдовевшую дочь помещика, наделенную незаурядными организаторскими способностями и заправляющую делами прихода.

Миссис Дриффилд познакомила нас с каким-то священником и дамой, которые встали, когда мы вошли. Это оказался приходский священник Блэкстебла с женой. Леди Ходмарш и герцогиня тут же принялись рассылаться в любезностях, как делают все высокопоставленные особы в разговоре с низшими, чтобы показать, будто они не чувствуют никакой разницы в положении.

Тут вошел Эдуард Дриффилд. Время от времени в иллюстрированных журналах мне попадались на глаза его портреты, но, увидев его воочию, я испугался. Дриффилд оказался меньше ростом, чем я его помнил, и очень худ. Редкие серебристые волосы едва покрывали его голову, а чисто выбритое лицо выглядело как будто прозрачным. У него были выцветшие голубые глаза с красными веками. Казалось, душа еле держится в этом старом-старом человеке. Он носил очень белые зубные протезы, и из-за этого его улыбка производила впечатление натянутой и искусственной. Я в первый раз увидел его без бороды, и оказалось, что у него тонкие, бледные губы. На нем был новый, хорошо сшитый голубой шерстяной костюм, а из-за воротничка, на два-три номера больше, чем нужно, виднелась морщинистая, тощая шея. Аккуратный черный галстук был заколот жемчужной булавкой. Дриффилд напоминал переодетого в штатское настоятеля собора, отправившегося отдыхать в Швейцарию.

Миссис Дриффилд быстро окинула его взглядом и ободряюще улыбнулась: вероятно, его безукоризненная внешность ее удовлетворила. Он поздоровался с гостями, сказав каждому несколько вежливых слов. Когда очередь дошла до меня, он заметил:

— Как это мило со стороны такого занятого и пользующегося успехом человека — приехать в эту даль, чтобы повидаться со старым чудаком.

Я был немного огорошен: он говорил так, как будто никогда меня не видел, и я испугался, не подумают ли мои спутники, что я хвастал, говоря о нашем с ним прежнем близком знакомстве. Неужели он совершенно меня забыл?

— Сколько же лет прошло с тех пор, когда мы в последний раз виделись? — сказал я, стараясь говорить бодро.

Он пристально поглядел на меня — вероятно, это продолжалось всего несколько секунд, но мне они показались очень долгими, — и тут я вздрогнул от неожиданности: он мне подмигнул. Это произошло так быстро, что никто, кроме меня, не успел ничего заметить, и так не соответствовало достойному облику старого человека, что я не поверил своим глазам. Уже в следующий момент его лицо снова стало неподвижным, умным, благосклонным и спокойно-выжидательным. В этот момент объявили, что обед подан, и мы гурьбой пошли в столовую.

Столовая тоже представляла собой вершину изящного вкуса. Чиппендейловский буфет украшали серебряные подсвечники. Мы сидели на чиппендейловских стульях за чиппендейловским столом. Посередине в серебряной вазе стояли розы, а вокруг — серебряные блюда с шоколадом и мятными конфетами. Серебряные солонки были начищены до блеска и явно относились к эпохе Георгов. На кремовых стенах висели меццотинто работы сэра Питера Лели с изображением дам, а на камине стояли фигурки из дельфтского фаянса. Прислуживали нам две девушки в коричневой форме, за которыми миссис Дриффилд, не переставая оживленно болтать, внимательно приглядывала. Мне было непонятно, как это она ухитрилась так вышколить этих цветущих кентских девиц (их местное происхождение выдавали здоровый цвет лица и высокие скулы). Обед был как раз такой, какой пужно, приличный, но не парадный: рулет из рыбного филе под белым соусом, жареный цыпленок с молодым картофе-

лем и горошком, спаржа, пюре из крыжовника со взбитыми сливками. И столовая, и обед, и обхождение — все в точности соответствовало положению литератора с большой славой, но умеренными средствами.

Как большинство жен литераторов, миссис Дриффилд любила поговорить и не давала беседе на своем конце стола утихнуть; поэтому как бы нам ни хотелось услышать, что говорит на другом конце ее муж, это оказалось невозможно. Она была весела и полна энергии. Хотя слабое здоровье и почтенный возраст Эдуарда Дриффилда вынуждал ее большую часть года жить за городом, она тем не менее ухитрялась достаточно часто наведываться в Лондон, чтобы быть в курсе всех событий, и вскоре она уже оживленно обсуждала с лордом Скэллионом пьесы, идущие в лондонских театрах, и эти ужасные толпы в Королевской академии. Ей пришлось ходить туда два раза, чтобы посмотреть все картины, и все-таки на акварели времени не хватило. Ей так нравятся акварели — они бесхитростны, а она так ненавидит претенциозность.

Чтобы хозяин и хозяйка могли сидеть напротив друг друга, священник сел рядом с лордом Скэллионом, а его жена — рядом с герцогиней. Герцогиня развлекала ее беседой о жилищах рабочего класса, о которых она явно была гораздо лучше осведомлена, чем жена священника, так что я мог беспрепятственно наблюдать за Эдуардом Дриффилдом. Он разговаривал с леди Ходмарш. По всей видимости, она рассказывала ему, как нужно писать романы, и рекомендовала ему книги, которые он обязательно должен прочесть. Он слушал ее, казалось, с вежливым интересом, время от времени вставляя какое-нибудь замечание — слишком тихо, чтобы я мог расслышать, когда она отпускала шутку (она это делала часто, и нередко не без успеха), он усмехался и поглядывал на нее с таким видом, как будто хотел сказать: «А эта женщина вовсе не такая уж дура!» Мне вспомнилось прошлое, и я спросил себя — любопытно, что он думает об этом великолепном обществе, о своей прекрасно одетой супруге, такой деловой и уверенной в себе, и об изящной обстановке, в которой живет? Я размышлял о том, не вспоминает ли он с сожалением свою полную приключений молодость, нравится ли ему все это или под его дружелюбной вежливостью скрывается страшная скука? Вероятно, почувствовав, что я на него смотрю, он поднял на меня глаза. Его задумчивый взгляд, мягкий и в то

же время испытующий, остановился на мне, а потом — на этот раз ошибки быть не могло — он вдруг снова мне подмигнул. В сочетании со старым, морщинистым лицом это было не просто неожиданно — это ошарашивало: я не знал, что делать, и на всякий случай улыбнулся.

Но тут герцогиня вмешалась в разговор на другом конце стола, и жена священника повернулась ко мне.

— Вы знали его много лет назад, ведь верно? — спросила она тихо.

— Да.

Она оглянулась, не слушает ли нас кто-нибудь.

— Знаете, его жена боится, как бы вы не пробудили в нем старых воспоминаний, которые могли бы причинить ему вред. Он ведь очень слаб и может взволноваться от любой мелочи.

— Я буду очень осторожен.

— Просто удивительно, как она о нем заботится. Такая преданность — всем нам пример. Она понимает, какое бесценное сокровище находится на ее попечении. Ее самоотверженность невозможно описать.

Она еще понизила голос.

— Конечно, он очень стар, а со стариками иногда бывает нелегко, но я ни разу не видела, чтобы она потеряла терпение. Она по-своему не меньше достойна восхищения, чем он.

На такие замечания трудно что-то ответить, но я чувствовал, что ответа от меня ждут.

— Я думаю, при данных обстоятельствах он выглядит прекрасно, — пробормотал я.

— И всем этим он обязан ей.

После обеда мы перешли в гостиную и продолжали разговор стоя. Через две-три минуты ко мне подошел Эдуард Дриффилд. Я в это время беседовал со священником и, не в состоянии придумать ничего лучшего, восхищался прелестным видом из окна. Обратившись к хозяину, я сказал:

— Я как раз говорил, как живописен этот ряд коттеджей там, внизу.

— Отсюда — да. — Дриффилд бросил взгляд на их неровный силуэт, и его тонкие губы изогнулись в иронической усмешке. — В одном из них я родился. Занятно, а?

Но тут к нам подошла миссис Дриффилд — воплощение веселья и общительности. Ее голос был оживлен и мелодичен:

— О Эдуард, герцогине очень хотелось бы посмотреть твой кабинет. Она вот-вот должна уезжать.

— Мне очень жаль, но я должна попасть на поезд в три пятнадцать из Теркенбери, — сказала герцогиня.

Мы один за другим потянулись в кабинет Дриффилда. Это была большая комната в другом конце дома, выходящая на ту же сторону, что и столовая, с большим выступающим наружу окном. Комната была обставлена в точности так, как преданная жена должна обставлять кабинет своего мужа-писателя. Все здесь было аккуратнейшим образом прибрано, и большие вазы с цветами напоминали о женской руке.

— Вот стол, за которым он написал все свои последние произведения, — сказала миссис Дриффилд, закрывая лежавшую на нем переплетом вверх книгу. — Он изображен на фронтиспise третьего тома роскошного издания его сочинений. Это музейная вещь.

Мы повосхищались столом, а леди Ходмарш, улучив минуту, когда никто на нее не смотрел, потрогала снизу его крышку, чтобы удостовериться, настоящий ли он. Миссис Дриффилд быстро и весело улыбнулась нам.

— Хотите посмотреть одну из его рукописей?

— С огромным удовольствием, — ответила герцогиня, — а потом я просто должна лететь.

Миссис Дриффилд достала с полки рукопись, переплетенную в голубой сафьян, и, пока все остальные гости благоговейно разглядывали ее, я занялся книгами, которыми были заставлены все стены комнаты. Сначала, как каждый автор, я окинул их взглядом, чтобы посмотреть, нет ли среди них моих, но ни одной не нашел; зато здесь были все книги Элроя Кира и множество романов в ярких обложках, которые выглядели подозрительно нетронутыми. Я сообразил, что это книги, которые авторы присылают Дриффилду в знак уважения к его таланту и, может быть, в надежде получить в ответ несколько похвальных слов, которые можно было бы использовать для рекламы. Но все книги были такие новенькие и так аккуратно расставлены, что, по-моему, их читали очень редко. Стоял тут и оксфордский словарь, и полные собрания большинства английских классиков в пышных переплетах — Филдинг, Босуэлл, Хэзлитт и так далее, и еще много книг о море: я узнал разноцветные тома лоций, изданных адмиралтейством. Было еще довольно много книг по садоводству. Комната напоминала скорее не

мастерскую писателя, а мемориальный кабинет великого человека; я легко представил себе одинокого туриста, случайно забредшего сюда от нечего делать, и ощутил затхловатый, спертый запах музея, который почти никто не посещает. У меня возникло подозрение, что если сейчас Дриффилд и читает что-нибудь, то это «Альманах садовода» и «Мореходная газета», пачку номеров которой я заметил на столе в углу.

Когда дамы посмотрели все, что хотели увидеть, мы попрощались с хозяевами. Но леди Ходмарш отличалась большим тактом, и ей, вероятно, пришло в голову, что хоть я и был главным поводом для визита, но почти не имел возможности поговорить с Дриффилдом. Во всяком случае, уже в дверях она сказала ему, одарив меня дружеской улыбкой:

— Мне было так интересно узнать, что вы с мистером Эшенденом знали друг друга много лет назад. Он был хорошим мальчиком?

Дриффилд бросил на меня свой спокойный иронический взгляд. Мне почудилось, что, если бы тут никого не было, он показал бы мне язык.

— Робок он был,— ответил он.— Я учил его ездить на велосипеде.

Мы снова сели в огромный желтый ролл-ройс и уехали.

— Он прелесть,— сказала герцогиня.— Я очень рада, что мы к нему съездили.

— У него такие приятные манеры, не правда ли? — сказала леди Ходмарш.

— Не думали же вы, что он ест горошек с ножа? — спросил я.

— Очень жаль, что нет,— сказал Скэллион.— Это было бы так живописно.

— По-моему, это очень трудно,— заметила герцогиня.— Я много раз пробовала, но горошины все время падают.

— А их нужно натывать на нож,— сказал Скэллион.

— Вовсе нет,— возразила герцогиня.— Их нужно удерживать на плоской стороне, а они катаются, как черти.

— А как вам понравилась миссис Дриффилд? — спросила леди Ходмарш.

— По-моему, она на высоте,— ответила герцогиня.

— Он так стар, бедняжка, кто-то должен за ним при-

смаatrивать. Вы знаете, что она была больничной сиделкой?

— Разве? — удивилась герцогиня. — Мне казалось, она была его секретаршей, или машинисткой, или чем-то в этом роде.

— Она очень мила, — вступилась леди Ходмарш за свою приятельницу.

— О да, вполне.

— Лет двадцать назад он долго болел, и она была у него сиделкой, а потом он поправился и женился на ней.

— Странно, что мужчины делают такие вещи. Она же на много лет моложе его. Ей ведь не больше — ну, сорока, сорока пяти.

— Нет, не думаю. Лет сорок семь. Мне говорили, что она очень много для него сделала. То есть сделала из него вполне приличного человека. Элрой Кир говорил мне, что до того он вел слишком богемную жизнь.

— Как правило, писательские жены просто ужасны.

— Такая тоска иметь с ними дело, верно?

— Невероятная. Удивительно, как они сами этого не понимают.

— Бедняжки, они часто уверены, что люди считают их интересными, — тихо сказал я.

Мы добрались до Теркенбери, высадили герцогиню на станции и поехали дальше.

V

Эдуард Дриффилд и в самом деле учил меня кататься на велосипеде. С этого и началось наше знакомство. Не знаю, задолго ли до того времени велосипед был изобретен; знаю лишь, что в захолустном уголке Кента, где я тогда жил, он был в диковинку, и, увидев человека, несущегося на литых шинах, каждый оборачивался и провожал его глазами, пока тот не скрывался из виду. Велосипед все еще оставался предметом острот для пожилых джентльменов, которые говорили, что пока еще вполне могут передвигаться на своих двоих, и пугалом для пожилых дам, которые при виде его шарахались на обочину. Я долго завидовал мальчикам, приехавшим в школу на своих велосипедах. Они имели прекрасную возможность покрасоваться, когда въезжали в ворота, не держась за руль. Я выпросил у дяди позволение завести

велосипед, как только начнутся летние каникулы, и хотя тетя была против и говорила, что я только шею на нем сломаю, но дядя поддался на мои уговоры, в особенности потому, что платил за велосипед, конечно, я сам из собственных денег. Я заказал велосипед еще до конца занятий, и через несколько дней посыльный доставил мне его из Теркенбери.

Я был полон решимости научиться ездить самостоятельно: ребята из школы говорили, что им понадобилось на это каких-нибудь полчаса. После многократных попыток я наконец пришел к выводу, что отличаюсь из ряда вон выходящей неуклюжестью. И даже унизившись до того, чтобы позволить садовнику меня поддерживать, я к концу первого дня все равно был так же далек от умения самостоятельно садиться на велосипед, как и в самом начале. Тем не менее на следующий день я решил, что дорожка для экипажей, которая вела к нашему дому, слишком извилиста, и выкатил велосипед на шоссе недалеко от дома, которое было, как я знал, совершенно ровным, прямым и достаточно безлюдным, чтобы никто не видел, как я буду срамиться. Несколько раз я пытался сесть на велосипед, но каждый раз падал. Я ободрал щиколотки о педали, весь вспотел и обзлился. Примерно через час я пришел к выводу, что господа не угодно, чтобы я научился кататься, но твердо решил наперекор ему добиться своего, боясь и подумать о тех издевках, которые ждут меня со стороны его представителя в Блэкстебле — моего дяди. Тут я с неудовольствием увидел на пустынной дороге двух велосипедистов. Я немедленно откатил свою машину на обочину и уселся на ступеньку перелаза под изгородью, беззаботно глядя на море, как будто я накатался и теперь просто сижу, погружившись в созерцание океанских далей. Я старался не глядеть в сторону приближавшихся людей, но знал, что они все ближе и ближе, и уголком глаза мог разглядеть, что это мужчина и женщина. Когда они поравнялись со мной, женщина вдруг резко свернула вбок, врезалась в меня и упала.

— Ох, извините, — сказала она. — Я так и поняла, что упаду, как только вас увидела.

При таких обстоятельствах было совершенно невозможно притворяться, будто ничего не замечаешь, и я, покраснев до ушей, сказал, что это пустяки.

Увидев, что она упала, мужчина слез с велосипеда.

— Не ушиблась? — спросил он.

— О нет.

Тут я узнал его — это был Эдуард Дриффилд, тот писатель, которого я несколько дней назад встретил с дядиным помощником.

— Я только учусь ездить, — сказала его спутница. — И стоит мне что-нибудь увидеть на дороге, как я падаю.

— Вы не племянник священника? — спросил Дриффилд. — Я вас на днях видел. Гэллоуэй сказал мне, кто вы. Познакомьтесь — это моя жена.

Она как-то очень непосредственно протянула мне руку и, когда я взял ее, горячо и крепко пожала мою. Она улыбалась и губами, и глазами, и в этой улыбке я даже тогда почувствовал что-то странно привлекательное. Я смутился. С незнакомыми людьми я всегда впадал в ужасную застенчивость, и поэтому никаких подробностей ее внешности я не заметил. У меня осталось только общее впечатление — довольно крупная светловолосая женщина. Не знаю, заметил ли я тогда или только вспомнил потом, что на ней была широкая синяя шерстяная юбка, розовая блузка с крахмальным передом и воротничком, а на пышных золотистых волосах — соломенная шляпка, какие в те годы назывались «канотье».

— Мне очень нравится кататься на велосипеде, а вам? — спросила она, поглядев на мою великолепную новую машину, прислоненную к изгороди. — Это, должно быть, замечательно, когда хорошо умеешь.

Я почувствовал в ее словах нотку восхищения моей сноровкой.

— Это дело практики, — ответил я.

— У меня сегодня третий урок. Мистер Дриффилд говорит, что у меня прекрасно получается, но я чувствую себя такой неуклюжей, что просто досадно. Сколько вам понадобилось времени, чтобы научиться?

Я покраснел до корней волос и едва выдавил из себя позорное признание.

— Я не умею, — сказал я. — Я только что купил велосипед и пробую в первый раз.

Здесь я немного слукавил, но успокоил свою совесть, добавив про себя: «Если не считать вчерашнего, у себя в саду».

— Если хотите, я вас поучу, — добродушно предложил Дриффилд. — Поехали!

— Нет, что вы, — возразил я. — Разве я могу...

— А почему бы и нет? — сказала его жена, а ее голубые глаза все так же дружески мне улыбались. — Мистер Дриффилд с удовольствием это сделает, а я пока немного отдохну.

Дриффилд взял мой велосипед, а я хоть и стеснялся, но не мог противиться его дружескому настоянию и неловко взгромоздился в седло. Меня качало из стороны в сторону, но он поддерживал меня своей сильной рукой.

— Быстрее, — подгонял он.

Мотаясь от одной обочины к другой, я нажимал на педали, а он бежал рядом. Когда, несмотря на его усилия, я все-таки свалился, нам обоим было очень жарко. При таких обстоятельствах трудноато сохранять высокомерие, подобающее племяннику священника по отношению к сыну управляющего мисс Вулф, и когда я пустился в обратный путь и какие-нибудь тридцать или сорок метров проехал сам, а миссис Дриффилд, подбоченясь, выбежала на середину дороги и закричала: «Давай! Давай! Два против одного на фаворита!» — я так смеялся, что совершенно забыл о своем положении в обществе. Мне удалось слезть самостоятельно, и мое лицо, несомненно, выражало полное торжество, когда я без всякой застенчивости выслушивал поздравления Дриффилдов с тем, что в первый же день научился ездить.

— Попробую — может, и я смогу сама, — сказала миссис Дриффилд, я снова присел на ступеньку и вместе с Дриффилдом смотрел на ее безуспешные старания.

Потом, немного огорченная, но не унывающая, она уселась отдохнуть рядом со мной. Дриффилд закурил трубку, и мы принялись болтать. Тогда я еще, конечно, этого не понимал, но теперь знаю, что она держалась с обезоруживающей простотой, так что каждый чувствовал себя с ней совершенно свободно. Говорила она оживленно, как ребенок, кипящий радостью жизни, а в ее глазах постоянно светилась обаятельная улыбка. Я не понимал тогда, почему эта улыбка мне так нравится. Я бы, пожалуй, назвал ее чуть-чуть лукавой, но лукавство — качество неприятное, а она улыбалась слишком невинно. Ее улыбка была скорее шаловливой, как у ребенка, который сделал что-то, что он считает смешным, но не сомневается, что вам это покажется озорством; и в то же время он знает, что вы на самом деле не очень рассердитесь, и если сами не догадаетесь сразу, он придет и все рас-

скажет. Но тогда я, конечно, понимал только одно: когда она улыбалась, мне становилось хорошо.

Вскоре Дриффилд посмотрел на часы и сказал, что им пора. Он предложил нам всем вместе с шиком поехать обратно. Как раз в это время дядя и тетя должны были возвращаться домой после ежедневной прогулки по городу, и мне не хотелось рисковать, что меня увидят с людьми, которые им не нравились. Поэтому я попросил Дриффилдов ехать вперед: ведь они едут быстрее меня. Миссис Дриффилд не хотела об этом и слышать, а Дриффилд как-то странно на меня взглянул, и у него в глазах проскочила веселая искорка. Я подумал, что он понял мою уловку, и покраснел, а он сказал:

— Пусть едет один, Розы. В одиночку ему будет легче.

— Ну, ладно. Вы будете здесь завтра? Мы приедем.

— Постараюсь, — ответил я.

Они уехали, а я через несколько минут последовал за ними. Очень довольный собой, я доехал до самых ворот и ни разу не упал. Наверное, за обедом я немало хвастался, но о своей встрече с Дриффилдами умолчал.

На следующий день, около одиннадцати часов, я вывел свой велосипед из каретного сарая (так его называли, хотя там не было даже двуколки, — садовник держал в нем свою косилку для газонов и каток да Мэри-Энн — корм для цыплят). Я подвел велосипед к воротам, не без труда сел на него и поехал по дороге на Теркенбери до старого шлагбаума, а там свернул на проселок.

Небо было голубое, воздух теплый и в то же время свежий, как будто потрескивал от жары. Яркий, но не слепящий солнечный свет падал на дорогу и, казалось, отскакивал от нее, как резиновый мячик.

Я катался взад и вперед, поджидая Дриффилдов, и скоро они показались. Я помахал им, развернулся (для чего мне пришлось слезть), и мы покатали вместе. Миссис Дриффилд и я поздравили друг друга с достигнутыми успехами. Мы ехали старательно, мертвой хваткой вцепившись в руль, но торжествовали, и Дриффилд сказал, что, как только мы освоимся, нужно будет объездить все окрестности.

— Я хочу снять оттиски с нескольких бронзовых надгробий здесь поблизости, — сказал он.

Я не знал, что это такое, но он не стал объяснять.

— Потерпите, я вам покажу, — пообещал он. — Как

вы думаете, под силу вам будет завтра просхать четырнадцать миль — семь туда и семь обратно?

— Конечно.

— Я захвачу для вас бумаги и воску, и вы сами сможете снять оттиски. Только попросите разрешения у дяди.

— Это вовсе не обязательно.

— Все-таки лучше попросите.

Миссис Дриффилд бросила на меня этот свой особенный взгляд, озорной и в то же время дружеский, и я покраснел. Я знал, что если спрошусь у дяди, то он скажет «нет», лучше уж ничего ему не говорить. Но как только мы двинулись дальше, я увидел, что навстречу едет в двуколке доктор. Когда он проезжал мимо, я глядел прямо перед собой в тщетной надежде, что, если я на него не посмотрю, он меня не заметит. Мне было не по себе. Если он меня видел, об этом быстро станет известно дяде или тете, и я размышлял, не будет ли безопаснее самому раскрыть секрет, который все равно больше хранить не удастся. Прощаясь со мной у наших ворот (мне пришлось вместе с ними доехать до самого дома), Дриффилд сказал, что, если мне можно будет завтра кататься с ними, лучше всего зайти к ним как можно раньше.

— Вы знаете, где мы живем? Рядом с церковью конгрегационалистов. Дом называется Лайм-коттедж.

За обедом я только и ждал повода невзначай сообщить, что случайно повстречал Дриффилда; но в Блэкстебле слухи распространяются быстро.

— С кем это ты катался утром? — спросила тетя. — Мы встретили в городе доктора Энсти, и он сказал, что видел тебя.

Дядя с недовольным видом жевал ростбиф, угрюмо глядя в тарелку.

— Это Дриффилды, — ответил я небрежно. — Знаете, тот писатель. Мистер Гэллоуэй их знает.

— Они очень дурные люди, — сказал дядя. — Я не желаю, чтобы ты с ними общался.

— А почему? — спросил я.

— Я не собираюсь тебе объяснять. Достаточно того, что я этого не желаю.

— Как тебя угораздило с ними познакомиться? — спросила тетя.

— Просто я катался, и они катались, и предложили мне проехаться с ними, — приврал я.

— Какая навязчивость, — сказал дядя.

Я надулся. Тут подали сладкое, и, хотя это был мой любимый пирог с малиной, я, чтобы показать, как я обижен, отказался от своей порции. Тетя спросила, не заболел ли я.

— Нет, — ответил я как только мог надменно, — я чувствую себя хорошо.

— Ну съешь кусочек, — сказала тетя.

— Я не голоден.

— Ну, ради меня!

— Не хочет — не надо, — возразил дядя.

Я покосился на него.

— Ну, разве что маленький кусочек, — сказал я.

Тетя положила мне изрядный ломоть пирога, и я съел его с видом человека, который из чувства долга делает что-то крайне ему неприятное. Пирог был очень вкусный. Песочное тесто, которое делала Мэри-Энн, так и таяло во рту. Но когда тетя спросила меня, не осилю ли я еще кусочек, я с холодным достоинством отказался. Она не настаивала. Дядя произнес благодарственную молитву, и я, по-прежнему в оскорбленных чувствах, пошел в гостиную.

Но как только прислуга, по моим расчетам, кончила обедать, я пришел на кухню. Эмили чистила серебро, а Мэри-Энн мыла посуду.

— Послушай, чем плохи эти Дриффилды? — спросил я ее.

Мэри-Энн работала у нас с восемнадцати лет. Она купала меня еще маленького, давала мне порошки в сливовом джеме, когда это было нужно, собирала меня в школу, нянчила, когда я болел, читала мне, когда я скучал, и ругала, когда я шалил. Горничная Эмили была молода и легкомысленна, и, как говорила Мэри-Энн, неизвестно, что стало бы со мной, если бы ухаживать за мной поручили Эмили. Мэри-Энн родилась в Блэкстебле. За всю жизнь она ни разу не была в Лондоне, да и в Теркенбери, по-моему, бывала не больше трех-четырех раз. Она никогда не болела. Она никогда не брала выходных. Платили ей двенадцать фунтов в год. Раз в неделю она уходила вечером в город повидаться с матерью, которая на нас стирала, да по воскресеньям ходила в церковь. Тем не менее Мэри-Энн знала все, что происходит в Блэкстебле. Она знала всех: кто на ком женился, от чего умер чей отец, и сколько у кого детей, и как их зовут.

Когда я задал Мэри-Энн свой вопрос, она с плеском швырнула в раковину мокрую тряпку.

— Правильно сделал твой дядя,— сказала она.— На его месте я тоже не пустила бы тебя с ними, будь ты моим племянником. Подумать только — предложили тебе с ними кататься! Вот уж действительно есть такие люди, от которых всего можно ожидать.

Я догадался, что ей рассказали о нашем разговоре за обедом.

— Я не ребенок,— возразил я.

— Тем хуже. И как у них хватило наглости вообще сюда приехать! Сняли дом и делают вид, как будто они леди с джентльменом. Не тронь пирог.

Пирог с малиной стоял на кухонном столе; я отломил кусочек корки и сунул его в рот.

— Это на ужин. Если тебе хотелось добавки, почему не ел за обедом? Тед Дриффилд всегда был непоседой. А ведь хорошее образование получил. Кого мне жаль, так это его мать. Он доставлял ей хлопоты с самого рождения. А потом взял и женился на Розе Гэнн. Мне говорили, когда он сказал матери, что у него на уме, она слегла и лежала три недели и ни с кем не хотела разговаривать.

— Миссис Дриффилд была до замужества Розы Гэнн? Это какие же Гэнны?

Фамилия Гэнн была одной из самых распространенных в Блэкстебле. Могильные плиты на кладбище так и пестрели ею.

— О, ты их не знаешь. Ее отец был старый Джозия Гэнн. Тоже непутевый. Пошел в солдаты, вернулся с деревянной ногой. Он малярничал, но чаще сидел без работы. Рядом с нами они жили, в соседнем доме. Мы с Розой вместе ходили в воскресную школу.

— Но она же моложе тебя,— сказал я со всей прямо-той своего возраста.

— Ей уж давно стукнуло тридцать.

Мэри-Энн была небольшого роста, курносая и с плохими зубами, но прекрасным цветом лица; не думаю, чтобы ей тогда было больше тридцати пяти.

— Розы на четыре-пять лет моложе меня, не больше, как бы она там ни молодилась. Говорят, ее теперь не узнать — разодела в пух и прах, и все такое.

— А правда, что она была буфетчицей? — спросил я.

— Да, в «Железнодорожном гербе», а потом в «Перьях принца Уэльского» в Хэвершеме. В «Железнодорожный

герб» взяла ее на работу миссис Ривз, только кончилось это плохо, и пришлось ей от нее избавиться.

«Железнодорожный герб» был очень скромный маленький трактир как раз напротив станции на линии Лондон — Чатам — Дувр. В нем всегда царило какое-то зловещее веселье. Зимними вечерами, проходя мимо, можно было увидеть через стеклянную дверь мужчин, коротавших время у стойки. Мой дядя очень не любил это заведение и на протяжении многих лет добивался, чтобы его хозяев лишили разрешения на торговлю. Завсегдатаями трактира были железнодорожные носильщики, матросы с угольщиков и батраки. Респектабельные жители Блэкстебла брезговали заходить туда и если хотели выпить стаканчик пива, то шли в «Медведь и ключ» или в «Герцога Кентского».

— Да ну? А что же она такого натворила? — спросил я, вытаращив глаза.

— А чего она только не вытворяла, — ответила Мэри-Энн. — Как ты думаешь, что сказал бы твой дядя, если бы узнал, что я тебе все это рассказываю? Не было такого человека из тех, кто заходил туда выпить, с кем бы она не путалась. Все равно, кто бы он ни был. И ни с кем не оставалась надолго — меняла их одного за другим. Просто стыд и срам — так все и говорили. Там и началась эта история с Лордом Джорджем. Он в такие места не ходил — слишком важный был — но, говорят, случайно забрел туда, когда его поезд опоздал, и увидел ее. А потом так оттуда и не вылезал и водился со всеми этими забулдыгами, и все, конечно, знали, почему он там сидит, и это при жене и трех детях! Да мне было просто ее жаль. А сколько было разговоров! Ну, и в конце концов миссис Ривз объявила, что больше ни единого дня не намерена этого терпеть, дала ей расчет и велела забрать вещи и сматываться. Туда ей и дорога — вот что я сказала.

Лорда Джорджа я прекрасно знал. Его звали Джордж Кемп, а это ироническое прозвище он получил за то, что очень важничал. Он торговал у нас углем, но, кроме того, подрабатывал продажей недвижимости и был в доле с владельцами нескольких угольщиков. Жил он в новом кирпичном доме на собственной земле и ездил в собственной двуколке. Это был дородный человек с остроколючей бородкой, красным лицом и нахальными голубыми глазами. Сейчас, припоминая его, я думаю, что он, наверное, был похож на какого-нибудь веселого красно-

лицего купца с картин старых голландцев. Одевался он всегда очень крикливо, и когда он резвой рысцой проезжал по середине Хай-стрит в коротком пальто песочного цвета с большими пуговицами, надетом набекрень коричневом котелке и с красной розой в петлице, не поглядеть на него было просто невозможно. По воскресеньям он обычно являлся в церковь в глянцевои цилиндре и сюртуке. Все знали, что он хотел стать церковным старостой, и с его энергией он, конечно, принес бы много пользы, но дядя сказал, что только через его труп, и стоял на своем, хотя Лорд Джордж, обидевшись, целый год ходил в церковь конгрегационалистов. Встречая его на улице, дядя с ним не разговаривал. Потом их помирили, и Лорд Джордж снова стал ходить к нам в церковь, но дядя смягчился лишь настолько, что назначил его помощником старосты. Местные землевладельцы-дворяне считали его вульгарным, и я не сомневаюсь, что он был в самом деле тщеславен и хвастлив. Ему ставили в упрек громкий голос и резкий смех — когда он с кем-нибудь разговаривал, каждое слово было слышно на другой стороне улицы, — а его манеры считали ужасными. Он был слишком общителен и вел себя с ними так, как будто вовсе и не занимался торговлей, и они говорили, что он чересчур навязчив. Но если он надеялся, что его панибратство, участие в общественных мероприятиях, щедрые взносы на проведение ежегодной регаты или праздника урожая и готовность оказать всякому услугу могут пробить для него дорогу в Блэкстебле, то он ошибался. Его общительность вызывала к нему лишь враждебное отношение.

Помню, как-то у тети сидела в гостях жена доктора. Вошла Эмили и сказала дяде, что с ним хочет поговорить мистер Джордж Кемп.

— Но ведь звонили, по-моему, в парадную дверь, — сказала тетя.

— Да, он пришел с парадного хода.

Наступила неловкая пауза. Никто не знал, как себя вести при таких необычных обстоятельствах, и даже Эмили, прекрасно понимавшая, кто должен входить через парадную дверь, кто — через боковую, а кто — с черного хода, и та немного растерялась. Думаю, что добродушная тетя была просто поражена, как это кто-то может поставить себя в такое ложное положение; а жена доктора презрительно фыркнула. Наконец дядя собрался с мыслями.

— Проведите его в кабинет, Эмили, — сказал он. — Я приду туда, как только допью чай.

Но Лорд Джордж был по-прежнему полон кипучей энергии, весел и шумен. Он говорил, что наш город — как мертвый и что он его разбудит. Он добьется, чтобы сюда пустили экскурсионные поезда. Почему бы Блэкстеблу не стать вторым Маргетом? И потом, почему бы нам не иметь своего мэра? В Ферн-Бей есть мэр.

— Наверное, сам метит в мэры, — говорили в Блэкстебле, брезгливо морщась. — Не доведет его гордыня до добра.

А дядя замечал, что насильно мил не будешь.

Я должен добавить, что относился к Лорду Джорджу с тем же высокомерным презрением, как и все вокруг. Меня возмущало, что он осмеливается останавливать меня на улице, называть по имени и говорить со мной так, будто у нас одинаковое положение в обществе. Он даже предлагал мне играть в крикет с его сыновьями — моими ровесниками. Но они ходили в среднюю школу в Хэвершеме, и я, конечно же, не желал иметь с ними никакого дела.

То, что рассказала Мэри-Энн, заинтриговало и поразило меня, но мне трудно было этому поверить. Слишком много романов я прочел и слишком многое усвоил в школе, чтобы не знать кое-что про любовь, — но я думал, что все это относится только к молодым людям. Я не мог представить себе, чтобы такие чувства испытывал бородатый человек, у которого есть сыновья, мои ровесники. Я думал, что после женитьбы все это кончается. То, что могут влюбляться люди, которым за тридцать, казалось мне отвратительным.

— Не хочешь же ты сказать, что они делали что-то нехорошее? — спросил я у Мэри-Энн.

— Судя по тому, что я слыхала, чего только Роззи Гэнн не делала. И Лорд Джордж был не единственным.

— Ну погоди, почему же у нее не было ребенка?

В романах я читал, что стоит красивой женщине не устоять перед искушением, как у нее появляется ребенок. Суть дела всегда излагалась с бесконечной осторожностью, иногда на нее просто намекало многоточие, но результат был неизбежным.

— Везеньем, думаю, взяла, а не умом, — сказала Мэри-Энн, но тут же опомнилась и перестала вытирать тарел-

ки.— Сдается мне, уж очень много ты знаешь,— сказала она.

— Конечно, знаю,— важно ответил я.— Черт возьми, ведь я уже почти взрослый, верно?

— Одно могу сказать,— продолжала Мэри-Энн.— Когда миссис Ривз выгнала ее, Лорд Джордж устроил ее в «Перья принца Уэльского» в Хэвершеме и вечно таскался туда в своей двуколке. Не говори мне только, будто пиво там лучше, чем здесь.

— А почему тогда Тед Дриффилд на ней женился? — спросил я.

— Спроси что-нибудь полегче,— ответила Мэри-Энн.— Там, в «Перьях», он ее и увидел. Должно быть, больше никто за него не хотел идти. Ни одна приличная девушка за него бы не вышла.

— А он знал про нее?

— Это уж у него спроси.

Я умолк. Все это очень озадачивало.

— А как она теперь выглядит? — спросила Мэри-Энн.— Я не видала ее с тех пор, как она вышла замуж. Я даже не разговаривала с ней, как услышала про все эти делишки в «Железнодорожном гербе».

— Она выглядит хорошо,— сказал я.

— Вот и спроси ее, помнит ли она меня,— посмотрим, что она скажет.

VI

Я окончательно решил на следующее утро ехать вместе с Дриффилдами, но знал, что если спрошу разрешения у дяди, то ничего хорошего из этого не получится. Если он узнает об этом потом и будет ругаться,— тут уж ничего не поделаешь, а если Тед Дриффилд спросит, разрешил ли мне дядя ехать, то я был готов ответить, что разрешил. Но в конце концов врать мне не пришлось. После обеда, во время прилива, я собрался на пляж купаться, а дядя пошел со мной: у него были какие-то дела в городе. Не успели мы миновать «Медведь и ключ», как оттуда вышел Тед Дриффилд. Он заметил нас и прямо направился к дяде. Я был поражен его спокойствием.

— Добрый день, священник,— сказал он.— Вы меня помните? Я еще мальчишкой пел у вас в хоре. Я Тед

Дриффилд. Мой папаша служил управляющим у мисс Вулф.

Мой дядя, человек очень робкий, был захвачен врасплох.

— Да-да, здравствуйте. Я был очень огорчен, когда узнал, что ваш отец умер.

— Я познакомился с вашим юным племянником. Вы не разрешите ему завтра со мной прокатиться? Одному ему кататься скучно, а я собираюсь снять оттиски с одной надгробной доски в Ферн-Черче.

— Это очень любезно с вашей стороны, но...

Дядя собирался было ответить отказом, но Дриффилд перебил его:

— Я присмотрю, чтобы он вел себя хорошо. Наверное, он тоже захочет сделать для себя оттиск — все-таки польза. Бумаги и воску я дам, так что ему это ничего не будет стоить.

Дядя не отличался последовательностью в рассуждениях, и предложение Дриффилда заплатить за мою бумагу и воск так его обидело, что он совсем забыл о своем намерении запретить мне ехать.

— Он вполне может и сам купить бумагу и воск, — сказал дядя. — У него хватает карманных денег, и уж лучше пусть тратит их на что-нибудь в этом роде, чем объедаться лакомствами.

— Ну ладно, пусть зайдет в писчебумажный магазин Хэйуорда и попросит такой же бумаги, какую я брал, и воску.

— Я пойду сейчас, — сказал я и, пока дядя не передумал, помчался через улицу.

VII

Не знаю, почему Дриффилды так заботились обо мне, — разве что просто по доброте сердечной. Я не был ни умен, ни разговорчив, и если развлекал Теда Дриффилда, то без всякого намерения с моей стороны. Может быть, его забавляло мое высокомерие. Я оставался при своем убеждении, что снисхожу до общения с сыном управляющего мисс Вулф, да еще к тому же писакой, как его называл дядя; и когда я, вероятно, с легким оттенком презрения попросил у него почитать какую-нибудь его книжку, а он сказал, что мне будет неинтересно, я поверил ему на слово и настаивать не стал.

Мой дядя, однажды разрешив мне покататься с Дриффилдами, больше не возражал против нашего знакомства. Иногда мы вместе ходили под парусами, иногда ездили в какое-нибудь живописное место, где Дриффилд делал наброски акварелью. Не знаю, был ли тогда климат в Англии лучше или это просто юношеская иллюзия, но мне помнится, будто все это лето солнечные дни шли один за другим непрерывной чередой. Я начал чувствовать странную привязанность к этой холмистой, плодородной и уютной местности. Мы ездили на далекие прогулки то в одну, то в другую церковь, снимая оттиски с бронзовых надгробных досок, на которых были изображены рыцари в доспехах и дамы в пышных фижмах. Тед Дриффилд заразил меня своим увлечением, и я со страстью предавался этому нехитрому занятию. Плоды своего усердия я с гордостью показывал дяде, а он, по-моему, думал, что, находясь в церкви, я не могу натворить ничего плохого, в каком бы обществе ни был.

Пока мы работали, миссис Дриффилд обычно оставалась снаружи — не читала и не шила, а просто гуляла вокруг; по-видимому, она была способна сколько угодно времени ничего не делать, не испытывая скуки. Иногда я выходил к ней, и мы сидели на траве, болтая о моей школе, о моих тамошних приятелях, об учителях, о жителях Блэкстебла и просто так, ни о чем. Мне было приятно, что она называет меня «мистер Эшенден». Думаю, что она первая начала меня так называть, и из-за этого я чувствовал себя взрослым. Я терпеть не мог, когда меня называли «мастер Уилли», потому что это казалось мне смешным. Если на то пошло, мне вообще не нравились ни мое имя, ни моя фамилия, и я проводил много времени, придумывая новые, более подходящие. Больше всего мне нравилось имя Родрик Рэвенсуорт, и я исписывал целые листы бумаги, подписываясь этим именем с соответствующим лихим росчерком. Не стал бы я возражать и против того, чтобы меня звали Людовик Монтгомери.

Я никак не мог переварить то, что Мэри-Энн рассказала мне про миссис Дриффилд. Хотя в теории я знал, что делают люди, когда женятся, и вполне мог изложить фактическую сторону дела в самых прямых выражениях, но в действительности я этого не понимал. Подобные вещи казались мне довольно противными, и в конечном счете я всему этому не совсем верил. В конце концов, я же понимал, что земля круглая, но ведь я прекрасно знал, что

она плоская! Миссис Дриффилд выглядела такой искренней, так открыто смеялась, во всем ее поведении было что-то такое молодое и ребячливое, что я не мог представить себе ее «путающейся» с матросами, не говоря уж о таком ужасном и неприличном человеке, как Лорд Джордж. Она была совсем не похожа на тех «падших женщин», о которых я читал в романах. Конечно, я знал, что она — «не из хорошего общества», и говорила она с блэкстеблским акцентом и время от времени делала ошибки в произношении, а ее грамматика иногда меня просто шокировала, — но она мне нравилась, и я ничего не мог с этим поделать. Я пришел к выводу, что Мэри-Энн все наврала.

Как-то я сказал ей, что Мэри-Энн — наша кухарка.

— Она говорит, что была вашей соседкой на Райлейн, — добавил я, готовый услышать в ответ, что миссис Дриффилд никогда о ней не слыхала. Но она улыбнулась, и ее голубые глаза радостно засияли.

— Это верно. Она водила меня в воскресную школу. Ох, и билась она, чтобы заставить меня сидеть спокойно! Я слыхала, что она пошла служить к священнику. Надо же, что она все еще там! Я не видела ее не знаю сколько времени. Хорошо было бы как-нибудь ее повидать и поболтать о старине. Передайте ей привет от меня, ладно? И скажите, чтобы она заглянула, когда у нее будет свободный вечер. На чашку чаю.

Я был озадачен. В конце концов, Дриффилды снимали целый дом и поговаривали о том, чтобы его купить, и имели свою прислугу. Им вовсе не подобало принимать к чаю Мэри-Энн, а меня это поставило бы в очень неловкое положение. Они как будто не понимали, что можно делать, а чего просто нельзя. Меня всегда удивляло, как это они говорят о таких эпизодах из своего прошлого, о которых, по-моему, и заикаться не должны. Не знаю, в самом ли деле люди, среди которых я жил, были так претенциозны, так стремились выглядеть богаче или важнее, чем были на самом деле, но теперь мне кажется, что вся их жизнь была полна притворства. Они жили под непроницаемой маской респектабельности. Их никогда нельзя было застать без пиджака, с ногами на столе. Дамы не показывались на людях, не нарядившись в вечерние платья; в каждодневной жизни они соблюдали жестокую экономию, так что забежать к ним пообедать было нельзя, но уж если они принимали гостей, то столы

ломились от яств. Какая бы катастрофа ни разражалась в семье, они высоко держали голову и не показывали виду. Пусть даже один из сыновей женился на актрисе — они никогда не упоминали об этом несчастье, и, хотя все соседи говорили, что это ужасно, в присутствии потерпевших они тщательно следили, чтобы разговор не зашел о театре. Все мы знали, что жена майора Гринкорта, который арендовал поместье «Три фронтона», была связана с торговлей, но ни она, ни майор никогда даже не намекали на эту позорную тайну; и хотя мы за глаза презрительно фыркали по их адресу, мы были слишком вежливы, чтобы даже упомянуть в их присутствии о посуде (источнике приличного дохода миссис Гринкорт). Не были диковинкой и такие случаи, когда разгневанный родитель лишал сына наследства или запрещал своей дочери, вышедшей замуж, как моя мать, за поверенного, переступить порог его дома. Все это было для меня привычным и естественным. А вот рассказы Теда Дриффилда о том, как он работал официантом в холборнском ресторане, звучавшие так, будто тут нет ничего особенного, меня шокировали. Я знал, что когда-то он сбежал из дома и нанялся матросом: это было романтично — я знал, что мальчишки часто так поступают, во всяком случае в книгах, и сталкиваются с захватывающими приключениями, прежде чем жениться на дочке герцога с огромным состоянием. Но Тед Дриффилд был еще и кебменом в Мейдстоуне, и клерком в конторе букмекера в Бирмингеме.

Как-то мы проезжали мимо «Железнодорожного герба», и миссис Дриффилд небрежно сказала, что здесь она работала три года, как будто это самое обыкновенное дело.

— Здесь была моя первая работа, — сказала она. — Потом я перешла в «Перья» в Хэвершеме и работала там, пока не вышла замуж.

Она засмеялась, как будто это воспоминание доставило ей радость. Я не знал, что сказать и куда смотреть, и покраснел до ушей.

В другой раз, когда мы ехали через Ферн-Бей, возвращаясь после долгой прогулки по жару, и всем очень хотелось пить, она предложила зайти в «Дельфин» и выпить по стакану пива. Она разговорилась с девушкой, которая торговала за стойкой, и я с ужасом услышал, как она сказала, что сама пять лет этим занималась. К нам вышел хозяин, и Тед Дриффилд угостил его, а миссис Дриффилд заказала стакан портвейна для буфетчицы, и все дружески

болтали о торговле, и о поставщиках, и о том, как растут цены. Меня бросало то в жар, то в холод, и я не знал, что делать. Когда мы вышли, миссис Дриффилд заметила:

— Мне понравилась эта девушка, Тед. Кажется, она неплохо устроилась. Я ей говорю: это жизнь трудная, но зато веселая. Видишь, что происходит кругом, а если будешь правильно себя вести, то неплохо выйдешь замуж. Я заметила у нее обручальное кольцо, но она сказала, что носит его просто так, потому что это дает повод парням с ней заигрывать.

Дриффилд засмеялся. Она повернулась ко мне:

— Веселое это было время, когда я работала буфетчицей. Но, конечно, всю жизнь так нельзя. Нужно подумать и о будущем.

Но меня ждало еще большее потрясение. Дело было в середине сентября, и мои каникулы близились к концу. Я был весь полон Дриффилдами, но дома дядя не давал мне о них говорить.

— Мы не желаем, чтобы ты совал повсюду своих друзей, — говорил он. — Есть более подходящие темы для разговора. Но я думаю, что раз Тед Дриффилд родился в этом приходе и видится с тобой почти каждый день, он мог бы и в церковь иногда заглядывать.

Однажды я сказал Дриффилду:

— Дядя хотел бы, чтобы вы ходили в церковь.

— Ладно. Пойдем в следующее воскресенье вечером, а, Роззи?

— Пожалуйста, — ответила она.

Я сказал Мэри-Энн, что они придут. Я сидел на скамье, отведенной для семьи священника, сразу за лендлордом, и не мог оглянуться, но по тому, как вели себя соседи по другую сторону прохода, было видно, что они пришли, и как только мне на следующий день представился случай, я спросил Мэри-Энн, видела ли она их.

— Видела, будь покоен, — мрачно ответила Мэри-Энн.

— А ты говорила с ней потом?

— Я? — Она вдруг рассердилась. — А ну убирайся с кухни. Что ты тут целый день вертишься? Просто работать невозможно, когда ты все время попадаешься под ноги.

— Ладно, — сказал я, — нечего ругаться.

— Не знаю, что думает твой дядя, когда разрешает тебе шляться с такими людьми. Да еще вон какие цветы на шляпке. Как ей не стыдно на людях-то показываться! Уходи, мне некогда.

Почему Мэри-Энн так рассердилась, я не понял. Больше я с ней о миссис Дриффилд не заговаривал. Но два-три дня спустя я зашел за чем-то на кухню. У нас было две кухни: одна маленькая, в которой готовили всегда, и большая, построенная, наверное, в те времена, когда сельские священники имели большие семьи и давали роскошные обеды для окружающих помещиков; в ней Мэри-Энн обычно сидела и шила, закончив дневную работу. В восемь часов она подавала холодный ужин, так что после чаю ей было почти нечего делать.

Был седьмой час, смеркалось. Эмили отпустили на вечер, и я думал, что Мэри-Энн одна, но еще в коридоре услышал голоса и смех. Я догадался, что к Мэри-Энн кто-то зашел. В кухне горела лампа, но ее прикрывал плотный зеленый абажур, и было почти темно. Мэри-Энн пила чай с какой-то приятельницей. Когда я открыл дверь, разговор прекратился, а потом я услышал:

— Добрый вечер.

Вздвигнув от неожиданности, я увидел, что эта приятельница Мэри-Энн не кто иная, как миссис Дриффилд. Заметив мое изумление, Мэри-Энн рассмеялась.

— Розы Гэнн заглянула ко мне на чашку чаю, — сказала она. — Вот сидим и вспоминаем старину.

Мэри-Энн немного смутилась, когда я их застал, но я был смущен куда сильнее. Миссис Дриффилд улыбнулась мне своей ребячливой, озорной улыбкой: она чувствовала себя как дома. Почему-то я обратил внимание на ее платье — наверное, потому, что ни разу не видел ее такой важной. Платье было светло-голубое, очень узкое в талии, с короткими рукавами и длинной юбкой в оборках. На голове у нее красовалась большая черная соломенная шляпка с массой розочек, листочков и бантиков — очевидно, та самая, которую она надевала в воскресенье в церковь.

— Я подумала, что если ждать, пока Мэри-Энн придет ко мне, то придется прождать до второго пришествия, и решила зайти к ней сама.

Мэри-Энн смущенно усмехнулась, но видно было, что ей это приятно. Взяв что-то, за чем я приходил на кухню, я побыстрее убрался. Погулял в саду, потом оказался у ворот и стал глядеть поверх калитки на дорогу. Было уже темно. Скоро я заметил, что по дороге идет человек. Я не обратил на него внимания, но он ходил взад и вперед, как будто кого-то ждал. Сначала я подумал, что это, наверное,

Тед Дриффилд, и уже собрался выйти к нему, когда он остановился и закурил трубку, и я увидел, что это Лорд Джордж. Я удивился, что он может здесь делать, и в этот самый момент мне пришло в голову, что он ждет миссис Дриффилд. У меня заколотилось сердце, и я отступил в тень от кустов, хотя и так стоял в темноте. Прошло еще несколько минут, потом я увидел, как боковая дверь открылась и вышла миссис Дриффилд, которую провожала Мэри-Энн. Я услышал ее шаги по гравии. Она подошла к калитке и отворила ее. Калитка открылась с легким щелчком. При этом звуке Лорд Джордж перешел дорогу и, прежде чем она успела выйти, проскользнул внутрь. Он обнял ее и крепко прижал к себе. Она тихо засмеялась.

— Осторожно, я в шляпе, — прошептала она.

Я стоял не больше чем в трех футах от них и окаменел от страха при мысли, что они могут меня обнаружить. Я сторгал от стыда за них и весь дрожал от волнения. Целую минуту он держал ее в объятиях.

— Пойдем в сад? — шепнул он.

— Нет, там мальчик. Пойдем в поле.

Они вышли в калитку — он обнимал ее за талию, — и скрылись в темноте. Тут сердце у меня заколотилось так, что даже дыхание перехватило. Я был настолько потрясен, что потерял всякую способность соображать. Все на свете я бы отдал за то, чтобы рассказать кому-нибудь о том, что видел, но это была тайна, которую я должен был хранить. Это придавало мне особую важность в собственных глазах. Не спеша направившись к дому, я вошел через боковую дверь. Мэри-Энн услышала, как она открылась, и окликнула меня:

— Это ты, мастер Уилли?

— Да.

Я заглянул на кухню. Мэри-Энн ставила на поднос ужин, чтобы нести его в столовую.

— На твоём месте я бы не стала говорить дяде, что Роза Гэнн была тут, — сказала она.

— Ну конечно, нет.

— Я просто сил нет как удивилась. Услышала стук в дверь, открываю, а там Роза! У меня ноги так и подкосились. «Мэри-Энн», — говорит, и не успела я опомниться, как она принялась меня целовать. Пришлось ее пригласить, а уж раз она вошла, пришлось попить с ней чаю.

Мэри-Энн старалась оправдаться. После всего, что она говорила про миссис Дриффилд, мне должно было показаться странным, что они сидели тут, болтали и смеялись. Но я не стал пользоваться своей победой.

— Она не так уж плоха, верно? — сказал я.

Мэри-Энн улыбнулась. Несмотря на черные, испорченные зубы, ее улыбка была милой и трогательной.

— Не знаю уж почему, но есть в ней что-то такое, что нельзя ее не любить. Она сидела здесь чуть ли не час, и я смело скажу — ни разу не начала задаваться. А я собственными ушами слышала, как она сказала, что этот материал у нее на платье стоит тринадцать шиллингов и одиннадцать пенсов за ярд, и я верю — так оно и есть. Она все помнит — и как я ее причесывала, когда она была совсем крошка, и как заставляла ее мыть ручки перед чаем. Ее мать иногда присылала ее к нам пить чай. Красивая она была тогда, как картинка.

Мэри-Энн углубилась в воспоминания, и ее смешное морщинистое лицо стало задумчивым.

— Ну ладно, — сказала она, помолчав. — В общем, не хуже она многих других, если бы только мы про них знали всю правду. Просто соблазнов у нее было больше. И вот что я скажу — что бы там они про нее ни говорили, а представься им самим случай, и они были бы не лучше.

VIII

Погода резко переменилась: похолодало, пошли проливные дожди. Нашим прогулкам пришел конец. Я не жалел об этом: я не представлял себе, как теперь буду смотреть в глаза миссис Дриффилд, зная, что она встречается с Джорджем Кемпом. Я был не столько шокирован, сколько поражен, и не мог понять, как ей может нравиться, когда ее целует этот пожилой человек. Мне, начитавшемуся романов, даже приходила в голову фантастическая мысль, будто Лорд Джордж каким-то образом держит ее в своей власти и, владея неким ужасным секретом, заставляет ее соглашаться на его отвратительные объятия. У меня рождались страшные предположения — о двоемужии, убийствах, подделке документов. В книгах почти каждый негодяй угрожал какой-нибудь незащищенной женщине разоблачением одного из этих преступлений. Может быть, миссис Дриффилд за кого-нибудь поручи-

лась — я никогда не мог понять, что именно это означает, но знал, что последствия бывают самые катастрофические. Я рисовал себе картины ее отчаяния (долгие бессонные ночи, которые она просиживает в одной рубашке у окна, распустив до колен свои светлые волосы, и без всякой надежды ждет рассвета) и видел себя (не пятнадцатилетнего мальчишку, получающего шесть пенсов в неделю карманных денег, а высокого мужчину с нафабранными усами и стальными мускулами, в безукоризненном фраке), спасающего ее благодаря своему героизму и находчивости из лап гнусного шантажиста. Но, с другой стороны, непохоже было, чтобы она так уж против своей воли принимала ухаживания Лорда Джорджа, и в ушах у меня продолжал звучать ее смех. В нем слышалась нотка, которой я еще никогда не слышал и от которой у меня почему-то захватывало дух.

За весь остаток каникул я только один раз видел Дриффилдов. Мы случайно встретились в городе. Они остановились и заговорили со мной. Я опять очень смутился, а поглядев на миссис Дриффилд, не мог не покраснеть в замешательстве: по ее лицу ничуть не заметно было, что она чувствует свою тайную вину. Она смотрела на меня своими мягкими голубыми глазами, где таилось ребяческое игривое озорство. Ее полные розовые губы часто приоткрывались, как будто готовые улыбнуться. А честное лицо ее выражало невинность и неподдельную откровенность — это я очень хорошо почувствовал, хотя тогда и не сумел бы выразить. Если бы я попробовал подобрать для этого слова, я, вероятно, сказал бы: «С виду она честнее честного». Было просто невероятно, чтобы она могла «гулять» с Лордом Джорджем. Должно было существовать какое-то объяснение; я не верил в то, что видел своими глазами.

И вот настал день, когда мне нужно было возвращаться в школу. Возчик взял мой чемодан, и я налегке пошел на станцию. Предложение тети проводить меня я отверг: мне казалось, что идти одному более подобает мужчине, но, когда я шел по улице, я чувствовал себя несколько подавленным. В Теркенбери вела маленькая железнодорожная ветка, и станция была на другом конце города, недалеко от пляжа. Я взял билет и устроился в уголке вагона третьего класса. Вдруг я услышал голос: «Вот он!» — и в вагон весело ворвались Дриффилды.

— Мы решили прийти и проводить вас, — сказала Роза. — Вам, наверное, грустно?

— Нет, вовсе нет.

— Ну ничего, это ненадолго. У нас будет масса времени, когда вы вернетесь на рождество. Вы умеете кататься на коньках?

— Нет.

— А я умею. Я вас научу.

Ее веселье ободрило меня, и в то же самое время при мысли, что они приехали на станцию попрощаться со мной, у меня к горлу подкатил клубок. Я изо всех сил старался, чтобы на моем лице ничего нельзя было прочесть.

— В этом году я собираюсь много играть в регби, — сказал я. — Думаю, что попаду во вторую сборную.

Она посмотрела на меня сияющими добротой глазами с улыбкой на полных розовых губах. В ее улыбке было что-то такое, что всегда мне нравилось, а голос ее, казалось, чуть дрожит не то от смеха, не то от слез. На мгновение я с ужасом подумал, что сейчас она меня поцелует, и перепугался до полусмерти. Она продолжала разговор слегка шутливым тоном, как обычно взрослые говорят со школьниками, а Дриффилд стоял молча, смотрел на меня улыбающимися глазами и теребил бородку. Потом кондуктор дал резкий свисток и замахал красным флажком. Миссис Дриффилд пожала мне руку. Подошел и Дриффилд.

— До свидания, — сказал он. — Вот вам кое-что.

Он сунул мне в руку маленький сверток, и поезд тронулся. Развернув сверток, я нашел там две полкроны, обернутые в клочок бумаги. Я покраснел до ушей. Иметь лишние пять шиллингов было приятно, но мысль о том, что Тед Дриффилд осмелился дать мне подачку, наполнила меня яростью и унижением. Взять что-нибудь от него было для меня немислимо. Правда, я катался с ним на велосипеде и ходил в море, но он не принадлежал к числу «сагибов» (это я усвоил от майора Гринкорта), и дать мне пять шиллингов было с его стороны оскорблением. Сначала я было решил вернуть ему деньги без единого слова, показав своим молчанием, как я возмущен таким нарушением приличий; потом я сочинил в уме полное достоинства ледяное письмо, в котором благодарил его за великодушие, но указывал, что он должен понять, насколько невозможно для джентльмена принять подачку,

по сути дела, от постороннего человека. Я размышлял об этих двух полукронах несколько дней, и с каждым днем мне казалось, что Дриффилд не имел в виду ничего плохого, и к тому же ведь он очень дурно воспитан и ничего не понимает в жизни; мне не хотелось огорчить его, отослав деньги обратно, и в конце концов я их истратил. Но я успокоил свое ущемленное самолюбие тем, что не стал писать Дриффилду письмо с благодарностью за подарок.

Но когда настало рождество и я вернулся в Блэкстепл на каникулы, больше всего я стремился повидать Дриффилдов. В этом унылом, затхлом городке они одни, казалось, как-то связаны с внешним миром, который уже начинал вызывать у меня тревожное любопытство. Я не мог преодолеть свою застенчивость настолько, чтобы зайти к ним, и надеялся, что встречу их в городе. Но стояла ужасная погода, со свистом налетал неистовый ветер, пронизывая до костей, и немногих женщин, выходявших из дому по своим делам, несло по улице с развевающимися широкими юбками, как рыболовные шхуны в шторм. Внезапными шквалами обрушивался холодный дождь, а небо, которое летом так уютно окутывало гостеприимную местность, теперь превратилось в полную угрозы, давящую плотную пелену. Случайно встретиться с Дриффилдами надежды было мало, и наконец я собрался с духом и однажды после чаю ускользнул из дома.

До самой станции дорога была окутана крошечной тьмой, а дальше редкие и тусклые фонари все-таки позволяли держаться тротуара. Дриффилды жили в переулке, в маленьком двухэтажном доме с закопченными стенами из желтого кирпича и эркером на фасаде. Я постучал, и скоро маленькая горничная открыла дверь. Я спросил, дома ли миссис Дриффилд. Она неуверенно посмотрела на меня, сказала, что сейчас узнает, и ушла, оставив меня в коридоре. Я уже слышал голоса в следующей комнате, но они затихли, когда она открыла дверь и, войдя, закрыла ее за собой. Я ощутил какую-то таинственность; в домах друзей моего дяди, даже когда в камине не горел огонь и с вашим приходом приходилось зажигать газ, вас все равно сразу приглашали в гостиную. Но дверь открылась, и вышел Дриффилд. В коридоре было почти темно, и сначала он не мог разглядеть, кто пришел, но тут же узнал меня.

— А, это вы! А мы думали, когда с вами увидимся!
И он крикнул:

— Роза, это молодой Эшенден.

Миссис Дриффилд вскрикнула и, во мгновение ока появившись в коридоре, уже пожимала мне руку.

— Заходите, заходите. Раздевайтесь. Какая ужасная погода, да? Вы, наверное, заоченели.

Она помогла мне снять пальто и шарф, выхватила из рук шапку и потащила меня в теплую и душную маленькую комнату, заставленную мебелью. В камине горел огонь, а три газовые горелки с круглыми колпаками из матового стекла (у нас дома газа не было) заливали комнату ярким светом. В воздухе стояли клубы табачного дыма. Сначала, ошарашенный бурным приемом, я не разглядел, кто были два человека, которые встали, когда я вошел. Потом я увидел, что это дядин помощник мистер Гэллоуэй и Лорд Джордж Кемп. Мне показалось, что дядин помощник пожал мне руку с неохотой.

— Здравствуй. Я только зашел вернуть книги, которые брал у мистера Дриффилда, а миссис Дриффилд любезно предложила мне остаться и попить чаю.

Я не то что увидел, а почувствовал лукавый взгляд, который бросил на него Дриффилд. Он что-то сказал о богатстве несправедном — я понял, что это цитата, но не уловил ее смысла. Мистер Гэллоуэй рассмеялся.

— Ну, не знаю, — сказал он. — А как насчет мытарей и грешников?

Я подумал, что это замечание весьма дурного вкуса, но тут в меня вцепился Лорд Джордж. Он чувствовал себя вполне непринужденно.

— Ну, молодой человек, приехали домой на каникулы? Честное слово, вы необыкновенно выросли.

Я довольно холодно пожал ему руку. «Лучше бы я не приходил», — подумал я.

— Дайте-ка я вам налью чашку хорошего крепкого чаю, — предложила миссис Дриффилд.

— Я уже пил.

— Ну, выпейте еще, — вмешался Лорд Джордж с таким видом, как будто хозяин здесь он, что было вполне в его духе. — У такого здорового парня всегда должно найтись место еще для одного бутерброда с джемом, а миссис Д. отрежет вам кусочек пирога своими собственными прелестными ручками.

Чайная посуда была еще на столе, за которым они сидели. Мне подставили стул, и миссис Дриффилд дала мне кусок пирога.

— А мы как раз уговаривали Теда спеть нам песню, — сказал Лорд Джордж. — Давайте, Тед.

— Спой «Все из-за того солдата», Тед, — сказала миссис Дриффилд. — Мне она очень нравится.

— Нет, спойте «Тут взялись мы за него».

— Смотрите, как бы я не спел обе, — пошутил Дриффилд.

Он взял с пианино банджо, подстроил его и запел. У него был прекрасный баритон. Я привык к пению: когда у нас устраивали званый чай или когда мы шли в гости к майору или доктору, гости всегда приносили с собой инструменты и оставляли их в передней, чтобы не казалось, будто они навязываются со своей музыкой и пением. Но после чая хозяйка спрашивала, принесли ли они инструменты, они робко признавались, что принесли, и если это происходило у нас, меня посылали за ними. Бывало и так: какая-нибудь молодая дама говорила, что она совсем уже забросила музыку и ничего с собой не взяла, и тогда вмешивалась ее мать и говорила, что инструмент захватила она. Но пели они не комические песенки, а «Напев Аравии», или «Доброй ночи, любовь моя», или «Королеву моей души». Однажды на ежегодном концерте в собрании мануфактурщик Смитсон спел комическую песенку, и хотя в задних рядах бурно аплодировали, общество нашло, что в ней нет ничего смешного. Возможно, так оно и было. Во всяком случае, перед следующим концертом его попросили более тщательно выбирать, что петь («Не забудьте, мистер Смитсон, здесь присутствуют леди!»), и он исполнил «Смерть Нельсона».

Следующая песенка Дриффилда была с припевом, который рьяно подхватили дядин помощник и Лорд Джордж. С тех пор я слышал ее много раз, но могу вспомнить только четыре строчки:

Тут взялись мы за него —
Открывал он двери лбом,
И ступеньки все считал,
И валялся под столом.

Когда песенка кончилась, я, как хорошо воспитанный человек, обратился к миссис Дриффилд:

— А вы не поете?

— Петь-то пою, но так, что молоко прокисает, и Тед не очень это приветствует.

Дриффилд отложил банджо и закурил трубку.

— Ну, а как подвигается твоя книга, Тед? — дружески спросил Лорд Джордж.

— Да ничего, работаю.

— Чудак ты, Тед, со своими книгами, — засмеялся Лорд Джордж. — Почему бы тебе не остепениться и не заняться для разнообразия чем-нибудь приличным? Я бы взял тебя к себе на работу.

— Да мне и так хорошо.

— Оставь его в покое, Джордж, — сказала миссис Дриффилд. — Ему нравится писать, и я думаю так: пока это доставляет ему удовольствие, пусть его.

— Ну, конечно, я не говорю, что понимаю что-нибудь в книжках... — начал Джордж Кемп.

— Так и не рассуждай о них, — перебил с улыбкой Дриффилд.

— По-моему, человек, который написал «Тихую гавань», может этого не стыдиться, — сказал мистер Гэллоуэй, — что бы там ни писали критики.

— Слушай, Тед, я знаю тебя с детства и все-таки не смог ее прочитать, как ни старался.

— Нет, нет, не надо говорить о книгах, — вмешалась миссис Дриффилд. — Спой нам еще, Тед.

— Мне пора, — сказал дядин помощник и повернулся ко мне. — Мы можем пойти вместе. Дриффилд, вы дадите мне что-нибудь почитать?

Дриффилд указал на кучу новых книг, наваленных на столе в углу.

— Выбирайте.

— Боже, сколько их! — сказал я, жадно на них глядя.

— О, это все дрянь. Прислали на рецензию.

— А что вы с ними делаете?

— Отвожу в Теркенбери и продаю, за сколько могу. Все-таки подспорье.

Дядин помощник выбрал несколько книг и вышел вместе со мной, неся их под мышкой.

— Ты сказал дяде, что идешь к Дриффилдам? — спросил он.

— Нет. Я просто вышел погулять, и мне вдруг пришло в голову к ним заглянуть.

Это, конечно, не совсем соответствовало действительности, но мне не хотелось говорить мистеру Гэллоуэю,

что, хоть я уже практически взрослый, дядя мало с этим считается и вполне может запретить мне видеться с людьми, которые ему не по душе.

— На твоём месте я бы не стал об этом рассказывать без особой нужды. Дриффилды — хорошие люди, но твой дядя их не очень одобряет.

— Знаю, — сказал я. — Все это чепуха.

— Конечно, они простоваты, но пишет он неплохо, и если подумать, в какой обстановке он вырос, вообще удивительно, что он пишет.

Я понял, куда он клонит, и обрадовался. Мистер Гэллоуэй не хотел, чтобы дядя знал о его дружбе с Дриффилдами. В любом случае я мог быть уверен: он меня не выдаст.

Наверное, то, что дядин помощник так снисходительно отзывался о человеке, который уже давно признан одним из величайших поздневикторианских романистов, теперь может вызвать улыбку; но именно так о Дриффилде обычно говорили в Блэкстебле. Как-то нас пригласила к чаю миссис Гринкорт, у которой гостила ее двоюродная сестра, жена преподавателя из Оксфорда, слышавшая весьма образованной особой. Эта миссис Энкомб была маленького роста, с живым морщинистым лицом; она поразила нас тем, что коротко стригла свои седые волосы и носила черную шерстяную юбку, едва доходившую до верхнего края туфель с квадратными носами. Это была первая Современная Женщина, появившаяся в Блэкстебле. Мы были потрясены и сразу же заняли оборонительные позиции, потому что она выглядела умной, а мы от этого робели. (Потом все мы издевались над ней, и дядя говорил тете: «Нет, дорогая, я рад, что ты не так умна, по крайней мере, от этого я избавлен»; а когда тетя была в игривом настроении, она надевала поверх своих туфель дядины шлепанцы, согревавшиеся у огня, и говорила: «Смотрите — я современная женщина». И потом мы все говорили: «Какая смешная эта миссис Гринкорт: ни когда не знаешь, что она еще придумает. А все-таки она — не совсем то...» Мы никак не могли простить ей того, что ее отец был хозяином фарфоровой фабрики, а дед — рабочим.)

Но всем нам было очень интересно слушать, как миссис Энкомб рассказывает о людях, которых она знала. Дядя учился в Оксфорде, но оказалось, что все, о ком он спрашивал, уже умерли. Миссис Энкомб была знакома

с миссис Хэмфри Уорд и восхищалась «Робертом Элсмиром». Дядя считал его скандальной книгой и был удивлен, когда узнал, что мистер Гладстон, по крайней мере называвший себя христианином, сказал о ней несколько хороших слов. Дядя даже поспорил с миссис Энкомб. Он сказал, что, по его мнению, эта книга внесет в умы смуту и внушит людям такие мысли, которых им лучше бы не иметь. Миссис Энкомб отвечала, что он так не думал бы, если бы знал миссис Хэмфри Уорд. Это весьма достойная женщина, племянница мистера Мэтью Арнольда, и, что бы вы ни думали о самой книге (а она, миссис Энкомб, готова признать, что кое-что в ней лучше было бы убрать), совершенно очевидно, что она написала ее из наилучших побуждений. Миссис Энкомб знала и мисс Браунтон. Она из очень хорошей семьи, и странно, что она пишет такие книги.

— Я не вижу в них ничего плохого, — сказала миссис Хэйфорт, жена доктора. — Мне они нравятся, особенно «Красна, как розочка».

— А вы хотели бы, чтобы их прочли ваши девочки? — спросила миссис Энкомб.

— Пока еще нет, вероятно, — ответила миссис Хэйфорт, — но, когда они выйдут замуж, я ничего не буду иметь против.

— Тогда вам, может быть, интересно будет узнать, — сказала миссис Энкомб, — что, когда на прошлую пасху я была во Флоренции, меня познакомили с Уйда.

— Это совсем другое дело, — возразила миссис Хэйфорт. — Я не представляю, чтобы хоть одна леди могла читать книги Уйда.

— Я прочла одну из любопытства, — сказала миссис Энкомб. — Должна сказать, что такого скорее можно было ждать от француза, чем от порядочной англичанки.

— Но, насколько я понимаю, она на самом деле — не англичанка. Я слышала, что ее настоящее имя — мадемуазель де ля Раме.

Тут-то мистер Гэллоуэй и завел речь об Эдуарде Дрифилде.

— Знаете, а у нас здесь тоже живет писатель, — вставил он.

— Мы не очень им гордимся, — сказал майор. — Это сын управляющего старой мисс Вулф, а женился он на буфетчице.

— А хорошо ли он пишет? — спросила миссис Энкомб.

— Сразу видно, что он — не джентльмен, — ответил дядин помощник, — но если принять во внимание, какие трудности ему пришлось преодолеть, это просто замечательно, что он так пишет.

— Он приятель нашего Уилли, — сказал дядя.

Все посмотрели на меня, и я очень смутился.

— Прошлым летом они вместе катались на велосипеде, и, когда Уилли вернулся в школу, я взял в библиотеке одну из книг Дриффилда, чтобы посмотреть, на что они похожи. Я прочел первый том, отослал его обратно, написал довольно резкое письмо библиотекарю и был рад, когда узнал, что он больше эту книгу не выдает. Если бы она была моя, я бы тут же отправил ее в печь.

— Я сам пробежал одну его книгу, — признался доктор. — Мне было интересно, потому что действие происходит в наших местах, и я кое-кого в ней узнал. Но не могу сказать, чтобы она мне понравилась: по-моему, слишком груба.

— Я говорил ему об этом, — сказал мистер Гэллоуэй, — он ответил, что матросы с угольщиков, что ходят в Ньюкасл, и рыбаки, и работники на фермах ведут себя не так, как леди и джентльмены, и говорят совсем иначе.

— Так зачем о таких писать? — возразил дядя.

— Вот именно, — отозвалась миссис Хэйфорт. — Все мы знаем, что на свете есть грубые, и злые, и плохие люди, но я не понимаю, какой смысл о них писать.

— Я не защищаю его, — сказал мистер Гэллоуэй, — я просто рассказываю вам, как он сам это объясняет. Ну и, конечно, он вспомнил Диккенса.

— Диккенс — совсем другое дело, — заявил дядя. — Я не представляю, чтобы кто-нибудь мог что-то возразить против «Пиквикского клуба».

— По-моему, это дело вкуса, — сказала тетя. — Я всегда считала, что Диккенс очень груб. Я не желаю читать о людях, которые неправильно говорят. Очень хорошо, что стоит плохая погода и Уилли не может больше кататься с мистером Дриффилдом. По-моему, это не такой человек, с которым стоит общаться.

Я и мистер Гэллоуэй смущенно потупились.

IX

Все время, какое мне оставляли скромные рождественские развлечения Блэкстебла, я проводил в домике Дриффилдов рядом с конгрегационалистской церковью. Там я постоянно встречал Лорда Джорджа и часто — мистера Гэллоуэя. Общая тайна сблизила нас, и, встречаясь у нас дома или в ризнице после службы, мы лукаво переглядывались. Мы не говорили о своем секрете, но наслаждались им; по-моему, мы оба были очень довольны, что водим дядю за нос. Но как-то мне пришло в голову, что Джордж Кемп, встретившись с дядей на улице, может между прочим заметить, что часто видит меня у Дриффилдов. Я сказал мистеру Гэллоуэю:

— А как насчет Лорда Джорджа?

— Ну, это я уладил.

Мы ухмыльнулись. Лорд Джордж начинал мне нравиться. Сначала я был с ним весьма холоден и изысканно вежлив, но он, казалось, совершенно не ощущал разницы в нашем социальном положении, и мне пришлось признать, что своей высокомерной вежливостью я не смог поставить его на место. Он был неизменно добродушен, весел, даже шумлив; он запросто подшучивал надо мной, а я отвечал ему школьными остротами; мы смешили всех остальных, и это располагало меня к нему. Он вечно распространялся о своих грандиозных планах, но не обижался на мои шутки по их поводу. Я с интересом слушал, как он высмеивает блэкстеблских знаменитостей, и, когда он подражал их повадкам, я покатывался со смеху. Он был криклив и вульгарен, и его манера одеваться всегда меня шокировала (я никогда не бывал на ипподроме в Ньюмаркете и не видел ни одного тренера с бегов, но именно так я представлял себе ньюмаркетского тренера), и за столом он держался ужасно, но мое отвращение к нему все больше и больше ослабевало. Каждую неделю он давал мне почитать «Розовый журнал». Я брал его с собой, тщательно пряча в карман пальто, и читал у себя в спальне.

Я ходил к Дриффилдам всегда только после чая и там пил чай во второй раз. Потом Тед Дриффилд пел комические песни, аккомпанируя себе иногда на банджо, а иногда на пианино. Он мог часами петь, улыбаясь и глядя в ноты своими немного близорукими глазами, и любил, когда мы подхватывали припев. Потом мы играли в вист. Я обучился этой игре еще в детстве: дядя, тетя и я коротали дома

за картами долгие зимние вечера. Дядя всегда садился с болваном и, хотя никаких денежных ставок, конечно, не было, но когда мы с тетей проигрывали, я залезал под стол и плакал. Тед Дриффилд говорил, что ничего в картах не понимает, и когда мы садились играть, устраивался у камина и с карандашом в руке читал какую-нибудь книгу присланную ему из Лондона на рецензию. Играть вчетвером мне до тех пор не приходилось, и игрок я был, конечно, плохой, зато миссис Дриффилд оказалась прирожденной картежницей. Обычно она двигалась спокойно и неторопливо, но, когда дело касалось карт, действовала быстро, всегда была начеку и всех нас обыгрывала. Говорила она тоже, как правило, немного и медленно, но когда после каждой сдачи добродушно принималась растолковывать мне мои ошибки, что получалось у нее понятно и доступно, то становилась даже разговорчивой. Лорд Джордж подшучивал над ней, как и над всеми остальными. Она улыбалась его шуткам — смеялась она очень редко — и иногда удачно отшучивалась. Они вели себя не как любовники, а как старые приятели, и я бы совсем забыл, что о них говорили и что я видел сам, если бы время от времени она не смотрела на него так, что я приходил в замешательство. Ее взгляд спокойно останавливался на нем, как будто он был не человек, а стул или стол, и в глазах ее появлялась озорная, детская улыбка. Я заметил, что Лорд Джордж в таких случаях весь как будто надувался и начинал беспокойно ворочаться на стуле. Я посматривал на единого помощника, боясь, как бы он чего-нибудь не заметил, но он или был поглощен картами, или разжигал трубку.

Час-другой, которые я проводил каждый день в этой душной, тесной, прокуренной комнате, проносились как одно мгновение. По мере того, как каникулы близились к концу, я начал приходить в отчаяние от мысли, что мне предстоит еще три месяца томиться в школе.

— Не знаю, что мы без вас будем делать, — говорила миссис Дриффилд. — Придется играть с болваном.

Я был рад, что мой отъезд испортит им игру. Мне не хотелось, делая уроки, думать о том, что они сидят в этой маленькой комнате и развлекаются, как будто меня нет на свете.

— Сколько времени у вас продолжают пасхальные каникулы? — спросил мистер Гэллоуэй.

— Около трех недель.

— То-то весело мы проведем время, — сказала миссис Дриффилд. — Погода, наверное, будет хорошая. По утрам мы будем кататься, а после чая играть в вист. Вы стали играть гораздо лучше. Вот поиграем три-четыре раза в неделю во время ваших каникул, и можете смело садиться с кем угодно.

Х

Но вот наконец занятия кончились. В прекрасном настроении я опять сошел с поезда в Блэкстебле. Я немного подрос, заказал себе в Теркенбери новый костюм — синий шерстяной, очень шикарный, и купил новый галстук. Я собирался идти к Дриффилдам сразу же, как только попью чаю, и надеялся, что посыльный вовремя принесет костюм и я смогу его надеть. В нем я выглядел совсем взрослым. Я уже начал каждый вечер мазать себе вазелином верхнюю губу, чтобы быстрее росли усы. Проходя по городу, я с надеждой заглянул в переулок, где жили Дриффилды. Мне хотелось забежать к ним, чтобы поздороваться, но я знал, что мистер Дриффилд по утрам пишет, а миссис Дриффилд «не в форме». У меня было что им порассказать. Я выиграл забег на сто ярдов и занял второе место по барьерному бегу. Осенью я собирался претендовать на приз по истории и для этого предполагал на каникулах подзаняться. Хотя дул восточный ветер, небо было голубое, и в воздухе пахло весной. Хай-стрит играла свежими красками, как будто промытая ветром, а четкие очертания домов были похожи на рисунок пером Сэмюела Скотта — спокойный, наивный и уютный. Мне так кажется сейчас, когда я вспоминаю тот день; тогда же это была для меня просто Хай-стрит в Блэкстебле. Проходя мимо железнодорожного моста, я заметил два или три строящихся дома. «Вот это да, — подумал я. — Лорд Джордж и в самом деле развернулся».

В поле за городом резвились белые ягнята. Вязы только начинали зеленеть. Я вошел в боковую дверь. Дядя сидел в своем кресле у огня и читал «Таймс». Я позвал тетю, она прибежала вниз, раскрасневшаяся от возбуждения, и обняла меня своими старыми худыми руками. При этом она сказала все, что полагалось: и «Как ты вырос!», и «Боже мой, у тебя скоро будут усы!».

Я поцеловал дядю в лысую макушку и встал спиной к камину, широко расставив ноги, чувствуя себя очень

взрослым и важным. Потом я поднялся наверх поздравиться с Эмили, а потом — на кухню, к Мэри-Энн, и сад — повидать садовника.

Когда я, голодный, уселся обедать и дядя резал мяк, я спросил тетю:

— Ну, что происходило в Блэкстебле, пока меня было?

— Ничего особенного. Миссис Гринкорт уезжала шесть недель в Ментону, но несколько дней назад вернулась. У майора был приступ подагры.

— А твои друзья Дриффилды сбежали, — добавил дядя.

— Что? — воскликнул я.

— Сбежали. Однажды ночью забрали свои вещи смылись в Лондон. Остались должны всем и каждому. И за квартиру не заплатили, ни за мебель. Мяснику Харри задолжали чуть ли не тридцать фунтов.

— Ужасно, — сказал я.

— Это бы еще ничего, — вставила тетя, — но они как будто даже не заплатили горничной, которая у них работала три месяца.

Я был потрясен настолько, что даже почувствовал дрожь.

— Надеюсь, впредь, — сказал дядя, — ты станешь у нее и не будешь являться с людьми, которых мы с тетей считаем неподходящими для тебя знакомыми.

— Остается только пожалеть тех торговцев, которых они обманули, — сказала тетя.

— Так им и надо, — возразил дядя. — Нечего было предоставлять кредит таким людям! По-моему, всякий мог видеть, что это просто авантюристы.

— Я всегда удивлялась, зачем вообще они сюда приехали.

— Просто хотели пустить пыль в глаза. И наверно думали, что раз здесь люди их знают, то им будет легко получить все в кредит.

Мне это показалось не очень логичным, но я был слишком подавлен, чтобы спорить.

При первой же возможности я расспросил Мэри-Энн, что она знает об этом деле. К моему удивлению, она отнеслась к этому вовсе не так, как дядя и тетя.

— Здорово они всех надули, — хихикнула она. — Швырялись деньгами направо и налево, и все думали, что их кошелек битком набит. Грудинку у мясника брал

самую лучшую, а уж если на жаркое, то только вырезку. И спаржу, и виноград, и я не знаю что. У них были счета в каждой лавке по всему городу. Не знаю, как это можно быть такими дураками.

Но она явно имела в виду не Дриффилдов, а торговцев.

— А как же им удалось удрать, чтобы никто не знал? — спросил я.

— Вот этого никто и не может понять. Говорят, им Лорд Джордж помог. Скажи-ка, как же они могли бы достать вещи на станцию, если бы он не подвез их в своей тележке?

— А он что говорит?

— Говорит, что ничего не знает. Тут такое творилось, когда до всех дошло, что Дриффилды улизнули! Просто смех. Лорд Джордж говорит, он не подозревал, что у них ничего нет, и прикидывается, будто тоже удивлен, как и все. Но я-то ни слову его не верю. Все мы знаем, что у него было с Розы до того, как она вышла замуж, да, между нами, я и не верю, что на этом все кончилось. Говорят, кто-то видел, как они прошлым летом прогуливались за городом, да и у них он бывал каждый божий день.

— А как все это стало известно?

— А вот как. У них там работала одна девушка, и они сказали ей, что она может идти к матери ночевать, но чтобы вернулась не позже восьми утра. Ну, пришла она и не может попасть в дом. Стучала, звонила — никто не отвечает. Она пошла к соседям и спросила там, что ей делать, и соседка говорит, что лучше всего пойти в полицию. Пришел сержант, он тоже звонил и стучал, и никакого ответа. Тогда он спросил ее, заплатили ли они ей, а она сказала — нет, за целых три месяца, и тогда он сказал: «Можешь мне поверить, они смылись, вот что». И когда вошли в дом, то увидели, что они взяли всю одежду и все книги — говорят, у Теда Дриффилда их было ужасно много — и все до последнего, что у них там было.

— И с тех пор никто о них ничего не слышал?

— Да в общем нет, только когда их не было уже с неделю, эта девушка получила письмо из Лондона, и когда его распечатала, там не было никакого письма и ничего, а только почтовый перевод на те деньги, что она заработала. И если ты спросишь меня, то, по-моему, они просто молодцы, что не обманули бедную девушку.

Я был гораздо сильнее шокирован, чем Мэри-Энн. Я был весьма уважаемым юнцом. Читатель не мог не заметить, что я разделял все предрассудки своего класса считая их такими же незыблемыми, как законы природы и хотя огромные долги, о которых я читал в книгах казались мне романтическими, а кредиторы с ростовщиками были обычными персонажами в мире моих фантазий, — я не мог не считать неуплату долга торговцам подлым поступком, достойным презрения. Я смущенно слушал когда в моем присутствии говорили о Дриффилдах, а как только речь заходила о моей дружбе с ними, я говорил «Ну, знаете, я ведь едва был с ними знаком»; и когда меня спрашивали: «А правда, что они были ужасно вульгарны?», я отвечал: «Да, пожалуй, потомственной аристократией от них не пахло».

Бедный мистер Гэллоуэй был ужасно расстроен.

— Конечно, я не думал, что они богаты, — говорил он мне, — но полагал, что хоть концы с концами они сводят. Дом был очень прилично обставлен, и пианино новое. Мне и в голову не могло прийти, что они ни за что не платили. Они никогда себя не стесняли. Что меня больше всего огорчает — это обман. Я много у них бывал и, мне казалось, правился им. Они всегда были такие гостеприимные. Вы не поверите, но когда я последний раз с ним виделся, миссис Дриффилд на прощанье пригласила меня приходить на следующий день, а Дриффилд сказал: «Загляни к чаю горячие булочки». А в это время наверху у них все уже было упаковано, и в ту же ночь они уехали последним поездом в Лондон.

— А что говорит об этом Лорд Джордж?

— Сказать вам правду, я последнее время не очень стремился с ним повидаться. Это мне хороший урок. Есть такая поговорка о дурных знакомствах, которую я решил теперь твердо помнить.

Я относился к Лорду Джорджу примерно так же, как и к миссис Дриффилд. Я тоже немного нервничал. Если бы ему пришлось в голову рассказать кому-нибудь, что в рождественские каникулы я чуть ли не каждый день бывал у Дриффилдов, и если бы это дошло до дядиных ушей, мне грозило неприятное объяснение. Дядя обвинил бы меня в обмане, двуличии, непослушании и неджентльменском поведении, и мне было бы нечего ответить. Я достаточно хорошо его знал и мог быть уверен, что он дела так не оставит и будет напоминать мне об этом проступке многие годы. Я тоже

был рад, что не встречался с Лордом Джорджем. Но однажды я столкнулся с ним лицом к лицу на Хай-стрит.

— Хэлло, юноша! — крикнул он, хотя такое обращение я особенно не любил. — Снова на каникулы?

— Вы совершенно правы, — ответил я, как мне показалось, с уничтожающим сарказмом. Увы, он только разразился хохотом.

— До чего же острый у вас язык — смотрите, не обрежьтесь, — добродушно ответил он. — Что ж, теперь нам с вами, похоже, в вист поиграть не придется? Видите, что получается, когда живешь не по средствам. Я так и говорю своим ребятам: если у тебя есть фунт и ты тратишь девятнадцать с половиной шиллингов, то ты богатый человек; а если тратишь двадцать с половиной, ты нищий. По мелочи, по мелочи большие деньги собираются!

Но хотя он это и говорил, в его голосе не слышалось никакого неодобрения, а только усмешка, как будто про себя он потешался над этими прописными истинами.

— Говорят, вы помогли им улизнуть, — заметил я.

— Я? — Его лицо выразило крайнее удивление, но в глазах поблескивала хитрая усмешка. — Что вы! Когда мне сказали, что Дриффилды удрали, у меня так ноги и подкосились. Они мне были должны за уголь четыре фунта и семнадцать с половиной шиллингов. Всех нас надули, даже бедного Гэллоуэя — так он и не получил булочку к чаю.

Такого нахальства я не ожидал от Лорда Джорджа. Мне хотелось сказать ему напоследок что-нибудь сокрушительное, но я ничего не мог придумать, а просто сказал, что мне надо идти, и расстался с ним, холодно кивнув на прощанье.

XI

Перебирая в памяти прошлое в ожидании Элроя Кира, я усмехнулся, когда сравнил этот недостойный эпизод из забытого периода жизни Эдуарда Дриффилда с невероятной респектабельностью его последних лет. Мне пришло в голову: а не потому ли, что в годы моего отрочества окружавшие нас люди так мало ценили его как писателя, — не потому ли я никогда не мог увидеть в нем те потрясающие достоинства, которые со временем стала приписывать ему критика?

Его язык долго считали очень плохим, и в самом деле ощущение было такое, будто он писал тупым отрезком карандаша; в его вымученном стиле смешались архаизмы и просторечие, а его персонажи разговаривали так, как будто говорит ни один живой человек. Когда он в конце жизни диктовал свои книги, его стиль, приобретя разговорную легкость, стал плавным и водянистым; и тогда критики вернувшись к произведениям поры его расцвета, нашли что там язык был сильным, выразительным и колоритным. Расцвет Дриффилда пришелся на ту пору, когда были моде изящные отрывки, и некоторые описания из его книг попали во все хрестоматии английской прозы. Особенно прославились его картины моря, весны в кентских лесах и заката на Нижней Темзе. Мне следовало бы стыдиться этого, читая их, я всегда испытываю неловкость.

Во времена моей молодости его книги расходились плохо, а одна или две не были допущены в библиотеки; и все же восхищаться им считалось признаком культуры. Его считали смелым реалистом. Это была удобная дубинка для побоев филистеров. Кто-то в приступе вдохновения обнаружил, что его моряки и крестьяне — поистине шекспировские типы, а когда собирались вместе тонко понимающие натуры, их приводил в экстаз сдержанный соленый юмор его деревенских персонажей. На это Эдуард Дриффилд не скупился. Когда он вводил меня в корабельный кубрик или в трактир, у меня падало сердце: я знал что предстоит полдюжины страниц жаргона с остроумными высказываниями о жизни, этике и бессмертии. Правда и шекспировские комические герои всегда наводят на меня скуку, а их бесчисленное потомство и вовсе невыносимо.

Сильной стороной Дриффилда, вероятно, было изображение того круга людей, который он знал лучше всего: фермеров и батраков, лавочников и трактирщиков, шкиперов, помощников капитана, коков и матросов. Когда у него появляются персонажи более высокого общественного положения, надо полагать, даже его самым ярким почитателем становится немного не по себе. Его джентльмены так невероятно благородны, его знатные леди так безгрешны так чисты и возвышенны — неудивительно, что выражаются они могут только очень длинно и с большим достоинством. Женщины в его книгах какие-то неживые. Но здесь я должен добавить, что это только мое личное мнение; широкая публика и самые видные критики единодушно соглашаются, что это обаятельные примеры англий

ской женственности — жизненные, величавые, великодушные; их часто сравнивали с героинями Шекспира. Конечно, мы знаем, что женщины обычно страдают запором, но изображать их в литературе так, как будто они вовсе лишены заднего прохода, — по-моему, уж чрезмерная галантность. Удивительно, как это может нравиться им самим.

Критики способны заставить мир обратить внимание на очень посредственного писателя; мир может сходить с ума по писателю вовсе недостойному: но в обоих случаях это не может продолжаться долго. Сохранять же популярность столько времени, сколько это удалось Эдуарду Дриффилду, писатель может, надо думать, только если он наделен значительным талантом. Снобы презирают популярность; они даже склонны утверждать, будто это доказательство посредственности; но они забывают, что потомство делает свой выбор не среди неизвестных авторов данного периода, а среди тех, кто пользовался известностью. Может случиться, что появится некий великий шедевр, заслуживающий бессмертия, но, если он увидел свет мертворожденным, потомство о нем так ничего и не узнает. Не исключено, что потомки отправят в макулатуру все наши нынешние бестселлеры, но выбирать им придется все-таки из них. А слава Эдуарда Дриффилда, во всяком случае, не меркнет. Мне его романы кажутся скучными; на мой взгляд, они затянуты; на меня не производят впечатления мелодраматические события, которыми он пытается оживить гаснущий интерес читателя; но что у него есть — так это искренность. В его лучших книгах чувствуется биение жизни, и нет среди них такой, где бы вы не ощутили присутствия загадочной личности автора. Первое время его превозносили или ругали за реализм; критики в зависимости от своих взглядов либо хвалили его за правдивость, либо упрекали в грубости. Но с тех пор реализм перестал вызывать споры, и читатель сейчас легко преодолевает такие препятствия, которые устрашили бы его всего лишь поколение назад.

Те, кто читает эти страницы, может быть, помнят передовую статью в «Таймс литерари сапплмент», появившуюся по случаю смерти Дриффилда. Воспользовавшись его романами в качестве повода, автор воспел настоящий гимн прекрасному. На всякого, кто читал статью, не могли не произвести впечатления ее высокопарные периоды, напоминающие возвышенную прозу Джереми Тейлора, ее

благоговение и благочестие, короче, все эти высокие чувства, выраженные стилем, витиеватым без излишества и нежным без слащавости. Статья была сама по себе исполнена прекрасного. Если же кто-нибудь скажет, что Эдуард Дриффилд был некоторым образом юморист и что в этой хвалебной статье не помешала бы острота-другая, то на это нужно будет возразить, что она представляла собой как-никак надгробное слово. К тому же хорошо известно, что Прекрасное не очень благосклонно к робким авансам Юмора. Когда Рой Кир говорил со мной о Дриффилде, он заявил, что, каковы бы ни были его недостатки, их искупает чувство прекрасного, которым проникнуты его книги. Сейчас, вспоминая наш разговор, я думаю, что именно это замечание меня больше всего возмутило.

Тридцать лет назад в литературных кругах была мода на бога. Вера в него считалась хорошим вкусом, а журналисты пользовались им для украшения слога. Потом мода на бога прошла (как ни странно, вместе с модой на крикет и пиво), и начался культ Пана. В сотнях книг его раздвоенное копынце оставляло след на траве; поэты видели его в сумерках лондонских улиц, а литературные дамы Серрея — эти нимфы индустриального века — загадочным образом лишались невинности в его грубых объятиях и духовно уже не могли стать прежними. Но прошла мода и на Пана, и теперь его место заняло Прекрасное. Его находят в отдельной фразе, в рыбном блюде, в собаке, в погоде, в картине, в поступке, в платье. Когорты молодых женщин, написавших по одной добротной многообещающей повести каждая, щебечут о нем всякая на свой манер — иносказательно или игриво, пылко или очаровательно. А окончившие Оксфорд, но все еще окутанные ореолом его славы молодые люди, которые учат нас на страницах еженедельников, что мы должны думать об искусстве, о жизни и о вселенной, небрежно расшвыривают это слово по убористым страницам своих статей. Оно уже безнадежно изношено — боже мой, как безжалостно его затрепали! Идеал можно называть по-разному, и прекрасное — лишь одно из его имен. Может быть, этот шум вокруг прекрасного — всего лишь крик отчаяния тех, кому не по себе в нашем героическом мире машин, а их тяга к прекрасному, к этой крошке Нелл нынешнего века, стыдящегося своих чувств, не что иное, как сентиментальность? Может быть, следующее поколение, которое лучше приспособится к напряженной современной жизни, будет

искать вдохновения не в бегстве от действительности, а в приятии ее?

Не знаю, как другие, но про себя могу сказать, что долго заниматься созерцанием прекрасного не могу. По моему, ни один поэт не ошибался больше, чем Китс в первой строчке «Эндимиона». Насладившись волшебным ощущением, которое доставило мне нечто прекрасное, я быстро отвлекаюсь; я не верю людям, которые говорят, что могут часами как зачарованные смотреть на какую-нибудь картину. Прекрасное — это экстаз: оно так же просто, как голод. О нем, в сущности, ничего не расскажешь. Оно — как аромат розы: его можно понюхать, и все. Вот почему так утомительны все критические рассуждения об искусстве — если не считать тех, которые не касаются прекрасного и поэтому не имеют отношения к искусству. Все, что может сказать критик по поводу «Положения во гроб» Тициана — картины, которая, может быть, больше всех в мире исполнена чистой красоты, — это посоветовать вам пойти и на нее посмотреть. Все остальное, что он скажет, будет или историей, или биографией, или чем-нибудь еще. Но люди связывают с прекрасным другие качества — возвышенность, человечность, нежность, любовь, потому что само прекрасное не может их надолго удовлетворить. Прекрасное — это совершенство, а совершенство (такова уж природа человека) лишь ненадолго задерживает наше внимание. Математик, который, посмотрев «Федру», спросил: «*Qu'est ce que ça prouve?*»¹ — был не таким уж дураком, как обычно считают. Никто еще не смог объяснить, почему дорический храм в Пестуме более прекрасен, чем стакан холодного пива, если только не привлекать соображений, не имеющих к прекрасному никакого отношения. Прекрасное — это тупик. Это горная вершина, достигнув которой дальше идти некуда. Вот почему нас, в конце концов, больше очаровывает Эль Греко, чем Тициан, несовершенство Шекспира нам ближе, чем безупречность Расина. О прекрасном написано слишком много. Вот почему я написал немного еще. Прекрасное — это то, что удовлетворяет эстетический инстинкт. Но кому нужно полное удовлетворение? Только тупицы считают, что от добра добра не ищут. Будем откровенны: прекрасное немного скучно.

¹ А что это доказывает? (*фр.*)

Но все, что писали критики про Эдуарда Дриффилда, было, конечно, сплошной чепухой. Не реализм, придававший жизненность его произведениям, составлял его выдающееся достоинство, не красота, которой они исполнены, не четко очерченные образы мореплавателей, не поэтические описания болот, шторма и штиля или уютных деревушек, — этим достоинством была его долговечность. Уважение к возрасту — одна из самых замечательных человеческих черт, и я думаю, что не ошибусь, если скажу, что ни в одной стране она не проявляется так заметно, как у нас. Другие нации нередко относятся к старости с платоническим почтением и любовью; у нас же это проявляется на практике. Кто, кроме англичан, способен заполнять зал Ковент-Гардена, чтобы послушать престарелую безголовую примадонну? Кто, кроме англичан, готов платить за удовольствие смотреть на таких дряхлых танцоров, что они еле передвигают ноги, да еще говорить друг другу в антракте: «Вот это да; а вы знаете, что ему уже за шестьдесят?» Но в сравнении с политическими деятелями и писателями это просто мальчишки, и мне часто кажется, что *jeune-premier*¹, если он не наделен из ряда вон выходящим добродушием, должен с горечью подумывать, что ему в семьдесят лет придется закончить свою карьеру, а общественный деятель и писатель в этом возрасте только входят в самую пору. Сорокалетний политик становится к семидесяти государственным деятелем. Именно в этом возрасте, когда он слишком стар, чтобы быть клерком, или садовником, или полицейским судьей, он созревает для руководства государством. Это не так уж удивительно, если вспомнить, что с самой глубокой древности старики внушают молодым, что они умнее, — а к тому времени, как молодые начинают понимать, какая это чушь, они сами превращаются в стариков, и им выгодно поддерживать это заблуждение. Кроме того, каждый, кто вращался в политических кругах, не мог не заметить, что если судить по результатам, то для управления страной не требуется особых умственных способностей. Но вот почему писатели заслуживают тем большего почета, чем старше они становятся, — это давно приводит меня в недоумение. Одно время я думал, что похвалы, расточаемые им тогда, когда они уже двадцать лет как не написали ничего интересного, объясняются в основном тем, что более молодые люди, уже

¹ Герой-любовник (фр.).

не боясь их конкуренции, без опаски превозносят их достоинства: хорошо известно, что хвалить человека, соперничество которого вам не грозит, — часто очень хороший способ ставить палки в колеса тому, чьей конкуренции вы опасаетесь. Но это слишком низкое мнение о человеческой природе, а я ни за что на свете не хотел бы навлечь на себя обвинения в дешевом цинизме. По зрелом размышлении я пришел к выводу, что причина всеобщих рукоплесканий, скрашивающих последние годы писателя, который превысил обычную продолжительность человеческой жизни, на самом деле в том, что интеллигентные люди после тридцати лет вовсе ничего не читают. И по мере того, как они стареют, книги, прочитанные ими в молодости, окрашиваются радужными воспоминаниями того времени, и с каждым годом их автору приписываются все большие достоинства. Он, конечно, должен продолжать писать, чтобы не быть забытым публикой. Он не должен думать, что достаточно написать один-два шедевра; он должен подвести под них пьедестал из сорока — пятидесяти книг, не представляющих особого интереса. На это нужно время. Производительность писателя должна быть такой, чтобы оглушить читателя массой, если уж нельзя удержать его интерес качеством.

И если, как я полагаю, долговечность — это тоже гениальность, то мало кто в наше время оказался наделенным ею в такой степени, как Эдуард Дриффилд. Когда он был всего лишь шестидесятилетним юнцом (и просвещенная публика уже с ним покончила), его положение в литературном мире было всего лишь respectable; лучшие судьи хвалили его, но умеренно, а молодежь была склонна над ним подтрунивать. Все соглашались, что он не лишен таланта, но никому не приходило в голову, что он — слава английской литературы. Потом он отпраздновал свой семидесятилетний юбилей; литературный мир слегка заволновался — как гладь Индийского океана, когда где-то вдалеке назревает тайфун. Стало очевидно, что все эти годы среди нас жил великий романист, о чем мы и не подозревали. В библиотеках начали хватать его книги, и сотни писак из Блумсбери, Челси и других мест, где собираются литераторы, принялись строчить одобрительные рецензии, исследования, очерки, труды — краткие и легкомысленные или длинные и серьезные — о его романах. Они переиздавались — полными собраниями, избранными произведе-

ниями, дешевыми и роскошными изданиями. Его стиль анализировали, его философию изучали, его технику разбирали. В семьдесят пять все единодушно признали Эдуарда Дриффилда гением. К восьмидесяти же он стал Великим Корифеем английской литературы и это положение сохранял до самой смерти.

Теперь мы с грустью видим, что занять его место некому. Есть несколько писателей, которым за семьдесят, — они, очевидно, полагают, что могли бы с удобством расположиться на пустующем троне. Но им явно чего-то не хватает.

Эти воспоминания, которые я так долго излагал, пронеслись передо мной очень быстро. Они шли вперемежку — то какой-нибудь случай, то обрывок предшествовавшего ему разговора, а я расположил их последовательно для удобства читателя и еще потому, что не терплю беспорядка. При этом меня удивило, что я даже в таком отдалении явственно помню, как выглядели люди и даже что они говорили, но очень смутно — как они были одеты. Я, конечно, знаю, что сорок лет назад одежда, особенно женская, сильно отличалась от нынешней, но если я и помню ее, то не по собственным впечатлениям, а по картинам и фотографиям, которые видел много позже.

Я все еще был погружен в эти праздные мысли, когда услышал, как у дверей остановилось такси, раздался звонок, и через секунду послышался раскатистый голос Элроя Кира, который говорил швейцару, что у него со мной назначена встреча. Он вошел — большой, толстый и добродушный, и его энергия в ту же минуту сокрушила хрупкое здание, выстроенное мной из давно ушедшего прошлого. Как неистовый мартовский ветер, он принес собой агрессивное и неизбежное настоящее.

— Я как раз думал, — сказал я, — кто мог бы сменить Дриффилда в качестве Великого Корифея английской литературы, — и вот вы приехали, чтобы разрешить мое недоумение.

Он весело рассмеялся, но в его глазах мелькнуло подозрение.

— Не думаю, чтобы кому-нибудь это было по плечу, — ответил он.

— А вы сами?

— О мой милый, но мне ведь еще нет пятидесяти. Давайте подождем еще лет двадцать пять.

Он засмеялся снова, но при этом все время смотрел мне в глаза.

— Никогда не могу угадать, разыгрываете вы меня или нет.

Вдруг он опустил взгляд.

— Конечно, иногда думаешь о будущем. Все, кто сейчас на самом вершине, лет на пятнадцать — двадцать старше меня. Они не вечны, а кто их заменит? Конечно, есть Олдос; он намного моложе меня, но не очень крепок здоровьем и, по-моему, не очень следит за собой. Если не считать случайностей — то есть если вдруг не объявится какой-нибудь гений, который смешает все карты, то я, пожалуй, лет через двадцать — двадцать пять неизбежно останусь без всяких соперников. Нужно только продолжать работать и пережить всех остальных.

Рой опустился своим могучим телом в кресло моей хозяйки, и я предложил ему виски с содовой.

— Нет, я никогда не пью спиртного раньше шести, — сказал он и огляделся вокруг. — Занятное у вас жилье.

— Это верно. Так о чем вы хотели со мной поговорить?

— Я думал поболтать с вами об этом приглашении миссис Дриффилд. По телефону довольно трудно все объяснить. Дело в том, что я взялся писать биографию Дриффилда.

— О! Почему вы не сказали сразу?

Я преисполнился к Рою самых дружеских чувств. Было приятно, что я не ошибся в нем, когда заподозрил, что он пригласил меня на обед не просто ради моего общества.

— Я тогда еще не решил. Миссис Дриффилд очень на этом настаивает. Она будет помогать мне, чем может. Она предоставляет мне все материалы, какие у нее есть. Она собирала их много лет. Это нелегкое дело, и сделать его кое-как я просто не могу себе позволить. Но если я справлюсь, это принесет мне большую пользу. Люди очень уважают писателя, который время от времени создает что-нибудь серьезное. На свои критические работы я ухлопал много сил, а денег они не принесли никаких, но я ни минуты об этом не жалею. Без них я бы не имел такого положения, какое имею сейчас.

— По-моему, это очень хороший замысел. Последние двадцать лет вы знали Дриффилда ближе, чем кто бы то ни было.

— Да, пожалуй. Но когда мы познакомились, ему было

уже за шестьдесят. Я написал ему, как восхищен его книгами, и он пригласил меня к себе. А о раннем периоде его жизни я ничего не знаю. Миссис Дриффилд часто навела его на разговор об этих временах и подробно записывала, что он говорил. Потом есть дневники, которые он несколько раз принимался вести, и, конечно, многое в его романах явно автобиографично. Но есть огромные пробелы. Я скажу вам, какую книгу я хочу написать; нечто о личной жизни, с множеством тех мелких подробностей, которые, знаете, согревают человека, и все это будет переплетено с исчерпывающим разбором его литературных работ — конечно, не тяжеловесным, но доброжелательным, тщательным и... тонким. Над этим, конечно, придется поработать, но миссис Дриффилд, кажется, думает, что я справлюсь.

— Я уверен, что справитесь, — вставил я.

— А почему бы и нет? — сказал Рой. — Я критик, я писатель. У меня явно есть для этого кое-какие литературные данные. Но у меня ничего не выйдет, если мне не будут помогать все, кто может.

Я начал понимать, зачем я здесь понадобился, но постарался, чтобы на моем лице ничего не отразилось. Рой наклонился ко мне.

— Я тогда спросил вас, не собираетесь ли вы написать сами что-нибудь про Дриффилда, и вы сказали, что нет. Это определено?

— Конечно.

— Тогда вы не возражаете против того, чтобы предоставить мне свои материалы?

— Но у меня нет никаких материалов!

— Ну, бросьте, — добродушно сказал Рой тоном врача, который уговаривает ребенка открыть ротик. — Когда он жил в Блэкстебле, вы, наверное, много виделись.

— Я был тогда еще мальчишкой.

— Но вы, наверное, чувствовали в нем что-то необычное. В конце концов, каждый, кто общался с Дриффилдом хотя бы полчаса, не мог не видеть, что имеет дело с необыкновенной личностью. Это должен был понять даже шестнадцатилетний мальчик — а вы, вероятно, были более наблюдательны и восприимчивы, чем обычно бывают люди в этом возрасте.

— Не знаю, показалась бы его личность необыкновенной, если бы за ней не стояла его репутация. Как вы думаете, если вы появитесь на морском курорте под видом

мистера Аткинса, бухгалтера, приехавшего лечить большую печень, вы произведете на людей впечатление необыкновенной личности?

— Думаю, они скоро поняли бы, что я не просто обычный бухгалтер, — ответил Рой с улыбкой, которая лишила его слова всякого оттенка самодовольства.

— Так вот, я могу сказать вам одно: больше всего меня тогда поразил в Дриффилде ужасно кричащий костюм, который он носил. Мы часто катались на велосипеде, и мне всегда было немного не по себе, когда меня с ним видели.

— Теперь это звучит комично. А о чем он говорил?

— Не знаю. Ни о чем в особенности. Он очень интересовался архитектурой и о сельском хозяйстве говорил, а если попадался какой-нибудь уютный на вид трактир, он обычно предлагал остановиться на пять минут и выпить по стакану пива, а потом болтал с хозяином про урожай, про цены на уголь и все такое.

Я продолжал в том же духе, хотя по лицу Роя было заметно, что он разочарован. Он слушал, но ему было неинтересно; а я обратил внимание, что, когда ему неинтересно, у него становится сердитый вид. Но хоть я и не помнил, чтобы Дриффилд когда-нибудь сказал что-нибудь значительное во время этих наших долгих прогулок, в моей памяти прекрасно сохранились связанные с ними незабываемые ощущения. У Блэкстебла была одна особенность: хотя он стоял на морском берегу между длинным галечным пляжем и прибрежным болотом, но стоило пройти всего с полмили от моря, как вы попадали в самую сельскую местность во всем Кенте. Дороги извивались между обширными плодородными зелеными полями и рощами огромных коренастых вязов, скромно-величавых, как старые добрые кентские фермерши, краснощекие и дюжие, растолстевшие на хорошем масле, домашнем хлебе, сливках и свежих яйцах. А иногда дорога превращалась просто в тропинку между густыми живыми изгородями из боярышника, а с обеих сторон над ней свешивались зеленые вязы, так, что, если посмотреть вверх, видна только узкая полоска голубого неба. Воздух был теплым и свежим, и когда вы ехали по такой тропинке, то казалось, что весь мир застыл неподвижно и что жизнь будет продолжаться вечно. Несмотря на то, что вы энергично работали ногами, вас охватывало восхитительное чувство лени. Лучше всего было, когда все молчали, а если кто-то от полноты чувств вдруг прибавлял ходу и уносился вперед, это

всех смешило, и следующие несколько минут мы изо всех сил налегали на педали. Добродушно подтрунивая друг над другом, мы от души смеялись собственным шуткам. Время от времени нам попадались коттеджи с маленькими палисадниками, где росли шток-розы и лилии, а в стороне от дороги стояли фермы с просторными амбарами и сушилками для хмеля; попадались и хмелевые плантации, где гирляндами свисали созревающие шишки. В трактирах было весело и уютно, они почти не отличались с виду от коттеджей, и на крыльце у них часто росла жимолость. Они носили привычные названия: «Веселый матрос», «Веселый пахарь», «Корона и якорь», «Красный лев».

Но все это, конечно, было неинтересно Рюю, и он преврал меня.

— А он никогда не говорил о литературе?

— По-моему, нет. Он был не из тех писателей. Вероятно, он думал о своей работе, но никогда о ней не говорил. Он обычно давал нашему помощнику приходского священника почитать книги. Той зимой, во время каникул, я почти каждый день пил у него чай, и иногда они говорили о книгах, но мы всегда это прекращали.

— И вы не помните, что он говорил?

— Только одно. Помню потому, что не читал тех вещей, о которых он говорил, а после этого я их прочел. Он сказал, что если Шекспир когда-нибудь и думал о своих пьесах после того, как вернулся в Стрэтфорд-на-Эйвоне и стал уважаемым, то с самым большим интересом он, вероятно, вспоминал две: «Мера за меру» и «Троила и Крессиду».

— Ну, в этом смысле немного. А он ничего не говорил о более современных писателях, чем Шекспир?

— Нет, тогда — не помню; но, когда я несколько лет назад обедал у Дриффилдов, я слышал, как он сказал, что Генри Джеймс повернулся спиной к одному из величайших событий мировой истории — возникновению Соединенных Штатов, чтобы писать о застольной болтовне в английских поместьях. Дриффилд назвал это «il gran rifiuto». Я удивился, что старик сказал это по-итальянски, и меня позабавило, что, кроме одной чванливой герцогини, никто и не понял, о чем это он. Он сказал: «Бедный Генри, он целую вечность бродит вокруг величественного парка, а ограда слишком высокая — не заглянуть, и чай пьют слишком далеко, так что ему не слышно, что говорит графиня».

Рой внимательно выслушал этот анекдот и задумчиво покачал головой.

— Не думаю, чтобы я смог это использовать. Вся банда поклонников Генри Джеймса кинулась бы на меня, как свора собак... А что вы тогда делали вечерами?

— Ну, играли в вист, пока Дриффилд читал книги, которые присылали на рецензию, а потом он пел.

— Это интересно, — сказал Рой, встрепенувшись. — Вы не помните, что он пел?

— Прекрасно помню. Его любимыми песнями были «И все из-за солдата» и «Заходи, здесь пиво лучше».

— О!

Я видел, что Рой разочарован.

— А вы ожидали, что он будет петь Шумана? — спросил я.

— Почему бы и нет? Это было бы неплохо. Но я скорее думал, что он пел морские песенки или старые английские народные баллады — знаете, в таком роде, как певали на ярмарках слепые скрипачи и деревенские красавцы, пляшущие с девушками на току, и все в таком роде. Из этого я сделал бы что-нибудь изящное. Но я не могу представить себе Эдуарда Дриффилда, расппевающего куплеты из оперетт. В конце концов, когда рисуешь портрет человека, нужно иметь определенную точку зрения; если вставлять то, что совершенно выпадает из общего тона, обязательно испортишь все впечатление.

— А вы знаете, что вскоре после этого он смылся, не заплатив долгов?

Рой молчал целую минуту, задумчиво глядя на ковер.

— Да, я знаю, там были кое-какие неприятности. Миссис Дриффилд говорила. Насколько я понимаю, все было выплачено потом, еще до того, как он купил Ферн-Корт и поселился в тех местах. По-моему, нет никакой необходимости напирать на этот случай — ведь он, в сущности, не имел никакого влияния на его творческий путь. В конце концов, это произошло почти сорок лет назад. Знаете, у старика был очень любопытный характер. Кто бы мог подумать, что после такой скандальной истории он, когда прославится, выберет именно окрестности Блэкстебла, чтобы провести остаток своих дней, — особенно если иметь в виду, что здесь он в самых скромных условиях начинал свою жизнь? Но это его ничуть не смущало. Он как будто считал все это занятной шуткой. Он не стеснялся рассказывать об этом гостям за обедом, и

миссис Дриффилд чувствовала себя очень неловко. Вам бы надо поближе познакомиться с Эми. Это замечательная женщина. Конечно, старик написал все свои великие книги еще до того, как с ней повстречался, но, по-моему, нельзя отрицать, что тот внушительный и достойный образ, который весь мир знал последние двадцать пять лет, создала она. Она мне откровенно рассказывала, как нелегко это ей далось. У старого Дриффилда были разные странные привычки, и от нее требовался большой такт, чтобы заставить его вести себя прилично. В некоторых вещах он был очень упрям, и я думаю, что менее настойчивая женщина потерпела бы здесь поражение. Эми, например, стоило большого труда стучить его от привычки, доев свое жаркое с подливкой, вытирать тарелку хлебом и съесть его.

— А знаете, что это значит? — спросил я. — Это значит, что долгое время он недоедал и дорожил каждой крошкой.

— Ну, возможно, но ведь такая привычка не очень украшает знаменитого писателя. И потом он хоть и не был пьяницей, но очень любил заглядывать в «Медведь и ключ» в Блэкстебле и выпивать там по несколько кружек пива за общей стойкой. Конечно, ничего плохого тут нет, но это привлекало к нему всеобщее внимание, особенно летом, когда в Блэкстебле полно приезжих. Ему было все равно, с кем он разговаривает. Он как будто не понимал, что должен оставаться на высоте своего положения. Согласитесь — было очень неловко, когда он, пообедав с разными интересными людьми — вроде Эдмунда Госса или лорда Керзона, — шел в трактир и рассказывал слесарям, булочникам и санитарным инспекторам, что он об этих людях думает. Ну, это еще, конечно, можно объяснить. Можно сказать, что он искал местный колорит и интересовался человеческими типами. Но были у него и такие привычки, с которыми неизвестно что делать. Знаете ли вы, с каким трудом Эми заставляла его принимать ванну?

— Но он родился в такое время, когда считалось, что слишком часто мыться вредно. Я думаю, до пятидесяти лет он и не жил никогда в таком доме, где была бы ванна.

— Ну да, он говорил, что никогда не мылся чаще, чем раз в неделю, и не собирается в этом возрасте менять свои привычки. Потом Эми настаивала, чтобы он каждый день менял белье, но он и против этого возражал. Гово-

рил, что привык носить рубашку и кальсоны целую неделю и что все это ерунда — от частой стирки они только быстрее изнашиваются. Миссис Дриффилд делала все, что могла, чтобы заставить его принимать ванну каждый день — пробовала заманить его всевозможными экстрактами и ароматами, но ничто не помогало, а еще позже он не мылся даже и раз в неделю. Она говорила мне, что за последние три года жизни он вообще ни разу не принимал ванну. Все это, конечно, между нами; я просто хочу сказать, что нужен очень большой такт, чтобы писать о его жизни. Приходится признать, что он не был чересчур щепетилен в денежных делах, и он почему-то находил большое удовольствие в обществе людей ниже себя, и некоторые его привычки были довольно непривлекательны, — но я не думаю, чтобы именно эта сторона была в нем главной. Я не хочу писать неправду, но думаю, что кое о чем лучше не упоминать.

— А не думаете ли вы, что было бы гораздо интереснее не останавливаться на полпути и нарисовать его таким, каким он был?

— О, это невозможно. Эми Дриффилд потом со мной всю жизнь не будет разговаривать. Она попросила меня написать о нем только потому, что уверена в моем благоразумии. Я должен вести себя как джентльмен.

— Очень трудно быть одновременно джентльменом и писателем.

— Нет, почему? И потом вы ведь знаете критиков. Если напишешь правду, они назовут тебя циником, а такая репутация не идет на пользу писателю. Конечно, я не отрицаю, что, если бы отбросить все условности, я мог бы произвести сенсацию. Было бы очень заманчиво показать этого человека с его тягой к прекрасному и с его легкомысленным отношением к своим обязательствам, с его великолепным стилем и острой ненавистью к мылу и воде, с его идеализмом и выпивками в подозрительных заведениях. Но, если говорить честно, разве это окупится? Все скажут только, что я подражаю Литтону Стрэчи. Нет, я думаю, будет лучше написать об этом обиняками, приятно и тонко, знаете, полегче. По-моему, начиная писать книгу, нужно ее сначала увидеть. Так вот, я это вижу, пожалуй, как портрет работы Ван-Дейка — знаете, с таким настроением, и серьезностью, и такой аристократической утонченностью. Понимаете, что я хочу сказать? Тысяч на восемьдесят слов.

Некоторое время он сидел, погруженный в эстетический экстаз. Он уже видел перед собой эту книгу октаво, изящную и нетяжелую, напечатанную с большими полями, на хорошей бумаге, ясным и красивым шрифтом; наверное, он видел и переплет из гладкой черной ткани с золотыми украшениями и буквами. Но Элрой Кир был всего лишь человек, и поэтому он, как я отмечал несколькими страницами ранее, не мог долго предаваться созерцанию прекрасного. Он чистосердечно улыбнулся мне.

— Но как мне ухитриться обойти первую миссис Дриффилд?

— Скелет в шкафу, — пробормотал я.

— Чертовски трудная фигура. Она была замужем за Дриффилдом много лет. У Эми на это очень определенная точка зрения, но я не вижу, как бы я мог ее удовлетворить. Видите ли, она считает, что Роза Дриффилд оказывала на мужа самое вредное влияние и сделала все возможное, чтобы разорить его и погубить морально и физически. Что она была ниже его во всех отношениях, во всяком случае в интеллектуальном и духовном, и он спасся только благодаря огромной силе духа и жизнеспособности. Это, конечно, была очень неудачная пара. Правда, Роза уже много лет как умерла, и не хочется ворошить старые сплетни и стирать у всех на виду грязное белье, но факт остается фактом: самые великие произведения Дриффилд написал, когда жил с ней. Как бы я ни ценил его поздние вещи — а я, как никто, сознаю их подлинные достоинства, в них есть восхитительная сдержанность и какая-то классическая умеренность — и все-таки я признаю, что в них не хватает огонька, живости, аромата и шума жизни, какие есть в ранних книгах. Мне кажется, что нельзя совсем отрицать влияния первой жены на его творчество.

— Ну и что вы собираетесь с этим делать? — спросил я.

— Что ж, я не вижу, почему нельзя было бы рассказать об этой стороне его жизни как можно сдержаннее и деликатнее, чтобы не оскорбить самый щепетильный вкус, и в то же время с этакой мужественной откровенностью — вы меня понимаете? Получилось бы даже трогательно.

— Легко сказать...

— На мой взгляд, вовсе ни к чему ставить все точки над «и». Важно только взять нужный тон. Я бы попро-

бовал писать об этом как можно меньше, но намеками передать все самое существенное, что важно знать читателю. Знаете, самую непристойную тему можно смягчить, если подойти к ней с достоинством. Но я ничего не могу сделать, пока не знаю всех фактов.

— Разумеется, чтобы подать их, нужно их знать.

Рой говорил легко и свободно, как опытный и пользующийся успехом оратор. Мне пришло в голову, что, во-первых, хорошо бы и мне научиться выражать свои мысли так точно и гладко, никогда не подыскивая нужного слова, чтобы фразы катились без малейшей задержки, и что, во-вторых, я был бы очень рад, если бы не чувствовал себя столь плачевно недостойным представлять в своем ничтожном лице обширную и сочувствующую аудиторию, к которой Рой инстинктивно обращался. Но тут он умолк. На его лице, раскрасневшемся от энтузиазма и покрытом испариной от полуденной жары, появилось добродушное выражение, а повелительно сверкавшие глаза смягчились и заулыбались.

— Вот тут вы мне и нужны,— продолжал он дружелюбно.

Я давно уже убедился: если нечего сказать или не знаешь, что ответить, лучше всего промолчать. Не говоря ни слова, я с тем же дружелюбием смотрел на Роя.

— Вы больше всех знаете о его жизни в Блэкстебле.

— Ну, вряд ли. В Блэкстебле, наверное, немало людей, которые виделись с ним тогда не меньше моего.

— Возможно, но ведь это люди незначительные, и вряд ли их мнение так уж существенно.

— А, понимаю. Вы хотите сказать, что только я могу проболтаться?

— Грубо говоря, я имел в виду примерно это, если уж вам так угодно шутить.

Я видел, что моя шутка не позабавила Роя. Я не огорчился: я давно привык к людям, которых мои шутки не смешат. Нередко мне приходит в голову, что самый чистый тип художника — это юморист, который один смеется собственным шуткам.

— И насколько я знаю, потом в Лондоне вы тоже часто его видели.

— Да.

— Это когда он снимал квартиру где-то в Нижней Белгрэвии?

— Ну, не совсем так. Всего лишь комнатку в Пимлико.

Рой сухо улыбнулся.

— Не будем спорить из-за точного адреса. Вы тогда были с ним очень близки.

— Более или менее.

— Сколько времени это продолжалось?

— Год-два.

— Сколько вам тогда было лет?

— Двадцать.

— Так вот, слушайте. Я прошу вас оказать мне большую услугу. Это не займет у вас много времени, а для меня это будет просто неоценимая помощь. Я хотел бы, чтобы вы набросали свои воспоминания о Дриффилде как можно полнее, — все, что вы помните о его жене и их отношениях, и так далее, и про Блэкстебл, и про Лондон.

— Ну, знаете ли, вы просите не так уж мало. У меня сейчас хватает работы.

— Не надо тратить много времени. Вы можете набросать это в самом черновом виде. Не надо думать о стиле и прочем. Стил я возьму на себя. Мне нужны только факты. В конце концов, вы один их знаете. Я не хочу, чтобы это прозвучало напыщенно, но Дриффилд был великий человек, и ради его памяти и ради английской литературы вы обязаны рассказать все, что вам известно. Я не просил бы вас об этом, но вы тогда говорили, что не хотите ничего о нем писать сами. Не будьте собакой на сене и не держите про себя материал, который вам не нужен.

Так Рой одним махом воззвал к моему чувству долга, к моей лени, к моему великодушию и к моей честности.

— А зачем миссис Дриффилд хочет, чтобы я приехал в гости в Ферн-Корт? — спросил я.

— Мы с ней это обсудили. Там очень хорошо. Она прекрасно принимает гостей, а в это время года за городом божественно. Она подумала, что, если вы согласитесь писать там свои воспоминания, вам будет очень уютно и спокойно; конечно, я сказал, что не могу ей этого обещать, но, естественно, когда вы будете так близко от Блэкстебла, вам будут вспоминаться всякие вещи, которые иначе вы бы забыли. И потом, если вы будете жить в его доме, среди его книг и вещей, прошлое будет казаться гораздо реальнее. Мы могли бы беседовать о нем — знаете, как в разговоре вспоминается то одно, то другое. Эми очень сообразительна и умна. Она в течение многих лет привык-

ла записывать разговоры Дриффилда, и ведь, очень возможно, вы скажете что-то такое, о чем не стали бы писать, а она потом это запишет. И мы с вами можем играть в теннис и купаться.

— Я не очень люблю жить в гостях, — сказал я. — Терпеть не могу вставать к девятичасовому завтраку и есть, что дадут, даже если не хочу. Не люблю ходить на прогулки и не интересуюсь чужими цыплятами.

— Она сейчас очень одинока. Это была бы большая любезность по отношению к ней и ко мне тоже.

Я задумался.

— Вот что я сделаю. Я поеду в Блэкстебл, но поеду сам по себе. Я поселюсь в «Медведе и ключе», а к миссис Дриффилд буду приходить в гости, пока вы там. Вы можете сколько угодно разговаривать о Дриффилде, а когда мне станет с вами невмоготу, я смогу удрать.

Рой добродушно засмеялся.

— Ладно, годится. И вы будете записывать все, что вспомните и что, по-вашему, может мне пригодиться?

— Попробую.

— Когда вы приедете? Я отправлюсь в пятницу.

— Я поеду с вами, если вы пообещаете не разговаривать со мной по дороге.

— Ладно. Самый удобный поезд — пять десять. Заехать за вами?

— Я способен добраться до вокзала Виктория сам. Встретимся на платформе.

Не знаю — может быть, Рой боялся, что я передумаю, но он тут же встал, сердечно пожал мне руку и ушел. На прощанье он напомнил мне, чтобы я ни в коем случае не забыл теннисную ракетку и купальный костюм.

XII

Обещание, которое я дал Рою, напомнило мне о первых годах, проведенных мной в Лондоне. Особых дел у меня в тот день не было, и мне пришлось в голову пройтись и выпить чаю у своей старой квартирной хозяйки. Миссис Хадсон мне порекомендовал секретарь медицинского училища при больнице св. Луки, когда я, еще зеленым юнцом, только что приехал в город и искал себе квартиру. Ее дом стоял на Винсент-сквер. Я прожил там, в двух комнатах первого этажа, пять лет, а надо мной, в бельэта-

же, жил преподаватель вестминстерской школы. Я платил за свои комнаты фунт в неделю, а он — двадцать пять шиллингов. Миссис Хадсон была живая, суетливая женщина маленького роста, с худым лицом, крупным орлиным носом и самыми яркими, самыми жизнерадостными черными глазами, какие я в жизни видел. Свои пышные, очень темные волосы она каждый вечер и каждое воскресенье собирала в пучок на затылке, оставляя на лбу маленькую челку, как можно сейчас видеть на старых фотографиях Джерсейской Лилии¹. У нее было золотое сердце (хотя тогда я об этом не догадывался, потому что в молодости мы принимаем доброту к себе как должное), а готовила она превосходно. Никто не мог лучше ее сделать *omelette soufflé*². Каждое утро она вставала спозаранку, чтобы затопить камин в гостиных у своих джентльменов: «Не завтракать же им в этом холодище — уж так сегодня морозит!»; и если она не слышала, как вы берете ванну (в плоском жестяном тазу, который задвигался под кровать, а воду в него наливали с вечера, чтобы немного согрелась), то говорила: «Ну, вот, мой второй этаж еще не встал, опять он на лекцию опоздает», поднималась наверх, колотила в дверь и кричала: «Если сейчас же не встанете, не успеете позавтракать, а у меня для вас чудная треска». Работая весь день напролет, она пела за работой и всегда оставалась веселой, счастливой и улыбающейся. Муж ее был гораздо старше. Он был когда-то дворецким в очень хороших домах, носил бакенбарды и имел безупречные манеры; он прислуживал в соседней церкви, где пользовался большим уважением, а дома подавал на стол, чистил обувь и помогал мыть посуду. Передохнуть миссис Хадсон могла только тогда, когда, подав обед (я обедал в половине седьмого, а жилец бельэтажа — в семь), поднималась наверх, чтобы немного поболтать со своими джентльменами. Я очень жалею, что у меня тогда не хватало ума записывать ее разговоры (как Эми Дриффилд записывала разговоры своего знаменитого мужа), потому что миссис Хадсон была наделена великолепным лондонским народным юмором. За словом в карман она не лезла, выражалась живо, словарь ее был обширен, и в нем всегда находилась какая-

¹ Прозвище знаменитой актрисы Лили Лэнгтри (1852—1929) слышней одной из первых красавиц Англии.

² Воздушный омлет (фр.).

нибудь смешная метафора или меткое замечание. Она была образцом добропорядочности, никогда не потерпела бы в своем доме женщины («Никогда не знаешь, что у них на уме, вечно мужчины, мужчины, мужчины, и чай всякие, и дверь открывать приходится, и воду им носи, и не знаю что»), но в разговоре, не моргнув глазом, пользовалась довольно рискованными для того времени выражениями. Про нее можно было сказать то же самое, что она говорила про Мэри Ллойд: «Что мне нравится — с ней не соскучишься. Случается, ходит по самому краешку, а не соскользнет». От своих шуток миссис Хадсон сама получала большое удовольствие и, по-моему, охотнее разговаривала со своими квартирантами, чем с мужем, потому что он был человек серьезный («Так и должно быть, — говорила она, — он и в процессиях ходит, и на свадьбах бывает, и на похоронах, и все такое») и не питал большой склонности к шуткам. «Я ему что говорю: смейся, пока можно, а то помрешь, похоронят, тогда уж не посмеешься».

Юмор никогда не покидал миссис Хадсон, и история ее вражды с мисс Бьючер, которая сдавала комнаты в доме четырнадцать, была настоящей комической эпопеей, продолжавшейся из года в год. «Она старая сварливая кошка, но, поверьте мне, жаль будет, если господь как-нибудь ее приберет. Хотя что он с ней будет делать, ума не приложу. Немало она меня посмешила в свое время».

У миссис Хадсон были очень плохие зубы, и в течение двух или трех лет она с невероятной комической изобретательностью обсуждала вопрос о том, не стоит ли ей их вырвать и вставить искусственные.

— Я что сказала Хадсону вчера? Он мне: «Да пойдись ты и вырви их, и дело с концом», а я ему: «А о чем же мне тогда говорить?»

Я не видел миссис Хадсон уже два или три года. В последний раз я заходил к ней, получив записку, в которой она приглашала меня заглянуть на чашку доброго чая и сообщала: «Хадсон умер, вот уже три месяца в субботу будет, и было ему семьдесят девять лет, а Джордж и Эстер Вам с почтением кланяются». Джордж был ее сын — теперь уже взрослый мужчина, рабочий Вуличского арсенала; мать в течение двадцати лет твердила, что он вот-вот приведет в дом жену. А Эстер была прислуга за все, которую миссис Хадсон наняла незадолго до того,

как я с ней расстался, и все еще говорила о ней — «эта моя паршивая девчонка».

Когда я только поселился у миссис Хадсон, ей было порядочно за тридцать, а с тех пор прошло тридцать пять лет — и все равно сейчас, проходя не спеша по Грин-парку, я не допускал и мысли, что ее вдруг не окажется в живых: настолько она стала неотъемлемой частью воспоминаний моей юности. Я спустился по ступенькам, и мне открыла дверь Эстер — теперь уже женщина под пятьдесят и изрядно пополнившаяся, но в ее застенчиво улыбающемся лице все еще оставалось что-то от легкомыслия той «паршивой девчонки». Когда я вошел в гостиную, миссис Хадсон штопала Джорджу носки и сняла очки, чтобы взглянуть на меня.

— Никак, это мистер Эшенден! И кто бы мог подумать? Эстер, кипит там чайник? Ведь вы выпьете со мной чашечку чая?

Миссис Хадсон немного отяжелела с тех пор, как я впервые с ней познакомился, и ее движения стали помедленнее, но в волосах ее почти не было седины, а глаза, черные и блестящие, как пуговицы, сверкали весельем. Я сел в ветхое маленькое кресло, обитое коричневой кожей.

— Ну, как дела, миссис Хадсон? — спросил я.

— Да жаловаться не на что — разве что не такая уж я теперь молодая, как была, — отвечала она. — Уж не могу столько делать, как в то время, когда вы тут жили. Теперь я джентльменам не готовлю обед — только завтрак.

— Вы все комнаты сдаете?

— Слава богу, все.

Благодаря возросшим ценам миссис Хадсон теперь получала за комнаты больше, чем в мое время, и, я думаю, жила хотя и скромно, но вполне обеспеченно. Но, конечно, теперь у людей и потребности побольше.

— Вы не поверите, сначала пришлось устроить ванную, потом электричество, а потом вынь да положь им телефон. Не знаю уж, что им еще понадобится.

— Мистер Джордж говорит, не пора ли миссис Хадсон подумать об отдыхе, — сказала Эстер, накрывавшая на стол.

— Не лезь не в свое дело, девчонка, — резко ответила миссис Хадсон. — На кладбище отдохну. Подумайте только — чтобы я жила совсем одна, с Джорджем и Эстер; ведь и поболтать будет не с кем!

— Мистер Джордж говорит, ей надо бы снять домик за городом и жить там одной,— продолжала Эстер, ничуть не смутившись.

— Нечего ко мне приставать с этим загородом. Прошлым летом доктор велел мне поехать за город на шесть недель. Я чуть не померла, поверьте. Этот вечный шум — и птицы все время поют, и петухи кричат, и коровы мычат, просто сил нет. Проживите с мое в тишине и спокойствии — и вы тоже не сможете привыкнуть к такому шуму и крику.

В нескольких домах отсюда проходила Воксхолл-Бридж-роуд, по которой с грохотом и звоном мчались трамваи, ревели грузовики, гудели такси. Но если миссис Хадсон и слышала эти звуки, они были голосом Лондона, который убаюкивал ее, как мать баюкает колыбельной песенкой беспокойного ребенка.

Я оглядел уютную, скромную, небогатую гостиную, где так долго прожила миссис Хадсон, и подумал, нельзя ли что-нибудь для нее сделать. Единственное, что пришло мне в голову, — это граммофон, но я заметил, что он у нее уже есть.

— Что бы вам хотелось иметь, миссис Хадсон? — спросил я.

Она задумчиво поглядела на меня своими блестящими глазами, похожими на бусины.

— Да уж не знаю; разве что, пожалуй, здоровья и сил еще лет на двадцать, чтобы я могла и дальше работать...

Я как будто не сентиментален, но, услышав этот неожиданный, хотя и такой характерный для нее ответ, я почувствовал, что у меня к горлу подступил комок.

Когда пришло время уходить, я спросил, нельзя ли посмотреть комнаты, где я прожил пять лет.

— Эстер, сбегай наверх, посмотри, дома ли мистер Грэхем. Если его нет, конечно, можно их посмотреть.

Эстер поспешила наверх, тут же, слегка запыхавшись, вернулась и сказала, что мистера Грэхема дома нет. Миссис Хадсон пошла со мной. В спальне стояла та же самая узкая железная кровать, на которой я спал и предавался грезам, и тот же комод, и тот же умывальник. Но в гостиной царил мрачно-мужественный спортивный дух: на стенах висели фотографии крикетных команд и гребцов в шортах, в углу стояли клюшки для гольфа,

а на каминной полке были разбросаны трубки и кисеты, украшенные гербом колледжа. В мое время мы верили в искусство ради искусства, и это воплотилось в том, что я задрапировал каминную полку мавританским ковром, повесил саржевые занавески ядовито-зеленого цвета и увешал стены автотипиями картин Перуджино, Ван-Дейка и Гоббеми.

— Была у вас склонность к искусству, а? — заметила миссис Хадсон не без иронии.

— Да, изрядная, — пробормотал я.

Я не мог не почувствовать горечь, подумав о годах, прошедших с тех пор, как я жил в этой комнате, и обо всем, что было со мной за это время. Вот за этим столом я съедал свой обильный завтрак и скудный обед, читал свои медицинские книги и писал свой первый роман. Вот в этом кресле я впервые прочел Вордсворта и Стендаля, елизаветинских драматургов и русских романистов, Гиббона, Босуэлла, Вольтера и Руссо. «Кто сживал здесь после меня? — подумал я. — Студенты-медики, клерки, молодежь, пробивающая себе дорогу в Сити, и пожилые люди, вернувшиеся из колоний или неожиданно выброшенные в мир крахом старого дома?» Что-то в этой комнате было такое, от чего у меня, как сказала бы миссис Хадсон, мурашки по спине забегали. Все надежды, которые здесь рождались, все светлые видения будущего, страсти молодости, сожаления, разочарования, усталость, смирение — так много было пережито здесь столь многими людьми, что этот обширный мир человеческих эмоций, казалось, придал комнате какую-то загадочную индивидуальность. Не знаю почему, но мне представилась некая женщина, которая стоит на распутье, оглядываясь назад и держа палец на губах, а другой рукой манит вперед. Эти смутные чувства передались и миссис Хадсон, потому что она усмехнулась и характерным жестом потерла свой длинный нос.

— Ну и занятные же люди, — сказала она. — Вспомнить только всех джентльменов, что тут у меня жили, — вы бы не поверили, если бы я вам о них кое-что рассказала. Один чуднее другого. Иногда лежу в кровати, думаю о них и смеюсь. Конечно, совсем никуда не годился бы этот мир, если бы не над чем было посмеяться, но, боже мой, жильцы — это уж чересчур!

Я прожил у миссис Хадсон года два, прежде чем снова повстречался с Дриффилдами. Жизнь я вел очень размеренную, весь день проводил в больнице, а около шести возвращался пешком на Винсент-сквер. У Ламбетского моста я покупал «Стар» и читал, пока мне не подавали обед. Потом я час или два занимался серьезным чтением, потому что был старательным, вдумчивым и трудолюбивым молодым человеком, а потом писал романы и пьесы, пока не приходило время ложиться спать. Не знаю, почему в тот день, в конце июня, рано освободившись в больнице, я решил пройтись по Воксхолл-Бридж-роуд. Я любил шумную суматоху этой улицы. Ее грязноватая жизнерадостность приятно возбуждала — возникало чувство, что вот-вот, в любую минуту, с вами может произойти какое-нибудь приключение. Я шагал, погруженный в раздумье, и вдруг услышал, как кто-то меня окликнул. Я остановился — и, к своему изумлению, увидел перед собой улыбающуюся миссис Дриффилд.

— Не узнаете? — вскричала она.

— Ну что вы, конечно, миссис Дриффилд!

И хотя я был уже взрослый, я почувствовал, что краснею, как будто мне шестнадцать лет. Я растерялся. С моими — увы! — вполне викторианскими представлениями о честности я был очень шокирован поведением Дриффилдов, сбежавших из Блэкстебла, не заплатив долгов. Это казалось мне весьма непорядочным. Я глубоко переживал тот стыд, который, по моему мнению, должны были испытывать они, и был поражен, что миссис Дриффилд способна разговаривать с человеком, который знает об этом позорном случае. Если бы я заметил ее приближение, я бы отвернулся, предполагая, что она захочет избежать унижительной встречи со мной; но она протянула мне руку с явной радостью.

— Как я рада видеть живую душу из Блэкстебла, — сказала она. — Вы же знаете, мы уезжали оттуда в такой спешке.

Она засмеялась, и я тоже; но ее смех был веселым и детски радостным, а мой, я это чувствовал, — несколько напряженным.

— Я слышала, там был большой шум, когда узнали, что мы смылись. Тед чуть не помер со смеху, когда ему об этом рассказывали. Что говорил ваш дядюшка?

Я быстро взял нужный тон. Мне не хотелось, чтобы она приняла меня за человека, лишенного чувства юмора.

— Ну, вы же знаете, он так старомоден.

— Да, вот этим и плох Блэкстебл. Нужно было их расшевелить.— Она дружелюбно взглянула на меня.— А вы здорово выросли с тех пор, как я вас видела. И даже усы отрасли!

— Да,— ответил я, закрутив их, насколько позволяла длина.— Уже давным-давно.

— Как летит время, правда? Четыре года назад вы были совсем мальчик, а теперь — настоящий мужчина.

— Ну, конечно,— ответил я с некоторым высокомерием.— Мне ведь почти двадцать один.

Я посмотрел на миссис Дриффилд. На ней была очень маленькая шляпка с перьями и светло-серое платье с пышными рукавами и длинным треном. На мой взгляд, выглядела она шикарно. Я всегда думал, что у нее очень милое лицо, но тут впервые заметил, что она просто красавица. Ее глаза были еще синее, чем мне помнилось, а кожа — как слоновая кость.

— Знаете, мы живем тут за углом,— сказала она.

— И я тоже.

— Мы живем на Лимпус-роуд. Мы тут почти с самого отъезда из Блэкстебла.

— Ну, а я живу на Винсент-сквер уже почти два года.

— Я знала, что вы в Лондоне. Мне сказал Джордж Кемп, и я часто думала, где же вы. Вы не проводите меня домой? Тед будет очень рад вас видеть.

— С удовольствием,— ответил я.

По дороге она рассказала, что Дриффилд теперь стал редактором литературного отдела одного еженедельника; его последняя книга прошла гораздо лучше всех остальных, и он надеялся получить изрядный аванс под следующую. Казалось, она знает почти все блэкстеблские новости, и я вспомнил, что в содействии их бегству по-дозревали Лорда Джорджа. Я догадался, что он время от времени им пишет. Я заметил, что встречные мужчины иногда заглядываются на миссис Дриффилд, и мне пришло в голову, что они, наверное, тоже считают ее красавицей. Я шел очень важный.

Лимпус-роуд, длинная, широкая, прямая улица, идет параллельно Воксхолл-Бридж-роуд. Дома на ней все оди-

наковые — оштукатуренные, выкрашенные в блеклые цвета, солидные, с внушительными портиками. Вероятно, когда-то они строились для людей с положением в лондонском Сити, но улица или потеряла свою респектабельность, или же так и не привлекла нужных жильцов, и теперь, какая-то потертая на вид, выглядит так, будто робко прячется от посторонних взглядов и в то же время втихомолку предается разгулу, — как человек, который видел лучшие времена и теперь любит слегка под хмельком разглагольствовать о том, какое высокое положение прежде занимал.

Дом, где жили Дриффилды, был выкрашен в тускло-красный цвет. Миссис Дриффилд ввела меня в узкий темный коридор, отворила дверь и сказала:

— Входите. Я скажу Теду, что вы здесь.

Она пошла дальше по коридору, а я вошел в гостиную. Дриффилды занимали полуподвальный и первый этажи дома, которые снимали у дамы, жившей наверху. Комната, куда я вошел, выглядела так, будто ее обставили всякой всячиной, купленной на распродажах. Тут были тяжелые бархатные занавеси с длинной бахромой, все в сборках и фестонах, и позолоченный гарнитур, обитый желтым шелком, с множеством пуговиц, а посередине комнаты — огромный пуф. В позолоченных шкафчиках со стеклянными дверцами стояло множество мелочей — фарфор, фигурки из слоновой кости, деревянные резные украшения, индийская бронза; на стенах висели большие картины маслом, изображавшие шотландские долины, оленей и охотников.

Через минуту миссис Дриффилд привела мужа, и он радостно со мной поздоровался. На нем был поношенный альпаковый сюртук и серые брюки; бороду он сбрил, оставив только эспаньолку и усы. Я впервые заметил, как он мал ростом; но выглядел он достойнее, чем раньше. Что-то в нем напоминало иностранца — я подумал, что для писателя он выглядит очень солидно.

— Ну, что вы думаете о нашем новом пристанище? — спросил он. — Богато выглядит, правда? По-моему, это внушает доверие.

Он с довольным видом огляделся.

— А там, дальше, у Теда есть кабинет, где он может писать, а внизу у нас столовая, — сказала миссис Дриффилд. — Мисс Каул много лет была компаньонкой одной титулованной дамы и когда та умерла, то оставила ей

свою мебель. Видите, какое здесь все добротное, правда? Сразу видно, что это из дома джентльмена.

— Роза влюбилась в эту квартирку, как только ее увидела, — сказал Дриффилд.

— Да, и ты тоже, Тед.

— Мы так долго жили в стесненных обстоятельствах; для разнообразия приятно пожить в роскоши. Мадам Помпадур, и все такое.

Когда я уходил, меня радушно пригласили приходить еще, сказав, что они принимают каждую субботу после обеда и к ним заглядывают всякие люди, с которыми мне будет интересно встретиться.

XIV

Я пришел. Мне понравилось. Я опять пришел. Осенью, вернувшись в Лондон на занятия, я стал заходить сюда каждую субботу. Здесь и знакомился с миром литературы и искусства. Я держал в строгом секрете то, что дома сам много писал; мне было очень интересно встречаться с людьми, которые тоже пишут, и я слушал их разговоры как зачарованный. Всякие люди приходили сюда: в те времена редко кто ездил по выходным за город, над гольфом еще смеялись, и в субботу после обеда почти всем было нечего делать. Не думаю, чтобы к Дриффилдам ходили по-настоящему крупные фигуры; во всяком случае, я здесь встречал, не могу припомнить ни одного, чья репутация выдержала бы испытание временем; но общество собиралось образованное и живое. Здесь можно было встретить молодых актеров, мечтавших получить роль, и пожилых певцов, жалующихся на немзыкальность англичан; композиторов, которые исполняли свои произведения на маленьком пианино Дриффилдов, шепотом приговаривая, что по-настоящему это звучит только на большом концертном рояле; поэтов, которые после больших уговоров соглашались прочесть одну только что написанную вещичку, и художников, которые сидели без заказов. Время от времени обществу придавала некоторый блеск какая-нибудь титулованная персона; правда, это бывало редко: в те дни аристократия еще не увлеклась богемной жизнью, и если какая-нибудь высокопоставленная особа и появлялась в обществе художников,

то обычно потому, что из-за скандального развода или карточных осложнений жизнь в собственной среде становилась для нее (или для него) не совсем приятной. Теперь мы все это изменили. Одним из самых больших благодеяний, какие принесло с собой обязательное образование, стало широкое распространение занятий литературой среди высших кругов и дворянства. Когда-то Хорэс Уолпол составил «Каталог писателей королевской и благородной крови»; в наши дни такой труд оказался бы размером с энциклопедию. Титул, даже благоприобретенный, может прославить чуть ли не любого писателя, и можно смело утверждать, что нет лучшего пропуска в мир литературы, чем благородное происхождение.

Иногда мне даже приходило в голову, что теперь, когда палата лордов неизбежно будет вскоре распущена, было бы неплохо законом закрепить литературные занятия за ее членами, их женами и детьми. Это будет щедрая компенсация пэрам со стороны британского народа за их отказ от наследственных привилегий. Она станет средством к жизни для тех (слишком многих), кого разорила приверженность к общественной деятельности, то есть к содержанию хористок, скаковых лошадей и к игре в железку, и приятным занятием для остальных, кто в ходе естественного отбора стал негодным ни на что иное, кроме управления Британской империей. Но наш век — век специализации, и если мой проект будет принят, то ясно, что к еще большей славе английской литературы послужит закрепление различных жанров за определенными кругами высшего общества. Поэтому я предложил бы, чтобы более скромными видами литературы занималась знать помельче, а бароны и виконты посвятили себя исключительно журналистике и драме. Художественная проза могла бы стать привилегией графов. Они уже доказали свои способности к этому нелегкому искусству, а число их столь велико, что им вполне по плечу удовлетворить спрос. Маркизам можно смело оставить ту часть литературы, которая известна (я так и не знаю почему) под названием *belle lettres*¹. Она, может быть, и не столь прибыльна с денежной точки зрения, но ей свойственна некоторая возвышенность, вполне соответствующая этому романтическому титулу.

¹ Беллетристика (фр.).

Вершина литературы — поэзия. Это ее цель и завершение, это самое возвышенное занятие человеческого разума, это олицетворение прекрасного. Прозаик может лишь посторониться, когда мимо него идет поэт: рядом с ним лучшие из нас превращаются в ничто. Ясно, что писание стихов должно быть предоставлено герцогам, и их права хорошо бы защитить самыми суровыми законами: нельзя допускать, чтобы этим благороднейшим из искусств занимался кто бы то ни было, кроме благороднейших из людей. А так как и здесь должна одержать верх специализация, то я предвижу, что герцоги (как преемники Александра Македонского) разделят царство поэзии между собой, и при этом каждый ограничится тем аспектом, в котором он сильнее всего благодаря влиянию наследственности и естественным склонностям. Например, я вижу герцогов Манчестерских, пишущих морально-дидактические поэмы; герцогов Вестминстерских, сочиняющих вдохновенные оды Долгу и Ответственности Империи; в то время как герцоги Девонширские, скорее всего, будут писать любовную лирику и элегии в духе Проперция, а герцоги Мальборо почти неизбежно в идиллических тонах воспоют такие темы, как семейное счастье, воинскую повинность и довольство своим скромным положением.

Но если вам покажется, что все это чересчур серьезно, и вы напомните мне, что муза не всегда ступает только величественной поступью, но иногда изящно и легко пританцовывает; если, вспомнив мудреца, сказавшего, что не важно, кто предписывает нации законы, а важно, кто пишет для нее песни, вы спросите меня (справедливо полагая, что это не подобает герцогам), кто же будет играть на тех струнах лиры, которых иногда жаждет разносторонняя и непостоянная душа человеческая, — то я отвечу (по-моему, это очевидно): герцогини! Я считаю, что прошли те дни, когда влюбленные пейзажи Романы пели своим возлюбленным строфы Торквато Тассо, а миссис Хамфри Уорд напевала над кроватью маленького Арнольда отрывки из «Эдипа в Колоне». Наш век требует чего-то более современного. Поэтому я предлагаю, чтобы наиболее положительные герцогини-домоседки слагали нам гимны и колыбельные, а те, кто порезвее, кто склонен смешивать виноградную лозу с клубникой, должны писать тексты для музыкальных комедий, юмористические стишки для газет и стихотворные пожелания

для рождественских открыток и хлопушек. Этим они сохраняют в сердцах британской публики то место, которое до сих пор удерживали лишь благодаря своему высокому положению.

На этих субботних вечерах я, к своему большому удивлению, обнаружил, что Эдуард Дриффилд пользуется известностью. Он написал около двадцати книг и хотя получил за них всего лишь жалкие гроши, но приобрел довольно прочную репутацию. Его книгами восхищались лучшие ценители, а друзья, приходившие к нему в гости, единогласно утверждали, что его вот-вот ждет признание. Они ругали публику, неспособную заметить великого писателя, и поскольку для человека самый легкий способ возвыситься — это давать пинки ближнему, то они поносили всех романистов, чья слава в тот момент затмевала Дриффилда. Если бы я знал тогда о литературных кругах столько, сколько знаю сейчас, я по нередким визитам миссис Бартон Трафффорд должен был бы догадаться, что близится час, когда Эдуард Дриффилд ринется вперед, как бегун на длинной дистанции, который внезапно отрывается от кучки остальных спортсменов.

Признаюсь, что, когда меня впервые познакомили с этой дамой, ее имя для меня ничего не значило. Дриффилд сказал ей, что я его молодой деревенский сосед, студент-медик. Она удостоила меня медоточивой улыбки, пробормотала что-то про Тома Сойера и, взяв предложенный мной бутерброд, продолжала говорить с хозяином. Но я заметил, что ее прибытие произвело большое впечатление и что разговоры, до того шумные и веселые, поутихли. Спросив вполголоса, кто она такая, я убедился, что мое невежество поразительно: как мне сказали, она «создала» такого-то и такого-то. Через полчаса она встала, весьма благосклонно пожала руки тем, с кем была знакома, и с нежным изяществом выпорхнула из комнаты, Дриффилд проводил ее до двери и посадил в экипаж.

Миссис Бартон Трафффорд тогда было лет пятьдесят. Она была небольшого роста, хрупкая, но с довольно крупными чертами лица, из-за которых ее голова казалась непомерно большой по сравнению с телом. Курчавые светлые волосы она причесывала, как Венера Милосская, и, вероятно, в молодости была очень красива. Одета она была скромно, в черный шелк, а на шее носила бренчащие бусы, из бисера и раковин. Говорили, что в

молодости она неудачно вышла замуж, но теперь уже много лет живет в счастливом супружестве с Бартоном Траффордом, чиновником министерства внутренних дел и известным авторитетом по первобытному человеку. Она производила странное впечатление, как будто ее тело лишено костей; казалось, что если ущипнуть ее за ногу (что сделать, разумеется, никогда мне не позволило бы уважение к ее полу и какое-то спокойное достоинство ее поведения), то пальцы сомкнутся. Здороваясь с ней, вы как будто брали в руку кусок рыбного филе. И даже ее лицо, несмотря на крупные черты, было какое-то бесформенное. Когда она сидела, можно было подумать, что у нее нет хребта, а вместо этого она, как дорогая подушка, набита лебяжьим пухом.

Вся она была какая-то мягкая: и голос, и улыбка, и смех; ее глаза, маленькие и светлые, отличались нежностью цветка; ее манеры были приятны, как летний дождь. Это необыкновенное и очаровательное свойство и делало ее такой замечательной подругой. Именно этим она завоевала свою славу, которой теперь наслаждалась. Все знали о ее дружбе с великим романистом, чья смерть несколько лет назад так потрясла англоязычную публику. Каждый читал бесчисленные письма, которые он ей писал и которые ее уговорили опубликовать вскоре после его кончины. На каждой странице сквозило восхищение ее красотой и уважение к ее мнению; у него не хватало слов, чтобы отблагодарить ее за поддержку, за сочувствие, за такт, за вкус; и если кое-какие из его страстных выражений, по мнению отдельных лиц, могли вызвать у мистера Бартона Траффорда совершенно недвусмысленные чувства, то это только увеличивало интерес к книге. Но мистер Бартон Траффорд был выше вульгарных предрассудков (подобное несчастье — если это можно назвать несчастьем — величайшие исторические персонажи переносят с философским спокойствием) и, оставив свои исследования ориньякских кремней и неолитических топоров, согласился написать «Биографию» покойного романиста, где вполне определенно показал, какой существенной частью своего таланта тот был обязан благотворному влиянию его жены.

Но интерес к литературе, страсть к искусству не могли покинуть миссис Бартон Траффорд лишь потому, что ее друг, для которого она так много сделала, стал при ее немалом содействии частью истории. Она была большая

любительница чтения. От нее не ускользало почти ничто из заслуживающего внимания, и она быстро устраивала себе знакомство с каждым молодым писателем, подававшим надежды. Теперь, особенно после появления «Биографии», ее слава была такова, что она могла быть уверена: никто не может отвергнуть ее симпатии. Конечно же, ее талант к дружбе неизбежно должен был рано или поздно найти себе какое-нибудь применение. Когда что-то из прочитанного ей нравилось, мистер Бартон Траффорд, сам неплохой критик, посылал автору теплое письмо и приглашал его на обед, а после обеда, спеша в министерство внутренних дел, оставлял автора поболтать с миссис Бартон Траффорд. Такие приглашения получали многие. У каждого из них было что-то, но этого «чего-то» было недостаточно. Миссис Бартон Траффорд обладала чутьем, которому она доверяла; и это чутье велело ей повременить.

Она была настолько осторожна, что даже чуть не прохлопала Джаспера Гиббонса. Из истории мы знаем о писателях, которые прославились за одну ночь, но в наши более рассудительные дни об этом что-то не слышно. Критики норовят подождать, пока не убедятся, куда подует ветер, а публику столько раз обводили вокруг пальца, что теперь она предпочитает не рисковать. Но как раз Джаспер Гиббонс совершил восхождение на вершину славы с необыкновенной быстротой. Теперь, когда он совершенно забыт, а критики, превозносившие его, рады были бы проглотить свои слова, если бы они не были запечатлены в подшивках бесчисленных газет,— трудно поверить, какую сенсацию произвел первый том его стихотворений. Самые важные газеты отвели рецензиям на него не меньше места, чем репортажу о боксерском матче; самые влиятельные критики, толпясь и толкаясь, спешили его приветствовать. Они уподобляли его Мильтону (за звучность его белого стиха), Китсу (за сочность его чувственных образов), и Шелли (за легкость фантазии); и, пользуясь им как палкой для побиения наскучивших идолов, они отвесили во имя его немало звучных шлепков по тощим ягодицам лорда Теннисона и несколько увесистых плюх по лысой макушке Роберта Броунинга. Публика пала, как стены Иерихона. Выпускалось издание за изданием; изящные томики Гиббонса можно было увидеть в будуаре графини в Мэйфере, в гостиной священника от Уэльса до Шотландии и в салонах

многих честных, но образованных торговцев Глазго, Эбердина и Белфаста. Когда стало известно, что сама королева Виктория приняла преподнесенный ей верноподданным издателем экземпляр книги в специальном переплете и в обмен подарила ему (издателю, не поэту) экземпляр «Страниц из шотландского дневника», восторгу нации не было предела.

Все это произошло как будто во мгновение ока. В Греции семь городов оспаривали честь быть родиной Гомера, и хотя место рождения Джаспера Гиббонса (Уолсолл) было хорошо известно, но семью семь критиков претендовали на честь открытия его таланта; видные ценители литературы, вот уже двадцать лет певшие друг другу панегирики в еженедельниках, затеяли из-за него такую ссору, что один даже перестал здороваться с другим, встречая его в «Атенеуме». Гиббонса поспешило признать и высшее общество. Его приглашали на обеды и чаепития вдовствующие герцогини, супруги членов кабинета и вдовы епископов. Говорят, что первым литератором, допущенным в английское общество на правах равного, был Гаррисон Эйнсуорт (и меня время от времени удивляет, почему ни один предприимчивый издатель не воспользуется этим, чтобы выпустить полное собрание его сочинений); но Джаспер Гиббонс был, по-моему, первым поэтом, чье имя в списке приглашенных звучало так же заманчиво, как имя оперного солиста или чревовещателя.

В результате миссис Бартон Трафффорд опоздала поднять целину — об этом не могло быть и речи. Ей пришлось вступить в открытую борьбу. Не знаю уж, к какой гениальной стратегии она была вынуждена прибегнуть, какие пришлось ей проявить чудеса такта, нежности, утонченной симпатии и скрытой лести: могу лишь теряться в догадках и восхищаться. Но она заполучила Джаспера Гиббонса, и очень скоро он уже повиновался каждому движению ее нежной ручки. Она была восхитительна. Она устраивала обеды, на которых он мог встретиться с нужными людьми; она давала приемы, где он читал свои стихи в присутствии первых знаменитостей Англии; она знакомила его с прославленными артистами, которые заказывали ему пьесы; она следила за тем, чтобы его произведения печатались только в достойных журналах; она договаривалась с издателями и устраивала для него такие контракты, которые ошеломили бы и министра; она заботилась о том, чтобы он при-

нимал только те приглашения, которые она одобряла; она даже не поленилась развести его с женой, с которой он счастливо прожил десять лет, потому что поэт, по ее убеждению, должен быть свободен, а его талант не обременен семейными узами. И когда случилась катастрофа, миссис Бартон Траффорд могла бы, если бы пожелала, сказать, что сделала для него все возможное.

Но катастрофа пришла. Джаспер Гиббонс издал второй томик стихов. Он был ничуть не лучше и не хуже первого, он был очень похож на первый. К нему отнеслись уважительно, но не без оговорок; некоторые критики даже позволили себе кое-какие придирки. Книга не принесла ни успеха, ни денег. И, к несчастью, Джаспер Гиббонс оказался склонен попить. Он не привык иметь столько денег, не привык к такому обилию развлечений и увеселений, а может быть, ему недоставало его простой, скромной женушки. Раз-другой он появился на обеде у миссис Бартон Траффорд в таком состоянии, какое человек, не наделенный ее светскостью и простодушием, мог бы назвать «пьяным до бесчувствия». Она же кротко говорила гостям, что наш бард сегодня не в ударе.

Третья его книга потерпела провал. Критики растерзали его на части, топтали ногами и, если можно процитировать здесь одну из любимых песенок Эдуарда Дриффилда, «швыряли по углам и валяли по столам». Они испытывали вполне понятную досаду от того, что приняли бойкого стихоплета за бессмертного поэта, и решили наказать его за свою ошибку. Потом Джаспера Гиббонса арестовали на Пиккадилли за появление в пьяном виде и нарушение общественного порядка, и мистеру Бартону Траффорду пришлось в полночь отправиться на Вайн-стрит, чтобы взять его на поруки.

При таком положении вещей миссис Бартон Траффорд вела себя великолепно. Она не роптала. Ни одно резкое слово не слетело с ее уст. Можно было бы простить, если бы она была немного обижена на человека, для которого столько сделала и который так ее подвел. Но она оставалась нежной, ласковой и чуткой. Она все понимала. Она бросила его, но не так, как бросают раскаленный кирпич или горячую картофелину. Это было сделано с бесконечной мягкостью, столь же тихо, как катились по ее щекам слезы, которые она, без сомнения, пролила, когда приняла решение поступить столь противно своему характеру. Она бросила его с таким тактом, с таким

благоразумием, что Джаспер Гиббонс, возможно, даже и не понял, что его бросили. Но в этом не могло быть ни малейшего сомнения. Ничего плохого она про него не говорила, даже вообще не хотела о нем говорить, и когда о нем заходил разговор, просто улыбалась чуть грустной улыбкой и вздыхала. Но ее улыбка была для него *coup de grâces*¹, а ее вздох — камнем на его могилу.

Миссис Бартон Трафффорд слишком искренне любила литературу, чтобы позволить себе долго огорчаться из-за такой неудачи; и каким бы сильным ни было ее разочарование, она была слишком бескорыстна, чтобы те сокровища такта, симпатии и понимания, которыми ее наделило небо, могли пропадать втуне. Она продолжала возвращаться в литературных кругах, посещать чаепития, приемы и вечера, всегда очаровательная, нежная, внимательная, но при этом осторожная, бдительная и преисполненная решимости в следующий раз, если можно так грубо выразиться, поставить на победителя. Вот тогда-то она и встретила Эдуарда Дриффилда и составила себе благоприятное мнение о его способностях. Правда, он был немолод, но тем меньше было шансов, что он, как Джаспер Гиббонс, не выдержит бремени славы. Она предложила ему свою дружбу. Он не мог не растрогаться, когда она со свойственной ей мягкостью сказала ему, что это просто безобразие, когда столь замечательные произведения остаются достоянием лишь узкого круга. Он был польщен. Каждому приятно услышать, что он гений. Она сказала ему, что Бартон Трафффорд подумывает, не написать ли о нем серьезную статью для «Куортерли с людьми, которые ему могут пригодиться. Она хотела, чтобы он познакомился с равными себе по уму. Время от времени она прогуливалась с ним по набережной, беседуя о поэтах прошлого, о любви и дружбе, и пила с ним чай в кафе-кондитерской. Когда миссис Бартон Трафффорд появилась в субботу днем на Лимпус-стрит, она выглядела как царица пчелиного улья, готовящаяся в свой свадебный полет.

С миссис Дриффилд она вела себя безупречно, была любезна, но не снисходительна, всегда очень мило благодарила за разрешение зайти в гости и говорила компли-

¹ Смертельный удар, наносимый умирающему из сострадания (фр.).

менты. Расхваливая ей Эдуарда Дриффилда и объясняя с оттенком зависти в голосе, какая честь — наслаждаться обществом столь великого человека, она делала это исключительно по доброте сердечной, а не потому, что прекрасно знала: ничто сильнее не раздражает жену литератора, чем лестные отзывы о нем, исходящие от другой женщины. Разговаривая с миссис Дриффилд, она выбирала темы попроще, которые могли быть для нее интересны: говорила о хозяйстве, о слугах, о здоровье Эдуарда, о том, какая ему нужна забота. Миссис Бартон Трафффорд вела себя с ней в точности так, как следовало женщине из очень хорошей шотландской семьи (каковой она и была) вести себя с бывшей буфетчицей, на которой угораздило жениться видного писателя: она была сердечна, игрива и старалась, чтобы миссис Дриффилд чувствовала себя с ней свободно.

И все-таки Рози почему-то терпеть ее не могла; миссис Бартон Трафффорд была, насколько я знаю, единственным человеком, которого она не любила. В те годы даже буфетчицы не злоупотребляли «чертями» и «проклятьями», которые сейчас составляют неотъемлемую часть словаря самых благовоспитанных молодых дам, и я никогда не слышал от Рози ничего такого, что могло бы шокировать мою тетю Софи. Когда кто-нибудь рассказывал при ней сомнительный анекдот, она краснела до ушей. Но миссис Бартон Трафффорд она называла не иначе, как «эта проклятая старая кошка». Ближайшим друзьям Рози стоило величайших трудов уговорить ее вести себя с ней вежливо. «Не дури, Рози, — говорили они. Все звали ее «Рози», и скоро я тоже, хоть и очень робко, начал так ее звать. — Она может сделать ему карьеру, если захочет. Он должен к ней подлизываться. Она все может».

Хотя большинство субботних гостей появлялось у Дриффилдов раз в две-три недели, небольшая компания, в которую входил и я, бывала у них почти еженедельно. Мы составляли костяк собиравшегося здесь общества, приходили рано и оставались допоздна. И самыми верными из всех были Квентин Форд, Гарри Ретфорд и Лайонел Хильер.

Квентин Форд был коренастый человек с прекрасной головой того типа, который впоследствии одно время вошел в моду в кино: прямой нос, красивые глаза, коротко стриженные седые волосы и черные усы; будь он на

четыре-пять дюймов выше, он выглядел бы классическим злодеем из мелодрамы. Мы знали, что у него «очень хорошие связи» и он богат; единственное его занятие составляло поощрение искусств. Он посещал все премьеры и все закрытые вернисажи, отличался требовательностью знатока и питал к произведениям своих современников вежливое, но огульное презрение. Как я обнаружил, к Дриффилдам он ходил не потому, что Эдуард гений, а потому, что Роза — красавица.

Теперь, вспоминая об этом, я не перестаю удивляться, что не видел столь очевидных вещей, пока меня не тыкали в них носом. Когда я впервые с ней познакомился, мне и в голову не пришло подумать о том, хороша она собой или дурна, а когда пять лет спустя, снова увидев ее, я впервые заметил, что она очень красива, я почувствовал некоторый интерес, но особенно об этом не задумывался. Я воспринял это как обычный порядок вещей — как солнце, садящееся над Северным морем, или как башни собора в Теркенбери. Я был поражен, когда услышал разговоры о красоте Розы, и, когда Эдуарду говорили, как она хороша, а он на мгновение взглядывал на нее, я следовал его примеру. Лайонел Хильер был художник и просил Розу позировать ему. Когда он рассказывал о картине, которую собирался писать с Розой, и объяснял мне, что он в ней видит, я слушал его с глупым видом, озадаченный и смущенный. Гарри Ретфорд знал одного из модных фотографов того времени и, договорившись о каких-то особых условиях, повел Розу сниматься. Спустя неделю-другую мы получили отпечатки и долго их разглядывали. Я еще никогда не видел Розы в вечернем платье. Оно было из белого атласа, с длинным треном, пышными рукавами и низким вырезом; причесана она была тщательнее обычного и совсем не походила на ту крепкую молодую женщину в соломенной шляпке и крахмальной блузке, которую я впервые встретил на Джой-лейн. Но Лайонел Хильер нетерпеливо отшвырнул фотографии.

— Дрянь, — сказал он. — Разве может быть Роза на фотографиях похожа на себя? В ней самое главное — краски. — Он повернулся к ней. — Роза, вы знаете, что ваши краски — это чудо из чудес?

Она молча взглянула на него, но ее полные красные губы сложились в ту самую детскую, озорную улыбку.

— Если я смогу передать хотя бы намек на это, я прославолюсь на всю жизнь, — сказал он. — Все жены богатых биржевиков приползут ко мне на коленях и будут умолять меня нарисовать их так же.

Вскоре я узнал, что Рози ему позирует. Я еще никогда не был в мастерской художника и считал ее вратами в мир романтики. Но когда я спросил, нельзя ли мне зайти взглянуть, как продвигается картина, Хильер сказал, что пока не хочет никому ее показывать. Это был тридцатипятилетний человек с цветущей внешностью, похожий на портрет Ван-Дейка, если бы изысканность в нем заменить добродушием. Он был чуть выше среднего роста, строен, носил пышную гриву черных волос, длинные усы и эспаньолку. Ходил он в испанских плащах и широкополых сомбреро. Он долго жил в Париже и с восхищением рассказывал о художниках, про которых мы и не слыхивали: о Моне, Сислее, Ренуаре; а о сэре Фредерике Лейтоне, мистере Алма-Тадема и мистере Дж.-Ф. Уоттсе, которыми в глубине души восхищались мы, отзываясь с презрением. Я часто подумываю, что с ним случилось потом. Несколько лет он провел в Лондоне, пытаясь пробить себе дорогу, но, по-видимому, потерпел неудачу и уехал во Флоренцию. Мне говорили, что у него там художественная школа, но, когда много лет спустя я туда попал и начал о нем расспрашивать, я так и не нашел никого, кто бы о нем слышал. По-моему, у него был кое-какой талант, потому что я до сих пор явственно помню написанный им портрет Рози Дрифилд. Интересно, что случилось с этим портретом. Погиб ли он или затерялся, прислоненный лицом к стене, на чердаке лавки старьевщика в Челси? Мне хотелось бы верить, что он нашел себе место хотя бы в какой-нибудь провинциальной художественной галерее.

Когда я наконец получил разрешение зайти посмотреть на портрет, я совсем осрамился. Мастерская Хильера находилась на Фулхэм-роуд, позади ряда лавок, и в нее вел темный, вонючий коридор. Дело было в воскресенье днем, в марте, погода стояла прекрасная, и я шел туда пешком с Винсент-сквер по пустынным улицам. Хильер жил в мастерской; там стоял большой диван, где он спал, а сзади была крохотная комната, где он готовил завтрак, мыл кисти и, я полагаю, мылся сам.

Когда я вошел, Рози была все еще в том же платье, в котором позировала, и они пили чай. Хильер открыл

мне дверь и, не выпуская моей руки, подвел меня к большому полотну.

— Вот она, — сказал он.

Он написал Рози во весь рост, чуть меньше натуральной величины, в белом шелковом вечернем платье. Картина была совсем не похожа на привычные мне академические портреты. Я не знал, что сказать, и ляпнул первое, что пришло мне в голову:

— А когда она будет готова?

— Она готова, — ответил он.

Я покраснел до ушей, чувствуя себя полным идиотом. Тогда я еще не приноровился со знанием дела судить о работах современных художников, как, льщу себя мыслью, умею сейчас. Если бы это было здесь уместно, я бы мог написать отличное маленькое руководство, которое позволило бы любителю искусства к полному удовлетворению художников высказываться о самых разнообразных проявлениях творческого инстинкта. Например, произнесенное от всего сердца «Вот это да!» — показывает, что вы признаете мощь безжалостного реалиста; «Это так искренне!» — скрывает ваше замешательство при виде раскрашенной фотографии вдовы олддермена; тихий свист свидетельствует о вашем восхищении работой постимпрессиониста; «Очень, очень занятно» — выражает ваши чувства по поводу кубиста; «О!» — означает, что вы потрясены, а «А!» — что у вас захватило дух.

— Очень похоже. — Это было все, на что я был способен тогда.

— Вы слишком привыкли к бонбоньеркам, — сказал Хильер.

— По-моему, это замечательно, — быстро возразил я, защищаясь. — Вы пошлете ее в Академию?

— Что вы! Я мог бы еще послать ее в Гровнор.

Я перевел взгляд с картины на Рози, потом снова на картину.

— Встаньте в позу, Рози, — сказал Хильер, — пусть он на вас посмотрит.

Она поднялась на подставку. Я глядел то на нее, то на картину. В сердце у меня что-то странно шевельнулось, будто кто-то мягко погрузил в него острый нож, но это вовсе не было неприятно: я ощутил легкую, но какую-то сладкую боль, а потом у меня вдруг ослабели ноги. Не могу понять, помню ли я сейчас живую Рози или Рози с той картины, потому что когда я думаю о

ней, она представляется мне не в блузке и шляпке, как я ее увидел впервые, и не в каком-нибудь другом костюме из тех, что я на ней потом видел, а в белом шелке, который написал Хильер, с черным бархатным бантом в волосах и в той позе, какую он ей велел принять.

Я никогда не знал точно, сколько Розы лет; по моим примерным подсчетам получается, что тогда ей было тридцать пять. Но выглядела она куда моложе. На ее лице не было ни единой морщины, и кожа оставалась гладкой, как у ребенка. Не думаю, чтобы ее черты лица отличались особой правильностью. Во всяком случае, в них не было аристократической утонченности знатных леди, чьи фотографии в то время продавались во всех лавках; они были скорее грубоваты. Короткий, чуть толстоватый нос, небольшие глаза, крупный рот; но глаза ее были васильковой голубизны, и они улыбались вместе с губами, очень яркими и чувственными, и я никогда не видел улыбки более веселой, дружеской и милой. Держалась Розы от природы немного угрюмо и замкнуто, но, когда она улыбалась, эта замкнутость вдруг становилась бесконечно привлекательной. В лице ее не играли краски; оно было только чуть смугловатое, а под глазами лежала легкая синева. Светло-золотистые волосы она причесывала по тогдашней моде, вверх от лба с замысловатой челкой.

— Чертовски трудно ее писать, — сказал Хильер, глядя то на нее, то на свою картину. — Видите ли, она вся золотая, и лицо и волосы, а общий колорит все равно вовсе не золотистый, а серебристый.

Я понимал, что он хочет сказать. Она вся светилась, но не ярким солнечным, а скорее бледным лунным сиянием, и если все же сравнивать ее с солнцем, то с солнцем в белом утреннем тумане. Хильер поместил ее в середине полотна, и она стояла, опустив руки с повернутыми к зрителю ладонями, слегка откинув голову, что особенно подчеркивало жемчужную прелесть ее груди и шеи. Она стояла, как актриса, вышедшая кланяться и смущенная неожиданными аплодисментами, но в ней было что-то столь девственное, столь неуловимо весеннее, что такое сравнение теряло всякий смысл. Это бесхитрое существо никогда не знало ни грима, ни света рампы. Она стояла, как дева, созревшая для любви, просто-душно предлагающая себя возлюбленному, выполняя предназначение Природы. Поколение, к которому принад-

лежала Рози, не боялось некоторой пышности линий; она была стройна, но груди ее были полными, а бедра — хорошо обрисованными. Когда позже картину увидела миссис Бартон Траффорд, она сказала, что Рози напоминает ей жертвенную телку.

XV

Вечерами Эдуард Дриффилд работал, а Рози делать было нечего, и она с удовольствием ходила куда-нибудь то с одним, то с другим из своих друзей. Она любила роскошь. Квентин Форд, располагавший средствами, заезжал за ней на извозчике и возил ее обедать к Кеттнеру или в «Савой», для чего она наряжалась в самые шикарные свои платья. Гарри Ретфорд, хоть у него никогда не было и шиллинга, тоже вел себя так, как будто был при деньгах, и тоже возил ее в экипаже и угощал обедами у Романо или в каком-нибудь из ресторанчиков Сохо, входивших в моду. Он был актер, и неплохой, но очень привередливый, и часто сидел без работы. Ему было лет тридцать. Это был человек с некрасивым, но симпатичным лицом и отрывистой манерой говорить, благодаря которой все его слова казались остроумными. Рози нравилось, как легко он относится к жизни, как лихо носит свои костюмы, сшитые у лучшего портного Лондона и неоплаченные, как безрассудно может поставить на какую-нибудь лошадь пять фунтов, которых у него нет, и как щедро швыряет деньги направо и налево, если выигрывает. Он был весел, обаятелен, тщеславен, хвастлив и не слишком щепетилен. Рози рассказывала мне, что однажды он заложил часы, чтобы пригласить ее на обед, а потом занял пару фунтов у возглавлявшего труппу премьера, который предоставил им место в театре, и пригласил его же с ними поужинать.

Но она с таким же удовольствием ходила и в мастерскую Лайонела Хильера, где они вместе жарили себе отбивные, а потом проводили вечер за разговорами. И только очень редко она обедала со мной. Обычно я заходил за ней, уже пообедав на Винсент-сквер, а она обедала с Дриффилдом. Потом мы садились на автобус и ехали в мюзик-холл. Мы ходили то в один, то в другой, то в «Павильон», то в «Тиволи», иногда — в «Метрополитен», если хотели посмотреть какой-нибудь опреде-

ленный номер, но больше всего любили «Кентербери» Места там были недорогие, а программа хорошая. Мы заказывали пару пива, я курил трубку, а Роза восхищенно разглядывала огромный, темный, прокуренный зал, битком набитый обитателями южного Лондона.

— Мне нравится «Кентербери»,— говорила она.— Там так уютно.

Я обнаружил, что она — большая любительница чтения. Ей нравилась история, но не всякая, а только определенного рода — биографии королей и королевских любовниц, и она с детским удивлением рассказывала мне необыкновенные вещи, о которых читала. Она была прекрасно знакома со всеми шестью супругами короля Генриха VIII, знала всю подноготную миссис Фицгерберт и леди Гамильтон. Ее неутолимая любознательность простиралась от Лукреции Борджиа до жен Филиппа Испанского и включала длинный список любовниц французских королей. Она знала всех, и про каждую из них, от Агнес Сорель до мадам Дюбарри, знала все.

— Люблю читать про настоящую жизнь,— говорила она.— А романы мне не нравятся.

Любила она и посплетничать про Блэкстебл, и мне казалось, что и ходить-то со мной ей нравится потому, что я сам оттуда. Она, похоже, знала все, что там происходит.

— Я езжу туда раз в две-три недели повидаться с матерью,— как-то сказала она.— Всего на один вечер.

— В Блэкстебл? — удивился я.

— Нет, не в Блэкстебл,— улыбнулась она.— Туда меня пока что не тянет. В Хэвершем. Мать приезжает туда повидаться со мной. Я остаиваюсь в гостинице, где раньше работала.

Она никогда не отличалась разговорчивостью. Часто, погожими вечерами, когда мы решали пройтись из мюзик-холла пешком, она всю дорогу молчала. Но молчание ее было задумчивым и уютным. Оно не исключало вас из круга занимавших ее мыслей; наоборот, вы становились частью всеохватывающего довольства жизнью.

Однажды я говорил о ней с Лайонелом Хильером и сказал, что не могу понять, как она превратилась из свежей молодой женщины крестьянского вида, которую я знал в Блэкстебле, в это очаровательное существо, чью красоту теперь признавали практически все. (Были люди, которые соглашались с этим не без оговорок. «Конечно,

у нее прекрасная фигура,— говорили они,— но я не очень люблю такие лица». А другие говорили: «О да, очень красива; хорошо бы еще, если бы она была более утонченной».)

— Могу объяснить это вам в двух словах,— сказал Лайонел Хильер.— Когда вы впервые ее встретили, она была всего лишь свежей, миловидной девицей. Красавицей сделал ее я.

Не помню, что я ответил,— знаю только, что какую-то непристойность.

— Ну вот! Это говорит только о том, что вы ничего не понимаете в красоте. Никто не обращал особого внимания на Розу, пока я не увидел ее в образе серебристого солнца. Пока я ее не написал, никто не догадывался, что у нее красивейшие в мире волосы.

— А ее шея, грудь, осанка, телосложение — все это тоже вы сделали?

— Ну да, черт возьми, именно я!

Когда Хильер говорил о Розе при ней, она слушала с улыбочивой серьезностью, и на ее бледных щеках появлялся слабый румянец. По-моему, сначала, когда он заговаривал с ней о ее красоте, она думала, что он просто ее разыгрывает; но и потом, когда она убедилась, что это не так, и когда он написал ее в серебристо-золотых тонах, особенного впечатления на нее это не произвело. Ей было немного забавно, она, конечно, испытывала удовольствие и отчасти удивление, но голову ей это не вскружило. Она считала его немного сумасшедшим. Я нередко задумывался над тем, было ли между ними что-нибудь. Я не мог забыть всего, что слышал о Розе в Блэкстебле и того, что видел в нашем саду; я подумывал и о Квентине Форде, и о Гарри Ретфорде. Я следил за тем, как они с ней себя ведут. Она обращалась с ними не то чтобы фамильярно — скорее по-приятельски: совершенно открыто, при всех, договаривалась о встречах и поглядывала на них с той озорной детской улыбкой, которая, как я теперь обнаружил, таила в себе такую необъяснимую прелесть. Иногда, сидя с ней рядом в мюзик-холле, я заглядывал ей в лицо; не думаю, чтобы я был влюблен в нее, мне просто было приятно спокойно сидеть с ней и глядеть на бледное золото ее волос и кожи. Конечно, Лайонел Хильер был прав: самое удивительное было то, что это золото каким-то странным образом напоминало о лунном свете. В ней чувствовалась безмятежность лет-

него вечера, когда свет медленно меркнет на безоблачном небе. Ее безбрежное спокойствие было не монотонным, а таким же полным жизни, как море у берегов Кента, гладкое и сверкающее под августовским солнцем. Она напоминала мне сонатину какого-нибудь старинного итальянского композитора, задумчивую, но изысканно-игривую, проникнутую журчащим весельем, в котором легким, трепещущим эхом все еще звучит недавний вздох. Иногда, ощутив на себе мой взгляд, она поворачивалась и несколько мгновений смотрела мне прямо в лицо. При этом она не говорила ни слова. О чем она думала, я не знал.

Помню, однажды я зашел за Розы на Лимпус-роуд, и горничная, сказав, что хозяйка еще не готова, попросила меня подождать в гостиной. Розы вошла вся в черном бархате, в модной шляпке, увенчанной страусовыми перьями (мы собирались в «Павильон», и она по этому случаю приделалась). Выглядела она такой красивой, что у меня перехватило дыхание. Я был потрясен. Платья, которые тогда носили, придавали женщине достоинство, и было что-то удивительно привлекательное в том, как ее девственная красота (иногда она была похожа на замечательную статую Психеи в неаполитанском музее) оттенялась величавостью ее наряда. Ее отличала одна особенность, которая, по-моему, встречается очень редко, — кожа у нее под глазами, слегка голубоватая, всегда была влажной. Временами я не верил, что это естественная влага, и как-то спросил ее, не втирает ли она под глазами вазелин: это выглядело именно так. Она улыбнулась, вынула платок и протянула мне.

— Вытрите и посмотрите, — сказала она.

Однажды вечером, когда мы возвращались из «Кентербери» и я, прощаясь с ней у дверей, протянул ей руку, она негромко засмеялась и прильнула ко мне.

— Дурачок, — сказала она.

И поцеловала меня в губы. Этот поцелуй не был ни поспешным, ни страстным. Ее губы, ее полные яркие губы были прижаты к моим как раз столько времени, чтобы я мог ощутить их форму, их тепло, их мягкость. Потом, по-прежнему не спеша, она отстранилась, молча открыла дверь, скользнула в дом и исчезла. Я так удивился, что не мог произнести ни слова. Я просто, как дурак, принял ее поцелуй, не почувствовав никакого возбуждения. Потом я повернулся и пошел домой, а в

ушах у меня продолжал звучать ее смешок. Он был не презрительным и не обидным, а откровенным и дружеским, как будто она засмеялась потому, что я ей нравлюсь.

XVI

После этого я целую неделю никуда не ходил с Розой. Она ездила в Хэвершем провести вечер с матерью, потом была занята в Лондоне. А потом она попросила меня пойти с ней в Хеймаркетский театр. Там шла очень модная пьеса и билетов не было, поэтому мы решили пойти на нумерованные места в партер. Мы закусили бифштексом и стаканом пива в кафе «Мониго», а потом стали ждать вместе с толпой. В те времена правильных очередей не бывало, и, когда открывали двери, начиналась страшная толкотня и давка. Изрядно вспотевшие, захавшиеся и несколько помятые, мы наконец пробились и заняли места.

Обратно мы шли пешком через Сент-Джеймс-парк. Ночь была так хороша, что мы присели на скамейку. При свете звезд лицо и волосы Розы как будто слегка светились. Вся она излучала дружелюбие, одновременно искреннее и нежное (я не очень удачно это выразил, но я не знаю, как передать это ощущение). Она была как серебристый ночной цветок, благоухающий только под лучами луны. Я обнял ее за талию, она повернулась ко мне, и на этот раз поцеловал ее я. Она не двинулась; ее мягкие алые губы подались с тихой, страстной покорностью, как вода озера принимает лунный свет.

Не знаю, сколько времени мы там сидели. Вдруг она сказала:

- Я ужасно проголодалась.
- Я тоже, — засмеялся я.
- Не подкрепиться ли нам где-нибудь жареной рыбой?

— Пожалуй.

В те времена я хорошо знал Вестминстер — тогда еще не модный квартал парламентариев и прочих важных персон, а захолустный, бедный уголок. Когда мы, выйдя из парка, перешли Виктория-стрит, я повел Розу в лавку на Хорсферри-роу, где торговали жареной рыбой. Было уже поздно, и единственным человеком, которого мы встретили, был кучер экипажа, ожидавший кого-то на

улице. Мы заказали рыбу с картошкой и бутылку пива. Зашла какая-то бедная женщина, которая купила на два пенса рыбы и унесла ее, завернув в клочок бумаги. Мы ели с аппетитом.

Наш обратный путь лежал через Винсент-сквер, и, когда мы проходили мимо моего дома, я сказал ей:

— Может быть, зайдете на минуту? Вы еще не видели, как я живу.

— А ваша хозяйка? Я не хочу, чтобы у вас были неприятности.

— О, она спит как убитая.

— Ну, зайдем ненадолго.

Я тихо открыл ключом дверь и провел Розы за руку по темному коридору. Войдя в свою гостиную, я зажег газ. Розы сняла шляпку и крепко почесала в голове. Потом она поискала глазами зеркало, но я старался следовать самому изысканному вкусу и в свое время снял зеркало, висевшее над камином, так что в этой комнате никто не мог посмотреть, как он выглядит.

— Зайдите в спальню, — сказал я. — Там есть зеркало.

Я отворил дверь и зажег свечу. Розы вошла вслед за мной, и я высоко поднял свечу, чтобы ей было видно. Я смотрел в зеркало, как она поправляет волосы. Она вынула две или три шпильки, сунула их в рот и, взяв мою головную щетку, забила вверх волосы с затылка. Потом она скрутила их, прилепнула и опять воткнула шпильки. При этом она поймала в зеркале мой взгляд и улыбнулась. Воткнув последнюю шпильку, она повернулась ко мне, не говоря ни слова и спокойно глядя на меня все с той же едва заметной дружеской улыбкой в голубых глазах. Я поставил свечу. Комната была очень маленькая, и туалетный столик стоял рядом с кроватью. Она подняла руку и нежно погладила меня по щеке.

Сейчас я очень жалею, что начал писать эту книгу от первого лица. Это очень хорошо, когда есть возможность выставить самого себя в благожелательном или трогательном свете, и нет ничего более эффектного, чем скромно-героический или грустно-юмористический тон, которые широко применяются в этом грамматическом варианте. Очень приятно писать о себе, предвидя слезу, которая блеснет на глазах у читателя, и нежную улыбку на его губах; но это не доставляет вовсе никакого удовольствия, если приходится выставлять себя попросту последним дураком.

Некоторое время назад я прочел в «Ивнинг стандарт» статью мистера Ивлина Во, где он, между прочим, заметил, что писать романы от первого лица — прием недостойный. Очень жаль, что он не объяснил почему, а просто бросил это замечание походя — хотите — верьте, хотите — нет, наподобие Евклида с его знаменитым наблюдением о параллельных прямых. Я очень заинтересовался этим и тотчас попросил Элроя Кира (он читает все, в том числе даже книги, к которым пишет предисловия) порекомендовать мне какие-нибудь труды по литературному мастерству. По его совету я прочел «Искусство беллетристики» м-ра Перси Лаббока, откуда узнал, что единственный способ писать романы — писать, как Генри Джеймс; потом я прочел «Некоторые аспекты романа» м-ра Э.-М. Форстера, откуда узнал, что писать романы нужно только так, как писал Э.-М. Форстер; потом я прочел «Композицию романа» м-ра Эдвина Мьюра, откуда вообще ничего не узнал. Но ни в одной из этих книг я не нашел ничего о том, что мне было нужно. Тем не менее я могу указать одну причину, по которой некоторые романисты — такие, как Дефо, Стерн, Теккерей, Диккенс, Эмилия Бронте и Пруст, хорошо известные в свое время, но теперь, несомненно, позабытые, прибегали к методу, который осудил м-р Ивлин Во. Становясь старше, мы все в большей степени осознаем людскую сложность, непоследовательность и неразумие, и это служит единственным оправданием для писателя, который в пожилом или преклонном возрасте вместо того, чтобы размышлять о вещах посерьезнее, интересуется мелкими побуждениями воображаемых персонажей. Ибо если для постижения рода человеческого следует изучать человека, то явно разумнее взять в качестве предмета для изучения непроторечивые, осязаемые и содержательные вымышленные образы, чем иррациональные и смутные фигуры из реальной жизни. Иногда романист, как всеведущий бог, готов рассказать вам все о своих персонажах; но иногда бывает и иначе, и тогда он рассказывает вам не все, что можно о них знать, а лишь то немногое, что знает сам; и поскольку, становясь старше, мы все в меньшей степени ощущаем себя богоподобными, то не следует удивляться, что с возрастом романист все более утрачивает склонность описывать что бы то ни было сверх того, что он познал из собственного опыта. А для этой ограниченной цели первое лицо единственного числа очень удобно.

Рози подняла руку и нежно погладила меня по щеке. Не знаю, почему я сделал то, что сделал вслед за этим: обычно я представлял себе свое поведение в подобном случае совершенно иным. Рыдание перехватило мне горло; не знаю, от того ли, что я был робок и одинок (не телом, потому что я целый день проводил в больнице с разнообразными людьми, но душой), или от того, что слишком велико было мое желание, но я заплакал. Мне было ужасно стыдно; я пытался взять себя в руки, но не мог — слезы хлынули у меня из глаз и потекли по щекам. Рози заметила их и тихо ахнула.

— Милый, что с тобой? В чем дело? Не надо, ну не надо!

Она обняла меня за шею и тоже заплакала, целуя мои губы, глаза и мокрые щеки. Она расстегнула корсаж, положила мою голову себе на грудь, гладила мое лицо и укачивала меня, как малого ребенка, а я целовал ее груди и беломраморную шею. Потом она сбросила корсаж и юбку, и я обнял ее за талию, затянутую в корсет; потом она расстегнула его, на мгновение задержав дыхание, и встала передо мной в одной сорочке. Когда я положил руки ей на бедра, я почувствовал складки на коже от корсета.

— Задуй свечу, — прошептала она.

Она разбудила меня, когда рассвет заглянул за занавески и вырвал из темноты уходящей ночи кровать и шкаф. Я проснулся от того, что она поцеловала меня в губы, щекая мне лицо рассыпавшимися волосами.

— Мне надо встать, — сказала она. — Не хочу, чтобы меня видела твоя хозяйка.

— Еще есть время.

Она склонилась надо мной, и ее груди тяжело легли мне на грудь. Вскоре она встала. Я зажег свечу. Она повернулась к зеркалу, поправила волосы, а потом оглядела свое нагое тело. У нее от природы была тонкая талия, и, несмотря на хорошо развитую фигуру, она отличалась стройностью. Ее крепкие, высокие груди выступали вперед, как будто изваянные из мрамора. В свете свечи, уже боровшемся с крепнущим днем, все ее тело, как будто предназначенное для любви, казалось серебристо-золотым, и единственным цветным пятном были ало-розовые крепкие соски.

Мы молча оделись. Корсет она надевать не стала, а просто сложила, и я завернул его в газету. На цыпочках

мы прошли по коридору, и, когда я отворил дверь и мы шагнули наружу, рассвет бросился нам навстречу, как кошка по ступенькам. Площадь была пуста; солнце уже освещало окна, выходящие на восток. Я чувствовал себя таким же юным, как этот начинавшийся день. Держась за руки, мы дошли до угла Лимнус-роуд.

— Теперь я пойду одна, — сказала она. — На всякий случай.

Я поцеловал ее и долго глядел ей вслед. Она шла медленно, держась прямо, твердой поступью деревенской женщины, которая привыкла, что под ногами у нее прочная земля. Я не мог возвратиться в постель и бродил по улицам, пока не вышел на набережную. Раннее утро ярко окрашивало реку. Под Воксхоллским мостом плыла вниз по течению коричневая баржа, а у берега в маленькой лодке гребли двое мужчин. Я почувствовал, что голоден.

XVII

Это продолжалось больше года. Каждый раз, когда мы с Розы куда-нибудь ходили, по пути домой она заходила ко мне — иногда на часок, иногда до тех пор, пока рассвет не предупреждал нас, что служанки скоро примутся за мытье крылечек. Я помню теплые солнечные утра, когда усталый лондонский воздух наполнялся желанной свежестью; помню звуки наших шагов, казавшиеся такими громкими на пустынных улицах; помню, как мы молча, но весело спешили под зонтиком, когда зима принесла с собой холода и дожди. Полисмены, стоявшие на посту, поглядывали на нас, когда мы проходили мимо, — иногда подозрительно, а иногда с понимающим блеском в глазах. Время от времени нам попадался бездомный бродяга, прикорнувший где-нибудь под колоннадой. Розы дружески сжимала мою руку, когда я клал серебряную монету ему на колени или в костлявую ладонь (главным образом напоказ, чтобы произвести впечатление на Розы, потому что денег у меня было немного). Розы сделала меня счастливым. Я очень к ней привязался. С ней было легко и уютно. Ее безмятежность передавалась всем вокруг, так что каждый мог разделить с ней наслаждение переживаемой минутой.

До того, как я стал ее любовником, я часто думал, была ли она любовницей других — Форда, Гарри Ретфор-

да и Хильера, а после этого как-то ее спросил. Она поцеловала меня.

— Не говори глупости. Они мне нравятся, ты это знаешь. Мне приятно с ними ходить, вот и все.

Я хотел еще спросить ее, была ли она любовницей Джорджа Кемпа, но так и не решился. Правда, я ни разу не видел, чтобы она сердилась, но подозревал, что она вполне на это способна, и смутно чувствовал, что именно этот вопрос может вывести ее из себя. Я не хотел, чтобы ей представился случай сказать мне что-нибудь обидное, чего я не смог бы ей простить. Я был молод, мне только что исполнился двадцать один год, Квентин Форд и все остальные казались мне стариками, и мне представлялось вполне естественным, что для Розы они — просто приятели. Я гордился тем, что я ее любовник. Глядя, как она во время субботних чаепитий смеется и болтает со всеми и каждым, я прямо светился самодовольством. Я думал о тех ночах, которые мы проводили вместе, и мне становилось смешно при мысли, что никто не догадывается о моей великой тайне. Но время от времени мне казалось, что Лайонел Хильер посматривает на меня лукаво, как будто подсмеиваясь, и я с беспокойством спрашивал себя, не сказала ли ему Розы, что у нас роман. «Не выдает ли нас мое поведение?» — думал я. Как-то я сказал Розы, что боюсь, как бы Хильер чего-нибудь не заподозрил, но она поглядела на меня своими голубыми глазами, которые, казалось, постоянно были готовы улыбнуться.

— Не беспокойся, — ответила она. — У него всегда всякие гадости на уме.

С Квентином Фордом я никогда не был близок. Он считал меня нудным и неинтересным молодым человеком (каким я, конечно, и был) и хотя держался всегда вежливо, но особого внимания на меня не обращал. Я решил, что мне скорее всего только кажется, будто он теперь стал со мной еще более холоден, чем раньше. А Гарри Ретфорд однажды, к моему удивлению, пригласил меня пообедать с ним и пойти в театр. Я сказал об этом Розы.

— О, конечно, сходи. Ты прекрасно проведешь время. Гарри — мой старый приятель, с ним всегда весело.

Я с ним пообедал. Он был очень любезен, и на меня произвели впечатление его рассказы об актерах и актрисах. Он отличался саркастическим юмором и много острил по адресу Квентина Форда, которого недолюбливал; я пытался перевести разговор на Розы, но о ней он гово-

рить не стал. Он был большой весельчак. Подмигивая, он смешными намеками дал мне понять, каким успехом пользуется у девушек. Я не мог не задуматься о том, не потому ли он угощает меня этим обедом, что знает о моих отношениях с Розой и поэтому дружески ко мне расположен. Но если знает он, то знают, конечно, и все остальные. В душе я, разумеется, относился к ним несколько покровительственно, хотя надеюсь, что по мне этого не видно было.

А потом, зимой, в конце января, на Лимпус-роуд появилось новое лицо. Это был голландский еврей по имени Джек Кейпер, торговец бриллиантами из Амстердама, приехавший в Лондон на несколько недель по делам. Не знаю, как он познакомился с Дриффилдами и привело ли его к ним преклонение перед литературным талантом хозяина, но, во всяком случае, не оно заставило его прийти вновь. Это был высокий, плотный, темноволосый человек с лысой головой и большим крючковатым носом. Ему было лет пятьдесят, но выглядел он сильным, чувственным, решительным и веселым. Он не скрывал своего восхищения Розой. Очевидно, он был богат, потому что каждый день посылал ей цветы; она корила его за такое расточительство, но это ей льстило. Я его терпеть не мог. Он был развязан и криклив. Я ненавидел его бесконечные разговоры на правильном, но каком-то ненастоящем английском языке, ненавидел экстравагантные комплименты, которые он отпускал Розе, ненавидел добродушие, которое он проявлял к ее друзьям. Я обнаружил, что Квентину Форду Кейпер так же не нравился, как и мне, и мы с ним почти подружились.

— К счастью, он скоро уедет,— Квентин Форд поджимал губы и поднимал черные брови; со своими белыми волосами и длинным, худым лицом он выглядел невероятно аристократично.— Женщины все одинаковы: они обожают нахалов.

— Он так ужасно вульгарен,— жаловался я.

— Этим и берет,— говорил Квентин Форд.

Следующие две-три недели я Розой почти не видел. Джек Кейпер вечер за вечером приглашал ее с собой то в один, то в другой ресторанчик, то на один, то на другой спектакль. Я был встревожен и обижен.

— Он же никого в Лондоне не знает,— говорила Роза, стараясь меня утешить.— Он хочет, пока здесь, повидать все, что можно. Было бы неудобно, если бы ему пришлось

ходить все время одному. Он пробудет здесь еще всего две недели.

Я не видел в таком самопожертвовании с ее стороны никакого смысла.

— Но неужели ты не видишь, что он отвратителен? — спросил я.

— Нет. По-моему, с ним весело. Он меня смешит.

— А ты знаешь, что он от тебя без ума?

— Ну что ж, ему это доставляет удовольствие, а меня от этого не убудет.

— Он старый, толстый и противный. У меня мурашки по спине бегают, когда я его вижу.

— Не так уж он плох, по-моему, — ответила Роза.

— Как ты можешь иметь с ним дело? — возразил я. — Он же такой хам!

Роза почесала в голове — была у нее такая скверная привычка.

— Чудно, что иностранцы совсем не такие, как англичане, — сказала она.

Я был рад, когда Джек Кейпер отправился к себе в Амстердам. Роза обещала на следующий день пообедать со мной, и на радостях мы договорились пообедать в Сохо. Она заехала за мной на извозчике, и мы отправились.

— Ну как, уехал твой ужасный старик? — спросил я.

— Да, — засмеялась она.

Я обнял ее за талию (где-то я уже замечал, насколько для этого приятного и почти необходимого момента человеческих отношений извозчиный экипаж удобнее нынешнего такси, и здесь приходится воздержаться от дальнейшей разработки этой темы). Я обнял ее за талию и поцеловал. Ее губы были как весенние цветы.

Мы приехали в ресторан. Я повесил на крючок свою шляпу и пальто (очень длинное, в талию, с бархатным воротником и бархатными обшлагами — все по моде) и предложил Розе взять ее накидку.

— Я останусь в ней, — сказала она.

— Тебе будет страшно жарко. А когда выйдем на улицу, ты простудишься.

— Неважно... Я в первый раз ее надела. Красивая, правда? И смотри: такая же муфта.

Я взглянул на накидку. Она была меховая. Я тогда не знал, что это соболь.

— Выглядит очень роскошно. Откуда она у тебя?

— Джек Кейпер подарил. Мы вчера пошли и купили

ее, перед самым его отъездом. — Она погладила гладкий мех, счастливая, как ребенок с новой игрушкой. — Как ты думаешь, сколько она стоит?

— Не представляю.

— Двести шестьдесят фунтов. Знаешь, у меня в жизни еще не было такой дорогой вещи. Я говорила ему, что это слишком, но он слушать не хотел и заставил меня ее взять.

Она радостно засмеялась. Глаза ее блестели. Но у меня сжались губы, а по спине пробежал холодок.

— А Дриффильту не покажется странным, что Кейпер подарил тебе такую дорогую меховую накидку? — спросил я, стараясь, чтобы мой голос звучал естественно. Роза ответила озорным взглядом.

— Ты же знаешь Теда — он ничего никогда не замечает. Если он что-нибудь спросит, я скажу, что дала за нее двадцать фунтов в ломбарде. Он ни о чем не догадается. — Роза потерлась лицом о воротник. — Она такая мягкая. И всякому видно, что стояла больших денег.

Я пытался есть и, чтобы скрыть охватившую мое сердце горечь, всячески старался поддержать разговор. Роза не очень меня слушала. Она думала только о своей новой накидке, и каждую минуту взгляд ее возвращался к муфте, которую она все-таки взяла с собой. В нежности, с которой она поглядывала на муфту, было что-то ленивое, чувственное и самодовольное. Я злился на нее, она казалась мне глупой и вульгарной. Я не мог удержаться, чтобы не съязвить:

— Ты — как кошка, которая полакомилась птичкой. Она только хихикнула.

— Я так себя и чувствую.

Двести шестьдесят фунтов были для меня огромной суммой. Я даже не знал, что накидка может столько стоить. Я жил на четырнадцать фунтов в месяц, и жил вовсе неплохо; а на случай, если читатель не силен в арифметике, добавлю, что это означает сто шестьдесят восемь фунтов в год. Я не верил, чтобы кто-нибудь мог сделать такой дорогой подарок просто из дружбы; что это могло означать, кроме того, что Джек Кейпер спал с Розой каждую ночь, все время, пока был в Лондоне, а перед отъездом расплатился с ней? Как могла она на это согласиться? Неужели она не понимает, как это для нее унижительно? Неужели не видит, как вульгарно с его стороны подарить ей такую дорогую вещь? Очевидно, она этого не видела, потому что сказала мне:

— Очень мило с его стороны, правда? Но евреи все щедрые.

— Вероятно, он мог себе это позволить,— сказал я.

— О да, у него куча денег. Он сказал, что хочет мне перед отъездом что-нибудь подарить, и спросил, чего бы мне хотелось. Ладно, говорю, неплохо было бы иметь накидку и к ней муфту. Но я никак не думала, что он купит такую. Когда мы пришли в магазин, я попросила показать что-нибудь из каракуля, но он сказал: «Нет, соболя, и самого лучшего». И когда увидел эту, просто заставил меня ее взять.

Я представил себе ее белое тело с такой молочной кожей в объятых этого старого, толстого, грубого человека, и его толстые, оттопыренные губы на ее губах. И тут я понял, что все подозрения, которым я отказывался верить, были правдой. Я понял, что, когда она обедала с Квентином Фордом, и с Гарри Рэтфордом, и с Лайонелом Хильером, она спала с ними, точно так же, как спала и со мной. Я не мог произнести ни слова: я знал, что стоит мне раскрыть рот, как я скажу что-нибудь оскорбительное. По-моему, я был не столько охвачен ревностью, сколько подавлен. Я понял, что она провела меня, как последнего дурака. Я напрягал все силы, чтобы сдерживать горькие насмешки, готовые слететь с моих губ.

Мы пошли в театр. Я не слушал актеров. Я только чувствовал на своей руке прикосновение гладкого соболинного меха и видел, как ее пальцы непрерывно поглаживают муфту. С мыслью об остальных я мог примириться, но Джек Кейпер меня потряс. Как она могла? Ужасно быть бедным. Были бы у меня деньги, я бы сказал ей — отошли обратно этому типу его гнусные меха, я куплю другие, гораздо лучше! Наконец она заметила мое молчание.

— Ты сегодня что-то очень тихий.

— Разве?

— Ты себя плохо чувствуешь?

— Я чувствую себя прекрасно.

Она искоса поглядела на меня. Я отвел взгляд, но знал, что ее глаза улыбаются той самой озорной и в то же время детской улыбкой, которую я так хорошо знал. Больше она ничего не сказала. Когда спектакль кончился, шел дождь, и мы взяли извозчика. Я дал кучеру ее адрес на Лимпус-роуд. Она молчала, пока мы не доехали до Виктория-стрит, потом спросила:

— Разве ты не хочешь, чтобы я зашла к тебе?

— Что ж, если угодно.

Она приоткрыла окошечко и сказала кучеру мой адрес. Потом взяла меня за руку и не отпускала ее, но я остался холоден. С чувством уязвленного достоинства я глядел прямо в окно. Когда мы приехали на Винсент-сквер, я помог ей выйти и впустил ее в дом, не говоря ни слова. Я снял шляпу и пальто, она швырнула на диван накидку и муфту.

— Почему ты дуешься? — спросила она, подходя ко мне.

— Я не дуюсь, — отвечал я, глядя в сторону.

Она обеими руками схватила мое лицо.

— Ну почему ты такой глупый? Стоит ли злиться из-за того, что Джек Кейпер подарил мне меховую накидку? Ведь ты же не можешь такую купить, верно?

— Конечно, нет.

— И Тед не может. Не отказываться же мне от меховой накидки, которая стоит двести шестьдесят фунтов! Я всю жизнь о такой мечтала. А для Джека это ничего не стоит.

— Не думаешь же ты, что я поверю, будто он сделал это просто по дружбе?

— А почему бы и нет? Во всяком случае, он уехал в Амстердам, и кто знает, когда он приедет снова?

— Да он и не единственный.

Я смотрел на Розу с гневом, обидой, возмущением, а она улыбалась мне — как жаль, что я не умею описать милую доброту ее чудесной улыбки! Голос ее звучал удивительно мягко.

— Милый, ну зачем тебе думать о каких-то других? Разве тебе это мешает? Разве тебе со мной плохо? Разве ты со мной не счастлив?

— Очень.

— Ну и хорошо. Глупо злиться и ревновать. Почему не радоваться тому, что у тебя есть? Я всегда говорю — наслаждайся жизнью, пока можешь; через сотню лет мы все будем в могиле, и тогда уж ничего не будет. А пока можно, надо проводить время с удовольствием.

Она обняла меня за шею и прижалась губами к моим губам. Я забыл свой гнев — я мог думать только о ее прелести, о ее всепоглощающей доброте.

— Придется уж тебе принимать меня такой, какая я есть, — прошептала она.

— Придется, — ответил я.

За все это время я очень мало виделся с Дриффилдом. Большую часть дня он занимался своими редакторскими делами, а по вечерам писал. Конечно, субботние вечера он проводил с нами, дружелюбно болтая и забавляя нас своими ироническими замечаниями. Казалось, он всегда был рад меня видеть и разговаривать со мной на всякие общие темы, хотя и не подолгу, потому что больше внимания, естественно, уделял гостям постарше и поважнее. И все-таки у меня было ощущение, что между ним и нами растет какое-то отчуждение; он уже не был тем веселым, чуть вульгарным собеседником, которого я знал в Блэкстебле. Может быть, дело было просто в моей обострившейся чувствительности, которая и позволила мне ощутить невидимый барьер между ним и теми, с кем он болтал и шутил. Похоже было, что он живет какой-то воображаемой жизнью, рядом с которой повседневность кажется чуть призрачной. Время от времени его приглашали говорить речи на публичных обедах; он вступил в литературный клуб, познакомился с множеством людей за пределами того узкого кружка, с которым его связывала литературная работа, и все чаще получал приглашения на обеды и чаепития от дам, стремившихся собирать вокруг себя известных писателей. Розы тоже приглашали, но она ходила в гости редко, говоря, что не любит приемов, и потом ведь не она же им нужна — им нужен только Тед. Я думаю, в таких случаях она робела и чувствовала себя не в своей тарелке. Может быть, хозяйки не раз давали ей понять, как им неприятно, что приходится принимать и ее, а уж пригласив ее приличия ради, они ее игнорировали, потому что их раздражала необходимость обходиться с ней вежливо.

Как раз тогда Эдуард Дриффилд напечатал «Чашу жизни». Разбирать его произведения — не мое дело, и к тому же за последнее время о них написано столько, что этого вполне хватит для любого обычного читателя. Но я позволю себе сказать, что «Чаша жизни» хоть и не самая знаменитая и не самая популярная из его книг, но, на мой взгляд, самая интересная. В ней есть какая-то хладнокровная беспощадность, которая резко выделяет ее на фоне сентиментальности, присущей английской

литературе. В ней есть свежесть и терпкость. Она как кислое яблоко — от нее сводит скулы, но в то же время в ней чувствуется какой-то едва заметный и очень приятный горьковато-сладкий привкус. Из всех книг Дриффилда это единственная, которую я был бы рад написать сам. Каждому, кто ее читал, надолго запомнится страшная, душераздирающая, но описанная без всякой слякоти и ложной чувствительности сцена смерти ребенка и следующий за ней странный эпизод.

Именно эта часть книги и вызвала внезапный шквал, обрушившийся на голову бедного Дриффилда. Первые несколько дней после выхода книги казалось, что все пойдет так же, как и с прежними его романами: что она будет удостоена обстоятельных рецензий, в целом похвальных, хотя и не без оговорок, и будет раскупаться понемногу, но в общем неплохо. Роза рассказывала мне, что он надеялся заработать фунтов триста, и поговаривала о том, как бы на лето снять дачу у реки. Первые два или три отзыва были ни к чему не обязывающими; а потом одна из утренних газет разразилась целым столбцом резких нападок. Книга была объявлена намеренно оскорбительной и непристойной; попало и выпустившим ее издателям. Газета рисовала ужасные картины того разлагающего влияния, которое возымеет книга на английскую молодежь, и называла ее вопиющим оскорблением женственности. Рецензент возмущался тем, что книга может попасть в руки юношей и невинных девушек. Другие газеты последовали примеру первой. Те, что поглупее, требовали запретить книгу, и кое-кто с серьезным видом задавал вопрос, не следует ли тут вмешаться прокурору. Осуждение было единодушным; если время от времени какой-нибудь отважный писатель, привычный к более реалистической континентальной литературе, и утверждал, что Эдуард Дриффилд не написал ничего лучше этой книги, то на него не обращали внимания, приписывая его искреннее мнение низменному желанию угодить галерке. Библиотеки прекратили выдачу книги, а хозяева книжных киосков на железнодорожных станциях отказывались ее брать.

Все это, естественно, было Эдуарду Дриффилду очень неприятно, но он держался с философским спокойствием и только пожимал плечами.

— Они говорят, что это неправда, — улыбался он. — Пусть катятся к черту — там все истинная правда.

Немалую поддержку в то трудное время он черпал в верности своих друзей. Восхищаться «Чашей жизни» стало признаком эстетической проницательности; возмущаться ею — значило сознаться в своем филистерстве. Миссис Бартон Трафффорд без колебаний объявила книгу шедевром, и хотя для появления статьи Бартон в «Куортерли» момент был сочтен неподходящим, ее вера в будущее Эдуарда Дриффилда осталась незыблемой. Сейчас странно (и поучительно) читать эту книгу, вызвавшую такую сенсацию: в ней нет ни одного слова, способного заставить покраснеть даже самого невинного читателя, ни одного эпизода, который мог бы хоть чуточку смутить человека, привыкшего к нынешним романам.

XIX

Месяцев через шесть шум, поднятый вокруг «Чаши жизни», пошел на убыль, и Дриффилд начал писать роман, позднее опубликованный под названием «По плодам их». Я в то время учился на четвертом курсе и работал в перевязочной. Однажды на дежурстве я вышел в вестибюль больницы, где должен был подождать хирурга, чтобы идти с ним на обход. Я взглянул на стойку для писем, потому что иногда люди, не знавшие моего домашнего адреса, писали мне в больницу. С большим удивлением я обнаружил телеграмму на свое имя. В ней говорилось:

«Пожалуйста, непременно зайдите ко мне сегодня в пять часов. Это важно. Изабел Трафффорд».

Зачем я ей понадобился? За последние два года я видал ее, может быть, раз десять, но она никогда не обращала на меня внимания, и у нее я ни разу не был. Я знал, какой большой спрос в это время дня на мужчин; может быть, хозяйка в последнюю минуту обнаружила, что среди гостей их окажется меньше, чем женщин, и решила, что студент-медик все же лучше, чем ничего? Но, судя по тексту телеграммы, речь шла не о приеме.

Хирург, которому я ассистировал, был нуден и болтлив. Я освободился только в шестом часу, и мне понадобилось добрых двадцать минут, чтобы добраться до Челси. Миссис Бартон Трафффорд занимала квартиру в большом доме на набережной. Было уже почти шесть, когда я позвонил у ее дверей и спросил, дома ли она. Но когда

меня провели в гостиную и я начал объяснять, почему опоздал, она перебила меня:

— Мы так и думали, что вы задержались. Это пустяки. Ее муж был тут же.

— Наверное, он не откажется от чашки чаю, — сказал он.

— По-моему, для чая уже поздно, не правда ли? — она нежно взглянула на меня своими мягкими, прекрасными, полными доброты глазами. — Ведь вы не хотите чаю?

Я был голоден и хотел пить, потому что мой обед состоял из чашки кофе и булочки с маслом, но я об этом умолчал и от чаю отказался.

— Вы знакомы с Олгудом Ньютоном? — спросила миссис Бартон Трафффорд, сделав движение в сторону человека, который, когда я вошел, сидел в большом кресле, а теперь встал. — Я думаю, вы встречали его у Эдуарда.

Я его встречал. Он приходил не часто, но его имя было мне знакомо, и я его помнил. Я всегда очень волновался в его присутствии и, кажется, ни разу с ним не разговаривал. Хотя сейчас он совершенно забыт, но в те дни он был самым известным в Англии критиком. Это был крупный, толстый блондин с мясистым бледным лицом, светло-голубыми глазами и седеющими волосами. Галстук он обычно носил тоже светло-голубой, под цвет глаз. Он очень дружелюбно обращался с авторами, которых встречал у Дриффилдов, говорил им приятные и лестные слова, но, когда они уходили, отпуская по их адресу очень смешные шутки. Он разговаривал тихим, ровным голосом, умело подбирая слова; никто не мог с большим ехидством рассказать про своего приятеля злую сплетню.

Олгуд Ньютон обменялся со мной рукопожатием, а миссис Бартон Трафффорд, стараясь со своей всегдашней заботливостью, чтобы я чувствовал себя свободно, взяла меня за руку и усадила на диван рядом с собой. Чай еще стоял на столе, и она, взяв сандвич с джемом, изящно откусила кусочек.

— Вы бывали у Дриффилдов в последнее время? — спросила она, как будто занимая меня разговором.

— Был, в прошлую субботу.

— А с тех пор вы никого из них не видели?

— Нет.

Миссис Бартон Траффорд взглянула на Олгуда Ньютона, потом на мужа, потом снова на Ньютона, как будто молча призывая их на помощь.

— Обиняками мы ничего не добьемся, Изабел, — сказал Ньютон своим масляным отчетливым голосом, и в глазах у него едва заметно блеснуло ехидство.

Миссис Бартон Траффорд повернулась ко мне.

— Значит, вы не знаете, что миссис Дриффилд сбежала от мужа?

— Что?!

Я был ошарашен и не мог поверить своим ушам.

— Может быть, вы лучше изложите ему все факты, Олгуд? — предложила миссис Траффорд.

Критик откинулся назад в своем кресле, сложил руки перед собой, соединив кончики пальцев, и со смаком заговорил:

— Вчера вечером я должен был встретиться с Эдуардом Дриффилдом по поводу одной статьи, которую я для него пишу, и после обеда, поскольку погода была хорошая, я решил пройтись до его дома пешком. Он ждал меня; кроме того, я знал, что он никогда никуда не ходит по вечерам, если не считать особенно важных случаев — скажем, банкета у лорд-мэра или обеда в Академии. И представьте себе мое удивление, нет, мое полное и абсолютное изумление, когда я, приблизившись, увидел, как открывается дверь его дома и появляется Эдуард Дриффилд собственной персоной! Вы, конечно, знаете, что Иммануил Кант ежедневно выходил на прогулку в определенное время с такой точностью, что жители Кенигсберга привыкли проверять по этому событию свои часы, и, когда однажды он вышел из дома на час раньше обычного, они пришли в ужас, поняв, что случилось нечто страшное. Они не ошиблись. Иммануил Кант только что получил сообщение о падении Бастилии.

Олгуд Ньютон на мгновение остановился, чтобы насладиться произведенным впечатлением. Миссис Бартон Траффорд удостоила его понимающей улыбки.

— Правда, когда я увидел, как Эдуард спешит мне навстречу, у меня не возникло предчувствия какой-нибудь столь же потрясающей мировой катастрофы, но я тут же понял, что произошло какое-то несчастье. При нем не было ни трости, ни перчаток. Он был одет в свою рабочую куртку — почтенное одеяние из черной альпаки, и широкополую шляпу. В лице у него я заметил что-то

дикое, а в поведении — что-то безумное. Зная превратности супружеской жизни, я спросил себя, не семейный ли разлад заставил его сломя голову выбежать из дома или же он просто спешит к почтовому ящику, чтобы отправить письмо. Он бежал, как Гектор в погоне за благороднейшими из ахейцев. Меня он, казалось, не заметил, и у меня блеснуло подозрение, что он сделал это намеренно. Я остановил его. «Эдуард», — сказал я. Он вздрогнул. Готов поклясться, что в первое мгновение он меня не узнал. «Какие мстительные фурии гонят вас с такой поспешностью по темным закоулкам Пимлико?» — спросил я. «Ах, это вы», — сказал он. «Куда вы идете?» — спросил я. «Никуда», — ответил он.

Я понял, что при таком темпе Олгуд Ньютон никогда не кончит свой рассказ, и миссис Хадсон будет сердиться на меня за получасовое опоздание к обеду.

— Я сообщил ему, по какому делу направляюсь к нему, и предложил ему вернуться домой, где мы могли бы более спокойно обсудить вопрос, который меня волновал. «Не могу я идти домой, мне не сидится на месте», — сказал он. — «Давайте пройдемся. Мы можем поговорить по дороге». Согласившись, я повернул назад. Но он шел слишком быстро, и я был вынужден просить его умерить шаг. Даже доктор Джонсон не смог бы поддерживать разговор, несясь по Флит-стрит со скоростью экспресса. Эдуард выглядел так странно и вел себя так возбужденно, что я счел разумным повести его по менее людным улицам. Я начал говорить о своей статье. Предмет, который меня занимал, оказался значительно обширнее, чем выглядел с первого взгляда, и я пребывал в сомнении, смогу ли я вообще отдать ему должное на страницах еженедельника. Я обстоятельно и беспристрастно изложил дело и спросил его мнение. «Рози ушла от меня», — ответил он. В первое мгновение я не понял, о чем он говорит, но тут же мне пришло в голову, что он имеет в виду ту свежую и не лишнюю привлекательности особу, из рук которой я иногда принимал чашку чая. По его тону я предположил, что он ждет от меня скорее соболезнования, чем поздравления.

Олгуд Ньютон снова сделал паузу, и его голубые глаза блеснули.

— Вы великолепны, Олгуд! — сказала миссис Бартон Траффорд.

— Неповторимы, — сказал ее муж.

— Поняв, что в данном случае от меня требуется сочувствие, я начал: «Мой дорогой друг!» Он прервал меня. «Я только что получил письмо,— сказал он.— Она сбежала с Лордом Джорджем Кемпом».

У меня захватило дух, но я промолчал. Миссис Траффорд бросила на меня быстрый взгляд.

— «Кто такой Лорд Джордж Кемп?» — «Один человек из Блэкстебла»,— ответил он. Я не имел времени на размышления и решил быть откровенным. «Ну и скатертью дорога»,— сказал я. «Олгуд!» — вскричал он. Я остановился и положил ему руку на плечо. «Вы должны знать, что она изменяла вам со всеми вашими друзьями. Она вела себя просто скандально. Дорогой Эдуард, давайте посмотрим фактам в глаза: ваша жена была не кто иная, как самая обыкновенная потаскуха». Он стряхнул с плеча мою руку и издал нечто вроде рычания, как орангутанг из лесов Борнео, у которого силой отняли кокосовый орех. И прежде чем я успел остановить его, он вырвался и побежал прочь. Я был так потрясен, что не мог ничего сделать, а только стоял и слушал, как вдали затихают его вопли и поспешные шаги.

— Вы не должны были его отпускать,— сказала миссис Бартон Траффорд.— В этом состоянии он может броситься в Темзу.

— Эта мысль приходила мне в голову, но я заметил, что он побежал не в сторону реки, а скрылся в убогих переулках той части города, где мы находились. Кроме того, я подумал, что история литературы не знает случая, чтобы писатель совершил самоубийство, не закончив своего произведения. Как бы велико ни было его горе, он не захочет оставить потомкам незавершенный опус.

То, что я услышал, поразило меня и привело в ужас; тревожило меня и то, что я не мог понять, зачем миссис Траффорд послала за мной. Она слишком мало меня знала, чтобы полагать, что эта история может представить для меня особый интерес; не стала бы она и трудиться только ради того, чтобы поскорее сообщить мне такую новость.

— Бедный Эдуард,— сказала она.— Конечно, никто не может отрицать, что в конечном счете все получилось к лучшему, но я боюсь, не принял бы он это слишком близко к сердцу. К счастью, он не совершил никаких опрометчивых поступков.— Она повернулась ко мне.— Как только мистер Ньютон рассказал нам, что произошло,

я отправилась на Лимпус-роуд. Эдуарда не было, но горничная сказала, что он только что ушел; значит, он побывал дома после того, как убежал от Олгуда. Вы, наверное, удивляетесь, зачем я пригласила вас к себе.

Я молча ждал, что она скажет дальше.

— Вы впервые познакомились с Дриффилдами в Блэкстебле, верно? Вы можете рассказать нам, что за человек этот Лорд Джордж Кемп. Эдуард сказал, что он из Блэкстебла.

— Он средних лет, у него жена и двое детей. Мои ровесники.

— Но я не могу понять, кто он такой. Я не нашла его в справочнике Дебретта.

Я чуть не рассмеялся.

— О, на самом деле он не лорд. Он местный торговец углем. В Блэкстебле его зовут Лорд Джордж потому, что он очень важный. Это просто шутка.

— Причуды буколического юмора нередко с трудом доступны непосвященным, — заметил Олгуд Ньютон.

— Мы все должны помочь дорогому Эдуарду, чем можем, — сказала миссис Бартон Траффорд. Ее глаза задумчиво остановились на мне. — Если Кемп сбежал с Розы Дриффилд, он, вероятно, ушел от своей жены.

— Вероятно, — ответил я.

— Вы не можете оказать одну услугу?

— Конечно, если это в моих силах.

— Не съездите ли вы в Блэкстебл и не выясните ли, что на самом деле произошло? Мне кажется, нам надо было бы связаться с его женой.

Я никогда не любил совать нос в чужие дела.

— Не знаю, смогу ли я это сделать, — отвечал я.

— Разве вы не можете с ней встретиться?

— Нет.

Если миссис Бартон Траффорд сочла мой ответ резким, она этого не показала и только слегка улыбнулась.

— В конце концов, это можно отложить. Самое срочное сейчас — узнать все про Кемпа. Сегодня вечером я попытаюсь увидеться с Эдуардом. Я не могу и подумать о том, чтобы он оставался в этом ужасном доме один. Мы с Бартоном решили привезти его сюда. У нас есть свободная комната, и я устрою так, чтобы он мог здесь работать. Олгуд, вы согласны, что это для него было бы самое лучшее?

— Абсолютно.

— Я не вижу, почему бы ему не остаться здесь на неопределенное время, и уж во всяком случае на несколько недель, а на лето он может уехать вместе с нами. Мы собираемся в Бретань. Я уверена, что ему там понравится. Это будет для него полная перемена обстановки.

— Вопрос, который нас интересует сейчас,— сказал Бартон Трафффорд, устремив на меня свой взгляд, почти столь же добрый, как и у его жены,— состоит в том, поедет ли этот молодой костоправ в Блэкстебл, чтобы выяснить все, что сможет. Мы должны знать, что произошло. Это самое главное.

Бартон Трафффорд искупал свой интерес к археологии добродушием и шутливой, даже жаргонной манерой выражаться.

— Он не может отказаться,— сказала его супруга, бросив на меня нежный, умоляющий взгляд.— Вы ведь не откажетесь? Это так важно, и только вы можете нам помочь.

Она, конечно, не подозревала, что мне так же, как и ей, не терпится узнать, что случилось; ей и в голову не могло прийти, какая горькая, ревнивая боль пронзила мое сердце.

— Я не могу оставить больницу раньше субботы,— сказал я.

— Это годится. Очень мило с вашей стороны. Все друзья Эдуарда будут вам благодарны. Когда вы вернетесь?

— Я должен быть в Лондоне в понедельник рано утром.

— Тогда приходите вечером ко мне на чашку чая. Я буду ждать вас с нетерпением. Слава богу, это улажено. Теперь я должна попытаться разыскать Эдуарда.

Я догадался, что мне пора уходить. Олгуд Ньютон тоже распрощался и вместе со мной спустился вниз.

— Сегодня в нашей Изабел было что-то от Екатерины Арагонской. Это ей необыкновенно идет,— прошептал он, когда дверь за нами закрылась.— Ей представился блестящий случай, и я думаю, что мы можем быть уверены — она его не упустит. Очаровательная женщина, золотое сердце. *Vénus toute entière à sa proie attachée*¹.

Я не понял, что он имел в виду; то, что я уже рассказал

¹ Венера, мыслью всей прильнувшая к добыче (Ж. Расин, «Федра»).

читателям про миссис Бартон Траффорд, я узнал много позже. Но я сообразил, что он сказал о ней что-то довольно злое и, вероятно, смешное, так что я усмехнулся.

— Полагаю, ваша молодость располагает вас к пользованию тем, что наш добрый Дизраэли неудачно назвал лондонской гондолой?

— Я поеду на автобусе, — ответил я.

— Да? Если бы вы хотели поехать на извозчике, то я собирался попросить вас подвезти меня до дому, но раз вы намерены воспользоваться этим скромным средством передвижения, которое я по своей старомодности все еще предпочитаю называть омнибусом, то я все же взгромозжу свое неуклюжее тело в экипаж.

Он помахал извозчику и протянул мне два мягких пальца.

— Я зайду в понедельник — узнать результаты вашей утонченно-щекотливой миссии, как назвал бы это старина Генри.

XX

Но прошло много лет, прежде чем я снова увиделся с Олгудом Ньютоном. Приехав в Блэкстебл, я нашел там письмо от миссис Бартон Траффорд (которая позаботилась записать мой адрес) с просьбой — по причинам, которые она объяснит при встрече, не приходить к ней домой, а встретиться с ней в шесть часов в зале ожидания первого класса на вокзале Виктория. Поэтому, как только я в понедельник смог освободиться из больницы, я направился туда и после недолгого ожидания увидел ее. Она приближалась ко мне легкими быстрыми шажками.

— Ну, можете ли вы мне что-нибудь рассказать? Давайте найдем тихий уголок и присядем.

Мы отыскиали себе место.

— Я должна объяснить, почему пригласила вас сюда, — сказала она. — У меня живет Эдуард. Сначала он не хотел, я его едва уговорила. Но он нервничает, болен и раздражителен. Мне не хотелось бы, чтобы он вас видел, и я решила не рисковать.

Я вкратце рассказал миссис Траффорд то, что узнал; она внимательно слушала, время от времени кивая головой. Но я при всем желании не сумел бы дать ей почувствовать то смятение, какое застал в Блэкстебле. Город

был вне себя от возбуждения. Много лет здесь не случилось ничего столь захватывающего, и никто больше ни о чем и говорить не мог. Шалтай-Болтай упал со стены! Лорд Джордж Кемп сбежал! С неделю назад он объявил, что собирается в Лондон по делу, а два дня спустя против него было возбуждено дело о банкротстве. Оказалось, что его строительная деятельность была неудачной, его попытки превратить Блэкстебл в модный морской курорт не встретили поддержки, и ему пришлось добывать деньги всеми доступными способами. По городку ходили всевозможные слухи. Множество людей скромного достатка, доверивших ему свои сбережения, теперь потеряли все, что у них было. Подробности были довольно туманными, потому что ни мой дядя, ни тетя ничего не понимали в делах, а я тоже не разбирался в них достаточно, чтобы понять, о чем они рассказывали. Но дом Джорджа Кемпа был заложен, а его имущество должны были продать с молотка. Жена его осталась без гроша. Двое сыновей, один двадцати, другой двадцати одного года, были партнерами его углеторговой фирмы, но и ее коснулось общее разорение. Джордж Кемп скрылся со всеми наличными деньгами, какие только мог собрать, — примерно с полутора тысячами фунтов, как мне сказали, хотя я и не мог понять, откуда это стало известно; говорили также, что есть приказ о его аресте. Предполагали, что он уехал за границу: одни называли Канаду, другие — Австралию.

— Надеюсь, что его поймут, — сказал дядя. — Его надо бы отправить на пожизненную каторгу.

Все были возмущены. Прощения ему не было — потому что он всегда был таким шумным и жизнерадостным, потому что он подшучивал над ними, угощал их и устраивал для них приемы, потому что ездил в такой шикарной тележке и так лихо заламывал свою коричневую мягкую шляпу. Но самое ужасное рассказал моему дяде воскресным вечером после богослужения в ризнице церковный староста. Последние два года Лорд Джордж почти каждую неделю встречался в Хэвершеме с Розин Дриффилд, и они вместе проводили ночь в гостинице. Хозяин ее вложил деньги в одно из сумасшедших предприятий Лорда и разболтал все, обнаружив, что деньги пропали. Он бы еще смирился, если бы Лорд Джордж надул других, но тот надул и его, хоть и прибегал к его помощи и считал его своим приятелем, — это было уж слишком.

— Я думаю, они сбежали вместе, — сказал дядя.

— Я бы не удивился, — сказал староста.

После ужина, пока горничная убирала со стола, я зашел на кухню поболтать с Мэри-Энн. Она тоже была в церкви и слышала эту историю. Не думаю, чтобы прихожане с большим вниманием слушали проповедь моего дяди.

— Дядя говорит, они сбежали вместе, — сообщил я. О том, что было мне известно, я не проронил ни слова.

— Ну, конечно же! — ответила Мэри-Энн. — Он один только ей и нравился. Стоило ему только пальцем помянуть, и она бросила бы кого угодно.

Я опустил глаза. Меня мучила горькая обида; я был зол на Розу и считал, что она поступила со мной очень нехорошо.

— Мы уж, наверное, ее больше не увидим, — сказал я, почувствовав при этих словах внезапную боль в сердце.

— Да уж наверное, — весело ответила Мэри-Энн.

Когда я рассказал миссис Бартон Трафффорд ту часть всей этой истории, которую ей, по моему мнению, следовало знать, она вздохнула — но я не понял, с грустью или с удовлетворением.

— Ну что ж, во всяком случае, с Розы на этом покончено, — сказала она, встала и протянула мне руку. — И почему все эти литераторы так неудачно женятся? Очень, очень жаль. Большое спасибо за то, что вы сделали. Теперь мы знаем, как обстоит дело. Самое главное — чтобы это не помешало Эдуарду работать.

Ее замечания показались мне несколько бессвязными. Не сомневаюсь, что на меня она не обращала ни малейшего внимания. Мы вышли на улицу, и я посадил ее в автобус, шедший по Кингз-роуд, а потом пешком направился домой.

XXI

Я потерял связь с Дриффилдом. Разыскивать его я стеснялся; кроме того, я был занят экзаменами, а когда сдал их, уехал за границу. Смутно припоминаю, что как-то видел в газете сообщение о его разводе с Розой. Больше ничего о ней слышно не было. Ее мать время от времени получала небольшие суммы денег — по десять, двадцать фунтов. Они приходили в конвертах с нью-йоркским

штемпелем, но обратный адрес указан не был, никаких писем не было тоже, и считалось, что они приходят от Розы, только потому, что больше некому было посылать деньги миссис Гэйн. Потом мать Розы в преклонном возрасте умерла, и можно предположить, что известие об этом как-то дошло до Розы, потому что деньги приходят перестали.

XXII

Мы встретились с Элроем Киrom, как и договорились, в пятницу на вокзале Виктория незадолго до отправления поезда 5.10 на Блэкстебл. Мы с удобством расположились друг против друга в купе для курящих. Теперь я наконец узнал от него в общих чертах, что произошло с Дриффилдом после того, как сбежала его жена. Со временем Рой очень близко сошелся с миссис Бартон Траффорд. Зная его и помня ее, я понял, что это было неизбежно. Я не удивился, услышав, что он вместе с ней и с Бартоном путешествовал по континенту, целиком разделяя их страстное восхищение Вагнером, картинами постимпрессионистов и архитектурой барокко. Он аккуратно обедал у них в Челси, а когда преклонные годы и слабеющее здоровье не позволили миссис Траффорд покидать свою гостиную, он, несмотря на крайнюю занятость, регулярно раз в неделю приходил посидеть с ней. У Роя было доброе сердце. После ее смерти он написал о ней очень прочувствованную статью, в которой отдал должное ее чуткости и прозорливости.

Я с удовлетворением подумал, что за свою доброту он неожиданно оказался вознагражден по справедливости: миссис Бартон Траффорд много рассказала ему об Эдуарде Дриффилде, и это не могло не пригодиться ему в работе над книгой, которой он был сейчас занят. Когда после бегства жены Эдуард Дриффилд находился в таком состоянии, какое Рой мог описать только французским словом *desemparé*¹, — миссис Бартон Траффорд не только мягко настояла на том, чтобы он переехал к ним, но и убедила его прожить у них почти год. Она проявила к нему любовную заботливость, неисчерпаемую доброту и мудрую чуткость подруги, сочетающей женский такт с

¹ Покинутый (*фр.*).

мужской энергией и золотое сердце с безошибочной оценкой ситуации. Здесь, у нее, он окончил свой роман «По плодам их». Она с полным правом считала этот роман своей книгой, а то, что он был ей посвящен, показывает, что Дриффилд сознавал, насколько он ей обязан. Она возила Дриффилда в Италию (конечно, с Бартоном: миссис Траффорд слишком хорошо знала злокозненность человеческой природы, чтобы дать пищу для сплетен) и там с томиком Рескина в руке раскрывала перед ним бессмертную красоту этой страны. Потом она подыскала ему комнаты в Темпле и там, очень мило выступая в качестве хозяйки, устраивала небольшие обеды, на которые он мог приглашать людей, привлеченных его растущей известностью.

Нужно признать, что этой растущей известностью он был во многом обязан ей. Слава пришла к нему только в последние годы его жизни, когда он уже давно перестал писать, но основы ее были, несомненно, заложены неустанными усилиями миссис Траффорд. Она не только вдохновила (а может быть, отчасти и написала: у нее было бойкое перо) статью, которую Бартон в конце концов представил в «Куортерли» и в которой впервые говорилось, что Дриффилда следует поставить в один ряд с мастерами английской литературы, — она еще и организовывала хороший прием каждой выходящей его книге. Она везде бывала, встречалась с редакторами и, что еще важнее, с владельцами влиятельных изданий; она давала вечера, на которые приглашала каждого, кто мог оказаться полезным. Она заставляла Эдуарда Дриффилда читать отрывки из своих произведений на благотворительных собраниях в домах самых высокопоставленных персон; она следила за тем, чтобы его фотография появлялась в иллюстрированных еженедельниках; она лично просматривала каждое интервью, которое он давал. В течение десяти лет она была неутомимым литературным агентом. Она упорно держала его в центре внимания публики.

Миссис Бартон Траффорд наслаждалась вовсю. Но она оставалась верна себе. Приглашать его в гости одного, без нее, было бесполезно: он отказывался. А когда на какой-нибудь обед приглашали ее, Бартона и Дриффилда, они и приезжали вместе, и уезжали вместе. Она ни на минуту не спускала с него глаз. Хозяйки могли приходить в ярость, но им предоставлялось только мириться с этим. Как правило, они мирились. Если миссис Бартон Траффорд случалось быть немного не в духе, это проявлялось

только через него: сама она оставалась очаровательной, а Эдуард Дриффилд становился необычно резок. Но она прекрасно знала, как его расшевелить, и, когда общество было достаточно изысканным, умела заставить его блистать. С ним она вела себя безукоризненно. Она не скрывала от него своего убеждения, что он — величайший писатель современности; она не только за глаза неизменно называла его мастером, но и в глаза всегда так к нему обращалась, и это звучало, может быть, отчасти шутливо, но лестно. Некоторую игривость она сохранила до самого конца.

А потом произошло нечто ужасное. Дриффилд схватил воспаление легких и был серьезно болен; некоторое время его даже считали безнадежным. Миссис Бартон Трафффорд делала все, что могла сделать такая женщина, и с радостью ухаживала бы за ним сама, но ей было уже за шестьдесят и здоровье не позволяло — пришлось нанять профессиональных сиделок. Когда в конце концов он поправился, доктора рекомендовали ему пожить за городом и, поскольку он был все еще очень слаб, настояли на том, чтобы с ним поехала сиделка. Миссис Трафффорд хотела, чтобы он отправился в Борнмут, куда она могла бы каждую неделю приезжать к нему и присматривать, чтобы все было в порядке, но Дриффилду нравился Корнуолл, и доктора согласились, что мягкий климат Пензанса будет ему полезен. Можно было бы ожидать, что женщина, наделенная тонкой интуицией Изабел Трафффорд, почувствует приближающееся несчастье; но нет — она его отпустила. Она внушила сиделке, что возлагает на нее серьезную ответственность, что ее заботам поручается если не будущее английской литературы, то, по крайней мере, жизнь и благополучие самого выдающегося из ее живых представителей — сокровище, не имеющее цены.

Три недели спустя Эдуард Дриффилд сообщил ей в письме, что женился на своей сиделке.

Я думаю, еще никогда миссис Бартон Трафффорд не проявляла столь выдающимся образом величие своей души. Кричала ли она «Иуда! Иуда!»? Рвала ли на себе волосы, катаясь по полу и колотя ногами в истерике? Кидалась ли на кроткого ученого Бартона, называя его презренным старым идиотом? Поносила ли неверность мужчин и распущенность женщин или изливала свои оскорбленные чувства, выкрикивая во весь голос те непристойности, с которыми, как уверяют нас психиатры,

ко всеобщему удивлению, оказываются знакомы чистейшие из женщин? Нет, нет и нет. Она написала Дриффилду очаровательное поздравление, а его новоиспеченной супруге — письмо, где выражала свою радость при мысли, что у нее теперь будет два любимых друга, а не один. Она умоляла их обоих после возвращения в Лондон пожить у нее. Она рассказывала каждому встречному и поперечному, что эта женитьба сделала ее очень-очень счастливой, потому что Эдуард скоро уже будет стар, и нужно, чтобы кто-нибудь за ним ухаживал — а кто может делать это лучше больничной сиделки? Она ни разу не произнесла худого слова о новой миссис Дриффилд, а только хвалила ее. «Она не очень красива, — говорила миссис Бартон Траффорд, — но лицо у нее очень приятное. Конечно, она не то чтобы настоящая леди, но Эдуарду было бы только не по себе с какой-нибудь очень знатной дамой. Это как раз такая жена, какая ему нужна». По-моему, будет вполне справедливо сказать, что миссис Бартон Траффорд просто источала бальзам доброты и благоволения; и тем не менее мне сдается, что если когда-либо в бальзам доброты и благоволения была подмешана изрядная доза яда, то это как раз такой случай.

XXIII

Когда мы с Роем прибыли в Блэкстебл, его ждал автомобиль — ни нарочито великолепный, ни явно дешевый, а для меня у шофера была записка от миссис Дриффилд с приглашением к завтрашнему обеду. Я сел в такси и поехал в «Медведь и ключ». От Роя я узнал, что на набережной есть новый отель, но я не хотел променять прибежище моей молодости на роскошь цивилизации. Перемены начались еще на станции, которая оказалась не на своем прежнем месте, а дальше по новой дороге; и, конечно, ехать по Хай-стрит на автомобиле было немного странно. Но «Медведь и ключ» не изменился. Он встретил меня с тем же грубоватым равнодушием: у входа никого не было, шофер поставил мой чемодан и уехал: я позвонил, никто не ответил. Я вошел в бар и обнаружил там стриженую девушку, которая читала книгу м-ра Комптона Маккензи. Я спросил ее, нельзя ли мне здесь остановиться. Она бросила на меня слегка обиженный взгляд и сказала, что, наверное, можно, но так как этим

всякий ее интерес ко мне был, по-видимому, исчерпан, я вежливо спросил, не покажет ли кто-нибудь комнату. Она встала и, открыв дверь, пронзительно крикнула:

— Кэти!

— Чего? — услышал я.

— Тут одному нужна комната.

Через некоторое время показалась древняя и изможденная женщина в замызганном ситцевом платье, с неряшливой седой прической и провела меня на третий этаж, в очень маленькую грязную комнату.

— Нельзя ли найти что-нибудь получше? — спросил я.

— Коммерсанты всегда здесь останавливаются, — ответила она презрительно.

— А других у вас нет?

— Одиночных нет.

— Тогда дайте двухместную.

— Пойду спрошу у миссис Brentford.

Я спустился за ней на второй этаж. Она постучала, ей разрешили войти, и, когда дверь открылась, я увидел плотную женщину с тщательно завитыми седыми волосами. Она читала книгу. Очевидно, все население «Медведя и ключа» интересовалось литературой. Когда Кэти сказала, что номер седьмой меня не устраивает, она равнодушно взглянула на меня.

— Покажи ему номер пятый, — сказала она.

Я начал чувствовать, что несколько поторопился, так высокомерно отклонив приглашение миссис Дриффилд пожить у нее, а потом в приливе сентиментальности отвергнув мудрый совет Роя остановиться в отеле. Кэти снова повела меня наверх и показала мне довольно большую комнату, выходящую на Хай-стрит. Немалую часть ее занимала двуспальная кровать. Окна за последний месяц наверняка ни разу не открывались.

Я сказал, что это подойдет, и спросил, как насчет обеда.

— Можете заказать, что хотите, — сказала Кэти. — У нас здесь ничего нет, но я сбегаю и принесу.

Зная английские харчевни, я заказал жареную рыбу и отбивную. Потом я пошел прогуляться. Дойдя до пляжа, я обнаружил, что там построили эспланаду, а в том месте, где на моей памяти были только продуваемые ветром поля, стоял ряд бунгало и вилл. Но они выглядели грязными и запущенными, и я подумал, что даже столько лет спустя мечта Лорда Джорджа о превращении Блэкстебла в популярный морской курорт не сбылась. По потрескав-

шесю асфальту шли какой-то отставной военный и две пожилые дамы. Было невероятно уныло. Резкий ветер нес с моря моросающий мелкий дождь.

Я вернулся в город. Там, между «Медведем и ключом» и «Герцогом Кентским», несмотря на холодную погоду, кучками стояли люди. Глаза у них были такие же бледно-голубые, а выступающие скулы — такие же багровые, как у их отцов. Странно было видеть, что некоторые моряки в синих фуфайках все еще носят в ухе маленькую золотую серьгу, и не только старики, но и парни, которым едва минуло двадцать. Я побрел по улице. Банк отремонтировали, но писчебумажный магазин, где я когда-то покупал бумагу и воск, чтобы снимать оттиски вместе со случайно мною встреченным никому не известным писателем, не изменился. Рядом появилось два или три кинематографа, и их кричащие афиши неожиданно придали чинной улице разгульный вид, сделав ее похожей на respectableную пожилую даму, хлебнувшую лишнего.

В столовой, где я в одиночестве съел свой обед за обширным столом, накрытым на шестерых, было холодно и безрадостно. Прислуживала грязнуха Кэти. Я спросил, нельзя ли зажечь камин.

— В июне? Нет,— ответила она.— Мы кончаем топить в апреле.

— Я заплачу,— возразил я.

— В июне? Нет. В октябре — пожалуйста, а в июне — нет.

Кончив обедать, я пошел в бар выпить стакан портвейна.

— Очень тихо здесь,— сказал я стриженной буфетнице.

— Да, очень тихо,— ответила она.

— Я думал, в пятницу вечером у вас могло бы быть много народу.

— Да, могло бы быть, верно.

Из задней комнаты вышел плотный, краснощекий человек с короткими седыми волосами, и я догадался, что это хозяин.

— Не вы ли будете мистер Brentford? — спросил я.

— Да, я.

— Я знавал вашего отца. Не хотите ли стаканчик портвейна?

Я сказал ему свое имя, которое в дни его детства было в Блэкстебле известно лучше любого другого, но, к некоторому моему смущению, увидел, что оно ничего ему не

говорит. Правда, он согласился принять предложенный мною стакан портвейна.

— По делу сюда? — спросил он. — Тут у нас частенько бывают деловые люди. Мы всегда стараемся сделать для них, что можем.

Я сказал ему, что приехал повидаться с миссис Дриффилд, и предоставил ему гадать зачем.

— Я старика часто видел, — сказал мистер Brentford. — Он очень любил заглянуть сюда и выпить свой стаканчик пива. Заметьте, я не говорю, что он когда-нибудь напивался, — просто любил посидеть в баре и поговорить. Можете мне поверить, он был готов разговаривать часами, все равно с кем. Миссис Дриффилд очень не нравилось, что он сюда ходит. Он никому дома не говорил, куда идет, просто уходил и ковылял сюда. Это, знаете, не маленькая прогулка для человека в таком возрасте. Конечно, когда там спохватывались, миссис Дриффилд знала, куда он пошел, и звонила сюда, не здесь ли он. Потом она приезжала на автомобиле и шла к моей жене. «Приведите его, миссис Brentford, — говорила она, — я не хочу сама показываться в баре, там столько этих мужчин». Миссис Brentford приходила и говорила: «Ну-ка, мистер Дриффилд, за вами приехала миссис Дриффилд на машине, так что вы лучше допивайте свое пиво и поезжайте с ней домой». Он просил миссис Brentford не говорить, что он здесь, когда миссис Дриффилд звонит, но мы, конечно, не могли так делать. Все-таки он был старик, и все такое, и мы не хотели брать на себя ответственность. Он, знаете, родился в этом приходе, и его первая жена была из Блэкстебла. Она уж много лет как умерла. Я никогда ее не знал. Чудной он был старикан. Я не хочу ничего сказать — говорят, в Лондоне его превозносили до небес, и, когда он умер, газеты только о нем и писали; но по его разговорам вы бы никогда об этом не догадались. Как будто он просто никто, ну как мы с вами. Конечно, мы всегда старались, чтобы ему было хорошо; усаживали его вон туда, в кресла, но нет, он хотел сидеть у стойки: говорил, что ему нравится чувствовать под ногами перекладину. По-моему, здесь ему было лучше, чем где-нибудь еще. Он всегда говорил, что любит сидеть в барах. Он говорил, что в них можно видеть настоящую жизнь, а жизнь он всегда любил, говорил он. Чудной был человек. Напоминал мне моего отца — только папаша за всю жизнь ни одной книги не прочел, и вы-

пивал в день по бутылке французского коньяка, и умер в семьдесят восемь лет, а до того ни разу не болел. Очень жалко было старого Дриффилда, когда он помер. Я только вчера говорю миссис Brentford — надо бы как-нибудь прочесть какую-нибудь его книгу. Говорят, он о здешних местах несколько книг написал.

XXIV

Следующее утро было холодное и ветреное, но дождя не было, и я направился по Хай-стрит к дому священника. Я узнавал имена на вывесках — кентские имена, переходившие из поколения в поколение веками, все эти Гэнны, Кемпы, Коббзы, Иггалдены, — но ни одного знакомого человека не встретил. Шагая по этой улице, где я когда-то был знаком почти с каждым — а если с кем и не был, то уж в лицо знал всех, — я почувствовал себя каким-то призракoм. Вдруг мимо меня проехал очень старый маленький автомобиль, затормозил, дал задний ход, и я увидел, что кто-то с любопытством на меня смотрит. Из машины вышел высокий, толстый пожилой человек и направился ко мне.

— Вы не Уилли Эшенден? — спросил он.

И тут я вспомнил его. Это был сын доктора, я с ним учился в школе. Мы вместе переходили из класса в класс, и я слышал, что он унаследовал у отца его практику.

— Ну, как дела? — спросил он. — Я только что был в доме священника, навещал своего внука. Там теперь начальная школа, я его отдал туда в этом году.

Он выглядел потрепанным и неухоженным, но у него было прекрасное лицо, и я видел, что в молодости он, наверное, отличался необыкновенной красотой. Странно, что я этого никогда не замечал.

— Ты уже дедушка? — спросил я.

— Уже трижды, — засмеялся он.

Мне стало не по себе. Он родился, научился ходить, потом стал взрослым, женился, имел детей, и они, в свою очередь, имели детей; судя по его виду, он жил в непрестанной работе, в нужде. У него была особая манера поведения, свойственная сельским врачам, — грубоватая, добродушная и покровительственная. Он свою жизнь уже прожил. Я обдумывал планы новых книг и пьес, был полон надежд на будущее и чувствовал, что впереди у меня

еще много трудов и радостей, — и все равно другим я, наверное, казался таким же пожилым человеком, каким он показался мне. Я был так потрясен, что у меня не хватило духу спросить о его братьях, с которыми я играл мальчишкой, или о своих старых друзьях, и после нескольких глупых замечаний с ним распрощался. Потом я пошел дальше к дому священника — просторному, широко раскинувшемуся, слишком уединенно расположенному для его нынешнего хозяина, который относился к своим обязанностям серьезнее, чем мой дядя, и слишком большому по нынешней стоимости жизни. Дом стоял в большом саду среди зеленых полей. Большая квадратная вывеска у входа гласила, что здесь помещается начальная школа для сыновей джентльменов, и на ней стояли имя и ученые степени директора. Я заглянул через изгородь; сад был запущен и грязен, а пруд, где я когда-то ловил плотву, весь зарос. Церковная земля была поделена на участки для застройки, на ней появились шеренги маленьких кирпичных домиков и неровные, плохо замощенные дороги. Я пошел до Джой-лейн, и там тоже стояли дома — бунгало, обращенные к морю; а в старой сторожке у заставы помещалась нарядная кондитерская.

Я побродил вокруг. Бесчисленные улицы были застроены маленькими домиками из желтого кирпича, но кто там жил, я не знаю, потому что никого не было видно. Я спустился в гавань. Она была пуста. Неподалеку от пирса стоял только один грузовой пароход. У пакгауза сидели два-три моряка, и, когда я проходил мимо, они уставились на меня. Торговля углем пришла в упадок, и угольщики больше не заходили в Блэкстебл.

Мне было уже пора отправляться в Ферн-Корт, и я вернулся в гостиницу. Хозяин говорил мне, что отдает напрокат «Даймлер», и мы тогда же условились, что я поеду на нем. Теперь, когда я подошел, машина стояла у дверей. Это был двухместный лимузин, но такой старый и разбитый, что я еще никогда не видел ничего подобного. По дороге он пыхтел, кашлял, дребезжал и задыхался, время от времени сердито дергаясь, и я сильно сомневался, что доеду до цели. Но что удивительнее всего — в нем стоял точно такой же запах, как и в старом ландо, которое нанимал каждое воскресное утро мой дядя, чтобы ехать в церковь. Это был кислый запах конюшни и гнилой соломы, лежавшей на дне экипажа; я никак не мог понять, откуда спустя столько лет этот запах мог появиться-

ся в автомобиле. Но ничто так не пробуждает воспоминания, как запах, и, забыв обо всем вокруг, я снова почувствовал себя маленьким мальчиком, сидящим на переднем сиденье рядом с блюдом для причастия, напротив тети, слегка пахнувшей чистым бельем и одеколоном, в черном шелковом плаще и маленьком капоре с пером, и дяди в сутане, с широкой шелковой лентой вокруг обширной талии и с золотым крестом на золотой цепи, болтавшимся у него на животе.

— Не забудь, Уилли, ты должен вести себя хорошо. Не вертись и сиди как следует. В доме господнем не подобает разваливаться на скамье. Тебе следует помнить, что нужно подавать пример другим мальчикам, которые не получили такого воспитания.

Когда я приехал в Ферн-Корт, миссис Дриффилд и Рой гуляли в саду и, как только я вышел из машины, подошли ко мне.

— Я показывала Рою свои цветы,— сказала миссис Дриффилд, подавая мне руку, а потом добавила со вздохом: — Это единственное, что у меня теперь осталось.

Она выглядела не старше, чем в последний раз, когда я ее видел, лет шесть назад. Свой траур она носила со спокойным достоинством. На шее у нее был белый шелковый воротничок, а на запястьях — такие же манжеты. Я заметил, что Рой надел к своему аккуратному синему костюму черный галстук — вероятно, в знак уважения к знаменитому покойнику.

— Я только покажу вам свои цветочные бордюры,— сказала миссис Дриффилд,— а потом мы пойдем обедать.

Пока мы ходили по саду, Рой демонстрировал свои познания. Он с первого взгляда узнавал любой цветок, и латинские названия слетали у него с языка, как сигареты вылетают из заветочной машины. Он высказывал свое восхищение одними сортами и сообщал миссис Дриффилд, где она может достать другие, которые обязательно должна у себя завести.

— Пройдем через кабинет Эдуарда? — предложила миссис Дриффилд. — Я сохраняю его в точности таким, как при его жизни. Я ничего не меняла. Просто удивительно, сколько людей приезжает сюда посмотреть дом, и, конечно, все хотят видеть комнату, где он работал.

Мы вошли через открытую стеклянную дверь. На письменном столе красовалась ваза с розами, а на маленьком круглом столике у кресла — комплект «Спектэйтора».

Трубки хозяина лежали в пепельницах, а чернильница была полна чернил. Вся обстановка была воспроизведена безукоризненно. Не знаю, почему комната казалась какой-то мертвой — в ней уже стояла музейная затхлость. Миссис Дриффилд подошла к книжным полкам и с полшутливой, полугрустной улыбкой быстро провела рукой по темно-синим корешкам нескольких томиков.

— Вы знаете, как высоко ценил Эдуард ваше творчество, — сказала миссис Дриффилд. — Он часто перечитывал ваши книги.

— Очень приятно об этом слышать, — ответил я вежливо.

Я прекрасно знал, что в последний мой приезд их тут не было, и, небрежно взяв одну из них, провел пальцами по верхнему обрезу, чтобы посмотреть, есть ли на нем пыль. Пыли не было. Потом я взял еще одну книгу — Шарлотту Бронте — и, продолжая разговор, проделал тот же эксперимент. Нет, пыли не было и здесь. Мне удалось узнать только то, что миссис Дриффилд — прекрасная хозяйка и что у нее добросовестная горничная.

Мы пошли обедать — эта была добрая английская трапеза, ростбиф и йоркширский пудинг, — и за столом говорили о работе, которой был занят Рой.

— Я хочу избавить дорогого Роя от лишнего труда, — сказала миссис Дриффилд, — и сама собираю весь материал, какой могу. Конечно, это не очень радостно, но зато интересно. Я разыскала множество старых фотографий, которые должна вам показать.

После обеда мы перешли в гостиную, и я опять обратил внимание на то, с каким удивительным тактом миссис Дриффилд ее обставила. Для вдовы видного писателя эта комната подходила чуть ли не лучше, чем для его жены. Дорогие ситцы, вазы с ароматными сухими лепестками, фигурки из дрезденского фарфора — все создавало какую-то неуловимую атмосферу печали; казалось, эти вещи погружены в раздумья о великом прошлом. День был холодный, и я с удовольствием погрелся бы у камина, но англичане не только привержены к традициям, но и выносливы, а придерживаться своих принципов за счет чужих удобств не так уж трудно. Вряд ли миссис Дриффилд могло бы прийти в голову растопить камин раньше первого октября.

Она спросила меня, видел ли я в последнее время ту даму, которая привела меня к Дриффилдам на обед, и по

едва заметной резкости в ее тоне я сделал вывод, что после смерти ее знаменитого мужа высшее общество проявило явное нежелание иметь с ней дело.

Мы приступили к беседе о покойном; Рой и миссис Дриффилд искусно задавали вопросы, чтобы побудить меня выложить все, что я помню, а я держался настороже, чтобы по неосторожности не сболтнуть что-нибудь такое, что решил держать при себе, — как вдруг аккуратная горничная принесла на небольшом подносе две визитных карточки.

— Два джентльмена на машине, мэм, спрашивают, нельзя ли им посмотреть дом и сад.

— Какая тоска! — воскликнула миссис Дриффилд, но в голосе ее прозвучала необыкновенная готовность. — Забавно, правда? Я ведь только что говорила вам о людях, которые хотят посмотреть дом. У меня нет ни минуты покоя.

— Так почему бы не сказать, что вы просите прощения, но не можете их принять? — спросил Рой, как мне показалось, не без ехидства.

— О, это невозможно. Эдуард этого бы не одобрил. Она взглянула на карточки.

— У меня нет при себе очков.

Она протянула карточки мне. На одной я прочел: «Генри Бэрд Мак-Дугал, Университет штата Виргиния», и карандашом было приписано: «Преподаватель кафедры английской литературы». На другой стояло: «Жан-Поль Андерхилл», и внизу нью-йоркский адрес.

— Американцы, — сказала миссис Дриффилд. — Скажите, что я буду очень рада, если они зайдут.

Вскоре горничная ввела незнакомцев. Это были высокие широкоплечие молодые люди с тяжелыми, бритыми, смуглыми лицами и приятными глазами; оба носили роговые очки и зачесывали назад густые черные волосы. На обоих были английские костюмы — явно с иголки; оба несколько стеснялись, но оказались разговорчивыми и крайне вежливыми. Они объяснили, что совершают литературную поездку по Англии и, будучи почитателями Эдуарда Дриффилда, взяли на себя смелость по пути в Рай, где собирались посетить дом Генри Джеймса, остановиться здесь в надежде, что им будет позволено увидеть место, с которым связано так много ассоциаций. Это упоминание о Рае не очень понравилось миссис Дриффилд.

— Кажется, там очень хорошие площадки для гольфа, — сказала она.

Она познакомила американцев с Роем и со мной. Рой меня просто восхитил: он проявил себя с самой лучшей стороны. Оказалось, что он читал лекции в Университете штата Виргиния и жил у одного видного тамошнего ученого, о чем навсегда сохранит приятнейшие воспоминания. Он не знает, что произвело на него большее впечатление: щедрое гостеприимство, которое оказали ему эти очаровательные виргинцы, или же их глубокий интерес к искусству и литературе. Он спросил, как поживают такой-то и такой-то; он завел там несколько друзей на всю жизнь и встречался, похоже, только с хорошими, умными и добрыми людьми. Вскоре молодой преподаватель уже рассказывал, как ему нравятся книги Роя, а Рой скромно объяснял ему, какие цели ставил перед собой в той или другой из них и как хорошо видит, насколько далек оказался от их осуществления. Миссис Дриффилд слушала, сочувственно улыбаясь, но мне показалось, что ее улыбка стала чуточку натянутой. Может быть, так показалось и Рою, потому что он внезапно прервал свою речь.

— Но я не хочу надоедать вам со своей писаниной, — сказал он, как всегда, громко и добродушно. — Я здесь только потому, что миссис Дриффилд доверила мне великую честь создания биографии Эдуарда Дриффилда.

Это, разумеется, очень заинтересовало гостей.

— Поверьте, это прорва работы, — сказал Рой, шутиливо ввернув чисто американское словцо. — К счастью, мне помогает миссис Дриффилд, которая была не только идеальной женой, но и великолепным личным секретарем; материалы, которые она предоставила в мое распоряжение, так удивительно полны, что мне на самом деле почти ничего не остается, кроме как воспользоваться ее трудолюбием и ее... ее искренним рвением.

Миссис Дриффилд скромно потупилась, а оба молодых американца обратили к ней свои большие темные глаза, в которых можно было прочесть сочувствие, интерес и уважение. Поговорив еще немного — отчасти о литературе, а отчасти все-таки о гольфе (гости признались, что в Рае надеются разок-другой сыграть, и тут Рой снова оказался на высоте, посоветовал им не зевать на такой-то и такой-то лунке и выразил надежду, что, вернувшись в Лондон, они сыграют с ним в Санингдейле), — миссис Дриффилд встала и предложила показать им кабинет и спальню Эдуарда и, конечно, сад. Рой поднялся, оче-

видно, собираясь сопровождать их, но миссис Дриффилд слегка улыбнулась ему — ласково, но решительно.

— Не трудитесь, Рой, — сказала она. — Я проведу их. А вы останьтесь и поговорите с мистером Эшенденом.

— О, хорошо. Конечно.

Гости попрощались с нами, и мы с Роем опять уселись в ситцевые кресла.

— Приятная комната, — сказал Рой.

— Очень.

— Эми это нелегко досталось. Вы знаете, старик купил этот дом за два-три года до того, как они поженились. Она пыталась уговорить его продать дом, но он не хотел. Он иногда бывал очень упрям. Видите ли, дом когда-то принадлежал некоей мисс Вулф, у которой его отец служил управляющим, и он говорил, что еще мальчишкой только и мечтал сам владеть этим домом, и теперь, когда его приобрел, с ним не расстанется. Можно было бы ожидать, что ему меньше всего захочется жить в таком месте, где все знали о его скромном происхождении и обо всем прочем. Как-то бедняжка Эми чуть было не наняла одну горничную, и вдруг оказалось, что это внучатая племянница Эдуарда. Когда Эми сюда приехала, дом был от подвала до чердака обставлен в наилучших традициях Тоттенхэм-Корт-руд: вы себе представляете — турецкие ковры, шкафы красного дерева, плюшевый гарнитур в гостиной и современные инкрустации. Он был убежден, что дом джентльмена должен выглядеть именно так. Эми говорит, что это было просто ужасно. Он не давал ей ничего менять, и ей пришлось браться за дело с чрезвычайной осторожностью; она говорит, что просто не могла бы жить в таком доме и твердо решила привести его в приличный вид, но заменять вещи ей пришлось по одной, чтобы Дриффилд ничего не заметил. Она говорила, что труднее всего было с его письменным столом. Не знаю, обратили ли вы внимание на тот, который сейчас стоит у него в кабинете. Очень хороший старинный стол, я бы сам от такого не отказался. Так вот, прежде у него было ужасное американское бюро с задвижной крышкой. Он пользовался им уже много лет, написал за ним десяток книг и слышать не хотел о том, чтобы с ним расстаться. В мебели он ничего не понимал, а к бюро был привязан просто потому, что оно у него так долго стояло. Обязательно попросите Эми рассказать, как она в конце концов от этого бюро избавилась. Великолепная

история. Знаете, это удивительная женщина — она почти всегда добивается своего.

— Я уже заметил, — сказал я. Она очень быстро отделилась от Роя, когда тот проявил желание сопроводить гостей по дому. Рой взглянул на меня и рассмеялся. Он всегда был неглуп.

— Вы не знаете американцев так, как я, — сказал он. — Они всегда предпочитают живую мышь мертвому льву. Это одна из причин, почему я люблю Америку.

XXV

Когда миссис Дриффилд, спровадив пилигримов, вернулась, у нее под мышкой был портфель.

— Какие милые молодые люди! — сказала она. — Вот бы английской молодежи так интересоваться литературой. Я подарила им тот снимок Эдуарда, где он в гробу, а они попросили мою фотографию, и я им ее надела.

Потом она очень любезно заметила:

— Вы, Рой, произвели на них большое впечатление. Они сказали, что были очень рады познакомиться с вами.

— Я прочел в Америке много лекций, — скромно сказал Рой.

— Да, но они знают ваши книги. Они говорят, больше всего им нравится то, что ваши книги такие мужественные.

В портфеле хранилось множество старых фотографий: группы школьников, среди которых я узнал в растрепанном мальчишке Дриффилда только после того, как на него указала вдова; команды регбистов, где Дриффилд был уже немного постарше, и одна фотография молодого матроса в фуфайке и бушлате — это был Дриффилд, когда он убежал из дома.

— Вот это он снимался, когда в первый раз женился, — сказала миссис Дриффилд.

Его украшали борода и брюки в белую и черную клетку; в петлице у него была большая белая роза на фоне листьев папоротника, а рядом на столе лежал цилиндр.

— А вот и новобрачная, — сказала миссис Дриффилд, стараясь сдержать улыбку.

Бедняжка Розы, запечатленная деревенским фотографом больше сорока лет назад, выглядела нелепо. Она стояла в неловкой позе на фоне какого-то замка, держа

в руках большой букет; складки на ее платье с перехватом в талии были тщательно расправлены, а сзади был турнюр. Челка спускалась до самых глаз. На голове у нее поверх высокой прически был приколот венок из флердоранжа, от него спускалась назад длинная фата. Только я знал, как она, наверное, была прелестна.

— На вид она страшно вульгарна, — сказал Рой.

— Такой она и была, — подтвердила миссис Дриффилд.

Мы увидели еще много портретов Эдуарда: фотографии, снятые, когда он начал пользоваться известностью, снимки с усами и более поздние, без усов и бороды. Его лицо понемногу худело, на нем появлялись морщины. Упрямая банальность ранних портретов постепенно переходила в усталую утонченность. Было видно, как изменяют его жизненный опыт, раздумья и успех. Я снова взглянул на фотографию молодого матроса, и мне показалось, что я уже вижу в ней намек на ту отчужденность, которая так бросилась мне в глаза на более поздних фотографиях и которую я смутно ощутил в нем самом много лет назад. Его лицо было просто маской, а поступки не имели никакого значения. Мне подумалось, что подлинная его душа, до самой смерти не распознанная и одинокая, безмолвной тенью сопровождала видимые всем фигуры — автора, написавшего его книги, и человека, прожившего его жизнь, — посмеиваясь с ироническим безразличием над этими двумя марионетками, которые мир принимал за Эдуарда Дриффилда. Я понимаю, что мне не удалось показать его живым человеком из плоти и крови, цельным, с понятными побуждениями и логически оправданными действиями; да я и не пытался — с радостью предоставляю это более ловкому перу Элроя Кира.

Мне попались фотографии Розы, снятые тем актером — Гарри Ретфордом, а потом снимок с ее портрета, который написал Лайонел Хильер. У меня сжалось сердце. Вот такой я ее помнил лучше всего. Несмотря на старомодное платье, она казалась живой, трепетала от наполнявшей ее страсти и как будто была готова уступить любовному натиску.

— Похоже, что она была девица в теле, — заметил Рой.

— Да, если такие молочницы в вашем вкусе, — ответила миссис Дриффилд. — Мне она всегда напоминала белую негритянку.

Именно так ее любила называть миссис Бартон Траффорд — толстые губы и широкий нос Розы, к сожалению,

придавали этой характеристике некоторое правдоподобие. Но они не знали, какие серебристо-золотые были у нее волосы и какая золотисто-серебряная кожа; они не знали и ее чарующей улыбки.

— Ничуть она не была похожа на белую негритянку, — возразил я. — Она была непорочна, как заря. Она была похожа на Гебу. Она была как чайная роза.

Миссис Дриффилд улыбнулась и многозначительно переглянулась с Роем.

— Миссис Бартон Трафффорд мне много о ней рассказывала. Я не хочу злословить, но боюсь, что мне она представляется не такой уж хорошей женщиной.

— Вот тут вы и ошибаетесь, — ответил я. — Она была очень хорошей женщиной. Я никогда не видел ее в плохом настроении. Достаточно было сказать ей, что вы чего-то хотите, как она готова была вам это отдать. Я никогда не слышал, чтобы она о ком-нибудь плохо отозвалась. У нее было золотое сердце.

— Она была ужасная неряха: дома всегда беспорядок, стулья такие пыльные, что страшно садиться, а в углы лучше не заглядывать. И сама она была такая же. Никогда не могла аккуратно надеть платье, вечно сбоку на два дюйма выглядывала нижняя юбка.

— Она не придавала таким вещам большого значения. Они не делали ее менее красивой. И она была столь же добра, как и красива.

Рой расхохотался, а миссис Дриффилд поднесла руку ко рту, чтобы скрыть улыбку.

— О, мистер Эшенден, вы уж слишком. В конце концов, будем называть вещи своими именами — ведь она была нимфоманкой.

— По-моему, это очень глупое слово, — сказал я.

— Ну хорошо, скажем иначе — вряд ли она была такая уж хорошая женщина, если могла так поступать с бедным Эдуардом. Конечно, все вышло к лучшему: если бы она не сбежала от него, ему пришлось бы нести крест до конца своих дней, и с этим бременем он никогда не достиг бы такого положения. Но факт остается фактом: она изменяла ему на каждом шагу. Я слышала, что это было совершенно распутное создание.

— Вы не понимаете, — сказал я. — Она была очень простая женщина. У нее были здоровые и непосредственные инстинкты. Она любила делать людей счастливыми. Она любила любовь.

— Вы называете это любовью?

— Ну хорошо, акт любви. Она была страстной по натуре. Если ей кто-то нравился, для нее было вполне естественно спать с ним. Она об этом даже не задумывалась. Это был не порок и не распущенность — это была ее природа. Она отдавалась так же естественно, как солнце излучает тепло, а цветы — аромат. Это не сказывалось на ее характере: она оставалась искренней, неиспорченной и бесхитростной.

У миссис Дриффилд был такой вид, будто она проглотила ложку касторки и теперь, пытаясь избавиться от ее вкуса, сосет лимон.

— Я этого не понимаю, — сказала она. — Но должна признаться, я никогда не понимала, что Эдуард в ней находил.

— А он знал, что она путается с кем попало? — спросил Рой.

— Уверена, что не знал, — быстро ответила она.

— Вы считаете его бóльшим дураком, чем я, миссис Дриффилд, — сказал я.

— Тогда почему он с этим мирился?

— Думаю, что это я могу объяснить. Видите ли, она была не из таких женщин, которые внушают к себе любовь. Только привязанность. Ее было глупо ревновать. Она была как чистый глубокий родник на лесной поляне — в него божественно приятно окунуться, но он не становится менее прохладным и прозрачным от того, что до вас в нем купались и бродяга, и цыган, и лесник.

Рой снова засмеялся, и на этот раз миссис Дриффилд не скрывала натянутой улыбки.

— Вы очень комичны в таком лирическом настроении, — сказал Рой.

Я подавил вздох. Я заметил, что люди обычно смеются надо мной как раз тогда, когда я серьезнее всего, и в самом деле, перечитывая через некоторое время отрывки, написанные мной от всего сердца, я сам испытываю побуждение смеяться над собой. Наверное, в откровенном чувстве есть что-то нелепое, хотя я не могу себе представить, почему это так, если только сам человек, эфемерный обитатель крохотной планетки, со всеми его горестями и стремлениями, не есть всего лишь шутка вечного разума.

Я видел, что миссис Дриффилд хочет меня о чем-то спросить, и это повергает ее в некоторое замешательство.

— А как вы думаете, принял бы он ее, если бы она захотела вернуться?

— Вы знали его лучше, чем я. По-моему, нет. Я думаю, что, испытав какое-то чувство, он терял интерес к человеку, это чувство вызвавшему. Я бы сказал, что бурные порывы эмоций странно сочетались у него с крайней бессердечностью.

— Не понимаю, как вы можете так говорить, — вскричал Рой. — Это был добрейший человек из всех, кого я знал!

Миссис Дриффилд посмотрела мне в глаза и потупила взгляд.

— А интересно, что случилось с ней после того, как она уехала в Америку, — сказал Рой.

— По-моему, она вышла замуж за Кемпа, — сказала миссис Дриффилд. — Я слышала, что они жили под другой фамилией. Конечно, здесь они больше не показывались.

— Когда она умерла?

— О, лет десять назад.

— Откуда вы знаете? — спросил я.

— От Гарольда Кемпа, его сына; у него какое-то дело в Мейдстоне. Эдуарду я ничего не говорила. Для него она умерла уже много лет назад, и я не видела никакого смысла напоминать ему о прошлом. Всегда полезно поставить себя на место другого, и я сказала себе, что, будь я на его месте, я не хотела бы, чтобы мне напоминали о печальном эпизоде моей юности. Ведь я была права?

XXVI

Миссис Дриффилд очень любезно предложила отправить меня назад в Блэкстебл на ее машине, но я предпочел идти пешком. Я обещал на следующий день пообедать в Ферн-Корте, а до тех пор набросать все, что смогу припомнить о тех двух периодах, когда часто виделся с Эдуардом Дриффилдом. Шагая по безлюдной извилистой дороге, я размышлял, что же мне написать. Разве не считается, что стиль — это искусство умолчания? Если это так, то я наверняка напишу прелестную вещь — просто жаль, что Рой использует ее лишь как сырой материал. Я усмехнулся при мысли, как мог бы их опарашить, если бы захотел. Я знал, что есть один человек, который мог бы рассказать все, что им было нужно, про Эдуарда Дриффилда и его первую женитьбу, — но я твердо решил ничего им об этом не говорить. Они думали, что Розы нет в живых. Но они ошибались: Розы была жива — живет некуда.

Как-то я поехал в Нью-Йорк, где ставили одну мою пьесу. Мой приезд был широко разрекламирован усилиями энергичного пресс-секретаря моего импресарио. Однажды я получил письмо. Адрес был написан знакомым почерком, но я не мог припомнить, кому он принадлежит. Крупные и округленные буквы, рука твердая, но непривычная много писать — я прекрасно знал этот почерк и очень досадовал, что не могу вспомнить, чей он. Разумнее всего было бы сразу распечатать письмо, но вместо этого я глядел на конверт и мучительно копался в памяти. Бывают почерки, которые я не могу видеть без тревожного содрогания, а некоторые письма выглядят такими нудными, что я по целым неделям не могу заставить себя их распечатать. Когда я наконец разорвал конверт, — то, что я прочел, вызвало у меня какое-то странное чувство. Письмо начиналось без всякого вступления:

«Я только что узнала, что вы в Нью-Йорке, и хотела бы с вами повидаться. Я теперь живу не в Нью-Йорке, но Йонкерс не так уж далеко, и на машине сюда вполне можно добраться за полчаса. Наверное, вы очень заняты, поэтому можете сами назначить время. С тех пор, как мы виделись в последний раз, прошло много лет, но я надеюсь, что вы не забыли свою старую знакомую

Роз Иггалден (бывшую Дриффилд)».

Я взглянул на адрес. Там стояло «Албемарль» — очевидно, отель или доходный дом, потом была указана улица и город — Йонкерс. Озноб пробежал у меня по спине, как будто кто-то прошел над моей будущей могилой. За все эти годы я иногда думал о Розе, но в последнее время уверил себя, что она наверняка умерла. Некоторое время я размышлял над ее фамилией. Почему Иггалден, а не Кемп? Потом мне пришло в голову, что они взяли эту фамилию — тоже кентскую — когда бежали из Англии. Моим первым побуждением было изобрести какой-нибудь предлог и не встречаться с ней: я всегда стесняюсь встречаться с людьми, которых долгое время не видел. Но потом меня разобрало любопытство. Мне захотелось узнать, какая она сейчас, и услышать, как она жила. В конце недели я собирался в Доббз-Ферри и должен был проехать через Йонкерс, так что я написал в ответ, что зайду часа в четыре в субботу.

«Албемарль» оказался огромным доходным домом, сравнительно новым и, судя по его виду, населенным

состоятельными людьми. Негр-привратник доложил обо мне по телефону, другой повез меня на лифте наверх. Я необыкновенно нервничал. Дверь мне открыла негр-тянка-горничная.

— Пройдите, — сказала она. — Миссис Иггалден ждет вас.

Меня провели в гостиную, которая служила и столовой: в одном углу стоял квадратный дубовый стол, покрытый обильной резьбой, буфет и четыре стула того стиля, который мебельные фабриканты из Грэнд-Рэпидз наверняка называли эпохой Якова I. Зато в другом углу красовался гарнитур в стиле Людовика XV, с позолотой и светло-голубой камчатной обивкой; там было множество маленьких столиков с богатой резьбой и позолотой, на них стояли севрские вазы с украшениями из золоченой бронзы и полуобнаженные бронзовые женщины в одеждах, развевающихся, как на сильном ветру, и искусно прикрывающих те части тела, которые не принято показывать; каждая из них держала в кокетливо простертой руке электрическую лампочку. Граммофон был великолепен — такие я видел только в витринах: весь позолоченный, в виде портшеза, разрисованный кавалерами и дамами на манер Ватто.

Я подождал минут пять, дверь отворилась, и быстро вошла Роза. Она протянула мне обе руки.

— Вот это сюрприз, — сказала она. — Ужас, сколько лет мы не виделись. Извините меня. — Она пошла к двери и крикнула: — Джесси, можешь принести чай. Смотри, чтобы вода как следует кипела.

Потом снова обратилась ко мне:

— Вы не представляете, сколько я мучилась с этой девицей, пока не научила ее как следует заваривать чай.

Роза было по меньшей мере семьдесят. На ней было очень шикарное, очень короткое зеленое шелковое платье без рукавов, обильно украшенное бриллиантами, с квадратным вырезом; оно обтягивало ее туго-натуго. Судя по ее фигуре, она носила резиновый корсет. У нее были кроваво-красные ногти и выщипанные брови. Она расплелась, подбородок у нее стал двойной; кожа на груди, несмотря на обильный слой пудры, была красноватая, как и лицо. Но она выглядела здоровой, крепкой и полной энергии. Ее волосы, такие же пышные, как и раньше, но совершенно седые, были коротко острижены и завиты. В молодости они у нее ложились мягкими, естественными волнами, и эти жесткие завитки, как будто только что из

парикмахерской, больше всего изменили ее внешность. Единственное, что осталось прежним, — улыбка: в ней сохранилась все та же детская, озорная прелесть. Зубы у Розы были когда-то неправильные и некрасивые; но теперь их заменили искусственные — абсолютно ровные и снежно-белые: они явно стоили больших денег.

Негритянка-горничная изящно накрыла стол к чаю, подав сандвичи, домашнее печенье, конфеты, маленькие ножи и вилки, крохотные салфеточки. Все было очень аккуратно и шикарно.

— Никогда не могла обойтись без чая, — сказала Розы, беря горячую булочку с маслом. — А вот это я люблю больше всего, хоть и знаю, что нельзя. Мой доктор всегда говорит: «Миссис Иггалден, вы никогда не похудеете, если будете съедать за чаем по полдюжины булочек».

Она улыбнулась мне, и я вдруг почувствовал, что, несмотря на стриженные волосы, пудру и полноту, передо мной все та же прежняя Розы.

— Но я считаю так: чуточка лакомства не повредит. Мне всегда было легко с ней говорить. Скоро мы уже болтали, как будто с нашей последней встречи прошло всего несколько недель.

— Вы удивились, когда получили мое письмо? Я написала «Дрифилд», чтобы вы знали, от кого оно. Мы взяли фамилию Иггалден, когда переехали в Америку. У Джорджа были кое-какие неприятности, когда он уезжал из Блэкстебла — вы, наверное, слышали, — и он решил, что на новом месте лучше начать под новым именем, понимаете?

Я кивнул.

— Бедный Джордж! Знаете, он умер десять лет назад.

— Очень печально.

— Ну, ведь он был уже старый. Ему перевалило за семьдесят, хоть по нему вы бы этого никак не сказали. Это был для меня большой удар. О таком муже женщина может только мечтать. Ни одного худого слова с самой свадьбы до того дня, когда он умер. И к тому же оставил меня вполне обеспеченной.

— Очень приятно слышать.

— Да, у него здесь дела пошли хорошо. Он занялся строительством — у него всегда была к этому склонность, — и связался с Таммани. Он всегда говорил: самой большой ошибкой в его жизни было то, что он не приехал сюда на двадцать лет раньше. Здесь ему понравилось с са-

мого первого дня. Он всегда был полон энергии — а тут это и нужно. Как раз такие люди тут и процветают.

— А в Англии вы больше не были?

— Нет, никогда не стремилась. Джордж время от времени поговаривал, чтобы проехать туда ненадолго, но мы так и не собрались, а теперь, когда его уже нет, мне и не хочется. Я думаю, Лондон показался бы мне скучноват после Нью-Йорка. Мы ведь жили в Нью-Йорке — сюда я переехала только после его смерти.

— А почему вы выбрали Йонкерс?

— Ну, мне он всегда нравился. Я говорила Джорджу: когда удалимся от дел, будем жить в Йонкерсе. Он для меня — как кусочек Англии. Мейдстон, или Гилфорд, или что-то в этом роде.

Я улыбнулся, но понял, что она имела в виду. Несмотря на трамваи и автомобильные гудки, несмотря на кинотеатры и электрические рекламы, Йонкерс с его извилистой главной улицей слегка напоминал свихнувшийся английский провинциальный город.

— Конечно, я иногда думала, что там поделывают в Блэкстебле. Скорее всего, сейчас их почти никого и в живых нет, да и они, наверное, тоже считают, что я умерла.

— Я не был там тридцать лет.

Я не знал тогда, что слух о смерти Розы дошел до Блэкстебла. Наверное, кто-нибудь привез известие о смерти Джорджа Кемпа, и вышла путаница.

— Здесь, наверное, никто не знает, что вы были первой женой Эдуарда Дриффилда?

— О нет! Что вы, если бы они знали, тут бы вокруг меня репортеры жужжали, как пчелы. Знаете, я еле удерживаюсь от смеха, когда где-нибудь играю в бридж и начинают говорить о книгах Теда. В Америке его обожают. Я сама никогда не была о нем такого высокого мнения.

— Но вы ведь не очень жаловали романы?

— Мне больше нравилась история, а теперь у меня на книги и времени не остается. Самый лучший день для меня — воскресенье: здесь замечательные воскресные газеты. В Англии нет ничего подобного. И потом я много играю в бридж — просто без ума от него.

Я вспомнил, что, когда мальчишкой впервые познакомился с Розой, меня поразило ее необыкновенное мастерство в висте. Я мог себе представить, как она играет в бридж, — быстро, смело и точно: хороший партнер и опасный противник.

— Вы бы удивились, если бы знали, какой тут поднялся шум, когда Тед умер. Я знала, что они его очень ценят, но никогда не думала, что он такая большая шишка. Газеты только о нем и писали и печатали его портреты и снимки Ферн-Корта: он всегда говорил, что когда-нибудь будет там жить. И что это он женился на той сиделке? Я всегда думала, что он женится на миссис Бартон Трафффорд. У них так и не было детей?

— Нет.

— Тед хотел бы иметь детей. Для него был большой удар, что у меня после первых родов детей больше не будет.

— А я и не знал, что у вас был ребенок, — сказал я удивленно.

— Был. Потому Тед на мне и женился. Но мне пришлось очень тяжело, когда я родила, и врачи сказали, что больше у меня ребенка не будет. Бедняжка, если бы она осталась жива, я бы, наверное, никогда не убежала с Джорджем. Ей было шесть лет, когда она умерла. Она была такая милая и красивая, как на картинке.

— Вы никогда о ней не говорили.

— Да, я о ней не могла говорить. Она заболела менингитом, и мы отвезли ее в больницу. Ее положили в отдельную палату, и нам разрешили оставаться с ней. Никогда не забуду, как она мучилась — кричала, кричала, кричала, и никто не мог ничего сделать.

Голос Розы прервался.

— Это ее смерть описал Дриффилд в «Чаше жизни»?

— Да. Я всегда этому удивлялась. Он тоже не мог об этом говорить, как я, а потом взял и все описал. Не забыл ни одну мелочь, даже те, что я тогда и не заметила, а вспомнила только потом. Можно подумать, что он был совсем бессердечный, но он не такой, ему было так же тяжело, как и мне. Когда мы ночью приходили домой, он плакал, как ребенок. Чудной человек, правда?

Это была та самая «Чаша жизни», которая вызвала такую бурю протеста, и именно смерть ребенка и следовавший за ней эпизод навлекли на Дриффилда особенно злобные нападки. Я очень хорошо помнил это описание. Оно было душераздирающим. В нем не было ничего сенсационного; оно вызывало у читателя не слезы, а скорее гнев при мысли, что такие жестокие страдания вынужден испытывать маленький ребенок. Невольно приходило в голову, что в Судный день господу богу придется

держат ответ за такие вещи. Это был очень сильно написанный отрывок. Но если этот эпизод был взят из жизни, то не так ли было и с последующим? Он-то и шокировал больше всего публику девяностых годов, и его-то критики осуждали как не только непристойный, но и неправдоподобный. В «Чаше жизни» муж с женой (не помню теперь, как их звали) возвращаются из больницы после смерти ребенка — они бедные люди и живут в меблированных комнатах, едва сводя концы с концами. Они садятся пить чай. Уже поздно — около семи часов. Они измучены после целой недели непрерывной тревоги и потрясены своим несчастьем. Им нечего сказать друг другу. Они сидят молча, погруженные в горе. Проходят часы. Потом жена вдруг встает, идет в спальню и надевает шляпку.

«Пойду пройду», — говорит она.

«Ладно».

Они живут около вокзала Виктория. Она проходит по Бекингем-Палас-роуд, через парк, выходит на Пиккадилли и медленно идет к площади. Какой-то мужчина перехватывает ее взгляд, останавливается и поворачивается к ней.

«Добрый вечер», — говорит он.

«Добрый вечер».

Она останавливается и улыбается.

«Не хотите ли зайти выпить?» — спрашивает он.

«Ничего не имею против».

Они заходят в кабачок в одном из переулков Пиккадилли, где собираются продажные женщины и куда за ними приходят мужчины, и выпивают по стакану пива. Она болтает и смеется с незнакомцем, рассказывает ему о себе вымышленную историю. Вскоре он спрашивает, нельзя ли им пойти к ней. Нет, отвечает она, нельзя, но она может пойти с ним в гостиницу. Они садятся на извозчика и едут в Блумсбери, где снимают на ночь комнату. А на следующее утро она на автобусе доезжает до Трафальгар-сквер и идет через парк. Когда она приходит домой, муж как раз садится завтракать. После завтрака они снова идут в больницу, чтобы заняться устройством похорон.

— Скажите мне вот что, Роза, — начал я. — То, что случилось в книге после смерти ребенка, — и это произошло на самом деле?

Мгновение она нерешительно смотрела на меня; потом на ее губах появилась та же, все еще прелестная улыбка.

— Ну, это было столько лет назад, так что какая раз-

лица? Так и быть, скажу. Он немного напутал. Ведь это были только его догадки. Я удивилась, что он и это-то знал: я никогда ничего ему не говорила.

Рози взяла сигарету и задумчиво постучала кончиком по столу, но не закурила.

— Мы пришли из больницы точно, как он написал. Мы шли пешком: я чувствовала, что не смогу усидеть на извозчике, и у меня все внутри было как мертвое. Я столько плакала, что уже больше не могла, и очень устала. Тед пробовал меня утешать, но я сказала: «Ради бога, замолчи». После этого он не промолвил ни слова. Мы тогда жили в комнатах на Воксхолл-Бридж-роуд, на третьем этаже — всего только гостиная и спальня, вот почему нам пришлось отдать бедную малышку в больницу: мы не могли там за ней ухаживать. И потом хозяйка была против, да и Тед сказал, что в больнице девочке будет лучше. В общем неплохая была женщина эта хозяйка; когда-то она была проституткой, и Тед часами с ней болтал. Она услышала, что мы вернулись, и поднялась к нам. «Ну, как сегодня девочка?» — спросила она. «Умерла», — ответил Тед, а я и слова не могла сказать. Тогда она принесла нам чаю. Я ничего не хотела, но Тед заставил меня съесть немного ветчины. Потом я села у окошка. Я не оглянулась, когда хозяйка пришла убрать со стола: мне не хотелось ни с кем говорить. Тед читал книгу; по крайней мере, делал вид, что читает, но ни разу не перевернул страницу, и я видела, как на нее капают слезы. Я все смотрела в окно. Был конец июня, двадцать восьмое число, и дни стояли долгие. Мы жили недалеко от угла, и я смотрела, как люди входят в закусочную и выходят, и как взад-вперед ездят трамваи. Я думала, этот день никогда не кончится, а потом вдруг заметила, что уже вечер. Все фонари горели, на улице было множество людей. Я чувствовала такую усталость, и ноги у меня как свинцом налились. «Почему ты не зажжешь газ?» — спросила я Теда. «Зажечь?» — спросил он. «Что толку сидеть в темноте?» — сказала я. Он зажег газ и закурил трубку. Я знала, что это ему помогает. А я просто сидела и смотрела на улицу. Не могу понять, что на меня тогда нашло. Я почувствовала, что сойду с ума, если буду сидеть в этой комнате. Я захотела пойти куда-нибудь, где светло и много народу. Я хотела уйти от всего, что Тед думал и чувствовал. У нас было только две комнаты. Я пошла в спальню; там все еще стояла девочкина кровать, но я не могла на нее смотреть. Я надела шляпку и вуаль

и переделалась, а потом вернулась к Теду. «Пойду пройду», — сказала я. Тед посмотрел на меня. По-моему, он заметил, что я надела свое новое платье, и, может быть, по тому, как я это сказала, он понял, что без него мне будет лучше. «Ладно», — сказал он. В книге он заставил меня идти через парк, но на самом деле было не так. Я дошла до вокзала Виктория и на извозчике доехала до Черинг-Кросс. Это стоило всего шиллинг. Потом я пошла по Стрэнду. Что я буду делать — это я придумала еще до того, как вышла на улицу. Вы помните Гарри Ретфорда? Так вот, он тогда играл в театре «Эделфи», он был там второй комик. Ну, я подошла к служебному входу и передала ему, что я здесь. Гарри Ретфорд мне всегда нравился. По-моему, он был не очень щепетилен и всегда довольно-таки свободно относился ко всяким денежным делам, но он всегда умел рассмешить, и при всех его недостатках был на редкость хороший человек. Вы знали, что его убили на бурской войне?

— Нет, не знал; знал только, что он исчез, и никто не видел больше его имени на афишах. Я думал, может быть, он занялся каким-нибудь бизнесом или чем-то в этом роде.

— Нет, он сразу пошел на войну. Его убили под Ледисмитом. Я подождала немного, потом он спустился, и я сказала: «Гарри, давай сегодня гульнем. Как насчет ужина у Романо?» — «Хорошая идея», — сказал он. — Подожди здесь, как только спектакль кончится, я разгримируюсь и спущусь». Мне стало легче уже от того, что я его увидела; он играл бегового жучка, и мне было смешно даже просто смотреть на него в этом клетчатом костюме и шляпе набекрень, с красным носом. Ну, я подождала до конца спектакля, потом он вышел, и мы отправились в «Романо». «Хочешь есть?» — спросил он меня. «Умираю с голоду», — ответила я, да так оно и было. «Закажем все самое лучшее», — сказал он, — и наплевать на расходы. Я сказал Биллу Террису, что иду ужинать со своей любимой девушкой, и стрельнул у него пару фунтов». — «Давай выпьем шампанского», — говорю я. «Да здравствует вдовушка!» — говорит он. Не знаю, бывали ли вы в старину у Романо. Там было замечательно. Все актеры туда ходили, и публика со скачек, и девушки из «Гэйти». Хорошее было место. И потом сам Романо — Гарри знал его, и он подошел к нашему столику. Обычно он говорил на смешном ломаном английском, я думаю, притворялся, потому что знал, что это смешно. А если кто-нибудь из его знакомых оказывал-

ся на мели, всегда давал пятерку взаймы. «Как малышка?» — спросил Гарри. «Лучше», — сказала я. Я не хотела говорить ему правду. Вы знаете, какие странные эти мужчины: есть такие вещи, которых они не понимают. Я уверена, Гарри подумал бы, что это ужасно: что я пошла с ним ужинать, когда бедная девочка лежит в больнице мертвая. Он очень сочувствовал бы и все такое, но мне не это нужно было: я хотела смеяться.

Рози закурила сигарету, которую вертела в руках.

— Знаете, иногда, когда женщина рождает, муж не выдерживает, идет и берет какую-нибудь другую женщину. Потом, когда она об этом узнает, а она узнает до странности часто, она устраивает ужасные сцены, говорит, как это можно, чтобы человек сделал такую вещь, когда ей так плохо, и что это невозможно стерпеть. А я всегда говорю, что нечего быть дурочкой. Это не значит, что он ее не любит и за нее не переживает: ничего это не значит — просто нервы. Если бы он не переживал, ему ничего такого и в голову бы не пришло. Я знаю, потому что именно так я тогда себя чувствовала. Когда мы кончили ужинать, Гарри сказал: «Ну, что дальше?» — «А что дальше?» — спросила я. В те времена никаких танцулек не было, и пойти было некуда. «А что, если зайти ко мне посмотреть фотографии?» — говорит Гарри. «Почему бы и нет», — говорю я. У него была крохотная квартирка на Черинг-Кросс-роуд — две комнаты, ванная и маленькая кухонька; мы поехали туда, и я осталась там на ночь. Когда я утром вернулась домой, завтрак был уже готов, и Тед только что сел за стол. Я решила про себя, что, если он скажет хоть слово, я ему устрою скандал. Мне было все равно, что будет дальше. Я и раньше зарабатывала на жизнь и была готова делать это снова. Я бы в два счета собрала вещи и тут же от него бы ушла. Но он только взглянул на меня. «Как раз вовремя, — говорит. — Я только что собирался съесть твою сосиску». Я села и налила ему чаю, а он продолжал читать газету. Позавтракали мы и пошли в больницу. Он так и не спросил, где я была. Не знаю, что он об этом думал. Он всё то время был ко мне ужасно добр. Я чувствовала себя совершенно несчастной, и мне казалось, что я не смогу это пережить, а он делал все, что мог, чтобы мне было легче.

— И что вы подумали, когда прочитали книгу? — спросил я.

— Ну, когда я увидела, что он почти все знает про ту

ночь, мне стало не по себе. Но что меня больше всего удивило — это то, что он вообще об этом написал. Я думала — чего-чего, а уж этого он в книгу не вставит. Странные вы люди, писатели.

Тут зазвонил телефон. Розы сняла трубку.

— О, мистер Вануци, как мило с вашей стороны, что вы позвонили! Дела идут хорошо, спасибо. Ну, и сама хороша, если вам так угодно. В моем возрасте лишним комплиментом не брезгают.

Она углубилась в разговор, который, судя по ее тону, носил шутливый и отчасти игривый характер. Я не очень вслушивался и, так как разговор оказался долгий, погрузился в размышления о жизни писателя. Она полна испытаний. Сначала ему приходится терпеть нужду и равнодушные; потом, достигнув кое-какого успеха, он должен безропотно принимать все капризы судьбы, которые с этим связаны. Он целиком зависит от ветреной публики. Он отдан на милость журналистов, которые хотят брать у него интервью, и фотографов, которые хотят его фотографировать; на милость редакторов, которые выколачивают из него рукописи, и сборщиков налогов, которые выколачивают из него подоходный налог; на милость высокопоставленных персон, которые приглашают его на обед, и секретарей всяких обществ, которые приглашают его читать лекции; на милость женщин, которые хотят выйти за него замуж, и женщин, которые хотят с ним развестись; на милость юнцов, которые норовят получить у него роль, и незнакомцев, которые норовят получить у него денег взаймы; на милость словообильных леди, которые просят совета в своих семейных делах, и серьезных молодых людей, которые просят совета в своих литературных поисках; на милость агентов, издателей, антрепренеров, зануд, почитателей, критиков и своей собственной совести. Но есть у него одно возмещение. Что бы ни лежало у него на сердце — тревожные мысли, скорбь о смерти друга, безответная любовь, уязвленное самолюбие, гнев на измену человека, к которому он был добр, короче — какое бы чувство или какая бы мысль его ни смущали — ему достаточно лишь записать это чувство или эту мысль черным по белому, использовать как тему рассказа или как украшение очерка, чтобы о них забыть. Писатель — единственный на свете свободный человек.

Розы положила трубку и повернулась ко мне.

— Это один из моих кавалеров. Я вечером иду играть

в бридж, и он позвонил сказать, что заедет за мной на своей машине. Он, конечно, итальяшка, но очень мил. У него была большая бакалейная лавка в Нью-Йорке, но сейчас он отошел от дел.

— А вы никогда не думали еще раз выйти замуж?

— Нет.

Она улыбнулась.

— Не то чтобы мне не делали предложений. Мне просто и так хорошо. Я на это вот как смотрю: за старика я выходить не хочу, а выйти за молодого в мои годы было бы глупо. Я славно пожила в свое время, и хватит с меня.

— А почему вы бежали с Джорджем Кемпом?

— Ну, он мне всегда нравился. Я ведь знала его задолго до того, как познакомилась с Тедом. Конечно, я никогда не думала, что мне удастся выйти за него замуж. Во-первых, он уже был женат, а потом ему нужно было думать о своем положении. А когда он в один прекрасный день пришел и сказал, что все пропало, что он разорен и вот-вот будет приказ о его аресте, и что он едет в Америку, и не поеду ли я с ним, — что ж я могла поделать? Не могла же я его отпустить в такую даль одного, может быть, без денег, — ведь он всегда был такой важный, жил в собственном доме и ездил в собственной тележке. Работать-то я не боялась.

— Я иногда думаю, что только его одного вы и любили, — предположил я.

— Пожалуй, отчасти так и есть.

— Не могу понять, что вы в нем такого нашли?

Взгляд Розы упал на портрет на стене, которого я почему-то до сих пор не заметил. Это была увеличенная фотография Лорда Джорджа в резной позолоченной рамке. Судя по внешности, он снялся вскоре после переезда в Америку — возможно, когда они поженились. Он был изображен по колени, в длинном сюртуке, застегнутом на все пуговицы, и цилиндре, лихо сдвинутом набекрень. В петлице у него красовалась крупная роза, под мышкой он держал трость с серебряным набалдашником, а в правой руке — большую дымящуюся сигару. У него были густые усы с нафабранными концами, нахальный взгляд, и выглядел он высокомерным и важным. Его галстук был заколот булавкой в виде подковы, усыпанной бриллиантами. Он походил на трактирщика, который вырядился в свой лучший костюм, чтобы пойти на дерби.

— Я вам скажу, — ответила мне Роза. — Он всегда был такой образцовый джентльмен.

Острие бритвы

Перевод *М. Лорие*

Трудно пройти по острию бритвы; так же трудно, говорят мудрецы, путь, ведущий к спасению.

Катха Упанишад.



ГЛАВА ПЕРВАЯ

I

Никогда еще я не начинал писать роман с таким чувством неуверенности. Да и романом я называю эту книгу только потому, что не знаю, как иначе ее назвать. Сюжет ее беден, и она не кончается ни смертью, ни свадьбой. Смертью кончается все, так что она — естественное завершение любого сюжета, но и брак — неплохая развязка, и напрасно умудренные скептики издеваются над так называемым счастливым концом. Не что иное, как здравый инстинкт подсказывает рядовому человеку, что, поживив героев, автор вполне может поставить точку. Если мужчина и женщина после каких угодно перипетий обретают друг друга, значит, они выполнили свою биологическую функцию, и интерес переключается на то поколение, что идет им на смену. А я вот оставляю моих читателей в неведении. Эта книга содержит мои воспоминания о человеке, с которым я непосредственно сталкивался лишь через большие промежутки времени, и я мало осведомлен о том, что он делал между нашими встречами. Как беллетрист, я бы мог, вероятно, заполнить эти пробелы достаточно убедительно и таким образом сделать мое повествование более связным; но мне не хочется этим заниматься. Я хочу писать только о том, что мне доподлинно известно.

Много лет тому назад я написал роман под названием «Луна и грош». В нем я вывел знаменитого французского художника Поля Гогена и, пользуясь правом писателя на вымысел, сочинил целый ряд эпизодов, чтобы полнее об-

рисовать характер, который создал, исходя из скудных фактических данных, бывших в моем распоряжении. В настоящей книге я и не пробовал повторить этот опыт. Чтобы не ставить в неловкое положение людей, которые еще живы, я только дал действующим лицам моей повести вымышленные имена и вообще позаботился о том, чтобы их нельзя было узнать. Человек, о котором я пишу, не знаменит. Возможно, он никогда не прославится. Возможно, уйдя из жизни, он оставит о своем пребывании на земле не более заметный след, чем камень, брошенный в реку, оставляет на поверхности воды. Тогда, если мою книгу вообще будут читать, то только как литературное произведение, более или менее интересное. Но возможно и то, что влияние, которое оказывает на окружающих образ жизни, избранный моим героем, и необычайная сила и прелесть его характера, будет распространяться все шире, и со временем, пусть через много лет после его смерти, люди поймут, что между нами жил человек поистине выдающийся. Тогда станет ясно, о ком я пишу в этой книге, и те, кому захочется хоть что-нибудь узнать о ранней поре его жизни, найдут здесь чем поживиться. Думаю, что для биографов моего друга книга эта при всех ее недочетах послужит ценным источником информации.

Разговоры, приведенные в этой книге, не следует воспринимать как стенограммы. Я никогда не записывал того, что говорилось в тот или иной день, но у меня хорошая память на все, что меня лично касается, и, хотя разговоры эти я воспроизвожу своими словами, суть сказанного, думается мне, передана верно. Выше я отметил, что ничего в этой книге не сочинил; здесь требуется некоторая оговорка. Я допустил ту же вольность, какую допускали историки со времен Геродота: вложил в уста моих персонажей речи, которых сам не слышал и не мог слышать. Сделал я это с той же целью, что и историки, — чтобы придать живость и правдоподобие сценам, которые, будь они только описаны, оставили бы читателя равнодушным. Я хочу, чтобы мои книги читали, и не считаю зазорным по мере сил этого добиваться. Сообразительный читатель с легкостью обнаружит, где именно я прибегаю к этой уловке, и его дело принять ее или отвергнуть.

Приступаю я к этой работе с опаской и по другой причине: люди, о которых мне предстоит говорить, — по большей части американцы. Знание людей — вообще дело трудное, а по-настоящему знать можно, мне кажется, толь-

ко своих соотечественников. Ведь ни один человек не существует сам по себе. Люди — это и страна, где они родились, и ферма или городская квартира, где они учились ходить, и игры, в которые они играли детьми, и сплетни, которые им довелось подслушать, и еда, которой их кормили, школа, где их обучали, спорт, которым они увлекались, поэты, которых читали, и бог, в которого верили. Все это и сделало их такими, как они есть, и все это нельзя усвоить понаслышке, а можно постичь, только если сам это пережил. Если это часть тебя самого. И оттого, что представителей другой нации знаешь только по наблюдениям со стороны, очень трудно изобразить их убедительно на страницах книги. Даже такому внимательному и тонкому наблюдателю, как Генри Джеймс, к тому же сорок лет прожившему в Англии, не удалось изобразить ни одного англичанина так, чтобы в него можно было до конца поверить. Сам я никогда и не пробовал писать ни о ком, кроме англичан, разве что в нескольких коротких рассказах, — в этом жанре можно обойтись без углубленных характеристик. Даешь читателю общие контуры, а подробности пусть додумывает сам. Могут спросить, почему, если я превратил Поля Гогена в англичанина, я не поступил так же с героями этой книги. Ответить на это просто: потому что не мог. Они тогда стали бы другими людьми. Я не утверждаю, что они — американцы, какими те себя видят; они — американцы, увиденные глазами англичанина. Я не старался передать особенности их речи. Английские писатели, пытающиеся это делать, терпят неудачу точно так же, как американские писатели, когда пытаются изобразить, как говорят в Англии. Особенно много опасностей таит в себе разговорный язык. В своих английских вещах Генри Джеймс много им пользовался, но всегда не совсем так, как англичане, почему и диалог у него не производит впечатления естественной легкости, к чему он стремился, а сплошь и рядом режет слух английскому читателю.

II

В 1919 году, по дороге на Дальний Восток, я оказался в Чикаго и по причинам, не имеющим никакого касательства к этой повести, задержался там недели на три. Незадолго до того вышел в свет один мой роман. Роман имел успех, и не успел я прибыть в Чикаго, как ко мне

явился интервьюер. На следующее утро у меня зазвонил телефон. Я поднял трубку.

— Это говорит Эллиот Темплтон.

— Эллиот? Я думал, вы в Париже.

— Нет, я здесь, гощу у сестры. Приезжайте к нам сегодня завтракать.

— С удовольствием.

Он уточнил время и дал мне адрес.

С Эллиотом Темплтоном я был знаком пятнадцать лет. Сейчас, когда ему шел шестой десяток, это был высокий, представительный мужчина с правильными чертами лица и густыми волнистыми волосами, поседевшими лишь настолько, чтобы придать ему еще более аристократический вид. Одевался он безупречно. Галстуки покупал у Шарве, а костюмы, обувь и шляпы — в Англии. В Париже он снимал квартиру на левом берегу Сены, на фешенебельной улице Сен-Гильом. Люди, не любившие его, говорили, что он — делец, однако он гневно отметал такое обвинение. У него был вкус, были знания, и он не отрицал, что в минувшие годы, когда он только что поселился в Париже, ему случалось давать советы богатым коллекционерам, пополнявшим свои собрания картин; а когда благодаря своим связям в обществе он узнавал, что какой-нибудь обедневший высокородный француз или англичанин не прочь продать первоклассную картину, охотно сводил его со знакомым экспертом из американского музея, которому, как ему было известно, как раз требовался высокий образец работы данного мастера. Во Франции, да и в Англии тоже, имелось немало старинных семейств, в силу обстоятельств вынужденных расставаться то с подписным столиком-буль, то с конторкой собственноручной работы Чиппендейла, и представители этих семейств бывали рады познакомиться с культурным, прекрасно воспитанным человеком, который мог им в этом помочь деликатно и без огласки. Естественно было предположить, что Эллиоту кое-что перепало от этих сделок, но упоминать об этом было бы бестактно. Злые языки утверждали, что в его квартире любая вещь продается и что стоит ему угостить богатых американцев отличным обедом с марочными винами, как из его гостиной исчезают два-три ценнейших рисунка, либо вместо секретера-маркетри появляется новый, лакированный. Когда его спрашивали, куда пропала та или иная вещь, он очень правдоподобно объяснял, что она его не вполне удовлетворяла и он обменял ее на другую,

более высокого качества. И добавлял, что скучно все время иметь перед глазами одно и то же.

— Nous autres américains, мы, американцы, — говорил он, — любим разнообразие. В этом и наша сила, и наша слабость.

Некоторые американки, наезжавшие в Париж, уверяли, что знают про него решительно все, что он из очень бедной семьи и если сейчас живет так широко, то лишь потому, что сумел проявить большую ловкость. Я не знаю, сколько у него было денег, но титулованный домовладелец безусловно брал с него за квартиру недешево и произведений искусства в ней хватало. По стенам висели рисунки великих французских художников Ватто, Фрагонара, Клода Лоррена, на паркетных полах раскинулись во всей своей красе ковры из Савоннери и Обюссона, а в гостиной стоял обитый вышитым атласом гарнитур Людовика XV, такой изящный, что в свое время им и впрямь, как он утверждал, могла владеть мадам де Помпадур. Во всяком случае, Эллиот мог позволить себе не искать заработка и вести жизнь, по его мнению, подобающую джентльмену; а откуда у него взялись на это средства — о том поминали только те, кто был готов с ним раззнакомиться. Избавленный таким образом от материальных забот, он целиком отдался своей главной страсти — продвижению по общественной лестнице. Деловые связи с неимущими вельможами как во Франции, так и в Англии добавились к тем первым зацепкам, которые у него оказались, когда он молодым человеком прибыл в Европу с рекомендательными письмами. Некоторые из этих писем были адресованы американкам, породнившимся с европейской знатью, и тут помогло его происхождение: он был из старой виргинской семьи, и один из его предков по материнской линии поставил свою подпись под Декларацией независимости. У него была приятная внешность, он хорошо танцевал, недурно стрелял, прекрасно играл в теннис. Ему везде были рады. Он не скупился на цветы и на коробки дорогих шоколадных конфет; у себя принимал редко, но всегда с выдумкой. Богатым американкам нравилось, когда их возили в богемные ресторанчики Сохо и в бистро Латинского квартала. Он всегда был готов к услугам и выполнял любые просьбы, даже самые обременительные. Не жалея сил, он ублажал стареющих дам и вскоре стал вхож в многие чопорные особняки на правах общего любимца, *ami de la maison*¹

¹ Друга дома (фр.).

Любезности его не было границ. Он и не думал обижаться, если его приглашали в последнюю минуту, лишь потому, что кто-то другой из приглашенных подвел хозяев, и за столом его можно было посадить рядом с очень скучной старухой, не сомневаясь, что он будет с ней отменно остроумен и обходителен.

За два-три года он перезнакомился со всеми, с кем стоило познакомиться молодому американцу — как в Лондоне, куда он отправлялся в конце сезона и откуда осенью ездил гостить в загородные поместья, так и в Париже, где он обосновался. Дамы, которые первыми ввели его в общество, с удивлением обнаруживали, как быстро разросся круг его знакомств. Это вызывало у них смешанные чувства. С одной стороны, им было приятно, что их молодой протеже не обманул ожиданий, с другой — немного досадно, что он так близко сошелся с людьми, с которыми сами они поддерживали лишь чисто официальные отношения. Хотя он по-прежнему бывал им полезен и всегда готов услужить, невольно закрадывалась мысль, не использовал ли он их как ступеньки в своей светской карьере. Они подзревали в нем сноба. И не без оснований. Конечно, он был сноб и даже не стыдился этого. Он готов был претерпеть любой афронт, снести любую насмешку, проглотить любую грубость, лишь бы получить приглашение на раут, куда жаждал попасть, или быть представленным какой-нибудь сварливой старой аристократке. Он был неутомим. Наметив себе добычу, он преследовал ее с упорством ботаника, разыскивающего редкостную орхидею, невзирая на наводнения, землетрясения, лихорадки и враждебных туземцев. Война 1914 года позволила ему окончательно утвердиться. Он вступил в санитарный корпус, служил сперва во Фландрии, потом в Аргонне, а через год вернулся с красной ленточкой в петлице и был назначен на ответственный пост в Красном Кресте в Париже. К тому времени он уже был состоятельным человеком и щедро жертвовал на добрые дела под эгидой разных влиятельных лиц. Он всегда был готов поставить свой безупречный вкус и организаторские способности на службу любого благотворительного начинания, достаточно широко разрекламированного. Он стал членом двух самых недоступных парижских клубов. Для высокопоставленных французских дам он был теперь *se cher Elliot*¹. Он достиг желанных высот.

¹ Наш милый Эллиот (*фр.*).

Впервые я познакомился с Эллиотом, когда был заурядным молодым писателем, и он не удостоил меня вниманием. У него была отличная память на лица, и, встречаясь со мной, он сердечно пожимал мне руку, однако не выказывал желаний сойтись со мной ближе, а если я попадался ему на глаза, скажем, в опере, где он был с каким-нибудь титулованным приятелем, мог и вовсе меня не заметить. Но потом я как-то сразу приобрел известность как драматург и убедился, что его отношение ко мне потеплело. Однажды я получил от него записку с приглашением позавтракать в отеле «Кларидж», где он останавливался, когда бывал в Лондоне. Общество собралось небольшое и не самое шикарное, и у меня создалось впечатление, что Эллиот ко мне примеривается. Однако благодаря успеху моих пьес у меня появилось много новых друзей, и мы стали встречаться чаще. Тут я как-то провел несколько осенних недель в Париже и встретил его у одних общих знакомых. Он спросил, где я остановился, и через несколько дней я снова получил приглашение на завтрак — на этот раз у него дома, а приехав, с удивлением убедился, что общество у него собралось самое изысканное. Мысленно я посмеялся. Мне было ясно, что с присущим ему безошибочным светским чутьем он сообразил, что в Англии я как писатель не бог весть какая персона, тогда как во Франции, где писателю создает престиж сама его профессия, — другое дело. В последующие годы мы сошлись ближе, хотя друзьями так и не стали. Едва ли Эллиот Темплтон вообще мог стать кому-нибудь другом. Люди интересовали его только с точки зрения их места в обществе. Когда я бывал в Париже или он в Лондоне, он продолжал приглашать меня на обеды, если требовался лишний мужчина или предстояло принимать путешествующих американцев. Среди них, как я подозревал, бывали и прежние его клиенты, и незнакомые ему люди, направленные к нему с рекомендательными письмами. Это был его крест. Он чувствовал, что должен что-то для них сделать, а вместе с тем ему вовсе не улыбалось знакомить их со своими знатными друзьями. Проще всего было, конечно, накормить их обедом и сводить в театр, но и это порой оказывалось затруднительно, поскольку все вечера у него были обычно расписаны на три недели вперед, да и не верилось ему, что они этим удовлетворятся. Со мною, как с писате-

лем, он особенно не церемонился и не прочь был мне поплакаться.

— В Америке любого готовы снабдить рекомендательным письмом. Я не говорю, сам я всегда рад повидать земляков, но почему я должен навязывать их общество моим друзьям?

Он пробовал отделаться корзинами роз и огромными коробками конфет, но иногда этого оказывалось мало. И вот тогда он немного наивно, если учесть то, что он перед тем мне говорил, приглашал меня на обед.

«Они просто жаждут с вами познакомиться, — писал он, чтобы мне польстить. — Миссис Такая-то очень культурная женщина и ваши книги знает буквально наизусть».

А затем миссис Такая-то сообщала мне, что ей ужасно понравился мой роман «Мистер Перрен и мистер Трэйл» и поздравляла с успехом моей пьесы «Моллюск». Роман этот написал Хью Уолпол, а пьесу — Хьюберт Генри Дэвис.

IV

Если у читателя создалось впечатление, что Эллиот Темплтон был препротивный тип, значит, я не отдал ему должное.

Прежде всего он был *serviable*, что в переводе с французского означает примерно добрый, обязательный, готовый помочь. Он был великодушен, и если в начале своей карьеры задаривал знакомых цветами, конфетами и сувенирами безусловно не без задней мысли, то продолжал в том же духе и тогда, когда надобность в этом отпала. Он любил делать подарки. Он был гостеприимен. Повар его был одним из лучших в Париже, и можно было не сомневаться, что к столу будут поданы самые ранние овощи и фрукты. Его вина свидетельствовали об отменном вкусе хозяина. Правда, гостей он выбирал главным образом по признаку их положения в обществе, однако заботился и о том, чтобы среди них оказалось хотя бы двое чем-либо интересных, так что скучно у него почти никогда не бывало. Многие смеялись над ним у него за спиной, называли его бессовестным снобом, но приглашения принимали охотно. По-французски он говорил правильно и свободно, с безукоризненным произношением. По-английски приучил себя говорить как англичане, так что лишь очень чувствительное ухо время от времени улавливало в его речи американские

интонации. Он был отличным собеседником, если только не давать ему разглагольствовать про герцогов и герцогинь; но теперь, когда положение его было прочно, он даже о них позволял себе поговорить забавно, особенно с глазу на глаз. Он умел позлословить, а уж сплетни, ходившие про этих высокопоставленных личностей, знал все до одной. Это он сообщил мне, кто отец последнего ребенка принцессы Н. И кто любовница маркиза Д. Даже Марсель Пруст, по-моему, был осведомлен об интимной жизни аристократии не лучше, чем Эллиот Темплтон.

Бывая в Париже, я часто с ним завтракал — когда у него, когда в ресторане. Я люблю бродить по антикварным лавкам — изредка покупаю что-нибудь, а чаще просто гляжу, — и Эллиот с радостью сопровождал меня в этих походах. Он по-настоящему любил красивые вещи и знал в них толк. Кажется, не было в Париже той антикварной лавки, о которой бы он не слышал, с владельцем которой не был бы на короткой ноге. Он обожал вести переговоры и, пускаясь в путь, предупреждал меня:

— Если вам что-нибудь приглянется, не вздумайте покупать сами. Вы только дайте мне знак, остальное я беру на себя.

Он искренне радовался, когда ему удавалось отторговать для меня что-нибудь за полцены. А торговался он мастерски — спорил, улещивал, сердился, взывал к лучшим чувствам продавца, высмеивал его, находил в облюбованной вещи изъяны, грозил, что ноги его здесь больше не будет, вздыхал, пожимал плечами, корил, в гневе поворачивал к выходу, а одержав наконец победу, сокрушенно качал головой, словно принимая неизбежное поражение. И тут же успевал шепнуть мне по-английски:

— Берите. Вдвое больше и то было бы дешево.

Эллиот был ревностным католиком. Еще в первые свои парижские годы он повстречал некоего аббата, известного тем, скольких неверных и еретиков он вернул в лоно истинной церкви. Аббат этот усердно посещал званые обеды и блистал остроумием. Своим духовным руководством он удостаивал только богачей и аристократов. Как человек скромного происхождения, сделавшийся желанным гостем в самых знатных семействах, он не мог не импонировать Эллиоту, и последний признался одной богатой американке, недавно обращенной аббатом, что, хотя семья его спокон веку принадлежала к епископальной церкви, сам он давно интересуется католичеством. Дама пригласила его на

обед — только его и аббата, — и тот показал себя во всем блеске. Хозяйка дома навела разговор на католичество, и аббат подхватил эту тему благоговейно, но без педантизма, как светский человек (хоть и священник) в беседе с другим светским человеком. Эллиоту было лестно убедиться, что аббат хорошо о нем осведомлен.

— На днях мне рассказывала о вас герцогиня Вандомская. Вы произвели на нее впечатление очень умного человека.

Эллиот даже вспыхнул от удовольствия. Да, он был представлен ее светлости, но никак не думал, что она его запомнила. Аббат толковал о религии мудро и мягко, проявил терпимость, широту взглядов и современность подхода. В его изображении церковь предстала перед Эллиотом как некий клуб для избранных, в котором воспитанному человеку ради собственного престижа просто необходимо состоять членом. Через полгода он был туда принят. Обращение его в сочетании с щедрыми пожертвованиями на католическую благотворительность открыло перед ним двери нескольких домов, в которые он до того не имел доступа.

Можно по-разному расценить мотивы, заставившие его отречься от веры отцов, но, после того как он это сделал, набожность его не вызвала сомнений. Каждое воскресенье он ездил в одну из самых феиенебельных парижских церквей, он регулярно исповедовался и периодически совершал паломничество в Рим. За свое благочестие он со временем был награжден зачислением в папские камергеры, а за усердие, с каким выполнял свои новые обязанности, — орденом (если не ошибаюсь — Гроба Господня). Словом, как католик он преуспел не меньше, чем как *homme du monde*¹.

Я часто спрашивал себя, в чем причина снобизма, которым был одержим этот человек, такой неглупый, образованный и добрый. Он не был безродным выскочкой. Отец его был ректором университета в одном из южных штатов, дед — вполне почтенным доктором богословия. У Эллиота хватало ума понять, что многие принимали его приглашения только ради того, чтобы бесплатно пообедать, что среди них есть и тупицы, и ничтожества. Но блеск их громких титулов затмевал в его глазах любые их недостатки. Я могу только догадываться, что тесное общение с этими родо-

¹ Светский человек (*фр.*).

витыми господами и верная служба их дамам вселяли в него непреходящее чувство одержанной победы и что за всем этим крылась страстная романтическая натура, позволявшая ему видеть в тщедушном французском маркизе того крестоносца, что побывал в Святой земле с Людовиком IX, а в английском графе, хвастающем своей псарней,— предка этого графа, сопровождавшего Генриха VIII на Парчовое поле¹. Ему, наверно, казалось, что в обществе таких людей он сам живет в каком-то великолепном, доблестном прошлом. И, вероятно, сердце его радовалось, когда он перелистывал Готский альманах, и одно имя за другим вызывало в его памяти давно минувшие войны, исторические осады, прославленные поединки, дипломатические интриги и любовные похождения королев. Вот таким человеком был Эллиот Темплтон.

V

Только я собрался помыться и почиститься, чтобы ехать к Эллиоту и его родным, как мне позвонили от портъе сказать, что сам Эллиот ждет меня внизу. Я немного удивился и, как только привел себя в порядок, спустился в вестибюль.

— Я решил зайти за вами,— сказал он, пожимая мне руку.— Я не был уверен, хорошо ли вы знаете Чикаго.

Мне уже приходилось подмечать, что у некоторых американцев, долго проживших за границей, складывается представление, будто Америка — очень трудная, даже опасная страна, в которой европеец рискует пропасть без посторонней помощи.

— Время еще есть, часть дороги можно пройти пешком,— предложил он.

Воздух был чуть морозный, в небе ни облачка, и размяться было приятно.

— Я хотел кое-что рассказать вам о моей сестре, прежде чем вы ее увидите,— сказал Эллиот, бодро шагая со мною рядом.— Она приезжала ко мне в Париж, но вас тогда, помнится, там не было. Сегодня мы завтракаем

¹ Парчовое поле — равнина близ Кале, где в 1520 году английский король Генрих VIII встретился для переговоров с французским королем Франциском I, причем участники этой встречи блистали пышными нарядами.

тесным кружком — только сестра, ее дочь Изабелла и Грегори Брабазон.

— Специалист по интерьерам?

— Он самый. Дом у моей сестры в ужасном виде, и мы с Изабеллой все уговариваем ее отделать его заново. А тут я случайно услышал, что Грегори сейчас в Чикаго, и подал идею пригласить его к завтраку. Он, конечно, не в полном смысле джентльмен, но вкус у него есть. Мэри Олифант поручала ему всю отделку своего замка, а Сент-Эрты — свой дом в Сент-Клемент-Толбот. Герцогиня не могла им нахвалиться. А дом Луизы... Да вот вы сами увидите. Как она могла прожить в нем столько времени — уму непостижимо. Впрочем, для меня вообще загадка, как она может жить в Чикаго.

Он рассказал мне, что миссис Брэдли — вдова, у нее трое детей, два сына и дочь, но сыновья намного старше, женаты и с ней не живут. Один занимает государственный пост на Филиппинах, другой сейчас в Буэнос-Айресе, он дипломат, пошел по стопам отца. Покойный муж миссис Брэдли представлял свою родину во многих странах, несколько лет был первым секретарем посольства в Риме, а затем был назначен послом в одну из республик на западном побережье Южной Америки, где и скончался.

— Я хотел, чтобы Луиза тогда же продала этот дом, — продолжал Эллиот, — но ей было жаль с ним расстаться. Семейство Брэдли владело им много лет. Брэдли — одно из старейших семейств Иллинойса. Они переселились из Виргинии в тысяча восемьсот тридцать девятом году и обзавелись землей милях в шестидесяти от тогдашнего Чикаго. Земля эта до сих пор им принадлежит. — Эллиот помолчал и взглянул на меня, проверяя, как я отнесся к этим сведениям. — Тот Брэдли, что здесь обосновался, был, в сущности, по нынешним понятиям, фермер. Не знаю, известно ли это вам, но в середине прошлого века, когда началось освоение Среднего Запада, многие виргинцы, все больше, знаете ли, младшие сыновья из хороших семей, охваченные тягой к неизвестному, стали покидать благоденствующие усадьбы своего родного штата. Отец моего зятя, Честер Брэдли, понял, что у Чикаго есть будущее, и поступил там в юридическую контору. И нажил, между прочим, достаточно денег, чтобы оставить своему сыну вполне порядочное состояние.

Не столько слова Эллиота, сколько его тон означали, что, на его взгляд, Честер Брэдли поступил не совсем при-

лично, променяв наследственный дом с колоннами и обширные плантации на какую-то контору, но то обстоятельство, что он нажил состояние, хотя бы частично оправдывало этот шаг. Эллиот был явно раздосадован, когда миссис Брэдли — не в тот день, а позже — показала мне любительские снимки того, что ему угодно было именовать их «поместьем», и я увидел скромный оштукатуренный дом с веселым садиком, но тут же рядом, увы, сарай, коровник и хлев, а вокруг — унылые плоские поля. Мне подумалось, что мистер Честер Брэдли знал, что делал, когда махнул на все это рукой и подался в город.

Дальше мы поехали в такси. Машина остановилась перед кирпичным домом, высоким и узким, к парадной двери которого вело несколько крутых ступеней. Он стоял в ряду других домов, на улице, отходящей от набережной, и выглядел даже в этот яркий осенний день таким бесцветным и скучным, что непонятно было, как можно питать к нему теплые чувства. Дверь отворил дородный седовласый дворецкий-негр, и нас провели в гостиную. Миссис Брэдли поднялась нам навстречу, и Эллиот представил меня. В молодости она, видимо, была хороша собой — у нее были правильные, хоть и крупноватые черты лица и очень красивые глаза. Но лицо это, желтоватое, почти нарочито не накрашенное, уже немного оплыло, и было ясно, что она проиграла битву с полнотой, этим врагом пожилых женщин. Принять свое поражение она, однако, не соглашалась — сидела очень прямо, на стуле с жесткой спинкой, так ей, в тесной броне корсета, было, очевидно, удобнее, чем в мягком кресле. На ней было синее платье, щедро расшитое тесьмой, высокий воротник на китовом усе подпирал подбородок. Ее густые белые волосы были туго завиты и уложены в затейливую прическу.

Второй гость еще не прибыл, и, поджидая его, мы болтали о всяких пустяках.

— Эллиот говорит, вы ехали южным путем, — сказала миссис Брэдли. — Вы в Риме останавливались?

— Да, я провел там неделю.

— Ну, как там поживает дорогая королева Маргарита?

Немного удивленный этим вопросом, я отвечал, что не знаю.

— Как, вы ее не навестили? Такая славная женщина. Она была к нам очень добра, когда мы жили в Риме. Мистер Брэдли был первым секретарем посольства. Что же вы ее не навестили? Вы же не Эллиот, не такой

строгий католик, что вам и в Квиринале бывать нельзя?

— Отнюдь нет, — улыбнулся я. — Дело в том, что я с нею не знаком.

— Не знакомы? — Миссис Брэдли словно не поверила своим ушам. — А почему?

— Да потому, что писатели, как правило, не водят дружбу с королями и королевами.

— Но она такая милая женщина, — горячо возразила миссис Брэдли, словно обвиняя меня в высокомерии. — Я уверена, что она бы вам понравилась.

Тут дверь отворилась, и дворецкий доложил о приходе Грегори Брабазона.

Грегори Брабазон, несмотря на свою фамилию, не был романтической фигурой. Низенький, толстый, с лысой, как яйцо, головой — бахрома черных курчавых волос осталась только за ушами и на затылке — красное бритое лицо, которое, казалось, вот-вот вспотеет, живые серые глаза, чувственные губы и тяжело обвисшие щеки. Он был англичанин, и я несколько раз встречался с ним на артистических вечеринках в Лондоне. Держался он всегда по-дружески весело и открыто, много смеялся, но не требовалось особого знания человеческой природы, чтобы понять, что за этой шумной общительностью скрывается цепкая деловая хватка. Уже несколько лет он слыл лучшим в Лондоне специалистом по внутренней отделке домов. У него был гулкий бас и маленькие пухлые руки, на редкость выразительные. Красноречивыми жестами, целым потоком взволнованных слов он умел так разжечь воображение сомневающегося клиента, что тот просто не мог не дать ему заказ, а принимал он этот заказ с таким видом, будто сам делает клиенту одолжение.

Дворецкий внес на подносе коктейли.

— Изабеллу ждать не будем, — сказала миссис Брэдли, беря с подноса бокал.

— А где она? — спросил Эллиот.

— Поехала с Ларри играть в гольф. Она предупредила, что, может быть, опоздает.

— Ларри — это Лоренс Даррел, — объяснил мне Эллиот. — Он считается женихом Изабеллы.

— А я и не знал, что вы пьете коктейли, Эллиот, — сказал я.

— Я и не пью, — ответил он мрачно. — Но что поделаешь в этой варварской стране с ее сухим законом? —

Он вздохнул.— Теперь коктейли стали подавать и в некоторых домах в Париже. Вредоносные связи пагубны для чистоты нравов.

— Какая чушь, Эллиот,— сказала миссис Брэдли.

Сказано это было добродушно, но так решительно, что выдало в ней женщину с характером; а по тому взгляду, который она бросила на брата, веселому, но пронизательному, я сильно заподозрил, что она не обольщается на его счет. Интересно, подумал я, как она отнесется к Брабазону. Я заметил, что он еще с порога окинул комнату профессиональным взглядом и невольно вздернул косматые брови. А комната и вправду была поразительная. Обои, занавески и кретонная обивка кресел были одного и того же рисунка; на стенах висели картины в массивных золоченых рамах, очевидно купленные супругами Брэдли в пору их проживания в Риме. Мадонны школы Рафаэля, мадонны школы Гвидо Рени, пейзажи школы Цукарелли, руины школы Паннини. Были тут и трофеи их пребывания в Пекине — столы черного дерева, не в меру изукрашенные резьбой, огромные расписные вазы, были и вещи, вывезенные из Чили и Перу, — обрюзгшие каменные идолы, глиняные сосуды. Был чиппендейловский секретер и столик-маркетри. Абажуры на лампах были из белого шелка, на котором какому-то художнику взбрело в голову изобразить пастушков и пастушек в духе Ватто. Все это было сплошное уродство и однако же, не знаю почему, радовало глаз. Вид у комнаты был уютный, обжитой, и чувствовалось, что в этой невероятной мешанине есть какой-то смысл. Все эти несовместимые предметы составляли единое целое, потому что были частью жизни хозяйки.

Не успели мы допить коктейли, как дверь распахнулась и вошла девушка, а за нею молодой человек.

— Мы опоздали? — сказала она. — Я и Ларри привела. Найдется для него что-нибудь поесть?

— Надеюсь, — улыбнулась миссис Брэдли. — Позвони и скажи Юджину, пусть поставит еще один прибор.

— Он нам открывал дверь. Я ему уже сказала.

— Это моя дочь Изабелла, — обратилась миссис Брэдли ко мне. — А это — Лорене Даррел.

Изабелла наскоро поздоровалась со мной и тут же переключилась на Грегори Брабазона.

— Вы мистер Брабазон? Мне безумно хотелось с вами познакомиться. У Клементины Дормер вы создали просто чудо. Правда, эта комната какой-то кошмар? И уже сколь-

ко лет уговариваю маму что-то с ней сделать, а сейчас, когда вы здесь, просто грех упускать такой случай. Скажите откровенно, что вы о ней думаете?

Я знал, что меньше всего от Брабазона можно ждать откровенности. Он бросил взгляд на миссис Брэдли, но лицо ее было непроницаемо. Тогда он решил, что равняться следует на Изабеллу, и громко, раскатисто рассмеялся.

— Комната, конечно, комфортабельная и все такое, — сказал он, — но, если уж говорить начистоту, эстетическое чувство она оскорбляет.

Изабелла была высокого роста и, видимо, унаследовала семейные черты — удлинённый овал лица, прямой нос, очень красивые глаза и полные губы. Она была хороша, хоть и немного полновата, но я решил, что с годами она постройнеет. И руки ее, красивые и крепкие, могли бы быть потоньше, и ноги, видные из-под короткой юбки, тоже. У нее была прекрасная кожа и яркий румянец, пуще разгоревшийся после гольфа и возвращения домой в открытом автомобиле. Молодость была в ней ключом. Ее лучезарное здоровье, шаловливая веселость, жизнерадостность, счастье, написанное на ее лице, пьянили, как вино. Она была так естественна, что Эллиот при всей его элегантности выглядел рядом с ней чуть ли не манекеном. Так свежа, что поблекшее, в морщинках, лицо миссис Брэдли сразу показалось усталым и старым.

Мы спустились в столовую, при виде которой Грегори Брабазон растерянно заморгал. Здесь стены были оклеены темно-красными обоями под штоф и увешаны портретами угрюмых, сердитых мужчин и женщин, предков покойного мистера Брэдли. И сам он здесь был — с густыми усами, в парадном сюртуке с крахмальным воротничком. А миссис Брэдли, кисти французского художника девяностых годов, висела над камином в вечернем платье голубого атласа, с жемчугом на шее и бриллиантовой звездой в волосах. Одной рукой, унизанной кольцами, она касалась кружевного шарфа, столь искусно выписанного, что видна была каждая петелька, в другой небрежно держала веер из страусовых перьев. Мебель была массивная, мореного дуба.

— Ну, что вы скажете? — спросила Изабелла Грегори Брабазона, когда мы сели за стол.

— Этот гарнитур, несомненно, стоил больших денег, — отвечал он.

— Еще бы, — сказала миссис Брэдли. — Это отец мистера Брэдли подарил нам к свадьбе. Мы его повсюду с собой

возили. В Пекин, в Лиссабон, в Кито, в Рим. Дорогая королева Маргарита очень им восхищалась.

— Что бы вы с ним сделали, если б он был ваш? — спросила Изабелла Брабазона, но Эллиот не дал ему ответить, а ответил сам:

— Сжег бы.

Они втроем принялись обсуждать, как лучше обставить столовую. Эллиот ратовал за Людовика XV, Изабелле виделся узкий стол, как в монастырских трапезных, и итальянские стулья. Брабазон высказался в том смысле, что с личностью миссис Брэдли будет лучше гармонировать Чиппендейл.

— Я придаю огромное значение личности, — сказал он и обратился к Эллиоту: — Вы, конечно, знакомы с герцогиней Олифант?

— С Мэри? Мы с ней близкие друзья.

— Она просила меня придумать ей столовую, и я, как только ее увидел, сказал: Георг Второй.

— И были совершенно правы. Я обратил внимание на эту комнату, когда в последний раз у них обедал. Прелесть что такое.

Разговор продолжался все в том же духе. Миссис Брэдли слушала, но что она думает, было не понять. Я лишь изредка вставлял слово, а Ларри (фамилию его я успел забыть) вообще молчал. Он сидел напротив меня, между Брабазоном и Эллиотом, и я время от времени на него поглядывал. На вид он был очень молод. Худой, голенастый, примерно одного роста с Эллиотом. Внешность приятная, не красавец и не урод, ничего примечательного. Но вот что меня заинтересовало: хотя он, с тех пор как вошел в дом, не произнес, сколько помнится, и десяти слов, держался он совершенно свободно и, не раскрывая рта, словно бы даже участвовал в разговоре. Мне запомнились его руки — длинные, хотя по его росту и небольшие, красивые, но отнюдь не изнеженные. Мне подумалось, что любой художник был бы рад их написать. В его худобе не было ничего болезненного, напротив, он казался мне жилистым и выносливым. Лицо у него было загорелое, но не богатое красками, черты, хоть в общем правильные, довольно ординарные. Чуть выдающиеся скулы, чуть запавшие виски, волосы темно-каштановые, волнистые. Глаза казались очень большими, потому что были глубоко посажены и опущены длинными густыми ресницами. Необычные эти глаза были не чисто карие, как у

Изабеллы, ее матери и дяди, а такие темные, что радужная оболочка сливалась со зрачком, и это делало его взгляд особенно пристальным. Было в нем какое-то прирожденное изящество, и нетрудно было понять, почему Изабелла им пленилась. Когда она взглядывала на него, я читал в ее лице не только любовь, но и ласку. А в его глазах, когда он ловил на себе ее взгляд, светилась чудесная неприкрытая нежность. Нет ничего трогательнее, чем юная любовь, и я, как человек уже не первой молодости, завидовал им, но в то же время, неизвестно почему, испытывал к ним жалость. Это было глупо, ведь, насколько я знал, их счастью ничто не грозило; обстоятельства как будто им благоприятствовали, так почему бы им не пожениться и не жить счастливо весь свой век, как в сказке.

Изабелла, Эллиот и Грегори Брабазон все толковали о новом убранстве дома, пытаюсь выведать у миссис Брэдли, считает ли она нужным хоть что-то предпринять, но она отделялась приветливыми улыбками.

— Не торопите меня. Дайте мне время подумать.— И повернулась к молодому человеку.— А как твое мнение, Ларри?

Он оглядел нас всех, улыбаясь одними глазами.

— По-моему, все равно, что так, что этак.

— Ларри, противный! — вскричала Изабелла.— Я же специально просила тебя нас поддержать.

— Если тете Луизе и так хорошо, зачем нужно что-то менять?

Вопрос его был так к месту и так разумен, что я рассмеялся. Тогда он посмотрел на меня и улыбнулся, уже не таясь.

— Ну вот, сболтнул глупость и радуешься,— сказала Изабелла.

Но он только улыбнулся еще шире, и я заметил, что зубы у него мелкие, белые и ровные. Под его взглядом Изабелла вспыхнула и притихла. Судя по всему, она была отчаянно в него влюблена, но у меня, сам не знаю почему, появилось ощущение, что в ее любви есть и что-то материнское. В такой молоденькой девушке это было неожиданно. С мягкой улыбкой на губах она опять повернулась к Грегори Брабазону.

— Не обращайтесь на него внимания. Он очень глупый и совершенно необразованный. Понятия не имеет ни о чем, кроме полетов.

— Полетов? — удивился я.

— Он был на войне авиатором.

— Я думал, он был слишком молод, чтобы воевать.

— Ну да, так оно и было. Он вел себя очень дурно. Удрал из школы и прямо в Канаду. Наврал там с три короба, убедил их, что ему восемнадцать лет, и вступил в авиационный корпус. К концу войны он сражался во Франции.

— Гостям твоей мамы это неинтересно, Изабелла,— сказал Ларри.

— Я знаю его с пеленок, и, когда он вернулся, такой красавчик, с такими хорошенькими нашивками на френче, я, можно сказать, села у него на пороге и не ушла, пока он не обещал на мне жениться,— верно, для того только, чтобы я от него отстала. Конкуренция была зверская.

— Перестань, Изабелла,— остановила ее мать.

Ларри наклонился ко мне через стол.

— Надеюсь, вы не верите ни одному ее слову. Изабелла неплохая девушка, но любит приврать.

Завтрак кончился, и мы с Эллиотом скоро ушли. Я еще раньше говорил ему, что хочу сходить в музей, и он вызвался меня сопровождать. Смотреть картины я предпочитаю один, но сказать ему это было бы неудобно, и я согласился. По дороге мы заговорили про Изабеллу и Ларри.

— Прелестное это зрелище, молодые влюбленные,— сказал я.

— Молоды они, чтобы жениться.

— Почему? Это так хорошо: быть молодыми, влюбленными и пожениться.

— Бросьте, вздор это. Ей девятнадцать лет, ему только что минуло двадцать. Он нигде не работает. Есть крошечный доход, Луиза говорит — три тысячи годовых, а Луиза сама небогатая женщина. Лишних денег у нее нет.

— Ну, так он может поступить на работу.

— В том-то и дело, что он к этому не стремится. Бездельничает, как будто так и надо.

— На войне ему, надо полагать, пришлось несладко. Наверно, хочется отдохнуть.

— Он уже год как отдыхает. Вполне достаточно.

— Мне показалось, он славный мальчик.

— Да и я ничего против него не имею. Семья вполне почтенная, и все такое. Отец его переехал сюда из Балти-мора. Был в Йельском университете профессором по романским языкам или что-то в этом роде. А мать была из Филадельфии, из старинного квакерского рода.

— Вы говорите о них в прошедшем времени. Они что, умерли?

— Да, мать умерла в родах, а отец лет двенадцать тому назад. Его воспитывал университетский товарищ отца, один врач из Марвина. Там Луиза и Изабелла с ним и познакомились.

— А Марвин это где?

— Там же, где поместье Брэдли. Луиза ездит туда на лето. Она жалела мальчика. Доктор Нелсон — холостяк, в воспитании детей ничего не смыслил. Это Луиза настояла, чтобы его отдали заканчивать школу в Сент-Пол, а на рождественские каникулы всегда приглашала его к себе. — Эллиот пожал плечами на французский манер. — Казалось бы, должна была предвидеть, чем это кончится.

Мы уже дошли до музея и теперь занялись картинами. И опять я отдал должное знаниям и вкусу Эллиота. Он водил меня по залам, словно я был группой туристов, и своими рассуждениями мог заткнуть за пояс любого искусствоведа. Я подчинился ему, решив, что приду еще раз и провожу здесь один в свое удовольствие; через какое-то время он взглянул на часы.

— Пошли, — сказал он. — Я никогда не провожу в музее больше часа. Дольше нельзя — восприятие притупляется. Досмотрим в другой раз.

Я горячо поблагодарил его на прощание и пошел своей дорогой, напичканный сведениями, но несколько утомленный.

Провожая меня, миссис Брэдли сказала, что на следующий день у Изабеллы соберется к обеду кое-кто из молодежи, после обеда они поедут танцевать. Может быть, и я приду, тогда мы с Эллиотом могли бы спокойно побеседовать вечером.

— Порадуйте его, — добавила она. — Он так долго прожил за границей, что здесь чувствует себя не в своей тарелке. Ни с кем не может найти общий язык.

Я принял приглашение, и теперь, выходя из музея, Эллиот сказал мне, что очень этому рад.

— В этом огромном городе я как в пустыне, — сказал он. — Я обещал Луизе прогостить у нее шесть недель, мы не виделись с тысяча девятьсот двенадцатого года, а теперь жду не дождусь, когда смогу возвратиться в Париж. Только там и можно жить цивилизованному человеку. Дорогой мой, вы знаете, как на меня здесь смотрят? На меня смотрят как на ископаемое. Дикари.

Я посмеялся, и мы простились.

На следующий день Эллиот по телефону предложил заехать за мной, но я отказался и к вечеру вполне благополучно добрался до дома миссис Брэдли. Меня задержал какой-то посетитель, так что я немного опоздал. Когда я поднимался по лестнице, из гостиной неся такой шум, что я ожидал увидеть там целую толпу и был удивлен, насчитав вместе с собой всего двенадцать человек. Миссис Брэдли выглядела весьма импозантно в зеленых шелках, с ошейником из мелкого жемчуга; Эллиот в отлично сшитом смокинге был сама элегантность. Когда я с ним здоровался, все ароматы Аравии повеяли мне в лицо. Меня познакомили с грузным краснолицым мужчиной, который в вечернем костюме явно чувствовал себя стесненным. Его назвали доктор Нелсон, но в ту минуту это мне ничего не сказало. Остальные гости были друзья Изабеллы, их имена я пропустил мимо ушей. Девушки все были молодые и хорошенькие, мужчины — молодые и ладные. Никого из них я особенно не отметил, кроме разве одного, и то лишь потому, что он был такой огромный — не меньше шести футов трех дюймов ростом, с могучими плечами. Изабелла была очень мила в белом шелковом платье с длинной узкой юбкой, скрывавшей ее толстые ноги; фасон платья подчеркивал ее хорошо развитую грудь, обнаженные руки были полноваты, зато шея прелестна. От веселого волнения красивые ее глаза так и сверкали. Да, несомненно, она была очень хороша и по-женски соблазнительна, но верно и то, что ей следовало остерегаться, как бы не располнеть сверх меры.

За обедом меня посадили между миссис Брэдли и тихой бесцветной девушкой, на вид еще моложе, чем остальные. Миссис Брэдли сразу же объяснила, что дед и бабушка ее живут в Марвине и она училась в одной школе с Изабеллой. Называли ее Софи, фамилию я не расслышал. Разговор за столом шел громкий, пересыпанный шутками, то и дело прерываемый смехом. Все здесь, видимо, хорошо друг друга знали. Когда хозяйка дома не требовала моего внимания, я пытался поговорить со своей юной соседкой, но без особого успеха. Она была молчаливее других. Красотой не блистала, но мордочка у нее была забавная — вздернутый носик, большой рот и зеленовато-голубые глаза; волосы гладко причесаны, каштановые с рыжеватым отливом. Очень худенькая и плоскогрудая,

почти как мальчик. Шуткам она смеялась, но несколько натянуто, словно больше притворялась, что ей весело. Мне показалось, что она нарочно старается не отстать от других. Я не мог разобрать, то ли она глуповата, то ли болезненно застенчива, и, перепробовав несколько тем разговора, ни одной из которых она не поддержала, с горя попросил ее рассказать мне немножко обо всех, кто сидит за столом.

— Ну, доктора Нелсона вы знаете, — сказала она, указывая глазами на пожилого мужчину, сидевшего напротив меня по другую руку от миссис Брэдли. — Он опекун Ларри. Наш марвинский доктор. Ужасно умный, Он все изобретает разные приспособления для аэропланов, только никто не хочет их использовать, а в остальное время пьет.

По тому, как блеснули ее светлые глаза, когда она это говорила, я понял, что не так уж она проста. А она между тем стала перечислять мне своих сверстников, сообщая, кто их родители, а про мужчин — в каком колледже они учились и чем теперь занимаются. Это было не слишком вразумительно: «Она — прелесть», «Он хорошо играет в гольф».

— А кто вон тот великан с бровями?

— Этот? О, это Грэй Мэтюрин. У его отца в Марвине большущий дом на реке. Он наш миллионер. Мы им очень гордимся. Как-никак марка. «Мэтюрин, Хобс, Рэйнер и Смит». Он один из самых богатых людей в Чикаго, а Грэй — его единственный сын.

Она вложила в это перечисление фамилий столько тонкой иронии, что я взглянул на нее вопросительно. Заметив это, она покраснела.

— Расскажите мне еще про мистера Мэтюрина.

— Да рассказывать-то нечего. Он богат. Его все уважают. Он построил нам в Марвине новую церковь и пожертвовал миллион долларов Чикагскому университету.

— Сын его — видный молодой человек.

— Он славный. Даже не верится, что дед у него был нищий эмигрант-ирландец, а бабка — шведка, прислуживала в харчевне.

Внешность у Грэя была не столько красивая, сколько заметная. Черты грубоватые, словно бы недоделанные — тупой короткий нос, чувственный рот, ирландский румянец во всю щеку; волосы, иссиня-черные, гладко прилизаны, под густыми бровями — ясные, ярко-синие глаза. При таком мощном сложении он был очень пропорционален,

я представил его себе обнаженным и залюбовался. Сила в нем угадывалась незаурядная, это был ярко выраженный мужчина. Рядом с ним Ларри, хоть и всего дюйма на три ниже его ростом, казался тщедушным юнцом.

— Он пользуется огромным успехом, — продолжала между тем моя застенчивая соседка. — Многие девушки, я знаю, готовы чуть ли не убийство совершить, лишь бы он им достался. Но шансов у них ни малейших.

— Почему же?

— Вы, наверно, ничего не знаете?

— Откуда мне знать?

— Он до безумия влюблен в Изабеллу, а Изабелла влюблена в Ларри.

— А что ему мешает отбить ее у Ларри?

— Ларри его лучший друг.

— Это, надо полагать, усложняет дело.

— Для такого принципиального человека, как Грэй, — безусловно.

Я не был уверен, сказала она это всерьез или с чуть заметной насмешкой. В ее тоне не было ничего дерзкого или озорного, и все же у меня создалось впечатление, что она наделена и чувством юмора, и пронизательностью. Интересно было бы узнать, что у нее на уме, но я понимал, что этого мне не дождаться. Она была явно не уверена в себе, и я подумал, что, вероятно, она — единственный ребенок и всю жизнь прожила среди людей намного ее старше. Мне нравилась ее скромность и сдержанность, но если она действительно росла одиноким ребенком, то, вероятно, втихомолку наблюдала за взрослыми, которые ее окружали, и составила себе о них вполне определенное мнение. Мы, зрелые люди, и не подозреваем, как беспощадно, и притом безошибочно, судят о нас дети. Я снова глянул в ее зеленоватые глаза.

— Вам сколько лет?

— Семнадцать.

— Много ли вы читаете? — спросил я, чтобы что-нибудь спросить, но она не успела ответить, потому что миссис Брэдли, как любезная хозяйка, нашла нужным отвлечь меня каким-то замечанием, а тут и обед подошел к концу. Молодежь сразу уехала выполнять намеченную программу, а мы вчетвером опять поднялись в гостиную.

Я не совсем понимал, зачем меня пригласили на этот вечер: остальные трое чуть не с первых слов заговорили на тему, которую им, казалось бы, удобнее было обсуж-

дать без посторонних. Я уже подумывал о том, чтобы тактично встать и уйти, но меня удерживала мысль, что, может быть, я нужен им на роль беспристрастного свидетеля. Темой обсуждения было странное нежелание Ларри заняться делом, а непосредственным поводом — предложение мистера Мэтьюрина, чьего сына я видел за обедом, взять его на работу к себе в контору. Перед Ларри это открывало блестящие возможности. Можно было смело рассчитывать на то, что при должных способностях и усердии он со временем станет зарабатывать большие деньги. Грэй, его товарищ, только об этом и мечтал.

Многое из того, что тогда говорилось, я забыл, но суть разговора запомнил хорошо. Когда Ларри вернулся из Франции, доктор Нелсон, его опекун, предлагал ему поступить в университет, но Ларри отказался. Все понимали, что ему хочется передохнуть после тягот войны, к тому же он дважды был ранен, хоть и легко. Доктор Нелсон считал, что он еще не оправился — пусть отдохнет до полного выздоровления. Но недели складывались в месяцы, и пошел уже второй год, как он снял военную форму. В авиации он отличился, первое время считался в Чикаго героем, в результате чего несколько крупных фирм приглашали его на работу. Он благодарил, но отказывался. Причин он не приводил, кроме одной: он еще не решил, чем хочет заняться. Он обручился с Изабеллой. Миссис Брэдли это не удивило, поскольку они годами были неразлучны и она знала, что Изабелла в него влюблена. Сама она любила его как сына и верила, что Изабелла будет с ним счастлива.

— У нее характер сильнее, чем у него. В ней есть как раз то, чего ему недостает.

Хотя оба были так молоды, миссис Брэдли была не против того, чтобы они поженились теперь же, но с одним условием: что Ларри сперва поступит на работу. Пусть у него есть кое-какие доходы, но на этом условии она стала бы настаивать, даже будь у него в десять раз больше. Насколько я понял, она и Эллиот пытались выпытать у доктора Нелсона, каковы намерения Ларри, и просили его употребить свое влияние, чтобы заставить его принять предложение мистера Мэтьюрина.

— Вы же знаете, он никогда не прислушивался к моим советам, — отбивался тот. — Мальчишкой и то делал все по-своему.

— Знаю. Вы его запустили. Удивительно еще, как он вообще не сбился с пути.

Доктор Нелсон, немало выпивший за обедом, сердито уставился на нее. Его красная физиономия покраснела еще гуще.

— Я был занят по горло. Работы и без него хватало. Я его взял к себе, потому что ему было некуда деваться и потому что дружил с его отцом. А мальчишка был трудный.

— Не понимаю, как вы можете так говорить, — резко возразила миссис Брэдли. — У него чудесный характер.

— Что прикажете делать с парнем, который никогда не спорит, а поступает как ему заблагорассудится, а рассердишься на него, раскричишься — только говорит, что ему очень жаль и кричи, мол, сколько влезет. Будь он моим сыном, я бы его порол. Но не мог я пороть круглого сироту, да и отец мне его завещал в надежде, что я его не обижу.

— Это к делу не относится, — раздраженно прервал его Эллиот. — Сейчас положение такое: без дела он слонялся достаточно, ему предлагают прекрасную возможность продвинуться и стать обеспеченным человеком, и, если он хочет жениться на Изабелле, он должен это предложение принять.

— Он должен понять, — добавила миссис Брэдли, — что в наше время мужчина не может не работать. Он давно уже выздоровел и окреп. Все мы знаем, как после войны между штатами некоторые мужчины, вернувшись из походов, потом до конца жизни палец о палец не ударили. Были обузой в семье и совершенно бесполезны для общества.

Тут и я вставил свое слово:

— Но как он сам объясняет, что не принял всех этих лестных предложений?

— А никак. Просто говорит, что это ему не подходит.

— Но чем-то заняться ему хочется?

— Видимо, нет.

Доктор Нелсон подлил себе виски. Отхлебнул и поднял глаза на своих старых друзей.

— Сказать вам, какое у меня ощущение? Может, я не бог весть какой знаток человеческой природы, но после тридцати пяти лет практики немножко в ней разбираюсь. Это все виновата война. Ларри вернулся не таким, каким уходил. И он не просто возмужал. Что-то

с ним там случилось такое, что изменило всю его сущность.

— Что же это могло быть? — спросил я.

— Да вот не знаю. Делиться своими впечатлениями он не любит. — Доктор Нелсон повернулся к миссис Брэдли. — Вам он что-нибудь рассказывал, Луиза?

Она покачала головой.

— Нет. Сначала, когда он вернулся, мы всё расспрашивали его, как там было, а он только улыбался этой своей улыбкой и уверял, что рассказывать нечего. Он даже Изабелле не рассказывал. Уж она как старалась, но так ничего из него и не вытянула.

Мы еще поговорили, все так же невразумительно, а потом доктор Нелсон посмотрел на часы и сказал, что ему пора. Я хотел было уйти вместе с ним, но Эллиот упросил меня подождать. Когда мы остались втроем, миссис Брэдли извинилась, что надоедала мне их семейными делами, и выразила надежду, что я не очень скучал.

— Но, понимаете, меня это не на шутку заботит, — объяснила она в заключение.

— Мистер Моэм очень деликатный человек, Луиза, ему можно довериться. Я не думаю, чтобы Боб Нелсон откровенничал с Ларри, но все-таки мы с Луизой решили, что о некоторых вещах при нем лучше не упоминать.

— Эллиот!

— Ты столько ему рассказала, можно рассказать и остальное. Скажите, вы за обедом заметили Грэй Мэтьюрина?

— Он такой большой, как его не заметить.

— Он поклонник Изабеллы. Пока Ларри не было, он от нее не отходил. Он ей нравится; если бы война не кончилась, она вполне могла за него выйти. Он ей делал предложение. Она не сказала ни да, ни нет. Луиза догадалась, что она не хотела решать до возвращения Ларри.

— А почему он сам не был на войне? — спросил я.

— Перетрудил сердце футболом. Ничего страшного, но в армию его не взяли. Так или иначе, когда Ларри вернулся, его шансы свелись к нулю. Изабелла сразу ему отказала.

Не зная, какого отклика на это от меня ожидают, я промолчал. А Эллиот после паузы заговорил снова. Изысканные манеры, оксфордский выговор — ну точь-в-точь какое-нибудь высокое должностное лицо из английского министерства иностранных дел.

— Ларри, конечно, очень милый юноша и показал себя молодцом, когда сбежал и поступил в авиацию, но, уверяю вас, в людях я разбираюсь... — Он позволил себе самодовольную полуулыбку и единственный раз на моей памяти дал понять, что нажил состояние перепродажей произведений искусства. — Иначе я бы сейчас не владел толстенькой пачкой солидных акций. Так вот, я убежден, что из Ларри никогда не выйдет толку. Денег у него, можно сказать, никаких, положения тоже. Грэй Мэтьюрин — совсем другое дело. Он носит хорошую старую ирландскую фамилию. У них в роду был и епископ, и драматург, и несколько выдающихся военных и ученых.

— Откуда вам это известно? — спросил я.

— Как-то такие вещи узнаются, — ответил он уклончиво. — Да вот я только на днях просматривал в клубе Американский биографический словарь, и мне там попалась эта фамилия.

Я не считал нужным повторять то, что услышал за обедом от своей соседки про бедняка-ирландца и шведку-официантку — деда и бабушку Грэя. А Эллиот продолжал:

— Генри Мэтьюрина мы знаем много лет. Он прекрасный человек и очень богатый. Грэй поступает в лучшую маклерскую контору Чикаго. Перед ним открываются неограниченные возможности. Он хочет жениться на Изабелле, и для нее это безусловно отличная партия. Я бы лучшего не желал, и Луиза, разумеется, тоже.

— Ты слишком долго не был в Америке, Эллиот. — сказала миссис Брэдли, сухо улынувшись. — Ты забыл, что девушки здесь выходят замуж не потому, что их матери и дяди лучшего не желали бы.

— И гордиться тут нечем, Луиза, — резко отпарировал Эллиот. — Тридцатилетний опыт убедил меня в том, что брак, устроенный с должным учетом общественного и материального положения и общности интересов, имеет все преимущества перед браком по любви. Во Франции, а это в конечном счете единственная цивилизованная страна в мире, Изабелла, не задумываясь, вышла бы за Грэя, а через год-другой, если бы захотела, взяла бы Ларри в любовники. А Грэй мог бы снять роскошную квартиру и поселить там какую-нибудь известную актрису, и все были бы довольны.

Миссис Брэдли была не глупа. Она взглянула на брата весело и лукаво.

— Горе в том, Эллиот, что нью-йоркские театры приезжают сюда каждый раз ненадолго, так что обитательницы той роскошной квартиры стали бы очень уж часто сменяться, а это могло бы нарушить семейный покой.

Эллиот улыбнулся.

— Ну, Грэй мог купить место на нью-йоркской бирже. В конце концов, если уж нужно жить в Америке, то имеет смысл жить только в Нью-Йорке.

Вскоре затем я откланялся, но еще до этого Эллиот почему-то решил пригласить меня на завтрак, на который им уже были приглашены Мэтюрины, отец и сын.

— Генри — лучший тип американского бизнесмена, — сказал он. — Хорошо бы вы с ним познакомились. Он уже сколько лет советует нам, как помещать наши деньги.

Особенного желания идти у меня не было, но не было и причин отказываться. Я поблагодарил и согласился.

VII

В Чикаго мне предоставили комнату в одном клубе, располагавшем хорошей библиотекой, и на следующее утро я пошел туда посмотреть кое-какие университетские журналы, труднодоступные для тех, кто на них не подписан. Было еще рано, и в библиотеке я застал только одного посетителя. Он сидел с книгой в глубоком кожаном кресле. Я с удивлением увидел, что это Ларри. Вот уж кого я не ожидал встретить в таком месте. Он поднял голову, когда я проходил мимо него, узнал меня и хотел было встать.

— Сидите, сидите, — сказал я и спросил почти машинально: — Что хорошего читаете?

— Книжку, — ответил он с улыбкой, до того подкупающей, что этот нахальный ответ совсем не показался мне обидным.

Он закрыл книгу и, глядя на меня своими странными непрозрачными глазами, повернул ее так, чтобы мне не видно было заглавие.

— Хорошо провели вчера время? — спросил я.

— Замечательно. Домой добрался в пять часов утра.

— А сейчас уже здесь? Ну и энергия!

— Я сюда часто прихожу. Обычно в это время здесь никого не бывает.

— Ну, не буду вам мешать.

— Вы мне не мешаете, — сказал он и опять улыбнулся.

ся, и тут я подумал, что улыбка у него просто чарующая. Она не сверкала, не вспыхивала, а словно озаряла его лицо изнутри каким-то мягким светом. Он сидел в нише между полками, поставленными под углом к стене, рядом стояло второе кресло. Он коснулся его ручки.— Может быть, присядете?

— Ну что ж.

Он протянул мне свою книгу.

— Я вот что читал.

Это были «Научные основы психологии» Уильяма Джеймса. Что и говорить, это классический труд, важная веха в развитии психологической науки; к тому же это книга, которая удивительно легко читается; но странно было увидеть ее в руках у очень молодого человека, бывшего авиатора, только что протанцевавшего до пяти часов утра.

Зачем вы это читаете? — спросил я.

Я очень невежественный человек.

И очень еще молодой, — улыбнулся я.

Он молчал так долго, что я начал этим тяготиться и уже готов был встать и отправиться на розыски интересующих меня журналов. Но мне казалось, что он вот-вот что-то скажет. Он смотрел в пространство серьезно и сосредоточенно, словно о чем-то размышляя. Я ждал. Мне было интересно, что за этим кроется. Наконец он заговорил — так, словно разговор и не прерывался, словно он не заметил долгого молчания.

— Когда я вернулся из Франции, все они хотели, чтобы я поступил в университет. А я не мог. После того, что я пережил, я просто думать не мог о том, чтобы опять сесть за парту. Впрочем, я и последний год в школе почти не учился. А первокурсником просто не мог себя представить. На меня смотрели бы косо. Притворяться не тем, что я есть, я не хотел. И боялся, что меня станут обучать совсем не тому, что меня интересовало.

— Конечно, мое дело сторона, — отвечал я, — но я не уверен, что вы были правы. Кажется, я вас понял, и я согласен, что после двух лет на войне вам не улыбалось стать тем вчерашним школьником, каким студент остается и на первом, и на втором курсе. Что на вас стали бы коситься — я не верю. Я мало знаком с американскими университетами, но думаю, что американские студенты не так уж отличаются от английских, разве

что тон поглубже и развлечения попроще. Но в общем они очень порядочные и неглупые, и я думаю, что, если человек не склонен жить их жизнью и сумеет проявить немного такта, они очень скоро перестанут его замечать. Братья мои учились в Кембридже, а я нет. Имел возможность, но не захотел. Мне не терпелось окунуться в жизнь. И теперь я об этом жалею. Думаю, что университет уберет бы меня от многих ошибок. А учиться под руководством опытных преподавателей быстрее. Если некому тебя вести, то и дело упираешься в тупик и теряешь даром массу времени.

— Возможно, вы правы. Но ошибки — это ничего. А вдруг в одном из тупиков я найду что-то для себя нужное?

— А чего вы ищете?

Он чуть помедлил.

— В том-то и дело, я еще сам толком не знаю.

Я промолчал, ответить было как будто нечего. Я-то еще в очень раннем возрасте поставил перед собой вполне определенную и ясную цель, поэтому его слова меня немного рассердили, но я тут же себя одернул; чисто интуитивно я угадывал в душе этого мальчика какую-то смутную тревогу — то ли недодуманные мысли, то ли неосознанные чувства не давали ему покоя, гнали его неведомо куда. Он будил во мне непонятное сочувствие. В сущности, я разговаривал с ним впервые и только теперь оценил, какой у него мелодичный голос. Это был до странности убедительный голос, голос-бальзам. Такой голос, и подкупающая улыбка, и эти выразительные черные-пречерные глаза — да, можно было понять, чем он пленил Изабеллу. В нем и в самом деле было что-то очень пленительное. Он повернулся ко мне и спросил без тени смущения, но глядя на меня пытливо и не без лукавства:

— Правильно я думаю, когда мы вчера уехали танцевать, у вас там был разговор обо мне?

— Был и о вас.

— Я так и думал, раз уж дядю Боба вытащили обедать. Он терпеть не может бывать в гостях.

— Вам, как я понимаю, предлагают хорошее место?

— Замечательное.

— И что же вы, ответите согласием?

— Едва ли.

— Почему?

— Не хочется.

Не люблю я вмешиваться не в свое дело, но тут мне подумалось, что именно потому, что я человек посторонний, да еще приехавший из другой страны, он сам не прочь поговорить со мной.

— Существует мнение, что, когда человек ни на что иное не пригоден, он становится писателем,— усмехнулся я.

— Это не для меня. Таланта нет.

— Так что же вам хочется делать?

Он озарил меня своей чарующей улыбкой.

— Бездельничать.

— Едва ли Чикаго самое подходящее для этого место,— сказал я.— Ну, а пока я вас покину. Вы читайте, а я хочу заглянуть в «Йельский альманах».

Я встал. Когда я уходил из библиотеки, Ларри все еще читал Уильяма Джеймса. Я позавтракал в клубе один и решил еще часок посидеть в библиотеке — выкурить в тишине сигару, почитать, написать кое-какие письма. Ларри по-прежнему был погружен в свою книгу. Казалось, он так и не сдвинулся с места после нашей беседы. И в четыре часа, когда я уходил, он все еще был там. Меня поразила его усидчивость. Он не заметил, когда я вошел, когда вышел. У меня было несколько дел в городе, и в клуб я вернулся только к вечеру, переодеться, чтобы ехать обедать в отель «Блекстоун». Из чистого любопытства я по дороге опять заглянул в библиотеку. Теперь там было порядочно народу, большинство читали газеты. Ларри сидел все в том же кресле, углубившись все в ту же книгу. Чудеса!

VIII

На следующий день в ресторане отеля «Пальмер-Хаус» состоялась предложенная Эллиотом встреча с отцом и сыном Мэтьюринами. Завтракали мы только четвером. Генри Мэтьюрин был почти такого же огромного роста, как его сын, с красным мясистым лицом и таким же, как у сына, тупым, уверенным носом, но глаза у него были меньше, чем у Грэя, не такие синие и очень-очень зоркие. Было ему, очевидно, только-только за пятьдесят, но выглядел он на десять лет старше, и поредевшие волосы уже были белоснежно-седые. На первый взгляд он показался мне малопривлекательным. Впечатление было такое, что он уже много лет ни в чем себе не отказы-

вал, что это человек грубый, смекалистый, знающий свое дело и — во всяком случае в деловых вопросах — беспощадный. Сперва он говорил мало и словно задался целью меня раскусить. Эллиота, как я сразу заметил, он вообще не принимал всерьез. Грэй держался вежливо и любезно, но почти все время молчал, и настроение за столом было бы совсем никуда, если бы Эллиот с присущим ему тактом и ловкостью не занимал нас светскими разговорами. Я подумал, что в былые годы он приобрел немалый опыт обращения с дельцами Среднего Запада, когда уговаривал их заплатить бешеные деньги за картину старого мастера. Понемногу мистер Мэтюрин стал оттаивать и отпустил два-три замечания, показавших, что он умнее, чем кажется, и даже наделен суховатым чувством юмора. Разговор коснулся ценных бумаг, и я удивился бы тому, как Эллиот осведомлен в этом вопросе, если бы уже давно не пришел к выводу, что он, несмотря на свои чудачества, очень себе на уме. И тут мистер Мэтюрин вдруг заметил:

— Нынче утром я получил письмо от Грэева приятеля Ларри Даррела.

— А ты мне и не сказал, папа, — удивился Грэй. Мистер Мэтюрин обратился ко мне:

— Вы ведь знакомы с Ларри? — Я кивнул. — Грэй уломал меня взять его на работу. Они закадычные друзья. Послушать Грэя — лучше него нет человека на свете.

— И что он пишет, папа?

— Благодарит. И он, мол, понимает, какие это открывает возможности для молодого человека, и очень тщательно все обдумал, и пришел к заключению, что он бы обманул мои ожидания, так что лучше ему отказать.

— Очень глупо с его стороны, — сказал Эллиот.

— Согласен, — сказал мистер Мэтюрин.

— Мне ужасно жаль, папа, — сказал Грэй. — Так было бы здорово, если бы мы работали вместе.

— Насильно мил не будешь.

Говоря это, мистер Мэтюрин посмотрел на Грэя, и взгляд его зорких глаз смягчился. Я понял, что у этого жесткого дельца есть и вторая ипостась: он души не чаял в своем верзиле-сыне. Он опять обратился ко мне:

— Вы знаете, в воскресенье этот малый обыграл меня семь к шести. Я чуть не дал ему клюшкой по голове.

И что самое обидное — я же и научил его играть в гольф.

Гордость так и распирала его. Он начинал мне нравиться.

— Просто мне повезло, папа.

— Ничего подобного. Разве это везенье, когда человек прямо из канавы кладет мяч в шести дюймах от лунки? Тридцать пять ярдов, не меньше, вот какой это был удар. В будущем году хочу отправить его на чемпионат любителей.

— У меня на это времени не хватит.

— Это мне виднее. Не я, что ли, твой хозяин?

— Знаю, знаю. Недаром ты рвешь и мечешь, если мне случится опоздать в контору хоть на одну минуту.

Мистер Мэтюрин весело хмыкнул.

— Хочет изобразить меня деспотом, — объяснил он мне. — Вы ему не верьте. Мое дело — это я, компаньоны у меня ни к черту, делом своим я горжусь. И мало-мало своего стал натаскивать с азов, пусть продвигается постепенно, как любой наемный сотрудник, и чтобы был готов занять мое место, когда придет время. Такое дело, как у меня — это огромная ответственность. Некоторых своих клиентов я обслуживаю по тридцать лет, и они мне доверяют. Я лучше себе в убыток поступаю, лишь бы сберечь их деньги.

Грэй рассмеялся.

— Тут недавно явилась одна старушенция, хотела поместить тысячу долларов в какое-то дутое предприятие, ей, видите ли, священник присоветовал; так он отказался принять у нее распоряжение, а когда она стала спорить, так на нее наорал, что она ушла вся в слезах. А потом позвонил тому священнику и ему тоже намылил голову.

— Про нас, маклеров, много чего говорят, но маклеры-то бывают разные. Я не хочу, чтобы люди теряли деньги, я хочу, чтобы они наживались, а они, во всяком случае большинство, такое выделывают, точно у них одна забота — как бы поскорее спустить все до последнего цента.

— Ну, что вы о нем скажете? — спросил Эллиот, когда Мэтюрины укатили обратно в свою контору, а мы с ним вышли на улицу.

— Меня новые человеческие разновидности всегда

интересуют. Эта взаимная любовь отца и сына очень трогательна. В Англии такое редко встретишь.

— Он обожает сына. А вообще он — странная смесь. То, что он сказал о своих клиентах, — суцная правда. Он опекает сбережения каких-то бесчисленных старух, военных в отставке, бедных священников. Казалось бы, зачем это ему, одна морока, но его самолюбию льстит, что они так свято в него верят. Зато уж если речь идет о крупной сделке, где ему противостоят могущественные интересы, тут он может себя показать и жестким, и безжалостным. Тут от него пощады не жди. Ни перед чем не остановится, а свой фунт мяса получит. Кто ему враг, того он мало что пустит по миру, но еще и руки будет потирать от удовольствия.

Вернувшись домой, Эллиот рассказал миссис Брэдли, что Ларри отклонил предложение Генри Мэтюрина. Как раз в это время в комнату вошла Изабелла, завтракавшая у подружки. Сказали и ей. Последовал разговор, во время которого Эллиот, если верить тому, как он мне об этом рассказывал, проявил недюжинное красноречие. Хотя сам он последние десять лет не проработал и часа и хотя работа, которой он нажил себе прочный достаток, отнюдь не была изнурительной, он твердо держался того мнения, что рядовому человеку трудиться необходимо. Ларри — самый обыкновенный молодой человек, положения в обществе у него никакого, а значит, нет и причин нарушать похвальные обычаи своей родины. Такому прозорливому человеку, как Эллиот, было ясно, что Америка вступает в пору небывалого в ее истории процветания. Ларри представляется возможность оказаться среди первых, и при должном усердии он к сорока годам свободно может нажить несколько миллионов. А тогда, если он захочет удалиться от дел и вести жизнь джентльмена, скажем, в Париже на авеню дю Буа, да еще приобрести замок в Турени, — пожалуйста, он, Эллиот, ничего не имеет против.

Луиза Брэдли, со своей стороны, высказалась не столь пространно, но недвусмысленно:

— Если он тебя любит, должен быть готов для тебя поработать.

Не знаю, что ответила на все это Изабелла, но она не могла не признать, что и мать, и дядя рассуждают здраво. Все ее знакомые молодые люди либо учились, готовясь к какой-нибудь профессии, либо уже поступили на

службу. Не может же Ларри рассчитывать, что, если он отличился в авиации, этого хватит ему на всю жизнь. Война кончилась, всем она до смерти надоела, и все стараются как можно скорее про нее забыть. Разговор кончился тем, что Изабелла согласилась теперь же выяснить свои отношения с Ларри раз и навсегда. Миссис Брэдли подала мысль, чтобы она попросила Ларри свозить ее в автомобиле в Марвин. Ей нужно заказать новые занавески для тамошней гостиной, а размеры она куда-то затеряла, вот Изабелле и поручение — перемерить их заново.

— Боб Нелсон покормит вас завтраком, — добавила она.

— А еще лучше вот что, — сказал Эллиот. — Дай им корзинку с завтраком, и пусть поедят на веранде, а потом и поговорить можно.

— Это бы хорошо, — сказала Изабелла.

— Ничего нет приятнее, чем импровизированный завтрак на свежем воздухе, — назидательно произнес Эллиот. — Старая герцогиня д'Юсез говорила мне, что в такой обстановке самый строптивый мужчина и тот поддается на уговоры. Что ты им дашь на завтрак?

— Фаршированных яиц и сэндвичей с курицей.

— Глупости. Какой же это пикник без паштета? И еще, на закуску дай им креветок, заливную куриную грудку и салат латук, я его сам заправлю. А после паштета в виде уступки вашим американским вкусам — яблочный пирог.

— Я дам им фаршированных яиц и сэндвичей с курицей, Эллиот, — твердо повторила миссис Брэдли.

— Ну так помни мои слова: ничего не выйдет, и все по твоей вине.

— Ларри ест очень мало, дядя Эллиот, — сказала Изабелла. — Он, по-моему, и не замечает, что ест.

— Надеюсь, ты не ставишь ему это в заслугу, бедная моя девочка, — отозвался Эллиот.

Но миссис Брэдли не дала сбить себя с толку. Позже Эллиот рассказал мне о результатах этой поездки, пожилая плечами, как истый француз.

— Говорил я им, что ничего не выйдет. Я просил Луизу подкинуть хоть бутылку монтраше, из тех, что я прислал ей перед самой войной, но она меня не послушалась. Дала им только термос с горячим кофе. Чего же было и ждать?

А рассказал он мне, что сидел с Луизой в гостиной, когда автомобиль остановился у подъезда и Изабелла вошла в дом. Совсем недавно стемнело, занавески были задернуты, Эллиот, развалиясь в кресле, читал роман, а миссис Брэдли вышивала экран для камина. Изабелла, не заходя в гостиную, прошла к себе в спальню. Эллиот посмотрел поверх очков на сестру.

— Наверно, пошла снять шляпу, — сказала та. — Сейчас явится.

Но Изабелла не явилась. Прошло несколько минут.

— Может быть, устала и прилегла.

— А ты разве не думала, что Ларри тоже зайдет?

— Ох, Эллиот, отстань.

— Да мне что ж. Дело ваше.

Он опять уткнулся в книгу. Миссис Брэдли продолжала вышивать. Но через полчаса она вдруг встала с места.

— Посмотрю, пожалуй, как она там. Если задремала, я не стану ее тревожить.

Она вышла, но очень скоро вернулась.

— Она плакала. Ларри уезжает в Париж. На два года. Она обещала его ждать.

— Зачем ему понадобилось ехать в Париж?

— Не задавай мне вопросов, Эллиот. Я не знаю. Она мне ничего не говорит. Сказала только, что понимает и не хочет ему мешать. Я ей говорю: «Если он готов расстаться с тобой на два года, значит, не очень тебя люблю», а она: «Что же делать, главное — я-то его очень люблю». — «Даже после сегодняшнего?» — «После сегодняшнего, говорит, я его еще больше полюбила. Да и он меня любит, я уверена».

Эллиот помолчал, подумал.

— А через два года что будет?

— Говорю же тебе, не знаю.

— Очень это что-то неопределенно.

— Очень.

— Тут можно сказать только одно: оба они еще молоды. Подождать два года им не повредит, а за это время мало ли что может случиться.

Они решили пока оставить Изабеллу в покое. Вечером им предстоял званый обед.

— Я не хочу ее расстраивать, — сказала миссис Брэдли. — А то приедет туда заплаканная, еще пойдут криво-

Но на следующий день, когда они втроем позавтракали дома, миссис Брэдли вернулась к этой теме. Впрочем, легче ей от этого не стало.

— Право же, мама, я уже все тебе рассказала.

— Но что он хочет делать в Париже?

Изабелла улыбнулась — она знала, каким нелепым ее ответ покажется матери.

— Бездельничать.

— Что?! Это как же надо понимать?

— Я только передаю, что он сказал.

— Нет, с тобой всякое терпение потеряешь. Будь у тебя хоть капля гордости, ты бы тут же разорвала помолвку. Он просто над тобой издевается.

Изабелла посмотрела на колечко, которое носила на левой руке.

— А что я могу поделывать? Я его люблю.

Тут в разговор вступил Эллиот и, как всегда, проявил бездну такта — «Понимаете, дорогой, говорил с ней не как дядя с племянницей, а просто как человек, знающий жизнь, с неопытной девушкой», — но тоже ничего не добился. У меня создалось впечатление, что Изабелла предложила ему — в вежливой форме, разумеется, — не соваться не в свое дело. Рассказывал он мне об этом в тот же день ближе к вечеру, сидя у меня в номере.

— Луиза, конечно, права, — сказал он. — Все это очень неопределенно, но вот так и бывает, когда молодым людям позволяют самостоятельно устраивать свою судьбу, а для брака у них нет никаких оснований, кроме взаимной склонности. Я уговариваю Луизу не волноваться, по-моему, все устроится не так уж плохо. Ларри будет далеко, а Грэй Мэтьюрин — рядом, ну и всякому, кто хоть немножко знает людей, ясно, к чему это приведет. В восемнадцать лет чувства горячи, но не долговечны.

— Житейской мудрости у вас хватает, Эллиот, — сказал я с улыбкой.

— Недаром же я читал Ларошфуко. Что такое Чикаго — вы знаете. Они постоянно будут встречаться. Девушке такая преданность всегда льстит, да еще когда она знает, что любая ее подруга хоть завтра вышла бы за него замуж, — ну скажите сами, в человеческих ли это силах устоять против искушения восторжествовать над всеми? Все равно как ехать на вечер, когда знаешь, что будешь смертельно скучать, и вместо ужина подадут

только лимонад с печеньем; так нет же, едешь, потому что знаешь, что лучшие твои подруги отдали бы все на свете, лишь бы туда поехать, а их не пригласили.

— Ларри когда уезжает? — спросил я.

— Не знаю. Кажется, это еще не решено.

Эллиот достал из кармана длинный плоский портсигар, платиновый с золотом, и извлек из него египетскую папиросу. Всякие «Фатимы», «Честерфилды», «Кэмел» и «Лакки страйк» — это было не для него. Он посмотрел на меня и многозначительно улыбнулся.

— Конечно, Луизе я бы этого не стал говорить, но вам признаюсь: втайне я питаю к этому юноше симпатию. Я понимаю, во время войны он мельком увидел Париж, и не мне его осуждать, если он ощутил прелесть этого города, единственного города в мире для цивилизованного человека. Он молод, и ему, видно, хочется все испытать, прежде чем связать себя браком. Это очень естественно, так и должно быть. Я о нем позабочусь. Познакомлю его с кем нужно; манеры у него хорошие, несколько беглых указаний с моей стороны — и можно будет ввести его в любую гостиную. Я могу показать ему такую сторону парижской жизни, которую видят лишь очень немногие американцы. Поверьте мне, милейший, рядовому американцу куда легче попасть в царствие небесное, чем в особняк на Сен-Жерменском бульваре. Ему двадцать лет, он не лишен обаяния, и я, вероятно, мог бы устроить ему связь с женщиной постарше его. Это придало бы ему лоск. Я всегда считал, что для молодого человека лучшее воспитание — это стать любовником женщины известного возраста и, разумеется, известного круга, *une femme du monde*¹, вы меня понимаете. Это сразу упрочило бы его положение в Париже.

— А миссис Брэдли вы это говорили? — улыбнулся я. Эллиот поперхнулся смешком.

— Дорогой мой, если я чем-нибудь горжусь, так это своим тактом. Нет, ей я этого не говорил. Она, бедняжка, и не поняла бы меня. А мне в Луизе одно непонятно, как она, полжизни вращаясь в дипломатических кругах, чуть ли не во всех столицах мира, умудрилась сохранить такой безнадежно американский образ мыслей.

¹ Светской женщины (фр.).

В тот вечер я был на обеде в большом каменном доме на Набережной, производившем такое впечатление, словно архитектор начал строить средневековый замок, а достроив до половины, передумал и решил превратить его в швейцарское шале. Приглашенных было не счесть, и, войдя в огромную пышную гостиную — сплошь статуи, пальмы, канделябры, старые мастера и мягкая мебель, — я был рад увидеть хотя бы несколько знакомых лиц. Генри Мэтьюрин представил меня своей худенькой, хрупкой, сильно накрашенной жене. Миссис Брэдли и Изабелла дружески со мной поздоровались. Изабелла была прелестна, красное шелковое платье очень шло к ее темным волосам и ярко-карим глазам. Она, казалось, была в ударе, и никто бы не догадался, что только накануне она прошла через такое мучительное испытание. Ее окружало несколько молодых людей, в том числе Грэй Мэтьюрин, и она весело с ними болтала. Обедали мы за разными столами, и я ее не видел, но позже, когда мы, мужчины, просидев невесть сколько времени за кофе с ликером и сигарами, вернулись наконец в гостиную, мне удалось с нею поговорить. Я не был с ней знаком достаточно близко, чтобы прямо коснуться того, о чем рассказал мне Эллиот, но у меня была в запасе новость, которой я надеялся ее порадовать.

— На днях видел в клубе вашего молодого человека, — сказал я как бы мимоходом.

— Правда?

Говорила она так же небрежно, как я, но я заметил, что она сразу насторожилась. Глаза стали внимательные и как будто испуганные.

— Он был в библиотеке, читал, — продолжал я. — Меня поразила его усидчивость. Он читал, когда я пришел туда в начале одиннадцатого, читал, когда я вернулся после завтрака, и все еще читал, когда я заглянул туда перед самым обедом. Очевидно, он часов десять подряд просидел в этом кресле.

— А что он читал?

— «Научные основы психологии» Уильяма Джеймса.

Она не смотрела на меня, так что трудно было судить,

как мои слова были восприняты, но почему-то мне показалось, что они и озадачили ее, и успокоили. Тут хозяин дома потащил меня играть в бридж, а когда мы кончили играть, Изабелла с матерью уже уехали.

Х

Через несколько дней я зашел к миссис Брэдли проститься с ней и с Эллиотом. Я застал их за чаем. Вскоре после меня явилась Изабелла. Мы побеседовали о предстоящем мне путешествии. Я поблагодарил их за то, как любезно они приняли меня в Чикаго, и, просидев, сколько нужно, поднялся с места.

— Я дойду с вами до аптеки, — сказала Изабелла. — Я забыла купить там одну вещь.

Последнее, что я услышал от миссис Брэдли, было:

— Когда увидите дорогую королеву Маргариту, не забудьте передать от меня привет, хорошо?

Я уже отчаялся внушить ей, что не знаком с этой коронованной особой, и без запинки ответил, что передам непременно.

Выйдя на улицу, Изабелла лукаво поглядела на меня и спросила:

— Вы как, способны выпить содовой с мороженым?

— Попробую, — ответил я осторожно.

До самой аптеки Изабелла молчала, мне тоже было нечего сказать. Мы вошли и сели за столик, на стулья с гнутой проволочной спинкой и гнутыми проволочными ножками, очень неудобные. Я заказал две порции содовой с мороженым. У прилавка стояло несколько покупателей, еще две-три пары сидели за столиками, но они были заняты своими разговорами, так что мы оказались все равно что одни. Я закурил и стал ждать, пока Изабелла с довольным видом тянула напиток через длинную соломинку. Она, видимо, нервничала.

— Мне нужно было с вами поговорить, — начала она вдруг.

— Я так и понял, — улыбнулся я.

— Почему вы в тот вечер у Саттеруэйтов сказали мне это про Ларри?

— Думал, вам будет интересно. Я не был уверен, хорошо ли вы себе представляете, что Ларри понимает под словом «бездельничать».

— Дядя Эллиот ужасный сплетник. Когда он сказал, что идет к вам в гостиницу поболтать, я сразу поняла, что он вам все обо всем расскажет.

— Не забудьте, мы с ним давно знакомы. Его хлебом не корми, дай только посудачить о чужих делах.

— Это верно.— Она улыбнулась, но это был лишь проблеск, глаза ее оставались серьезными.— Что вы скажете о Ларри?

— Я видел его всего три раза. По-моему, очень славный мальчик.

— И это все?

В голосе ее прозвучало разочарование.

— Нет, почему же. Мне, знаете ли, трудно сказать, ведь я его почти не знаю. Но, конечно, в нем много привлекательного: какая-то скромность, мягкость, дружелюбие... И в нем чувствуется редкое для его возраста самообладание. Чем-то он отличается от всех молодых людей, которых я здесь встречал.

Пока я подыскивал слова, чтобы выразить впечатление, мне самому не совсем ясное, Изабелла не сводила с меня глаз. Когда я умолк, она чуть вздохнула, словно бы с облегчением, а потом подарила меня очаровательной шаловливой улыбкой.

— Дядя Эллиот говорит, что часто дивился вашей наблюдательности. Он говорит, что вы буквально все замечаете, но что главное ваше достоинство как писателя — здравомыслие.

— Я мог бы назвать более ценное качество, — отозвался я сухо.— Например, талант.

— Понимаете, мне не с кем это обсудить. Мама смотрит на все только со своей точки зрения. Она хочет, чтобы мое будущее было обеспечено.

— Что ж, это естественно.

— А для дяди Эллиота значение имеет только положение в обществе. А мои друзья, то есть мои сверстники, считают, что Ларри — жалкий неудачник. Это ужасно обидно.

— Еще бы.

— Они не то что плохо к нему относятся. К нему нельзя относиться плохо. Но они не принимают его всерьез. Они все время его поддразнивают, а ему хоть бы что, он только смеется, и это выводит их из себя. Как сейчас обстоит дело, вы знаете?

— Только со слов Эллиота.

— Можно, я вам расскажу, что на самом деле произошло, когда мы ездили в Марвин?

— Разумеется.

Этот эпизод я частью восстановил по воспоминаниям о том, что она мне тогда рассказала, частью домыслил сам. Но разговор у них с Ларри был долгий, и сказано было, несомненно, гораздо больше того, что будет воспроизведено ниже. Думаю, что они, как всегда бывает в таких случаях, не только наговорили много такого, что не относилось к делу, но и без конца повторяли одно и то же.

Проснувшись утром и убедившись, что погода прекрасная, Изабелла позвонила Ларри, сказала, что мать посылает ее в Марвин с поручением, и просила свозить ее туда в автомобиле. На всякий случай она добавила термос с мартини к тому термосу с кофе, который миссис Брэдли велела Юджину уложить в корзинку. Машина у Ларри была новенькая, и он очень ею гордился. Он любил ездить быстро, от бешеной скорости настроение у обоих поднялось. Когда они приехали, Изабелла перемерила занавески, подлежавшие замене, а Ларри записал нужные данные. Потом они устроились завтракать на веранде. Она была защищена от ветра, а солнце бабьего лета приятно пригревало. К дому вела грунтовая дорога, он выглядел отнюдь не нарядно, не то что старые деревянные дома в Новой Англии, и похвалиться мог разве что тем, что был поместительный и удобный; но с веранды открывался вид на длинный красный сарай с черной крышей, купу старых деревьев и необозримые бурные поля. Скучный вид, но в тот день солнце и яркие осенние краски придавали ему какую-то интимную прелесть. В этих огромных пространствах было что-то бодрящее. Зимой тут, наверно, было холодно, неприятно, уныло, знойным летом сухо, выжжено, нечем дышать, но в эту пору ландшафт веселил душу, самая безбрежность его манила в неведомые дали.

Они позавтракали с аппетитом, как свойственно молодости, им было хорошо вдвоем. Изабелла разлила кофе, Ларри закурил трубку.

— Ну, приступай, дорогая, — сказал он, лукаво улыбаясь глазами.

— К чему приступать? — спросила она, по мере сил разыгрывая удивление.

Он усмехнулся.

— Ты меня совсем уж за дурака принимаешь? Голову даю на отсечение, что ширина и высота ваших окон в

гостиной твоей маме отлично известна. Не для этого ты просила меня сюда съездить.

Овладев собой, она улыбку ей ослепительной улыбкой.

— Может быть, я подумала, что хорошо бы нам с тобой провести денек наедине.

— Может быть, но едва ли. Скорее я подозреваю, что дядя Эллиот тебе сказал, что я отклонил предложение Генри Мэтьюрина.

Говорил он легко и весело, и она решила отвечать ему в тон.

— Грэй, должно быть, ужасно разочарован. Ему так хотелось, чтобы вы работали вместе. Когда-то ведь нужно начинать, а чем дольше откладывать, тем будет труднее.

Он попыхивал трубкой, ласково ей улыбаясь, и она не могла разобрать, шутит он или говорит серьезно.

— А мне, знаешь ли, сдается, что я вовсе не мечтаю всю жизнь торговать ценными бумагами.

— Ну хорошо, тогда поступи в обучение к юристу или на медицинский.

— Нет, это тоже не для меня.

— Так чего же тебе хочется?

— Бездельничать, — отвечал он спокойно.

— Не дури, Ларри. Это ведь очень-очень серьезно.

Голос ее дрогнул, глаза наполнились слезами.

— Не плачь, родная. Я не хочу тебя терзать.

Он пересел к ней ближе, обнял ее за плечи. В голосе его было столько ласки, что она не могла сдержать слезы. Но тут же вытерла глаза и заставила себя улыбнуться.

— Говоришь, что не хочешь меня терзать, а сам терзаешь. Пойми, ведь я тебя люблю.

— И я тебя люблю, Изабелла.

Она глубоко вздохнула. Потом сбросила с плеча его руку и отодвинулась.

— Давай говорить как взрослые люди. Мужчина должен работать, Ларри. Хотя бы из самоуважения. Мы — молодая страна, и долг мужчины — участвовать в ее созидательной работе. Генри Мэтьюрин только на днях говорил, что мы вступаем в такую пору, рядом с которой все достижения прошлого — ничто. Он сказал, что возможности развития у нас беспредельные, и он убежден, что к тысяча девятьсот тридцатому году мы будем самой богатой и самой великой страной во всем мире. Ведь это ужасно интересно, правда?

— Ужасно.

— Перед молодыми открыты все дороги. Тебе бы надо гордиться, что ты можешь принять участие в работе, которая нас ждет. Это так увлекательно.

— Наверно, ты права, — отвечал он смеясь. — Армор и Свифт будут выпускать все больше мясных консервов все лучшего качества, а Маккормик — все больше жнеек, а Генри Форд — все больше автомобилей. И все будут богатеть и богатеть.

— А почему бы и нет?

— Вот именно, почему бы и нет. Но меня, понимаешь, деньги не интересуют.

Изабелла фыркнула.

— Дорогой мой, не говори глупостей. Без денег не проживешь.

— Немножко у меня есть. Это и позволяет мне делать, что я хочу.

— То есть бездельничать?

— Да, — улыбнулся он.

— Ох, Ларри, с тобой так трудно говорить, — вздохнула она.

— Мне очень жаль, но тут я бессилен.

— Неправда.

Он покачал головой. Помолчал, о чем-то задумавшись. Когда же наконец заговорил, то сказал нечто совсем уж несуразное.

— Мертвецы, когда умрут, выглядят до ужаса мертвыми.

— Что ты хочешь этим сказать? — спросила она растерянно.

— Да то, что сказал, — ответил он с виноватой улыбкой. — Когда находишься в воздухе совсем один, есть время подумать. И всякие странные мысли лезут в голову.

— Какие мысли?

— Туманные, — улыбнулся он. — Бессвязные. Путаные.

Изабелла обдумала его слова.

— А тебе не кажется, что, если б ты стал работать, они бы прояснились и ты бы разобрался в себе?

— Я думал об этом. Я уже прикидывал, может, пойти работать плотником или в гараж.

— О господи, Ларри, да люди подумают, что ты помешался.

— А это имеет значение?

— Для меня — да.

Опять наступило молчание. На этот раз первой заговорила она.

— Ты так изменился после Франции.

— Неудивительно. Со мной там много чего случилось.

— Например?

— Ну, что всегда бывает на войне. Один авиатор, мой лучший друг, спас мне жизнь, а сам погиб. Это было нелегко пережить.

— Расскажи.

Он посмотрел на нее с тоской в глазах.

— Не хочется мне об этом говорить. Да в общем такое каждый день случалось.

Изабелла, отзывчивая душа, опять чуть не заплакала.

— Ты несчастлив, милый?

— Нет, — улыбнулся он. — Если несчастлив, так только оттого, что делаю тебе больно. — Он взял ее за руку, и в прикосновении его крепкой, сильной руки было что-то до того дружеское, до того бережное и нежное, что она прикусила губу, чтобы не разрыдаться. — Скорее всего, я так и не успокоюсь, пока окончательно для себя все не решу, — сказал он задумчиво. — Ужасно трудно выразить это словами. Только начнешь — и сбиваешься. Говоришь себе: «Кто я такой, чтобы копаться в этих сложностях? Может, я просто возомнил о себе? Не лучше ли идти проторенной дорожкой, а там будь что будет?» А потом вспомнишь парня, который час назад был полон жизни, а теперь лежит мертвый, и так все покажется жестоко и нелепо. Поневоле задаешься вопросом, что такое вообще жизнь, и есть ли в ней какой-то смысл или она — всего лишь трагическая ошибка незрячей судьбы.

Невозможно было остаться спокойной, когда Ларри говорил этим своим особенным голосом, говорил запинаясь, словно против воли, но с такой щемящей искренностью. Изабелла не сразу нашла в себе силы заговорить.

— А тебе не стало бы легче, если бы на время уехать?

Она задала этот вопрос с замиранием сердца. Он долго не отвечал.

— Вероятно, стало бы. Я очень стараюсь относиться безразлично к тому, что обо мне думают, но это нелегко. Когда тебя осуждают, сам начинаешь осуждать других и делаешься себе противен.

— Так почему ж ты не уезжаешь?

— Из-за тебя, конечно.

— Не будем прятаться друг от друга, милый. Сейчас в твоей жизни для меня нет места.

— Это что значит, что ты расхотела быть со мной помолвленной?

Она заставила себя улыбнуться дрожащими губами.

— Нет, глупенький, это значит, что я согласна ждать.

— Может быть, год, может быть, два?

— Ничего. Может быть, и меньше. Ты куда поедешь?

Он посмотрел на нее пристально, словно хотел заглянуть ей в самое сердце. Она опять улыбнулась, чтобы скрыть отчаяние.

— Для начала я бы поехал в Париж. Я там никого не знаю. Никто не станет соваться в мою жизнь. Я несколько раз туда ездил в отпуск. Не знаю почему, я вбил себе в голову, что там все мои недоумения прояснятся. Это удивительный город, он рождает ощущение, что там можно без помехи додумать свои мысли до конца. Мне кажется, там я смогу понять, как мне жить дальше.

— А если не сможешь, тогда что?

Он усмехнулся.

— Тогда я вспомню, что, как всякий американец, наделен здравым смыслом, плюну на все, вернусь в Чикаго и возьмусь за любую работу, какую смогу получить.

Эта сцена так повлияла на Изабеллу, что она и рассказывать об этом не могла без волнения, а закончив, устремила на меня жалобный взгляд.

— Как по-вашему, я правильно поступила?

— По-моему, иначе вы поступить не могли, но вы к тому же выказали большую доброту, великодушие и понимание.

— Я его люблю и хочу, чтобы ему было хорошо. И знаете, в каком-то смысле я рада, что он уедет. Я хочу, чтобы он вырвался из этой враждебной атмосферы, и не только ради него хочу, но и ради себя. Я не могу осуждать людей, которые говорят, что из него ничего не выйдет. Я их за это ненавижу, а в глубине души боюсь, как бы они не оказались правы. Но насчет понимания это вы зря. Я абсолютно не понимаю, что ему нужно.

— Может быть, понимаете не столько разумом, сколько сердцем, — улыбнулся я. — А почему бы вам не выйти за него замуж теперь же и не уехать с ним в Париж? В ее глазах мелькнула тень улыбки.

— Я бы с радостью. Но нет, не могу. И знаете, хоть и тяжело это сознавать, но я почти уверена, что без меня ему будет лучше. Если доктор Нелсон прав и у него это действительно затянувшиеся последствия военной травмы, тогда новая обстановка и новые интересы безусловно помогут ему вылечиться, а когда он снова придет в равновесие, то вернется в Чикаго и станет работать, как все. Я не хочу, чтобы мой муж сидел сложа руки.

Изабелла получила соответствующее воспитание и твердо усвоила правила, которые ей внушали с детства. О деньгах она не думала, потому что ей никогда не случилось в чем-либо себе отказывать, но инстинктом чувствовала, как много они значат. Деньги — это власть, влияние, общественный вес. И вполне естественно и очевидно, что обязанность мужчины — их наживать. В этом и должна состоять его работа.

— Меня не удивляет, что вы не понимаете Ларри, — сказал я, — потому что он, как мне кажется, сам себя не понимает. Если он избегает говорить о своей цели в жизни, так это, возможно, потому, что ясной цели у него и нет. Правда, я его почти не знаю и это только догадки, но что, если он сам не знает, чего ищет, и даже не уверен, есть ли чего искать? Может быть, то, что случилось с ним на войне, начисто лишило его душевного покоя. Может, он стремится к какому-то идеалу, скрытому за туманом неизвестности, — как астроном ищет звезду, о существовании которой судит только по математическим вычислениям.

— Я чувствую, что что-то все время его угнетает.

— Может быть, собственная душа? Может быть, он сам себя немного боится. Может быть, не убежден в подлинности того, что смутно прозревает внутренним оком.

— Он иногда производит на меня такое странное впечатление — как лунатик, который вдруг проснулся в каком-то незнакомом месте и не может сообразить, куда он попал. До войны он был такой нормальный. В нем чувствовался такой неумный вкус к жизни. Он был такой веселый, беззаботный, с ним было так легко, такой был смешной и милый. Что могло его до такой степени изменить?

— Трудно сказать. Иногда какая-нибудь мелочь способна оказать на нас действие, совершенно несообразное с ее фактическим значением. Все зависит от обстановки и от нашего настроения в ту минуту. Помню, я как-то в День Всех Святых, французы называют его Днем Помино-

вения Мертвых, пошел к обедне в деревенскую церковь, которую немцы порядком повредили во время своего первого вторжения во Францию. Церковь была полна солдат и женщин в черном. На кладбище выстроились рядами низкие деревянные кресты, и, пока шла служба, торжественная и печальная, и женщины плакали, да и мужчины тоже, мне подумалось, что, может быть, тем, кто лежит под этими крестами, лучше, чем нам, живым. Я поделился этой мыслью с одним знакомым, и он спросил, что я имею в виду. Объяснить я не мог, и он, конечно же, счел меня идиотом. А еще помню, как-то после боя я видел трупы французских солдат, сложенные в большую кучу. Они напомнили мне марионеток, которых прогоревший актер-кукольник свалил как попало в пыльный угол, потому что они ему больше не нужны. И тогда я подумал то самое, что вам сказал Ларри: мертвецы выглядят до ужаса мертвыми.

Я не хочу внушить читателю, будто нарочно делаю тайну из того, что случилось с Ларри на войне и так сильно его потрясло, с тем чтобы в удобный момент эту тайну раскрыть. Вероятнее всего, он так никому и не рассказал об этом. Правда, много лет спустя он рассказал одной женщине, Сюзанне Рувье, которую мы оба знали, про того молодого пилота, который погиб, спасая ему жизнь. Она пересказала это мне, так что я знаю об этом только из вторых рук, и ее рассказ, как он мне запомнился, перевозжу теперь с французского. По ее словам, выходило, что во Франции Ларри крепко подружился с одним малым, служившим в той же эскадрилье. Имени его Сюзанна не знала, помнила только шутовскую кличку, которой его называл Ларри.

«Он был небольшого росточку, рыжий, — говорил Ларри. — Ирландец. Мы окрестили его Патси. Живчик был, каких мало. Энергия из него так и перла. Физиономия у него была забавная и ухмылка забавная, при одном взгляде на него смех разбирал. Дисциплины он не признавал, проказничал напропалую, начальники его чуть не каждый день распекали. Он не знал, что такое страх, и, побывав на волосок от смерти, только ухмылялся во весь рот, точно в ответ на хорошую шутку. Но авиатор он был божьей милостью и в воздухе проявлял и выдержку, и осторожность. Он многому меня научил. Он был чуть постарше меня и оказывал мне покровительство. Очень это было смешно, потому что я был выше его ростом дюймов на шесть и,

если б нам случилось сцепиться, в два счета его уложил бы. Один раз в Париже я так и сделал, потому что он был пьян и я боялся, что он влипнет в неприятную историю.

В эскадрилье я сначала не мог освоиться, боялся, что буду хуже всех, так он одними насмешками заставил меня поверить в свои силы. Войну он как-то не принимал всерьез, ненависти к немцам у него не было. Но подраться был не прочь и в воздушный бой вступал с превеликим удовольствием. Сбивая немецкий аэроплан, он при всем желании не мог в этом усмотреть ничего, кроме хорошей шутки. Он был нахальный, отчаянный, беспардонный, но было в нем что-то такое до того настоящее, что его нельзя было не любить. Отдавал последнее с такой же легкостью, как и брал. А если одолеет тебя тоска по родине или страх, как со мной бывало, сразу заметит, скорчит хитрую рожу и такое скажет, что живо приведет тебя в чувство».

Ларри затянулся трубкой, а Сюзанна молча ждала, что будет дальше.

«Мы с ним ловчили, чтобы одновременно получать увольнительные, и в Париже он совсем с цепи срывался. Мы здорово проводили там время. В начале марта, в восемнадцатом это было, нас как раз обещали отпустить на несколько дней, и мы заранее составили план кампании. Каких только развлечений себе не придумали. Накануне того дня нас послали облетать вражеские позиции и донести обо всем, что увидим. Вдруг откуда ни возьмись несколько германских аэропланов, и не успели мы оглянуться, как завязался бой. Один из них погнался за мной, но я стал стрелять первым. Хотел проверить, сбил я его или нет, и тут краем глаза увидел у себя на хвосте второго. Я спикировал, чтобы уйти от него, но он мгновенно меня настиг, и я уж думал, что мне крышка; но тут Патси коршуном налетел на него и всыпал ему как следует. Этого с них хватило, они от нас отстали, а мы повернули домой. Мою машину здорово покорежило, я еле дотянул. Патси сел первым. Когда я выбрался из кабины, его только что вынесли и положили на землю. Ждали санитарную машину. При виде меня он ухмыльнулся.

«Дал я тому мерзавцу, что висел у тебя на хвосте», — сказал он.

«А что с тобой, Патси?» — спросил я.

«Да пустяки. Он меня малость подбил».

Он был бледен как смерть. И вдруг лицо его странно изменилось. Он почувствовал, что умирает, а до этого

такая возможность даже не приходила ему в голову. Он рывком приподнялся — его не успели удержать. Засмеялся, сказал: «О черт, надо же», — и упал мертвый. Ему было двадцать два года. В Ирландии его ждала невеста».

Через день после моего разговора с Изабеллой я уехал в Сан-Франциско, откуда мне предстояло плыть на Дальний Восток.

ГЛАВА ВТОРАЯ

I

С Эллиотом я увиделся только в июне следующего года, когда он приехал в Лондон. Я спросил про Ларри, попал ли он в конце концов в Париж. Да, попал. Раздражение, с каким говорил о нем Эллиот, меня слегка позабавило.

— Я ведь втайне питал к этому мальчику симпатию. Я не осуждал его желания провести годик-другой в Париже и был готов служить ему ментором. Я сказал ему, чтобы, как придет, немедленно меня известил, но о приезде его узнал только из письма Луизы. Я написал ему до востребования на агентство «Америкен экспресс», такой адрес дала мне Луиза, и пригласил его к себе на обед, чтобы кое с кем познакомить. Для начала я наметил нескольких дам из франко-американского круга — ну, например, Эмили Монтадур и Грэси де Шато-Гайар. Так знаете, что он мне ответил? Что приехать не может, потому что не привез с собой ни фрака, ни визитки.

Эллиот посмотрел на меня в упор, ожидая прочесть на моем лице изумление и ужас. Убедившись же, что я принял его сообщение спокойно, он презрительно вздернул брови.

— Он ответил мне на листке дешевой бумаги со штампом какого-то кафе в Латинском квартале. Я опять написал, просил дать мне знать, где он остановился. Я чувствовал себя обязанным как-то помочь ему ради Изабеллы и еще подумал, что он, может быть, стесняется. Понимаете, я просто не мог поверить, что молодой человек, если он не сумасшедший, мог приехать в Париж без вечерних костюмов, да, впрочем, и в Париже есть

вполне приличные портные, и я пригласил его на завтрак, сказав, что народу будет совсем мало, а он — хотите — верьте, хотите — нет — не только оставил без внимания мою просьбу сообщить какой-нибудь адрес, кроме «Американ экспресс», но написал, что днем никогда не завтракает. После этого я поставил на нем крест.

— Интересно, как он проводит время.

— Не знаю, да, по правде сказать, и знать не хочу. Боюсь, что иметь с ним дело нежелательно и со стороны Изабеллы было бы серьезной ошибкой выйти за него замуж. Ведь если бы он вел нормальный образ жизни, я бы неизбежно встретил его в баре отеля «Риц», или у Фуке, или еще где-нибудь.

Я и сам заглядывал иногда в эти фешенебельные рестораны, но заглядывал и в другие, и в начале осени того же года как раз провел несколько дней в Париже по пути в Марсель, откуда собирался отплыть в Сингапур на одном из пароходов компании Мессажери. Как-то вечером я обедал с знакомыми на Монпарнасе, а после обеда мы зашли в кафе «Купол» выпить пива. Обводя взглядом террасу, я увидел Ларри, он сидел один за мраморным столиком и поглядывал на прохожих, наслаждавшихся вечерней прохладой после душного дня. Я извинился перед своими спутниками и подошел к нему. При виде меня лицо его оживилось, он приветливо мне улыбнулся и пригласил присесть, но я сказал, что не могу, так как я не один.

— Я просто хотел с вами поздороваться.

— Вы здесь надолго?

— Всего на несколько дней.

— Может быть, позавтракаем вместе завтра?

— А я думал, вы днем не завтракаете.

Он усмехнулся.

— Понятно, с Эллиотом вы уже виделись. Да, обычно не завтракаю, времени жалко, выпью стакан молока с бриошем, и все, но вас мне захотелось пригласить.

— Ну что ж.

Мы сговорились, что на следующий день встретимся тут же, выпьем по аперитиву, а потом позавтракаем где-нибудь поблизости. Я вернулся к своему столу. Мы еще посидели, поговорили, а когда я опять хотел найти глазами Ларри, оказалось, что он уже ушел.

Следующее утро прошло очень приятно. Я поехал в Люксембургский дворец и провел там час перед некоторыми из своих любимых картин. Потом погулял по саду, воскрешая воспоминания молодости. Здесь ничего не изменилось. Словно те же студенты ходили парами по дорожкам, горячо обсуждая писателей, волновавших их умы. Словно те же дети катали те же серсо под бдительным надзором тех же нянек. Словно те же старики грелись на солнышке, читая утренние газеты. Словно те же пожилые женщины в трауре сидели на скамейках и обменивались мнениями о ценах на мясо и кознях прислуги. Потом я пошел к театру «Одеон», поглядел, какие книжные новинки выставлены на галереях, и увидел молодых людей, которые так же, как я тридцать лет назад, под недовольными взглядами продавцов в синих блузах норовили прочесть возможно больше страниц из книг, недоступных для их тощего кошелька. Потом по милым моему сердцу невзрачным улицам я выбрался на бульвар Монпарнас и так дошел до «Купола». Ларри меня ждал. Мы выпили и отправились в ресторанчик, где можно было поесть на воздухе.

Ларри, пожалуй, немного осунулся с тех пор, как я видел его в Чикаго, так что его темные глаза в глубоких глазницах казались совсем черными, но держался он с тем же самообладанием, удивительным в столь молодом человеке, и улыбался так же неотразимо. Когда он заказывал завтрак, я заметил, что по-французски он говорит свободно и без акцента. Я похвалил его за это.

— Немножко я знал французский и раньше, — объяснил он. — У Изабеллы была гувернантка-француженка, и, когда они жили в Марвине, она заставляла нас весь день говорить по-французски.

Я спросил, нравится ли ему Париж.

— Очень нравится.

— Вы живете на Монпарнасе?

— Да, — ответил он после едва заметной паузы, которую я истолковал как нежелание высказаться точнее.

— Эллиота серьезно огорчило, что вы не дали ему никакого адреса, кроме «Америкен экспресс».

Он улыбнулся, но промолчал.

— Как вы проводите время?

— Бездельничая.

— Читаете?

— Да, читаю.

— С Изабеллой переписываетесь?

— Изредка. Писать письма мы оба ленимся. Она вовсе веселится в Чикаго. Будущей осенью они с тетей Луизой приедут к Эллиоту погостить.

— Рад за вас.

— Изабелла, по-моему, никогда не была в Париже. Забавно будет все ей здесь показать.

Он расспросил меня о моем путешествии в Китай и слушал мои рассказы внимательно, но навести разговор на него самого мне не удалось. Он так упорно отмалчивался, что я поневоле заключил, что пригласил он меня с единственной целью побыть в моем обществе, это было и лестно, и непонятно. Не успели мы допить кофе, как он подозвал официанта, расплатился и встал.

— Ну, мне надо бежать.

Мы расстались. Ничего нового я о нем так и не узнал и больше его не видел.

III

Когда миссис Брэдли с Изабеллой уже весной, раньше, чем было намечено, приехали к Эллиоту в гости, меня в Париже не было; и снова я вынужден призвать на помощь воображение, рассказывая о том, что произошло за те несколько недель, что они там провели. Пароход доставил их в Шербур, и Эллиот, любезный, как всегда, встретил их на пристани. Они прошли таможенный досмотр. Поезд тронулся. Эллиот не без самодовольства сообщил, что нанял для них очень хорошую горничную, и, когда миссис Брэдли сказала, что это лишнее, что горничная им не нужна, он строго отчитал ее.

— Что это такое в самом деле, Луиза, не успела приехать, как уже споришь. Без горничной вам не обойтись, и Антуанетту я нанял, заботясь не только о вас, но и о себе. Для меня очень важно, как вы будете выглядеть.

Он окинул их дорожные костюмы неодобрительным взглядом.

— Вы, конечно, захотите купить новых платьев. По зрелом размышлении я решил, что лучше всего вам подойдет Шанель.

— Раньше я всегда одевалась у Ворга,— сказала миссис Брэдли.

Он пропустил ее слова мимо ушей.

— Я сам переговорил с Шанель, и мы условились, что вы будете там завтра в три часа. Затем шляпы. Тут я рекомендую Ребу.

— Я не хочу много тратить, Эллиот.

— Знаю. Все расходы я беру на себя. Вы должны быть одеты так, чтобы я мог вами гордиться. И еще вот что, Луиза, я подготовил для вас несколько интересных вечеров, и я говорю моим друзьям, что Мирон был послан — он, конечно, и был бы послан, проживи он немного дольше, а звучит это эффектнее. Вероятно, речь об этом и не зайдет, но я решил тебя предупредить.

— Чудак ты, Эллиот.

— Вовсе нет. Я знаю жизнь. И знаю, что вдова посла в глазах людей значит больше, чем вдова советника посольства.

Когда показался Северный вокзал, Изабелла, стоявшая у окна, воскликнула:

— А вот и Ларри!

Едва поезд остановился, она соскочила на платформу и побежала ему навстречу. Он обнял ее.

— Откуда он узнал о вашем приезде? — ледяным тоном спросил Эллиот.

— Изабелла послала ему радиogramму с парохода.

Миссис Брэдли расцеловала его, а Эллиот волей-неволей протянул ему руку. Было десять часов вечера.

— Дядя Эллиот, можно Ларри прийти к нам завтра ко второму завтраку? — Она повисла у Ларри на руке, лицо ее светилось, глаза сияли.

— Я был бы очень рад, но он дал мне понять, что днем не завтракает.

— Ну, завтра позавтракает, правда, Ларри?

— Правда,— улыбнулся он.

— Тогда милости прошу к часу дня.

Он снова протянул руку, как бы прощаясь, но Ларри ответил ему откровенной усмешкой.

— Я помогу с багажом и приведу вам такси.

— Мой автомобиль ждет, а о багаже позаботится мой лакей,— произнес Эллиот с достоинством.

— Чудесно. Тогда можно ехать. Если для меня найдется место, я доеду с вами до вашего дома.

— Да, Ларри, обязательно,— сказала Изабелла.

Они пошли по перрону рядом, а Эллиот с сестрой чуть позади. Лицо Эллиота выражало холодное осуждение.

— *Quelles manières!*, — пробормотал он, ибо в некоторых случаях считал уместным выражать свои чувства по-французски.

На следующее утро в одиннадцать часов он закончил свой туалет (рано вставать он не любил), после чего через своего лакея Жозефа и горничную Антуанетту послал сестре записку с просьбой прийти в библиотеку побеседовать без помехи. Когда она пришла, он старательно прикрыл дверь, закурил папиросу в очень длинном ага-товом мундштуке и сел.

— Насколько я понял, Ларри и Изабелла все еще считаются женихом и невестой?

— Как будто так.

— К сожалению, я могу тебе сообщить о нем мало хорошего. — И он рассказал сестре, как готовился ввести Ларри в общество, как собирался устроить его подобающим образом. — Я даже присмотрел одну холостую квартиру, которая подошла бы ему как нельзя лучше. Ее снимает молодой маркиз де Ретель, но он хотел ее сдать от себя, потому что получил назначение в посольство в Мадриде.

Но Ларри отклонил его предложение, ясно дав понять, что в его помощи не нуждается.

— Какой смысл приезжать в Париж, если не хочешь взять от Парижа то, что он может дать, — это выше моего понимания. Мне неизвестно, где и как он проводит время. По-моему, он ни с кем не знаком. Вы хоть знаете, где он живет?

— Он дал только этот адрес — «Американ экспресс».

— Как коммивояжер или школьный учитель на каникулах. Я не удивился бы, узнав, что он живет с какой-нибудь гризеткой в студии на Монмартре.

— Эллиот!!

— А как иначе объяснить, что он скрывает свое местожительство и не желает общаться с людьми своего круга?

— Непохоже это на Ларри. А вчера разве тебе не показалось, что он чуть не больше прежнего влюблен в Изабеллу? Не мог бы он так притворяться.

Эллиот только пожал плечами, как бы говоря, что мужскому коварству нет предела.

¹ Какие манеры (фр.).

— А как там Грэй Мэтюрин, еще не отступился?

— Он женился бы на Изабелле хоть завтра, если б она согласилась.

И тут миссис Брэдли рассказала, почему они приехали в Европу раньше, чем предполагали. Она стала плохо себя чувствовать, и врачи нашли у нее диабет. Форма нетяжелая, и при должной диете и умеренных дозах инсулина она вполне может прожить еще много лет, но сознание, что она больна неизлечимой болезнью, усилило ее тревогу за будущее дочери. Они все обговорили. Изабелла проявила благоразумие. Она согласилась, что, если Ларри и после двух лет в Париже откажется вернуться в Чикаго, тогда останется одно — порвать с ним. Но самой миссис Брэдли представлялось обидным дожидаться назначенного срока, а потом увозить его обратно на родину, точно преступника, скрывающегося от правосудия. И для Изабеллы это значило бы поставить себя в унижительное положение. Зато ничего не могло быть естественнее, чем провести лето в Европе, где Изабелла не бывала с детства. Они поживут в Париже, потом поедут на какой-нибудь курорт, где миссис Брэдли сможет полечиться водами, оттуда ненадолго в Австрийский Тироль, и дальше не спеша по Италии. В планы миссис Брэдли входило пригласить в это путешествие Ларри, чтобы дать им с Изабеллой возможность проверить, не изменились ли их чувства под влиянием долгой разлуки. Тут уж окончательно выяснится, готовы ли Ларри, порезвившись на воле, стать взрослым человеком, ответственным за свои поступки.

— Генри Мэтюрин был очень на него сердит, когда он отказался от предложенного места, но Грэй уломал его, и Ларри, если захочет, будет принят к нему в контору, как только вернется в Чикаго.

— Славный малый этот Грэй.

— Еще бы, — вздохнула миссис Брэдли. — С ним-то Изабелла была бы счастлива, это я знаю.

Затем Эллиот рассказал ей, какие развлечения он для них подготовил. Завтра он дает завтрак, в конце недели — званый обед. Еще он повезет их на раут к Шато-Гайарам и уже заручился для них приглашениями на бал у Ротшильдов.

— Ларри ты ведь тоже пригласишь?

— Он заявил мне, что у него нет вечерних костюмов, — фыркнул Эллиот.

— А ты все равно пригласи. Он как-никак милый, и

нет никакого смысла его отстранять, только Изабеллу против себя восстановишь.

— Ну конечно, приглашу, если тебе так хочется. К завтраку Ларри явился без опоздания, и Эллиот, как человек воспитанный, выказывал ему подчеркнутую сердечность. Это, впрочем, было нетрудно: Ларри был так весел, так оживлен, что только человек, куда более злонаправленный, чем Эллиот, мог не поддаться его очарованию. Разговор шел о Чикаго и о тамошних общих знакомых, так что Эллиоту, в сущности, оставалось только делать любезное лицо и притворяться, что его интересуют дела людей, не занимающих, по его мнению, никакого положения в обществе. Слушал он, положим, не без удовольствия; его даже умиляло, как они упоминали о том, что такие-то двое помолвлены, такие-то поженились, а такие-то развелись. Кто о них когда слышал? Ему-то, например, известно, что хорошенькая маркиза де Кленшан пыталась отравиться, потому что ее бросил любовник, принц де Коломбе, чтобы жениться на дочери какого-то южноамериканского миллионера. Вот об этом действительно стоило поговорить. Поглядывая на Ларри, он был вынужден признать, что в нем есть что-то привлекательное; эти глубоко посаженные, до странности черные глаза, высокие скулы, бледная кожа и подвижный рот напомнили Эллиоту один портрет кисти Боттичелли, и ему подумалось, что, если бы одеть Ларри в костюм той эпохи, он выглядел бы до крайности романтично. Он вспомнил, что подумывал свести его с какой-нибудь именитой француженкой, и лукаво улыбнулся при мысли, что на субботний обед приглашена Мари-Луиза де Флоримон, сочетающая безупречные семейные связи с заведомо безнравственным поведением. В сорок лет она выглядела на тридцать; она унаследовала утонченную красоту своей бабушки, увековеченную на портрете Натье, который сейчас, не без помощи самого Эллиота, попал в одну из знаменитейших американских коллекций; и как женщина была поистине ненасытна. Эллиот решил, что за обедом посадит ее рядом с Ларри. Она, конечно, не замедлит сделать так, чтобы ее желания стали ему понятны. Для Изабеллы у него уже припасен интересный молодой атташе британского посольства. Поскольку Изабелла очень хорошенькая, а он англичанин и притом со средствами, то обстоятельство, что она небогата, роли не играет. Разомлев от превосходного монтраше, поданного к первому блюду, и от последовавшего за ним от-

личного бордо, Эллиот безмятежно созерцал широкие возможности, открывавшиеся его внутреннему взору. Если все пойдет так, как он рассчитывает, у бедной Луизы не будет больше причин тревожиться. Она всегда к нему придиралась; она, бедняжка, очень провинциальна; но он ее любит. Приятно, что, опираясь на свое знание жизни, он может избавить ее от серьезных забот.

Дабы не терять времени, Эллиот подгадал так, чтобы вести своих дам выбирать туалеты сразу после завтрака, а потому, едва все встали из-за стола, с присущим ему тактом намекнул Ларри, что пора и честь знать, однако тут же настойчиво и радушно пригласил его на оба предстоящих им званых вечера. Впрочем, он мог особенно не стараться — Ларри принял оба приглашения с полуслова.

Но планы Эллиота рухнули. Он вздохнул с облегчением, когда Ларри явился на обед в очень приличной визитке, ведь он побаивался, что увидит его в том же синем костюме, который был на нем за завтраком; а после обеда, уединившись с Мари-Луизой де Флоримон в углу гостиной, спросил, как ей понравился его молодой друг американец.

— У него красивые глаза и хорошие зубы.

— И только? Я посадил его рядом с вами, потому что решил, что он вполне в вашем вкусе.

Она глянула на него испытующе.

— Он мне сказал, что помолвлен с вашей хорошенькой племянницей.

— *Voions, ma chère*¹, то соображение, что мужчина принадлежит другой, никогда еще не мешало вам хотя бы попытаться его отнять.

— Так вы вот чего от меня хотите? Ну нет, мой бедный Эллиот, таскать для вас каштаны из огня я не намерена.

Эллиот усмехнулся.

— Это, видимо, надо понимать так, что вы испробовали на нем ваши методы и убедились, что ничего не выйдет?

— За что я вас люблю, Эллиот, так это за то, что моральные критерии у вас как у содержательницы борделя. Вы не хотите, чтобы он женился на вашей племяннице. Почему? Он хорошо воспитан и очень обаятелен. Правда,

¹ Полноге, дорогая (фр.).

наивен сверх меры. По-моему, он и не догадался, к чему я клоню.

— Вам бы следовало выразиться яснее.

— Я достаточно опытна, чтобы понять, когда я даром трачу время. Ему нужна только ваша маленькая Изабелла, а у нее, между нами говоря, передо мною преимущество в двадцать лет. И она очень мила.

— Платье ее вам понравилось? Это я выбирал.

— Платье красивое и ей к лицу. Но шика у нее, разумеется, нет.

Эллиот воспринял ее слова как упрек по своему адресу и решил, что этого он госпоже де Флоримон не спустит. Он любезно улыбнулся.

— Мой милый друг, такой шик, как у вас, приобретается только в зрелые годы.

Оружием госпоже де Флоримон служила не рапира, а скорее дубина. От ее ответа вся виргинская кровь Эллиота так и вскипела.

— Но это ничего, в вашей прекрасной стране гангстеров (*votre beau pays d'araches*) едва ли заметят отсутствие свойства столь тонкого и неподражаемого.

Впрочем, злословила только госпожа де Флоримон, остальные же друзья Эллиота были в восторге и от Изабеллы, и от Ларри. Им нравилась ее прелестная свежесть, ее бьющее в глаза здоровье и жизнерадостность, нравилась его живописная внешность, хорошие манеры и тихий иронический юмор. К тому же оба отлично говорили по-французски, в то время как миссис Брэдли, прожив столько лет среди дипломатов, говорила правильно, но с нескрываемым американским акцентом. Эллиот оставался щедрым и радушным хозяином. Изабелла, радуясь своим новым платьям и новым шляпам, жадно хватаясь за все увеселения, какие поставлял ей Эллиот, и счастливая близостью Ларри, чувствовала, что еще никогда так не наслаждалась жизнью.

IV

Эллиот держался того мнения, что утренний завтрак следует вкушать в одиночестве, или, в случае крайней необходимости, с совсем уж посторонними людьми; поэтому миссис Брэдли волей-неволей, а Изабелла даже с удовольствием пили утренний кофе каждая у себя в

спальне. Но иногда Изабелла просила Антуанетту отнести ее поднос в комнату матери, чтобы поболтать с ней за чашкой кофе с молоком. Жизнь ее была так заполнена, что только в это время суток они и могли побыть наедине. В одно такое утро, когда они прожили в Париже уже около месяца, миссис Брэдли сперва выслушала ее рассказ о том, как она и Ларри с компанией друзей полночи кочевали из одного ночного клуба в другой, а потом задала вопрос, который держала в мыслях с самого их приезда.

— Когда он вернется в Чикаго?

— Не знаю. Он об этом не говорил.

— А ты его не спрашивала?

— Нет.

— Боишься?

— Нет, что ты.

Миссис Брэдли в роскошном матине, которое Эллиот непременно захотел ей подарить, полировала ногти, полулежа на кушетке.

— О чем же вы с ним говорите все время, когда бываете одни?

— А мы не все время говорим. Нам просто хорошо вместе. Ты же знаешь, Ларри всегда был молчаливый. По-моему, когда мы разговариваем, говорю больше я.

— Что он тут подделывал один?

— Право, не знаю. Кажется, ничего особенного. Наверно, жил в свое удовольствие.

— А где он живет?

— И этого не знаю.

— Видно, он стал очень скрытный?

Изабелла закурила сигарету и, выпустив через нос струйку дыма, спокойно поглядела на мать.

— Что ты хочешь этим сказать, мама?

— Дядя Эллиот думает, что он снимает квартиру и живет там с какой-то женщиной.

Изабелла расхохоталась.

— Но ты же в это не веришь?

— Честно говоря, нет. — Миссис Брэдли критически оглядела свои ногти. — Ты сама с ним когда-нибудь говорила о Чикаго?

— Очень часто.

— И он ни разу не упомянул, что собирается домой?

— По-моему, нет.

— В октябре будет два года, как он уехал.

— Я знаю.

— Что ж, милая, дело твое, поступаай, как знаешь. Но чем дольше откладываешь, тем бывает труднее.— Она взглянула на дочь, но Изабелла отвела глаза. Миссис Брэдли ласково ей улыбнулась.— Беги принимать ванну, не то еще опоздаешь к завтраку.

— Мы завтракаем с Ларри. Поедем с ним куда-то в Латинский квартал.

— Ну, дай вам бог.

Ларри зашел за ней через час. Они взяли фиакр до моста Сен-Мишель, а оттуда не спеша прошли по бульвару до первого приглянувшегося им кафе. Они сели на террасе и заказали по порции дюбонне. Потом опять взяли фиакр и поехали в ресторан. Аппетит у Изабеллы был отменный, ей нравились все вкусные вещи, которые Ларри для нее заказывал. Ей нравилось смотреть на людей, сидевших к ним вплотную, потому что ресторан был переполнен, ее сместило явное наслаждение, с каким они поглощали пищу; но больше всего она наслаждалась тем, что сидит за крошечным столиком вдвоем с Ларри. Он с таким интересом слушал ее веселую болтовню. Чудесно было чувствовать себя с ним так свободно. Но где-то в ней гнезилось смутное беспокойство, потому что, хотя и он как будто чувствовал себя свободно, ей казалось, что причина этого не столько в ней, сколько в окружавшей его обстановке. То, что утром сказала ей мать, немного ее смутило, и она, не прекращая своей казалось бы такой безыскусной болтовни, зорко вглядывалась в его лицо. Он был не совсем такой же, как до отъезда из Чикаго, но в чем разница — она не могла бы сказать. На вид как будто бы совсем прежний — такой же веселый, открытый, но выражение лица изменилось. Не то чтобы он стал серьезнее — в покое лицо его всегда было серьезным, — но в нем появилась какая-то новая спокойная уверенность, точно он решил что-то для себя, окончательно в чем-то утвердился.

После завтрака он предложил ей пройти к Люксембургскому дворцу.

— Нет, картины смотреть мне не хочется.

— Ладно, тогда пойдем посидим в саду.

— Нет, тоже не хочу. Я хочу посмотреть, где ты живешь.

— А там и смотреть нечего. Я живу в паршивой комнатухе в гостинице.

— Дядя Эллиот уверяет, что ты снимаешь квартиру и живешь там с натурщицей.

Он засмеялся

— Раз так — пошли, сама убедишься. Отсюда два шага, пройдем пешком.

Он повел ее узкими кривыми улочками, мрачноватыми даже под ярко-голубым небом, сиявшим между крышами высоких домов, и вскоре остановился перед небольшой гостиницей с вычурным фасадом.

— Вот и пришли.

Изабелла последовала за ним в тесный вестибюль, в одном углу которого стояла конторка, а за ней читал газету человек без пиджака, в полосатом желтом с черным жилете и грязном фартуке. Ларри попросил свой ключ, и человек протянул руку к висевшей позади него доске с гвоздями. Подавая ключ, он бросил на Изабеллу вопро- сительный взгляд, обернувшись понимающей усмешкой. Он явно решил, что в номер к Ларри она направляется не за хорошим делом.

Они поднялись по лестнице, устланной потертой крас- ной дорожкой, и Ларри отпер дверь. Изабелла очутилась в небольшой комнате с двумя окнами. Окна выходили на серый доходный дом через улицу, в нижнем этаже которого помещалась писчебумажная лавка. В комнате стояла узкая кровать и рядом с ней тумбочка, стоял массивный гардероб с зеркалом, мягкое, но с прямой спин- кой кресло, а между окнами — стол и на нем пишущая машинка, какие-то бумаги и довольно много книг. Кни- ги в бумажных обложках громоздились и на каминной полке.

— Садись в кресло. Оно не слишком уютное, но луч- шего предложить не могу.

Он пододвинул себе стул и сел.

— И здесь ты живешь? — в изумлении спросила Иза- белла.

Он усмехнулся.

— Здесь и живу. С самого приезда.

— Но почему?

— Место удобное. И до Национальной библиотеки, и до Сорбонны рукой подать. — Он указал на дверь, которую она сперва не заметила. — Даже ванная имеется. Утром я ем здесь, а обедаю обычно в том ресторане, где мы с тобой завтракали.

— Убожество какое.

— Да нет, здесь хорошо. Большого мне не требуется.

— А какие люди здесь живут?

— Толком не знаю. В мансардах — студенты. Есть несколько старых холостяков, государственных служащих. Есть актриса на отдыхе, когда-то играла в «Одеоне»; вторую комнату с ванной занимает содержанка, ее покровитель навещает ее раз в две недели, по четвергам. Есть, наверно, и проезжий народ. Очень тихая гостиница и очень респектабельная.

Изабелла немного растерялась и, зная, что Ларри это заметил, была готова обидеться.

— Это что за большущая книга у тебя на столе? — спросила она.

— Это? Это мой древнегреческий словарь.

— Что-о?

— Не бойся, он не кусается.

— Ты учишь древнегреческий?

— Да.

— Зачем?

— Просто захотелось.

Он улыбался ей глазами, и она улыбнулась в ответ.

— Может быть, ты мне все-таки расскажешь, чем ты занимался все время, пока жил в Париже?

— Я много читал. По восемь, по десять часов в сутки. Слушал лекции в Сорбонне. Прочел, кажется, все, что есть значительного в французской литературе, и по-латыни, во всяком случае латинскую прозу читаю теперь почти так же свободно, как по-французски. С греческим, конечно, труднее. Но у меня прекрасный учитель. До вашего приезда я ходил к нему по вечерам три раза в неделю.

— А смысл в этом какой?

— Приобретение знаний, — улыбнулся он.

— Практически это как будто ничего не дает.

— Возможно. А с другой стороны, возможно, и дает. Но это страшно интересно. Ты даже представить себе не можешь, какое это наслаждение — читать «Одиссею» в подлиннике. Такое ощущение, что стоит только подняться на цыпочки, протянуть руку — и коснешься звезд.

Он встал со стула, точно поднятый охватившим его волнением, и зашагал взад-вперед по маленькой комнате.

— Последние месяца два я читаю Спинозу. Понимаю, конечно, с пятого на десятое, но чувствую себя победителем. Словно вышел из аэроплана на огромном горном

плато. Кругом ни души, воздух такой, что пьянит, как вино, и самочувствие лучше некуда.

— Когда ты вернешься в Чикаго?

— В Чикаго? Не знаю. Я об этом не думал.

— Ты говорил, что если через два года не найдешь того, что тебе нужно, то поставишь на этом крест.

— Сейчас я не могу вернуться. Я на пороге. Передо мной раскрылись необъятные пространства духа, и манят, и я так хочу их одолеть.

— И что ты рассчитываешь там найти?

— Ответы на мои вопросы.— Он поглядел на нее так лукаво, что, не зная она его наизусть, она подумала бы, что он шутит.— Я хочу уяснить себе, есть бог или нет бога. Хочу узнать, почему существует зло. Хочу узнать, есть ли у меня бессмертная душа или со смертью мне придет конец.

Изабелла чуть слышно ахнула. Ей стало не по себе, когда он заговорил о таких вещах, хорошо еще, что говорил он о них легко, самым обычным тоном, и она успела преодолеть свое замешательство.

— Но, Ларри,— сказала она, улыбаясь,— люди задают эти вопросы уже тысячи лет. Если бы на них существовали ответы, их уже наверняка нашли бы.

У Ларри вырвался смешок.

— Нечего смеяться, как будто я сболтнула какую-то чушь,— сказала она резко.

— Наоборот, по-моему, то, что ты сказала, очень умно. Но, с другой стороны, можно сказать и так, что раз люди задают эти вопросы тысячи лет, значит, они не могут их не задавать и будут задавать их и впредь. А вот что ответов никто не нашел — это неверно. Ответов больше, чем вопросов, и много разных людей нашли ответы, которые их вполне удовлетворили. Вот хотя бы старик Рейсброк.

— А он кто был?

— Так, один малый, с которым я не учился в школе,— беспечно сострил Ларри.

Изабелла не поняла, но переспрашивать не стала. — Мне все это кажется детским лепетом. Такие вещи волнуют разве что второкурсников, а после колледжа люди о них забывают. Им надо зарабатывать на жизнь.

— Я их не осуждаю. Понимаешь, я в особом положении — у меня есть на что жить. Если б не это, мне бы тоже, как всем, пришлось бы зарабатывать деньги.

— Но неужели деньги сами по себе ничего для тебя не значат?

Он широко улыбнулся.

— Ни вот столечко.

— Сколько же времени у тебя на это уйдет?

— Право, не знаю. Пять лет. Десять лет.

— А потом? Что ты будешь делать со всей этой мудростью?

— Если я обрету мудрость, так авось у меня хватит ума понять, что с ней делать.

Изабелла отчаянно стиснула руки и подалась вперед.

— Ты не прав, Ларри. Ты же американец. Здесь тебе не место. Твое место в Америке.

— Я вернусь туда, когда буду готов.

— Но ты столько теряешь. Как ты можешь отсиживаться в этом болоте, когда мы переживаем самое увлекательное время во всей истории? Европа свое отжила. Сейчас мы — самая великая, самая могущественная нация в мире. Мы движемся вперед огромными скачками. У нас есть решительно все. Твой долг — вносить свой вклад в развитие родины. Ты забыл, ты не знаешь, как безумно интересно сейчас жить в Америке. А что, если ты просто трусишь, если тебя страшит работа, которая требуется сегодня от каждого американца?.. Да, я знаю, по-своему ты тоже работаешь, но, может быть, это всего-навсего бегство от ответственности? Может, это просто своего рода старательное безделье? Что бы случилось с Америкой, если бы все вздумали так отлынивать?

— Ты очень строга, родная, — улыбнулся он. — Могу ответить: не все смотрят на вещи так, как я. Большинство людей, вероятно, к счастью для них, не прочь идти нормальным путем; ты только забываешь, что мое желание учиться не менее сильно, чем... ну, скажем, чем желание Грэя нажать кучу денег. Неужели же я изменяю родине тем, что хочу посвятить несколько лет самообразованию? Может быть, я потом смогу передать людям что-нибудь ценное. Это, конечно, только мечта, но, если она и не сбудется, я окажусь не в худшем положении, чем человек, который избрал деловую карьеру и не преуспел.

— А я? Или я ничего для тебя не значу?

— Ты значишь для меня очень много. Я хочу, чтобы ты вышла за меня замуж.

— Когда? Через десять лет?

— Нет, теперь же. Как можно скорее.

— И на что мы будем жить? У мамы лишних денег нет. Да если бы и были, она бы не дала. Сочла бы, что это неправильно, помогать тебе вести бездельную жизнь.

— Я бы и не хотел ничего брать у твоей матери,— сказал Ларри.— У меня есть три тысячи годовых. В Париже это более чем достаточно. Могли бы снять квартиру, нанять *une bonne à tout faire*¹. И как бы чудесно нам с тобой было!

— Но, Ларри, на три тысячи в год прожить нельзя!

— Очень даже можно. У многих и этого нет, а живут.

— Но я не хочу жить на три тысячи в год. И не вижу для этого оснований.

— Я сейчас живу на полторы.

— Да, но как?

Она окинула взглядом невзрачную комнату и гадливо передернулась.

— Я хочу сказать, что кое-что сумел отложить. В свадебное путешествие мы могли бы поехать на Капри, а осенью побывать в Греции. Туда меня ужасно тянет. Помнишь, как мы с тобой мечтали, что вместе объездим весь свет?

— Путешествовать я, конечно, хочу. Но не так. Я не хочу ехать на пароходе вторым классом, останавливаться в третьеразрядных гостиницах, без ванной, питаться в дешевых ресторанах.

— В прошлом году, в октябре, я вот так проехался по Италии. Замечательно было. На три тысячи годовых мы могли бы объездить весь свет.

— Но я хочу иметь детей, Ларри.

— Прекрасно. Их тоже заберем с собой.

— Глупыш ты,— рассмеялась она.— Да ты знаешь, сколько это стоит, завести ребенка? Вот Вайолет Томлинсон в прошлом году родила и постаралась обставить это как можно дешевле, и это ей стоило тысячу двести пятьдесят долларов. А няня ты знаешь во сколько обходится? — С каждым новым доводом, который приходил ей в голову, она все больше разгорячалась.— Ты такой непрактичный. Ты просто не понимаешь, чего требуешь от меня. Я молода. Я хочу наслаждаться жизнью. Хочу иметь все, что люди имеют. Хочу ездить на балы, на приемы, и верхом кататься, и в гольф играть, хочу хорошо одеваться.

¹ Прислуга (единственная) (*фр.*).

Ты понимаешь, что это значит для девушки — быть одетой хуже, чем ее подруги? Ты понимаешь, Ларри, что это значит — покупать у знакомых старые платья, которые им надоели, или говорить спасибо, когда кто-то из милости купит тебе новый туалет? Я не могла бы даже причесываться у приличного парикмахера. Я не хочу ездить в трамваях и в автобусах, мне нужен собственный автомобиль. И что бы я стала делать с утра до ночи, пока ты читаешь в своей библиотеке? Ходить по улицам и глазеть на витрины или сидеть в Люксембургском саду и присматривать за детьми? У нас и знакомых бы не было.

— Ох, Изабелла! — перебил он.

— Не было бы таких, к каким я привыкла. Да, конечно, друзья дяди Эллиота иногда приглашали бы нас в гости, чтобы сделать ему приятное, но мы не могли бы к ним ездить, потому что мне нечего было бы надеть, и не захотели бы, потому что не на что было бы пригласить их к себе. А знаться с какими-то серыми, невытыми личностями я не хочу, мне не о чем с ними говорить, а им со мной. Я хочу жить, Ларри. — Она вдруг заметила, какие у него глаза: ласковые, как всегда, когда они устремлены на нее, но чуть насмешливые. — Ты, наверно, считаешь, что я дура? Что все это пошло и гадко?

— Нет. По-моему, все, что ты говоришь, вполне естественно.

Он стоял спиной к камину. Она встала, подошла и остановилась перед ним.

— Ларри, если бы у тебя не было ни гроша за душой и ты бы получил место на три тысячи в год, я бы, не задумываясь, за тебя вышла. Я стала бы стряпать для тебя, стелить постели, носить что попало, обходиться без чего угодно, и все мне было бы в радость, потому что я знала бы, что это вопрос времени, что ты добьешься успеха. Но сейчас ты мне предлагаешь это убожество на всю жизнь, и никаких перспектив. Ты предлагаешь мне до смертного часа гнуть спину. И ради чего? Чтобы ты годами мог отыскивать ответы на вопросы, к тому же, как ты сам говоришь, неразрешимые. Это несправедливо. Мужчина обязан работать. Для этого он и создан. Этим он и способствует процветанию общества.

— Короче говоря, его долг — поселиться в Чикаго и поступить в контору к Генри Мэтьюрину. Ты думаешь, я так уж сильно буду способствовать процветанию об-

щества, если стану навязывать своим знакомым акции, в которых заинтересован Генри Мэтюрин?

— Без маклеров не обойтись. И это вполне приличный и почтенный способ зарабатывать деньги.

— Ты очень черными красками расписала жизнь в Париже на скромный доход. А ведь на самом деле все иначе. Одеваться со вкусом можно не только у Шанель. И не все интересные люди живут возле Триумфальной арки и авеню Фош. Вернее, там живет очень мало интересных людей, потому что интересные люди, как правило, небогаты. У меня здесь множество знакомых — художников, писателей, студентов — французов, англичан, американцев и прочих, и они, думаю, показались бы тебе занятнее, чем Эллиотовы линиялые маркизы и длинноносые герцогини. У тебя живой ум, острое чувство юмора. Тебе бы понравилось, как они спорят и шутят за обедом, хотя пьют только дешевое вино и за столом не прислуживает дворецкий и два лакея.

— Не глупи, Ларри. Конечно, понравилось бы. Ты же знаешь, что я не сноб. Мне очень хочется встречаться с интересными людьми.

— Но обязательно в туалетах от Шанель. А ты думаешь, они бы не поняли, что для тебя это своего рода филантропия в интеллектуальном плане? Им это было бы в тягость, как и тебе, а тебе это дало бы одно — возможность рассказать Эмили де Монтадур и Грэси Шато-Гайар, что накануне ты очень весело провела вечер в Латинском квартале среди страховидных представителей богемы.

Изабелла чуть пожала плечами.

— Вероятно, ты прав. Это не те люди, среди каких я воспитана. У меня с ними нет ничего общего.

— И к чему же мы пришли?

— К тому же, с чего начали. Я живу в Чикаго с тех пор, как себя помню. Все мои друзья — там. И все мои интересы. Там я дома. Там мое место, и твое тоже. Мама больна, на улучшение надежды нет. Я не могла бы ее бросить, если б и захотела.

— Значит, так: если я откажусь теперь же вернуться в Чикаго, ты не выйдешь за меня замуж?

Изабелла минуту колебалась. Она любила Ларри. Она хотела стать его женой. Тянулась к нему всей своей женской сущностью. Знала, что и он ее желает. Она внушала себе, что, если поставить вопрос ребром, он не может не уступить. Было страшно, но она пошла на риск.

— Да, Ларри. Именно так.

Он чиркнул спичкой о камин — старомодной французской серной спичкой, от которых свербит в носу, и раскурил трубку. Потом, минуя Изабеллу, подошел к окну. Выглянул наружу. И молчал, молчал. Она стояла на прежнем месте, глядя теперь в зеркало над камином, но не видя своего отражения. Сердце ее бешено колотилось, от страха сосало под ложечкой. Наконец он обернулся.

— Если б только ты захотела понять, насколько жизнь, которую я тебе предлагаю, содержательнее всего, что ты можешь вообразить. Если б только ты захотела понять, что такое духовная жизнь, как она обогащает человека. Она безгранична. Вот так же, как когда ты один летишь высоко-высоко над землей, и вокруг тебя — бесконечность. Голова кружится от этих безбрежных далей. Упоение такое, что не променял бы его на всю силу и славу земную. Я вот недавно читал Декарта. Такая легкость, изящество, ясность мысли. Э, да что говорить...

— Ларри, пойми! — взмолилась она. — Ведь я для этого не гожусь, мне это неинтересно. Сколько раз тебе повторять, что я самая обыкновенная, нормальная женщина, мне двадцать лет, через десять лет я буду старухой, а пока хочу жить в свое удовольствие. Ларри, я так тебя люблю! А ты играешь в игрушки. Ничего это тебе не даст. Умоляю, ради тебя самого, махни ты на это рукой. Будь мужчиной, Ларри, возмись за дело, достойное мужчины. Ты даром тратишь самые лучшие годы, когда другие успевают столько сделать. Ларри, если ты меня любишь, ты не променяешь меня на пустые мечты. Ты пожил как хотел. А теперь поедem с нами домой!

— Не могу, дорогая. Для меня это равносильно смерти, предательству собственной души.

— Господи, Ларри, зачем ты так говоришь? Так говорят только ученые женщины, истерички. Что значат все эти слова? Да ничего, абсолютно ничего.

— Они в точности выражают мою мысль, — отвечал он, поблескивая глазами.

— И ты еще смеешься? А ведь нам сейчас не до смеха. Мы дошли до развилки, и по какой дороге пойдem дальше — от этого зависит вся наша жизнь.

— Я знаю. Поверь, я и не думаю шутить.

Она вздохнула.

— Раз ты не внемлешь голосу разума, говорить больше не о чем.

— Но разума-то я тут не вижу. По-моему, ты говорила сплошную чушь.

— Я?! — Не будь она так подавлена, она бы рассмеялась. — Дорогой мой, ты просто спятил.

Она медленно стянула с пальца обручальное колечко. Положила его на ладонь, полюбовалась. Граненый рубин в тонкой платиновой оправе — оно всегда ей нравилось.

— Если б ты меня любил, не сделал бы ты мне так больно.

— Я тебя люблю. К сожалению, не всегда удастся поступить так, как считаешь правильным, не причинив боли другому.

Она протянула ему ладонь, на которой светился рубин, и через силу улыбнулась дрожащими губами.

— Вот, Ларри, возьми.

— Мне оно не нужно. Ты лучше сохрани его на память о нашей дружбе. Носить можно на мизинце. Другими-то мы останемся, правда?

— Я всегда буду тебе другом, Ларри.

— Так оставь его себе. Мне это будет приятно.

После минутного колебания она надела кольцо на правый мизинец.

— Велико.

— Можно отдать переделать. Поедем в «Риц», выпьем.

— Ладно.

Ей все еще не верилось, что все произошло так просто. Она ни разу не заплакала. И ничего как будто не изменилось, только теперь она не выйдет за Ларри. Не укладывалось в голове, что все уже кончено, все позади. Было немножко обидно, что дело обошлось без душераздирающей сцены. Они все обсудили почти так же спокойно, как если бы речь шла о покупке дома. Ей словно чего-то не додали, и вместе с тем радовало сознание, что они вели себя как цивилизованные люди. Она много бы дала, чтобы в точности знать, что чувствует Ларри. Но это всегда бывало трудно. Его невозмутимое лицо, его темные глаза были маской, за которую даже она, зная его столько лет, не надеялась проникнуть. Она взяла с кровати свою шляпу и стала надевать ее, стоя перед зеркалом.

— Мне просто интересно знать, — сказала она, поправляя волосы, — тебе хотелось расторгнуть нашу помолвку?

— Нет.

— А я думала, ты почувствуешь облегчение.

Он не ответил. Она повернулась к нему с веселой улыбкой на губах.

— Ну вот, я готова.

Ларри запер за собой дверь. Человек за конторкой, принимая ключ, окинул их обоих взглядом сообщника. Изабелла не могла не понять, в чем он их подозревает.

— Сомневаюсь, чтобы он под присягой поручился за мою девственность,— сказала она.

Они поехали в «Риц» на такси, выпили в баре. Болтали о том о сем, по видимости непринужденно, как двое старых друзей, которые видятся изо дня в день. В отличие от молчаливого Ларри, Изабелла любила поговорить, недостатка в темах не испытывала, а теперь твердо решила не допустить и минуты молчания, которое было бы трудно нарушить. Пусть Ларри не думает, что она на него в обиде, она из одной гордости не выдаст, как ей больно и тяжело. Вскоре она попросила Ларри проводить ее домой. Выйдя из такси, она весело ему сказала:

— Ты, надеюсь, помнишь, что завтра у нас завтракаешь?

— А то как же.

Она подставила ему щеку для поцелуя и скрылась в подъезде.

V

Войдя в гостиную, где пили чай, Изабелла застала там несколько человек гостей. Заглянули две американки, живущие в Париже,— изысканно одетые, с жемчугом на шее, брильянтовыми браслетами на запястьях и дорогими перстнями на пальцах. Хотя волосы у одной из них отливали темной хной, а у другой ненатуральным золотом, они были до странности одинаковые. Так же густо насурмлены ресницы, так же ярко покрашены губы, так же нарумянены щеки; те же худощавые фигуры — результат методичного умерщвления плоти, те же четкие, резкие черты, те же беспокойные, голодные глаза; и такое впечатление, что вся их жизнь сводится к неустанным стараниям удержать остатки былой красоты. Говорили они ни о чем, громким металлическим голосом, без единой паузы, словно опасаясь, что, стоит им на минуту умолкнуть, как завод кончится и вся механическая конструкция, которую они собой представляют, развалится на куски. Наведал-

ся и один из секретарей американского посольства, лощеный, молчащий, поскольку ему не давали вставить слово, и, видимо, искусственный в светских тонкостях; и еще — низкорослый и темноволосый румынский князек — сплошь поклоны и сладкие улыбки, с черными бегающими глазками и гладко выбритым смуглым лицом, то и дело вскакивавший с места, чтобы поднести спичку, передать чашку с чаем или вазу с печеньем, и без зазрения совести расточавший самые неприкрытые, самые грубые комплименты. Этим он платил за все обеды, поглощенные за столом у объектов своего подхалимства, и авансом за все обеды, которые еще надеялся у них поглотить.

Миссис Брэдли, сидевшая за чайным столом и одетая в угоду Эллиоту более нарядно, чем считала подобающим для такого случая, исполняла обязанности хозяйки со свойственным ей учтивым, но несколько равнодушным спокойствием. Что она думала о гостях своего брата — о том можно только догадываться. Близко я ее не знал, а она не склонна была откровенничать с кем попало. Она была отнюдь не глупа, за годы, прожитые во всех столицах мира, перевидала великое множество самых разных людей и, вероятно, научилась достаточно четко оценивать их по меркам провинциального виргинского городка, где она родилась и выросла. Думается мне, что наблюдать их ужимки доставляло ей известное удовольствие, и что их кривлянье она так же мало принимала всерьез, как горести и страдания действующих лиц в романе, про который с самого начала знала (а то бы не стала читать), что кончится он хорошо. Париж, Рим, Пекин повлияли на ее американскую натуру не больше, чем католичество Эллиота на ее стойкую, и в общем очень удобную пресвитерианскую веру.

Изабелла, юная, пышущая здоровьем и красотой, словно внесла струю свежего воздуха в эту насквозь искусственную атмосферу. Она вплыла в комнату, как вечно юная богиня земли. Румынский князек кинулся пододвигать ей стул, выразительно при этом жестикулируя. Обе американки, визгливо щебеча любезности, оглядели ее с ног до головы, отметили, как она одета, и, возможно, сердце у них екнуло от встречи лицом к лицу с ее лучезарной молодостью. Американский дипломат мысленно усмехнулся, до того старыми и облезлыми они сразу показались по контрасту с ней. Но сама Изабелла нашла, что они великолепны. Она восхитилась их роскошными туа-

летами, их драгоценностями, успела позавидовать их неколебимому апломбу. Удастся ли ей когда-нибудь сравняться с ними в умении держаться? Маленький румын, конечно, уморителен, но очень милый, и даже если все эти очаровательные вещи говорит не от души, выслушивать их приятно. Разговор, прерванный ее приходом, возобновился, и все говорили так бойко, были, казалось, так глубоко убеждены в значительности того, что говорят, что впору было подумать, будто в их речах и правда есть смысл. А говорили они о вечерах, на которых побывали, и о вечерах, на которые собираются. Сплетничали о последнем светском скандале. Перемывали косточки знакомым. Перекидывались громкими именами. Знали, по видимому, всех и каждого. Были посвящены во все секреты. Чуть ли не в одной фразе умудрялись коснуться последнего спектакля, последнего визита к портнихе, последнего художника-портретиста и последней любовницы нынешнего премьера. Они были осведомлены решительно обо всем. Изабелла слушала, затаив дыхание. Ей все это казалось донельзя культурным. Вот это жизнь. Вот что значит находиться в гуще событий. Это — настоящее. И декорации самые подходящие. Просторная комната, на полу ковер Савоннери, прелестные рисунки на обшитых деревом стенах, вышитые стулья, на которых они сидят, бесценная мебель маркетри — столики, секретеры, каждый просится в музей. За комнату эту, должно быть, уплачено целое состояние, но результат того стоил. Сегодня строгая красота обстановки особенно ее поразила, потому что так свеж был в памяти маленький гостиничный номер с железной кроватью и жестким, неудобным стулом, на котором сидел Ларри, — комната, в которой он не видел ничего предосудительного. Голая, унылая, отвратительная комната. Изабелла не могла вспомнить о ней без содрогания.

Гости уехали, и она осталась с матерью и Эллиотом. — Очаровательные женщины, — сказал Эллиот, проводив двух несчастных раскрашенных кукол. — Я знал их, еще когда они только что поселились в Париже. Никак не ожидал, что они сделают такие успехи. Поразительно, как наши женщины умеют приспособиться. Теперь и не заподозришь, что они американки, да еще со Среднего Запада.

Миссис Брэдли молча подняла брови и бросила на него взгляд, которого он не мог не понять.

— О тебе этого не скажешь, Луиза, — продолжал он полуласково, полунасмешливо. — Хотя, видит бог, все возможности у тебя были.

Миссис Брэдли поджала губы.

— Боюсь, Эллиот, я тебя не на шутку огорчаю, но, сказать по правде, я вполне довольна собой, как я есть.

— Мне, наверно, следует сообщить вам, что я уже не помолвлена с Ларри, — сказала Изабелла.

— Ах ты господи! — воскликнул Эллиот. — Это расстраивает все мои планы на завтра. Где я успею найти другого мужчину?

— О, завтракать он придет.

— После того, как ты расторгла помолвку? Насколько я знаю, это не принято.

Изабелла приснула. Она не сводила глаз с Эллиота, потому что чувствовала на себе пристальный взгляд матери и не хотела на него ответить.

— Мы не поссорились. Мы сегодня все обговорили и пришли к выводу, что то была ошибка. Он не хочет возвращаться в Америку; хочет остаться в Париже. Думает съездить в Грецию.

— Это еще зачем? В Афинах нет приличного общества. Да и греческое искусство я лично никогда не ставил особенно высоко. В позднем эллинизме есть что-то декадентское, это по-своему прелестно, но Фидий — нет, нет.

— Посмотри на меня, Изабелла, — сказала миссис Брэдли.

Изабелла повернулась к ней с легкой улыбкой на губах. Миссис Брэдли внимательно в нее вгляделась, но произнесла только «гм». Глаза безусловно не заплаканы, вид совершенно спокойный.

— Я считаю, что это к лучшему, Изабелла, — сказал Эллиот. — Я готов был с этим примириться, но никогда не сочувствовал вашему браку. Он тебе не пара, а уж его поведение в Париже ясно доказывает, что из него не выйдет ничего путного. С твоей внешностью, с твоими связями ты вполне можешь рассчитывать на что-нибудь по-лучше. По-моему, ты поступила очень разумно.

Миссис Брэдли бросила на нее взгляд, исполненный тревоги.

— Ты не ради меня это сделала, Изабелла?

Изабелла решительно помотала головой.

— Нет, мамочка, я это сделала исключительно ради себя.

Я между тем вернулся с Востока и на время поселился в Лондоне. Как-то утром, недели через две после описанных событий, мне позвонил Эллиот. Я удивился, услышав его голос, — обычно он приезжал в Англию только к самому концу сезона. Он сообщил мне, что миссис Брэдли с Изабеллой тоже здесь, и не найду ли я к ним сегодня в шесть, мне будут рады. Остановились они, разумеется, в отеле «Кларидж». Я в то время жил неподалеку и не спеша добрался до отеля пешком — по Парк-лейн и дальше, тихими, чинными улицами Мэйфэра. Эллиот занимал свой всегдашний номер «люкс». Стены в нем были обшиты панелями цвета сигарных ящичков, комнаты обставлены роскошно, но не кричаще. Эллиота я застал одного: мать с дочерью ездят по магазинам, вернутся с минуты на минуту. Он сразу рассказал мне, что Изабелла разорвала свою помолвку с Ларри.

Эллиот, исповедовавший несколько романтические и чисто традиционные взгляды на то, как людям следует себя вести в тех или иных обстоятельствах, был сбит с толку. Ларри, мало того что явился к завтраку на следующий день после разрыва, вообще держался так, словно положение не изменилось. Был по-прежнему любезен, внимателен и сдержанно весел. С Изабеллой обращался, как всегда, по-товарищески ласково. Не похоже было, что он издерган, расстроен или убит горем. Да и сама Изабелла не казалась удрученной. На вид она была все так же жизнерадостна, так же беззаботно смеялась и шутила, хотя только что круто и, конечно же, с болью душевной изменила свою жизнь. Эллиот ничего не понимал. Из их разговоров он заключил, что они не собираются отменять намеченных на ближайшее время развлечений. При первом же удобном случае он заговорил об этом с сестрой.

— Это неприлично, — заявил он. — Нельзя им всюду появляться вместе как жениху с невестой. Ларри, видно, совсем уж ничего не смыслит. А Изабеллу это ставит в невыгодное положение. Взять хотя бы Фодерингема, этого молодого человека из британского посольства. Он явно увлечен Изабеллой; у него есть средства, и связи отличные; знай он, что путь свободен, он бы, по всей вероятности,

сти, сделал предложение. Мой тебе совет, поговори на этот счет с Изабеллой.

— Дорогой мой, Изабелле двадцать лет, и она научилась очень ловко и без всякой грубости намекать мне, что я суюсь не в свое дело. Поверь, вести с ней такие разговоры нелегко.

— Значит, ты плохо ее воспитала, Луиза. А дело это, между прочим, как раз твое.

— Вот уж с чем она бы наверняка не согласилась.

— Не испытывай моего терпения, Луиза.

— Если б у тебя, мой милый, была взрослая дочь, ты бы знал, что справиться с брыкливым бычком куда легче. А уж понять, что у нее на уме... нет, спокойнее притворяться наивной старой душой, какой она скорее всего меня и считает.

— Но ты хоть расспросила ее?

— Пробовала. А она только смеется и говорит, что рассказывать нечего.

— Она как, очень обескуражена?

— Говорю тебе, не знаю. Могу только сказать, что ест она за двоих и спит как младенец.

— Помяни мое слово, если ты не вмешаешься, они в один прекрасный день сбегут и поженятся и слова никому не скажут.

Миссис Брэдли позволила себе улыбнуться.

— Тебе, наверно, утешительно думать, что сейчас мы находимся в стране, где незаконные связи всячески поощряются, а брак обставлен уймой препятствий.

— Так и должно быть. Брак — дело серьезное. На нем зиждется благополучие семьи и прочность государства. Но престиж брака можно сохранить лишь в том случае, если внебрачные отношения не только поощрять, но и санкционировать. Проституция, милая Луиза...

— Хватит, Эллиот, — перебила она. — Меня не интересуют твои взгляды на социальную и моральную ценность блуда в каком бы то ни было виде.

И тогда он выдвинул план, который положил бы конец беспрестанному общению между Изабеллой и Ларри, столь оскорблявшему его чувство приличия. Парижский сезон подходит к концу, все стоящие люди готовятся отбыть на воды или в Довилль, прежде чем разъехаться на остаток лета по своим родовым замкам в Турени, Анжу или Бретани. Обычно Эллиот уезжал в Лондон в конце июня, но семейное чувство было в нем живо, а любовь к сестре

и племяннице непритворна; в угоду им он уже совсем было решил пожертвовать собой и пожить еще в Париже даже тогда, когда Париж опустеет; теперь же ему представлялась приятная возможность услужить другим, не отказываясь от собственных привычек. Вот он и предложил миссис Брэдли теперь же им всем троице поехать в Лондон, где сезон еще в разгаре и где новые знакомства и новые интересы отвлекут мысли Изабеллы от тягот ее двусмысленного положения. В газетах писали, что в Лондоне сейчас находится лучший специалист по диабету, и миссис Брэдли захотела ему показаться; этим легко будет объяснить их поспешный отъезд, а также побороть возможное нежелание Изабеллы расстаться с Парижем. Миссис Брэдли этот план понравился. Она устала тревожиться об Изабелле, не понимая, правда ли та весела и беззаботна или же уязвлена, разгневана, грустна, но храбрится и скрывает свои чувства. Миссис Брэдли могла только согласиться с Эллиотом, что посмотреть новых людей и новые места будет Изабелле полезно.

Эллиот стал без промедления названивать по телефону, и, когда Изабелла, после дня, проведенного с Ларри в Версале, вернулась домой, уже мог сообщить ей, что знаменитый врач согласился принять ее мать через три дня, что номер «люкс» в «Кларидже» заказан, и послезавтра они выезжают. Миссис Брэдли внимательно наблюдала за дочерью, пока Эллиот не без самодовольства излагал ей эти новости, но та и бровью не повела.

— До чего же я рада, что ты пойдешь к этому доктору, мамочка! — вскричала она с обычной своей экспансивностью. — Ну конечно, такую возможность нельзя упускать. И Лондон посмотреть мне ужасно хочется. Мы там сколько пробудем?

— Возвращаться в Париж нет смысла, — сказал Эллиот. — Через неделю там уже не будет ни души. Я хочу, чтобы вы прожили у меня в «Кларидже» до конца лондонского сезона. В июле всегда бывает несколько больших баблов, ну, и, кроме того, конечно, Уимблдон, теннисный турнир. А потом гудвудские скачки и регата в Каузе. Я не сомневаюсь, что Эллингеми рады будут пригласить нас на свою яхту, а Бантоки всегда ездят целой компанией в Гудвуд.

Изабелла выразила полный восторг, и миссис Брэдли успокоилась. О Ларри она, похоже, и не вспомнила.

Эллиот как раз успел рассказать мне все это, когда явились мать с дочерью. Я не видел их больше полутора лет. Миссис Брэдли немного похудела и обрюзгла, выглядела усталой и больной. Зато у Изабеллы вид был цветущий. Ее яркий румянец, пышные каштановые волосы, сияющие карие глаза, чистая кожа сливались в образ такой победной молодости, такой упоенности жизнью, что, глядя на нее, хотелось смеяться от радости. Сам не знаю почему, она вызвала в моем представлении грушу, золотистую и сочную, которая только-только созрела и буквально просит, чтобы ее съели. Она излучала тепло, казалось — стоит протянуть руку, оно и тебя обогреет. Она показалась мне выше ростом — то ли от высоких каблучков, то ли благодаря искусству портнихи, сумевшей скроить платье так, чтобы оно ее худило, и держалась она с естественной грацией девушки, с детства занимающейся спортом. Словом, это была чрезвычайно соблазнительная молодая особа. На месте ее матери я бы решил, что пора, очень даже пора выдать ее замуж.

Радуюсь случаю хоть в малой мере отблагодарить за гостеприимство, которое миссис Брэдли оказала мне в Чикаго, я пригласил их всех в театр, и еще — как-нибудь позавтракать в ресторане.

— Поторопитесь, милейший, — сказал мне Эллиот. — Я уже оповестил моих друзей, что мы здесь, и думаю, что очень скоро наши дни будут расписаны до конца сезона.

Я рассмеялся, поняв, что должны означать эти слова: что для таких, как я, у них скоро не будет времени. Эллиот смерил меня взглядом, в котором сквозила некоторая надменность.

— Но часов в шесть мы, разумеется, почти всегда дома, и будем рады вас видеть, — добавил он милостиво, но с явным намерением напомнить мне, что я — всего лишь писатель.

Однако бывает, что и святой не стерпит.

— Постарайтесь связаться с Сент-Олфердами, — сказал я. — Мне говорили, что они хотят продать своего Констебля — один из его солсберийских соборов.

— Я сейчас картин не покупаю.

— Да, я знаю, я думал, может, вы им поможете сбыть его с рук.

В глазах у Эллиота появился стальной блеск.

— Дорогой мой, англичане — великая нация, но писать маслом они никогда не умели и никогда не научатся. Английская школа меня не интересует.

VII

Весь следующий месяц я почти не видел Эллиота и его родственниц. Их он принимал по-царски. Он возил их на субботу и воскресенье в одну знаменитую родовую усадьбу в Сассексе, а потом в еще более знаменитую в Уилтшире. Водил их в королевскую ложу в Опере в качестве гостей некой принцессы, приходившейся родней Виндзорскому дому. Возил на завтраки и обеды к сильным мира сего. Достал для Изабеллы приглашения на несколько балов. Сам принимал в «Кларидже» целый ряд гостей, чьи имена на следующий день выглядели в газетах очень эффектно. Он давал ужины у Сайро и в ресторане «Посольский». Словом, он делал все, что считал уместным, и у Изабеллы, еще не очень искушенной в жизни высшего света, даже голова покруживалась от роскоши и великолепия, которыми он ее услаждал. Ничто не мешало Эллиоту воображать, что он взвалил на себя эти заботы из чисто альтруистического побуждения — отвлечь мысли племянницы от ее злосчастного романа; однако ему, как я подозреваю, и самому было лестно дать сестре возможность воочию убедиться, что он — свой человек в кругу прославленных и знатных. Принимать гостей он умел и от души наслаждался, проявляя свою виртуозность.

Меня он тоже раза два приглашал, и время от времени я в шесть часов заглядывал в «Кларидж». Изабеллу всегда окружали молодые великаны-гвардейцы в ослепительных мундирах или элегантные, но не столь ослепительные молодые люди из министерства иностранных дел. Как-то раз она, ускользнув от своих кавалеров, отвела меня в сторону.

— У меня к вам просьба, — сказала она. — Помните, как мы с вами пили в аптеке содовую с мороженым?

— Прекрасно помню.

— Вы тогда мне очень помогли. Пожалуйста, помогите мне еще раз.

— Постараюсь.

— Мне нужно с вами поговорить. Может, как-нибудь позавтракаем вместе?

— Скажите только когда.

— Где-нибудь, где нелюдно.

— Хотите, прокатимся в Хэмптон-Корт? Там и позавтракаем. Парк в это время года хорош, как никогда, и я вам покажу кровать королевы Елизаветы.

Она охотно согласилась и назначила день. Но, когда этот день настал, погода, которая до тех пор нас баловала, вдруг резко переменилась. Небо затянуло тучами, моросил дождь. Я позвонил узнать, не предпочтет ли она позавтракать в городе.

— А то сегодня в парке не посидишь, и картины смотреть плохо, когда так темно.

— В парках я насиделась, а от старых мастеров у меня оскомина. Нет, поедем.

— Отлично.

Я заехал за ней, и мы отправились. В Хэмптон-Корте я знал одну небольшую гостиницу с хорошим рестораном и сразу дал шоферу адрес. По дороге Изабелла со свойственной ей живостью болтала о приемах, на которых побывала, и о людях, с которыми познакомилась. Она была в восторге от своего времяпрепровождения, но из ее замечаний о всяких новых знакомых я понял, что наблюдает она зорко и не обольщается пустыми словами. Из-за плохой погоды экскурсантов не было, и в ресторане мы сидели одни. Гостиница эта славилась простой английской кухней, мы ели вкуснейшую молодую баранину с зеленым горошком, а затем — яблочный пирог со сливками, да еще по кружке светлого пива — завтрак хоть куда. Поев, я предложил Изабелле перейти в пустую кофейню и посидеть в удобных креслах. Там было холодно, но уголь и растопка в камине были приготовлены, и я поднес к ним спичку. Огонь весело запылал, в комнате сразу стало уютнее.

— Вот так-то, — сказал я. — А теперь выкладывайте, о чем вы хотели со мной поговорить.

— О том же, что и в тот раз, — отвечала она со смешком. — О Ларри.

— Я так и думал.

— Вы знаете, что мы расстроили помолвку?

— Да, Эллиот мне говорил.

— У мамы как гора с плеч, и он не нарадуется.

Секунду она колебалась, а потом стала рассказывать про свой разговор с Ларри, тот самый, который я уже попытался правдиво пересказать читателям. Кое-кого мо-

жет удивить, что Изабелла пожелала так много сообщить человеку, так мало ей знакомому. Я и видел-то ее всего раз десять, причем всегда на людях, если не считать того единственного разговора в аптеке. Но меня это не удивило. Прежде всего, писателю люди часто поверяют такое, чего не поверили бы никому другому (любой писатель может это подтвердить). Не знаю, чем это объяснить. Возможно, что, прочитав две-три его книги, они проникаются ощущением, что он — самый близкий им человек; либо, дав волю фантазии, они видят самих себя действующими лицами романа и готовы открыть ему душу, как то делают, по их мнению, вымышленные им персонажи. А еще, мне сдается, Изабелла чувствовала, что я симпатизирую и Ларри, и ей, что их молодость меня умиляет, а их горести вызывают мое сочувствие. Ждать сочувствия от Эллиота не приходилось — он не склонен был уделять внимание молодому человеку, грубо отмахнувшись от предоставленной ему совершенно исключительной возможности проникнуть в высшее общество. Мать тоже не могла ей помочь. У миссис Брэдли был здравый смысл и твердые правила. Здравый смысл подсказывал ей, что, если хочешь добиться успеха в жизни, надо считаться с условностями и человек, который с ними не считается, не хочет поступать, как все, — человек ненадежный. А твердые правила гласили, что долг мужчины — работать в такой области, где он, проявив энергию и инициативу, имеет шанс нажить достаточно денег, чтобы содержать жену и детей в соответствии с требованиями своего положения, дать сыновьям образование, которое позволит им, став взрослыми, честно зарабатывать на жизнь, и после своей смерти оставить жену должным образом обеспеченной.

У Изабеллы была хорошая память, и все перипетии их долгого разговора прочно в ней запечатлелись. Я молча выслушал ее до конца. Один только раз она прервалась, чтобы спросить меня:

— Кто был Рейсдаль?

— Рейсдаль? Голландский художник, пейзажист.

А что?

О нем, оказывается, упомянул Ларри. Он сказал, что Рейсдаль нашел ответы на свои вопросы, а когда она спросила, кто он был, отделался шуткой.

— Как по-вашему, что он имел в виду?

Меня осенила догадка.

— А может быть, он сказал Рейсброк?

— Может, и так. А Рейсброк кто был?

— Фламандец, мистик, жил в четырнадцатом веке.

— А-а,— протянула она разочарованно.

Ей это ничего не сказало. Для меня же кое-что прояснило. Послужило первым указанием на то, куда ведут Ларри его размышления; и пока Изабелла продолжала свой рассказ, я, хотя и слушал ее по-прежнему внимательно, какой-то частицей мозга обдумывал возможности, скрывавшиеся за этим беглым упоминанием. Я не хотел придавать ему слишком большое значение,— возможно, имя Учителя Экстаза понадобилось Ларри просто как аргумент в споре,— но, с другой стороны, может быть и так, что он вложил в свои слова смысл, ускользнувший от Изабеллы. Своим ответом, что Рейсброк был просто «малый, с которым он не учился в школе», он, видимо, хотел окончательно сбить ее со следа.

— И что вы обо всем этом думаете? — спросила она, закончив свою повесть.

Я ответил не сразу.

— Помните, он когда-то говорил, что намерен просто бездельничать? Если то, что он вам рассказал, правда, выходит, что под бездельем он понимает довольно-таки тяжкий труд.

— Конечно, он говорил правду. Но неужели вы не понимаете? Если бы он так же напряженно работал в какой-нибудь практической области, он бы уже сейчас зарабатывал вполне приличные деньги.

— Некоторые люди странно устроены. Иные преступники трудятся до седьмого пота, подготавливая преступление, за которое попадают в тюрьму, а едва выйдя на свободу, начинают все сызнова и опять попадают в тюрьму. Если бы они вложили столько же стараний, столько же находчивости, выдумки, терпения в какое-нибудь честное дело, они бы жили безбедно и занимали высокие должности. Но так уж они устроены. Им нравится совершать преступления.

— Бедный Ларри,— засмеялась она.— Вы уж не хотите ли сказать, что он учит древнегреческий, чтобы подстроить ограбление банка?

Я тоже рассмеялся.

— Нет, конечно. Я пытаюсь внушить вам другое: что есть люди, одержимые таким сильным желанием заниматься чем-то определенным, что ничего не могут с собой

поделать. Они готовы пожертвовать чем угодно, лишь бы удовлетворить это желание.

— Даже людьми, которые их любят?

— О да.

— А это не самый обыкновенный эгоизм?

— Вот уж не знаю, — улыбнулся я.

— Какая может быть польза от того, что Ларри изучает мертвые языки?

— Некоторым людям свойственна бескорыстная жажда знаний. Ничего постыдного в этом нет.

— А какой толк в знаниях, если не собираешься их применять?

— Он-то, может, и собирается. Может, само знание послужит для него достаточной наградой, как для художника — достаточная награда то, что он создал произведение искусства. А может, это только шаг на пути куда-то дальше.

— Если ему нужны были знания, почему он не пошел в университет, когда вернулся с войны? Ему это и доктор Нелсон, и мама советовали.

— Я говорил с ним об этом в Чикаго. Диплом ему ни к чему. Мне кажется, у него уже тогда было довольно точное представление о том, что ему нужно, и он знал, что университет ему этого не даст. Ведь там, где дело касается знаний, есть не только волки, которые бегают стаей, есть и одинокие волки. И Ларри, мне кажется, из тех, кто способен идти только своим одиноким путем.

— Помню, я как-то спросила его, не хочет ли он стать писателем. Он рассмеялся и сказал, что писать ему не о чем.

— Никогда не слышал, чтобы от писательства отказывались по таким неубедительным причинам, — сказал я, улыбаясь.

Изабелла раздраженно от меня отмахнулась. Даже самая невинная шутка казалась ей в ту минуту неуместной.

— Не понимаю, просто не понимаю, почему он стал такой. До войны он был как все. Вы, может, не поверите, но он очень сильный теннисист и недурно играет в гольф. Раньше он делал все, что и мы, остальные. Был самым обыкновенным мальчиком и, судя по всему, должен был стать самым обыкновенным мужчиной. Вы же как-никак писатель. Вы должны найти этому объяснение.

— Кто я такой, чтобы разобраться в бесконечных сложностях человеческой природы?

— Поэтому я и хотела с вами поговорить, — продолжала она, не слушая.

— Вам тяжело?

— Нет, это не то слово. Когда Ларри нет рядом, все как будто в порядке. Это когда мы вместе, я чувствую себя такой слабой. И до сих пор что-то не отпускает, тянет, не дает распрямиться, вот как бывает после верховой прогулки, когда перед тем давно не садилась на лошадь; это не боль, это вполне можно терпеть, но чувствуешь все время. Скоро, наверно, пройдет. Только очень уж обидно, что Ларри себя губит.

— Может, еще и не погубит. Он пустился в долгий, трудный путь, но в конце пути, возможно, и найдет то, что ищет.

— А что он ищет?

— Вы не догадались? А по-моему, из его слов это явствует. Он ищет бога.

— Бог ты мой! — вскричала она удивленно и недоверчиво. Но мы тут же невольно рассмеялись — очень уж забавно получилось, что одно и то же слово мы употребили так по-разному. Изабелла, впрочем, сразу опять стала серьезной, мне даже показалось, что она немного испугана.

— С чего вы это взяли?

— Это всего лишь догадка. Но вы ведь просили меня как писателя сказать, что я обо всем этом думаю. К сожалению, вы не знаете, какое именно потрясение, пережитое на войне, так сильно повлияло на Ларри. Вероятно, это был какой-то внезапный удар, к которому он не был подготовлен. Вот мне и кажется, что это переживание, каково бы оно ни было, открыло ему глаза на быстротечность жизни и породило мучительное желание увериться в том, что есть все же воздаяние за все грехи и горести мира.

Я видел, что от такого поворота в нашем разговоре Изабелле стало не по себе. Она почувствовала, что теряет почву под ногами.

— Очень уж мрачно это звучит. Мир надо принимать таким, как он есть. Раз уж мы существуем, надо брать от жизни все, что можно.

— Должно быть, вы правы.

— Я вот знаю, что я — самая обыкновенная, нормальная женщина. И хочу жить в свое удовольствие.

— Видимо, это случай полной несовместимости характеров. И хорошо, что вы в этом убедились еще до брака.

— Я хочу выйти замуж, и иметь детей, и жить...

— В той общественной сфере, в которой милостивому провидению угодно было вас поселить, — закончил я с улыбкой.

— А что в этом дурного? Сфера очень приятная, я ею вполне довольна.

— Вы с Ларри — как двое друзей, которые хотят вместе провести отпуск, только одного прельщает восхождение на ледяные пики Гренландии, а другого — рыбная ловля в атоллах у берегов Индии. Ясно, что им не сговориться.

— На ледяных пиках Гренландии я хоть могла бы добыть себе котиковое манто, а в атоллах у берегов Индии, по-моему, и рыбы-то нет.

— Это еще неизвестно.

— Почему вы так говорите? — спросила она, хмурясь. — Мне кажется, вы все время чего-то недоговариваете. Я понимаю, что главную роль здесь играю не я, а Ларри. Он идеалист, он мечтатель, и, даже если его высокая мечта не сбудется, честь ему и слава, что такая мечта у него была. А моя роль — практичной, расчетливой стяжательницы. Здравый смысл обычно не вызывает сочувствия, ведь так? Но вы забываете, что платить-то пришлось бы мне. Ларри витал бы в облаках, а мне осталось бы плестись за ним и сводить концы с концами. А я хочу жить.

— Я этого вовсе не забываю. Когда-то давно, еще в молодости, я знал одного человека, врача, и очень неплохого, но практиковать он не хотел. Он годами просиживал в библиотеке Британского музея и время от времени, с большими промежутками, производил на свет огромный труд, не то научный, не то философский, которого никто не читал и который он был вынужден издавать на свои средства. Таких никчемных фолиантов он написал четыре или пять. У него был сын, тот мечтал служить в армии, но на учение в Сандхерсте не было денег, он пошел рядовым. И был убит на войне. Была у него и дочь, очень хорошенькая, я слегка за ней ухаживал. Та пошла на сцену, но таланта у нее не оказалось, и она колесила по провинции в составе второразрядных трупп, на крошечных ролях и за грошовое жа-

лованье. Мать ее из года в год гнула спину на тяжелой, нескончаемой домашней работе, здоровье ее сдало, и девушке пришлось вернуться домой и взвалить на себя ту же отупляющую работу, на которую у матери уже не было сил. Исковерканные, впустую прожитые жизни, и ради чего — неизвестно. Да, сойти с проторенного пути — та же лотерея. Много званых, но мало избранных.

— Мама и дядя Эллиот меня одобряют. А вы?

— Милый друг, какое это для вас имеет значение? Я же для вас посторонний человек.

— Вы для меня объективный наблюдатель, — пояснила она с милой улыбкой. — Мне ваше одобрение важно. Вы ведь тоже считаете, что я поступила правильно?

— Я считаю, что вы поступили правильно для себя, — ответил я, почти уверенный, что она не уловит маленькой разницы между своими словами и моими.

— Тогда почему меня совесть мучает?

— А она мучает?

Все еще улыбаясь, но теперь уже не весело, она кивнула головой.

— Я знаю, это единственный разумный выход. Каждый нормальный человек согласится, что иначе я поступить не могла. С какой практической точки зрения ни взглянуть — с точки зрения житейской мудрости, или приличий, или принятых понятий о том, что хорошо и что плохо, — я сделала то, что должна была сделать. И все-таки в глубине души меня что-то гложет, все кажется, что, будь я лучше, добрее, благороднее, я вышла бы за Ларри и разделила его жизнь. Если б только я достаточно его любила, мне все было бы ни о чем.

— Можно сказать и наоборот: если бы он достаточно вас любил, он исполнил бы вашу волю.

— Я и так пробовала думать. Но это не помогает... Наверно, самопожертвование больше свойственно женщинам, чем мужчинам. — Она усмехнулась. — Ну, знаете, Руфь, и поля Моавитские, и все такое.

— Так рискните.

До сих пор мы говорили в легком тоне, словно речь шла об общих знакомых, чьи дела мы не принимаем особенно близко к сердцу, и, даже передавая мне свой разговор с Ларри, Изабелла сдобрила свой рассказ живым, веселым юмором, словно не хотела, чтобы я отнесся к нему слишком серьезно. Но теперь она побледнела.

— Я боюсь.

Мы помолчали. По спине у меня пробежал холодок, как всегда бывает, когда я оказываюсь перед глубоким, подлинным человеческим чувством. Для меня в этом есть что-то грозное, пугающее.

— Вы очень его любите? — спросил я наконец.

— Не знаю. Он меня бесит. Выводит из себя. А тоскую я о нем ужасно.

И опять мы умолкли. Я не знал, что сказать. В маленькой кофейне было полутемно от густых кружевных занавесок на окнах. По стенам, оклеенным желтыми «мраморными» обоями, висели старые гравюры, изображавшие охоту и скачки. И вся комната с ее мебелью красного дерева, потертыми кожаными креслами и влажным, спертым воздухом напоминала кофейню из романа Диккенса. Я помешал в камине и подбавил угля. Внезапно Изабелла заговорила.

— Понимаете, я думала, если поставить вопрос ребром, он сдастся. Я ведь знала, что он слабый.

— Слабый? — вскричал я. — Из чего вы это заключили? Человек больше года поступал вопреки осуждению всех своих друзей и знакомых, потому что твердо решил не сворачивать с избранного пути...

— Я всегда могла подбить его на что угодно. Я из него веревки вила. И в компании нашей он никогда не верховодил. Куда мы, туда и он.

Я следил, как кольцо дыма от моей папиросы становилось все больше, а потом растаяло в воздухе.

— Мама и Эллиот были очень недовольны, что я после всюду с ним бывала, как будто ничего не случилось, но сама я как-то не принимала это всерьез. Все думала, что в конце концов он уступит. Я просто не могла поверить, что, когда мне удастся вбить в его глупую голову, что я не шучу, он и тогда будет упорствовать. — Она помедлила и одарила меня озорной, лукавой улыбкой. — Вы будете очень шокированы, если я расскажу вам одну вещь?

— Едва ли. Для этого много нужно.

— Когда мы решили уехать в Лондон, я позвонила Ларри и предложила ему провести мой последний вечер в Париже вместе. Дядя Эллиот, когда я им сказала, заявил, что это в высшей степени неприлично, а мама сказала, что, на ее взгляд, это лишнее. Когда мама говорит «это лишнее», надо понимать, что она решительно против. Дядя Эллиот спросил, что мы задумали,

и я сказала, что мы решили где-нибудь пообедать, а потом поездить по ночным клубам. Он сказал маме, что она должна запретить эту эскападу. Мама спросила: «Если я тебе это запрещаю, ты слушаешься?» А я ответила: «Нет, мамочка, ни в коем случае». Тогда она сказала: «Ну вот, я так и думала. А раз так, много ли проку будет от моего запрета?»

— Ваша мама — на редкость разумная женщина.

— Она все, решительно все замечает. Когда Ларри за мной заехал, я пошла к ней проститься. Я была немножко накрашена, вы ведь знаете, в Париже без этого нельзя, а то чувствуешь себя такой голой, и, когда она увидела, какое я надела платье, она так оглядела меня с головы до ног, что я даже поежилась, — не иначе как догадалась, что я задумала. Но она ничего не сказала. Только поцеловала меня и пожелала весело провести время.

— А что вы задумали?

Изабелла поглядела на меня с сомнением, словно еще не решила, до конца ли быть со мной откровенной.

— В зеркале я себе понравилась, и это был мой последний шанс. Ларри заранее заказал столик у Максима. Мы ели разные вкусные вещи, все мое самое любимое, и пили шампанское. Тараторили без умолку, во всяком случае я, и Ларри много смеялся. Я всегда могу его рассмешить, отчасти поэтому мне и было с ним так хорошо. Мы потанцевали, потом поехали в кафе «Мадрид». Там встретили знакомых и опять пили шампанское. Потом все вместе поехали в «Акацию». Ларри танцует очень хорошо, и мы с ним станцевались. Жара, музыка, вино — в голове туман, море по колено. Я танцевала с Ларри щекой к щеке и чувствовала, что он меня хочет. А уж я как его хотела... И тут я придумала. Подсознательно-то я, наверно, думала это все время. Я решила — пусть он проводит меня домой и войдет, а уж там — там неизбежное неизбежно случится.

— Право же, изящнее выразить вашу мысль было бы трудно.

— Моя комната была на отлете, далеко от маминой и дяди Эллиота, так что на этот счет я была спокойна. И я решила, что, когда мы вернемся в Америку, я напишу ему, что жду ребенка. Тогда он должен будет приехать и жениться на мне, а уж если он окажется дома, я сумею

его там удержать, тем более что мама болеет. Я говорила себе: «Дура же я была, что раньше не додумалась. Ну конечно, теперь все будет в порядке». Когда музыка кончилась, мы еще постояли обнявшись и я сказала, что уже поздно, а поезд наш отходит в полдень, так что пора ехать домой. Мы взяли такси. Я к нему прижалась, а он обнял меня и стал целовать. Он меня целовал, целовал... это было такое счастье. Я и не заметила, как мы доехали. Ларри расплатился.

— Пойду домой пешком.

Такси укатило, я обняла его за шею и сказала:

— Зайди, выпьем на прощание.

— Ну что ж, давай.

Он позвонил, дверь отворилась. Входя в вестибюль, он включил свет. Я посмотрела ему в глаза. Они были такие честные, доверчивые, такие невинные, так было ясно, что у него и в мыслях нет, что я готовлю ему западню, и я почувствовала, что не могу сделать ему такую гадость. Все равно что отнять у ребенка конфету. Знаете, что я сделала? Я сказала: «А в общем лучше, пожалуй, не стоит. Маме сегодня нездоровилось, может, она уснула, так я боюсь, не разбудить бы ее. Спокойной ночи». Я дала ему еще раз меня поцеловать и вытолкала его за дверь. Тем дело и кончилось.

— И теперь вы об этом жалеете?

— И не жалею и не рада. Я просто не могла иначе. Как будто это не я сделала. Как будто кто-то действовал за меня.— Она скорчила забавную гримаску.— Мое лучшее «я», так это, кажется, называется.

— Наверно, так.

— Тогда пусть мое лучшее «я» и расплачивается. Авовь вперед будет осторожнее.

На этом, в сущности, наш разговор закончился. Возможно, Изабелле стало легче на душе от того, что она выложила кому-то все без утайки, но сделать для нее больше этого я не мог. Чувствуя, что не оправдал ожиданий, я все же попробовал хоть что-то сказать ей в утешение.

— Знаете,— сказал я,— когда бываешь влюблен и все получается тебе наперекор, страдаешь ужасно и кажется, что пережить это невозможно. Но море — великий целитель, скоро сами узнаете.

— Это как же понимать? — улыбнулась она.

— А вот как: любовь не выносит качки, от морских

переездов она хиреет. Когда между вами и Ларри ляжет Атлантический океан, вы сами убедитесь, как мало осталось от той боли, что раньше казалась нестерпимой.

— Вы говорите по личному опыту?

— По опыту бурного прошлого. Когда меня одолевали муки неразделенной любви, я тут же брал билет на океанский лайнер.

Дождь, видимо, зарядил надолго; мы решили, что ничего страшного не будет, если Изабелла не увидит достопримечательностей Хэмптон-Корта, даже кровати королевы Елизаветы, — и поехали обратно в Лондон. После этого я видел ее еще два или три раза, но не одну. А потом мне захотелось отдохнуть от Лондона, и я махнул в Тироль.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

I

Прошло десять лет, в течение которых я не видел ни Изабеллу, ни Ларри. С Эллиотом я продолжал видаться и даже (по причинам, о которых будет сказано ниже) чаще прежнего, и от него иногда узнавал что-нибудь новое про Изабеллу. О Ларри же он ничего не мог мне сказать.

— Откуда мне знать, может быть, он все еще в Париже, но едва ли мы когда-нибудь встретимся. Мы встречаемся в разных кругах, — пояснил он снисходительно. — Очень прискорбно, что он так опустился. Ведь он из очень хорошей семьи. Если бы он мне доверился, я несомненно мог бы вывести его в люди. Нет, Изабелла вовремя с ним рассталась.

Я не был столь разборчив, как Эллиот, и в Париже у меня было несколько знакомых, общаться с которыми он счел бы ниже своего достоинства. Во время моих коротких, но довольно частых наездов я спрашивал кое-кого из них, не встречали ли они Ларри, не слышали ли о нем; иные его помнили, но близко с ним не был знаком никто, и никто не мог мне сообщить о нем каких-либо сведений. Я побывал в ресторане, где он обычно обедал; там сказали, что он не заходил уже давно, должно

быть, уехал. И не попался он мне ни в одном кафе на бульваре Монпарнас, куда часто заглядывают обитатели этого района.

Когда Изабелла уехала, он собирался в Грецию, но потом передумал. А о том, что с ним было дальше, он сам поведал мне много лет спустя, я же расскажу об этом сейчас, потому что события удобнее располагать по возможности в хронологическом порядке. Все лето и почти всю осень он оставался в Париже.

— А потом, — сказал он, — я почувствовал, что хватит с меня книг, надо отдохнуть. Два года я сидел над книгами по восемь — десять часов в сутки. И я пошел работать в угольную шахту.

— Куда? — вскричал я пораженный.

Он засмеялся.

— Я решил, что несколько месяцев физического труда — это как раз то, что мне нужно. Что это позволит мне разобраться в своих мыслях и перестать спорить с самим собой.

Я не ответил. Только ли это, думал я, было причиной для такого неожиданного шага или же этот шаг был связан с отказом Изабеллы выйти за него замуж? Ведь я понятия не имел, насколько глубоко он ее любит. Влюбленные находят тысячи способов убедить себя в том, что раз им чего-то хочется, значит, это разумно. Отсюда, думается мне, и огромное число неудавшихся браков. Вот так же люди порой вверяют свои дела близкому другу, хоть и знают, что он мошенник: они отказываются верить, что мошенник — в первую очередь мошенник, а потом уже друг; они убеждены, что хотя с другими он поступает бесчестно, их-то он не обманет. У Ларри хватило сил не пожертвовать ради Изабеллы той жизнью, которую он себе выбрал, но возможно, что потерять ее оказалось горше, чем он ожидал. Возможно, он, как и все мы грешные, мечтал, что и волки будут сыты, и овцы целы.

— И что же было дальше? — спросил я.

— Я упаковал мои книги и одежду и сдал на хранение в «Америкен экспресс». Потом уложил в чемодан сменный костюм и кое-какое белье и пустился в путь. У моего учителя греческого языка сестра была замужем за управляющим одной шахтой в Лансе, и он дал мне к нему письмо. Вы Ланс знаете?

— Нет.

— Это на севере Франции, недалеко от бельгийской границы. Там я переночевал в привокзальной гостинице, а на следующий день рабочим поездом добрался до места. Вы когда-нибудь бывали в шахтерском поселке?

— Только в Англии.

— А они, наверно, везде на одно лицо. Шахта, дом управляющего, и ряд за рядом двухэтажные домики, все одинаковые, один как другой, хоть плачь. Еще — уродская церковь недавней постройки и несколько кабаков. Приехал я туда в холодный, ненастный день, уже начался дождь. Нашел контору и предъявил управляющему мое письмо. Он был маленький, толстенный, с красными щечками и, как видно, любитель поесть. У них была нехватка рабочих рук, много шахтеров погибло на войне, они даже взяли на работу поляков, человек двести — триста. Он задал мне несколько вопросов, поморщился, когда узнал, что я американец, почему-то это показалось ему подозрительным, но его шурин дал обо мне хороший отзыв, и он меня зачислил. Хотел было дать мне работу на поверхности, но я сказал, что хочу в шахту. Он сказал, что с непривычки трудно будет, я сказал — ничего, и он поставил меня подручным забойщика. Вообще-то это работа для мальчишек, но мальчишек тоже не хватало. Он был славный человек, спросил, устроился ли я с жильем, а когда узнал, что нет, написал мне на бумажке адрес одной женщины, которая наверняка сдаст мне койку. Вдова шахтера, муж погиб, оба сына работают в шахте.

Я взял свой чемодан и отправился. Нашел адрес, дверь мне отворила высокая, тощая женщина, полуседая, с большими темными глазами. В молодости, наверно, была красивая. Она и тогда еще была бы недурна, несмотря на жуткую худобу, жаль только, двух передних зубов не хватало. Она сказала, что целой комнаты у нее нет, но есть комната с двумя койками, одну снимает поляк, вторая свободна. Наверху в одной комнате живут ее сыновья, в другой — она сама. Нижняя комната, которую она мне показала, раньше, наверно, называлась гостиной; я бы предпочел иметь свой угол, но подумал, что привередничать не стоит, к тому же и дождь разошелся вовсю, я уже успел промокнуть. Не хотелось опять выходить на улицу, и я сказал, что это мне подходит, и остался у нее. Гостиной им теперь служила кухня, там даже стояло несколько ветхих кресел. Во дворе был сарай для

угля, он же баня. Братья и поляк брали завтраки с собой на работу, а мне она предложила поесть вместе с нею в полдень. Потом я сидел в кухне и курил, а она делала свои домашние дела и рассказывала о себе и своей семье. После смены вернулся домой поляк, а вскоре за ним и братья. Поляк молча кивнул мне, когда хозяйка сказала, что я буду жить с ним в одной комнате, взял с плиты большущий чайник и пошел в сарай мыться. Оба парня были рослые, красивые, даже под слоем грязи, и отнеслись ко мне приветливо. Им казалось ужасно смешно, что я американец. Одному было девятнадцать лет, через несколько месяцев идти на военную службу, другому восемнадцать.

Дождавшись, когда поляк вернулся, парни тоже ушли смывать с себя грязь. Имя у поляка было трудное, и все звали его Кости. Был он верзила дюйма на три выше меня и сложения атлетического. Лицо у него было бледное, мясистое, нос картошкой и большой рот. Глаза голубые и как будто подведенные, потому что ему никак не удавалось отмыть брови и ресницы от угольной пыли. Эти черные ресницы придавали его голубым глазам какой-то нестерпимый блеск. Некрасивый он был и нескладный. Сыновья хозяйки переоделись и ушли, а поляк все сидел в кухне, курил и читал газету. Я достал из кармана книгу и тоже стал читать. Он глянул на меня раз, другой, потом отложил газету и спросил:

«Что читаете?»

Я молча протянул ему книгу. Это была «Принцесса Клевская», я купил ее на вокзале в Париже, благо формат был карманный. Он поглядел на книжку, потом с любопытством на меня и вернул ее. На губах у него мелькнула насмешливая улыбка.

«Вас это забавляет?»

«По-моему, очень интересно, даже увлекательно».

«Я это читал в школе, в Варшаве. Решил, что скука смертная.— По-французски он говорил хорошо, почти без акцента.— Теперь-то я ничего не читаю, только газеты и детективные романы».

Мадам Дюклер, наша хозяйка, сидела у стола и штопала носки, в то же время приглядывая за супом, который варила на ужин. Она рассказала Кости, что меня к ней прислал управляющий, и передала ему то, что я счел нужным сообщить ей о себе. Он слушал, пощипывая трубкой и глядя на меня своими блестящими голу-

быми глазами. Взгляд был жесткий и пронизательный. Он стал меня расспрашивать. Когда я сказал, что никогда не работал в шахте, насмешливая улыбка снова тронула его губы.

«Значит, вы не знаете, что вас ждет. Никто не пойдет работать в шахту, если есть выбор. Но это дело ваше. Не сомневаюсь, что у вас есть свои причины. В Париже вы где жили?»

Я сказал.

«Было время, я каждый год ездил в Париж. Только я держался ближе к Большим бульварам. У Ларю бывали? Это был мой любимый ресторан».

Я удивился. Ресторан, если помните, не из дешевых.

— Отнюдь.

Он, конечно, заметил мое удивление — опять я увидел эту насмешливую улыбку, — но от объяснений воздержался. Мы еще потолковали о том о сем, потом вернулись братья, и мы поужинали. А после ужина Кости предложил мне пойти в бистро выпить пива. Там была всего одна комната, в одном конце стойка, а дальше мраморные столики и деревянные стулья. Еще там стояла пианоло, кто-то сунул в щель монету, и она орала танцевальный мотив. Кроме нашего, было занято еще только три стола. Кости спросил, играю ли я в белоту. Меня этой игре обучили в Париже молодые люди, с которыми я вместе занимался, и Кости предложил мне сыграть на пиво. Я согласился, он потребовал карты. Я проиграл одну кружку, проиграл вторую. Тогда он предложил поиграть на деньги. Карта ему шла, а мне не везло. Ставки были ничтожные, но я проиграл несколько франков. От выигрыша и от пива он пришел в хорошее настроение и разговорился. И по манерам его, и по тому, как он говорил, я скоро понял, что человек он образованный. Когда речь опять зашла о Париже, он спросил, не знавал ли я такую-то и такую-то — американок, которых я встречал у Эллиота, когда тетя Луиза с Изабеллой у него гостили. Сам он, видимо, знал их лучше, чем я, и мне стало любопытно, как он дошел до своей теперешней жизни. Было еще не поздно, но вставать нам предстояло с рассветом.

«Давай по последней», — предложил он.

Он потягивал пиво и смотрел на меня своими маленькими зоркими глазками, и тут я сообразил, кого он мне напоминает: сердитого кабана.

«Зачем тебе понадобилось работать в этой треклятой шахте?» — спросил он.

«Хочу обогатить свой опыт».

«Tu es fou, mon petit»¹.

«А вы зачем здесь работаете?»

Он неуклюже вздернул тяжелые плечи.

«Мой отец был царским генералом. Я учился в кадетском корпусе, а в войну служил офицером в кавалерии. Я ненавидел Пилсудского. Мы сговорились его убить, но кто-то нас выдал. Тех из нас, кого сумели схватить, он расстрелял. Мне в последнюю минуту удалось бежать через границу. Что мне оставалось? Либо Иностран- ный легион, либо угольная шахта. Я выбрал меньшее из зол».

Я уже говорил Кости, на какую работу меня определили, и тогда он промолчал, а теперь поставил локоть на стол и сказал:

«Ну-ка, отогни мою руку».

Я знал этот старый способ меряться силами и при- ложил к его ладони свою. Он рассмеялся: «Через неделю ручка у тебя будет не такая нежная». Я стал давить что было силы, но у него ручища была как железная, и по- степенно он отвел мою руку назад, до самого стола. И тут же снизошел до похвалы:

«Силенка у тебя ничего. Другие и столько не выдер- живают. Знаешь что, подручный у меня никуда не годит- ся, плюгавый такой французишка, силы как у вши. Пойдем-ка завтра со мной, я скажу старшему, пусть луч- ше даст мне тебя».

«Я бы с удовольствием. А он согласится?»

«Подмазать надо. Лишние пятьдесят франков у тебя найдутся?»

Он протянул руку, я достал из бумажника кредитку. Мы пошли домой и легли спать. Длинный это получился день, я заснул как убитый.

— И что же, трудная оказалась работа? — спросил я Ларри.

— Сначала было зверски трудно, — признался он, ухмыляясь. — Кости договорился со старшим, и меня дали ему в подручные. Он в то время работал в забое размером в ванную комнату в отеле, а попадать туда надо было через штрек, такой низкий, что приходилось ползти на

¹ С ума сошел, малыш (фр.).

четвереньках. Жарко там было как в пекле, мы работали в одних штанах. И очень было противно смотреть на Кости с его огромным белым торсом — этакий гигантский слизняк. Грохот отбойного молотка в этой тесной поре буквально оглушал. Моя работа состояла в том, чтобы подбирать куски угля, которые он вырубал, складывать их в корзину и протаскивать эту корзину через штрек в штольню, а там его грузили на вагонетки и везли к подъемникам. Я только одну эту угольную шахту и видел, так что не знаю, везде ли принят такой порядок. Мне он казался дилетантским, а работа адова. В середине рабочего дня мы делали перерыв, съедали свой завтрак и курили. Я еле мог дождаться конца смены, зато мыться потом было чистое наслаждение. Ноги, бывало, никак не отдерешь — черные, как чернила. На руках, конечно, появились волдыри, болели они дьявольски, но потом подсохли. Я привык к этой работе.

— И надолго вас хватило?

— В забое меня держали неполных два месяца. Вагонетки, на которых уголь подвозили к подъемнику, таскал тягач, откатчик на нем работал никудышный, и мотор то и дело глох. Однажды он никак не мог его запустить, совсем умучился. Ну, а я в технике разбираюсь, я понял, в чем там дело, и через полчаса он у меня заработал. Старший рассказал про это управляющему, тот меня вызвал и спросил, знаю ли я толк в машинах. В результате мне дали место того откатчика. Работа, конечно, очень однообразная, зато легкая, и мотор перестал шалить, а значит — мною были довольны.

Кости рвал и метал, когда меня от него взяли. Он, мол, на меня не жаловался, он ко мне привык. Я его неплохо узнал за это время, как-никак целыми днями вместе работали, по вечерам вместе ходили в бистро и спали в одной комнате. Странный он был человек. Вас бы такой, вероятно, заинтересовал. С другими поляками он не знался, мы и в те кафе не ходили, в которых они бывали. Он все не мог забыть, что он дворянин и был кавалерийским офицером, а на них смотрел как на последнюю шваль. Их это, понятно, обижало, но поделать они ничего не могли: он был силен, как бык, и если б дошло до драки, даже если б они пустили в ход ножи, один уложил бы их два десятка. Я-то кое с кем из них все же познакомился, и они мне сказали, что кавалерийским офицером он действительно был и

служил в отборных частях, а вот что он покинул Польшу по политическим причинам — это враки. Его вышибли из офицерского клуба в Варшаве и уволили из полка, потому что он плутовал в карты и его на этом поймали. И мне они советовали не играть с ним. Уверяли, что он потому их и сторонится, что они слишком много о нем знают и отказываются с ним играть.

А я и правда все время ему проигрывал — так, немножку, по несколько франков за вечер, но когда он выигрывал, то непременно платил за выпивку, так что, в сущности, получалось одно на одно. Я думал, что мне просто не везет либо он лучше меня играет, но после этих разговоров стал держать ухо востро и уже не сомневался, что он передергивает, а вот как он это делает — хоть убей, не мог уловить. Ловок был до черта. Я уже понимал, что не может ему все время идти хорошая карта, следил за ним, как рысь. А он был хитер, как лисица, и наверняка догадался, что мне насчет него намекнули. Как-то вечером мы поиграли немного, а потом он поглядел на меня с этой своей насмешливой, скорее даже жесточкой улыбкой — по-другому он улыбаться не умел — и говорит:

«Хочешь, покажу тебе фокус?»

Взял колоду и велел назвать какую-нибудь карту. Потом стасовал, дал мне вытянуть одну карту, и оказалась та самая, которую я назвал. Показал и еще пару фокусов, потом спросил, играю ли я в покер. Я сказал, что играю. Он сдал. У меня оказались четыре туза и ко-роль. «И много бы ты поставил на такую сдачу?» Я ска-зал, что поставил бы все, что имел. «Ну и дурак бы был». Он открыл карты, которые сдал себе. Оказалось — флеш. Как он это проделал — не знаю. А он только смеется: «Не будь я честным человеком, я бы тебя давно по миру пустил».

«Вы и так на мне заработали».

Мы продолжали играть почти каждый вечер. Я пришел к выводу, что мошенничает он не столько ради денег, сколько ради забавы. Ему приятно было сознание, что он меня дурачит, а больше всего, кажется, радова-ло, что я его раскусил, а за техникой его уследить не могу.

Но это была только одна его сторона, а меня больше интересовала другая. И никак они между собой не связались. Хоть он и хвастал, что ничего не читает, кроме

газет и детективных романов, человек он был культурный. Отлично говорил — язвительно, едко, цинично, но так, что заслушаешься. Был набожным католиком, над кроватью у него висело распятие, и каждое воскресенье он ходил в церковь. А по субботам напивался. Наше бистро в субботу вечером было битком набито, воздух — хоть топор вешай. Туда приходили и степенные пожилые шахтеры с семьями, и молодые горластые парни, и многие мужчины, обливаясь потом, с громкими выкриками сражались в белоту, а их жены сидели немного позади и смотрели. Теснота и шум действовали на Кости своеобразно — он становился серьезным и начинал рассуждать, о чем бы вы думали? — о мистицизме. Я в то время только и знал об этом, что очерк Метерлинка о Рейсброке, попался мне как-то в Париже. А Кости толковал про Плотина, и про Дионисия Ареопагита, и про сапожника Якоба Бёме, и про мастера Экхарта. Было что-то фантастическое в том, как этот косолапый проходимец, выброшенный из своего общественного круга, этот озлобленный ерник и бродяга толкует о конечной реальности мира и о блаженстве слияния с богом. Для меня все это было внове, сбивало с толку, будоражило. словно человек проснулся в затемненной комнате, и вдруг сквозь щель в занавесках пробился луч света, и он чувствует, что стоит их раздернуть — и перед глазами в сиянии зари откроется широкая равнина. Но если я пытался навести Кости на эту тему, когда он был трезвый, он смотрел на меня злющими глазами и рывкал: «Почем я знаю, что я городил, когда сам не знал, что говорю?»

Но я понимал, что он врет. Он прекрасно знал, о чем говорил. Он много чего знал. Конечно, он был пьян, но выражение его глаз, восторг, написанный на его уродской физиономии, — этого одним алкоголем не объяснишь. Было тут и что-то еще. Когда он в первый раз об этом заговорил, он сказал одну вещь, которую я никогда не забуду, так она меня ужаснула: он сказал, что мир — это не творение, потому что из ничего ничего не бывает; это еще куда ни шло, но дальше он добавил, что зло — столь же непосредственное проявление божественного начала, как и добро. Странно было услышать такое в прокуренной шумной пивной, под аккомпанемент танцевальных мотивчиков на пианале.

Новую главку я начинаю с единственной целью дать читателю короткую передышку — разговор наш продолжался без перерыва. Пользуясь случаем, скажу, что говорил Ларри не спеша, местами делая паузы, чтобы подобрать нужное слово, и, хотя я, конечно, повторяю его рассказ не дословно, я постарался передать не только смысл его, но и манеру изложения. Его голос приятного музыкального тембра был богат интонациями; он не помогал себе жестами, только изредка умолкал, чтобы раскурить трубку, и, говоря, смотрел мне прямо в лицо ласковыми глазами, в которых то и дело загоралась усмешка.

— Пришла весна, в этой плоской, унылой части Франции она приходит поздно, дожди и холода еще держались, но выпадали и теплые, ясные дни, и тогда особенно не хотелось покидать белый свет и в расшатанной клетке, набитой шахтерами в темных комбинезонах, спускаться на сотни футов вниз, в недра земли. Наступить-то весна наступила, но в этой серой, неприглядной местности выглядела робко, точно была не уверена, что ей рады. Так иногда увидишь цветок в горшке — лилию или нарцисс в окне полустгнившего дома в трущобах, и непонятно, что он тут делает. Как-то в воскресенье утром мы еще валялись в постели — по воскресеньям мы всегда вставали поздно, — я читал, а Кости вдруг и скажи:

«Ухожу я отсюда. Хочешь со мной?»

Я знал, что летом многие здешние поляки уезжают на родину убирать урожай, но для этого время еще не пришло, да и не рискнул бы Кости вернуться в Польшу.

«А вы куда собираетесь?» — спросил я.

«Бродяжить. Через Бельгию и Германию, на Рейн. Можно наняться поработать на какой-нибудь ферме, на лето и хватит».

Я не стал долго раздумывать и сказал, что мне это по душе.

На следующий день мы взяли расчет. Я уговорил одного парня обменять мне рюкзак на мой чемодан. Лишнюю одежду отдал младшему сыну мадам Дюклер, мой размер ему годился. Кости оставил у них мешок, что нужно с собой тоже уложил в рюкзак, и во вторник, как только хозяйка напоила нас кофе, мы отправились в путь.

Мы не торопились, зная, что на работу нас могут взять не раньше, чем подойдет сенокос, и с прохладцей подвигались по Франции и Бельгии, через Намюр и Льеж, а в Германию вошли у Аахена. В день проходили миль десять — двенадцать, не больше. Приглянется какая-нибудь деревня — делаем остановку. Всегда находился трактир, где переночевать, поест и выпить пива. С погодой нам в общем везло. И замечательно было проводить все дни на воздухе после стольких месяцев в шахте. Я раньше, кажется, и не понимал, какая это радость для глаз — зеленый луг или дерево, когда листья на нем еще не распустились, но ветви словно окутаны легкой зеленой дымкой. Кости стал учить меня немецкому, — сам он говорил на нем не хуже, чем по-французски. Он называл мне все, что встречалось нам на пути — корова, лошадь, человек, потом заставлял повторять за ним простые немецкие фразы. Так мы коротали время, а когда вступили в Германию, я уже мог хотя бы попросить, что мне нужно.

Кельн оказался в стороне от нашего маршрута, но Кости непременно пожелал туда завернуть, как он сказал — ради Одиннадцати Тысяч Дев¹, а когда мы туда пришли, он загулял. Я не видел его три дня, потом он явился в комнату, которую мы заняли в каком-то рабочем бараке, черный как туча. Под глазом фонарь, губа рассечена, смотреть страшно — это он где-то ввязался в драку. Целые сутки проспал, а потом мы двинулись вверх по долине Рейна на Дармштадт, он сказал, что там земли плодородные и скорее всего можно получить работу.

Чудесно там было. Погода держалась, мы прошли много городов и деревень. В которых было что поглядеть — останавливались и глядели. Ночевали где придется, раза два даже на сеновале. Ели в придорожных харчевнях и, когда добрались до виноградников, перешли с пива на вино. В харчевнях заводили дружбу с тамошними жителями. Кости напускал на себя грубовато-простецкую манеру, весьма располагающую, играл с ними в скат, это такая немецкая карточная игра, и обчищал их так добро-

¹ Согласно средневековой легенде, возле теперешнего Кельна погибли в первые века нашей эры 11 000 девушек-христианок, сопровождавших британскую принцессу Урсулу во Францию и в пути убитых гуннами. Туристам в Кельне до сих пор показывают хранящиеся в стене церкви св. Урсулы черепа и кости, якобы найденные в земле на месте их захоронения.

душно, с такими солеными шуточками, что они отдавали ему свои пфенниги чуть ли не с радостью. А я практиковался на них в немецком. В Кельне я купил маленький англо-немецкий разговорник, и дело у меня шло на лад. А по вечерам, влив в себя литра два белого вина, Кости странным замогильным голосом разглагольствовал о полете от Единого к Единому, о Темной Ночи Души и о конечном экстазе, в котором творение сливается воедино с предметом своего восхищения. Но если я пытался вытянуть из него еще что-нибудь рано утром, когда мы опять шагали среди смеющейся природы и роса еще сверкала на траве, он приходил в такую ярость, что готов был меня поколотить.

«Да ну тебя, идиот несчастный, — огрызнулся он. — На что тебе понадобился этот вздор? Учи-ка лучше немецкий».

Не очень-то поспоришь с человеком, если у него кулак как паровой молот и он не задумается пустить его в ход. Я видел его приступы бешенства. Я знал, что он способен избить меня до бесчувствия и бросить в канаве, да еще обшарить мои карманы, это тоже с него бы случилось. Он по-прежнему был для меня загадкой. Когда язык у него развязывался от спиртного и он заводил разговор о Неизреченном, он сбрасывал с себя привычное сквернословие, как тот грязный комбинезон, что носил в шахте, и выражался вполне литературно, даже красноречиво. И был, мне кажется, вполне искренен. Сам не знаю, как я к этому пришел, но однажды мне взбрело в голову, что тяжелая, изнурительная работа в шахте была ему нужна ради умерщвления плоти. Может, он ненавидит свое огромное нескладное тело и нарочно его мучает, а его шулерство, и цинизм, и жестокость — это бунт его воли против... как бы это сказать, против какого-то сокровенного инстинкта святости, против жажды бога, которая и ужасает его, и владеет им неотступно.

А время-то шло, весна миновала, листва на деревьях стала густая и темная, в виноградниках наливались гроздья. Грунтовые проселочные дороги, по которым мы ходили, стали пыльными. До Дармштадта оставалось совсем немного, и Кости сказал, что пора нам подыскивать работу. Деньги у нас почти все вышли. У меня в бумажнике было несколько аккредитивов, но я решил, что без крайней нужды не буду их разменивать. И вот мы, как увидим ферму побогаче, стали заходить и спрашивать,

не требуются ли работники. Вид наш, надо полагать, не внушал доверия. Мы были грязные, потные, все в пыли. Кости — тот выглядел прямо как разбойник с большой дороги, да и я, наверно, немногим лучше. Раз за разом мы уходили ни с чем. Один фермер сказал, что Кости он согласен взять, а я ему не нужен, но Кости заявил, что мы товарищи и без меня он не пойдет. Я пробовал его уговорить, но он ни в какую. Это меня удивило. Я знал, что чем-то пришелся ему по вкусу, вот только чем — не мог уразуметь, казалось бы, ему нужны были дружки совсем иного сорта. Но чтобы он настолько ко мне привязался, что из-за меня откажется от работы — этого я не думал. Я даже почувствовал себя виноватым перед ним, потому что он-то мне, в сущности, не нравился, даже был мне противен, но, когда я промямлил что-то вроде благодарности, он разом меня оборвал.

В конце концов удача нам улыбнулась. Мы только что прошли одну деревню и, поднявшись в гору, набрали на ферму, она стояла на отшибе и вид имела вполне приличный. Постучались, дверь отворила женщина. Мы, как всегда, предложили свои услуги. Сказали, что платы нам не надо, будем работать за харчи и ночлег, и она, как ни странно, не захлопнула перед нами дверь, а велела подождать. Она кликнула кого-то, и из дома вышел мужчина. Он нас как следует разглядел, спросил, откуда мы, потребовал документы. Увидев, что я американец, еще раз оглядел меня с головы до ног. Что-то ему не понравилось, но он все же пригласил нас зайти, выпить по стакану вина. Он провел нас в кухню, и мы уселись. Женщина принесла жбан и стаканы. Хозяин нам рассказал, что его батрака боднул бык, парень в больнице и всю страду не сможет работать. А с работниками нынче туго, столько мужчин убито на войне, другие уходят на фабрики, вон их сколько понастроили на Рейне. Это нам было известно, мы, собственно, на это и рассчитывали. Ну, короче говоря, он нас нанял. В доме места было сколько угодно, но наше соседство его, видно, не прельщало; как бы то ни было, он предупредил, что на сеновале есть две койки и спать мы будем там.

Работа оказалась не тяжелая. Ухаживать за коровами, за свиньями, привести в порядок инвентарь. Оставалось и свободное время. Я любил поваляться в душистой траве, а вечерами уходил бродить и мечтать. Хорошая была жизнь.

Семья состояла из старика Беккера, его жены, овдовевшей снохи и ее детей. Сам Беккер был грузный седой мужчина лет около пятидесяти; он проделал войну, был ранен в ногу и еще хромал. Рана сильно болела, и он глушил боль вином. Спать ложился обычно пьяный. С Кости они спелись, после ужина вместе уходили в трактир, резались в скат и пили. Фрау Беккер раньше была батрачкой. Ее взяли из приюта, а после смерти своей первой жены Беккер на ней женился. Она была на много лет моложе его, по-своему недурна — цветущая блондинка, краснощекая, с голодным чувственным взглядом. Кости смекнул, что тут есть чем поживиться. Я сказал ему, чтоб не валял дурака: работа у нас хорошая, глупо будет ее потерять. Он меня высмеял, сказал, что Беккера ей мало и она сама виснет. Я знал, что взывать к его порядочности бесполезно, но советовал ему быть осторожным: Беккер-то, может быть, и не заподозрит ничего дурного, а вот его сноха — та все примечает.

Сноху звали Элли, она была крепкая, ядреная, еще молодая — тридцати не было, черноволосая, с бледным квадратным лицом и угрюмым выражением черных глаз. Она еще носила траур по мужу — он был убит под Верденом. Очень была набожная, по воскресеньям два раза ходила в деревню — утром к ранней обедне, под вечер ко всенощной. У нее было трое детей, младший родился уже после смерти отца, и за столом она если и открывала рот, так только чтобы на них прикрикнуть. Понемногу работала на ферме, но почти все свое время посвящала детям, а вечерами сидела одна в гостиной, с открытой дверью, чтобы услышать, если кто из них заплачет, и читала романы. Друг друга эти женщины терпеть не могли. Элли презирала фрау Беккер за то, что она приютская и раньше жила в услужении, и не могла ей простить, что она — хозяйка дома и вправе командовать.

Сама Элли была дочерью богатого фермера, за ней дали хорошее приданое. Училась она не в деревенской школе, а в Цвингенберге, ближайшем городке, где была женская гимназия, и образование получила вполне приличное. А бедная фрау Беккер с четырнадцати лет батрачила и только и умела что кое-как читать и писать. Это тоже служило причиной раздоров, Элли не упускала случая похвалиться своими познаниями, а фрау Беккер, багровая от гнева, возражала, что жене фермера образование ни к чему.

Тогда Элли бросала взгляд на личный знак своего мужа, который носила на руке на стальной цепочке, и с выражением горечи на угрюмом лице говорила:

«Не жене. Всего лишь вдове. Всего лишь вдове героя, отдавшего жизнь за отечество».

Бедняга Беккер только и делал, что их разнимал. — А к вам они как относились? — перебил я Ларри.

— А-а, они решили, что я дезертировал из американской армии и не могу вернуться в Америку, а то меня посадят в тюрьму. Этим они объясняли, почему я не хожу в трактир с Беккером и Кости. Думали, что я не хочу привлекать к себе внимание и подвергаться расспросам деревенского полицейского. Когда Элли узнала, что я стараюсь научиться немецкому, она достала свои старые учебники и сказала, что будет со мной заниматься. И вот после ужина мы с ней стали уходить в гостиную, оставив фрау Беккер на кухне, и я читал ей вслух, а она управляла мое произношение и разъясняла непонятные слова. Я подозревал, что делает она это не столько из желания мне помочь, сколько чтобы покичиться перед фрау Беккер.

Кости тем временем обхаживал фрау Беккер, но все без толку. Она была веселая, общительная, не прочь пошутить с ним и посмеяться, а любезничать с женщинами он умел. Она, наверно, догадалась, куда он гнет, и это ей, может быть, даже льстило, но, когда он попробовал ее ущипнуть, приказала рукам воли не давать и закатила ему оплеуху, надо полагать — довольно увесистую.

Ларри чуть помедлил и застенчиво улыбнулся.

— Я никогда не воображал, что женщины за мной гоняются, но у меня появилось ощущение, что фрау Беккер... ну, в общем, что я ей нравлюсь. Мне это было неприятно. Она ведь была намного старше меня, да и старик Беккер, что ни говори, обошелся с нами по-божески. За столом, когда она раскладывала еду, я невольно замечал, что мне достаются самые большие порции, и она как будто искала случая остаться со мной наедине. И улыбалась мне, что называется, вызывающе. Спрашивала, есть ли у меня девушка, а то, мол, такому молодому мужчине, наверно, скучно в их глуши. Ну и все в этом роде. У меня было всего три рубашки, уже порядком сношенные. Она как-то сказала, что стыдно ходить в таких лохмотьях и пусть я их принесу, она зачинит. Это слышала Элли и, когда мы в следующий раз остались

вдвоем, предложила починить все, что у меня есть рваного. Я сказал, что бог с ним, не надо. Но дня через два обнаружил, что носки мои заштопаны, а рубашки залатаны и лежат где лежали — на лавочке на сеновале, куда мы складывали свои вещи. Которая из них это сделала — я не знал. Я, конечно, не принимал ффрау Беккер всерьез, она была добрая душа, я думал, может, в ней говорят материнские чувства, но однажды Кости мне сказал:

«Слушай, ей не я нужен, а ты. Мое дело табак».

«Чепуха, — сказал я. — Она мне в матери годится».

«Ну и что? Валяй, малыш, я тебе мешать не буду. Хоть она и не молоденькая, но женщина хоть куда».

«Да ладно, хватит болтать».

«А чего ты тянешь? Надеюсь, не из-за меня? Я ффилософ, я понимаю, что не на ней свет клином сошелся. Я ее не виню. Ты молодой. Я тоже был молод. Jeunesse ne dure qu'un moment»¹.

Меня не очень-то радовало, что Кости так уверен в том, во что сам я не хотел верить. Я растерялся, потом стал припоминать кое-какие мелочи, на которые в свое время не обратил внимания, кое-какие слова Элли, которые пропустил мимо ушей. Теперь я их понял и убедился, что ей тоже все ясно. Она неожиданно появлялась в кухне, когда мы с ффрау Беккер бывали там одни. Выходило, что она за нами шпионит, это мне не понравилось. Я знал, что она ненавидит ффрау Беккер и не чаёт как ей насолить. Конечно, ни на чем таком поймать она нас не могла, но женщина она была недобрая и мало ли что способна была выдумать и наговорить старику Беккеру. Мне оставалось только притворяться дураком, точно я и не понимал, что хозяйка имеет на меня виды. На ферме мне было хорошо, и работа нравилась, и я не хотел оттуда уходить, пока мы не уберем урожай.

Я невольно улыбнулся — очень уж ясно я себе представил, как выглядел тогда Ларри — в залатанной рубашке и коротких штанах, лицо и шея дочерна загорели под жарким солнцем рейнских берегов, легкое худощавое тело и черные глаза в глубоких глазницах. Нетрудно было поверить, что при виде его белокурая ффрау Беккер, полногрудая и дебелая, вся трепыхалась от страсти.

¹ Молодость длится всего мгновение (фр.).

— И что же было дальше? — спросил я.

— Ну, лето подошло к концу. Работали мы как черти. Скосили и заскирдовали сено. Тут поспела вишня. Мы с Кости залезали на лестницы и обирали ее, а обе женщины складывали в огромные корзины, а Беккер возил их в Цвингенберг и продавал. Потом жали рожь. Ну, и за скотиной, конечно, по-прежнему ухаживали. Вставали до зари, работали дотемна. Я успокоился, решил, что фрау Беккер поставила на мне крест. По мере возможности я теперь держал ее на расстоянии. И читать по-немецки по вечерам стало трудно, у меня уже за ужимом глаза слипались, и я почти сразу уходил на сеновал и валился на койку. Беккер и Кости продолжали ходить по вечерам в трактир. Но когда Кости возвращался, я уже крепко спал. На сеновале было жарко, и спал я голый.

Как-то ночью меня разбудили. Спросонок я сперва не мог понять, что случилось. Почувствовал на губах горячую ладонь и вдруг понял — кто-то лежит со мной рядом. Я оттолкнул эту ладонь, и тогда чьи-то губы впелись в мои, две руки меня обхватили, и я почувствовал, что ко мне прижимаются тяжелые груди фрау Беккер.

«Sei still, — шепнула она. — Тише».

Она прильнула ко мне, целовала жаркими, полными губами, руки ее шарили по моему телу, ноги цеплялись за мои.

Ларри умолк. Я не сдержал смешка.

— И что вы сделали?

— А что мне было делать? Рядом на койке спал Кости, я слышал его тяжелое дыхание. Роль Иосифа Прекрасного всегда казалась мне немного комичной. Мне было двадцать три года. Я не мог устроить сцену и вытолкать ее вон. Не хотелось ее обижать. Я сделал то, чего от меня ждали.

Потом она осторожно встала и неслышно спустилась вниз. У меня отлегло от сердца, а перетрусил я здорово. Я еще подумал — как она решилась? Вполне возможно, что Беккер вернулся пьяный и заснул, как чурбан, но они спали в одной постели, он мог проснуться и обнаружить, что ее нет. А тут еще Элли. Та всегда уверяла, что плохо спит. Если она не спала, так, наверно, слышала, как фрау Беккер спустилась со второго этажа и вышла из дому. И тут меня как ударило. Когда фрау Беккер была со мной в постели, я чувствовал прикосновение чего-то

металлического, но не придавал этому значения, не тот был момент, я даже потом не спросил себя, что бы это могло быть. А тут меня осенило. Я сидел боком на койке, с тревогой гадая, что теперь может воспоследовать, но от этой мысли вскочил как ужаленный. Металлическое — это был мужнин личный знак, который Элли носила на руке, и приходила ко мне не фрау Беккер, а Элли.

Я покотился со смеху.

— Вам смешно, — сказал Ларри, — а мне тогда было не до смеха.

— Но теперь-то, задним числом, неужели вы не усматриваете в этом хотя бы легкой примеси комического?

Он слабо, словно против воли, улыбнулся.

— Пожалуй. Но я оказался в нелепейшем положении. Я не представлял себе, что будет дальше. Элли мне не нравилась, я считал ее очень неприятной женщиной.

— Но как вы могли их спутать?

— Темнота была — хоть глаз выколи. Она ничего не говорила, только шепотом велела мне молчать. Обе они были крупные, полные. Я думал, что фрау Беккер ко мне равнодушна, а насчет Элли у меня этого и в мыслях не было. Та все вспоминала своего мужа. Я закурил и стал обдумывать свое положение, и чем дольше я его обдумывал, тем меньше оно мне нравилось. И я решил, что для меня самое милое дело — смыться.

Сколько раз я злился на Кости за то, что его так трудно будить. Когда мы работали в шахте, я, бывало, умучаюсь, пока его подниму, чтобы не опоздал к смене. Но теперь я только радовался, что он спит так крепко. Я засветил фонарь, оделся, в одну минуту покидал свои вещи в рюкзак, благо их было немного, и продел руки в лямки. По чердаку я прошел в одних носках, а башмаки надел, только когда спустился с лестницы. Ночь была темная, безлунная, но дорогу я знал и свернул к деревне. Шел быстро, чтобы миновать ее, пока там все спят. До Цвингенберга было всего двенадцать миль, я дошагал туда, когда городок еще только просыпался. Никогда не забуду эту прогулку. Кругом ни звука, только мои шаги по дороге да изредка где-нибудь на ферме прокричит петух. Потом серый полумрак, еще не светло, но и не совсем темно, и первые проблески зари, и солнце всходит под пение птиц, и сочная зелень лугов и рощ, и пшеница серебристо-золотая в прохладном свете раннего дня. В Цвингенберге я выпил чашку кофе с булочкой, потом

зашел на почту и послал телеграмму в «Американский экспресс», чтобы мои книги и одежду переслали мне в Бонн.

— Почему в Бонн? — перебил я.

— А он мне понравился, когда мы останавливались там поблизости по дороге из Кельна. Понравилось, как свет ложился на крыши и на Рейн, и узкие улицы, и виллы с садами, и проспекты, обсаженные каштанами, и университетские здания в стиле рококо. Я еще в тот раз подумал, что хорошо бы там когда-нибудь пожить. Но я решил, что в таком непрезентабельном виде являться туда не стоит. Я ведь выглядел настоящим бродягой, и как на меня посмотрят, если я приду в пансион и спрошу комнату. Я уехал поездом во Франкфурт, там купил чемодан и кое-что из одежды. В Бонне я прожил с перерывами год.

— И что же, извлекли вы для себя что-нибудь из своей жизни на шахте и на ферме?

— Да, — сказал Ларри, улыбаясь, и кивнул головой. Но уточнять он не стал, а я уже достаточно его знал и убедился, что если ему хочется о чем-то рассказать, он расскажет, а если не хочется — преспокойно отделается шуткой, и тогда настаивать бесполезно. Напомню читателю — все вышеизложенное я услышал от него через десять лет после того, как это случилось. До этой новой встречи я понятия не имел, где он и чем занят. Я даже не знал, жив он или умер. Если бы не общение с Эллиотом, который держал меня в курсе главных событий в жизни Изабеллы и тем самым напоминал о Ларри, я, несомненно, успел бы забыть о его существовании.

III

Изабелла вышла замуж за Грэя Мэтюрина в начале июня, через год после того, как расстроилась ее помолвка с Ларри. Как ни жаль было Эллиоту покидать Париж в разгар сезона, когда его ждали приглашения на столько светских сборищ, семейные чувства не позволили ему пренебречь тем, что он почитал своим долгом. Братья Изабеллы были связаны службой в далеких краях, а значит, ему надлежало совершить утомительное путешествие в Чикаго и быть у племянницы посаженным отцом. Памятуя о том, что французские аристократы шли на гильотину в

своих самых пышных нарядах, он не поленился съездить в Лондон, чтобы обзавестись новой визиткой, двубортным жилетом серо-голубого оттенка, а также цилиндром. Вернувшись в Париж, он пригласил меня в гости и показался мне в полном параде. Его очень тревожило, что серая жемчужина, которую он обычно носил в галстуке, совсем теряется на фоне серого же галстука, выбранного им для этого торжественного случая. Я напомнил ему, что у него есть другая булавка — изумруд с брильянтом.

— Будь я просто гостем — куда ни шло, — возразил он, — но для той роли, которая мне предназначена, жемчужина просто необходима.

Предстоящий брак соответствовал всем его понятиям о приличиях, он был очень доволен и говорил о нем тем елейным тоном, каким вдовствующая герцогиня могла бы изъясняться по поводу союза между отпрыском рода Ларошфуко и дочерью маркиза Монморанси. В качестве осязаемого знака своего одобрения он вез с собой свадебный подарок — прекрасный портрет одной из французских принцесс королевской крови кисти Натье.

Генри Мэтьюрин, как выяснилось, купил для молодых дом на Астор-стрит, в двух шагах от миссис Брэдли и недалеко от его собственного роскошного особняка на Набережной. По счастливой случайности, к которой, прости господи, сам Эллиот, возможно, приложил руку, в Чикаго как раз ко времени этой покупки оказался Грегори Брабазон, и внутренняя отделка дома была поручена ему. Когда Эллиот вернулся в Европу — прямо в Лондон, махнув рукой на остаток парижского сезона, — он привез с собой снимки новых интерьеров. Грегори Брабазон не пожалел трудов. В гостиной и столовой царил стиль Георга II, очень получилось величественно. Для библиотеки, долженствовавшей служить Грэю также кабинетом, он вдохновился некой комнатой во дворце Амалиенбург в Мюнхене, и, если не считать того, что в ней не осталось места для книг, получилось прелестно. Спальню для молодой американской четы он устроил такую, что Людовик XV, зайдя навестить мадам де Помпадур, почувствовал бы себя здесь как дома, разве что удивился бы, зачем нужна вторая кровать; зато ванная комната Изабеллы его бы ошеломила: стены, потолок, ванна — все здесь было стеклянное, а по стенам серебряные рыбки резвились среди позолоченных водорослей.

— Дом, конечно, тесноват, — сказал Эллиот, — но на

отделку, если верить Генри, ухлопано сто тысяч долларов. Для иных это целое состояние.

Бракосочетание совершилось со всей помпой, какую могла себе позволить епископальная церковь.

— Не то, разумеется, что венчание в Нотр-Дам, — пояснил он снисходительно, — но для протестантской церемонии совсем неплохо.

Пресса была на высоте — Эллиот небрежно перекинул мне через стол пачку газетных вырезок. Показал он мне и снимки: Изабелла, крепенькая, но очаровательная в подвенечном уборе, и Грэй, грузноватый, но очень эффектный, немного стесняющийся своего парадного костюма. Был там и групповой снимок — новобрачные с подружками невесты, и еще одна группа, на которой фигурировала миссис Брэдли, разодетая в пух и прах, и Эллиот, с неподражаемой грацией придерживающий на коленях свой новый цилиндр. Я спросил, как здоровье миссис Брэдли.

— Она сильно убавила в весе, и цвет лица ее мне не нравится, но чувствует себя неплохо. Конечно, ей все это далось нелегко, но теперь зато сможет отдохнуть.

Через год Изабелла родила дочку и назвала ее, по последней моде, Джоун; а еще через два года произвела на свет вторую девочку, и той, опять же следуя моде, дала имя Присцилла.

Один из компаньонов Генри Мэтюрина умер, два других, не без нажима с его стороны, вскоре вышли из дела, так что он остался единственным главою фирмы, которой и всегда-то управлял самовластно. Тогда он осуществил свою давнишнюю мечту — взял в компаньоны Грэя. Дела фирмы шли блестяще.

— Они с каждым днем богатеют, милейший, — сказал мне Эллиот. — Грэй в двадцать пять лет зарабатывает пятьдесят тысяч в год, а это еще только начало. Ресурсы Америки неисчерпаемы. То, что мы сейчас наблюдаем, — не бум, а естественное развитие великой страны.

Грудь его так и распирало от наплыва несвойственных ему патриотических чувств.

— Генри Мэтюрин не вечен, у него высокое кровяное давление. Грэй к сорока годам будет стоить миллионов тридцать. Это грандиозно, милейший, грандиозно.

Годы шли, Эллиот регулярно переписывался с сестрой и время от времени сообщал мне, о чем она пишет. Грэй и Изабелла очень счастливы, малютки — прелесть.

Образ жизни они ведут, на взгляд Эллиота, именно такой, как нужно; гостей принимают по-царски, и друзья так же по-царски принимают их; он даже с удовольствием поведал мне, что за три месяца Изабелла и Грэй ни разу не пообедали вдвоем. Этот вихрь веселья прервала смерть миссис Мэтьюрин — той бесцветной, но родовитой особы, на которой Генри Мэтьюрин женился, когда еще только завоевывал себе место в Чикаго, куда его отец пришел неотесанным деревенским парнем искать счастья. Из уважения к ее памяти сын и невестка целый год не приглашали к обеду больше шести гостей зараз.

— Я всегда считал, что восемь — идеальное количество, — сказал мне Эллиот, придерживаясь своего правила во всем находить хорошую сторону. — Не слишком много для общего разговора и достаточно, чтобы создать впечатление званого вечера.

Грэй ничего не жалел для жены. На рождение первого ребенка он подарил ей кольцо с огромным брильянтом, на рождение второго — соболье манто. Дела не позволяли ему надолго отлучаться из Чикаго, но когда у него выдавались свободные дни, они всей семьей проводили их в Марвине, в огромном доме Генри Мэтьюрина. Генри обожал сына, ни в чем ему не отказывал и однажды подарил к рождеству усадьбу в Южной Каролине, чтобы было куда съездить на две недели пострелять уток.

— наших королей коммерции вполне можно приравнять к тем меценатам времен итальянского Возрождения, которые наживали свои богатства торговлей. Например, Медичи. Два французских короля не погнушались взять в жены девиц из этого прославленного рода, и помните мое слово, недалек тот час, когда европейские монархи будут домогаться руки той или иной принцессы долларов. Как это сказал Шелли? «Снова славные дни наступают. Возвращается век золотой».

Генри Мэтьюрин много лет указывал миссис Брэдли и Эллиоту, как лучше распоряжаться деньгами, и они имели все основания верить в его прозорливость. Он не поощрял спекуляций и помещал их деньги в самые солидные ценные бумаги; однако с ростом курса акций их сравнительно скромные состояния тоже росли, что и поражало их, и радовало. Эллиот как-то сказал мне, что, не ударив для этого палец о палец, он оказался в 1926 году почти вдвое богаче, чем был в 1918-м. Ему минуло шестьдесят пять лет, он поседел, на лице пролегли морщины,

под глазами появились мешки, но держался он молодцом. Он всегда был воздержан в своих привычках, всегда следил за своей внешностью и не намерен был смиряться перед жестокостью времени, пока мог одеваться у лучшего лондонского портного, пока его подстригал и брил всегда один и тот же проверенный парикмахер, и каждое утро к нему являлся массажист, пекущийся о сохранности его стройной фигуры. Он давно забыл, что некогда унизились до такого недостойного занятия, как купля-продажа, и, хотя не говорил этого прямо, ибо у него хватало ума воздерживаться от лжи, в которой его могли уличить, не прочь был туманно намекнуть, что провел молодые годы на дипломатической службе. Должен сказать, что, доведись мне когда-нибудь писать портрет посла великой державы, я не задумываясь стал бы писать его с Эллиота.

Но время не стоит на месте. Знатные дамы, с чьей помощью Эллиот начинал свою карьеру, либо умерли, либо совсем одряхлели. Многие английские аристократки, овдовев, вынуждены были передать родовые поместья невесткам и перебраться на виллу в Челтнеме либо в скромный особняк близ Риджентс-парка. Стаффорд-Хаус обращен в музей, Керзон-Хаус сдан в аренду какому-то учреждению, Девоншир-Хаус продается. Яхта, на которую Эллиота годами приглашали во время регаты, перешла в другие руки. Новые героини светских подмостков не нуждались в постаревшем Эллиоте. Он казался им скучным и нелепым. Они еще принимали его приглашения на изысканные завтраки в отеле «Кларидж», но от него не укрывалось, что приезжают они не столько к нему, сколько чтобы повидать друг друга. Его письменный стол уже не был завален пригласительными карточками — только выбирай, и часто, слишком часто, втайне моля бога, чтобы никто не узнал о таком его унижении, он теперь обедал один в своем номере «люкс». Знатные англичанки, перед которыми двери в высшее общество оказываются закрыты в результате какой-нибудь скандальной истории, начинают интересоваться искусством и окружают себя художниками, писателями, музыкантами. Эллиоту гордость не позволяла так себя унижать.

— Налог на наследство и спекулянты, нажившиеся на войне, подорвали основы английского общества, — говорил он мне. — Люди готовы знаться с кем попало. В Лондоне есть еще хорошие портные, сапожники и шляпочники, но в остальном — Лондона больше нет. Известно

ли вам, мой милый, что у Сент-Эртов за столом прислушивают не лакеи, а горничные?

Сообщил он мне это, когда мы пешком возвращались с некоего званого завтрака, во время которого произошел один неловкий инцидент. Наш высокородный хозяин обладал прекрасной коллекцией картин, и один из гостей, молодой американец по имени Поль Бартон, выразил желание их посмотреть.

— У вас ведь, кажется, есть Тициан?

— Был когда-то. Теперь он в Америке. Какой-то иудей предложил нам за него кучу денег, а у нас в то время с деньгами было туго, вот мой родитель его и продал.

Я заметил, что Эллиот, весь оцетинившись, бросил на веселого маркиза испепеляющий взгляд, и догадался, что картину купил он. И так посмели обозвать его, уроженца Виргинии, потомка одного из героев, подписавших Декларацию независимости! Никогда еще он не подвергался такому оскорблению. Мало того, Поля Бартона он люто ненавидел. Этот молодой человек появился в Лондоне вскоре после войны. Двадцать три года, блондин, очень красивый, обаятельный, прекрасный танцор и к тому же богатый. Он явился к Эллиоту с рекомендательным письмом, и тот, по доброте сердечной, представил его кое-кому из своих друзей, да еще преподал ему несколько ценных советов относительно того, как ему себя вести. Опираясь на собственный опыт, он объяснил, сколь полезно чужаку, жаждущему войти в хорошее общество, оказывать мелкие услуги старым дамам и терпеливо выслушивать рассуждения именитых господ, даже самые скучные.

Но мир, в который вступал Поль Бартон, был уже не тот, в который Эллиот Темплтон на целое поколение раньше проник ценой таких упорных усилий. Это был мир, одержимый одним желанием — развлекаться. Поль Бартон благодаря своему живому, общительному нраву и приятной наружности в несколько недель добился того, на что Эллиоту потребовалось много лет неустанных стараний. Вскоре помощь Эллиота стала ему не нужна, и он не пытался это скрывать. При встречах он бывал с ним любезен, но в манере его сквозила обидная фамильярность. Эллиот приглашал людей в гости не потому, что любил их, а потому, что они умели оживить застольную беседу, и, поскольку Поль Бартон пользовался успехом, продолжал время от времени приглашать его на свои завтраки; но обычно молодой человек оказывался занят,

а два раза подвел Эллиота, лишь в самую последнюю минуту предупредив, что не будет. В прошлом Эллиот и сам частенько так поступал и знал, чем это объяснить: не иначе как он только что получил более соблазнительное приглашение.

— Вы можете мне не верить, — бушевал он в тот злосчастный день, — но даю вам слово, он теперь обращается со мной свысока. Со мной! «Тициан, Тициан», — передразнил он. — Да покажи ему Тициана, он и не поймет, что это такое.

Никогда еще я не видел Эллиота таким разъяренным, и я угадал причину его гнева: он вообразил, что Поль Бартон спросил про Тициана нарочно, пронюхав каким-то образом, что картина была куплена Эллиотом, и теперь превратит ответ благородного лорда в пошлый, порочащий его анекдот.

— Ничтожество он, жалкий сноб, а что может быть на свете отвратительнее снобизма. Только благодаря мне его вообще принимают в порядочных домах. Чем его отец занимается, вы знаете? Торгует канцелярской мебелью. Канцелярской мебелью. — Он вложил в эти слова убийственный сарказм. — Говоришь людям, что в Америке он нуль, и происхождения самого низкого, а им хоть бы что, даже не удивляются. Нет, милейший, на английском обществе пора поставить крест.

И во Франции, на взгляд Эллиота, дело обстояло не лучше. Там знатные дамы его молодости — те, что еще не умерли, — посвящали свои дни бриджу (Эллиот эту игру терпеть не мог), церкви и заботам о внуках. В чинных особняках аристократии обитали фабриканты, аргентинцы, чилийцы, разведенные или разъехавшиеся с мужьями американки, и все они устраивали богатые приемы, но на этих приемах Эллиот, к великому своему смущению, встречал политических деятелей, говоривших по-французски с вульгарным акцентом, журналистов, не умеющих держать себя за столом, и даже актеров. Отпрыски титулованных семейств не гнушались жениться на дочерях лавочников. Париж, правда, веселился, но какое убогое это было веселье! Молодежь в безрассудной погоне за удовольствиями не находила ничего более интересного, чем шататься по тесным, душным ночным клубам, пить шампанское за сто франков бутылка и танцевать до пяти часов утра бок о бок с городскими подонками. От дыма, шума и духоты у Эллиота сразу раз-

баливалась голова. Да, это был не тот Париж, где он тридцать лет назад обрел духовную родину. Не тот Париж, куда души праведных американцев переселяются после смерти.

IV

Но у Эллиота был тонкий нюх. Внутренний голос подсказывал ему, что скоро, скоро прибежищем знати и высшего общества снова станет Ривьера. Он хорошо знал этот кусок побережья, так как не раз проводил по нескольку дней в Монте-Карло, в отеле «Париж», по дороге из Рима, куда его время от времени призывали обязанности панского камергера, или в Каннах, на вилле у кого-нибудь из своих друзей. Но то бывало зимой, теперь же до него доходили слухи, что становится модным проводить на Ривьере и лето. Большие отели не закрывались круглый год, их постояльцы упоминались в светской хронике парижских газет, и Эллиот с одобрением читал там знакомые имена.

— «От суетного света я бегу», — процитировал он однажды. — Я достиг того возраста, когда человеку пристало насладиться красотами природы.

Слова эти могут показаться загадочными. Но нет. Эллиот всегда воспринимал природу как помеху в жизни хорошего общества и просто отказывался понимать, как люди могут куда-то ехать, чтобы увидеть озеро или гору, когда у них перед глазами есть комод эпохи регентства или картина Ватто. Но теперь у него неожиданно оказалась в руках изрядная сумма денег. Дело в том, что Генри Мэтьюрин, подстрекаемый сыном и не в силах больше смотреть со стороны, как его знакомые биржевики за одни сутки наживают состояния, перестал наконец противиться силе событий и, отбросив свою всегдашнюю осторожность, включился в общий ажиотаж. Он написал Эллиоту, что к рискованным спекуляциям относится, как и раньше, отрицательно, но сейчас это не риск, это подтверждение его веры в неисчерпаемые возможности родной страны. Его оптимизм зиждется на здравом смысле. Ничто не может приостановить бурное развитие Америки. Закончил он письмо сообщением, что недавно купил известное количество солидных акций для нашей милой Луизы Брэдли и рад известить Эллиота, что они принесли

ей двадцать тысяч долларов. Если Эллиот не прочь кое-что заработать и даст ему свободу действий, он об этом не пожалеет. Эллиот, питавший пристрастие к избытым цитатам, сказал, что способен устоять против чего угодно, кроме искушения, и с этого дня, получая вместе с утренним завтраком газету, стал первым делом просматривать не светскую хронику, а биржевые сводки. Операции, которые Генри Мэтьюрин провел для него, оказались такими удачными, что у Эллиота очистилась кругленькая сумма в пятьдесят тысяч долларов, доставшаяся ему как бы в подарок.

Он решил истратить эту сумму и купить дом на Ривьере. Бежать от суетного света он собирался в Антиб, расположенный как раз между Каннами и Монте-Карло и связанный удобным сообщением с обоими этими пунктами; но всемогущее ли провидение или собственный безошибочный инстинкт заставил его остановить свой выбор именно на том городке, которому предстояло в скором времени стать средоточием фешенебельной жизни, — это навек останется тайной. Жить на вилле казалось ему по-мещански вульгарным, претило его взыскательному вкусу, поэтому он купил в старом городе два дома, соединил их в один и завел там центральное отопление, ванны и прочие санитарные удобства, на которые, следуя примеру американцев, стали со скрипом раскошелиться и по сю сторону океана. В ту пору многие увлекались мореным деревом, и Эллиот обставил свой дом старинной провансальской мебелью, безусловно, мореной, но обитой, в угоду современным веяниям, новомодными тканями. Он еще не готов был признать Пикассо и Брака («Это ужас, мой милый, просто ужас!»), с которыми так носились иные ослепленные энтузиасты, но почувствовал, что может наконец-то открыто оказать покровительство импрессионистам, и развесил по стенам несколько превосходных полотен. Мне запомнился его Моне — прогулка в лодке, его Писарро — кусок набережной и мост через Сену, таитянский пейзаж Гогена и прелестный Ренуар — девушка в профиль, с желтыми волосами, спадающими на спину. Во всей обстановке дома было что-то свежее, веселое, нестандартное и простое — та самая простота, которая, как известно, стоит недорого.

И тут началась самая блестящая полоса в жизни Эллиота. Он привез из Парижа своего первоклассного

повара, и кухня его скоро прославилась на всю Ривьеру. Дворецкого и лакея одел в белые костюмы с золотыми погонями. Приемы устраивал со всей роскошью, какую только допускал хороший вкус. Берега Средиземного моря кишмя кишели членами королевских фамилий со всех концов Европы; одних привлек туда климат, другие были в изгнании, третьи считали для себя удобнее жить за границей из-за грехов молодости или предосудительного брака. Здесь были Романовы из России, Габсбурги из Австрии, Бурбоны из Испании, обеих Сицилий и Пармы; были принцы Виндзорского дома и принцы дома Браганса; были королевские высочества из Швеции и из Греции. Эллиот приглашал их в гости. Были там также принцы и принцессы некоролевской крови, всего лишь герцоги и герцогини, князья и княгини из Австрии, Италии, Испании, России и Бельгии. Эллиот приглашал их в гости. Зимой на Ривьеру приезжали король Швеции и король Дании, заглядывал ненадолго Альфонсо Испанский. Их Эллиот тоже приглашал в гости. Я не уставал восхищаться тем, как он, склоняясь в почтительных поклонах перед этими высокими особами, умудрялся сохранять независимую позу гражданина свободной страны, где все, как сказано, рождаются равными.

В то время я, проведя несколько лет в путешествиях, купил дом на Кап Ферра, так что с Эллиотом мы виделись часто. Я настолько вырос в его глазах, что иногда он приглашал меня на свои самые парадные вечера.

— Приезжайте, мой милый, сделайте мне одолжение, — говорил он в таких случаях. — Я, конечно, не хуже вашего знаю, что члены царствующих фамилий — скучнейший народ. Но другие люди любят с ними встречаться, и как-никак наш долг оказывать внимание этим несчастным. Впрочем, видит бог, они этого не заслуживают. Благодарности от них не дождешься, они вас используют, а когда вы им больше не нужны — выбрасывают, как обтрепанную рубашку; принимают от вас бесчисленные услуги, но сами и не подумают чем-то вам услужить.

Эллиот позаботился о том, чтобы установить хорошие отношения с местными властями, и за столом у него можно было встретить и префекта округа, и епископа епархии в сопровождении его старшего викария. Епископ,

прежде чем принять духовный сан, был кавалерийским офицером, на войне командовал полком. Это был румяный, коренастый мужчина, охотно прибегавший к грубоватому казарменному жаргону, и его бледнолицый, аскетического вида викарий вечно сидел как на иголках, ожидая, что он вот-вот сболтнет что-нибудь непристойное. Когда его шеф рассказывал свои любимые анекдоты, он слушал с виноватой улыбкой на губах. Но епархией своей епископ управлял весьма толково, и проповеди его были столь же красноречивы и возвышенны, сколь забавны были застольные шутки. Он одобрял Эллиота за благочестивую щедрость, которую тот проявлял к церкви, ценил его любезность и умение вкусно накормить, так что они стали добрыми друзьями. Таким образом Эллиот мог льстить себя мыслью, что он не без приятности обеспечивает себе блаженство за гробом и, если дозволено мне так выразиться, нашел вполне приемлемый компромисс между богом и мамоной.

Эллиоту очень хотелось показать свой новый дом сестре; он всегда чувствовал, что она одобряет его не безоговорочно, так пусть убедится своими глазами, какой изящный образ жизни он теперь ведет и какими обзавелся друзьями. Это положит конец ее неуверенности. Она будет вынуждена признать, что он преуспел. Он написал ей, приглашая приехать вместе с Изабеллой и Грэм и остановиться — не у него, поскольку в доме нет места, но в качестве его гостей в ближайшем отеле. Миссис Брэдли ответила, что для нее время дальних путешествий миновало, со здоровьем у нее неважно и лучше ей сидеть дома; к тому же и Грэй крепко привязан к Чикаго: в делах небывалое оживление, он наживает много денег, и ему нельзя отлучаться. Эллиот любил сестру, это письмо его встревожило. Он написал Изабелле. Та ответила по телеграфу, что хотя мать ее далеко не здорова, один день в неделю даже проводит в постели, но непосредственной опасности нет, при надлежащем уходе она может прожить еще долго; а вот Грэю необходимо отдохнуть, ничто не мешает ему взять отпуск, ведь за делами может пока присмотреть его отец; так что этим летом — нет, но будущим они обязательно приедут.

А 23 октября 1929 года началась паника на нью-йоркской бирже.

Я в то время был в Лондоне и хорошо помню, что мы в Англии далеко не сразу поняли, до чего положение серьезно и какими оно чревато последствиями. Сам я, естественно, был огорчен, потеряв порядочную сумму, но потерял я в основном на акциях и, когда пыль осела, убедился, что мой наличный капитал почти весь уцелел. Я знал, что Эллиот в последние годы пустился в спекуляции, и подозревал, что его как следует стукнуло, но увиделись мы только на рождестве, когда оба вернулись на Ривьеру. Тогда он сообщил мне, что Генри Мэтюрин умер, а Грэй разорен.

Я плохо разбираюсь в финансовых вопросах и вполне допускаю, что в моем изложении его рассказ покажется невразумительным. Насколько я мог понять, в крушении фирмы оказалось повинно и своеволие Генри Мэтюрина, и опрометчивость Грэя. Генри Мэтюрин сперва не поверил, что биржевой крах — не шутка; он убедил себя, что это происки нью-йоркских биржевиков, задумавших околпачить провинциальных собратьев, и, стиснув зубы, стал пригоршнями швырять деньги, чтобы поддержать курс акций. Он осыпал проклятиями чикагских маклеров, которые дали этим нью-йоркским мерзавцам себя запугать. Он всегда кичился тем, что ни один из его мелких клиентов, будь то вдова, живущая на крошечное наследство, или офицер в отставке, не потерял ни цента, следуя его советам, и теперь, вместо того чтобы предоставить им нести убытки, восполнял эти убытки из собственного кармана. Он говорил, что готов обанкротиться, что новое состояние он всегда сумеет нажить, но если маленькие люди, доверившиеся ему, потеряют все, что имели, он будет навеки опозорен. Он мнил себя великодушным, а был всего-навсего тщеславен. Его огромное состояние растаяло, и однажды ночью с ним случился сердечный приступ. Ему шел седьмой десяток, всю жизнь он и работал, и развлекался, не жалея сил, переедал и пил без меры; промучившись несколько часов, он умер от закупорки сердечной артерии.

Грэю пришлось справляться с положением одному. Он перед тем много спекулировал на стороне, без ведома отца, и свои личные дела запутал окончательно. Пробовал выпутаться, но безуспешно. Банки отказали ему в ссудах, более опытные биржевики твердили, что единствен-

ный выход для него — объявить себя неплатежеспособным. Дальнейшее мне неясно. Он не смог покрыть свои обязательства и был, сколько я понимаю, объявлен банкротом; свой дом он успел заложить и рад был передать его кредиторам по закладной; отцовские дома, и чикагский, и второй, в Марвине, были проданы за бесценок; Изабелла продала свои драгоценности; осталась у них только усадьба в Новой Каролине, в свое время приобретенная на имя Изабеллы, — на нее не нашлось покупателя. Грэй пошел ко дну.

— А вы-то как, Эллиот? — спросил я.

— О, я не жалею, — отвечал он небрежно. — Для стриженной овцы бог умеряет ветер.

Я не стал его расспрашивать — его финансовые дела меня не касались, — но пребывал в уверенности, что он, как и все мы, в той или иной мере пострадал.

На Ривьере кризис поначалу отразился слабо. Правда, я узнал, что кое-кто понес большие потери, многие виллы остались на зиму закрыты, для нескольких других искали покупателя. В отелях множество номеров пустовало, казино в Монте-Карло сетовало, что сезон выдался не из лучших. Но по-настоящему гром грянул лишь два года спустя. Тут один агент по продаже недвижимости рассказал мне, что на отрезке берега от Тулона до итальянской границы продается 48 000 земельных участков, больших и малых. Акции казино резко упали. Крупные отели снизили цены в тщетной надежде привлечь публику. Из иностранцев остались только потомственные бедняки, которым дальше беднеть было некуда, а они денег не тратили, им просто нечего было тратить. Владельцы магазинов рвали на себе волосы. Однако Эллиот не сократил свой штат прислуги и, в отличие от многих, не уменьшил ей жалованья; как и раньше, для титулованных гостей у него находились отборные яства и вина. Он купил себе роскошный новый автомобиль — выписал его из Америки, заплатив большую пошлину. Он щедро жертвовал на организованное епископом бесплатное питание для семей безработных. Словом, он жил так, будто кризиса и не было, будто половина населения земного шара не ощущала его последствий.

Причину этого я узнал случайно. Эллиот в эту пору перестал приезжать в Англию, только раз в год наведывался на две недели обновить гардероб, но в свою парижскую квартиру по-прежнему переселялся на три осенних

месяца, а также на май и июнь, поскольку на это время его друзья покидали Ривьеру; сам он больше всего любил Ривьеру летом — отчасти из-за купанья, но главным образом, думается, потому, что жаркая погода оправдывала некоторую вольность в одежде, которой он обычно не позволял себе из чувства приличия. А тут он щеголял в ярчайших брюках — красных, зеленых, синих, желтых, подбирая к ним пуловеры контрастирующих тонов — палевые, сиреневые, терракотовые или в пестрый рисунок; а комплименты, на которые напрашивались эти наряды, принимал со стыдливой грацией актрисы, когда ее уверяют, что новую роль она сыграла божественно.

Весной, возвращаясь в Кап Ферра, я провел день в Париже и пригласил Эллиота позавтракать. Мы встретились в баре отеля «Риц», уже не переполненном, как бывало, веселящимися студентами из Америки, а всеми покинутом, как драматург после премьеры провалившейся пьесы. Мы выпили по коктейлю — Эллиот наконец примирился с этим заокеанским обычаем — и заказали завтрак. А позавтракав, он предложил мне пройтись по антикварным лавкам, и я, хотя сам не имел свободных денег, с радостью вызвался его сопровождать. Мы перешли Вандомскую площадь, и тут он, извинившись, попросил меня заглянуть с ним на минутку к Шерве — он там заказал кое-что из белья и хочет узнать, готов ли заказ. Речь шла о нижних сорочках и кальсонах, на которых должны были вышить его монограмму. Сорочки еще не поступили из мастерской, кальсоны же приказчик мог показать хоть сейчас.

— Покажите, — сказал Эллиот и, когда приказчик вышел, добавил: — Мне их здесь шьют по моей особой выкройке.

Их принесли, они были шелковые, но в остальном показались мне точно такими же, как те, что я часто покупал у Мейси, но вдруг мне бросилось в глаза, что над переплетенными буквами Э. и Т. вышита изящная корона. Я не сказал ни слова.

— Очень мило, очень мило, — сказал Эллиот. — Ну что ж, когда сорочки будут готовы, пришлете все вместе.

Мы вышли из магазина, и Эллиот сказал мне с улыбкой:

— Корону заметили? Сказать по правде, я и забыл о ней, когда звал вас зайти со мной к Шерве. Я, кажется, еще не говорил вам, что его святейшество милостиво соз-

волил восстановить ради меня наш старый семейный титул.

— Чего?! — переспросил я, от удивления забыв о вежливости.

— Вы разве не знали? Ведь я по женской линии происхожу от графа Лаурия, который прибыл в Англию в свите Филиппа Второго и женился на фрейлине королевы Марии.

— Нашей старой приятельницы Марии Кровавой?

— Да, так, помнится, ее прозвали еретики, — сухо ответил Эллиот. — Я, кажется, не рассказывал вам, что сентябрь тысяча девятьсот двадцать девятого года провел в Риме. Ехал туда с неохотой, ведь в это время из Рима все разъезжаются, но, на мое счастье, чувство долга перевесило во мне жажду мирских развлечений. Друзья в Ватикане предупредили меня, что биржевой крах — дело ближайшего будущего, и советовали продать все мои американские бумаги. У католической церкви за плечами мудрость двадцати веков, так что я ни минуты не колебался. Я телеграфировал Генри Мэтьюрину, чтобы он продал все и купил золото, и Луизе телеграфировал, чтобы тоже так распорядилась. Генри в ответной каблограмме спросил, в своем ли я уме, и отказался действовать до подтверждения моих инструкций. Я тут же категорически предложил ему выполнить их и сообщить об исполнении. Бедная Луиза моего совета не послушалась и поплатилась за это.

— Значит, когда катастрофа разразилась, вы себе и в ус не дули?

— Не знаю, зачем вам понадобилось употребить это вульгарное выражение, но смысл происшедшего оно передает довольно точно. Я ничего не потерял; мало того, сорвал, как вы бы, вероятно, выразились, изрядный куш. Через некоторое время мне удалось купить такие же акции снова, за малую долю их прежней стоимости, и, поскольку я всем этим был обязан прямому вмешательству провидения, иначе не скажешь, я решил, что простая справедливость требует, чтобы я со своей стороны оказал провидению услугу.

— Да? И что же вы предприняли?

— Вам, конечно, известно, что дуче осушает и заселяет большие земельные площади в Понтийских болотах, а мне дали понять, что его святейшество сильно озабочено отсутствием божьих храмов для людей, обживающих эти

земли. Короче говоря, я построил небольшую церковь в романском стиле, точную копию одной церкви, которую видел в Провансе, скажу не хвастаясь — настоящую игрушечку. Освящена она во имя святого Мартина, потому что мне посчастливилось разыскать старинный витраж с изображением святого Мартина, разрезающего свой плащ, чтобы отдать половину нагому нищему, и, поскольку символ оказался так уместен, я купил этот витраж и поместил над алтарем.

Я не стал перебивать Эллиота вопросом, какую связь он усматривает между знаменитым поступком святого и барышом, который он, Эллиот, получил, вовремя спустив свои акции, а теперь отдал всевышнему, как комиссию посреднику. Но я — человек прозаический, и символика часто от меня ускользает. А Эллиот продолжал:

— Когда я удостоился чести показать фотографии святому отцу, он соблаговолил сказать мне, что в них с первого взгляда можно распознать безупречный вкус, и добавил несколько слов о том, как отрадно ему в наш развращенный век встретить человека, в котором благочестие сочеталось бы с редкой художественной одаренностью. То было памятное переживание, мой милый, памятное переживание. Но каково же было мое удивление, когда вскоре после этого мне стало известно, что он удостоил меня титула. Как американский гражданин, я из скромности им не пользуюсь, кроме как в Ватикане, разумеется. Моему Жозефу я запретил величать меня *monsieur le Comte*¹, и вы, надеюсь, сохраните мою тайну. Но я бы не хотел, чтобы его святейшество подумал, будто я не ценю оказанной мне почести, и исключительно из уважения к нему заказываю метки с короной на моем личном белье. Могу добавить, что я испытываю скромную гордость, скрывая свой титул под строгим костюмом джентльмена-американца.

Мы расстались. Эллиот сказал, что переберется на Ривьеру в конце июня. Но случилось иначе. Он уже подготовил переезд своей челяди, сам намереваясь не спеша следовать из Парижа в автомобиле с тем расчетом, чтобы к его приезду жизнь в доме была налажена, как вдруг пришла телеграмма от Изабеллы, извещавшая, что здоровье ее матери резко ухудшилось. Эллиот, движимый

¹ Господин граф (фр.).

любовью к сестре и сознанием родственного долга, сел в Шербуре на первый же пароход и из Нью-Йорка примчался в Чикаго. Он сообщил мне письмом, что миссис Брэдли очень плоха, исхудала до неузнаваемости. Протянуть она может еще несколько недель, а возможно и месяцев, но так или иначе он считает своей печальной обязанностью остаться с ней до конца. Он писал, что переносить чикагскую жару не так уж трудно, гораздо мучительнее отсутствие подходящего общества, но, впрочем, сейчас у него ни к чему не лежит душа. Соотечественники разочаровали его тем, как поддались воздействию кризиса, — он ожидал, что в несчастье они проявят больше самообладания. Зная, что на свете нет ничего легче, чем стойко сносить чужие невзгоды, я подумал, что Эллиоту, который сейчас богаче, чем когда-либо в жизни, такая строгость не к лицу. В конце письма он просил меня кое-что передать кое-кому из его друзей и главное — непременно объяснить всем, кого встречу, почему его дом остался на лето закрытым.

Спустя примерно месяц я получил от него еще одно письмо, на этот раз с известием, что миссис Брэдли скончалась. Письмо дышало искренним чувством. Я бы не подумал, что он способен изъясняться с таким достоинством, так прочувствованно и просто, если бы уже давно не убедился, что, несмотря на свой снобизм и нелепое жеманство, человек он добрый, благожелательный и порядочный. Он писал, что финансовые дела миссис Брэдли немного запутаны. Ее старший сын, дипломат, замещал сейчас в Токио посла и не смог оставить свой пост. Второй сын, Темплтон, в пору моего первого знакомства с семейством Брэдли служивший на Филиппинах, был затем отозван в Вашингтон и занимал ответственную должность в государственном департаменте. Когда состояние матери было признано безнадежным, он приезжал с женой в Чикаго, но сразу после похорон возвратился в столицу. А раз так, Эллиот не считал себя вправе уехать из Америки до того, как все будет улажено. Миссис Брэдли завещала свое состояние поровну трем детям, но в связи с биржевым крахом 29-го года понесла большие убытки. К счастью, нашелся покупатель на ферму в Марвине, которую Эллиот назвал поместьем нашей бедной Луизы.

«Расставаться с родовым гнездом всегда грустно, — писал он, — но за последние годы столько моих друзей

в Англии были к этому вынуждены, что, я надеюсь, Изабелла и мои племянники смирятся с неизбежным столь же покорно и мужественно. *Noblesse oblige*»¹.

Продажа чикагского дома миссис Брэдли тоже совершилась беспрепятственно. Городские власти уже давно намечали снести ряд особняков, один из которых принадлежал ей, и построить на их месте громадный квартирный дом: привести этот план в исполнение мешала только упорная решимость миссис Брэдли умереть там, где жила. Стоило ей испустить дух, как явились подрядчики с предложением, которое наследники и поспешили принять. Но и при этом доход у Изабеллы остался ничтожный.

Грэй после краха пробовал получить работу, хотя бы место клерка у одного из маклеров, сумевших удержаться на поверхности, но в делах наступил застой, работники не требовались. Он просил старых знакомых пристроить его на любую, пусть самую скромную и низко оплачиваемую должность, но безуспешно. Отчаянные попытки предотвратить катастрофу, неотпускающая тревога, унижение — все это привело к нервному срыву, у него начались головные боли, такие сильные, что порой он на сутки выбывал из строя, а потом еще долго чувствовал себя как выжатый лимон. Изабелле подумалось, что лучше всего им сейчас уехать с детьми в усадьбу в Южной Каролине и пожить там, пока Грэй не поправится. Тамошняя земля, когда-то приносившая сто тысяч долларов в год как рисовая плантация, уже давно захирела, превратившись в болота и заросли, способные привлечь только утиной охотой. И покупать ее никто не желал. Там они и жили, с тех пор, как Грэй разорился, и туда собирались вернуться и ждать, когда положение улучшится и Грэй сможет найти работу.

«Этого я не мог допустить, — писал Эллиот. — Дорогой мой, они там живут как свиньи. Изабелла без горничной, у детей нет гувернантки, две чернокожие няньки, и больше никакой прислуги. Я предложил им мою парижскую квартиру — пусть поживут там, пока ситуация в этой фантастической стране не изменится. Прислугой я их обеспечу, — кстати сказать, моя младшая кухарка отлично готовит, я ее оставлю в Париже, а себе с легкостью найду кого-нибудь на ее место. Счета буду оплачи-

¹ Высокое положение обязывает (*фр.*).

вать сам, чтобы свой небольшой доход Изабелла могла тратить на туалеты и на мелкие семейные удовольствия. Это, разумеется, означает, что я буду проводить гораздо больше времени на Ривьере, так что и с Вами, милейший, рассчитываю видеться чаще прежнего. При том, во что превратились Лондон и Париж, я на Ривьере и чувствую себя уютнее. Только здесь я еще могу общаться с людьми, с которыми нахожу общий язык. Я, вероятно, буду изредка наезжать в Париж, но эти дни вполне могу перебиться и в «Рице». Рад сообщить, что я наконец уговорил Изабеллу и Грэй принять мое предложение, и, как только здесь все будет закончено, мы приедем все вместе. Продажа мебели и картин (весьма, кстати сказать, посредственных и едва ли даже это подлинники) состоится через две недели, а пока что я перевез Изабеллу с семейством к себе в отель «Дрейк», — им, наверно, тяжело было бы оставаться в старом доме до последней минуты. В Париже посмотрю, как они водворятся, и приеду на Ривьеру. Не забудьте поклониться от меня Вашему коронованному соседу».

Кто усомнится в том, что Эллиот, этот архисноб, был в то же время добрейшим и великодушнейшим из смертных?

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

I

Итак, Эллиот, водворив Мэтьюринов в своей просторной квартире на Левом берегу, в конце года возвратился на Ривьеру. Свой дом он спланировал в расчете на собственные требования, в нем не было места для семьи из четырех человек, так что он, если б и захотел, не мог бы поселить их у себя. Не думаю, чтобы это его огорчало. Он отлично понимал, что как одинокий холостяк ценится выше, чем если бы всюду появлялся в сопровождении племянницы и племянника, и что устраивать изысканные вечера для избранных (которые он всякий раз тщательно обдумывал заранее), ему было бы несравненно труднее, если бы нужно было принимать в расчет двух постоянных обитателей дома.

«Нет, для них будет куда лучше обосноваться в Париже и привыкать к цивилизованной жизни. Да и девочкам пора учиться, мне уже рекомендовали одну школу, привилегированную и близко от моего дома».

Таким образом с Изабеллой я увиделся только весной, когда приехал на несколько недель в Париж в связи с одной своей работой и снял номер в гостинице в двух шагах от Вандомской площади. Гостиницу эту я ценил не только за удобное местоположение, но и за ее особенную атмосферу. Это было обширное старое здание с внутренним двором, уже лет двести назад служившее харчевней. Ванна там была отнюдь не роскошная и уборные оставляли желать лучшего, спальни с железными, покрашенными в белый цвет кроватями, старомодными белыми покрывалами и огромными зеркальными шкафами выглядели небогато; но гостиные были обставлены прекрасной старинной мебелью. В моей гостиной диван и кресла, наследие мишурного царствования Наполеона III, хоть и не очень удобные, обладали некой цветистой прелестью. В этой комнате я окунался в эпоху прославленных французских писателей. Глядя на ампирные часы под стеклянным колпаком, я представлял себе, как прелестная женщина в локонах и оборках следит за минутной стрелкой, поджидая Растиньяка, дворянина-авантюриста, чей жизненный путь от его скромного начала до конечного триумфа Бальзак живописал из романа в роман. Легко было вообразить, что доктор Бианшон, ставший для своего создателя столь реальной фигурой, что, умирая, Бальзак сказал: «Только Бианшон мог бы мне помочь», — что именно здесь этот врач щупал пульс и осматривал язык знатной старухи, которая приехала из провинции повидаться со стряпчим по поводу своей тяжбы и, прихворнув, велела привести ей лекаря. А за этим секретером изнывающая от любви красавица в кринолине, возможно, писала страстное письмо неверному любовнику или желчный старик в зеленом сюртуке и воротнике, подпирающем уши, строчил гневный разнос транжире-сыну.

На следующий день по приезде я позвонил Изабелле и спросил, угостит ли она меня чаем, если я зайду к ней в пять часов. Когда степенный дворецкий провел меня в гостиную, она сидела на диване с французской книгой, но тут же встала и с теплой очаровательной улыбкой обеими руками пожала мне руки. До этого я разговаривал

с ней всего раз десять и только два раза наедине, но она сразу дала мне понять, что мы не случайные знакомые, а старые друзья. Минувшие десять лет уничтожили пропасть, отделяющую юную девушку от средних лет мужчины, и разницы в возрасте я уже почти не ощущал. Она приняла меня как сверстника, и, хотя я усмотрел в этом тонкую лесть светской женщины, через пять минут мы уже болтали легко и непринужденно, словно товарищи, чье общение и не прерывалось. Она научилась в совершенстве владеть собой, держаться свободно и уверенно.

Но больше всего меня поразила перемена в ее внешности. Я помнил ее миловидной цветущей девочкой, рискующей с годами превратиться в толстушку; то ли она почуяла опасность и приняла героические меры, чтобы сбавить свой вес, то ли это было нечастое, но счастливое последствие родов, только стройна она стала на диво. Тогдашняя мода еще подчеркивала ее стройность. Она была в черном, и я с первого взгляда решил, что ее шелковое платье, не слишком простое и не слишком нарядное, сшито в одном из лучших парижских ателье; и носила она его с небрежной грацией женщины, для которой дорогие туалеты — нечто само собой разумеющееся. Десять лет назад, даже пользуясь советами Эллиота, она одевалась как-то слишком броско и в своих парижских нарядах словно чувствовала себя немного скованно. Теперь Мари-Луиза де Флоримон уже не могла бы сказать, что ей недостает шика. Она была сплошной шик, вся до кончиков ярко-розовых ногтей. Черты лица стали тоньше, и я только теперь оценил редкостную красоту ее прямого носа. Ни на лбу, ни под карими глазами не было ни морщинки — кожа ее, хоть и утратила свежий румянец юности, осталась чистой и гладкой; несомненно, тут сыграли свою роль массаж, лосьоны и кремы, но они же придали ее лицу какую-то нежную прозрачность, до странности привлекательную. Худые щеки были чуть нарумянены, губы едва заметно подкрашены, пышные каштановые волосы по моде подстрижены и завиты. Я заметил, что на пальцах у нее нет ни одного кольца, и вспомнил, ведь Эллиот писал мне, что она продала все свои драгоценности. Но и руки у нее были красивые, хоть и не особенно маленькие. В тот год женщины днем носили короткие платья, и я видел ее ноги в телесного цвета чулках, длинные и стройные. Ноги нередко подводят даже самых

хорошеньких женщин. Ноги Изабеллы, в юности ее самое уязвимое место, теперь были безупречно хороши. Словом, из девочки, пышущей здоровьем, живой и яркой, она превратилась в прекрасную женщину. Что красотой своей она в какой-то мере обязана искусству, выдержке и умерщвлению плоти, дела не меняло, — очень уж удачен был результат. Возможно, что грация движений и благородство осанки дались ей ценою сознательных усилий, но казались они совершенно естественными. Мне подумалось, что эти четыре месяца в Париже добавили последние штрихи к произведению искусства, создававшемуся годами. Даже Эллиот, при всей своей требовательности, не нашел бы к чему придраться. Я, не столь строгий критик, был искренне восхищен.

Она сказала, что Грэй уехал в Мортфонтен играть в гольф, но скоро вернется.

— И девочек моих вы должны посмотреть. Они сейчас на прогулке в саду Тюильри, я их жду с минуты на минуту. Они прелесть.

Мы поболтали о том о сем. В Париже ей нравится, жить в квартире Эллиота очень удобно. Перед отъездом он познакомил их с теми из своих друзей, которые, по его мнению, могли прийтись им по вкусу, и сейчас у них уже составилась очень приятный кружок. Он убедительно просил ее и Грэя почаще приглашать гостей.

— Просто умора, живем как богатые люди, а ведь на самом деле мы нищие.

— Будто уж так плохо?

— У Грэя нет ни гроша, а у меня в точности такой же доход, какой был у Ларри, когда он хотел на мне жениться, а я отказалась, потому что воображала, что на такие деньги не проживешь, а теперь у меня к тому же двое детей. Забавно, правда?

— Это хорошо, что вы способны оценить комизм положения.

— Что вы знаете о Ларри?

— Я? Ничего. В последний раз я его видел еще до того, как вы тогда приезжали в Париж. Я был немного знаком кое с кем из его знакомых и пробовал выяснить, что с ним случилось. Но с тех пор уже сколько лет прошло. И никто о нем ничего не знал. Он как в воду канул.

— Мы знакомы с управляющим того банка в Чикаго, где у Ларри есть счет, он нам рассказывал, что время от

времени получает требования из каких-то немислимых мест. Китай, Бирма, Индия. Видно, он ведет кочевой образ жизни.

На языке у меня вертелся вопрос, и я не постеснялся задать его. В конце концов, если хочешь что-то узнать, самое простое — спросить.

— Вы не жалеете, что не вышли за него замуж?

Она светло улыбнулась.

— Я очень счастлива с Грэм. Он удивительный муж. До краха мы жили чудесно. Нам нравятся одни и те же люди, одни и те же развлечения. Он милый. И приятно, когда тебя обожают. Он до сих пор влюблен в меня, как в первые дни после свадьбы. Считает, что лучше меня нет женщины на всем свете. Вы не представляете себе, какой он добрый, заботливый. А щедр был просто до глупости, ему, понимаете, казалось, что для меня все недостаточно хорошо. Поверите ли, я за все эти годы не слышала от него ни одного резкого или обидного слова. Да, что и говорить, мне повезло.

Я подумал, уж не кажется ли ей, что она ответила на мой вопрос. Но заговорил о другом.

— Расскажите мне про ваших дочек.

В передней раздался звонок.

— Да вот и они. Сами увидите.

Девочки вошли в сопровождении бонны, и мне представили сперва старшую, Джоун, затем Присциллу. Они по очереди протянули мне ручку и сделали книксен. Одной было восемь лет, другой шесть. Обе были длиненькие; ведь Изабелла была высокого роста, а Грэй, насколько я помнил, — настоящий великан; но миловидны были лишь постольку, поскольку все дети миловидны. Вид у них был хрупкий. От отца они унаследовали черные волосы, от матери — карие глаза. Присутствие незнакомого человека их не смутило — они наперебой болтали о том, что делали на прогулке, и выразительно поглядывали на миниатюрные пирожные, поданные к чаю, к которому мы еще не притронулись. Получив разрешение взять по одному, они потоптались на месте, не зная, какое выбрать. Они не скрывали своей нежности к матери и втроем образовали прелестную семейную группу. Когда пирожные были выбраны и съедены, Изабелла велела детям уходить, и они повиновались беспрекословно. У меня осталось впечатление, что она воспитывает их в строгости.

Когда они ушли, я сказал Изабелле все, что принято говорить матерям о их детях, и она выслушала мои комплименты сдержанно, но с явным удовольствием. Я спросил, как Грэй чувствует себя в Париже.

— Да неплохо. Дядя Эллиот оставил нам автомобиль, так что он может хоть каждый день ездить играть в гольф, и еще он записался в клуб путешественников и там играет в бридж. То, что дядя Эллиот предложил нам помощь и эту квартиру, нас, конечно, просто спасло. У Грэя нервы совсем сдали, и до сих пор еще бывают страшные головные боли. Даже если бы подвернулось место, он не мог бы никуда поступить, и это, понятно, его угнетает. Он хочет работать, чувствует, что работать необходимо, а он никому не нужен и переживает это как унижение. Понимаете, он считает, что кто не работает, тот не мужчина, а раз он не может работать, так и жить не стоит. Это чувство собственной ненужности для него невыносимо. Он и сюда не хотел ехать, пока я его не убедила, что отдых и перемена обстановки вернут его в нормальное состояние. Но пока он опять не впряжется в работу, он не успокоится, уже это я знаю.

— Трудно вам, наверно, пришлось эти два с половиной года.

— Я вам скажу. Сначала, когда нас стукнуло, я не могла в это поверить. В голове не укладывалось, что мы разорены. Что другие могут разориться, я понимала, но мы — нет, это невозможно. Мне все казалось, что в последнюю минуту что-то случится и мы будем спасены. А потом, когда гром все-таки грянул, мне показалось, что жизнь кончена, впереди один сплошной мрак. Две недели я была безутешна. Это был такой ужас — со всем расстаться, знать, что тебе больше никогда не будет хорошо, что у тебя отнято все самое интересное. А через две недели я сказала: «Нет, к черту, не буду больше ни о чем жалеть», — и, честное слово, больше ни о чем не жалела. Пожила в свое удовольствие, и хватит. Что прошло, то прошло.

— Но надо полагать, бедность легче сносить в роскошной квартире в фешенебельном районе, с помощью вышколенного дворецкого и превосходной кухарки, которым не надо платить, да еще если прикрыть наготу платьем от Шанель?

— Не угадали, от Ланвена, — засмеялась она. — Вы, я вижу, не изменились за десять лет. Как вы есть грубый

циник, вы мне не поверите, но я скорее всего приняла предложение дяди Эллиота только ради Грэя и детей. На мои две тысячи восемьсот годовых мы бы отлично просуществовали в Южной Каролине — сеяли бы рис, рожь, кукурузу, разводили свиней. Ведь я как-никак родилась и выросла на ферме в Иллинойсе.

— Допустим. — Я улыбнулся, так как мне было известно, что родилась она в одной из самых дорогих больниц Нью-Йорка.

Тут наш разговор был прерван приходом Грэя. Я видел его два-три раза двенадцать лет назад, но помнил снимок в день свадьбы, который показывал мне Эллиот (снимок этот в красивой рамке стоял потом у него на рояле, так же как и портреты короля Швеции, королевы Испании и герцога де Гиза, с их собственноручными надписями), и вид его меня поразил. Волосы у него отступили со лба, на макушке обозначилась лысина, лицо было красное, одутловатое и — двойной подбородок. За годы легкой жизни и щедрых возлияний он сильно прибавил в весе, и, если бы не высокий рост, его можно было бы назвать тучным. Но что меня потрясло, так это выражение его глаз. Мне запомнилось, как доверчиво и открыто эти синие ирландские глаза глядели на мир, когда вся жизнь была у него впереди и не сулила ничего, кроме счастья. Теперь в них застыла горестная растерянность, и, даже не зная его истории, можно было догадаться, что какой-то страшный удар разрушил его веру в себя и в заведенный порядок вещей. В нем чувствовалась какая-то робость, словно он в чем-то провинился, хоть и неумышленно, и теперь ему стыдно. Нервы у него явно были не в порядке. Со мной он поздоровался очень сердечно, даже изобразил радость, словно при встрече со старым другом, но его шумное радушие я воспринял всего лишь как привычку, едва ли отражающую подлинное чувство.

Подали напитки, он смешал нам коктейли. В гольф он поиграл отлично, был доволен своими успехами. Он пустился в пространное повествование о том, какие трудности преодолел у одной из лунок, и Изабелла делала вид, что слушает с живейшим интересом. Я еще немного поси- дел, потом пригласил их в ресторан и в театр и откла-

После этого я стал навещать Изабеллу три-четыре раза в неделю, под вечер, закончив дневную порцию работы. В это время она обычно бывала одна и не прочь поболтать. Люди, с которыми ее познакомил Эллиот, были за малым исключением намного старше ее. Мои же знакомые были по большей части заняты до самого вечера, и мне приятнее было беседовать с Изабеллой, чем тащиться в клуб и играть в бридж с нудными французами, не склонными особенно радоваться вторжению чужеземца. Она упорно обращалась со мной как с ровесником, это было прелестно, и говорилось нам легко, мы смеялись, шутили, поддевали друг друга, болтали то о себе, то об общих знакомых, то о картинах и книгах, так что время летело незаметно. Один из моих недостатков состоит в том, что я не способен привыкнуть к некрасивой внешности; обладай мой друг хоть ангельским характером, я и через много лет не примирюсь с тем, что у него плохие зубы или нос немного набок. С другой стороны, я не устаю восхищаться человеческой красотой, и после двадцати лет близкого знакомства меня, как и в первый день, пленяет хорошо вылепленный лоб или тонко очерченные скулы. Вот так и с Изабеллой: входя в ее гостиную, я всякий раз заново ощущал легкий радостный трепет при виде ее прекрасного удлиненного лица, молочной белизны ее кожи и теплого блеска светло-карих глаз.

А потом произошло нечто неожиданное.

III

Во всех больших городах имеются самостоятельные общины, не поддерживающие связи друг с другом, — маленькие мирки внутри большего мира, которые живут каждый своей жизнью, члены которых общаются только между собой, словно обитают на островах, разделенных несудоходными проливами. Опыт убедил меня, что в первую очередь это относится к Парижу. Здесь высшее общество редко когда принимает в свою среду посторонних, политические деятели вращаются в своем собственном продажном кругу, буржуазия, крупная и мелкая, держится особняком, писатели водят дружбу с писателями

(читая дневники Андре Жида, поражаешься, как мало у него было близких людей, не принадлежащих к его профессии), художники знают с художниками, а музыканты с музыкантами. То же происходит и в Лондоне, но там границы проведены не так четко, и есть дома, где за обеденным столом можно одновременно увидеть герцогиню, актрису, художника, члена парламента, адвоката, портниху и писателя.

Обстоятельства моей жизни сложились так, что в разные годы я хотя бы на короткое время входил едва ли не во все миры Парижа, даже (через Эллиота) в замкнутый мир бульвара Сен-Жермен; но всего милее моему сердцу — милее, чем скромный кружок, тяготеющий к тому, что теперь именуется авеню Фош, милее, чем космополитическая компания, ужинающая у Ларю и в кафе «Париж», милее, чем шумное, развязное веселье Монмартра, — тот квартал, главной артерией которого служит бульвар Монпарнас. В молодости я прожил год в крошечной квартирке неподалеку от бронзового Бельфортского льва, на пятом этаже, откуда открывался широкий вид на кладбище. Для меня Монпарнас и теперь еще овеян атмосферой тихого провинциального городка, отмечавшей его в ту пору. На узкой, неказистой улице Одессы у меня и сейчас сжимается сердце при воспоминании о захудалом ресторанчике, где мы когда-то собирались к обеду — художники, иллюстраторы, скульпторы и я, единственный писатель, если не считать изредка появлявшегося там Арнольда Беннета, — а потом засиживались допоздна, увлеченные жаркими, яростными, нелеными спорами о литературе и живописи. Мне и сейчас доставляет радость прохаживаться по бульвару, глядя на молодых людей, таких же молодых, каким я был тогда, и выдумывать про них разные истории. Когда выдается свободное время, я беру такси и еду посидеть в старом кафе «Купол». Теперь там встретишь не только богему; туда зачастили мелкие торговцы с ближайших улиц, приезжают и туристы с другого берега Сены в надежде увидеть канувший в прошлое мир. Конечно, там по-прежнему полно студентов, художников и писателей, только теперь это по большей части иностранцы, и за столиками слышишь русскую, испанскую, немецкую и английскую речь. Но говорят там, думается, примерно то же, что и сорок лет назад, только темой им служит не Моне, а Пикассо, не Гильом Аполлинер, а Андре Бретон. Для меня они как родные дети.

Недели через две после приезда в Париж я приехал однажды в «Купол», и, так как на террасе почти не было мест, мне пришлось занять столик у самого края тротуара. День был ясный, теплый. Листья на платанах только-только распустились, и в воздухе было разлито чисто парижское ощущение безделья и легкой душевной приподнятости. Настроение у меня было умиротворенное, но не сонное, а скорее радостное. Вдруг какой-то человек, шедший мимо, остановился возле меня и с улыбкой, обнажившей очень белые зубы, сказал: «Здравствуйте!» Я поглядел на него, не понимая. Он был высокий и худой, без шляпы, с копной темных, давно не стриженных волос. Верхнюю губу и подбородок скрывали густые темные усы и борода. Лоб и шея дочерна загорели. На нем была обтрепанная рубашка без галстука, поношенный коричневый пиджак и старые серые спортивные брюки. Какой-то оборванец, в первый раз вижу. Я решил, что это один из тех бездельников, каких много идет ко дну в Париже, и ожидал услышать жалостную повесть о злосчастной судьбе — способ выклянчить несколько франков на обед и ночлег. Он стоял передо мной, руки в карманах, поблескивая белыми зубами, с веселой искоркой в темных глазах.

— Не помните меня? — сказал он.

— Я вас никогда в жизни не видел.

Я был готов дать ему двадцать франков, но не намерен был дать себя одурачить выдумкой, будто мы с ним знакомы.

— Ларри, — сказал он.

— Боже мой! Садитесь. — Он весело хмыкнул, шагнул вперед и сел на свободный стул за моим столиком. — Выпить хотите? — Я сделал знак официанту. — Как я мог вас узнать, когда вы так обросли?

Официант подошел, и он заказал оранжад. Теперь, взглядевшись, я вспомнил его необычные глаза — черная радужка сливалась в одно со зрачком, что придавало его взгляду и пристальность, и непроницаемость.

— И давно вы в Париже?

— Месяц.

— Надолго?

— Как поживется.

Я задавал ему вопросы, а сам спешил кое-что сообразить. Я заметил, что брюки его снизу висят махрами, а пиджак продран на локтях. Одно слово — нищий, сколь-

ко таких слонялось на пристанях в портовых городах Востока. В те дни мысли невольно обращались к кризису, и я успел подумать, что он остался без гроша в результате биржевого краха 29-го года. Мысль была не из приятных, и, поскольку я не люблю обиняков, я прямо спросил его:

— Вы что, на мели?

— Нет, у меня все в порядке. Почему вы так решили?

— Да потому, что вид у вас голодный, а одежда просится на помойку.

— Неужели уж до того дошло? Я как-то об этом не думал. Вернее, я собирался кое-что себе купить, да все руки не доходят.

Я подумал, что в нем говорит либо стеснительность, либо гордость, и нечего мне дальше слушать этот вздор.

— Не валяйте дурака, Ларри. Я не миллионер, но и не беден. Если у вас нет денег, возьмите у меня займы несколько тысяч франков. Меня это не разорит.

Он рассмеялся мне в лицо:

— Спасибо, конечно, но деньги у меня есть. Больше, чем я в состоянии истратить.

— Несмотря на кризис?

— О, это меня не коснулось. Мои деньги все в государственных бумагах. Может быть, они тоже упали в цене, я не знаю, никогда не интересовался, но одно мне известно: дядя Сэм честный старик, платит по купонам, как и раньше. А я за последние годы тратил так мало, что у меня там должно было порядочно накопиться.

— Вы сейчас-то откуда явились?

— Из Индии.

— Ах да, я слышал, что вы там были. Мне Изабелла говорила. Она, оказывается, знакома с управляющим вашим чикагским банком.

— Изабелла? А вы когда ее видели?

— Вчера.

— Значит, она в Париже?

— Вот именно. Живет в квартире Эллиота Темплтона.

— Как здорово, ужасно хочется ее повидать.

Пока мы говорили, я внимательно наблюдал за ним, но в глазах его прочел только вполне естественное удивление и радость, никаких более сложных чувств.

— Грэй тоже здесь. Вы ведь знаете, что они поженились?

— Да, мне тогда написал дядя Боб... доктор Нелсон, мой опекун, но он уже несколько лет как умер.

Поскольку доктор Нелсон был, видимо, единственным звеном, связывавшим его с Чикаго, я подумал, что он, вероятно, не в курсе дальнейших событий. Я рассказал ему о рождении дочек Изабеллы, о смерти Генри Мэтьюрина и миссис Брэдли, о банкротстве Грэя и великодушии Эллиота.

— А Эллиот тоже здесь?

— Нет.

Впервые за сорок лет Эллиот проводил весну не в Париже. Ему было семьдесят лет, хотя выглядел он моложе, и, как естественно для этого возраста, по временам он чувствовал себя усталым и больным. Он постепенно отказался от всякой гимнастики, кроме ходьбы. Он стал мнителен, и два раза в неделю его навещал врач, делавший ему то в одну, то в другую ягодицу укол модного в то время лекарства. За едой, будь то дома или в гостях, он доставал из кармана крошечную золотую коробочку, извлекал из нее таблетку и проглатывал с видом погруженного в себя человека, совершающего религиозный обряд. Врач посоветовал ему пройти курс лечения в Монтекатино, курорте на севере Италии, а оттуда он собирался в Венецию, присмотреть купель, подходящую по стилю к его романской церкви. Парижем он поступился без труда — столица год от года доставляла ему все меньше удовольствия. Стариков он не любил и обижался, когда его приглашали на вечера, где собирались только люди его возраста, молодые же были ему скучны. Зато большое место среди его интересов занимало теперь украшение построенной им церкви, тут он мог предаваться своей неистребимой страсти — покупать произведения искусства — в твердой уверенности, что делает это во славу божью. В Риме он отыскал старинный престол из бледно-желтого камня, а во Флоренции уже полгода как торговал триптих сиенской школы, который задумал над ним водрузить.

Ларри спросил меня, нравится ли Грэю в Париже.

— Боюсь, он здесь чувствует себя не в своей тарелке.

Я попробовал объяснить ему, какое впечатление у меня сложилось о Грэе. Он слушал, не сводя с меня задумчивых, немигающих глаз, и почему-то у меня возникло ощущение, что слушает он не ушами, а каким-то внутренним, более чувствительным органом слуха. Это было странно и жутковато.

— Впрочем, увидите сами, — закончил я.

— Да, ужасно хочется их повидать. Адрес, наверно, есть в телефонной книге.

— Только советую вам предварительно постричься и сбрить бороду, а то вы их напугаете до полусмерти, и у детей, чего доброго, родимчик сделается.

Он засмеялся.

— Да, я сам это подумал. Какой смысл выставлять себя напоказ.

— И заодно могли бы приодеться.

— Пообносился я здорово, это верно. Когда я решил уехать из Индии, оказалось, что у меня только и есть одежды, что на мне.

Он оглядел мой костюм и спросил, у какого портного я шью. Портного я назвал, но добавил, что он в Лондоне, так что едва ли может быть ему полезен. Мы оставили эту тему и вернулись к Изабелле и Грэю.

— Я их часто выдаю,— сказал я.— Они живут душа в душу. С Грэем я ни разу не говорил с глазу на глаз, да и вряд ли он стал бы говорить со мной об Изабелле, но я знаю, он по-настоящему ее любит. Лицо у него скорее угрюмое, и глаза измученные, но, когда он смотрит на Изабеллу, в них столько доброты, мягкости, даже трогательно. Видимо, все это трудное время она была для него крепкой опорой, и он ни на минуту не забывает, скольким ей обязан. А Изабелла сильно изменилась.— Я не сказал ему, какой она стала красавицей. Я не был уверен, сумеет ли он оценить, как хорошенькая, бойкая девушка сама себя превратила в эту изящную, утонченную, восхитительную женщину. Некоторых мужчин коробит от того, что женская красота призывает себе на помощь искусство.— Она жалеет Грэя. Всеми силами старается вернуть ему веру в себя.

Время клонилось к вечеру, и я предложил Ларри пройтись по бульвару и пообедать.

— Нет, пожалуй, не стоит, спасибо,— отвечал он.— Мне пора.

Он встал, дружески кивнул мне и шагнул на мостовую.

VI

На следующий день я виделся с Изабеллой и Грэем и рассказал им, что встретил Ларри. Они удивились так же, как я накануне.

— До чего же хочется его увидеть,— сказала Изабелла.— Давайте позвоним ему прямо сейчас.

Тут я вспомнил, что не спросил Ларри, где он остановился. Изабелла отчитала меня по первое число.

— Я не уверен, что он сказал бы мне, если б я и спросил,— отбивался я, смеясь.— Наверно, тут мое подсознание вмешалось. Вы же помните, он никогда не любил рассказывать, где живет. Это была одна из его причуд. Он может в любую минуту здесь появиться.

— Да, с него станется,— сказал Грэй.— Его в прежние времена никогда не оказывалось там, где ожидал его встретить. Сегодня он тут, а завтра неведомо где. Бывало, увидишь его в комнате, думаешь, сейчас подойду поздороваюсь, а оглянулся — его и след простыл.

— Правда, правда,— сказала Изабелла.— Я всегда на него за это злилась. Что ж, придется, видно, ждать, пока он сам надумает пожаловать.

Он не явился ни в тот день, ни на следующий, ни еще через день. Изабелла в сердцах решила, что я вообще все это выдумал. Я оправдывался, приводил причины, почему он исчез. Но звучали они неубедительно. Про себя же я подозревал, что ему просто расхотелось встречаться с Изабеллой и Грэем и он подался куда-нибудь вон из Парижа. Мне представлялось, что он не способен где-либо осесть надолго и готов в любую минуту, повинаясь капризу или по причинам, казавшимся ему уважительными, сняться с места.

Наконец он явился. В тот день шел дождь и Грэй не поехал в Мортфонтен. Мы с Изабеллой пили чай, Грэй потягивал виски с ликером, как вдруг дворецкий отворил дверь, и в комнату не спеша вошел Ларри. Изабелла, вскрикнув, вскочила с места, бросилась ему на шею и поцеловала в обе щеки. Грэй, чья толстая красная физиономия покраснела еще больше, горячо сжал ему руку.

— Рад тебя видеть, старина,— сказал он сдавленным от волнения голосом.

Изабелла прикусила губу, и я видел, что она с трудом сдерживает слезы.

— Выпьем, друг,— еле выговорил Грэй.

Я был тронут их искренней радостью при виде скитальца. Сознание, что он так много для них значит, не могло не быть ему приятно. Он широко улыбался. Однако мне было ясно, что он вполне владеет собой. Он заметил посуду на столе.

— Я бы выпил чашку чая,— сказал он.

— Брось, какой там чай! — воскликнул Грэй. — Разопьем бутылку шампанского.

— Я предпочитаю чай, — улыбнулся Ларри.

Его хладнокровие, возможно, умышленное, возымело свое действие. Они успокоились, хоть и продолжали смотреть на него влюбленными глазами. Я не хочу сказать, что на их вполне естественные излияния он отвечал холодно или свысока: напротив, он был донельзя сердечен и обаятелен; но в его манере я улавливал что-то, что не мог назвать иначе как отчужденностью, и причина ее была мне непонятна.

— Почему ты сразу к нам не пришел, ужасный ты человек?! — с притворным негодованием накинулась на него Изабелла. — Я пять дней не отходила от окна, все высматривала тебя, а от каждого звонка у меня сердце екало и во рту пересыхало.

Ларри лукаво усмехнулся.

— Мистер М. сказал мне, что в таком непотребном виде ваш слуга и на порог меня не пустит. Я слетал в Лондон обновить гардероб.

— Уж это вы зря, — улыбнулся я. — Могли бы купить готовый костюм в «Прентан» или «Ля бель жардиньер».

— А я решил — если принимать цивилизованный вид, так по всем правилам. Я десять лет не покупал себе европейской одежды. Я отправился к вашему портному и сказал ему, что мне нужен костюм через три дня. Он сказал, что сошьет за две недели, ну, и мы сошлись на четырех днях. Я вернулся из Лондона час назад.

На нем был синий костюм, отлично сшитый по его сухощавой фигуре, белая рубашка с мягким воротничком, синий шелковый галстук и коричневые ботинки. Волосы коротко подстрижены, лицо гладко выбрито. Вид не только аккуратный, но элегантный. Он буквально преобразился. Он был очень худ; скулы выдавались резче, виски запали глубже, глаза стали больше, чем мне помнилось по прежним временам; но выглядел он отлично, и мало того, его дочерна загорелое, без единой морщины лицо выглядело поразительно молодо. Он был на год моложе Грэя, обоим недавно перевалило за тридцать, но Грэю можно было дать сорок лет, а Ларри — двадцать. У Грэя, большого, погрузневшего, все движения были медлительные и тяжеловесные, у Ларри — свободные, легкие. Держался он по-мальчишески весело и открыто, но я все время ощущал

в нем какой-то невозмутимый покой, не свойственный тому юноше, которого я знал когда-то. И все время, что длился разговор, непринужденный, как всегда между старыми друзьями, которым есть что вспомнить, и то Грэй, то Изабелла подкидывали какие-нибудь мелкие чикагские новости, и все дружно смеялись и судачили о том о сем, легко переходя с одного на другое, — я не мог отделаться от ощущения, что Ларри, хоть смеялся он от души и оживленную болтовню Изабеллы слушал с явным удовольствием, воспринимал все это как бы издали. Не то чтобы он играл роль — искренность его не вызывала сомнений. Но что-то в нем — не знаю, как это назвать, настороженность, чувствительность, сила? — отгораживало его от других.

Были вызваны девочки и сделали Ларри вежливый книксен. Он по очереди протянул им руку, глядя на них с подкупающей нежностью, и они, серьезно уставившись на него, подали ему ручку. Изабелла радостно сообщила, что они молодцы и учатся неплохо, дала им по тартинке и отослала в детскую.

— Когда уляжетесь, я приду и десять минут вам почитаю.

Сейчас ей не хотелось отрываться, уж очень она наслаждалась обществом Ларри. Девочки подошли проститься с отцом. И какую же любовью осветилось его грубое красное лицо, когда он прижал их к себе и расцеловал. Было ясно как день, что он гордится ими, души в них не чает, и, когда они ушли, он повернулся к Ларри и сказал с чудесной застенчивой улыбкой:

— Хорошие малышки, верно?

Изабелла ласково глянула на него.

— Грэю дай только волю, он избаловал бы их до смерти. Он бы дал мне умереть с голоду, лишь бы их кормить икрой и паштетом.

Он улыбнулся ей и сказал:

— Неправда, и ты сама это знаешь. Я тебя люблю больше жизни.

В глазах Изабеллы мелькнула ответная улыбка. Да, она это знала, и ее это радовало. Счастливая пара.

Она стала уговаривать нас остаться у них обедать. Я было отказался, думая, что им приятнее будет побыть втроем, но она и слушать не захотела.

— Я велю Мари положить в суп еще одну морковку, и как раз выйдет четыре порции. На второе курица,

вам и Грэю дадим ноги, а мы с Ларри будем есть крылышки, а пюре пусть сделает побольше, чтобы на всех хватило.

Грэй тоже как будто упрашивал всерьез, и я дал уговорить себя поступить так, как мне хотелось.

В ожидании обеда Изабелла подробно рассказала Ларри то, что я уже сообщил ему вкратце. Хотя она и старалась поведать эту печальную повесть как можно веселее, на лице Грэя изобразилась угрюмая тоска. Изабелла поспешила его подбодрить.

— Теперь-то это все позади. Мы еще легко отделались. Как только положение улучшится, Грэй получит великолепную должность и наживет миллионы.

Подали коктейли, и после двух бокалов бедняга воспрянул духом. Ларри, хоть и взял бокал, почти не приронул к нему, и когда Грэй, не заметив этого, предложил ему повторить — отказался. Мы вымыли руки и сели обедать. Грэй велел подать шампанского, но, когда дворецкий стал наливать Ларри, тот сделал знак, что пить не будет.

— Ну что ты, хоть немножко! — воскликнула Изабелла. — Это из запасов дяди Эллиота, самое лучшее, только для особенно дорогих гостей.

— Честно говоря, я предпочитаю воду. Когда проживешь так долго на Востоке, нет ничего вкуснее воды, которую можно пить без опаски.

— Но случай-то исключительный.

— Ладно, один бокал выпью.

Обед был превосходный, но Изабелла, как и я, заметила, что Ларри ест очень мало. Вероятно, она спохватилась, что до сих пор без умолку говорила сама, а Ларри оставалось только слушать, и теперь она стала спрашивать его о том, как он провел те десять лет, что они не виделись. Он отвечал охотно и не таясь, но так неопределенно, что, в сущности, сказал нам очень мало.

— Ну, понимаете, бродил по белу свету. Год провел в Германии, пожил в Италии, в Испании. И по Востоку пошатался.

— А сейчас ты откуда?

— Из Индии.

— И сколько ты там пробыл?

— Пять лет.

— Интересно было? — спросил Грэй. — На тигров охотился?

— Нет, — улыбнулся Ларри.

— Что же ты делал в Индии целых пять лет? — спросила Изабелла.

— Небо коптил, — ответил он с незлобивой иронией.

— А факирский фокус с веревкой видел? — спросил Грэй.

— Нет, не видел.

— Что же ты видел?

— Много чего.

Тогда и я задал ему вопрос.

— Верно ли, что йоги вырабатывают в себе способности, которые нам кажутся сверхъестественными?

— Право, не знаю. Могу только сказать, что в Индии это представление очень распространено. Но самые умные не придают таким способностям никакого значения, считают, что они только задерживают духовный рост. Помню, один из них рассказал мне про некоего йога, как он подошел к реке и у него не было денег заплатить перевозчику, а тот отказался перевезти его даром, и тогда он взял и перешел на другой берег прямо по воде. Тот йог, что мне это рассказывал, презрительно пожал плечами и добавил: «Цена такого рода чудесам — тот самый грош, который был нужен, чтобы переправиться на лодке».

— Но вы-то как думаете, тот йог в самом деле шел по воде?

— Мой собеседник, во всяком случае, в этом не сомневался.

Слушать Ларри доставляло большое удовольствие, потому что у него был на редкость приятный голос, не слишком низкий, но звучный, гибкий, богатый интонациями. После обеда мы снова перешли в гостиную пить кофе. Я никогда не бывал в Индии и жаждал узнать о ней побольше.

— Вы там общались с какими-нибудь писателями или мыслителями? — спросил я.

— А вы, я вижу, проводите между ними различие, — поддразнила меня Изабелла.

— Это как раз и входило в мои планы, — ответил Ларри.

— И как вы с ними разговаривали? По-английски?

— Самые интересные из них если и говорили по-английски, то очень неважно, а уж понимали совсем

плохо. Я выучил хиндустани. А когда подался на юг, стал немного объясняться и на тамильском.

Сколько же языков вы теперь знаете, Ларри?

— Ой, не считал. Штук шесть, наверно.

— Я хочу узнать что-нибудь еще про йогов, — сказала Изабелла. — Ты с кем-нибудь из них был близко знаком?

— Если можно говорить о близком знакомстве с людьми, которые почти все свое время проводят в Бесконечности, — улыбнулся он. — У одного я прожил в ашраме два года.

— Два года? А что такое ашрама?

— Ну, это вроде как обитель отшельника. Там есть святые люди, которые живут в полном одиночестве в каком-нибудь храме в лесу или на склонах Гималаев. Есть и такие, которых окружают ученики. Какой-нибудь добрый человек, алчущий праведности, строит хижину, большую или маленькую, для йога, который поразил его своим благочестием, а ученики селятся поблизости, спят на галерейке, или в кухне, если таковая имеется, или просто под деревьями. У меня была крошечная хибарка, в ней еле помещалась походная койка, стол, стул и полка для книг.

— Где это было? — спросил я.

— В Траванкуре, это чудесный край зеленых гор, и долин, и медленных рек. Выше в горах водятся тигры, леопарды, слоны и бизоны, но ашрама стояла на берегу речной заводи, среди кокосовых и арековых пальм. До ближайшего города было мили четыре, но люди приходили оттуда, да и из других мест намного дальше или приезжали на повозках, запряженных волами, чтобы послушать моего йога, если он был в настроении говорить, а не то просто посидеть у его ног и вместе с другими ощутить покой и счастье, которые исходили от него, как аромат от туберозы.

Грэй заерзал на стуле. Видимо, ему стало не по себе от этих разговоров.

— Вышьем? — предложил он мне.

— Нет, спасибо.

— А я выпью. Ты как, Изабелла?

Он грузно поднялся с кресла и подошел к столику, на котором стояли виски, ликер и стаканы.

— А еще белые люди там были?

— Нет, только я.

— Как ты мог это выдержать два года? — вскричала Изабелла.

— Они промелькнули мгновенно. У меня в жизни бывали дни, которые тянулись куда дольше.

— Но чем ты заполнял свое время?

— Читал. Ходил на далекие прогулки. Плавал в лодке по заводи. Размышлял. Это, знаете ли, тяжелый труд. После двух-трех часов выматываешься так, будто пятьсот миль вел машину, только и мечтаешь, как бы отдохнуть.

Изабелла чуть сдвинула брови. Она была озадачена, пожалуй, даже немного испугана. Должно быть, она начинала догадываться, что тот Ларри, которого она знала в прошлом, — такой доверчивый, веселый, своенравный, но пленительный, и тот, что вошел в комнату несколько часов назад, — два разных человека, хотя внешне он почти не изменился и казался таким же простым и приветливым. Когда-то она уже потеряла его и, увидев его снова, приняв его за прежнего Ларри, решила, что, как бы ни сложились обстоятельства, он все еще ей подвластен; теперь же, когда она словно поймала солнечный луч, а он ускользал у нее между пальцев, она слегка встревожилась. Я много смотрел на нее в тот вечер, это всегда бывало приятно, и я видел, сколько нежности было в ее глазах, когда они обращались на аккуратно подстриженный затылок Ларри и его небольшие, плотно прижатые к черепу уши, и как выражение их менялось, когда она отмечала его запавшие виски и худобу щек. Она скользила взглядом по его длинным рукам, очень худым, но крепким и сильным, поглядывала на его подвижные губы, изящно очерченные, полные, хоть и не чувственные, на его чистый лоб и точеный нос. Свое новое платье он носил не как Эллиот, на манер джентльмена из модного журнала, а свободно, непринужденно, точно год не надевал ничего другого. Казалось, он будил в Изабелле материнский инстинкт, которого я никогда не замечал в ее отношении к собственным детям. Она была женщина с опытом, он все еще выглядел юным, и мне чудилась в ней гордость матери — смотрите-ка, мой сын стал совсем взрослый, и разговаривает так складно, и умные люди его слушают, как будто он и вправду много понимает. Смысл того, что он говорил, по-моему, не доходил до ее сознания. Сам же я тем временем не отставал от Ларри.

— Какой он был из себя, ваш йог?

— Вы имеете в виду внешность? Ну, роста среднего,

не тощий и не толстый, кожа светло-коричневая, бритый, волосы короткие, седые. Ходил в одних трусах, но выглядел франтом, не хуже молодых людей с рекламы «Братьев Брукс».

— И что в нем особенно вас привлекло?

Ларри ответил не сразу. С минуту его глубоко посаженные глаза словно пытались проникнуть мне в самую душу.

— Святость.

Его ответ немного смутил меня. В этой комнате с красивой мебелью и прелестными рисунками по стенам неожиданное слово брызнуло, как струйка воды, просочившейся сквозь потолок из переполненной ванны.

— Все мы читали о святых, — продолжал Ларри. — Святой Франциск, святой Иоанн с крестом, но то было много веков назад. Мне и в голову не приходило, что в наше время можно встретить святого во плоти. Но с той минуты, как я его увидел, я уже не сомневался, что он святой. Это было удивительное переживание.

— И что оно вам дало?

— Душевный покой, — ответил он с полуулыбкой, почти небрежно, и тут же рывком встал с места. — Мне пора.

— Подожди уходить! — взмолилась Изабелла. — Ведь еще рано.

— Спокойной ночи, — сказал он, все еще улыбаясь и как бы не заметив ее слов. Потом поцеловал ее в щеку. — На днях увидимся.

— Ты где живешь? Я тебе позвоню.

— Не стоит. Здесь в Париже это дело сложное, сама знаешь. К тому же наш телефон все время портится.

В душе я посмеялся тому, как ловко он сумел утаить свой адрес. Почему-то он всегда норовил скрыть, где живет. Я пригласил их всех пообедать в Булонском лесу послезавтра вечером. В такую чудесную весеннюю погоду хорошо будет посидеть на воздухе, под деревьями, Грэй может отвезти нас туда в своем купе. Я ушел вместе с Ларри и охотно прогулялся бы с ним, но, как только мы очутились на улице, он пожал мне руку и быстро зашагал прочь. Я подозвал такси.

Мы сговорились встретиться у Мэтьюринов и выпить по коктейлю, прежде чем пуститься в путь. Я приехал раньше Ларри. Пригласив их в очень шикарный ресторан, я ожидал увидеть Изабеллу в полном параде: там все женщины будут разодеты в пух и прах, неужели же она даст им себя затмить? Но на ней было простенькое шерстяное платье.

— У Грэй опять мигрень, — сказала она. — Мучается ужасно. Я не могу его оставить. Кухарку я на вечер отпустила — уйдет, как только накормит детей ужином, придется самой что-то для него приготовить и заставить его съесть. Вы с Ларри поезжайте без нас.

— Грэй в постели?

— Нет, он с этими болями никогда не ложится. Нужно бы, конечно, но он не хочет. Он в библиотеке.

То была небольшая обшита деревом комната, коричневая с золотом, которую Эллиот целиком вывез из какого-то старинного замка. От любопытных книги были защищены золочеными решетками и заперты на ключ. Это, пожалуй, было и к лучшему: большую часть их составляли эротические, украшенные гравюрами произведения восемнадцатого века. Впрочем, в новых сафьяновых переплетах они выглядели очень мило. Мы вошли. Грэй сидел мешком в большом кожаном кресле, на полу возле него валялись иллюстрированные журналы. Глаза у него были закрыты, лицо, обычно красное, посерело. Он попытался встать, но я остановил его.

— Аспирин вы ему давали? — спросил я Изабеллу.

— Не помогает. У меня есть один американский рецепт, но от него тоже никакого толку.

— Не беспокойся, родная, — сказал Грэй. — До завтра пройдет. — Он попробовал улыбнуться. — Простите, что так подвел, — обратился он ко мне. — Поезжайте-ка вы все обедать.

— И не подумаю, — сказала Изабелла. — Представляешь, как мне будет весело, когда ты тут терпишь все муки ада?

— Бедная девочка, она, кажется, меня любит, — сказал Грэй и опять закрыл глаза.

Вдруг лицо его исказилось. Режущая боль, пронизавшая ему голову, была почти зримой. Дверь тихо отворилась, и вошел Ларри. Изабелла объяснила ему, в чем дело.

— Ой, как нехорошо, — сказал он, бросив на Грэй сострадательный взгляд. — Неужели ничего нельзя сделать?

— Ничего, — сказал Грэй, не открывая глаз. — Я об одном прошу, оставьте меня в покое и поезжайте веселиться.

Я и сам подумал, что это было бы единственным разумным решением, но принять его Изабелле не позволит совесть.

— Можно, я попробую тебе помочь? — спросил Ларри.

— Никто мне не может помочь, — ответил Грэй устало. — Когда-нибудь она меня доконает, иногда думаешь — уж поскорей бы.

— Я неправильно сказал, что хочу тебе помочь; может, мне удастся помочь тебе помочь самому себе.

Грэй медленно открыл глаза.

— А как ты можешь это сделать?

Ларри достал из кармана какую-то серебряную монету и вложил ее Грэю в руку.

— Зажми ее в кулак и держи руку ладонью книзу. Не противься мне. Не напрягайся, только держи монету в кулаке. Еще до того, как я сосчитаю до двадцати, пальцы у тебя разожмутся и монета выпадет.

Грэй повиновался. Ларри сел у письменного стола и начал считать. Изабелла и я стояли не шевелясь. Раз, два, три, четыре... Пока он считал до пятнадцати, рука Грэя оставалась неподвижной, а потом чуть дрогнула, и я не то чтобы увидел, но каким-то образом уловил, что пальцы расслабляются. Вот большой палец отделился от кулака. Теперь было ясно видно, что и другие пальцы пришли в движение. Когда Ларри досчитал до девятнадцати, монета упала на пол и покатилась мне под ноги. Я поднял ее и рассмотрел. Она была тяжелая, неправильной формы, и с одной стороны был выбит рельефный портрет молодого мужчины, в котором я узнал Александра Македонского. Грэй растерянно уставился на свою руку.

— Я не ронял монету, — сказал он. — Она сама упала. Его правая рука лежала на подлокотнике кожаного кресла.

— Тебе удобно сидеть? — спросил Ларри.

— Если вообще может быть удобно, когда голова раскалывается.

— Ладно, ты расслабься. Ничего не делай. Не думай. Не сопротивляйся. Когда я досчитаю до двадцати, твоя

правая рука оторвется от кресла и окажется у тебя над головой. Раз, два, три, четыре...

Он считал медленно, своим чудесным звучным голосом, и, когда досчитал до девяти, кисть Грэй чуть приподнялась, оторвавшись от кожаной поверхности, и, повиснув в каком-нибудь дюйме от нее, на секунду задержалась.

— Одиннадцать, двенадцать, тринадцать...

Рука дернулась и теперь уже вся, от плеча, пошла вверх. Она уже не касалась кресла. Изабелла, немного испуганная, вцепилась мне в руку. Картина и вправду была захватывающая. Мне не приходилось видеть, как люди ходят во сне, но я представляю себе, что они двигаются так же странно, как двигалась рука Грэй. Воля тут словно не участвовала. Мне подумалось, что сознательным усилием руку и невозможно было бы поднять так медленно и равномерно. Ее словно поднимала какая-то подсознательная сила, независимая от разума. Так — медленно, туда-сюда, ходит поршень в цилиндре.

— Пятнадцать, шестнадцать, семнадцать...

Слова падали медленно, медленно, точно капли из неисправного крана. Рука поднималась все выше, выше, и вот она уже у Грэй над головой, а вот, со счетом двадцать, тяжело падает обратно на подлокотник.

— Я не поднимал руку, — сказал Грэй. — Я ничего не мог с ней поделать. Она сама.

Ларри чуть заметно улыбнулся.

— Это неважно. Я просто хотел, чтобы ты в меня поверил. Где эта монета?

Я протянул ее.

— Держи. — Грэй взял ее в руку. Ларри глянул на свои часы. — Сейчас тринадцать минут девятого. Через шестьдесят секунд веки у тебя так отяжелеют, что ты закроешь глаза. И уснешь. Ты проспишь шесть минут. В восемь двадцать ты проснешься здоровый.

Мы с Изабеллой молчали, не спуская глаз с Ларри. Он больше ничего не сказал. Он устремил пристальный взгляд на Грэй, но смотрел словно не на него, а сквозь него, куда-то дальше. В охватившем нас молчании было что-то таинственное, так молчат цветы в саду, когда сгущаются сумерки. Вдруг пальцы Изабеллы крепче впились в мою руку. Я взглянул на Грэй. Глаза у него были закрыты, дыхание легкое и ровное: он спал. Так мы просто стояли, казалось, целую вечность. Мне очень хотелось

курить, но я не решился чиркнуть спичкой. Ларри застыл в неподвижности. Глаза его смотрели в какую-то неведомую даль. Не будь они открыты, можно было подумать, что он в трансе. И вдруг он весь обмяк, глаза приняли свое обычное выражение, и он посмотрел на часы. В то же мгновение Грэй открыл глаза.

— Тьфу, — сказал он, — я, кажется, задремал. — И разом встряхнулся. Я заметил, что он уже не так бледен. — Голова-то прошла!

— Вот и хорошо, — сказал Ларри. — Выкури папиросу, и поедем все вместе обедать.

— Но это просто чудо. Я совсем здоров. Как ты это сделал?

— Это не я. Ты сам это сделал.

Изабелла убежала переодеваться, а тем временем мы с Грэем выпили по коктейлю. Хотя Ларри был явно против, Грэй упорно толковал о случившемся. Он был в полном недоумении.

— Вот уж не ожидал, что у тебя что-нибудь выйдет. Согласился, потому что лень было спорить, так паршиво себя чувствовал.

И он стал подробно описывать, как начинаются его мигрени, как они его мучают и какой он бывает разбитый, когда боль отпускает. Ему все не верилось, что сейчас он в норме, точно ничего и не было. Вернулась Изабелла. На ней было платье, которого я еще не видел, длинное до полу, белый футляр из материи, которая, кажется, называется марокен, с воланом из черного тюля. Да, с такой дамой каждому было бы лестно появиться на людях.

В «Шато де Мадрид» царило веселье, и мы все были в ударе. Ларри без конца смешил нас всякой забавной чепухой — я и не знал за ним такого таланта. Мне подумалось, что он задался целью отвлечь наши мысли от его поразительного дара, проявлению которого мы так неожиданно стали свидетелями. Но Изабеллу трудно было сбить с толку. Какое-то время она готова была подпевать ему, однако не забывала, что желает удовлетворить свое любопытство. После обеда, когда подали кофе и ликеры и она, очевидно, решила, что под влиянием вкусной еды, единственного стакана вина и дружеской беседы тормоза у Ларри ослабли, она устремила на него ясный взгляд.

— А теперь расскажи нам, как ты вылечил Грэя.

— Ты же сама видела, — улыбнулся он.

— Ты этому выучился в Индии?

— Да.

— Он ужасно мучается. Может, ты и вообще мог бы избавить его от этих мигреней?

— Не знаю. Возможно.

— Это было бы для него так важно. Ведь он не может и надеяться получить приличное место, пока рискует в любой день на двое суток выбыть из строя. А без работы он все равно что не живет.

— Я, знаешь ли, не чудотворец.

— Но это было настоящее чудо. Я своими глазами видела.

— Нет. Я просто внушил Грэю идею, а остальное он сделал сам.— Он повернулся к Грэю.— Ты завтра что делаешь?

— Играю в гольф.

— Я к тебе загляну в шесть часов, побеседуем.— И снова Изабелле, с обворожительной улыбкой: — Мы с тобой не танцевали десять лет. Может быть, я разучился, хочешь, проверим?

VI

После этого мы видели Ларри часто. Всю следующую неделю он приходил каждый день и на полчаса уединялся с Грэем в библиотеке. Он, по собственному выражению, пытался убедить его отделаться от этих противных мигреней, и Грэй проникся к нему чисто детским доверием. Из того немногого, что сказал Грэй, я понял, что Ларри, кроме того, пытается вернуть ему подорванную веру в себя. Дней через десять у Грэя опять разболелась голова, а Ларри ждали только вечером. На этот раз мигрень была сравнительно легкая, но Грэй так верил в могущество Ларри, что твердил: надо его найти, он в несколько минут с ней справится. Изабелла позвонила мне по телефону, но я тоже не знал, где он живет. Когда Ларри наконец явился и избавил Грэя от боли, тот попросил его оставить свой адрес, чтобы в случае необходимости можно было сразу его призвать. Ларри улыбнулся.

— Звони в «Американ экспресс» и проси передать. Я буду им звонить каждое утро.

Позже Изабелла спросила меня, почему Ларри скрывает свой адрес. Ведь он и раньше делал из этого тайну,

и тогда оказалось, что он просто живет в третьеразрядной гостинице в Латинском квартале.

— Понятия не имею, — отвечал я. — Могу только предложить весьма произвольную догадку, скорее всего неверную. Возможно, он инстинктивно относит некую духовную обособленность и к своему жилищу.

— О господи, это еще что за головоломка? — вскричала она сердито.

— Вы не задумывались над тем, что, когда он с нами и как будто держится так просто, открыто, дружески, в нем чувствуется какая-то отчужденность, словно он отдает не всего себя, а где-то в тайнике души что-то придерживает... какое-то напряжение, или тайну, или замысел, или знание... не знаю, что именно... и это позволяет ему оставаться от всех в стороне?

— Я знаю его с детства, — раздраженно перебила она.

— Иногда он напоминает мне большого актера, виртуозно играющего в ерундовой пьесе. Как Элеонора Дузе в «Хозяйке гостиницы».

Изабелла на минуту задумалась.

— Я, кажется, понимаю, о чем вы говорите. С ним бывает так весело, и он вроде бы такой же, как мы, как все люди, а потом вдруг такое ощущение, точно он ускользнул, как колечко дыма, когда хочешь его поймать. Что же это в нем есть, отчего он такой чудной, как вы думаете?

— Может быть, что-то до того элементарное, что этого и не замечаешь.

— Например?

— Ну, например, доброта.

Изабелла нахмурилась.

— Пожалуйста, не говорите таких вещей. У меня от них начинает болеть под ложечкой.

— А может, в глубине сердца?

Она посмотрела на меня долгим взглядом, словно хотела прочесть мои мысли. Потом взяла со столика папиросу, закурила и откинулась в кресле, глядя, как дым колечками поднимается в воздух.

— Хотите, чтобы я ушел?

— Нет.

Я помолчал, глядя на нее и, как всегда, любуясь ее точеным носиком и прелестной линией подбородка.

— Вы сильно влюблены в Ларри?

— Ну вас к дьяволу, я всю жизнь только его и любила.

— Зачем же вы вышли замуж за Грэя?

— Надо было за кого-то выходить. Грэй меня обожал, и маме хотелось, чтобы мы поженились. Все мне твердили, какое счастье, что я разделалась с Ларри. А к Грэю я очень хорошо относилась и сейчас отношусь. Вы не знаете, какой он милый. Нет человека добрее его, заботливее. Многим кажется, что у него ужасный характер, но со мною он всегда был сущий ангел. Когда у него были деньги, он только и хотел, чтобы я у него что-нибудь выпрашивала, такую радость ему доставляло мне угождать. Как-то я сболтнула, что хорошо бы иметь свою яхту и поплыть вокруг света, так, если бы не крах, он бы и яхту купил.

— Бывают же такие люди, — ввернул я вполголоса.

— Мы жили чудесно. Я всегда буду ему за это благодарна. Он дал мне много счастья.

Я взглянул на нее, но промолчал.

— По-настоящему я его, наверно, не любила, но можно прекрасно прожить и без любви. В глубине души я тосковала по Ларри, но, когда его не было рядом, это меня особенно не тревожило. Помните, вы мне когда-то сказали, что, когда вас разделяют три тысячи миль океана, сносить муки любви не так трудно? Тогда это показалось мне циничным, но вы, разумеется, правы.

— Если вам больно видеться с Ларри, не разумнее ли перестать с ним видеться?

— Но боль-то эта — блаженство. И потом вы же знаете, какой он. В любой день может исчезнуть, как тень, когда солнце спрячется, и жди, когда еще его опять увидишь.

— Вы не подумывали развестись с Грэем?

— У меня нет причин с ним разводиться.

— Это не мешает вашим соотечественницам разводиться с мужьями, когда им вздумается.

Она рассмеялась.

— Почему же они так поступают?

— А вы не знаете? Потому что американка желает обрести в своем муже идеал, который англичанка мечтает обрести разве что в своем дворецком.

Изабелла вскинула голову так надменно, что вполне могла растянуть мышцу на шее.

— Оттого, что Грэй не умеет себя выразить, вам кажется, что в нем нет ничего хорошего.

— Вот это уж неверно, — перебил я. — Мне кажется, в нем есть что-то очень ценное. Он умеет любить. Стоит только увидеть его лицо, когда он смотрит на вас, сразу понимаешь, как беззаветно он вам предан. И детей своих он любит куда больше, чем вы.

— Вы еще, чего доброго, скажете, что я плохая мать.

— Напротив, вы, по-моему, превосходная мать. Вы хотите, чтобы они были здоровы и веселы. Вы следите за тем, как они питаются и каждый ли день у них работает кишечник. Вы учите их правилам поведения, читаете им вслух и заставляете молиться на сон грядущий. Если они заболели, вы сейчас же вызовете врача и будете прилежно их выхаживать. Но вы не боготворите их так, как он.

— А это и не нужно. Я человек и с ними обращаюсь, как с людьми. Мать только вредит своим детям, если ничем, кроме них, не интересуется.

— По-моему, вы совершенно правы.

— И они, между прочим, меня обожают.

— Это я заметил. Вы для них самая красивая, самая прелестная и удивительная. Но с вами им не так просто, не так уютно, как с Грэмом. Вас они обожают, это верно, но его они любят.

— Его нельзя не любить.

Мне понравилось, как она это сказала. Она никогда не обижалась на правду, это было одно из ее самых привлекательных свойств.

— После краха Грэй совсем погибал. Он неделями работал в конторе до полуночи, а я сидела дома и терзалась от страха, боялась, что он пустит себе пулю в лоб. до того он чувствовал себя опозоренным. Понимаете, и он, и его отец так гордились своей фирмой, и своей честностью, и здравостью суждений. Для него горше всего было не то, что мы сами разорились, а что разорены люди, которые ему доверились, вот чего он не мог пережить. Ему все казалось, что он чего-то не предусмотрел. Я никак не могла внушить ему, что он не виноват.

Изабелла достала из сумочки помаду и подмазала губы.

— Но я не об этом хотела вам рассказать. Единственное, что у нас осталось, это усадьба, а Грэю необходимо было куда-то увести, ну вот, мы и подкинули девочек

маме, а сами укатили. Он всегда любил туда ездить, но мы еще ни разу не жили там одни, — возили с собой целую компанию и веселились напропалую. А тут ему и на охоту ходить не хотелось, хоть стреляет он хорошо. Он брал лодку и часами плавал один по болотам, наблюдая птиц. Плавал по всем протокам, где с обеих сторон камыши, а над головой небо. Там бывают дни, когда протоки синие, как Средиземное море. Дома он не распространялся о своих впечатлениях. Скажет, что было чудесно, и все. Но я-то понимала. Я знала, что этот простор, и красота, и тишина глубоко его волнуют. Там бывает такой час перед закатом, когда освещение просто сказочное. Он, бывало, стоит и смотрит как замороженный. И верхом он подолгу ездил по глухим, таинственным лесам, они там как в пьесах Метерлинка — серые, безмолвные, даже жутко. А весной бывает короткая пора — каких-нибудь две недели, когда цветет кизил, и распускаются листья на кустарнике, и вся эта свежая зелень на фоне серого испанского мха — как радостный гимн, а на земле ковер из огромных белых лилий и дикой азалии. Грэй не умел выразить, что это для него значит, но значило это очень много. Он упивался этой красотой. Я, конечно, описываю все это нескладно, но вы не поверите, какое это было волнующее зрелище — такой большой, взрослый мужчина, и весь во власти чистого, высокого чувства. Если есть на небе бог, Грэй в такие минуты бывал к нему близок.

Изабелла и сама немного расчувствовалась и крошечным платочком смахнула две слезинки, блеснувшие в уголках ее глаз.

— Может быть, вы фантазируете? — улыбнулся я. — Приписываете Грэю мысли и чувства, которыми сами его наделили?

— Как я могла бы их выдумать, если бы не видела? Меня-то вы знаете. Я-то счастлива только тогда, когда у меня под ногами асфальтовый тротуар, а по всей улице — зеркальные витрины, и в них шляпы, меховые манто, браслеты с брильянтами и несессеры с золотыми застежками.

Я посмеялся, и с минуту мы молчали. Потом она вернулась к прежней теме.

— Я ни за что не разведусь с Грэем. Слишком много мы пережили вместе. И он без меня как без рук. Это даже лестно и накладывает известную ответственность. А кроме того...

— Продолжайте.

Она искоса взглянула на меня, в глазах блеснул озорной огонек. Словно она не была уверена, как я отнесусь к тому, что она надумала мне сказать.

— Он изумительный любовник. Мы женаты десять лет, а он такой же страстный, как был вначале. Это не вы в какой-то пьесе сказали, что ни один мужчина не желает одну и ту же женщину дольше пяти лет?.. Так вот, вы не знали, о чем говорите. Грэй меня желает так же, как в первую ночь. В этом смысле он дал мне много радости. Я ведь очень чувственная женщина, хотя по виду этого не скажешь.

— Ошибаетесь. Как раз скажешь.

— И что же, это можно поставить мне в упрек?

— Напротив.— Я испытующе взглянул на нее.— Так вы не жалеете, что десять лет назад не вышли за Ларри?

— Нет. Это было бы безумием. Но, конечно, если бы я знала то, что знаю теперь, я бы уехала куда-нибудь и прожила с ним три месяца, а потом раз и навсегда вычеркнула его из своей жизни.

— Думаю, для вас лучше, что вы не пошли на такой эксперимент; вы рисковали убедиться, что связаны с ним такими узами, которых не могли бы разорвать.

— Не думаю. То было всего лишь физическое влечение. Вы ведь знаете, часто лучший способ превозмочь желание состоит в том, чтобы его удовлетворить.

— А известно ли вам, что вы заядлая собственница? Вы мне сказали, что у Грэя поэтическая натура и что он — пылкий любовник; охотно верю, что и то, и другое вам дорого; но вы мне не сказали, что вам дороже, чем то и другое вместе взятое, а это — ощущение, что вы крепко держите его в ваших прелестных, хоть и не таких уж маленьких ручках. Ларри всегда ускользал от вас. Вы помните эту оду Китса? «Любовник смелый, никогда тебе ее не целовать, хоть цель близка».

— Напрасно вам кажется, что вы знаете все на свете,— сказала она чуть язвительно.— Удержать мужчину женщина может только одним способом. И запомните: важен не первый раз, когда она ложится с ним в постель, а второй. Если она после этого его удержит, значит, удержит навсегда.

— Что и говорить, вы набрались любопытных сведений.

— А я много где бываю, смотрю, слушаю и мотаю на ус.

— Если не секрет, откуда у вас эта последняя информация?

В ее улыбке была бездна лукавства.

— От одной женщины, с которой я подружилась на выставке мод. Продавщица сказала мне, что это самая шикарная кокетка в Париже, и я решила с ней познакомиться. Адриенна де Тров. Слышали про такую?

— Никогда.

— Какой пробел в вашем образовании! Ей сорок пять лет, она даже не красива, но осанка благороднее, чем у всех Эллиотовых герцогинь. Я к ней подседа и разыграла наивную молодую американочку. Сказала, что должна с ней поговорить, потому что в жизни не видела никого более восхитительного, что она совершенна, как греческая камея.

— Ну и нахальство!

— Сперва она держалась холодно, этак «не тронь меня», но я продолжала щебетать, и она оттаяла. Мы хорошо поболтали. Когда показ окончился, я пригласила ее как-нибудь позавтракать в «Рице». Сказала, что всегда восхищалась ее неподражаемым шиком.

— Разве вы ее и раньше видели?

— Никогда. От моего приглашения она отказалась, не хочет, мол, меня компрометировать, в Париже столько злых языков, но ей было приятно, что я ее пригласила, и, когда она увидела, что у меня губы дрожат от огорчения, сама пригласила меня позавтракать у нее дома. А когда увидела, что я буквально сражена ее любезностью, даже похлопала меня по руке.

— И вы пошли?

— А как же. У нее премиленький домик на авеню Фош, а прислуживал нам дворецкий, вылитый Джордж Вашингтон. Я просидела у нее до четырех часов. Мы, так сказать, распустили волосы, сняли корсеты и всласть потрепались о всяких женских делах. В тот день я столько узнала нового, что хоть книгу пиши.

— Вот бы и написали. Как раз подходящий материал для дамского журнала «Домашний очаг».

— Да ну вас, — рассмеялась она.

Я заговорил не сразу, мне хотелось что-то додумать.

— Вот не знаю, был Ларри когда-нибудь в вас влюблен или нет.

Она выпрямилась в кресле. Куда девалась светская любезность. Глаза ее метали молнии.

— То есть как? Конечно, он был в меня влюблен. Вы что же думаете, девушка не знает, когда мужчина в нее влюблен?

— Ну да, в каком-то смысле, вероятно, был. Он ни с одной девушкой не был так близко знаком. Вы вместе росли. Он не представлял себе, что может быть иначе. Жениться на вас казалось ему так естественно. И ничего особенно нового это бы в ваши отношения не внесло, только жили бы под одной крышей и спали вместе.

Изабелла, немного смягчившись, ждала продолжения, и я, зная, как любят женщины слушать рассуждения о любви, продолжал:

— Моралисты пытаются нас убедить, что половой инстинкт имеет мало общего с любовью. Они склонны зачислить его в эпифеномены.

— О господи, это еще что за зверь?

— Видите ли, некоторые психологи считают, что сознание сопровождает работу мозга и определяется ею, но само на нее не влияет. Представьте себе отражение дерева в воде: без дерева оно не могло бы существовать, но никакого воздействия на дерево не оказывает. На мой взгляд, утверждение, что может быть любовь без страсти, — абсурд; когда люди уверяют, что любовь может длиться, даже если страсть умерла, они имеют в виду другое: привязанность, дружбу, общность интересов и вкусов, привычку. Главное — привычку. Половые сношения могут продолжаться по привычке, вот так же у людей пробуждается голод к тому часу, когда они привыкли есть. Влечение без любви, разумеется, возможно. Влечение — это не страсть. Это — естественное проявление полового инстинкта и значит оно не больше, чем любая другая функция животного организма. Поэтому-то и неразумны женщины, воображающие, что все пропало, когда их мужья изредка позволяют себе согрешить на стороне, если время и место тому способствуют.

— Это относится только к мужчинам?

Я улыбнулся.

— Если вы настаиваете, я готов допустить здесь полное равноправие. Единственная разница в том, что мужчин такие мимолетные связи не задевают сколько-нибудь глубоко, а женщин задевают.

— Смотря какая женщина.

Но я упорно гнул свою линию.

— Если любовь — не страсть, значит, это не любовь, а что-то другое; а страсти, чтобы не угаснуть, нужно не удовлетворение, а преграды. Как вы думаете, почему Китс призывал влюбленного на своей греческой урне не горевать? «Навеки ты влюблен, навек она прекрасна». Почему? Да потому, что она недостижима, и, сколько бы он за ней ни гнался, она всегда будет от него ускользать. Ведь оба они вмурованы в мрамор урны, боюсь — не лучшего образца своей эпохи. Ваша любовь к Ларри и его любовь к вам была проста и естественна, как любовь Паоло и Франчески или Ромео и Джульетты. К счастью для вас, она не кончилась трагедией. Вы вышли замуж за богача, а Ларри пустился бродить по свету в поисках смысла жизни. Страсть здесь была ни при чем.

— А вы откуда знаете?

— Страсть не торгуется. Паскаль сказал, что у сердца свои доводы, не подвластные рассудку. Если я правильно его понял, смысл этих слов в том, что, когда сердцем завладевает страсть, оно находит свои доводы, не только убедительные, но безусловно доказывающие, что для любви не жаль ничего. Оно убеждает вас, что честью пожертвовать нетрудно, что и стыд — недорогая цена. Страсть пагубна. Она погубила Антония и Клеопатру, Тристана и Изольду, Парнелла и Китти О'Ши. А если она не губит, то умирает сама. И тогда приходит горестное сознание, что лучшие годы растрочены впустую, что ты навлек на себя позор, терпел лютые муки ревности, сносил самые горькие унижения, излил всю свою нежность, все богатства твоей души на потаскушку, безмозглую дуру, тень, в которой ты воплотил свою мечту и которой вся-то цена — полущка.

Еще не закончив эту тираду, я заметил, что Изабелла меня не слушает, потому что занята другими мыслями. Но ее следующий вопрос меня удивил.

— Вы как думаете, Ларри девственник?

— Дорогая моя, ему тридцать два года.

— А я в этом уверена.

— Но на каком основании?

— Такие вещи женщина угадывает безошибочно. Я знавал одного молодого человека, который несколько лет имел бешеный успех, потому что уверял одну красавицу за другой, что никогда не знал женщины. По его словам, это оказывало магическое действие.

— Можете говорить что хотите, я верю в свою интуицию.

Время шло к вечеру, Изабелла и Грэй были приглашены в гости, и ей пора было одеваться. А у меня вечер оказался свободный, и я с удовольствием прошелся по весеннему бульвару Распай. В женскую интуицию я никогда особенно не верил — очень уж часто она подсказывает то, во что им хочется верить, — и теперь, вспомнив конец нашего длинного разговора с Изабеллой, я невольно рассмеялся. А заодно мне вспомнилась Сюзанна Рувье, и я сообразил, что не видел ее уже несколько дней. Если она не занята, то, вероятно, согласится пообедать со мной и сходить в кино. Я остановил проползавшее мимо такси и дал шоферу ее адрес.

VII

Сюзанна Рувье была мною упомянута в начале этой книги. Я знал ее лет десять — двенадцать, и в то время, о котором сейчас идет речь, ей, вероятно, было под сорок. Красотой она не блистала, скорее наоборот. Высокого для француженки роста, с коротким туловищем, но длинноногая и длиннорукая, она держалась не очень ловко, словно не знала, куда девать свои длинные руки и ноги. Цвет волос она меняла как ей вздумается, но чаще всего он бывал каштановый с рыжеватым отливом. У нее было небольшое квадратное личико с резко выдающимися нарумяненными скулами и большой рот с густо накрашенными губами. Казалось бы — ничего привлекательного, но вот поди ж ты, а еще у нее была хорошая кожа, крепкие белые зубы и большие ярко-синие глаза. Глаза свои она ценила по достоинству и, чтобы еще усилить их прелесть, красила ресницы и веки. Взгляд у нее был зоркий, трезвый, дружелюбный, и неподдельное добродушие сочеталось в ней с изрядной долей бесстыдства. А бесстыдство при ее образе жизни было ей необходимо. Ее мать, вдова мелкого государственного чиновника, после смерти мужа вернулась в свою родную деревню в Анжу и жила на пенсию, а Сюзанну, когда той исполнилось пятнадцать лет, отдала в обучение портнихе в ближайшем городке, откуда она могла приезжать домой на воскресенье. И тут, во время двухнедельного отпуска, когда ей было семнадцать лет, ее соблазнил один художник, при-

ехавший в их деревню на лето писать пейзажи. Она к тому времени уже знала, что без денег ее шансы на замужество равны нулю, и когда в конце лета художник предложил увезти ее в Париж, согласилась не задумываясь. Он поселил ее у себя в студии на Монмартре, и там она провела с ним очень приятный год.

А когда год кончился, он сказал ей, что не продал ни одного холста и больше не может позволить себе такую роскошь, как любовница. Он спросил, не хочет ли она уехать на родину, а когда она ответила, что не хочет, сказал, что ее с радостью взял бы к себе другой художник, живущий в том же доме. Человек, которого он ей назвал, уже несколько раз пытался с нею заигрывать, и она его неизменно одергивала, но так добродушно и весело, что он не обижался. Он не был ей противен, так что переезд совершился вполне мирно. Было даже удобно, что не надо тратиться на такси, чтобы перевезти ее чемодан. Ее второй любовник, намного старше первого, но еще представительный и бодрый, писал ее во всевозможных позах, одетой и обнаженной, и она прожила с ним два счастливых года. Она гордилась тем, что первого настоящего успеха он добился с ее помощью, и позже показывала мне вырезанную из журнала репродукцию с картины, после которой о нем заговорили. Картину купили для одного из американских собраний. Сюзанна была изображена в натуральную величину, обнаженная и примерно в той же позе, как «Олимпия» Мане. Художник сразу усмотрел в ее фигуре нечто современное и занятное; из худощавой он сделал ее болезненно худой, еще удлинил ее длинные ноги и руки, подчеркнул выдающиеся скулы, а синим глазам придал неестественную величину. Судить о цвете по репродукции было, разумеется, невозможно, но изящество рисунка я не мог не признать. Благодаря этой картине он приобрел известность, что и позволило ему жениться на восхищавшейся им богатой вдове, и Сюзанна, искренне убежденная в том, что всякий мужчина должен думать о своем будущем, приняла конец их сердечных отношений без слова жалобы.

Но она уже знала себе цену. Ей нравилось быть близко к искусству, нравилось позировать, а после рабочего дня она с удовольствием сидела в кафе с художниками, их женами и любовницами и слушала, как они спорят о живописи, поносят торговцев и рассказывают неприличные анекдоты. И теперь, поняв, что дело идет к кон-

цу, она заранее подготовила почву. Выбор ее пал на молодого человека, не имеющего постоянной подруги и, как ей показалось, талантливом. Она улучила минуту, когда он сидел в кафе один, обрисовала ему ситуацию и без дальних слов подала ему мысль, что хорошо бы им жить вместе.

— Мне двадцать лет, я хорошая хозяйка. Я и на хозяйстве сэкономлю, и натурщице не придется платить. Ты только посмотри на свою рубашку, просто срам на что она похожа, и в студии у тебя от пыли не продохнешь. За тобой нужен женский глаз.

Он знал, что она славный малый. Ее предложение показалось ему забавным, и, поняв, что он готов согласиться, она добавила:

— В конце концов, попробовать-то можно. Если дело не пойдет, останемся с чем были.

Как художник нового толка, он писал с нее портреты сплошь из квадратов и кубов. Писал ее с одним глазом и без рта. Писал в виде геометрического чертежа в черных, коричневых и серых тонах. Писал в виде решетки из линий, сквозь которую смутно угадывалось человеческое лицо. Она прожила с ним полтора года и ушла от него по собственной воле.

— Почему? — спросил я ее. — Разве он вам не нравился?

— Да нет, он был славный мальчик. Но мне показалось, что он не движется вперед. Он стал повторяться.

Преемника она ему нашла без труда. Она осталась верна художникам.

— Я всегда была при живописи, — заявила она. — Один раз полгода жила со скульптором, но это совсем не то, сама даже не знаю почему.

Она с удовольствием вспоминала, что со всеми своими любовниками расставалась по-хорошему. Она была не только отличной натурщицей, но и отличной хозяйкой. Она наводила идеальный порядок во всех студиях, что на какое-то время служили ей жилищем, для нее это был вопрос чести. Она прекрасно стряпала и умела приготовить вкусное блюдо буквально за гроши. Она штопала своим сожителем носки и пришивала пуговицы к рубашкам.

«Хоть ты и художник, а неряхой ходить негоже».

Только раз у нее вышла осечка — с молодым англи-

чанином, самым богатым из всех ее знакомых, у него даже был автомобиль.

— Но длилось это недолго,— рассказывала она.— Он часто напивался и тогда бывал несносный. Это бы еще ладно, будь он хороший художник, но, дорогой мой, писал он безобразно. Я предупредила, что уйду от него, а он расплакался. Сказал, что любит меня. «Мой бедный друг,— сказала я ему,— любишь ты меня или нет, не имеет ровно никакого значения. Важно, что у тебя нет таланта. Уезжай-ка ты к себе в Англию и займись оптовой торговлей. На большее ты не способен».

— И что он на это сказал? — поинтересовался я.

— Вломился в амбицию и велел мне убираться вон. Но совет я ему дала правильный. Надеюсь, он меня послушался. Человек он был неплохой, но художник никудышный.

Здравый смысл и покладистый характер сильно облегчают жизненный путь женщине легкого поведения, но профессии Сюзанны, как и всякой иной профессии, присущи и взлеты, и спады. Вот, например, тот швед. Она допустила оплошность — она в него влюбилась.

— Это был юный бог,— рассказывала она.— Ростом с Эйфелеву башню, с широченными плечами, могучей грудью, а талия такая тонкая, чуть не пальцами можно обхватить, живот плоский, совсем плоский, как ладонь, и мускулы как у боксера. У него были золотые волнистые волосы и кожа цвета меда. И писал он недурно — мазок смелый, размашистый, и очень богатая палитра.

Она захотела иметь от него ребенка. Он был против, но она сказала, что всю ответственность берет на себя. «А когда ребеночек родился, сам не мог налюбоваться. Такая прелестная была крошка — волосики светлые, глаза голубые, вся в папу».

Сюзанна прожила с ним три года.

— Он был глуповат, с ним бывало скучно, но очень был милый, и уж до того красив, за это что угодно можно простить.

А потом он получил из Швеции телеграмму — отец при смерти, выезжай немедленно. Он обещал вернуться, но у нее сердце чуяло, что нет, не вернется. Он оставил ей все деньги, какие при нем были. Месяц от него не было известий, потом пришло письмо, — он писал, что отец умер, дела его оказались порядком расстроены, и он считает своим долгом остаться с матерью и пойти по сто-

пам отца — торговать лесом. Не в ее характере было предаваться отчаянию. Решив, что ребенок свяжет ей руки, она без промедления увезла дочку и десять тысяч франков к матери и препоручила то и другое ее заботам.

— У меня сердце разрывалось от горя. Я обожала девочку, но что поделаешь, приходится быть практичной.

— И что же было дальше?

— Да ничего, обошлось. Нашла себе друга.

Но потом она заболела брюшным тифом. Она всегда говорила о нем «мой брюшной тиф», как миллионер говорит «мой дом в Палм-Бич» или «мои охотничьи угодья». Она чуть не умерла, три месяца пролежала в больнице. Выписалась — кожа да кости, слабая, как мышь, а уж нервная — только и могла что плакать с утра до ночи. И никому она в то время не была нужна, позировать у нее не хватало сил, а денег осталось всего ничего.

— О-ля-ля, — сокрушенно вспоминала она, — тяжелые настали времена, что и говорить. Хорошо хоть друзья были. Но вы знаете, что такое художники, они и сами-то еле сводят концы с концами. Красавицей я никогда не была, что-то, конечно, во мне было, но это раньше, а тут и годы начали сказываться. И вот однажды, совершенно случайно, я встретила своего кубиста. Мы сколько лет не видались, он за это время успел жениться и развестись, покончил с кубизмом и заделался сюрреалистом. Он сказал, что я могу ему быть полезна и вообще одному жить плохо, предложил мне кров и еду, и, будьте уверены, я не заставила себя просить.

Сюзанна жила с ним, пока не встретила своего фабриканта. Фабриканта привел в студию один их приятель в надежде, что тот пожелает купить какую-нибудь картину бывшего кубиста, и Сюзанна, загоревшись этой мыслью, постаралась принять его как можно любезнее. В тот день он ничего не купил, но попросил разрешения еще раз зайти посмотреть картины. Зашел он через две недели, и на этот раз у нее создалось впечатление, что его интересуют не столько картины, сколько она сама. На предложение так ничего и не купив, он с излишней сердечностью пожал ей руку. На другой день тот приятель, что его привел, подстерег Сюзанну, когда она шла на рынок за провизией, и сообщил ей, что фабрикант ею пленился и просил узнать, не пообедает ли она с ним в следующий раз, когда он будет в Париже, — он хочет ей кое-что предложить.

— Что он во мне нашел, вы не знаете?

— Он увлекается современным искусством. Он видел ваши портреты. Вы его заинтриговали. Он провинциал и делец. Для него вы олицетворяете Париж — искусство, романтику, все, чего ему не хватает в Лилле.

— А он богатый? — осведомилась она с присущей ей деловитостью.

— И даже очень.

— Ладно, пообедаю с ним. Послушаю, что он скажет, от этого вреда не будет.

Он повез ее к Максиму, это ей польстило; одета она была очень строго и, глядя на окружающих женщин, чувствовала, что вполне может сойти за respectable замужнюю даму. Он заказал бутылку шампанского, чем убедил ее, что понимает светское обхождение. Когда подали кофе, он изложил ей свой план, на ее взгляд, очень похвальный. Он рассказал ей, что раз в две недели приезжает в Париж на заседание правления и по вечерам ему скучно обедать одному или, если захочется женского общества, ходить в публичный дом. Он женат, у него двое детей, и для человека с его положением это как-то неудобно. Их общий знакомый все ему про нее рассказал, он знает, что она женщина тактичная. Он уже не молод и не хочет связываться с какой-нибудь легкомысленной девчонкой. Он понемножку коллекционирует картины современной школы, и ее причастность к искусству для него не безразлична. Затем он перешел к делу. Он готов снять и обставить для нее квартиру и обеспечить ее ежемесячным доходом в две тысячи франков. Взамен за это он хотел бы раз в две недели одну ночь наслаждаться ее обществом. Сюзанна еще никогда не имела в своем распоряжении столько денег и быстро прикинула, что на такую сумму сможет не только жить и одеваться согласно требованиям своего нового положения, но и содержать дочку и кое-что отложить на черный день. Однако она ответила не сразу. Она ведь всегда состояла «при жизни», как она выражалась, и была твердо убеждена, что, становясь любовницей дельца, она себя роняет.

— *C'est à prendre ou à laisser*, — сказал он. — Ваше дело принять или отказаться.

Он не вызывал у нее отвращения, а ленточка ордена Почетного легиона доказывала, что он человек заслуженный. Она улыбнулась.

— *Je prends*, — ответила она. — Принимаю.

До этого Сюзанна всегда жила на Монмартре, но теперь, решив, что с прошлым нужно порвать, выбрала себе квартиру на Монпарнасе, у самого бульвара. Квартира эта, состоявшая из двух комнат, крошечной кухонки и ванной, помещалась на шестом этаже, но в доме был лифт. А ванная и лифт — пусть даже он вмещал всего двух человек и двигался со скоростью улитки, а спускаться надо было пешком — свидетельствовали; на ее взгляд, не только о роскоши, но и о хорошем тоне.

В первые месяцы их союза мосье Ашиль Гавен, так его звали, наезжая раз в две недели в Париж, останавливался в отеле и, проведя с Сюзанной столько часов, сколько требовалось для утоления его любовных томлений, возвращался к себе в номер и спал там в одиночестве, пока не наступало время вставать, чтобы поспеть на поезд, увозивший его к повседневным трудам и тихим радостям семейной жизни; но затем Сюзанна высказалась в том смысле, что он зря тратит деньги и что для него было бы экономнее, да и удобнее, оставаться у нее до утра. Он не мог не согласиться с ее доводами. Заботливость Сюзанны его тронула — ведь и в самом деле, ничего приятного не было в том, чтобы в холодную зимнюю ночь выходить на улицу и искать такси, — и он мысленно похвалил ее за нежелание вводить его в лишние расходы. Женщина, которая ведет счет не только своим деньгам, но и деньгам своего любовника, — хорошая женщина.

Мосье Ашиль имел все основания считать, что рассудил здраво. Обедали они обычно в каком-нибудь из дорогих монпарнасских ресторанов, но время от времени Сюзанна угощала его обедом дома, и ее стряпня неизменно приходилась ему по вкусу. В теплые вечера он обедал без пиджака в сладостном убеждении, что распутничает и приобщается к богеме. Он уже давно полюбил покупать картины, но Сюзанна настояла на том, что сама будет санкционировать каждую его покупку, и он скоро привык полагаться на ее суждение. С комиссионерами она не связывалась, а водила его прямо в студии художников, и таким образом картины обходились ему вдвое дешевле. Он знал, что она откладывает деньги, и когда она ему сказала, что каждый год прикупает немножко земли в своей родной деревне, преисполнился гордости. Всем истинным французам, считал он, свойственно желание

владеть землей, и оттого, что и ей оно оказалось не чуждо, он стал еще больше уважать ее.

Сюзанна, со своей стороны, тоже была довольна. Она и не изменяла ему, и не была верна; иными словами, она воздерживалась от долговременных связей с другими мужчинами, но, если кто приглянется, не отказывала себе в удовольствии. Однако никому не разрешалось оставаться у нее до утра. Это, по ее мнению, было бы черной неблагодарностью по отношению к богатому и почтенному человеку, которому она была обязана своим положением обеспеченной порядочной женщины.

Я познакомился с Сюзанной, когда она жила с одним художником, моим знакомым, и не раз сидел у него в студии, пока она позировала; и позже я изредка с нею встречался, но подружился мы, только когда она переехала на Монпарнас. А тогда выяснилось, что мосье Ашиль — так она всегда его называла и за глаза, и в глаза — читал в переводе кое-какие мои книги, и однажды вечером он пригласил меня отобедать с ними в ресторане. Мосье Ашиль оказался человечком небольшого роста, на голову ниже Сюзанны, с темной седеющей шевелюрой и аккуратными седыми усиками. Был он полноват и успел отрастить брюшко, но это только придавало ему солидности. Подобно многим низеньким толстякам, он на ходу высоко поднимал голову, и было очевидно, что он вполне собою доволен. Он угостил меня прекрасным обедом. Был отменно любезен. Сказал мне, как он рад, что я — старый друг Сюзанны, — сразу видно, что я человек *сomme il faut*, и он надеется, что мы с нею будем видеться и впредь. Его самого, увы, дела держат в Лилле, бедная девочка слишком много бывает одна, ему будет приятна мысль, что она общается с образованным человеком. Сам он промышленник, но всегда восхищался людьми искусства.

— Ah, mon cher monsieur, искусство и литература всегда составляли славу Франции. Так же, конечно, как и ее военная доблесть. И я, владеец фабрики шерстяных изделий, говорю без обиняков, что ставлю писателя и художника на одну доску с полководцем и государственным мужем.

Трудно вообразить чувства более благородные. Сюзанна наотрез отказалась заводить прислугу — частью из соображений экономии, частью же потому, что по известным причинам не желала, чтобы кто-то

совал нос в ее дела. Свою квартирку, обставленную в современном духе, она держала в чистоте и порядке, сама шила себе белье. Но все равно, поскольку она больше не позировала, у нее оставалось много свободного времени, и она, как женщина работающая, тяготилась этим. В какую-то минуту ее осенила мысль, почему бы ей, общавшейся со столькими художниками, и самой не попробовать свои силы в живописи? Не долго думая, она накупила холстов, кистей и красок и взялась за дело. Случалось, что, сговорившись вместе пообедать, я заходил за ней раньше условленного времени и заставлял ее в длинной блузе, погруженной в работу. Как зародыш в чреве матери повторяет все стадии развития своего вида, так Сюзанна повторяла одно за другим пристрастия своих любовников. Она писала пейзажи, как ее пейзажист, абстрактные полотна, как ее кубист, и с помощью цветных открыток парусные лодки на причале, как ее швед. Рисунком она не владела, но цвет несомненно чувствовала, и хоть картины у нее получались неважные, писать их доставляло ей огромное удовольствие.

Мосье Ашиль поощрял ее занятия живописью. Близость с художницей льстила его самолюбию. По его настоянию она послала один холст на осенний салон, и оба очень гордились тем, что картина была принята и выставлена. Он преподавал ей хороший совет.

— Не старайся писать, как мужчина, моя дорогая, — сказал он, — пиши, как женщина. Не стремись к силе, довольствуйся обаянием. И будь честной. В деловой жизни мошенничество иногда сходит с рук, но в искусстве честность — не только лучшая, но единственно возможная политика.

В то время, о котором я пишу, их связь длилась уже пять лет, к обоюдному удовлетворению.

— Он, конечно, меня не волнует, — говорила Сюзанна, — но он неглуп, он человек с весом. Я достигла того возраста, когда приходится думать о своем положении.

Она умела сочувствовать, умела понимать, и мосье Ашиль высоко ценил ее мнение. Она была вся внимание, когда он обсуждал с ней свои дела, финансовые и семейные. Она соболезнавала ему, когда его дочь провалилась на экзамене, и радовалась вместе с ним, когда его сын обручился с богатой девушкой. Сам он женился на единственной дочери человека, подвизавшегося в той же отрасли промышленности, и слияние двух конкурирующих фирм

оказалось прибыльным для обеих сторон. Его, естественно, радовало, что у его сына хватило ума понять простую истину: лучшая основа для счастливого брака — это общность деловых интересов. Он поделился с Сюзанной своей заветной мечтой выдать дочь замуж за аристократа.

— А почему бы и нет, с ее-то приданым? — сказала Сюзанна.

Свою дочь она, благодаря мосье Ашилю, смогла отдать в монастырскую школу, а после школы он обещал за свой счет послать девушку на курсы машинописи и стенографии, чтобы ей было чем заработать себе на жизнь.

— Она, когда вырастет, будет красавицей, — сказала мне Сюзанна. — Но образование и умение стучать на машинке ей не помешают. Сейчас она еще мала, трудно сказать, но у нее может не оказаться темперамента.

Со свойственной ей деликатностью она предоставила мне самому понять, что крылось за этими словами. Я понял ее как нельзя лучше.

IX

Дней через десять после того, как я столь неожиданно встретил Ларри, мы с Сюзанной как-то вечером, пообедав в ресторане и сходя в кино, сидели в кафе «Селект» на бульваре Монпарнас и тянули пиво, как вдруг он сам появился в дверях. Сюзанна ахнула и, к моему удивлению, громко его окликнула. Он подошел к нашему столику, расцеловался с ней и пожал мне руку. На ее лице было написано крайнее изумление.

— Можно к вам подсесть? — спросил он. — Я сегодня не обедал, вот решил закусить.

— До чего же я рада тебя видеть, *mon petit!* — воскликнула она. — Откуда ты взялся? Почему столько времени не подавал признаков жизни? Господи, какой ты худой! Я уж думала, может, ты умер.

— Как видишь, нет, — отвечал он с веселым блеском в глазах. — Ну, как Одетта?

Одеттой звали дочку Сюзанны.

— Растет, совсем большая стала. И хорошенькая. Она тебя помнит.

— Вы и не говорили мне, что знаете Ларри, — сказал я.

— А зачем? Я же не знала, что вы его знаете. Мы с ним старые друзья.

Ларри заказал яичницу с ветчиной. Сюзанна стала рассказывать ему о дочери, потом о себе. Он слушал ее, не прерывая, улыбаясь своей чудесной улыбкой. Она рассказала ему, что уgomонилась и занимается живописью, и тут призвала меня в свидетели.

— Правда ведь, я делаю успехи? На гениальность я не претендую, но таланта у меня не меньше, чем у многих моих знакомых художников.

— И продаешь картины? — спросил Ларри.

— Мне это не нужно, — отвечала она беспечно. — У меня есть постоянный доход.

— Счастливица.

— Скажи лучше — умница. Обязательно приходи посмотреть мои картины.

Она написала ему свой адрес на клочке бумаги и взяла с него обещание прийти. Веселая, возбужденная, она болтала без умолку. И вдруг Ларри попросил счет.

— Ты что, уходишь? — вскричала она.

— Ухожу, — улыбнулся он.

Он расплатился, помахал нам рукой и ушел. Я невольно рассмеялся. Меня всегда забавляла эта его манера — сейчас он здесь, с тобой, а через минуту, без всяких объяснений, уже исчез, точно растворился в воздухе.

— Почему он так быстро ушел? — обиженно спросила Сюзанна.

— Может быть, его ждет какая-нибудь девушка, — поддразнил я ее.

— А что, очень просто. — Она достала из сумочки пуховку и напудрилась. — Жаль мне ту женщину, которая в него влюбится. О-ля-ля.

— Почему вы так говорите?

Минуту она смотрела на меня с таким серьезным выражением, какое я редко у нее видел.

— Я сама когда-то чуть в него не влюбилась. Это все равно, что влюбиться в отражение в воде, или в солнечный луч, или в облако. Еще бы немножко... До сих пор, как вспомню, так вся дрожу, вот какая мне грозила опасность.

К черту деликатность. Не полюбопытствовать, в чем тут дело, было бы выше человеческих сил. К счастью, ни в скрытности, ни в молчаливости Сюзанну не обвинишь.

— Как вы вообще с ним познакомились? — спросил я.

— О, это было давно. Шесть, семь лет назад, не помню

точно. Одетте было лет пять. Он был знаком с Марселем, с которым я тогда жила, приходил иногда в студию и сидел, пока я позировала. Изредка приглашал нас обедать. И никогда-то, бывало, не знаешь, когда он появится. То пропадет на месяц, а то приходит три дня подряд. Марсель все звал его заходить почаще, уверял, что при нем лучше пишется. А потом меня свалил мой брюшной тиф. Очень мне туго пришлось после больницы. — Она пожала плечами. — Да это я вам уже рассказывала. Так вот однажды, когда я обошла несколько студий в поисках работы и никому не понадобилась и с утра ничего не ела, только выпила стакан молока с рогаликом, и за комнату платить было нечем, я случайно встретила его на бульваре Клиши. Он остановился, спросил, как дела, и я ему рассказала про свой брюшной тиф, а он и говорит: «Выглядишь ты неважно, подкормиться надо». И было что-то такое в его голосе и в глазах, что я не выдержала — разрыдалась.

Случилось это рядом с «Ля мер Марьетт», он взял меня за локоть, провел к столику и усадил. Я была так голодна, что, кажется, съела бы старый башмак; а когда принесли омлет, чувствую — кусок в горло не лезет. Он заставил меня немножко поесть и выпить стакан вина. Мне стало лучше, потом я и спаржи поела. Я ему все про себя рассказала. Позировать нет сил, на вид страшилице, кожа да кости, ни один мужчина на меня не польстит. Я спросила его, не даст ли он мне займы денег, уехать к себе в деревню. Там я хоть буду вместе с дочкой. Он спросил, хочется ли мне туда ехать, я говорю, что, конечно, нет. Маме я не нужна, она и сама-то еле-еле перебивается на свою пенсию при том, как все вздорожало, а те деньги, что я присылала для Одетты, давно кончились. Но если я к ней явлюсь, она скорей всего меня не выгонит, увидит, что я совсем больная. Он долго на меня смотрел, я уж думала — сейчас скажет, что выручить меня деньгами не может, а он сказал:

«Хочешь, отвезу тебя в одно местечко в деревне, и тебя и малышку? Мне и самому не мешает отдохнуть».

Я не поверила своим ушам. Сколько времени его знала, и никогда он ко мне не подъезжал.

«Ты кому это говоришь? — говорю и даже засмеялась. — Мой бедный друг, я сейчас мужчинам без надобности». А он улыбнулся. Вы замечали, какая у него удивительная улыбка? Сладкая, как мед.

«Не говори глупостей, у меня этого и в мыслях нет».

Я так плакала, что слова сказать не могла. Он дал мне денег съездить за дочкой, а потом мы втроем уехали в деревню. И в какое же место замечательное он нас привез!

Сюзанна описала мне это место. В трех милях от городка, забыл какого; они на машине приехали прямо в гостиницу. Гостиница была старенькая, стояла на реке, и лужайка тянулась от дома до самого берега. На лужайке росли платаны, они там в тени и завтракали и обедали. Летом туда приезжает много художников писать этюды, но это позже, а тогда они были единственными постояльцами. Кормили их на убой. По воскресеньям туда съезжались люди из разных мест позавтракать на воздухе, а в будни редко кто нарушал их уединение. Отдых, сытная еда и вино сделали свое дело — Сюзанна стала поправляться и не могла нарадоваться, что дочка при ней.

— А с Одеттой уж так был мил, она его обожала. Мне приходилось ее удерживать, чтобы не лезла к нему все время, но ему она как будто и не мешала. Я смеялась, на них глядя, — точно двое ребят.

— Чем же вы заполняли время? — спросил я.

— О, всегда находилось что поделывать. Брала лодку, ездили ловить рыбу, а то попросим у хозяина его «ситроен» и катим в город. Ларри там нравилось. Старые дома, площадь. Тишина такая, только и слышишь, что свои шаги по булыжнику. Там была ратуша времен Людовика Четырнадцатого и старинная церковь, а на краю города — замок с парком Ленотра. Когда сидишь в кафе на площади, кажется, что шагнула на триста лет назад, а «ситроен» у обочины как будто явился из другого мира.

После одной из таких вылазок Ларри и рассказал ей ту историю про молодого авиатора, которую я привел в начале этой книги.

— Интересно, почему он рассказал это вам, — заметил я.

— Понятия не имею. У них там во время войны был госпиталь, а на кладбище ряды и ряды маленьких крестов. Мы там побывали. Пробыли недолго — мне жутко стало, сколько их там, и все молодые. На обратном пути Ларри почти все время молчал. У него и всегда-то был плохой аппетит, а тут за обедом почти ничего не съел. Я так хорошо все это помню — вечер был чудесный, на небе звезды, мы сидели на берегу, и тополя выделялись на фоне черноты, а он курил свою трубку. И вдруг ни с того

ни с сего рассказал мне про своего друга, как тот умер, а его спас. — Сюзанна глотнула пива. — Странный он человек. Я его никогда не пойму. Он читал мне вслух. Иногда днем, когда я шила что-нибудь малышке, а то по вечерам, когда уложу ее спать.

— Что же он вам читал?

— Да разное. Письма мадам де Севинье, кое-что из Сен-Симона. Вы это можете вообразить? Я-то раньше никогда ничего не читала, только газеты да изредка какой-нибудь роман, если услышу, как его обсуждают в студии и не хочу прослыть дурой. Я понятия не имела, что читать так интересно. Эти старые писатели не так глупы, как может показаться.

— Кому это может показаться? — усмехнулся я.

— А потом он и меня заставил читать. Мы вместе читали «Федру» и «Беренику». Он читал мужские роли, а я женские. Вы себе представить не можете, как это было здорово, — добавила она простодушно. — Он на меня так странно поглядывал, когда я плакала в трогательных местах. Плакала-то я, конечно, потому, что очень была слабая. Вы знаете, эти книжки я до сих пор храню. Даже сейчас, как начну читать некоторые из писем мадам де Севинье, которые он мне читал, так и слышу его голос и вижу, как река течет медленно-медленно, и тополя на том берегу. Иногда так сердце сожмется, что не могу дальше читать... Теперь-то я знаю, это были самые счастливые недели в моей жизни. Этот человек — сущий ангел.

Сюзанна расчувствовалась и тут же испугалась (напрасно), как бы я не стал над ней смеяться. Она пожала плечами и улыбнулась.

— Вы знаете, я уже давно решила, что как достигну того возраста, когда ни один мужчина не захочет больше со мной спать, так вернусь в лоно церкви и покаюсь в грехах. Но в тех грехах, что я совершила с Ларри, ничто не заставит меня покаяться. Никогда, никогда!

— Но послушать вас, так вам и каяться не в чем.

— А я вам еще не все рассказала. Понимаете, организм у меня крепкий, а тут я все время была на воздухе, ела досыта, хорошо спала и забот не знала, так что недели через три уже была совершенно здорова. И выглядела хорошо — румянец вернулся, волосы опять стали блестеть. Я чувствовала себя на двадцать лет. Ларри каждое утро купался в реке, а я на него смотрела. У него прекрасное

тело, не такое атлетическое, как было у моего шведа, но сильное и стройности необыкновенной.

Пока я была такая слабая, он проявлял ангельское терпение, но когда я поправилась, то подумала — к чему его дольше манежить? Раза два намекнула, что я, мол, к его услугам, да он как будто не понял. Конечно, вы, англосаксы, особенные люди — грубые и в то же время сентиментальные, любовники из вас никуда, уж это точно. Ну, я и подумала: «Может, он это из деликатности. Он столько для меня сделал и девочку позволил с собой взять, может, он теперь не решается просить того, на что имеет полное право». И как-то вечером, когда мы прощались на ночь, я ему и говорю: «Хочешь, я к тебе сегодня приду?»

Я рассмеялся.

— Тут уж вы обошлись без намеков.

— К себе-то я не могла его позвать, там Одетта спала, — ответила она наивно. — Он поглядел на меня своими этими добрыми глазами, а потом улыбнулся и говорит: «Ты сама-то хочешь прийти?»

«А ты как думаешь, брезгаю?»

«Ну так приходи».

Я зашла к себе, разделась и прокралась по коридору в его комнату. Он лежал в постели, читал и курил. Когда я вошла, отложил трубку и книгу и подвинулся, чтобы дать мне место.

Сюзанна умолкла, и мне не хотелось торопить ее вопросами. Но скоро она заговорила снова.

— Странный он был любовник. Очень ласковый, даже нежный, настоящий мужчина, но не страстный, если вы можете это понять, и без тени порочности. Точно школьник. Это было немножко смешно и немножко трогательно. Уходила я с таким чувством, словно не он должен быть мне благодарен, а я ему. А закрывая дверь, я увидела, что он уже взял свою книгу и опять читает.

Я рассмеялся.

— Очень рада, что сумела вас развеселить, — сказала она мрачно. Но она не была лишена чувства юмора и сама поперхнулась смешком. — Я очень скоро убедилась, что если буду ждать приглашений, то прожду до скончания века, и потом уже, когда захочется, просто шла к нему и ложилась в постель. Он всегда принимал меня по-хорошему. В общем он был наделен нормальными человеческими инстинктами, но напоминал человека, который так занят, что забывает поесть, но если поставить перед ним

вкусную еду, съест с аппетитом. Я всегда знаю, когда мужчина в меня влюблен, и дура бы я была, если б воображала, что Ларри меня любит, но думала, он ко мне привык. В жизни приходится быть практичной, и я уже прикидывала, как было бы хорошо, если бы в Париже он взял меня к себе жить. Наверно, он и девочку мне оставит, а этого мне ужасно хотелось. Чутье мне подсказывало, что влюбиться в него было бы неразумно, вы ведь знаете, какие мы, женщины, несчастные, так часто бывает, что стоит полюбить — и сама уже не вызываешь любви, и я решила быть настороже.

Сюзанна затянулась сигаретой и выпустила дым через ноздри. Было уже поздно, почти все столики опустели, но у стойки еще кое-кто толкался.

— Однажды утром, когда я сидела на берегу с шитьем, а Одетта играла в кубики, которые он ей купил, он вышел из дому и подошел к нам.

«Хочу с тобой проститься», — сказал он.

«А ты что, уезжаешь?»

«Да».

«Как, совсем?»

«Ты теперь совершенно здорова. Вот тебе деньги — дожить лето и на первое время, когда вернешься в Париж».

Я так расстроилась, что и не знала, что сказать. Он стоял передо мной и улыбался невинно, как он умеет.

«Я тебе чем-нибудь не угодила?»

«Что ты, и не думай этого. Просто мне надо работать. Мы с тобой чудесно здесь прожили. Одетта, беги сюда, простись с дядей».

Она была маленькая, ничего не понимала. Он подхватил ее на руки и расцеловал. Потом и меня поцеловал и пошел назад в гостиницу; а через минуту слышу — машина отъехала. Я поглядела на деньги, которые держала в руке, — двенадцать тысяч франков. Все случилось так быстро, что я ничего не успела ему сказать. «Zut alors»¹, — подумала я. Счастье еще, что я не разрешила себе в него влюбиться. Но понять я, хоть убей, ничего не могла.

Мне опять стало смешно.

— Знаете ли, — сказал я, — одно время меня считали неплохим юмористом, а все потому, что я говорил людям

¹ Ну и плевать (фр.).

правду. Это казалось им так удивительно, что они думали — я шучу.

— Не вижу, при чем это.

— А при том, что Ларри, по-моему, единственный абсолютно бескорыстный человек, какого я знаю. Поэтому его поступки кажутся странными. Мы не привыкли к людям, которые что-то делают просто из любви к богу, в которого не верят.

Сюзанна в изумлении уставилась на меня.

— Мой бедный друг, не иначе, как вы выпили лишнего.

ГЛАВА ПЯТАЯ

I

Я не спешил заканчивать работу и уезжать из Парижа. Очень уж хорош он был весной, когда на Елисейских полях цвели каштаны и такой веселый свет озарял улицы. В воздухе была разлита радость, легкая, быстротечная радость, от которой походка становилась пружинистой, а мысли бежали быстрее. Я отлично себя чувствовал в обществе моих разнообразных друзей и, отдаваясь приятным воспоминаниям о прошлом, хотя бы мысленно воскрешал в себе горячность молодости. Не мог же я допустить, чтобы работа помешала этому наслаждению минутой, какого мне, возможно, уже никогда не испытать в такой полной мере.

С Грэм, Изабеллой и Ларри мы совершали экскурсии в разные интересные места, расположенные неподалеку. Побывали в Шантильи и Версале, в Сен-Жермене и Фонтенбло. Непременной частью всякой поездки был вкусный и обильный завтрак. Грэй съедал очень много, как того требовало его огромное тело, и, случалось, выпивал лишнего. Может быть, ему помогло лечение Ларри, а может быть, просто время брало свое, но он безусловно шел на поправку. Мучительные головные боли прекратились, и в глазах уже не было той грустной растерянности, что так не понравилась мне, когда я в первый раз увидел его в Париже. Говорил он мало, разве что начнет длинно и скучно о чем-нибудь рассказывать, но когда мы с Изабеллой болтали всякий вздор, часто раздражался громким одобрительным хохотом. Казалось, он всем доволен. Че-

ловец он был неинтересный, но до того незлобивый и нетребовательный, что невольно вызывал симпатию. Провести вдвоем с таким человеком вечер едва ли заманчиво, но перспектива прожить с ним бок о бок полгода не пугает.

Радовала глаз его любовь к Изабелле. Он поклонялся ее красоте, считал ее самой блестящей, самой восхитительной женщиной в мире; и трогательна была его преданность, прямо-таки собачья преданность Ларри. А Ларри тоже, видимо, был вполне доволен жизнью. У меня создалось впечатление, что эту весну он воспринимает как передышку в своих напряженных, неведомых нам исканиях и спокойно дает себе отдохнуть. Он тоже был не особенно говорлив, но это не имело значения, самое его присутствие стоило любого разговора. Он держался так просто, так приветливо и весело, что большего от него и не требовалось, и я уже тогда понимал, что именно благодаря ему нам всем так хорошо вместе. Он не острил, не старался блеснуть, но без него нам было бы скучно.

На обратном пути из одной нашей поездки я стал свидетелем сцены, глубоко меня поразившей. Мы побывали в Шартре и возвращались в Париж. Грэй вел машину, Ларри сидел рядом с ним, а Изабелла и я — сзади. Все мы устали от долгого дня. Ларри вытянул руку вдоль спинки переднего сиденья. От этого движения рукав его рубашки задрался, обнажив узкое запястье и часть загорелой руки, поросшей тонкими светлыми волосками, которые золотило вечернее солнце. Меня поразило молчание и неподвижность Изабеллы, и я взглянул на нее. Она сидела окаменев, словно загнипнотизированная, и часто дышала. Глаза ее были прикованы к этому жилистому запястью с золотыми волосками и длинным, тонким, но крепким пальцам. Я никогда не видел, чтобы на человеческом лице была написана такая неприкрытая голодная страсть. Это была маска похоти. Я бы ни за что не поверил, что прелестные черты Изабеллы способны выражать столь откровенную чувственность. Красота ее исчезла, лицо было уродливое и страшное. Оно наводило на мысль о животном, о суке в охоте, и мне стало нехорошо. Она не замечала меня, не замечала ничего, кроме этой руки, так непринужденно лежавшей на спинке сиденья и будившей в ней бешеное желание. Потом словно

судорога прошла по ее лицу, она передернулась и отодвинулась в угол машины.

— Дайте мне сигарету, — сказала она, и я с трудом узнал ее голос, такой он был грубый и хриплый.

Я дал ей закурить. Она с жадностью затянулась, а потом всю дорогу молчала.

Доехав до дому, Грэй попросил Ларри отвезти меня в гостиницу, а потом поставить машину в гараж. Ларри пересел на его место, я сел рядом. Пересекая тротуар, Изабелла взяла Грэя под руку, прижалась к нему и одарила его взглядом, которого я не видел, но о значении которого мог догадаться. Мне подумалось, что в эту ночь ложе с ним разделит очень страстная женщина, но он никогда не узнает, какими угрызениями совести вызваны ее пылкие ласки.

Июнь подходил к концу, мне пора было домой на Ривьеру. Знакомые Эллиота, собиравшиеся на лето в Америку, сдали Мэтюринам свою виллу в Динаре, и они должны были уехать туда с детьми, как только кончатся занятия в школе. Ларри оставался в Париже, но он уже присмотрел себе подержанный «ситроен» и обещал в августе приехать к ним на несколько дней погостить. В последний мой вечер в Париже я пригласил их всех пообедать.

И в этот-то вечер мы встретили Софи Макдональд.

II

Изабелла возымела желание поездить по злачным местам и, поскольку я был с ними немного знаком, выбрала меня в гиды. Меня эта идея не вдохновила, потому что в Париже завсегдатаи таких мест не скрывают своей враждебности к туристам из другого мира. Но Изабелла не слушала возражений. Я предупредил ее, что это будет очень скучно, и просил одеться попроще. После обеда мы на часок заехали в Фоли-Бержер, а потом пустились в путь. Сначала я повез их в один погребок около Нотр-Дам, где собираются бандиты со своими партнерами; я был знаком с хозяином, и он освободил нам места за длинным столом, за которым уже сидели какие-то темные личности, но я заказал вина на всю компанию, и мы дружно выпили. Было жарко, дымно и грязно. Потом я повез их в «Сфинкс», где женщины, голые под кричаще

нарядными вечерними платьями, не прикрывающими грудь, сидят в ряд друг против друга на двух скамьях, а когда заиграет оркестр, вяло танцуют парами, рыская глазами по лицам мужчин, сидящих за мраморными столиками вдоль стен. Мы заказали теплого шампанского. Некоторые из женщин, проплывая мимо нас, едва заметно подмигивали Изабелле, и мне было любопытно, понимает ли она эти знаки.

Потом мы поехали на улицу Лапп. Это узкая темная улица, где вас сразу охватывает атмосфера дешевого разврата. Мы вошли в первое попавшееся кафе. Обычный молодой человек с бледным испитым лицом колотил по клавишам, второй, старый и усталый, наяривал на скрипке, а третий извлекал нестройные звуки из саксофона. Зал был битком набит, ни одного свободного столика, но хозяин, сразу распознав в нас посетителей с деньгами, без дальних слов согнал с места какую-то парочку, пристроил их за другой столик, уже занятый, и усадил нас. Те двое, которых ради нас потеснили, обиделись и стали отпущать по нашему адресу отнюдь не лестные замечания. Танцы были в разгаре, танцевали матросы в беретах с красными помпонами, мужчины в кепи, с повязанными на шее платками, женщины зрелого возраста и совсем молоденькие, с наштукатуренными лицами, простоволосые, в коротких юбках и ярких блузках. Мужчины кружили в танце пухлых мальчиков с подведенными глазами, тощие, остролицые женщины — толстухек с крашеными волосами, были и смешанные пары. В горле першило от запаха дыма, спиртного и потных тел. Музыка звучала и звучала, и неаппетитная эта толпа, эти застывшие, блестящие от пота лица двигались по комнате с какой-то старательной торжественностью, отвратительной и страшной. Мужчины почти все были тщедушные, худосочные, лишь кое-где мелькали зверского вида верзилы. Я приглядываясь к музыкантам. Играли они так, словно были не люди, а заводные механизмы, и я подумал, неужели было время, когда они, только вступая в жизнь, мечтали стать великими исполнителями, на чьи концерты публика будет съезжаться со всех концов света? Ведь чтобы стать даже скверным скрипачом, нужно брать уроки, постоянно упражняться, значит, и этот бедняга много потрудился, а ради чего? Чтобы целыми ночами играть фокстроты в этой вонючей дыре? Музыка смолкла, пианист вытер лоб грязным носовым платком. Танцоры рассыпались, растек-

лись, расползлись по своим столикам. И вдруг мы услышали американский голос:

— Господи, это надо же!

На другом конце зала поднялась с места женщина. Ее кавалер пытался ее удержать, но она оттолкнула его и нетвердой походкой двинулась через комнату. Она была очень пьяна. Подойдя к нашему столику, она остановилась, слегка покачиваясь, с бессмысленной улыбкой на лице. Как будто смешнее нас она в жизни ничего не видела. Я оглянулся на своих спутников. Изабелла смотрела на нее, не понимая, Грэй угрюмо насупился, а Ларри словно глазам своим не верил.

— Привет,— сказала она.

— Софи,— сказала Изабелла.

— А ты думала кто? — фыркнула она и схватила за рукав пробежавшего мимо официанта.— Венсан, принеси мне стул.

— Сама принесешь,— огрызнулся он, вырываясь.

— *Salaud!* — крикнула она и плюнула в него.

— *T'en fais pas, Sophie,* — сказал крупный мужчина с густой сальной шевелюрой, сидевший за соседним столиком.— Вот тебе стул.

— Это надо же, какая встреча,— сказала она, продолжая раскачиваться.— Привет, Грэй. Привет, Ларри.— Она опустилась на стул, который пододвинул ей наш сосед.— Выпьем по этому случаю. *Patron!* — заорала она.

Хозяин уже некоторое время на нас поглядывал и подошел сразу.

— Это твои знакомые, Софи?

— *Ta gueule!* — Она рассмеялась пьяным смехом.— Друзья детства. Я их угощаю шампанским. И не вздумай поить нас какой-нибудь лошадиной мочой. Давай чего получше, чтобы не вырвало.

— Ты пьяна, моя бедная Софи.

— Поди ты к черту.

Он удалился, радуясь случаю продать бутылку шампанского — до сих пор мы предусмотрительно пили только бренди с содовой. А Софи тупо уставилась на меня.

— Это кто же еще с тобой, Изабелла?

Изабелла назвала меня.

— А-а, помню, вы когда-то приезжали в Чикаго. Тонный дядечка, да?

— Есть грех,— улыбнулся я.

Я ее совершенно не помнил, да оно и не удивитель-

но — в Чикаго я был больше десяти лет назад и столько перевидал людей и тогда, и позже.

Она была высокого роста, а стоя казалась еще выше, потому что была очень худая. На ней была ядовито-зеленая шелковая блузка, мятая и вся в пятнах, и короткая черная юбка. Волосы, коротко подстриженные и завитые, но растрепанные, отливали хной. Она была безобразно накрашена — щеки нарумянены до самых глаз, веки густо-синие; брови и ресницы слиплись от краски, губы атели помадой. А руки с ярко-розовыми ногтями были грязные. Ни одна женщина вокруг не выглядела так непристойно, и я заподозрил, что она не только пьет, но и употребляет наркотики. И все же ей нельзя было отказать в какой-то порочной привлекательности; она то и дело вызывающе вскидывала голову, и грим еще подчеркивал необычный, светло-зеленый цвет ее глаз. Даже отупев от вина, она сохраняла какую-то бесстыдную отвагу, что, вероятно, будило в мужчинах самые низменные инстинкты. Она всех нас оптом наградила издевательской улыбкой.

— Что-то я не замечаю, чтобы вы особенно радовались нашей встрече.

— Я слышала, что ты в Париже, — отозвалась Изабелла с натянутой улыбкой.

— Что ж не позвонила? Мой номер есть в справочнике.

— Мы только недавно приехали.

Грэй поспешил на выручку.

— Ну как, Софи? Хорошо проводишь здесь время?

— Чудесно. А ты, говорят, прогорел?

Он залился багровым румянцем.

— Да.

— Не повезло, значит. В Чикаго сейчас, наверно, жуткая жизнь. Хорошо, я вовремя оттуда убралась. Да что же этот сукин сын не несет выпивку?

— Вон он идет, — сказал я, заметив официанта, пробиравшегося к нам с подносом.

Услышав мой голос, она обратилась ко мне.

— Любящие мужнины родичи, так их растак, вытурили меня из Чикаго. Я, видите ли, мараю их доброе имя. — Она залилась беззвучным смехом. — Теперь я эмигрант на пособии.

Шампанское подали и разлили. Она трясущейся рукой поднесла бокал к губам.

— К черту тонную публику. — Она осушила бокал и взглянула на Ларри. — А ты нынче что-то неразговорчив.

Он все время спокойно ее рассматривал. Не отрывал от нее глаз с той минуты, как она появилась. Теперь он ласково улыбнулся.

— Я вообще не болтливой нрава.

Снова заиграла музыка, и к нашему столику подошел мужчина — среднего роста, хорошо сложенный, с блестящей шапкой спутанных черных волос, крючковатым носом и толстыми чувственными губами: этакий грешный Савонарола. Как и большинство мужчин в кафе, он был без воротничка, в узком пиджаке, стянутом в талии.

— Пошли, Софи. Потанцуем.

— Отстань. Я занята. Не видишь, что ли, я здесь с друзьями.

— J'm en fous de tes amis. Плевать я хотел на твоих друзей. Пошли танцевать.

Он потянул ее за локоть, но она вырвала руку.

— Fous-moi la paix, espèce de con! — выкрикнула она в иступлении.

— Merde.

— Mange.

Грэй не понимал, что они говорят, но Изабелла, хорошо разбиравшаяся в непечатном лексиконе, что вообще свойственно добродетельным женщинам, поняла все прекрасно, и на лице ее застыла гадливая гримаса. Мужчина занес руку с раскрытой ладонью, мозолистой ладонью рабочего, и уже готов был залепить Софи пощечину, но тут Грэй приподнялся на стуле.

— Allez-vous ong!¹ — крикнул он со своим ужасающим акцентом.

Тот замер и яростно воззрился на Грэя.

— Берегись, Коко, — горько усмехнулась Софи. — Он из тебя котлету сделает.

Мужчина одним взглядом оценил рост и вес Грэя и его огромную силу. Он хмуро пожал плечами, грязно выругался и пошел прочь. Софи захихикала. Остальные молчали. Я подлил ей шампанского.

— Живешь в Париже, Ларри? — спросила она, отставив пустой бокал.

— Пока что да.

Разговаривать с пьяными всегда трудно, особенно трезвым. Мы поболтали еще минут десять, неловко и не-

¹ Уходите! (фр.)

весело. Потом Софи отодвинулась от стола вместе со стулом.

— Пойду к своему дружку, не то он опять в бутылку полезет. Ужасный он грубиян, но мужик что надо.— Она кое-как встала на ноги.— Пока, друзья. Заходите еще. Я тут каждый вечер бываю.

Она протолкалась между танцующими и скрылась из глаз. Я чуть не рассмеялся, увидев, какое ледяное презрение выражают классические черты Изабеллы. Никто не проронил ни слова. И вдруг Изабеллу прорвало:

— Гнусное место. Пошли отсюда.

Я заплатил за наши напитки и за шампанское, которое заказала Софи, и мы двинулись к выходу. Публика танцевала, никто нас не задирал. Шел третий час, на мой взгляд — самое время ложиться спать, но Грэй заявил, что он голоден, и я предложил поехать на Монмартр к «Графу», где открыто всю ночь. Ехали мы в молчании. Я сидел рядом с Греем и показывал дорогу. Ночной ресторан сиял огнями. Кое-кто еще сидел на террасе. Мы вошли внутрь и заказали яичницу и пива. Изабелла успела прийти в себя, во всяком случае, казалась спокойной. Она чуть насмешливо поздравила меня с тем, как хорошо я знаю парижское дно.

— Сами запросились,— сказал я.

— Мне страшно понравилось. Я замечательно провела вечер.

— Черт,— сказал Грэй.— Мерзость. Да еще Софи. Изабелла равнодушно пожала плечами.

— Вы совсем ее не помните? — обратилась она ко мне.— Она сидела рядом с вами, когда вы в первый раз у нас обедали. Тогда волосы у нее не были такого ужасающего цвета. От природы она светлая шатенка.

Я стал припоминать тот вечер, и передо мной возникла совсем молоденькая девушка, у нее были зеленовато-голубые глаза, и она очень мило вскидывала головку. Некрасивая, но свеженькая и непосредственная, меня тогда позабавила в ней смесь застенчивости и лукавства.

— Ну конечно, вспомнил. Мне еще понравилось ее имя. У меня одну тетушку звали Софи.

— Она вышла замуж за Боба Макдональда.

— Славный был малый,— сказал Грэй.

— Он был поразительно красив. Никогда не понимала, что он в ней нашел. Она вышла замуж сразу после меня. Ее родители были в разводе, мать уехала в Китай

с вторым мужем, он работал в «Стандард ойл». А она жила в Марвине с родственниками отца. Мы тогда много видались, но после замужества она как-то от нас отдалась. Боб Макдональд был юристом, зарабатывал мало, они снимали дешевую квартирку на Северной стороне. Но дело не в этом. Они просто не хотели ни с кем видаться. Обожили друг друга. Даже когда уже были женаты два или три года, и ребенок у них родился, ходили в кино и сидели там обнявшись, как влюбленные. В Чикаго про них анекдоты ходили.

Ларри слушал ее молча, лицо его было непроницаемо.

— А потом? — спросил я.

— Как-то вечером они возвращались в Чикаго в своем маленьком открытом автомобиле, и ребенок был с ними. Им всюду приходилось брать его с собой, прислуги-то не было. Софи все делала по дому сама, да и вообще они в нем души не чаяли. И какая-то пьяная компания в огромной машине врезалась в них на скорости восемьдесят миль в час. Боб и ребенок были убиты на месте, а Софи отделалась сотрясением мозга и двумя сломанными ребрами. Смерть Боба и ребенка от нее скрывали, сколько можно было, но в конце концов пришлось сказать. Говорят, это было ужасно. Она чуть не лишилась рассудка. Кричала не переставая. За ней следили день и ночь, один раз ей чуть не удалось выброститься из окна. Мы, конечно, делали все, что могли, но она нас возненавидела. После больницы ее поместили в санаторий на несколько месяцев.

— Бедняжка.

— Когда ее выписали, она запила и, пьяная, путалась с кем попало. Родители Боба совсем с ней измучились. Они очень милые люди, очень тихие, ее поведение их ужасало. Сперва мы все старались ей помочь, но это было безнадежно. Пригласишь ее на обед, а она является пьяная, того и гляди, свалится без чувств. Потом она связалась с неприличной компанией, и нам пришлось от нее отступить. Один раз ее арестовали за то, что нетрезвая вела машину. С ней был какой-то итальянец, которого она подцепила в кабаке, а его, оказывается, искала полиция.

— На какие же средства она жила? — спросил я.

— Получила по страховке за Боба, и владельцы той машины, что в них врезалась, были застрахованы, от них ей тоже перепало. Но этого хватило ненадолго. Она швы-

рылась деньгами, как пьяный матрос, и через два года оказалась без гроша. Взять ее домой в Марвин бабушка отказалась. Тогда родители Боба сказали, что положат ей содержание с условием, что она уедет за границу.

— История повторяется с вариантами, — заметил я. — Было время, когда неудавшихся членов семьи отправляли с моей родины в Америку, а теперь их, видимо, отправляют с вашей родины в Европу.

— Все-таки мне ее жалко, — сказал Грэй.

— В самом деле? — сухо отозвалась Изабелла. — Мне ни капельки. Конечно, это был страшный удар, я от всей души ей сочувствовала. Мы ведь знали друг друга с детства. Но нормальные люди справляются с такими вещами. Раз она пустилась во все тяжкие, значит, у нее в натуре было что-то порочное. Она всегда была неуравновешена; даже ее любовь к Бобу была какой-то чрезмерной. Если б у нее был твердый характер, она бы так или иначе устроила свою жизнь.

— Если бы да кабы... Не слишком ли вы строги, Изабелла? — проговорил я негромко.

— Вовсе нет. Я смотрю на вещи здраво и не вижу причин проливать слезы над Софи. Видит бог, я для Грэя и девочек на все готова и, если бы они погибли в автомобильной катастрофе, я бы волосы на себе рвала от горя, но рано или поздно я бы взяла себя в руки. Разве ты не одобрил бы меня, Грэй? Или ты бы предпочел, чтобы я каждый вечер напивалась и спала с любым парижским апашем?

И тут Грэй произнес самую остроумную тираду, какую я когда-либо от него слышал.

— Разумеется, я бы предпочел, чтобы ты бросилась на мой погребальный костер в новом платье от Молинэ, но, поскольку сейчас это уже не принято, самое лучшее для тебя было бы, вероятно, пристраститься к бриджу. И, пожалуйста, помни, что нужно ходить только с козыря, если тебе не обеспечены три с половиной или четыре верных взятки.

Некстати было бы напоминать Изабелле, что ее любовь к мужу и детям, пусть вполне искреннюю, едва ли можно назвать страстной. Может быть, она прочла мою мысль в то мгновение, как я это подумал, потому что она тут же обратилась ко мне, словно вызывая на спор:

— Ну, а вы что скажете?

— Я как Грэй, мне жаль девочку.

— Какая она девочка, ей тридцать лет.

— Должно быть, для нее со смертью мужа и ребенка наступил конец света. Должно быть, ей было все равно, что с ней станет, и она бросилась вниз головой в позорный, унижительный разврат, чтобы расквитаться с жизнью, которая обошлась с ней так жестоко. До этого она жила в раю, а когда рай кончился, не могла примириться с обыкновенной землей, населенной обыкновенными людьми, и с отчаяния ринулась напрямик в пекло. Я представляю себе, что, когда у нее отняли нектар богов, она решила взамен глушить себя джином.

— Такие вещи пишут в романах. Вздор это, вы сами знаете, что вздор. Софи валяется в грязи, потому что это ей нравится. Не она первая потеряла мужа и ребенка. Не от этого она пошла по рукам. Зло из добра не родится. Оно всегда в ней сидело. До этой катастрофы она держалась в рамках, а тут показала себя во всей красе. И нечего ее жалеть. Она всегда была такая.

За все это время Ларри не проронил ни слова. Он казался невесел, и мне подумалось, что он нас почти не слушает. И вот он заговорил, но странным, тусклым голосом, точно не с нами, а с самим собой, и глаза его словно смотрели в туманную даль прошлого.

— Я ее помню, когда ей было четырнадцать лет, с длинными волосами, зачесанными со лба и перевязанными сзади черным бантом, с серьезным веснушчатым личиком. Она была скромная, благородная, мечтательная девочка. Читала все, что могла достать, и мы с ней говорили о книгах.

— Когда это? — спросила Изабелла, чуть нахмурившись.

— А когда ты со своей мамой ездила по гостям. Она ведь тогда жила у деда, я к ним приходил, и мы сидели под большим вязом возле их дома и читали друг другу вслух. Она увлекалась поэзией и сама писала стихи.

— В этом возрасте все пишут стихи. Очень плохие.

— Что и говорить, давно это было, да и я, вероятно, не мог судить о них правильно.

— Тебе тогда самому-то было лет шестнадцать, не больше.

— Конечно, все это было не свое, она явно подражала Роберту Фросту. Но, по-моему, для ее возраста стихи были замечательные. У нее был тонкий слух и хорошее чувство ритма. Она улавливала звуки и краски деревни, первое

мягкое дуновение весны и запах растрескавшейся земли после дождя.

— А я не знала, что она пишет стихи, — сказала Изабелла.

— Она это скрывала, боялась, что все вы будете над ней смеяться. Она была очень застенчивая.

— Это-то у нее прошло.

— Когда я вернулся с войны, она была почти взрослая. Успела много прочесть о положении рабочего класса и сама кое-что повидала в Чикаго. Начиталась Карла Сэндберга и как одержимая писала свободным стихом о страданиях бедняков и эксплуатации народных масс. Наверное, это было банально, но зато искренне, продиктовано состраданием и мечтой о лучшем будущем. В то время она собиралась посвятить себя общественной деятельности, отказаться от личной жизни, очень это было трогательно. Мне кажется, она на многое была способна. Была не глупа, не слезлива. В ней угадывалась на редкость чистая, возвышенная душа. В тот год мы с ней много общались.

Я заметил, что Изабелла слушает его с нарастающим раздражением. Ларри был далек от мысли, что он вонзил ей нож в сердце и каждым новым словом поворачивает его в ране. Но когда она заговорила, на губах ее играла улыбка.

— Интересно, почему она именно тебе открыла свою тайну?

Ларри поднял на нее доверчивый взгляд.

— Не знаю. Она из всех вас была самая бедная, а я был сбоку припека. Я ведь и жил там только потому, что у дяди Боба была практика в Марвине. Может быть, ей казалось, что это нас как-то сближает.

Родных у Ларри не было. У большинства из нас есть хотя бы двоюродные братья или сестры, пусть мы с ними почти не знакомы, но они дают нам почувствовать себя членами человеческой семьи. Отец Ларри был единственным сыном, мать — единственной дочерью; один из его дедов, квакер, еще молодым человеком погиб в море, у другого не было ни братьев, ни сестер. Ларри был в полном смысле слова один на свете.

— А тебе не приходило в голову, что Софи в тебя влюблена?

— Нет.

— Ну и напрасно.

— Когда Ларри вернулся с войны раненым героем, половина всех девушек в Чикаго по нем вздыхала, — грубовато-добродушно вставил Грэй.

— Тут дело было серьезнее. Она на тебя только что не молилась. И ты хочешь меня убедить, что не знал этого?

— Тогда не знал и сейчас не верю.

— Наверно, думал, что она для этого слишком возвышенная?

— Я все вспоминаю худенькую девочку с бантом в волосах и серьезным личиком и как она читала оду Китса и голос у нее дрожал от слез, потому что стихи были такие красивые. Где-то она теперь?

Изабелла чуть заметно вздрогнула и бросила на него пытливый, вопрошающий взгляд.

— Да вы знаете, который час? Я прямо валяюсь от усталости. Поехали домой.

III

На следующий вечер я отбыл голубым экспрессом на Ривьеру, а дня через три наведаясь в Антиб к Эллиоту рассказать ему парижские новости. Выглядел он плохо. Курс лечения в Монтекатине не оправдал его ожиданий, и последующие разъезды вконец его измотали. Купель он в Венеции нашел, потом махнул во Флоренцию покупать триптих, к которому уже давно приценивался. Чтобы лично присмотреть за тем, как будут размещать эти предметы, он поехал в Понтийские болота и поселился в паршивенькой гостинице, где неизменно страдал от жары. Его драгоценные покупки задержались в дороге, но он твердо решил не бросать начатое дело и дождался их. Когда все было наконец приведено в порядок, он остался очень доволен эффектом и сделал несколько снимков, которые и показал мне. Церковь, хоть и небольшая, производила величественное впечатление, а интерьер ее лишней раз подтверждал прекрасный вкус Эллиота.

— В Риме я видел саркофаг времен раннего христианства прекрасной работы, долго думал, не купить ли его, но в конце концов отказался от этой мысли.

— Чего ради вам понадобился саркофаг времен раннего христианства?

— Чтобы лечь в него, милейший. Он был очень кра-

сивый и хорошо гармонировал бы с купелью, если бы установить его с другой стороны от входа. Но эти ранние христиане были какие-то недомерки, я бы в нем не поместился. Мне не улыбалось лежать до Страшного суда, подогнув колени к подбородку, как неродившийся младенец. Очень неудобная поза.

Я рассмеялся, но Эллиот продолжал совершенно серьезно:

— Я придумал кое-что получше. Я уже договорился, правда, не без труда, но этого следовало ожидать, что меня похоронят под полом, у подножия алтарных ступеней, так что нищие крестьяне Понтийских болот, подходя к святому причастию, будут топтать над моим прахом своими грубыми башмаками. Прелестная идея, вы не находите? Просто гладкая каменная плита, и на ней мое имя и даты рождения и смерти. *Si monumentum quaeris, circumspice*. Ну, вы знаете, «если ищешь его памятник, оглянись вокруг».

— Да, Эллиот, я знаю латынь настолько, чтобы понять заезженную цитату, — съязвил я.

— Простите меня, милейший. Я так привык к вопиющему невежеству высшего общества, я просто забыл, что говорю с писателем.

Стрела попала в цель.

— Но я вот что еще хотел вам сказать, — добавил он. — В завещании у меня все написано, но вас я прошу проследить, чтобы моя воля была исполнена. Я не хочу быть погребенным на Ривьере среди всяких отставных полковников и французских буржуа.

— Разумеется, Эллиот, я выполню вашу просьбу, но мне кажется, эти разговоры можно отложить еще на много лет.

— Я, знаете ли, не молодею и, сказать вам по чести, чувствую, что пожил достаточно. Как это у Ландора... «Я руки грел...»

Память на стихи у меня плохая, но это коротенькое стихотворение я помнил:

Презрев людей, врагов я не имел,
Любил природу, в песнях славил бога.
Я у камина жизни руки грел,
Огонь погас — и мне пора в дорогу.

— Вот именно, — сказал он.

Я невольно подумал, что применить эти строки к себе

Эллиот мог лишь с большой натяжкой. Однако он тут же сказал:

— Здесь выражено в точности то, что я чувствую. Я мог бы только добавить, что всегда вращался в лучшем европейском обществе.

— Это нелегко было бы втиснуть в катрен.

— Высшее общество умерло. Одно время я надеялся, что Америка займет место Европы и создаст свою аристократию, к которой простонародье проникнется должным уважением, но с кризисом все эти надежды пошли прахом. Моя бедная родина становится безнадежно плебейской страной. Поверите ли, милейший, когда я последний раз был в Америке, один шофер такси назвал меня «братец».

Но хотя Ривьера, еще не оправившаяся от катастрофы 29-го года, была не та, что прежде, Эллиот продолжал принимать гостей и ездить в гости. Раньше он всегда сторонился евреев, делая исключение только для Ротшильдов, но теперь самые пышные приемы устраивали именно представители избранного племени, а от приглашения на пышный прием Эллиот был не в силах отказаться. Он бродил среди нарядной толпы, милостиво пожимая руки и целуя ручки, но с видом растерянной отрешенности, как монарх в изгнании, несколько смущенный тем, какие люди его окружают. А между тем монархи в изгнании отлично проводили время, и пределом их честолюбивых замыслов было знакомство с какой-нибудь звездой экрана. Это современное отношение к актерам, как к людям, с которыми встречаешься в свете, Эллиот тоже не одобрял; но одна ушедшая на покой актриса построила себе в ближайшем с ним соседстве роскошное жилище и держала открытый дом. Под ее кровом неделями жили министры, герцоги, титулованные дамы. Эллиот стал у нее частым гостем.

— Разумеется, это очень пестрое общество, — говорил он. — Но можно общаться и не со всеми, а по своему выбору. К тому же она моя соотечественница, и надо ее выручать. Я не сомневаюсь, что ее постоянным гостям приятно встречаться с человеком, с которым можно говорить на одном языке.

Порой ему так явно нездоровилось, что однажды я выразил сомнение, полезно ли ему так переутомляться.

— Дорогой мой, — возразил он, — в моем возрасте я не могу отдыхать. Я не зря пятьдесят лет вращался в

самых высоких кругах и давно убедился, что человека, который не появляется всюду, очень скоро забывают.

Понимал ли он, какое трагическое признание заключено в этих словах? У меня уже не хватало духу смеяться над Эллиотом; теперь он вызывал у меня не смех, а жалость. Он жил исключительно ради общества, званые вечера были его стихией, не получить приглашения было смертельной обидой, побыть одному было унижением, и он, теперь уже старик, пребывал в постоянном страхе.

Так прошло лето. Эллиот только и делал, что сновал взад-вперед по Ривьере: завтракал в Каннах, обедал в Монте-Карло, в промежутках умудрялся поспеть на званый чай или вечеринку с коктейлями и, несмотря на усталость, тщился быть неизменно любезным, разговорчивым, приятным. Он был в курсе всех сплетен, очередной скандал становился известен ему во всех подробностях первому, если не считать лиц, непосредственно в нем замешанных. На человека, который сказал бы ему, что его существование бессмысленно и пусто, он бы воззрился в самом искреннем изумлении. Он был бы не на шутку огорчен таким проявлением плебейства.

IV

Наступила осень, и Эллиот решил съездить в Париж — посмотреть, как там Изабелла, Грэй и дети и вообще показаться в столице. Оттуда он собирался ненадолго в Лондон, побывать у портного, а заодно навестить кое-кого из старых друзей. Я, со своей стороны, думал проехать прямо в Лондон, но он предложил довести меня до Парижа в своем автомобиле. Поездка эта приятная, и я согласился, а согласившись, решил и сам провести в Париже несколько дней. Ехали мы не торопясь, останавливались в тех местах, где хорошо кормят. У Эллиота было что-то неладно с почками, и пил он только минеральную воду «виши», но всякий раз сам выбирал для меня вино и, будучи человеком добрым, неспособным злиться на своего ближнего за то, что тот испытывает удовольствие, которого сам он лишен, искренне радовался, когда я хвалил его выбор. Мало того, он готов был взять на себя все мои дорожные расходы, но тут уж я воспротивился. Он немного надоел мне своими рассказами о великих мира сего, с которыми ему довелось общаться, но в

общем поездкой я остался доволен. Прелестны были ландшафты на нашем пути, уже тронутые красками ранней осени. Позавтракав в Фонтенбло, мы добрались до Парижа часам к четырем. Эллиот завез меня в мою скромную старомодную гостиницу, а сам свернул за угол, в «Риц».

Изабелла была предупреждена о нашем приезде, так что я не удивился, что меня ждет записка от нее, а вот содержание записки меня удивило.

«Приходите, как только приедете. Случилось что-то ужасное. Дядю Эллиота не приводите. Ради бога, приходите как можно скорее».

Я любопытен не меньше всякого другого, но для начала нужно было умыться и сменить рубашку, а потом уж я сел в такси и поехал на улицу Сен-Гильом. Меня провели в гостиную. Изабелла вскочила с места.

— Куда вы запропастились? Я вас уже сколько времени жду.

Было пять часов, и я еще не успел ответить, как явился дворецкий с чаем. Изабелла, стиснув руки, нетерпеливо на него поглядывала. Я был в полном недоумении.

— Я только что приехал. Мы засиделись за завтраком в Фонтенбло.

— Господи, как он копается, с ума можно сойти, — сказала Изабелла.

Дворецкий поставил на столик поднос с чайником, сахарницей и чашками и с убийственной неторопливостью расположил вокруг него тарелки с бутербродами, тартинками и печеньем. Наконец он ушел, притворив за собою дверь.

— Ларри женится на Софи Макдональд.

— Это кто?

— Что за дурацкий вопрос! — вскричала она, гневно сверкая глазами. — Та пьяная девка, которую мы встретили в том гнусном кафе, куда вы нас затащили. И как вас угораздило повезти нас в такое место? Грэй был возмущен.

— А-а, вы говорите о вашей чикагской приятельнице, — сказал я, пропустив мимо ушей ее незаслуженный упрек. — Как вы про это узнали?

— Как я могла про это узнать? Сам вчера явился сюда и сказал. Я с тех пор места себе не нахожу.

— Может, вы сядете, нальете мне чаю и расскажете все по порядку?

— Пожалуйста, все перед вами.

Она села к столу и с раздражением смотрела, как я наливаю себе чай. Я удобно устроился на диванчике у камина.

— Последнее время мы не так часто его видели, то есть после того как вернулись из Динара; он приезжал туда на несколько дней, но остановиться у нас не захотел, жил в отеле. Приходил на пляж, играл там с детьми. Дети его обожают. Мы играли в гольф в Сен-Бриаке. Грэй как-то его спросил, видел ли он еще Софи. Он ответил — да, видел ее несколько раз. Я спросила зачем. Он говорит — по старой дружбе. Тогда я сказала: «Я бы на твоём месте не стала тратить на нее время».

А он улыбнулся, вы знаете, как он улыбается, как будто ему кажется, что вы сказали что-то смешное, хотя это вовсе не смешно, и говорит: «Но ты не на моем месте, а на своем».

Я только пожала плечами и заговорила о чем-то другом. И не думала больше об этом. Представляете себе мой ужас, когда он пришел ко мне и сказал, что они решили пожениться.

«Нет, — сказала я. — Нет, Ларри».

«Да, — сказал он, и так спокойно, точно его спросили, поедет ли он на пикник. — И прошу тебя, Изабелла, будь с ней очень ласкова».

«Ну, знаешь, это уж слишком! — сказала я. — Ты рехнулся. Она же скверная, скверная, скверная».

— А почему вы так думаете? — перебил я.

— Пьет без просыпа, путается со всякими подонками.

— Это еще не значит, что она скверная. Сколько угодно весьма почтенных граждан и напиваются регулярно, и развратничают. Это дурные привычки, все равно как кусать ногти, но, на мой взгляд, не хуже. Скверным я называю человека, который лжет, мошенничает, в ком нет доброты.

— Если вы примете ее сторону, я вас убью.

— Как они опять свиделись с Ларри?

— Он нашел ее адрес в телефонном справочнике. Зашел к ней. Она была больна, и немудрено, при таком-то образе жизни. Он привел к ней врача, приспособил кого-то ходить за ней. С этого и пошло. Он говорит, что она бросила пить. Болван несчастный, воображает, что она излечилась.

— А вы забыли, как Ларри помог Грэю? Его-то он излечил, правда?

— Это совсем другое дело. Грэй сам хотел вылечиться. А она не хочет.

— Кто вам сказал?

— Просто я знаю женщин. Когда женщина вот так пустится во все тяжкие — кончено. Обратного дороги для таких нет. Вы что думаете, она останется с Ларри? Как бы не так, рано или поздно вырвется на волю. Это у нее в крови. Ей нужен грубый мужлан. Ее только это и волнует, только за таким она и пойдет. Ларри с нею жизни рад не будет.

— Все это очень вероятно, но я не вижу, что тут можно поделаться. Ларри идет на это с открытыми глазами.

— Я ничего не могу поделаться, а вот вы можете.

— Я?

— Вы ему нравитесь, он прислушивается к вашим словам. Вы единственный человек, который имеет на него влияние. Вы знаете жизнь. Пойдите к нему и скажите, что нельзя ему совершать такую глупость. Скажите ему, что он себя губит.

— А он мне скажет, что это не мое дело, и будет совершенно прав.

— Но вы ему симпатизируете, по крайней мере интересуетесь им, не можете вы допустить, чтобы он исковеркал свою жизнь.

— Его самый старый и самый близкий друг — это Грэй. Думаю, что и он тут бессилён, но уж если кому говорить с Ларри, так это ему.

— Да ну, Грэй, — отмахнулась она.

— А знаете, это может оказаться не так уж плохо. Я знал несколько случаев — один в Испании, два на Востоке, когда мужчины женились на проститутках. Из них получились отличные жены; они были благодарны своим мужьям за то, что те дали им прочное положение, и, уж конечно, они знали, чем угодить мужчине.

— Слушать вас тошно. Неужели вы думаете, я для того пожертвовала собой, чтобы Ларри угодил в сети закоренелой нимфоманки?

— Как это вы жертвовали собой?

— Я отказалась от Ларри исключительно потому, что не хотела ему мешать.

— Бросьте, Изабелла. Вы отказались от Ларри ради крупных брильянтов и собольего манто.

Не успел я это сказать, как в голову мне полетела тарелка с бутербродами. Тарелку я каким-то чудом пой-

мал, но бутерброды разлетелись по полу. Я встал и отнес тарелку обратно на стол.

— Ваш дядя Эллиот не поблагодарил бы вас, если бы вы разбили его тарелку из сервиза, который делали по особому заказу для третьего герцога Дорсетского, им цены нет.

— Подберите бутерброды,— цыкнула она.

— Сами подберите,— сказал я, снова усаживаясь на диван.

Она встала и, задыхаясь от бешенства, собрала с пола ломтики хлеба, намазанные маслом.

— А еще называете себя английским джентльменом,— бросила она злобно.

— Вот уж в чем неповинен. Никогда себя так не называл.

— Убирайтесь отсюда ко всем чертям. Видеть вас не могу.

— Это жаль. А мне видеть вас всегда доставляет удовольствие. Вам когда-нибудь говорили, что нос у вас в точности как у Психеи из музея в Неаполе? А ведь это одно из лучших воплощений девственной красоты. У вас чудесные ноги, длинные и стройные, я не перестаю на них дивиться, потому что, когда вы были девочкой, они были толстые и нескладные. Даже не представляю себе, как вы этого достигли.

— Железная воля и милость божия,— буркнула она.

— Но, конечно, самое обворожительное в вас — это руки. Они такие тонкие и такие изящные.

— А мне казалось, вы считаете их слишком большими.

— По вашему росту и сложению — вовсе нет. Меня всегда поражает, с какой грацией вы ими пользуетесь. Не знаю, врожденное это или приобретенное, но каждый ваш жест исполнен красоты. Иногда ваши руки напоминают цветы, иногда это летящие птицы. Они способны выразить больше, чем любые ваши слова. Они — как руки на портретах Эль Греко. Да что там, когда я смотрю на них, я готов поверить в маловероятную теорию Эллиота, будто среди ваших предков был испанский гранд.

Она подняла на меня сердитый взгляд.

— Это еще что за новости? Первый раз слышу.

Я рассказал ей про графа Лаурия и придворную даму королевы Марии, от чьих потомков по женской линии Эллиот ведет теперь свой род. Пока я говорил, Изабелла

не без самодовольства рассматривала свои длинные пальцы с блестящими розовыми ногтями.

— Все от кого-нибудь да произошло, — сказала она. Потом, скривив губы в улыбке, глянула на меня лукаво, но уже без всякой злобы и добавила: — Гнусная вы личность.

Вот как легко образумить женщину, если говорить ей правду.

— Бывают минуты, когда вы мне даже не противны, — сказала Изабелла.

Она пересела ко мне на диван, продела руку под мой локоть и потянулась поцеловать меня. Я отодвинулся.

— Не желаю, чтобы щеку мне мазали губной помадой, — сказал я. — Хотите меня поцеловать — целуйте в губы. Милосердное провидение для этого их и предназначило.

Она усмехнулась, повернула мою голову к себе и запечатлела на моих губах тонкий слой помады. Ощущение было из самых приятных.

— А теперь вы мне, может быть, скажете, что вам от меня нужно.

— Совет.

— Совет я вам дам охотно, хотя уверен, что вы его не послушаетесь. Единственное, что вы можете сделать, это смириться с неизбежным.

Она снова вскипела, отскочила от меня и плюхнулась в кресло с другой стороны от камина.

— Не буду я сидеть сложа руки и смотреть, как Ларри себя губит. Я на что угодно пойду, а не дам ему жениться на этой твари.

— Ничего у вас не выйдет. Поймите, он во власти одного из самых сильных чувств, какие могут владеть человеческим сердцем.

— Вы хотите сказать, что, по-вашему, он в нее влюблен?

— Это бы еще что.

— Так что же?

— Вы когда-нибудь читали Евангелие?

— Вероятно, читала.

— Помните, как Иисус поведен был в пустыню и постился там сорок дней и сорок ночей? Потом, когда он взалкал, к нему приступил дьявол и сказал: «Если ты сын божий, то вели этому камню сделаться хлебом». Но Иисус не поддался искушению. Тогда дьявол поставил

его на крыле храма и сказал: «Если ты сын божий, бросься отсюда вниз». Ибо ангелам было заповедано о нем. Но Иисус опять устоял. Тогда дьявол возвел его на высокую гору, и показал ему все царства мира, и сказал, что даст их ему, если он, падши, ему поклонится. Но Иисус сказал: «Отыди, сатана». На этом кончает свой рассказ добрый простодушный Матфей. Но это не конец. Дьявол был хитер. Он еще раз подступился к Иисусу и сказал: «Если ты примешь позор и поругание, удары, терновый венец и смерть на кресте, ты спасешь род человеческий, ибо нет любви выше, чем у того человека, который жизнь свою отдал за друзей своих». Иисус пал. Дьявол хохотал до колик, ибо он знал, сколько зла сотворят люди во имя своего спасителя.

Изабелла негодуяще воззрилась на меня.

— Откуда вы это взяли?

— Ниоткуда. Только что придумал.

— По-моему, это глупо и кощунственно.

— Я только хотел вам объяснить, что самопожертвование — страсть настолько всепоглощающая, что по сравнению с ней даже голод и вожделение — безделка. Она мчит своего раба к гибели в час наивысшего утверждения его личности. Предмет страсти не имеет значения: может быть, за него стоит погибать, а может быть, нет. Эта страсть пьянит сильнее любого вина, потрясает сильнее любой любви, затягивает сильнее любого порока. Жертвуя собой, человек становится выше бога, ибо как может бог, бесконечный и всемогущий, пожертвовать собой? В лучшем случае он может принести в жертву своего единственного сына.

— О господи, скука какая, — сказала Изабелла.

Я оставил ее слова без внимания.

— Неужели вы думаете, что Ларри прислушается к голосу осторожности и здравого смысла, когда он одержим такой страстью? Вы не знаете, чего он искал все эти годы. Я тоже не знаю, я только догадываюсь. Все эти годы труда, весь этот накопленный им разнообразный опыт не перетянут чашу весов теперь, когда на другую легло его желание, нет — настоятельная, жгучая потребность спасти душу падшей женщины, которую он знал невинным ребенком. Я думаю, что вы правы, я думаю, что затея его безнадежна; при его исключительно чувствительной натуре ему уготованы все муки ада; дело его жизни, в чем бы оно ни состояло, останется незавершенным. Подлый

Парис убил Ахиллеса, послав стрелу ему в пятку. Ларри лишен той беспощадности, без которой даже святой не может заработать свой нимб.

— Я его люблю, — сказала Изабелла. — Видит бог, я ничего от него не требую. Ничего не жду. Более бескорыстной любви просто не бывает. Он будет так несчастлив.

Она заплакала, и я, думая, что это ей на пользу, не стал ее утешать. Я стал лениво развлекаться той мыслью, что так неожиданно пришла мне в голову. Стал ее развивать. Как не предположить, что дьявол, окинув взором кровопролитные войны, вызванные христианством, гонения и муки, которым христиане подвергали христиан, злобу, лицемерие, нетерпимость остался доволен итогом. И вспоминая, что это он взвалил на человечество тяжкое бремя сознания своей греховности, которое замутило красоту звездной ночи и набросило грозную тень на мимолетные утехи мира, созданного для радости, он наверняка посмеивается, тихонько приговаривая: «Да, со мной шутки плохи».

Изабелла достала из сумки платок и зеркальце и осторожно приложила платок к уголкам глаз.

— Дождешься от вас сочувствия, как же, — проворчала она.

Я не ответил. Она прошлась по лицу пуховкой и подмазала губы.

— Вы сказали, что догадываетесь, чего он искал все эти годы. Чего же?

— Имейте в виду, это только догадка, очень возможно, что я ошибаюсь. Мне кажется, что он искал такой философии или, может быть, религии, которая удовлетворяла бы и его ум, и сердце.

Изабелла задумалась. Вздохнула.

— До чего же странно, что такое могло прийти в голову юному провинциалу из Марвина, штат Иллинойс!

— Не более странно, чем то, что Лютер Бэрбанк, родившийся на ферме в Массачусетсе, вывел сливы без косточек или что Генри Форд, родившийся на ферме в Мичигане, изобрел «модель Т».

— Но это практичные вещи. Это вполне в американской традиции.

Я засмеялся.

— Может ли что быть практичнее, чем научиться жить наилучшим для себя образом?

Изабелла устало опустила руки.

— Что я, по-вашему, должна сделать?

— Вы ведь не хотите окончательно потерять Ларри?
Она покачала головой.

— Вы знаете, до чего он лоялен. Если вы откажетесь иметь дело с его женой, он откажется иметь дело с вами. Если в вас есть хоть капля разума, вы подружитесь с Софи. Вы забудете прошлое и будете с ней очень-очень ласковы — вы это умеете, когда захотите. Она выходит замуж, вероятно, ей нужно купить кое-что из одежды. Почему бы вам не предложить поехать с ней по магазинам? Я думаю, она за это ухватится.

Изабелла слушала меня, прищулив глаза. Казалось, она вникает в каждое мое слово. Когда я кончил, она словно что-то взвесила про себя, но угадать ее мысли я не мог. А потом она меня удивила.

— Послушайте, пригласите ее на завтрак. Мне это не совсем удобно после того, что я вчера наговорила Ларри.

— А если я соглашусь, вы обещаете хорошо себя вести?

— Как ангел, — отвечала она с самой обворожительной своей улыбкой.

— Тогда не будем откладывать.

В комнате был телефон. Я быстро узнал номер Софи и после обычных проволочек, к которым люди, пользующиеся французским телефоном, привыкают относиться терпеливо, услышал в трубке ее голос. Я назвал себя.

— Я только что приехал в Париж, — сказал я, — и узнал, что вы с Ларри решили пожениться. Хочу вас поздравить. От души желаю счастья. — Я чуть не вскрикнул, потому что Изабелла, стоявшая рядом, преобильно ущипнула меня за палец. — Я здесь очень ненадолго и хотел пригласить вас и Ларри на послезавтра позавтракать в «Риц». Будут Грэй с Изабеллой и Эллиот Темплтон.

— Я спрошу Ларри, он здесь. — И после паузы: — Да, спасибо, с удовольствием.

Я уточнил час, добавил, чего требовала вежливость, и положил трубку. На лице Изабеллы мелькнуло выражение, немного меня насторожившее.

— О чем вы думаете? — спросил я. — Что-то мне ваше лицо не нравится.

— Жаль, а я думала, как раз мое лицо вам по вкусу.

— Уж вы не замышляете ли какую-нибудь каверзу?

Она очень широко раскрыла глаза.

— Честное слово, нет. Просто мне ужасно интересно

посмотреть, как выглядит Софи, после того как Ларри наставил ее на путь истинный. Авось она хоть не явится в «Риц» со слоем штукатурки на лице.

V

Мой маленький прием сошел недурно. Первыми приехали Грэй с Изабеллой, через пять минут после них — Ларри и Софи Макдональд. Женщины тепло расцеловались. Грэй поздравил Софи с помолвкой. Я поймал оценивающий взгляд, которым Изабелла окинула Софи с головы до ног. Сам я ужаснулся ее виду. В тот раз в кабаке на улице Лапп, безобразно покрашенная, рыжая и в ярко-зеленой кофте, она выглядела непристойно и была очень пьяна, и все-таки в ней было что-то вызывающее, какая-то низкосортная привлекательность; теперь же она казалась слинявшей и гораздо старше Изабеллы, хотя была года на два моложе. Она все так же вскидывала голову, но теперь, не знаю почему, это производило жалкое впечатление. Она перестала красить волосы, и выглядело это неряшливо, как всегда бывает, когда крашенные волосы начинают отрастать. Лицо у нее без косметики (если не считать алого мазка на губах) было нечистое и болезненно бледное. Я помнил, какими ярко-зелеными казались тогда ее глаза, теперь они как-то выцвели и поблекли. На ней было красное платье, по всему видно — с иголочки новое; туфли, шляпа и сумочка — в тон платью. Я плохо разбираюсь в женских туалетах, но мне показалось, что одета она безвкусно и слишком нарядно для такого случая. На груди у нее сверкала стекляшками искусственного золота брошь, каких много продается на улице Риволи. Рядом с Изабеллой в черных шелках, с ниткой японского жемчуга на шее, все это выглядело аляповато и дешево. Я заказал коктейли, но Ларри и Софи предупредили, что пить не будут. Тут появился и Эллиот. Однако его продвижение по огромному вестибюлю совершалось медленно: он то и дело встречал знакомых, одному пожимал руку, другой целовал ручку. Держался он так, словно «Риц» — его собственный дом и он заверяет гостей, что счастлив, что они смогли принять его приглашение. О Софи ему рассказали только то, что ее муж и ребенок погибли в автомобильной катастрофе и теперь она выходит замуж за Ларри. Добравшись наконец до нас, он поздра-

вил обоих в изысканно учтивых выражениях, на которые был мастер. Мы прошли в ресторан, и, поскольку нас было четверо мужчин и две женщины, я посадил Изабеллу и Софи друг против друга, так, чтобы Софи оказалась между мной и Грэм; стол был круглый, небольшой, удобный для общего разговора. Завтрак я заказал заранее, и тут же к нам подошел официант с карточкой вин.

— В винах вы ничего не понимаете, милейший, — сказал мне Эллиот. — Альбер, дайте карту сюда. — Он внимательно просмотрел ее. — Сам я пью только «виши», но не могу допустить, чтобы мои друзья пили не самые лучшие вина.

С Альбером, официантом по винам, они были старые друзья и после оживленного обсуждения совместно решили, какими винами мне следует угостить моих гостей. Затем Эллиот обратился к Софи:

— Куда вы думаете поехать в свадебное путешествие?

Он бросил взгляд на ее платье, и по тому, как чуть заметно дрогнули его брови, я понял, что мнение у него сложилось неблагоприятное.

— Мы поедem в Грецию.

— Я туда уже десять лет собираюсь, — сказал Ларри, — да все как-то не получалось.

— В это время года там, наверно, изумительно! — воскликнула Изабелла с наигранным восторгом.

Как и она, я сразу вспомнил, что именно в Грецию звал ее Ларри, когда хотел, чтобы она стала его женой. Провести медовый месяц в Греции было у него, по-видимому, навязчивой идеей.

Разговор не очень-то клеился, и мне пришлось бы нелегко, если б не Изабелла. Она вела себя безупречно. Всякий раз, как нам грозила опасность умолкнуть и я мучительно придумывал, о чем бы еще заговорить, она заполняла паузу легкой светской болтовней, и я мысленно благодарил ее. Софи, та вообще только отвечала, когда к ней обращались, да и то как будто с усилием. Куда девалась ее оживленность. Что-то в ней словно умерло, и я подумал, по силам ли ей напряжение, которого требует от нее Ларри. Если я не ошибся и она действительно не только пила, но и употребляла наркотики, то теперь, когда она сразу лишилась того и другого, нервы у нее, должно быть, в плачевном состоянии. Время от времени они переглядывались. В его взгляде я читал нежность и желание подбодрить, в ее глазах — трогательную мольбу.

Возможно, что Грэй его доброе сердце подсказало то же, что мне — привычка наблюдать, но только он стал рассказывать ей, как Ларри излечил его от головных болей, сделавших его инвалидом, и как он уверовал в Ларри, и скольким ему обязан.

— Теперь-то я совершенно здоров, — продолжал он. — Как только найду что-нибудь подходящее, приступаю опять к работе. У меня уже несколько зацепок есть, в одном месте вот-вот должно решиться. Ух, и хорошо будет вернуться домой.

Намерения у Грэя были самые добрые, но, пожалуй, ему не хватило такта — ведь тем же методом внушения (так я его для себя определил), который оправдал себя в случае с Грэем, Ларри, вероятно, пользовался, чтобы излечить Софи от тяжелого алкоголизма.

— А мигрени у вас совсем прекратились? — спросил Эллиот.

— Уже три месяца не было, а чуть мне покажется, что начинается, хватаюсь за свой талисман. — Он вытащил из кармана старинную монету, которую дал ему Ларри. — Я с ним не расстаюсь. Я бы его и за миллион долларов не продал.

Завтрак кончился, нам подали кофе. Тот же официант подошел спросить, потребуется ли ликер. Все отказались, только Грэй пожелал выпить рюмку коньяку. Когда бутылка появилась, Эллиот ее проверил.

— Да, это я могу рекомендовать. Это вам не повредит.

— Может быть, и мосье выпьет рюмочку? — спросил официант.

— Увы, запрещено.

Эллиот рассказал ему, что у него плохо с почками, врач категорически потребовал, чтобы он отказался от спиртного.

— Капля зубровки мосье не повредила бы. Для почек, я слышал, она даже полезна. Мы только что получили партию из Польши.

— В самом деле? Она сейчас редко попадается. Ну-ка, покажите мне бутылку.

Пока официант, дородный, представительный мужчина с серебряной цепью на шее, ходил за бутылкой, Эллиот объяснил нам, что это — польская разновидность водки, но гораздо более высокого качества.

— Мы, бывало, пили ее у Радзивиллов, когда я гостил у них во время охотничьего сезона. Видели бы вы, как эти

польские князья с ней расправлялись — стаканами пили, и ни в одном глазу, даю слово. Голубая кровь, конечно, аристократы до кончиков ногтей. Софи, вам нужно ее попробовать, и тебе тоже, Изабелла. Когда еще представится такой случай.

Бутылка появилась. Ларри, Софи и я не поддались искушению, но Изабелла выразила желание попробовать. Я удивился — обычно она пила очень умеренно, а тут уже выпила два коктейля и два-три стакана вина. Официант налил ей в рюмку бледно-зеленой жидкости. Она понюхала.

— Ой, как пахнет чудесно!

— А что я говорил! — воскликнул Эллиот. — Там в нее добавляют какие-то травы, они и дают этот тонкий букет. Пожалуй, выпью капельку, составлю тебе компанию. Один раз не страшно.

— Вкус божественный, — сказала Изабелла. — В жизни не пила такой прелести.

Эллиот поднес рюмку к губам.

— Так и вспоминается прежнее время. Вы, молодежь, никогда не гостили у Радзивиллов, вы не знаете, как люди жили. Совсем особенный стиль. Феодальный. Ничего не стоило вообразить, что вернулся в средневековье. На станции вас встречала карета шестеркой, с фореитором. За обедом за каждым стулом стоял ливрейный лакей.

Он еще долго расписывал роскошь и великолепие замка, блестящие вечера, которые там задавали, и у меня закралось подозрение, разумеется, недостойное, что все это — результат стовора между Эллиотом и официантом, позволившего ему поразглагольствовать об этой княжеской фамилии и о сборище польских аристократов, с которыми он когда-то был на короткой ноге. Он говорил, как заведенный, и вдруг предложил:

— Еще рюмочку, Изабелла?

— Ох нет, боюсь. Но вкусно до невероятия. Я так рада, что узнала про эту зубровку. Грэй, давай купим такой.

— Я распорядюсь, чтобы вам прислали несколько бутылок.

— Дядя Эллиот, неужели правда? — в упоении вскричала Изабелла. — Вы так нас балуете. Грэй, ты попробуй обязательно. Она пахнет свежим сеном, весенними цветами, тмином и лавандой, и вкус такой мягкий, нежащий, точно слушаешь музыку в лунную ночь.

Такие изливания были не в характере Изабеллы, она,

очевидно, чуть-чуть опьянела. Мы стали прощаться. Я пожал руку Софи.

— Когда же свадьба? — спросил я ее.

— Через полторы недели. Надеюсь, мы вас увидим?

— К сожалению, меня уже не будет в Париже. Я завтра уезжаю в Лондон.

Пока я прощался с остальными, Изабелла отвела Софи в сторонку и о чем-то с ней пошепталась, а потом обратилась к Грэю:

— Да, знаешь, Грэй, я еще не домой. У Молинэ показывают моды, мы с Софи туда заедем. Ей не мешает посмотреть последние модели.

— Я бы с удовольствием, — сказала Софи.

Мы расстались. Вечером я угостил обедом Сюзанну Рувье, а наутро отбыл в Англию.

VI

Через две недели, как и было намечено, Эллиот приехал в отель «Кларидж», и вскоре после этого я к нему заглянул. Он уже заказал несколько костюмов и с излишними, на мой взгляд, подробностями стал мне объяснять, какие выбрал фасоны и ткани и почему. Когда я наконец смог вставить слово, я спросил его, как прошла свадьба.

— Никак не прошла, — ответил он мрачно.

— То есть?..

— За три дня до назначенного срока Софи исчезла. Ларри всюду ее искал.

— Но это просто невероятно! Они что, поссорились?

— Ничего подобного. Все уже было готово. Я обещал быть посаженным отцом. Сразу после венчания они должны были уехать Восточным экспрессом. Если хотите знать мое мнение, Ларри счастливо отделался.

Я понял, что Изабелла рассказала ему все про Софи.

— Что же все-таки произошло? — спросил я.

— Ну так вот, вы помните тот день, когда мы были вашими гостями в «Рице». Оттуда Изабелла повезла ее к Молинэ. Вы помните, как Софи была одета? Ужас какой-то, а не платье. Вы плечи заметили? Это верный признак того, хорошо ли сшито платье, — как оно сидит в плечах. Конечно, цены у Молинэ были для нее, бедняжки, недоступны, и Изабелла, вы же знаете, какая она щедрая, да к тому же они знали друг друга с детства, сказала, что

подарит ей платье, чтобы она хоть венчаться могла в чем-то приличном. Она, конечно, возрадовалась. Ну, короче говоря, в один прекрасный день Изабелла просила ее заехать к ней в три часа, чтобы им вместе отправиться на последнюю примерку. Софи явилась вовремя, но, как на грех, Изабелле пришлось вести одну из девочек к дантисту, так что домой она вернулась только в пятом часу, а Софи к тому времени уже ушла. Изабелла подумала, что Софи надоело ждать, и она поехала к Молинэ одна, она бросилась туда, но Софи туда не приезжала. Тогда она вернулась домой. В тот день они с Ларри должны были у нее обедать. Ларри пришел вовремя, и она первым делом спросила его, где Софи.

Он очень удивился, позвонил ей домой, но никто не ответил. Он сказал, что съездит за ней. Изабелла и Грэй долго ждали их с обедом, но ни он, ни она не явились, и они пообедали вдвоем. Вы, конечно, знаете, какую жизнь вела Софи до того, как вы встретили ее на улице Лапп, очень, кстати сказать, неудачная это была затея с вашей стороны повезти их туда. Так вот, Ларри всю ночь рыскал по разным притонам, где она тогда бывала, но нигде ее не нашел. Время от времени он заглядывал к ней на дом, но консьержка говорила: нет, не была. Он три дня ее разыскивал. Как в воду канула. А на четвертый день опять пошел к ней на дом, и консьержка сказала, что она приезжала, уложила чемодан и уехала в такси.

— Как Ларри, очень был сражен?

— Я его не видел. Изабелла говорит, что в общем да.

— И она так и не написала, не дала о себе знать?

— Нет.

Я задумался.

— Как вы это объясняете? — спросил я.

— Дорогой мой, точно так же, как и вы. Не выдержала; опять сорвалась с цепи.

Это-то было ясно, и все-таки как-то загадочно. Почему она выбрала для бегства именно этот день?

— Как смотрит на все это Изабелла?

— Конечно, ей жаль, но она умница, по ее словам, она всегда считала, что для Ларри жениться на такой женщине было бы страшным несчастьем.

— А Ларри?

— Она к нему очень добра. Говорит, что с ним трудно, потому что он не желает обсуждать эту тему. Ничего, он

это переживет; Изабелла говорит, что он никогда не был влюблен в Софи. Он только потому хотел на ней жениться, что видел в этом какое-то рыцарство.

Я представил себе, как мужественно Изабелла переносит поворот событий, безусловно доставивший ей величайшее удовлетворение. Я не сомневался, что при следующей нашей встрече она мне скажет, что с самого начала знала, чем это кончится.

Но следующая наша встреча состоялась без малого через год. К тому времени я мог бы ей рассказать о Софи такое, что заставило бы ее задуматься, но обстоятельства сложились так, что у меня не было охоты рассказывать. В Лондоне я пробыл почти до рождества, а потом меня потянуло домой, и по пути на Ривьеру я не стал останавливаться в Париже. Я засел за новую книгу и несколько месяцев прожил в полном уединении. Изредка я видался с Эллиотом. Здоровье его явно ухудшалось, и меня огорчало, что он упорствует и не хочет отказаться от светской жизни. А он обижался на меня, потому что я не ездил за тридцать миль на его приемы. Я хотел сидеть дома и работать, а он уверял, что я загордился.

— Сезон выдался просто блестящий, — говорил он мне. — Запереться в четырех стенах и пропускать все самое интересное — да это просто преступление. И почему вы решили поселиться в наименее фешенебельной части Ривьеры — этого я никогда не пойму, проживи я хоть до ста лет.

Бедный, глупый Эллиот, было ясно как день, что до такого возраста ему нипочем не дожить.

К июню я вчерне закончил роман и разрешил себе отпуск. Упаковав небольшой чемодан, я сел на яхту, с которой мы летом купались в бухте Де Фосс, и поплыл вдоль берега в сторону Марселя. Бриз дул слабый, с перерывами, и мы почти все время шли под мотором. Одну ночь простояли в Каннах, другую в Сент-Максиме, третью в Санари и так добрались до Тулона. К этому порту я всегда питал особую симпатию. Корабли французского военного флота придают ему вид и романтический, и веселый, по его старым улицам я готов бродить без конца. Я могу часами слоняться по набережной, глядя, как матросы, отпущенные на берег, разгуливают парами или со своими девушками, как фланируют штатские, точно у них только и дела, что греться на солнышке. Благодаря множеству кораблей и мелких суденышек, развозящих

народ во все концы громадной гавани, Тулон кажется конечным пунктом, где сходятся дороги со всего света, и, сидя в кафе, ослепленный сверканием моря и неба, уносишься на крыльях воображения в самые дальние уголки земли. Пристаешь на баркасе к коралловой отмели с бахромой из кокосовых пальм где-то в Тихом океане: сходишь по трапу на пристань в Рангуне, где тебя ждет рикша; смотришь с верхней палубы вниз на крикливую, жестикулирующую толпу негров, пока твой пароход швартуется у мола в Порт-о-Пренсе.

Мы прибыли в Тулон незадолго до полудня, и часа в три дня я сошел на берег и не спеша зашагал по набережной, разглядывая товары в витринах, людей, попадающихся навстречу, и людей, сидящих под навесами кафе и кабачков. Вдруг я увидел Софи, и в тот же миг она увидела меня. Она улыбнулась и поздоровалась. Я остановился и пожал ей руку. Она сидела одна за столиком, а перед ней стоял пустой стакан.

— Присаживайтесь, выпьем, — сказала она.

— Я угощаю, — ответил я, опускаясь на стул.

На ней была полосатая, синяя с белым фуфайка французских матросов, ярко-красные брючки и босоножки, из которых выглядывали покрашенные ногти больших пальцев. Волосы на непокрытой голове, коротко остриженные и завитые, были цвета золота, такого бледного, что казались скорее серебряными. Намазана она была так же густо, как в тот вечер, когда мы увидели ее на улице Лапп. Судя по блюдечкам на столе, она успела пропустить не один стаканчик, но была трезвая. И как будто рада меня видеть.

— Как они там все в Париже? — спросила она.

— Да, кажется, ничего. Я их не видел с того дня, когда мы вместе завтракали в «Рице».

Она выпустила через нос целое облако дыма и рассмеялась.

— Я таки не вышла за Ларри.

— Я знаю. А почему?

— Милый мой, когда дошло до дела, я решила — нет, спасибо, не стану я разыгрывать Магдалину с таким Иисусом Христом.

— Почему вы передумали в последнюю минуту?

Она поглядела на меня с насмешкой. Задорно вскинутая голова, плоская грудь и узкие бедра, да еще этот костюм — ни дать ни взять порочный мальчишка; но надо

признать, что сейчас она была куда привлекательнее, чем в том унылом красном платье с провинциальной претензией на шик, в котором я видел ее последний раз. Лицо и шея у нее сильно загорели, и, хотя на коричневой коже румяна и наведенные черные брови выглядели особенно нагло, весь ее облик, хоть и крайне вульгарный, не лишен был известной соблазнительности.

— Рассказать?

Я кивнул. Гарсон принес мне пива, ей — бренди с зельтерской. Она закурила от окурка предыдущей сигареты.

— Я три месяца капли в рот не брала. И не курила. — Она заметила мой удивленный взгляд и рассмеялась. — Я не про сигареты. Про опиум. Чувствовала себя ужасно. Когда оставалась одна, кричала на крик. И все повторяю, бывало: «Не выдержу я этого, не выдержу». Когда Ларри был со мной, было еще терпимо, но без него это был суший ад.

Я смотрел на нее, а когда она упомянула про опиум, взгляделся внимательно и заметил суженные зрачки — признак того, что теперь-то она опиум курит. Глаза ее светились зеленым блеском.

— Изабелла заказала мне подвенечное платье. Интересно, что-то с ним случилось. Очаровательное было платье. Мы сговорились, что я за ней зайду и мы поедем к Молинэ. Что говорить, в тряпках она толк знает. Ну, пришла я к ней, а ее слуга говорит, что она повела Джоун к зубному врачу и просила передать, что скоро вернется. Я прошла в гостиную. Там еще не было убрано после кофе, и я спросила этого лакея, нельзя ли выпить чашечку. Я одним только кофе тогда и спасалась. Он сказал, что сейчас принесет, и унес пустые чашки и кофейник. А на подносе осталась бутылка. Я посмотрела на нее, оказалось — то самое польское зелье, о котором вы все толковали в «Рице».

— Зубровка. Да, помню, Эллиот обещал прислать ее Изабелле.

— Вы все тогда ахали, какой у нее аромат, и мне стало любопытно. Я вытащила пробку и понюхала. И верно, запах первый сорт. Я закурила. Тут вернулся лакей с кофе. Кофе тоже был хорош. Столько болтают про французский кофе, ну и пусть себе пьют на здоровье, мне подавай американский. Единственное, без чего я здесь скучаю. Но у Изабеллы кофе был недурен, я выпила чашку и сразу взбодрилась. Ну, сижу и смотрю на бутылку. Искушение было страшное, но я решила — к черту, не буду о ней

думать, и опять закурила. Я думала, Изабелла вот-вот вернется, но она все не шла: я стала нервничать — терпеть не могу ждать, а в комнате и почитать было нечего. Я ходила из угла в угол, рассматривала картины, а проклятая бутылка так и стоит перед глазами. Тогда я подумала — налью в рюмку и погляжу. У нее цвет был такой красивый.

— Бледно-зеленый.

— Вот-вот. Забавно, у нее цвет точно такой, как запах. Такой цвет иногда бывает в сердцевинке белой розы. Мне захотелось проверить: а вкус у нее тоже такой? Одна капля ведь не повредит, я хотела только пригубить и вдруг услышала какой-то шум, подумала, что это Изабелла, и опрокинула всю рюмку, со страха, что она меня застукает. Но это оказалась не она. Ох, и как же мне хорошо стало! Ни разу так не было с тех пор, как я зареклась пить. Почувствовала, что я живая. Если б Изабелла тогда пришла, я сейчас, наверно, была бы замужем за Ларри. Интересно, что бы из этого получилось.

— А она не пришла?

— Нет. Я на нее страшно разозлилась. Заставляет меня ждать, да за кого она меня принимает? Смотрю — рюмка опять полная; наверно, я сама и налила, но, честное слово, не заметила когда. Не выливать же ее было обратно, ну, я ее и проглотила. Что и говорить, вкус замечательный. Я точно воскресла. Хотелось смеяться. Я три месяца так себя не чувствовала. Помните, тот старичок рассказывал, что видел, как в Польше ее стаканами хлещут и не пьянеют? Ну, я и подумала, неужели же я хуже какого-то польского сукина сына, и если уж платиться, так было бы за что, выплеснула остатки кофе в камин, а чашку налила до краев. Еще говорят о каком-то нектаре — подумаешь, невидаль. Дальше я не очень помню, что было, но когда я спохватилась, в бутылке оставалось на самом доньшке. Тут я подумала, что надо смыться, пока Изабеллы нет. Она чуть меня не поймала. Только я вышла на площадку, слышу внизу голос Джоун. Я взлетела вверх по лестнице, переждала, пока они вошли в квартиру, а тогда опрометью скатилась вниз — и в такси. Велела шоферу гнать во всю мочь, а когда он спросил куда, расхохоталась ему в физиономию. Настроение у меня было — море по колено.

— И вы вернулись к себе домой? — спросил я, хотя знал ответ заранее.

— Вы что ж, думаете, я совсем уж спятила? Я же знала, что Ларри будет меня искать. Я ни в одно из своих любимых местечек не решилась толкнуться, поехала к Хакиму. Там-то, думаю, Ларри меня не найдет. И покурить хотелось.

— А что такое Хаким?

— Хаким — он алжирец и всегда может достать опиум, если есть чем заплатить. Он вам что угодно добудет — мальчика, мужчину, женщину, негра. У него всегда полдюжины алжирцев к услугам. Я провела там три дня. Не знаю уж, скольких мужчин перепробовала. — Она захихикала. — Всех цветов, размеров и видов. Наверстала, можно сказать, потерянное время. Но, понимаете, мне было страшно. В Париже я не чувствовала себя в безопасности, боялась, как бы Ларри меня не нашел, да и деньги у меня почти все вышли, ведь этим подонкам надо платить, чтобы с тобой легли. Ну, я оттуда выбралась, заехала к себе на квартиру, сунула консьержке сто франков и велела, если меня будут спрашивать, говорить, что уехала. Уложила вещи и в тот же вечер укатила поездом в Тулон. Только здесь и вздохнула свободно.

— И с тех пор все время здесь?

— Ага, и здесь останусь. Опиума — завались, его матросы привозят с Востока, и он здесь хороший, не то дерьмо, что продают в Париже. У меня комната в гостинице. «Флот и торговля», знаете? Там, если вечером зайти, все коридоры им пропахли. — Она сладострастно потянула носом. — Приторный такой запах, едкий, сразу понятно, что во всех номерах курят, и так делается уютно. И води к себе кого хочешь. В пять часов утра стучат в дверь, чтобы морячки, кому нужно на корабль, не опоздали, так что и эта забота с тебя снята. — И вдруг, без перехода: — Я видела вашу книгу в магазине здесь, на набережной. Знай я, что вас увижу, я бы ее купила и дала вам надписать.

Я и сам, проходя мимо книжного магазина, заметил в витрине среди других новинок недавно вышедший перевод одного из моих романов.

— Едва ли это было бы вам интересно, — сказал я.

— Почему это вы так решили? Я ведь умею читать.

— И писать, кажется, тоже?

Она глянула на меня и рассмеялась.

— Да, девчонкой писала стихи. Дрянь, наверно, была ужасная, но мне казалось очень красиво. Вам небось Ларри рассказал.— Она примолкла.— Жизнь-то, как ни посмотри, паршивая штука, но, уж если есть в ней капля радости, последним идиотом надо быть, чтобы ею не пользоваться.— Она вызывающе вскинула голову.— Так напишете книгу, если я куплю?

— Я завтра уезжаю. Если вам в самом деле хочется, я занесу вам экземпляр в гостиницу.

— Чего же лучше.

В это время к причалу подошел военный катер, и с него хлынула на берег толпа матросов. Софи окинула их взглядом.

— А вон и мой дружок.— Она помахала кому-то.— Можете поставить ему стаканчик, а потом катитесь. Он у меня корсиканец, ревнив до черта.

Молодой человек двинулся в нашу сторону, остановился было, увидев меня, но в ответ на приглашающий жест подошел к нашему столику. Он был высокий, смуглый, гладко выбритый, с великолепными темными глазами, орлиным носом и иссиня-черными волнистыми волосами. На вид лет двадцати, не больше. Софи представила меня как американца, друга ее детства.

— Глуп как пробка, но красив,— сказала она мне.

— Вас, я вижу, привлекает бандитский тип.

— Это вы правильно подметили.

— Смотрите, как бы вам в один прекрасный день не перерезали горло.

— Очень может быть.— Она ухмыльнулась.— Что ж, туда и дорога.

— А нельзя ли по-французски? — резко сказал матрос.

Софи обратила на него взгляд, в котором сквозила насмешка. По-французски она говорила свободно и бойко, с сильным американским акцентом, придававшим непристойностям, которыми она уснащала свою речь, неотразимо комичное звучание.

— Я ему сказала, что ты очень красивый, а сказала по-английски, щадя твою скромность.— Она повернулась ко мне.— И он очень сильный. Мускулы как у боксера. Пощупайте.

Ее лесть мгновенно растопила угрюмость матроса, и он со снисходительной улыбкой напружил руку, так что бицепсы вздулись огромными желваками.

— Пощупайте,— сказал он.— Валяйте, щупайте.

Я послушался и выразил восхищение, которого от меня ожидали. Мы еще поболтали немного, потом я расплатился и встал.

— Мне пора.

— Приятная была встреча. Не забудьте про книжку.

— Не забуду.

Я пожал им обоим руки и пошел прочь. По дороге купил свой роман и надписал на нем имя Софи и свое. Потом, поскольку ничего лучшего не пришло мне в голову, приписал первую строку прелестного стихотворения Ронсара, вошедшего во все антологии:

«Mignonne, allons voir si la rose...»¹

Я занес книгу в гостиницу. Она стояла на набережной, и я не раз там останавливался. Когда на заре вас будит рожок, сзывающий матросов обратно на корабли, солнце поднимается из мглы над водной гладью гавани и суда, окутанные перламутровой дымкой, кажутся призраками. На следующий день мы отплыли в Касси, где я закупил вина, потом в Марсель, где нужно было забрать давно заказанный новый парус. Неделю спустя я был дома.

VII

Меня ждала записка от Жозефа, лакея Эллиота, с известием, что Эллиот заболел и хотел бы меня повидать, так что на другой день я поехал в Антиб. Прежде чем провести меня наверх в спальню, Жозеф рассказал мне, что у Эллиота был приступ уремии и врач считает его состояние тяжелым. На этот раз приступ прошел и ему лучше, но почки у него серьезно поражены и полное выздоровление невозможно. Жозеф состоял при Эллиоте сорок лет и был ему верным слугой, но, хотя говорил он печально, в его манере явно чувствовалось удовольствие, что свойственно многим слугам, когда в доме стряется беда.

— *Se раувге monsieur*², — вздохнул он. — Конечно, у него были странности, но человек он был хороший. Ра-но ли, поздно ли, все умрем.

Послушать его, так Эллиот был уже при последнем издыхании.

¹ Взгляни, любимая, на розу... (фр.)

² Бедный хозяин (фр.).

— Я уверен, что он обеспечил ваше будущее, Жозеф,— сказал я сердито.

— Будем надеяться,— отозвался он скорбно.

Эллиот, к моему удивлению, выглядел молодцом. Он был бледен, очень постарел, но держался бодро. Побритый, аккуратно причесанный, он лежал в голубой шелковой пижаме, на кармашке которой была вышита его монограмма с графской короной. Та же монограмма, только крупнее, украшала уголок отвернутой на одеяло простыни.

Я справился о его самочувствии.

— Все прекрасно,— ответил он весело.— Временное недомогание, и больше ничего. Через несколько дней буду на ногах. В субботу у меня завтракает великий князь Димитрий, и я сказал моему доктору, чтобы к этому дню вылечил меня непременно.

Я провел у него полчаса и, уходя, просил Жозефа дать мне знать, если ему станет хуже. А через неделю, приехав на завтрак к одним из своих соседей, ахнул от изумления, застав его там среди других гостей. В полном параде он выглядел как живой труп.

— Не следовало бы вам выезжать, Эллиот,— сказал я.

— Глупости, милейший. Фрида пригласила принцессу Матильду, не мог же я ее подвести. Я ведь общался с итальянской королевской семьей много лет, с тех самых пор, как покойная Луиза была посланницей в Риме.

Я не знал, восхищаться ли его неукротимым духом или грустить о том, что в свои годы, достигнутый смертельной болезнью, он все еще одержим страстью к высшему свету. Никто бы и не подумал, что он болен. Как умирающий актер, загримировавшись и выйдя на сцену, забывает на время про свои схватки и боли, так Эллиот играл свою роль царедворца с привычной уверенностью. Он был бесконечно учтив, оказывал кому следует внимание, граничащее с лестью, злословил, по своему обыкновению, лукаво и беззлобно. Никогда еще, кажется, его светские таланты не проявлялись с таким блеском. Когда ее королевское высочество отбыла (а надо было видеть, как грациозно Эллиот ей поклонился, сочетая в этом поклоне почтение к ее высокому рангу и стариковское любование красивой женщиной), я не удивился, услышав, как хозяйка дома сказала ему, что он, как всегда, был душой общества.

Через несколько дней он опять слег, и врач запретил ему выходить из комнаты. Эллиот негодовал.

— Надо же было этому случиться именно теперь! Такого блестящего сезона давно не было.

И он долго перечислял мне важных персон, проводивших то лето на Ривьере.

Я навещал его раза два в неделю. Иногда он был в постели, иногда лежал в шезлонге, облаченный в роскошный халат. Этих халатов у него, как видно, был неистощимый запас — я ни разу не видел его в одном и том же. Однажды, уже в начале августа, он показался мне необычно молчаливым. Жозеф, открывая мне дверь, сказал, что ему как будто получше, и его вялость меня удивила. Я попробовал развлечь его какими-то местными сплетнями, но он не проявил к ним интереса. Брови его были озабоченно сдвинуты, выражение лица хмурое.

— Вы будете на рауте у Эдны Новомали? — спросил он неожиданно.

— Нет, конечно.

— Она вас пригласила?

— Она всю Ривьеру пригласила.

Принцесса Новомали была сказочно богатая американка, вышедшая замуж за итальянского принца, притом не рядового принца, каких в Италии пруд пруди, а главу знатного рода, потомка кондотьера, в шестнадцатом веке отхватившего себе целое княжество. Она была вдова, лет шестидесяти, и, когда фашистское правительство замахнулось на слишком большую, по ее мнению, долю ее американских доходов, уехала из Италии и построила себе возле Канн на прекрасном участке земли флорентинскую виллу. Мрамор для облицовки стен в огромных гостиных она вывезла из Италии, художников для росписи потолков тоже выписала из-за границы. Ее картины и статуи все были высшего качества, обстановка так безупречна, что это вынужден был признать даже Эллиот, не любитель итальянской мебели. Сад был очарователен, а бассейн для плавания, должно быть, обошелся в целое состояние. Дом ее вечно был полон гостей, за стол редко когда садилось меньше двадцати человек. Теперь она задумала устроить маскарад в ночь августовского полнолуния, и, хотя до него оставалось еще три недели, на Ривьере только и было разговоров что об этом празднестве. Будет фейерверк, из Парижа приедет негритянский оркестр. Монархи в изгнании с завистливым восхищением сооб-

щали друг другу, что она истратит на этот вечер больше денег, чем они могут позволить себе прожить за год.

Они говорили: «Это по-царски».

Они говорили: «Это безумие».

Они говорили: «Это безвкусица».

— Какой у вас будет костюм? — спросил меня Эллиот.

— Я же сказал вам, Эллиот, я не поеду. Не собираюсь я в мои годы нацеплять на себя маскарадный костюм.

— Она меня не пригласила, — произнес он хрипло, обратив на меня мученический взгляд.

— Пригласит, — сказал я равнодушно. — Наверно, еще не все приглашения разосланы.

— Нет, не пригласит. — Голос его сорвался. — Это умышленное оскорбление.

— Да полно вам, Эллиот. Я уверен, тут просто какой-то недосмотр.

— По недосмотру можно не позвать кого угодно, но не меня.

— Да вы и все равно не поехали бы к ней, ведь вы нездоровы.

— Обязательно поехал бы. Лучший вечер сезона! Ради такого я бы и со смертного одра поднялся. И костюм у меня есть — моего предка графа Лаурия.

Я не нашелся, что на это ответить.

— Перед вашим приходом у меня побывал Поль Бартон, — неожиданно сказал Эллиот.

Я не вправе рассчитывать, что читателю запомнился этот персонаж, — мне самому пришлось вернуться вспять, чтобы посмотреть, под каким именем я его вывел. Поль Бартон был тот молодой американец, которого Эллиот ввел в лондонское общество и который вызвал его ненависть тем, что раззнакомился с ним, когда перестал в нем нуждаться. Последнее время о нем много говорили — сперва потому, что он принял английское подданство, потом — потому что женился на дочери некоего газетного магната, получившего звание пэра. Можно было не сомневаться, что с такими связями в сочетании с собственной пробивной силой он далеко пойдет. Эллиот был вне себя.

— Всякий раз, как я просыпаюсь среди ночи и слышу, как мышь скребется за обшивкой стены, я говорю себе: «Это Поль Бартон лезет в гору». Помяните мое слово, милейший, он еще пролезет в палату лордов. Хорошо, что я до этого не доживу.

— Что ему было нужно? — спросил я, так как знал не хуже Эллиота, что этот молодой человек зря утруждать себя не станет.

— Я вам скажу, что ему было нужно, — прорычал Эллиот. — Он хотел, чтобы я дал ему надеть мой костюм графа Лаурия.

— Ну и нахальство!

— Вы понимаете, что это значит? Это значит, что он знал, что Эдна не пригласила меня и не собирается приглашать. Это она его надоумила. Старая стерва! Что бы она без меня делала? Я устраивал для нее вечера, я познакомил ее со всеми, кого она знает. Спит со своим шофером, это-то вам, конечно, известно. Гадость какая! А он тут сидел и рассказывал мне, что в саду готовится иллюминация и фейерверк будет. Я люблю фейерверки. И еще сообщил мне, что Эдну осаждают просьбами о приглашениях, но она всем отказывает, потому что хочет, видите ли, чтобы сборище было самое избранное. А обо мне как будто и речи не могло быть.

— И что же, дадите вы ему надеть ваш костюм?

— Еще чего! И не подумаю. Я в этом костюме в гроб лягу. — Эллиот сел в постели и стал раскачиваться и причитать, как женщина. — Это так жестоко. Я их ненавижу. Всех ненавижу. Когда я мог их принимать, они со мной носились, а теперь я старый, больной, никому не нужен. С тех пор как я слег, о моем здоровье и десять человек не справились и за всю эту неделю — один-единственный несчастный букет. Я ничего для них не жалел. Они ели мои обеды, пили мое вино. Я исполнял их поручения. Устраивал для них приемы. Наизнанку выворачивался, лишь бы им услужить. И что за это имею? Ничего, ничего, ничего. Им и дела нет, жив я или умер. О, как это жестоко! — Он заплакал. Крупные тяжелые слезы скатывались по морщинистым щекам. — И зачем, зачем только я уехал из Америки!

Страшное это было зрелище: старик, одной ногой в могиле, плачет, как ребенок, потому что его не пригласили на праздник, — неприличное зрелище и в то же время нестерпимо жалкое.

— Не горюйте, Эллиот, — сказал я, — может, еще в тот день будет дождь. Это ей все карты спутает.

Он ухватился за мои слова, как вошедший в поговорку утопающий за соломинку. Стал хихикать сквозь слезы.

— Об этом я не подумал. Буду теперь молиться, чтобы пошел дождь. Вы правы, это ей все карты спутает.

Мне удалось отвести его суетные мысли в другое русло, и, когда я уходил, он был если не весел, то спокоен. Но я-то не мог на этом успокоиться и, вернувшись домой, позвонил Эдне Новомали, сказал, что буду сегодня в Канах, и попросил разрешения заехать к ней позавтракать. Она велела мне передать, что будет рада меня видеть, но больше никого к завтраку не ждет. Тем не менее я застал у нее человек десять гостей. Она была неплохая женщина, щедрая и гостеприимная, единственным серьезным ее недостатком был злой язык. Даже о близких друзьях она говорила бог знает что, но делала это по глупости, не зная, как иначе обратить на себя внимание. Словечки ее передавались из уст в уста, в результате чего жертвы ее злословия переставали с ней знаться; по в доме у нее бывало весело и сытно, и, как правило, они почитали за лучшее не помнить зла. Мне не хотелось прямо обращаться к ней с просьбой пригласить Эллиота, это было бы слишком для него унижительно, и я выжидал, как повернется дело. За завтраком только и разговоров было что о предстоящих торжествах.

— Вот Эллиоту и представится случай пощеголять в своем испанском костюме, — ввернул я как мог небрежно.

— А я его не приглашала, — сказала она.

Я изобразил удивление:

— Почему?

— А чего ради? Он уже, можно сказать, вышел в тираж. Скучный человек и к тому же ужасный сноб и сплетник.

Я подумал, что это уж слишком, что она безнадежно глупа, — ведь все эти обвинения можно было с тем же успехом отнести к ней самой.

— А кроме того, — добавила она, — я хочу, чтобы его костюм надел Поль Бартон. Это будет просто боже-ственно.

Больше я ничего не сказал, но решил любимыми средствами раздобыть для бедного Эллиота желанное приглашение. После завтрака Эдна увела своих гостей в сад, и я не замедлил этим воспользоваться. Когда-то я гостил в этом доме несколько дней и помнил расположение комнат. Я не сомневался, что пригласительных карточек

осталось еще сколько угодно и что они находятся в комнате секретаря. Туда я и направился с намерением стянуть карточку и сунуть в карман, а потом вписать в нее имя Эллиота и опустить в ящик. Поехать он все равно не поедет, где уж там, ему бы только получить приглашение. Я открыл дверь и замер на пороге — секретарша Эдны сидела на своем месте, а я-то думал, что она еще в столовой. Это была немолодая шотландка по имени мисс Кейт, рыжеватая, веснушчатая, в пенсне и по виду — убежденная девственница. Я собрался с духом.

— Принцесса повела всю компанию смотреть сад, а я подумал — загляну к вам выкурить папироску.

— Милости просим.

Мисс Кейт говорила с шотландским акцентом и, когда давала волю суховатому юмору, который приберегала для избранных, подчеркивала этот акцент, так что шутки ее звучали ужасно забавно; но стоило вам рассмеяться, как она бросала на вас удивленный и обиженный взгляд, словно с вашей стороны было очень неумно усмотреть в ее словах что-то смешное.

— С этим праздником у вас, наверно, работы невпроворот, мисс Кейт, — сказал я.

— Да уж хватает, совсем с ног сбилась.

Зная, что ей можно довериться, я перешел прямо к делу.

— Почему старуха не пригласила мистера Темплтона, мисс Кейт?

Мисс Кейт разрешила своим строгим чертам на миг смягчиться улыбкой.

— Вы же ее знаете. У нее зуб на него. Она сама вычеркнула его имя из списка.

— А он ведь при смерти. Ему уже не подняться. И он глубоко уязвлен таким пренебрежением.

— Если ему хотелось сохранить с принцессой добрые отношения, не стоило ему болтать направо и налево, что она спит со своим шофером. У него жена и трое детей.

— А это правда?

Мисс Кейт глянула на меня поверх пенсне.

— Я работаю секретарем двадцать один год, сэр, и взяла за правило полагать, что все мои работодатели чисты, как первый снег. Правда, когда одна из моих знатных дам оказалась на третьем месяце в положении, притом что милорд уже шесть месяцев как охотился на львов в Африке, вера моя сильно поколебалась, но тут

она совершила коротенькую поездку в Париж — очень, надо сказать, дорогостоящую поездку, и все кончилось хорошо. И у миледи, и у меня как гора с плеч свалилась.

— Мисс Кейт, я пришел сюда не выкурить папиросу, а стащить пригласительный билет, чтобы послать его мистеру Темплтону.

— Это было бы весьма непохвально.

— Согласен. Смирдитесь, мисс Кейт, дайте мне карточку. Он не придет, а счастлив будет безмерно. Ведь вы ничего против него не имеете?

— Нет, он всегда был со мной вполне вежлив. Он настоящий джентльмен, чего нельзя сказать про большинство людей, которые являются сюда набивать себе брюхо на деньги ее высочества.

У всякой важной особы есть в подчинении кто-то, к чьим словам она прислушивается. Эти подчиненные очень чувствительны к малейшей обиде и, если обойтись с ними не так, как они, по их понятиям, того заслуживают, способны вас возненавидеть и с помощью упорных нелестных намеков настроить против вас своих патронов. Эллиот знал это как нельзя лучше, и у него всегда находилось ласковое слово и дружелюбная улыбка для бедной родственницы, старой горничной или доверенного секретаря. Я был уверен, что он частенько занимал мисс Кейт легкой светской беседой и не забывал прислать ей к рождеству коробку конфет или нарядную сумочку.

— Ну же, мисс Кейт, будьте человеком!

Мисс Кейт поправила пенсне на своем внушительном носу.

— Вы, конечно же, не хотите толкнуть меня на бесчестный поступок, мистер Моэм, не говоря уже о том, что эта старая корова даст мне расчет, если узнает, что я ее ослушалась. Карточки лежат на столе, каждая в конверте. Мне хочется поглядеть в окно — размяться, а то ноги затекли от долгого сиденья, да и просто полюбоваться видом. Ну, а за то, что делается у меня за спиной, с меня ни бог, ни человек не спросит.

Когда мисс Кейт вернулась на свое место, конверт с приглашением лежал у меня в кармане.

— Рад был повидать вас, мисс Кейт, — сказал я, протягивая ей руку. — В чем вы думаете появиться на маскараде?

— Я дочь священника, сэр, — отвечала она. — Такие легкомысленные забавы я предоставляю высшим клас-

сам. После того как я прослежу, чтобы репортеров «Геральда» и «Мейл» накормили ужином и подали им бутылку шампанского, но не самого лучшего, какое есть у нас в погребах, мои обязанности будут закончены и я удалюсь в свою спальню, где смогу без помехи насладиться детективным романом.

VIII

Дня через два, когда я снова навестил Эллиота, он весь сиял от радости.

— Вот,— сказал он.— Получил приглашение. Пришло сегодня утром.

Он достал карточку из-под подушки и показал мне.

— Я же вам говорил,— сказал я.— Ваша фамилия начинается на «т». Очевидно, секретарша только что добралась до нее.

— Я еще не ответил. Отвечу завтра.

На одно мгновение я испугался.

— Хотите, я отвечу за вас? И опущу, когда выйду.

— Нет, зачем же. Я вполне способен сам отвечать на приглашения.

К счастью, подумал я, конверт вскрыет мисс Кейт, и у нее хватит ума утаить его от Эдны. Эллиот позвонил.

— Хочу показать вам мой костюм.

— Вы что, в самом деле собираетесь ехать?

— Конечно. Я не надевал его с бала у Бьюмонтов.

На звонок явился Жозеф, и Эллиот велел ему принести костюм. Он хранился в большой плоской картонке, обернутый папиросной бумагой. Длинное белое шелковое трико, короткие панталоны из золотой парчи с разрезами, подшитыми белым атласом, такой же камзол, плащ, огромный стоячий плюшевый воротник, плоская бархатная шапка и длинная золотая цепь, с которой свисал орден Золотого руна. Я узнал роскошное одеяние Филиппа II на портрете Тициана в Прадо и, когда Эллиот сообщил мне, что это точная копия того костюма, в котором граф Лаурия присутствовал на бракосочетании испанского короля с королевой Англии, невольно подумал, что на этот раз он безусловно дал волю воображению.

На следующее утро меня позвали к телефону. Звонил Жозеф — ночью у Эллиота опять был приступ, и врач,

которого тут же вызвали, не уверен, доживет ли он до вечера. Я поехал в Антиб. Эллиот был без сознания. До сих пор он упорно отказывался от сиделки, но сейчас у его постели дежурила женщина, к счастью, присланная врачом из английской больницы, что находится между Ниццей и Болье. Я вышел из дому и послал телеграмму Изабелле. Они всей семьей проводили лето на недорогом приморском курорте Ла-Боль. Путь был не близкий, я опасался, что они уже не застанут Эллиота в живых. Если не считать двух братьев Изабеллы, которых он не видел много лет, другой родни у него не было.

Но воля к жизни была в нем сильна, — а может, подействовали лекарства, — только попозже он пришел в себя. Совершенно разбитый, он еще бодрился и для развлечения стал задавать сиделке нескромные вопросы о ее половой жизни. Я пробыл у него почти до вечера, а на следующее утро приехал опять и застал его слабым, но довольно бодрым. Сиделка впустила меня к нему совсем ненадолго. Меня беспокоило, что я не получаю ответа на свою телеграмму. Послал я ее на Париж, потому что не знал их адреса в Ла-Боль, и теперь боялся, что консьержка ее не переслала. Только через два дня они известили меня, что выезжают. Оказалось, что они, как на грех, совершали автомобильную поездку по Бретани, а телеграмма ждала их дома. Я посмотрел расписание — они могли приехать не раньше, чем через тридцать шесть часов.

Наутро Жозеф позвонил мне очень рано. Эллиот провел беспокойную ночь и требует меня. Я тотчас поехал. Жозеф встретил меня на пороге.

— Мосье не против, если я заговорю об одном деликатном деле? — сказал он мне. — Я-то, конечно, неверующий, я считаю, что вся эта религия — просто сговор духовенства, чтобы держать народ в подчинении, но мосье знает, что такое женщины. Моя жена и горничная в один голос твердят, что нашему бедному хозяину надо причаститься перед смертью, а времени, как видно, осталось мало. — Он бросил на меня смущенный взгляд. — Да и кто знает, может, оно и лучше, когда придет твой час, уладить отношения с церковью.

Я отлично понял его. Большинство французов, какие бы насмешки они себе ни позволяли, стремятся под конец помириться с религией, которая вошла им в плоть и кровь.

— И вы хотите, чтобы я с ним об этом поговорил?

— Если бы мосье был так любезен...

Задача эта мне не улыбалась, но Эллиот как-никак уже много лет был набожным католиком, так почему бы ему не выполнить предписаний своей религии? Я поднялся к нему в спальню. Он лежал на спине, бледный и изможденный, но в полном сознании. Я попросил сиделку оставить нас одних.

— Боюсь, вы серьезно больны, Эллиот,— сказал я.— Я подумал... подумал, может, вы хотите повидать священника?

С минуту он смотрел на меня молча.

— Вы хотите сказать, что я скоро умру?

— Ну что вы, будем надеяться на лучшее. Но как знать, что может случиться.

— Понимаю.

Он умолк. Очень это страшно, когда приходится говорить человеку то, что я сказал Эллиоту. Я не мог смотреть на него. Стиснул зубы, чтобы не заплакать. Я сидел на краю его постели молча, лицом к нему, оперевшись на вытянутую руку.

Он слабо похлопал меня по руке.

— Не огорчайтесь, мой дорогой. Вы же знаете, *noblesse oblige*.

Я истерически рассмеялся.

— Чудак вы, Эллиот.

— Вот так-то лучше. А теперь позвоните епископу и передайте, что я желаю исповедаться и причаститься святых тайн. Я буду ему признателен, если он пошлет ко мне аббата Шарля. Мы с ним друзья.

Аббат Шарль был старший викарий епископа, о котором я уже упоминал. Я спустился к телефону, меня соединили с самим епископом.

— Это срочно? — спросил он.

— Очень.

— Я займусь этим незамедлительно.

Приехал доктор, и я рассказал ему, что предпринял. Он вместе с сиделкой прошел к Эллиоту, а я остался ждать внизу, в столовой. Езды от Ниццы до Антиба всего двадцать минут, и немногим более чем через полчаса к подъезду подкатил черный закрытый автомобиль. В столовую заглянул Жозеф.

— *C'est Monseigneur en personne, Monsieur*, — сообщил он взволнованно.— Это сам епископ.

Я вышел его встретить. Сопровождал его почему-то не старший викарий, а совсем молодой аббат, несший шкатулку, в которой, очевидно, находились сосуды, нужные для совершения таинства. Следом шофер тащил старый черный чемодан. Епископ протянул мне руку и представил своего помощника.

— Как чувствует себя наш бедный друг?

— Он очень, очень болен, монсеньер.

— Не откажите в любезности указать нам комнату, где облачиться.

— Вот здесь столовая, монсеньер, а гостиная на втором этаже.

— Благодарю, мы устроимся в столовой.

Мы с Жозефом остались ждать в холле. Вскоре дверь отворилась, и вышел епископ, а за ним аббат нес в обеих руках потир, накрытый тарелкой, на которой лежала освященная облатка. Поверх была накинута салфетка из тончайшего, прозрачного батиста. До сих пор я видел епископа только за обеденным столом и помнил, что едок он был хоть куда, отдавал должное хорошему вину и со вкусом рассказывал анекдоты, иногда весьма рискованные. Он виделся мне как крепкий, коренастый мужчина среднего роста. Сейчас, в стихаре и епитрахили, фигура у него была не только высокая, но величественная. Его красное лицо, обычно игравшее лукавыми, хоть и не злобными улыбками, было невозмутимо и важно. В нем ничего не осталось от кавалерийского офицера, которым он некогда был; сейчас он казался тем, чем и был на самом деле, — крупным церковным сановником. Меня не удивило, что Жозеф при его появлении перекрестился. Епископ в ответ чуть заметно склонил голову.

— Проводите меня к страждущему, — сказал он.

Я хотел пропустить его вперед, но он знаком просил меня возглавить шествие. Мы поднялись по лестнице в торжественном молчании. Я вошел к Эллиоту.

— Епископ приехал сам, Эллиот.

Эллиот попытался приподняться и сесть.

— Монсеньер, на такую великую честь я не смел и надеяться.

— Лежите спокойно, друг мой. — Епископ обратился ко мне и к сиделке: — Оставьте нас. — А затем к аббату: — Я позову вас, когда кончу.

Аббат огляделся, и я понял, что он ищет, куда бы поставить потир. Я сдвинул в сторону черепаховые щетки

на туалетном столике. Сиделка ушла вниз, а я увел аббата в соседнюю комнату, служившую Эллиоту кабинетом. Раскрытые окна глядели в синее небо, он подошел к одному из них. Я сел в кресло. На море шли гонки яхт, белые паруса ослепительно сверкали на фоне лазури. Большая черная шхуна, распустив красные паруса, пробивалась в порт, борясь с бризом. Я признал в ней рыболовное судно, привозившее от берегов Сардинии омаров, дабы не оставить роскошные рестораны и казино без рыбного блюда. Из-за двери доносились приглушенные голоса. Это Эллиот исповедовался в грехах. Мне очень хотелось курить, но я боялся оскорбить чувства аббата. Он стоял неподвижно, глядя вдаль, — стройный и молодой, явно итальянец по рождению — с волнистой черной шевелюрой, прекрасными темными глазами и оливковой кожей. Во всем его облике угадывались горячие страсти юга, и я подумал, какая же неумная вера, какое жгучее желание побудило его отказаться от радостей жизни, от присущих его возрасту плотских утех и посвятить себя служению богу.

Голоса в соседней комнате внезапно смолкли, и я посмотрел на дверь. Она отворилась, появился епископ.

— Venez ¹, — сказал он аббату.

Я остался один. Снова послышался голос епископа, и я понял, что он читает отходную. Потом снова молчание — это Эллиот вкушал крови и тела Христова. Сам я не католик, но всякий раз, бывая на мессе, я испытываю чувство трепетного благоговения, должно быть унаследованное от далеких предков, когда звоночек служки возвещает, что священник поднял для обозрения святыне дары; и сейчас меня тоже пронизала дрожь, как от холодного ветра — дрожь восторга и страха. Дверь снова отворилась.

— Можете войти, — сказал епископ.

Я вошел. Аббат аккуратно накрывал батистовой салфеткой потир и золоченую тарелочку, на которой недавно лежала облатка. Глаза Эллиота сияли.

— Проводите монсеньера до его машины, — сказал он.

Мы спустились по лестнице. Жозеф и горничные ждали в холле. Женщины плакали. Их было три, и они по очереди опускались на колени и целовали перстень епис-

¹ Входите (фр.).

копа, а он благословлял их двумя пальцами. Жена Жозефа подтолкнула его, он тоже упал на колени и поцеловал перстень. Епископ едва заметно улыбнулся.

— Вы ведь неверующий, сын мой?

Жозеф явно сделал над собою усилие.

— Да, монсеньер.

— Пусть это вас не смущает. Вы были своему хозяину добрым и верным слугой. Господь не осудит вас за ваши заблуждения.

Я вышел с ним на улицу и открыл дверцу машины. Он поклонился мне, потом снисходительно улыбнулся.

— Наш бедный друг очень сдал. Недостатки его не шли глубже поверхности; он был человек большого сердца и не питал зла к своим ближним.

IX

Решив, что Эллиоту захочется побыть одному после совершенного над ним обряда, я пошел почитать в гостиную, но не успел я усесться с книгой, как пришла сиделка сказать, что он хочет меня видеть. Не знаю, что поддержало его — укол, который врач сделал ему перед приездом епископа, или волнение этой встречи, но взгляд у него был ясный, состояние спокойное и бодрое.

— Я удостоился великой чести, милейший, — сказал он. — Войду в царствие небесное с рекомендательным письмом от кардинала. Теперь там, наверно, все двери будут для меня открыты.

— Боюсь, общество покажется вам очень смешанным, — улыбнулся я.

— Не скажите, милейший. Из Священного писания нам известно, что классовые различия существуют на небесах точно так же, как на земле. Там есть серафимы и херувимы, ангелы и архангелы. В Европе я всегда вращался в лучших кругах и не сомневаюсь, что буду вращаться в лучших кругах на небе. Господь сказал: «В доме отца моего много обителей». По меньшей мере странно было бы поселить простонародье в условиях, к которым оно совершенно непривычно.

Мне подумалось, что райские кущи представляются Эллиоту в виде замка какого-нибудь барона Ротшильда — с панелями восемнадцатого века по стенам, столиками-

буль, шкафчиками-маркетри и гарнитурами времен Людовика XV, обитыми вышитым шелком.

— Поверьте мне, милейший,— продолжал Эллиот, помолчав,— никакого этого чертова равенства там не будет.

Потом он как-то сразу задремал. Я сел у его постели с книгой. Он то просыпался, то опять засыпал. В час дня сиделка зашла сказать, что Жозеф предлагает мне позавтракать. Жозеф был подавлен и тих.

— Подумать только, монсеньер епископ сам приезжал. Это он большую честь оказал нашему бедному хозяину. Вы видели, что я поцеловал его перстень?

— Видел.

— Сам бы я ни о чем этого не сделал. Но хотелось ублажить мою бедную жену.

Позавтракав, я опять поднялся к Эллиоту. Пришла телеграмма от Изабеллы — они прибудут голубым экспрессом завтра утром. Я был почти уверен, что они опоздают. Заехал врач и только покачал головой. На закате Эллиот проснулся и немножко поел. Это, видимо, придало ему сил. Он поманил меня. Голос его был едва слышен.

— Я не ответил на приглашение Эдны.

— Полно, Эллиот, не думайте сейчас об этом.

— Почему? Я всегда помнил о светских приличиях и не вижу причин забывать о них сейчас, когда я покидаю сей мир. Где эта карточка?

Она лежала на каминной полке. Я вложил ее ему в руку, но не уверен, что он видел ее.

— Почтовая бумага на столе у меня в кабинете. Принесите ее, я продиктую вам ответ.

Я принес из соседней комнаты бумагу и бювар и сел у его постели.

— Готовы?

— Да.

Глаза его были закрыты, но губы скривились в озорной усмешке, и я ждал любого сюрприза.

— «Мистер Темплтон сожалеет, что не может принять любезное приглашение принцессы Новомали, будучи связан более ранней договоренностью со своим Спасителем».

Последовал смешок, призрачный, чуть слышный. Лицо его заливала жуткая синяя бледность, от него исходил тошнотворный запах, характерный для его болезни. Бед-

ный Эллиот, он так любил опрыскивать себя духами от Шанель и Молине! Он все еще держал в руке похищенную мною карточку, я подумал, что она ему мешает, и попробовал отнять ее, но пальцы его сжались крепче. Я даже вздрогнул, когда он произнес совсем отчетливо:

— Старая стерва.

Это были его последние слова. Он впал в кому. Сиделка, продежурившая у него всю предыдущую ночь, валилась с ног, и я отправил ее поспать, сказав, что не засну и позову ее, если понадобится. Делать и правда было уже нечего. Я зажег лампу под темным колпаком и читал, пока не заболели глаза, а тогда погасил свет и сидел в темноте. Ночь была теплая, окна стояли настежь. Через равные промежутки времени комнату слабо озаряли вспышки маяка. Луна, которой предстояло, набрав полную силу, воссиять над шумным мишурным весельем маскарада у Эдны Новомали, зашла, и в иссиня-черном небе устрашающе ярко горели бесчисленные звезды. Вероятно, я задремал, но чувства мои не спали, и внезапно меня привел в сознание сердитый, нетерпеливый звук, самый страшный звук, какой можно услышать, — предсмертный хрип. Я подошел к постели и при вспышке маяка пощупал у него пульс. Эллиот был мертв. Я зажег лампу у изголовья и посмотрел на него. Челюсть у него отвисла. Глаза были открыты, и, прежде чем их закрыть, я заглянул в них. Я был глубоко взволнован, кажется, по щекам у меня скатилось несколько слез. Старый, добрый друг. Грустно было вспомнить, как глупо, без пользы и без смысла он прожил свою жизнь. Какое теперь имеет значение, что он побывал на стольких званых вечерах, знал ся с графами, князьями и герцогами? Они уже сейчас о нем забыли.

Будить умученную сиделку не было смысла, и я вернулся в свое кресло у окна. В семь часов, когда она вошла в комнату, я спал. Я оставил на нее то, что еще требовалось сделать, выпил кофе и поехал на вокзал встречать Изабеллу и Грэя. Я сообщил им о смерти Эллиота и предложил остановиться у меня, поскольку в его доме мало места, но они предпочли гостиницу. А я уехал к себе, чтобы принять ванну, побриться и переодеться.

Вскоре мне позвонил Грэй сказать, что имеется письмо Эллиота на мое имя, — оно хранилось у Жозефа. По-

скольку в письме могло оказаться что-нибудь, предназначенное только для моих глаз, я сказал, что приеду немедленно, и таким образом меньше чем через час уже опять вошел в дом Эллиота. В письме с надписью «Вручить тотчас после моей смерти» содержались указания касательно его похорон. Я знал, что его заветное желание — покоиться в построенной им церкви, и уже успел сказать об этом Изабелле. Кроме того, он желал быть набальзамированным и назвал специалистов, которым следовало поручить это ответственное дело. «Я навел справки, писал он далее, и узнал, что работают они превосходно. Доверяю вам проследить, чтобы не было допущено халтуры. Одетым я желаю быть в костюме моего предка графа Лаурия, с его мечом на боку и с орденом Золотого руна на груди. Выбор гроба оставляю на ваше усмотрение. Что-нибудь без претензий, но соответствующее моему положению. Чтобы никому не доставлять лишних хлопот, прошу перевозку моих останков поручить компании «Томас Кук и сын», и они же пусть выделяют своего человека для сопровождения гроба к месту вечного упокоения».

Я вспомнил, что Эллиот и раньше говорил о своем намерении лечь в гроб в маскарадном костюме, но в то время счел это минутной фантазией. Однако Жозеф твердил, что волю покойного необходимо исполнить, да, в конце концов, почему бы и нет? И вот, когда тело набальзамировали, мы с Жозефом отправились обряжать его в это нелепое одеяние. Гнусная то была работа. Мы засунули его длинные ноги в белое шелковое трико, натянули поверх парчовые панталоны. Труднее всего оказалось продеть руки в рукава камзола. Мы застегнули на нем огромный плюшевый воротник, на плечи приладили атласный плащ. И, наконец, надели ему на голову плоскую бархатную шапку, а на шею повесили орден Золотого руна. Бальзамировщики нарумянили ему щеки и подкрасили губы. Костюм был широк для его иссохшего тела, и выглядел он как хорист в одной из ранних опер Верди. Печальный Дон Кихот, борец за пустое дело. Когда его положили в гроб, я пристроил бутафорский меч у него между ног, а руки сложил на эфесе — так мне запомнилось скульптурное надгробие какого-то крестоносца.

Изабелла и Грэй поехали на похороны в Италию.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

I

Считаю своим долгом предупредить читателя, что он спокойно может пропустить эту главу, не потеряв сюжетной нити, которую мне еще предстоит дотянуть. Глава эта — почти целиком пересказ разговора, который у меня состоялся с Ларри. Впрочем, должен добавить, что, если бы не этот разговор, я бы, возможно, вообще не стал писать эту книгу.

II

В ту осень, месяца через три после смерти Эллиота, я по дороге в Англию провел неделю в Париже. Изабелла и Грэй из своего невеселого путешествия в Италию вернулись в Бретань, а теперь опять жили в квартире Эллиота на улице Сен-Гильом. Изабелла рассказала мне про его завещание. Он отказал церкви, которую построил, определенную сумму денег на панихиды за упокой его души и еще сумму — на содержание самой церкви. Щедрое давание на благотворительные цели получил епископ в Ницце. Мне досталось несколько двусмысленное наследство: его собрание порнографических книг восемнадцатого столетия и прекрасный рисунок Фрагонара — сатир и нимфа, занятые делом, которое обычно совершается без свидетелей. Повесить такой рисунок на стену нельзя — слишком неприличен, а упиваться непристойностями в одиночестве не в моем характере. Он хорошо позаботился о своих слугах. Двум племянникам завещал по 10 000 долларов, а все остальное — Изабелле. Сколько именно — она не сказала, а я не спросил, но, судя по ее довольному тону, наследство она получила немалое.

Грэй уже давно, с тех пор как восстановилось его здоровье, рвался в Америку, к работе, и Изабелла, хоть ей и неплохо жилось в Париже, заразилась его нетерпением. Он уже налаживал связи со старыми деловыми знакомыми, но самое интересное место из тех, что ему предлагали, могло быть ему предоставлено лишь при условии крупного вступительного взноса. До сих пор у него таких денег не было, теперь же, со смертью

Эллиота, Изабелла легко могла уделить их из своего капитала, и Грэй, заручившись ее одобрением, вступил в переговоры с тем расчетом, чтобы, если перспективы действительно окажутся хороши, поехать в Америку и изучить ситуацию на месте. Но до этого им еще много чего предстояло сделать. Нужно было договориться с французским казначейством относительно налога на наследство. Нужно было продать дом в Антибе и распорядиться парижской квартирой. Нужно было устроить в отеле Друо распродажу с аукциона мебели Эллиота, его картин и рисунков. Они представляли большую ценность, и имело смысл подождать до весны, когда в Париж съезжаются крупнейшие коллекционеры. Изабелла была не прочь прожить в Париже еще одну зиму; дочери ее уже болтали по-французски не хуже, чем на родном языке, и ее радовала возможность еще на несколько месяцев оставить их во французской школе. За три года они сильно вытянулись, теперь это были длинноногие, худые, неутомимые подростки; материнская красота в них еще не проступила, но они были хорошо воспитаны и ненасытно любопытны. Ну и хватит об этом.

III

Ларри я встретил случайно. Я справлялся о нем у Изабеллы, и она сказала, что после возвращения из Ла-Боль видела его очень мало. Теперь у них с Грэм было много новых друзей одного с ними поколения, и они чаще выезжали и принимали гостей, чем в те приятные недели, когда мы столько времени проводили вчетвером. Однажды вечером я пошел в «Комеди Франсез» посмотреть «Беренику». Читать я ее, конечно, читал, но на сцене не видел, а поскольку ставят ее редко, грех было упустить такой случай. Это отнюдь не лучшая из трагедий Расина, фабула ее слишком бедна для пяти действий, но она волнует и в ней есть несколько знаменитых сцен. Сюжет основан на коротком отрывке из Тацита: Тит, страстно влюбленный в Беренику, царицу Палестины, и даже, как полагают, обещавший взять ее в жены, в первые же дни своего правления удаляет ее из Рима по политическим соображениям — сенат и народ Рима решительно против его союза с иноземной царицей. Стержень пьесы — борьба, происходящая в его душе между любовью и долгом, и,

когда его одолевают сомнения, сама Береника, уверившись, что он ее действительно любит, убеждает его послушать веления долга и расстается с ним навсегда.

Вероятно, только француз способен в полной мере оценить изящество и величие Расина и музыку его стихов, однако и иностранец, раз сделав скидку на чопорную формальность его стиля, не может остаться равнодушен к его страстной нежности и к благородству его чувств. Расин, как мало кто другой, понимал, сколько драматизма заложено в человеческом голосе. Для меня, во всяком случае, раскаты этих сладкозвучных александрийских стихов вполне возмещают недостаток внешнего действия, и от длинных монологов, с безупречным мастерством доведенных до ожидаемой кульминации, сердце у меня замирает ничуть не меньше, чем от самых захватывающих погонь и перестрелок на экране.

После третьего действия был антракт, и я вышел покурить в фойе, осененное саркастической беззубой улыбкой Гудонова Вольтера. Кто-то тронул меня за плечо. Я оглянулся, не скрывая легкой досады — жаль было расплескать высокую радость, которой наполнили меня звучные строки Расина, — и увидел Ларри. Как всегда, я ему обрадовался. Я не видел его целый год и тут же предложил встретиться после спектакля и пойти куда-нибудь выпить пива. Ларри ответил, что не обедал сегодня и проголодался, и, со своей стороны, предложил отправиться на Монмартр. И вот, найдя друг друга в вестибюле, мы вместе вышли на улицу. Театру «Комеди Франсез» присуща своя особенная духота. Она пропитана запахом многих поколений тех хмурых женщин, так называемых *ouvezuses*, что показывают вам ваши места и всем своим видом требуют за это на чай. Свежий воздух оживил нас, ночь была ясная, и мы пошли пешком. Дуговые фонари на авеню Оперы горели так вызывающе ярко, что звезды небесные, точно не снисходя до состязания с ними, приглушили свой блеск мраком бесконечного расстояния. По дороге мы говорили о спектакле. Ларри был недоволен. Ему хотелось чего-то более естественного, чтобы текст произносили так, как люди говорят в жизни, и жестикация была не такая театральная. Я не мог согласиться с такой точкой зрения. Расин — это патетика, великолепная патетика, и исполнения требует патетического. Я наслаждался правильным чередованием рифм, а условные жесты, предписываемые давней

традицией, на мой взгляд, вполне соответствовали всему строю этого формального искусства. Мне думалось, что и сам Расин был бы доволен таким исполнением. Я восхищался тем, как актеры, даже связанные традиционными канонами, сумели вложить в свою игру столько человечности, страсти и правды. Искусство торжествует, если ему удастся подчинить условность высокой цели.

Мы дошли до авеню Клиши и завернули в ночной ресторан «Граф». Было только начало первого, народу полно, но мы нашли свободный столик и заказали яичницу с ветчиной. Я сказал Ларри, что недавно видел Изабеллу.

— Грэй будет рад вернуться в Америку, — сказал он. — Здесь он как рыба, вынутая из воды. Он не будет счастлив, пока опять не окунется в работу. Наверно, наживет уйму денег.

— Этим он будет обязан вам. Вы ведь исцелили его не только физически, но и духовно. Вернули ему веру в себя.

— Я сделал очень немного. Всего только научил его, как исцелиться.

— Но как вы сами постигли это немногое?

— Совершенно случайно. Когда был в Индии. Я страдал от бессонницы и упомянул об этом в разговоре с одним старым йогом, а он сказал, что этому легко помочь. Он проделал со мной то, что я на ваших глазах проделал с Грэем, и в ту ночь я впервые за несколько месяцев спал как убитый. А потом, примерно год спустя, я был в Гималаях с одним приятелем-индусом, и он растянул лодыжку. Врача поблизости не было, а нога болела невыносимо. Я и подумал, попробую-ка я сделать то, что сделал старый йог. И поверите ли, подействовало, боль как рукой сняло. — Ларри засмеялся. — Уверяю вас, я сам удивился невероятно. Тут ничего особенного нет, нужно только внушить больному какую-то мысль.

— Легко сказать.

— Вас бы удивило, если бы рука у вас поднялась над столом без участия вашей воли?

— Безусловно.

— Ну так она поднимется. Когда мы вернулись в цивилизованный мир, мой приятель рассказал кое-кому об этом случае и привел ко мне на лечение еще несколько человек. Мне не хотелось этим заниматься, потому что тут было что-то непонятное, но он настоял. Каким-то образом я им помог. Я обнаружил, что способен избав-

лять людей не только от боли, но и от страха. Просто удивительно, сколько людей от него страдает. Я имею в виду не какую-нибудь боязнь замкнутого пространства или боязнь высоты, а страх смерти или, того хуже, страх жизни. Зачастую это люди вполне здоровые и благополучные, но притом настоящие мученики. Порой мне казалось, что никакое другое чувство не завладевает людьми так властно, и я готов был приписать это глубокому животному инстинкту, унаследованному человеком от того неведомого первобытного существа, что впервые ощутило трепет жизни.

Я слушал Ларри и с интересом ждал продолжения, — как правило, он был немногословен, а тут разговорился. Быть может, пьеса, которую мы только что смотрели, сняла в нем какое-то торможение, и ритм полнзвучных стихов, подобно музыке, помог ему преодолеть природную замкнутость. Вдруг до моего сознания дошло, что моя рука ведет себя странно. Я успел забыть про вопрос, который как бы в шутку задал мне Ларри. А тут оказалось, что моя рука уже не лежит на столе, а оторвалась от него примерно на дюйм. Я был озадачен. Я стал смотреть на нее и увидел, что она слегка дрожит. Я ощутил какое-то нервное покалывание, что-то дернулось, и вот уже и локоть отделился от стола без помощи, но и без сопротивления с моей стороны. Потом пошла вверх вся рука от плеча.

— Что за чудеса, — сказал я.

Ларри засмеялся. Небольшое усилие воли — и рука моя снова опустилась на стол.

— Это пустяки, — сказал он. — Не имеет никакого значения.

— Вас обучил этому тот йог, про которого вы нам рассказывали, когда только вернулись из Индии?

— О нет, он такие вещи презирал. Не знаю, ощущал ли он в себе способности, на которые претендуют некоторые йоги, но применять их он считал бы ребячеством.

Яичницу с ветчиной принесли, и мы с аппетитом поели. И пива выпили. Все в полном молчании. Не знаю, о чем думал Ларри, а я думал о нем. Потом я закурил папиросу, а он — свою трубку.

— Как вы вообще попали в Индию? — спросил я без предисловий.

— По чистой случайности. То есть тогда мне так казалось. Теперь-то я склоняюсь к мысли, что это был

неизбежный результат тех лет, что я провел в Европе. Почти всех людей, которые оказали на меня влияние, я встретил как будто случайно, а когда оглядываюсь назад, кажется, что я не мог их не встретить. Словно они только и ждали, чтобы я обратился к ним, когда они мне понадобятся. В Индию я поехал отдохнуть. Перед тем я очень напряженно работал, и мне хотелось разобраться в своих мыслях. Я нанялся матросом на туристский пароход, из тех, что совершают кругосветные рейсы. Он шел на Восток, а потом через Панамский канал в Нью-Йорк. В Америке я не был пять лет и соскучился. И на душе было скверно. Вы ведь знаете, каким невеждой я был, когда мы с вами познакомились в Чикаго, сто лет назад. В Европе я много чего прочел и много чего увидел, но к тому, что искал, не приблизился ни на шаг.

Мне хотелось спросить, чего же он искал, но я подозревал, что он только рассмеется, пожмет плечами и скажет, что это не имеет значения.

— Но почему вы плыли матросом? — спросил я. — У вас же были деньги.

— Ради нового переживания. Когда мне случалось поглотить все, что я в данное время был способен вместить, и меня, так сказать, начинало засасывать в болото, эта мера всякий раз оказывалась полезна. После того как мы с Изабеллой расторгли нашу помолвку, я полгода проработал в угольной шахте под Лансом.

Тут-то он рассказал мне эпизод из своей жизни, о котором я поведал в одной из предыдущих глав.

— Вы были очень убиты, когда Изабелла дала вам отставку?

Прежде чем ответить, он некоторое время смотрел на меня своими до странности черными глазами, глядевшими, казалось, не на вас, а внутрь.

— Да. Я был очень молод. Я был уверен, что мы поженимся. Строил планы, как мы будем жить вместе. Эта жизнь представлялась мне чудесной. — Он засмеялся тихо и грустно. — Но в одиночку брак не построишь. Мне и в голову не приходило, что жизнь, которую я предлагал Изабелле, ей кажется ужасной. Будь я поумнее, я не заикнулся бы об этом. Она была слишком юная и пылкая. Винить я ее не мог. И уступить не мог.

Хоть я и не очень на это надеюсь, но, возможно, читатель вспомнит, что, когда Ларри сбежал с фермы после нелепой истории с вдовой снохой хозяина, он на-

правился в Бонн. Мне не терпелось, чтобы он продолжил свой рассказ с этого места, но, зная его, я воздержался от прямых вопросов.

— Я никогда не был в Бонне, — сказал я. — В юности учился в Гейдельберге, но недолго. Это было, кажется, самое счастливое время в моей жизни.

— Мне Бонн понравился. Я провел там год. Поселился у вдовы одного из профессоров тамошнего университета, она сдавала несколько комнат. Она и две ее дочери, обе уже немолодые, сами готовили и делали всю работу по дому. Другую комнату, как выяснилось, снимал француз, и сначала это меня огорчило, потому что я хотел разговаривать только по-немецки, но он был эльзасец и по-немецки говорил если не свободнее, то, во всяком случае, с лучшим произношением, чем по-французски. Одевался он как немецкий пастор, а через несколько дней я, к своему удивлению, узнал, что он — монах-бенедиктинец. Его на время отпустили из монастыря, чтобы он мог заняться научной работой в университетской библиотеке. Он был ученый человек, но, по моим понятиям, так же мало походил на ученого, как и на монаха, — рослый, дородный блондин с голубыми глазами навывкате и круглой красной физиономией. Он был стеснителен и сдержан, меня словно бы сторонился, но вообще отличался несколько тяжеловесной учтивостью и за столом вежливо участвовал в разговоре. Я только за столом его и видел: сразу после обеда он снова шел работать в библиотеку, а после ужина, когда я сидел в гостиной и практиковался в немецком языке с той из дочерей, которая не мыла посуду, удалялся к себе в комнату.

Я был очень удивлен, когда однажды, с месяц после моего приезда, он предложил мне пойти на прогулку — он-де может показать мне такие места, которые я сам едва ли открою. Я неплохой ходок, но ему и в подметки не годился. Во время той первой прогулки мы отмахали не меньше пятнадцати миль. Он спросил, что я делаю в Бонне, я сказал, что хочу овладеть немецким и получить представление о немецкой литературе. Говорил он очень разумно, сказал, что будет рад мне помочь. После этого мы стали ходить на прогулки по два-три раза в неделю. Оказалось, что он несколько лет преподавал философию. В Париже я кое-что прочел по этой части — Спинозу, Платона, Декарта, но из крупных немецких философов никого не знал и с интересом слушал, как он о них расска-

зывал. Однажды, когда мы совершили экскурсию на другой берег Рейна и сидели в саду перед трактиром за кружкой пива, он спросил, протестант ли я.

Я ответил: «Наверно, так».

Он бросил на меня быстрый взгляд, в котором я уловил улыбку, и заговорил об Эсхиле. Он, понимаете, изучил дневнегреческий и великих трагиков знал так, как я и надеяться не мог их узнать. От его слов у меня голова работала лучше. Я недоумевал, чем был вызван тот его вопрос. Мой опекун, дядя Боб Нелсон, был агностик, но в церковь ходил регулярно, потому что этого ждали от него пациенты, и по той же причине заставлял меня посещать воскресную школу. Марта, наша служанка, была ревностной баптисткой и отравляла мое детство рассказами об адском пламени, в котором грешники будут гореть до скончания века. Она с истинным наслаждением расписывала муки, уготованные разным нашим соседям, так или иначе заслужившим ее нерасположение.

К началу зимы я уже много чего знал про отца Энсхайма. По-моему, это был замечательный человек. Я не помню, чтобы он хоть раз на кого-нибудь рассердился. Он был добрый и милосердный, с широкими взглядами, на редкость терпимый. Эрудиция его меня потрясала, а он, конечно, понимал, как мало я знаю, но говорил со мною как с равным. Был со мной очень терпелив. Словно только того и желал, что быть мне полезным. Однажды со мной ни с того ни с сего случился прострел, и фрау Грабау, наша хозяйка, чуть не силком уложила меня в постель с грелкой. Узнав, что я нездоров, отец Энсхайм после ужина зашел меня проведать. Чувствовал я себя хорошо, если не считать сильной боли. Вы знаете породу книжных людей — их всякая книга интересуется. Так вот, когда я при его появлении отложил книгу, он взял ее и посмотрел заглавие. Это было сочинение мейстера Экхарта, оно мне попало у букиниста. Он спросил, почему я это читаю, и я ответил, что вообще читаю такого рода литературу, и рассказал ему про Кости и как тот пробудил во мне интерес к этой теме. Он глядел на меня своими выпуклыми голубыми глазами, в них была насмешливая ласка, иначе я это выражение определить не могу. У меня было такое ощущение, что он находит меня смешным, но преисполнен ко мне такого доброжелательства, что я от этого не кажусь ему хуже. А меня никогда не обижает, если людям кажется, что я с придурью.

«Чего вы ищете в этих книгах?» — спросил он.

«Если б я это знал, — ответил я, — это был бы хоть первый шаг к моей цели».

«Помните, я вас как-то спросил, протестант ли вы, а вы ответили — наверно, так. Что вы хотели этим сказать?»

«Меня растили в протестантской вере».

«А в бога вы верите?»

Я не люблю слишком личных вопросов, и первым моим побуждением было заявить, что это его не касается. Но от него веяло такой добротой, что обидеть его было просто невозможно. Я не знал, что сказать, не хотелось ответить ни да, ни нет. Возможно, на меня подействовала боль, а возможно, что-то в нем самом, но я рассказал ему о себе.

Ларри помолчал, а когда заговорил снова, мне было ясно, что он обращается не ко мне, а к тому монаху-бenedиктинцу. Обо мне он забыл. Не знаю, что тут сыграло роль, время или место, но теперь он без моей подсказки говорил о том, что так долго таил про себя из врожденной скрытности.

— Дядя Боб Нелсон был очень демократичен, он отдал меня в среднюю школу в Марвине, и только потому в четырнадцать лет отпустил в Сент-Пол, что Луиза Брэдли совсем его заклевала. Я особенно не блистал ни в ученье, ни в спорте, но в школе прижился. Думаю, что я был совершенно нормальным мальчиком. Я бредил авиацией. Она тогда только начиналась, и дядя Боб увлекался ею не меньше меня, у него были знакомые авиаторы, и, когда я сказал, что хочу учиться летать, он обещал мне это устроить. Я был высокий для своего возраста, в шестнадцать лет вполне мог сойти за восемнадцатилетнего. Дядя Боб взял с меня слово никому об этом не говорить, он знал, что за такое дело все на него обрушатся, но ведь это он сам помог мне тогда перебраться в Канаду и снабдил письмом к какому-то своему знакомому, и в результате я в семнадцать лет уже летал во Францию.

Опасные это были игрушки, тогдашние аэропланы; поднимаясь в воздух, ты всякий раз рисковал жизнью. Высота по теперешним меркам была ничтожная, но мы другого не знали и считали себя героями. Не могу описать, какое чувство это во мне рождало, но в воздухе я бывал горд и счастлив. Я ощущал себя частью чего-то

необъятного и прекрасного. Точнее я не мог бы это выразить, я только знал, что там, на высоте двух тысяч футов, я уже не один, хоть со мной никого и нет. Наверно, это звучит глупо, но что поделаешь. Когда я летел над облаками, а они ходили подо мной, как огромное стадо овец, я чувствовал себя на короткой ноге с бесконечностью.

Ларри умолк. Он уставился на меня своими непроницаемыми глазами, но, по-моему, не видел меня.

— Я и раньше знал, что людей убивают сотнями тысяч, но никогда не видел, как их убивают. И меня это близко не задевало. А потом я своими глазами увидел мертвеца. И мне стало невыносимо стыдно.

— Стыдно? — воскликнул я невольно.

— Стыдно, потому что этот мальчик, всего на три-четыре года старше меня, такой подвижный и храбрый, за минуту до того полный жизни и всегда такой славный, превратился в грудку искромсанного мяса, так что и не верилось, что только что это был живой человек.

Я промолчал. Я видел немало мертвецов в свою бытность студентом-медиком и еще много больше — во время войны. Меня-то всегда угнетало, какой у них жалкий, ничтожный вид. В них не было ни на грош благородства. Марионетки, которых кукольник выбросил на помойку.

— В ту ночь я не мог уснуть. Я плакал. За себя я не боялся, я был глубоко возмущен. Бессмысленная жестокость смерти, вот с чем я не мог примириться. Война кончилась, я вернулся домой. Меня всегда тянуло к машинам, и я хотел, если ничего не выйдет с авиацией, пойти на автомобильный завод. После ранения меня сначала не тормозили, но потом они захотели, чтобы я начал работать. А за такую работу, как они хотели, я не мог взяться. Она мне казалась никчемной. У меня было время подумать. Я все спрашивал себя, зачем нам дана жизнь. Мне-то просто повезло, что я выжил, и хотелось на что-то употребить свою жизнь, а на что — я не знал. О боге я раньше никогда не задумывался, а теперь стал о нем думать. Я не мог понять, почему в мире столько зла. Я понимал, что очень мало знаю, обратиться мне было не к кому, и я стал читать что попало.

Когда я рассказал все это отцу Энсхайму, он спросил: «Значит, вы четыре года читали. И к чему вы пришли?»

«Ни к чему не пришел».

Он поглядел на меня так любовно, что я смешался. Чем я мог вызвать в нем такую приязнь? Он стал тихонько барабанить пальцами по столу, словно что-то обдумывая, и наконец заговорил:

«Наша мудрая старая церковь пришла к выводу, что, если человек поступает как верующий, вера будет ему дана; если он молится сомневаясь, но молится искренне, сомнения его рассеются; если он покорится красоте богослужения, власть коей над человеческим духом доказана многовековым опытом, мир снизойдет в его душу. В скором времени я возвращаюсь к себе в монастырь. Не хотите ли вы поехать со мной и пожить у нас несколько недель? Вы могли бы работать в поле с нашими младшими монахами, могли бы читать в нашей библиотеке. Как переживание это будет не менее интересно, чем работа в угольной шахте или на немецкой ферме».

«А почему вы мне это предлагаете?» — спросил я.

«Я вас наблюдаю три месяца. Возможно, я знаю вас лучше, чем вы сами себя знаете. Стена, отделяющая вас от веры, не толще листка папиросной бумаги».

На это я ничего не сказал. У меня было странное чувство, точно кто-то ухватил меня за самое сердце и тянет. Я сказал, что подумаю. Он заговорил о другом. Потом до его отъезда из Бонна мы больше не говорили ни о чем, связанном с религией, но, уезжая, он дал мне адрес своего монастыря и сказал, что, если я надумаю приехать, надо только черкнуть ему, и он все устроит. Я и не думал, что буду так о нем скучать. Время шло, лето уже было в разгаре. В Бонне все шло хорошо. Я читал Гете, Шиллера, Гейне, читал Гёльдерлина и Рильке. Но по-прежнему топтался на месте. Я часто вспоминал отца Энсхайма и наконец решил воспользоваться его приглашением.

Он встретил меня на станции. Монастырь был в Эльзасе, в живописной местности. Отец Энсхайм представил меня настоятелю, потом провел в келью, где мне разрешено было жить. Там стояла узкая железная кровать, на стене висело распятие, а мебель была только самая необходимая. Зазвонил колокол к обеду, и я пошел в трапезную. Это была огромная палата со сводчатым потолком. В дверях стоял настоятель с двумя монахами, один держал таз, другой полотенце, и настоятель в виде омовения брызгал водой на руки гостей и вытирал их полотенцем, которое подавал ему монах. Гостей, кроме меня,

было еще трое: два священника, ехавшие куда-то по своим делам и задержавшиеся здесь пообедать, и ворчливый пожилой француз, на время удалившийся от мира.

Настоятель и два приора, старший и младший, сидели в верхнем конце трапезной, каждый за своим столом, ученые монахи — вдоль двух длинных стен, а монахи-работники, послушники и гости — за столами посреди комнаты. Была прочитана молитва, и мы поели. Один из послушников, стоя в дверях, монотонно читал из какого-то назидательного сочинения. После обеда опять прозвучала молитва. Потом настоятель, отец Энсхайм, гости и тот монах, в чьем ведении они находились, перешли в небольшую комнату, где попили кофе и побеседовали о том о сем. А потом я вернулся в свою келью.

Я провел там три месяца. Мне было очень хорошо. Такая жизнь как нельзя более мне подходила. Библиотека оказалась богатейшая, я много читал. Никто из монахов не пытался на меня влиять, но разговаривали они со мной охотно. Их ученость, благочестие и отрешенность от мира произвели на меня большое впечатление. И не думайте, что они вели бездельную жизнь. Они сами обрабатывали все свои земли, так что и моя помощь пригодилась. Я наслаждался великолепием церковных служб, больше всего мне нравилась утренняя. Ее служили в четыре часа утра. Удивительно это волнует — сидишь в церкви, а вокруг тебя еще ночь, и монахи, таинственные в своих клобуках и рясах, выводят песнопения сильными, звучными голосами. В самом однообразии ежедневного распорядка было что-то умиротворяющее, и, несмотря на деятельную жизнь, которая тебя окружала, и на неустанную работу мысли, тебя не оставляло чувство тишины и покоя.

Ларри улыбнулся чуть печально.

— Я как Ролла у Мюссе: «Я в слишком старый мир явился слишком поздно». Мне бы надо было родиться в средние века, когда вера была чем-то непреложным: тогда мой путь был бы мне ясен, и я сам просился бы в монашеский орден. Но у меня веры не было. Я хотел верить, но не мог поверить в бога, который ничем не лучше любого порядочного человека. Монахи говорили мне, что бог сотворил мир для вящей славы своей. Мне это не казалось такой уж достойной целью. Разве Бетховен создал свои симфонии, чтобы прославить себя? Нет,

конечно. Я думаю, он их создал, потому что музыка, которая его переполняла, рвалась наружу, а он уж только старался потом придать ей самую совершенную форму.

Я часто слушал, как монахи читали «Отче наш», и думал, как они могут изо дня в день взывать к отцу небесному, чтобы он дал им хлеб насущный? Разве дети на земле просят своих отцов, чтобы те их кормили? Это разумеется само собой, дети не чувствуют и не должны чувствовать за это благодарности, и мы осуждаем человека, только когда он производит на свет детей, которых не хочет или не может прокормить. Мне казалось, что, если всемогущий творец не в силах обеспечить свои творения самым необходимым для физической и духовной жизни, лучше бы ему было их не творить.

— Милый мой Ларри,— сказал я,— надо радоваться, что вы не родились в средние века. Вы несомненно окончили бы жизнь на костре.

Он улыбнулся.

— Вы вот знаете, что такое успех. Вам приятно, когда вас хвалят в лицо?

— Меня это только конфузит.

— Я так и думал. И не мог поверить, что богу это нужно. В полку мы не очень-то уважали тех, кто подлизывался к командиру, чтобы получить тепленькое местечко. Вот и мне не верилось, что бог может уважать человека, который с помощью грубой лести домогается у него спасения души. Мне казалось, что самый угодный ему способ поклонения должен бы состоять в том, чтобы поступать по своему разумению как можно лучше.

Но больше всего меня смущало другое: я не мог принять предпосылку, что все люди грешники, а монахи, сколько я мог понять, исходили именно из нее. В авиации я знал многих ребят. Конечно, они напивались, когда представлялся случай, и от женщин не отказывались, когда повезет, и сквернословили; попадались и злостные мошенники: одного парня арестовали за то, что подсовывал негодные чеки, и дали ему шесть месяцев тюрьмы; но он был не так уж виноват: раньше у него никогда денег не водилось, а тут стал получать много, сколько и не мечтал, и ему это ударило в голову. В Париже я знал порочных людей, и в Чикаго, когда вернулся, тоже, но в большинстве случаев в их пороках была повинна наследственность, против которой они были бессильны, и среда, которую они не сами себе выбирали; я готов допустить,

что в их преступлениях виноваты не столько они, сколько общество. Будь я богом, я бы ни одного из них, даже самого худшего, не осудил на вечное проклятие. Отец Энсхайм смотрел на вещи широко, он толковал ад как запрет лицезреть бога, но если это такое страшное наказание, что его можно назвать адом, как представить себе, что оно может исходить от милосердного бога? Ведь он как-никак создал людей. Раз он создал их способными на грех, значит, такова была его воля. Если я обучил собаку набрасываться на каждого, кто пойдет ко мне во двор, негоже ее бить, когда она это делает.

Если мир создал всеблагой и всемогущий бог, зачем он создал зло? По утверждению монахов — для того, чтобы человек, побеждая свою греховность, противясь соблазнам, приемля боль, несчастья и невзгоды как испытания, посланные ему богом для его очищения, мог в конце концов сподобиться его благодати. Мне это казалось очень похожим на то, как если бы я послал человека с поручением и только для того, чтобы затруднить ему задачу, сам же построил на его пути лабиринт, через который он должен пробраться, потом вырыл ров, который он должен переплыть, и, наконец, возвел стену, через которую он должен перелезть. Я отказывался поверить во всемогущего бога, лишённого здравого смысла. Мне казалось, что с тем же успехом можно верить в бога, который не сам создал мир, а нашел его готовеньким и достаточно скверным и пытается навести в нем порядок, в существо, неизмеримо превосходящее человека умом, добротой и величием, которое борется со злом, не им сотворенным, и, надо надеяться, его одолеет. Но, с другой стороны, верить в него необязательно.

Добрые монахи не знали ответов на мои недоуменные вопросы, таких ответов, которые что-то говорили бы моему уму или сердцу. Мне среди них было не место. Когда я пришел проститься к отцу Энсхайму, он не спросил, принесло ли мне новое переживание ту пользу, какой он от него ждал. Он только поглядел на меня с несказанной лаской во взгляде.

«Боюсь, я разочаровал вас, отец мой», — сказал я.

«Нет, — ответил он. — Вы — глубоко религиозный человек, не верящий в бога. Бог вас разыщет. Вы вернетесь. Сюда или куда-нибудь еще — это никому, кроме бога, неизвестно».

— Дожил я ту зиму в Париже. Я ничего не смыслил в естествознании и решил, что пора хоть слегка к нему приобщиться. Прочел много книг. И только убедился в том, что невежество мое беспредельно. Это я, впрочем, знал и раньше. Весной я уехал в деревню и пожил в маленькой гостинице на реке, близ одного из тех прекрасных старинных французских городов, где жизнь за двести лет как будто не сдвинулась с места.

Я догадался, что это было то самое время, которое он прожил с Сюзанной Рувье, но не стал его перебивать.

— А потом я поехал в Испанию. Мне хотелось посмотреть Веласкеса и Эль Греко. Думалось, может быть, искусство укажет мне тот путь, которого не указала религия. Я поездил по стране, попал в Севилью, она мне понравилась, и я решил провести там зиму.

Когда мне было двадцать три года, я тоже побывал в Севилье, и мне она тоже понравилась. Мне нравились ее белые извилистые улицы, ее собор и широко раскинувшаяся долина Гвадалквивира; но нравились и андалузские девушки, такие грациозные и веселые, с темными лучистыми глазами и гвоздикой в прическе, подчеркивающей черноту волос и еще ярче сверкающей на черном фоне; нравились теплый цвет их кожи и зовущая чувственность губ. Да, быть молодым тогда было поистине раем. Когда Ларри туда попал, он был лишь немногим старше, чем я в свое время, и я невольно спросил себя, неужели он остался равнодушен к чарам этих восхитительных созданий. Он сам ответил на мой невысказанный вопрос.

— Я там встретил одного французского художника, некоего Огюста Котте, я его знал по Парижу, он одно время содержал Сюзанну Рувье. В Севилью он приехал работать и жил с молодой женщиной, которую там подцепил. Как-то вечером они позвали меня послушать пение фламенко и захватили с собой ее подругу. Та была настоящая красотка. Ей было всего восемнадцать лет. Она сошла с одним парнем и вынуждена была уехать из родной деревни, потому что ждала ребенка. А парень отбывал военную службу. Когда ребенок родился, она отдала его на воспитание, а сама пошла работать на табачную фабрику. Я привел ее к себе. Она была очень веселая, очень славная, и через несколько дней я предложил ей совсем перебраться ко мне. Она согласилась, мы сняли две ком-

наты в casa de huespedes¹, спальню и гостиную. Я сказал ей, что она может уйти с работы, но она не захотела, и меня это устраивало, днем я таким образом был совершенно свободен. Нам разрешали пользоваться кухней, и до ухода на фабрику она успевала приготовить мне завтрак, в перерыв приходила и готовила второй завтрак, а обедали мы в ресторане и потом шли в кино или на танцы. Она считала меня помешанным, потому что у меня была резиновая ванна и я каждое утро обтирался холодной водой. Ребенок ее находился в деревне, и по воскресеньям мы ездили его навещать. Она не скрывала, что живет со мной, потому что хочет накопить денег — обставить дешевую квартирку, которую они снимут, когда ее дружок отслужит в армии. Она была прелесть, и я уверен, что своему Пако она стала хорошей женой. Она никогда не теряла бодрости, была покладистая, ласковая. На то, что в книгах именуется половыми сношениями, она смотрела как на одну из естественных функций человеческого тела. Ей это было приятно, так отчего не сделать приятное другому. Конечно, это был всего лишь зверек, но милый, привлекательный, прирученный зверек.

А потом как-то вечером она сказала, что получила письмо от Пако из Испанского Марокко, где он проходил военную службу, — он отслужил свой срок и через несколько дней прибудет в Кадис. Наутро она сложила свои пожитки, засунула деньги в чулок, и я проводил ее на поезд. На прощанье она меня расцеловала, но была так поглощена предвкушением встречи со своим милым, что обо мне, в сущности, уже не думала, и я уверен, что поезд еще не отошел от вокзала, а она уже забыла о моем существовании.

Я еще пожил в Севилье, а осенью пустился в странствие, которое привело меня в Индию.

V

Время было позднее. Народ расходился, только там и сям еще оставались занятые столики. Те, кто приходил сюда посидеть от нечего делать, ушли домой. Ушли и те, кто забегал выпить на скорую руку после театра или кино. Изредка появлялись новые лица. Пришел долго-вязый мужчина, по виду англичанин, в обществе молодого

¹ Пансион, меблированные комнаты (исп.).

го хлыща. У него было длинное утомленное лицо и поредевшие волнистые волосы английского интеллигента, и он, надо думать, пребывал в заблуждении, весьма, кстати сказать, распространенном, что за границей даже знакомые соотечественники нипочем вас не узнают. Молодой хлыщ с жадностью уплел целое блюдо бутербродов, а его спутник наблюдал за ним насмешливо и снисходительно. Ну и аппетит! Пришел пожилой человек, которого я знал с виду, потому что мы в Ницце ходили к одному и тому же парикмахеру. Мне запомнилась его толстая фигура, седые волосы, обрюзгшее красное лицо и тяжелые мешки под глазами. Он был банкир с американского Среднего Запада и после биржевого краха уехал из родного города, чтобы избежать судебного расследования. Не знаю, совершил ли он какое-нибудь преступление: если и так, то, вероятно, он был мелкая сошка и власти не сочли нужным требовать его выдачи. Держался он с апломбом и с притворной сердечностью мелкого политика, но глаза у него были испуганные и несчастные. Он никогда не был ни совсем пьян, ни совсем трезв. При нем всегда находилась какая-нибудь особа, явно торопящаяся высосать из него всё, что можно, а сейчас его сопровождали целых две накрашенных немолодых женщины — они откровенно над ним издевались, а он, не понимая и половины того, что они говорят, бессмысленно хихикал. Веселая жизнь! Я подумал, уж лучше бы он сидел дома и получил по заслугам. А то скоро эти женщины выжмут его досуха, и тогда ему останется только река или тройная доза веронала.

После двух часов ночи посетителей опять стало больше — видимо, закрылись ночные клубы. Ввалилась орава молодых американцев, очень пьяных и шумных, но почти тут же исчезла. Неподалеку от нас две полные мрачные женщины в тесных мужского покроя костюмах сидели рядом и в угрюмом молчании тянули виски с содовой. Появилась компания в вечерних туалетах, так называемые люди из общества, — они, видимо, совершили поездку по значным местам и решили напоследок поужинать. Поужинали и уехали. Мое любопытство возбудил щуплый, скромно одетый человечек, который уже не меньше часа сидел с газетой за кружкой пива. Он был в пенсне, с аккуратной черной бородкой. Наконец в ресторан вошла женщина и приблизилась к нему. Он кивнул ей без намека на дружелюбие — наверно, был обижен,

что она заставила его ждать. Она была молода, одета кое-как, но сильно накрашена и казалась очень усталой. Вот она достала что-то из сумки и подала ему. Деньги. Он глянул на них, и лицо его потемнело. Он заговорил, слов я не мог разобрать, но по мимике понял, что он ее бранит, а она оправдывается. Вдруг он подался вперед и залепил ей звонкую пощечину. Она вскрикнула и зарыдала. Старший официант, привлеченный шумом, подошел узнать, что случилось. Видимо, он велел им уйти, если они не могут вести себя прилично. Женщина повернулась к нему и громко, так что слышно было каждое слово, в непристойных выражениях предложила ему не соваться не в свое дело.

— Раз дал мне по морде, значит, заслужила! — выкрикнула она.

Ох, женщины! Мне всегда казалось, что жить на позорные заработки женщины может только какой-нибудь видный, самоуверенный малый, покоритель женских сердец, готовый в любую минуту пустить в ход нож или пистолет. Поразительно было, как этот хлюпик — не иначе мелкий служащий из адвокатской конторы — сумел затесаться в ряды столь труднодоступной профессии.

VI

У официанта, который нас обслуживал, кончилась смена, и, чтобы не упустить чаевых, он подал нам счет. Мы расплатились и заказали кофе.

— Ну, дальше? — сказал я.

Я чувствовал, что Ларри в настроении говорить, а сам я, конечно же, был в настроении слушать.

— Я вам не надоед?

— Нисколько.

— Ну так вот, приплыли мы в Бомбей. Пароход стоял там три дня, пока туристы осматривали город и окрестности. На третий день я с полудня был свободен и сошел на берег. Походил, поглядел на толпу, кого там только не было! Китайцы, мусульмане, индусы, черные, как сажа, тамилы; и эти их горбатые волы с длинными рогами, запряженные в повозки. Потом я поехал в Элефанту смотреть пещерные храмы. От Александрии на нашем пароходе плыл один индус, туристы относились к нему немного свысока. Он был маленький, толстенький, в плотном костюме в черно-зеленую клетку и пасторском во-

ротничке. Я как-то ночью поднялся на палубу подышать, он подошел и заговорил со мной. Мне в ту минуту ни с кем не хотелось разговаривать, хотелось побыть одному. А он задавал мне вопрос за вопросом, и я, вероятно, отвечал не слишком вежливо. В общем, я ему сказал, что я студент, а матросом зарабатываю обратный путь в Америку.

«Вам бы надо пожить в Индии, — сказал он. — Запад и не представляет себе, сколько он может научиться у Востока».

«Уж будто!» — сказал я.

«Во всяком случае, — сказал он, — непременно побывайте в пещерах Элефанта. Не пожалеете». — Ларри перебил свой рассказ вопросом: — Вы-то бывали в Индии?

— Никогда.

— Ну так вот, когда я стоял перед исполинским изваянием о трех головах, которое считается главной достопримечательностью Элефанта, и раздумывал, что бы это могло значить, кто-то за моей спиной сказал: «Вы, я вижу, последовали моему совету». Я оглянулся и не сразу понял, кто со мной говорит. Это был тот человек в плотном клетчатом костюме и пасторском воротничке, только теперь на нем было длинное шафрановое одеяние — такие балахоны, как я позже узнал, носят адепты Рамакришны — и от смешного суетливого человечка ничего не осталось, вид у него был внушительный, даже величественный. Мы постояли рядом, глядя на гигантский бюст.

«Брама — творец, — сказал он. — Вишну — охранитель и Шива — разрушитель. Три проявления Конечной Реальности».

«Что-то мне не совсем понятно», — сказал я.

«Неудивительно, — отозвался он и с легкой улыбкой подмигнул, точно подтрунивал надо мной. — Бог, которого можно понять, это не бог. Кто может объяснить словами Бесконечность?»

Он сложил перед собой ладони и с едва заметным поклоном пошел куда-то дальше, а я еще долго смотрел на эти три загадочные головы. Наверно, я был настроен особенно восприимчиво, меня охватило непонятное волнение. Вы знаете, как иногда бывает — стараешься вспомнить какое-то имя, на языке вертится, а вспомнить не можешь. Вот и со мной тогда так было. Я вышел из пещер и еще долго сидел на ступенях и глядел на море. О брахманизме я не знал ничего, кроме стихов Эмерсона, и я попробовал их вспомнить, но не смог. Я даже рассердился

и, когда вернулся в Бомбей, зашел в книжную лавку, думал, не найдется ли там книга, в которую эти стихи вошли. Они включены в «Оксфордскую антологию английской поэзии». Помните?

Ошибаются те, кто обо мне забывает;
Когда они бегут меня, я — крылья;
Я — сомневающийся и сомнение,
И я — тот гимн, что поет брамин.

Я поужинал в туземной харчевне, на пароход мне нужно было только к десяти, и я опять пошел бродить по набережной и смотреть на море. Никогда еще, кажется, я не видел на небе столько звезд. Прохлада после дневного зноя была упоительна. Я забрел в какой-то сквер и сел на скамейку. Там было очень темно, беззвучно мелькали какие-то белые фигуры.

Этот удивительный день словно околдовал меня: слепящее солнце, шумные пестрые толпы, запах Востока, едкий и пряный; и как яркий мазок на картине объединяет всю композицию, так эти три огромные головы — Брама, Вишну и Шива — придавали всему этому некую таинственную значительность. Сердце у меня бешено заколотилось, потому что я вдруг ощутил неколебимую уверенность, что Индия может дать мне что-то, очень мне нужное. Точно мне предлагалась некая возможность, за которую следовало ухватиться немедленно, а не то она больше никогда не представится. Я не раздумывал долго. Я решил не возвращаться на пароход. У меня остался там только чемоданчик с бельем. Я не спеша вернулся в туземный квартал и стал искать гостиницу. Нашел, снял номер. Кроме той одежды, что была на мне, у меня было только немножко денег, паспорт и аккредитив. Чувство свободы было так сладостно, что я громко смеялся.

Пароход мой отходил на следующее утро в одиннадцать часов, и до тех пор я из предосторожности сидел у себя в номере. Потом спустился на набережную, посмотрел, как он отваливает. А потом отправился в миссию Рамакришны и разыскал того человека, который говорил со мной в Элефанте. Имени его я не знал, но объяснил, что мне нужен уважаемый человек, который только что приехал из Александрии. Я сказал ему, что решил остаться в Индии, и спросил, что здесь следует посмотреть. Мы долго беседовали, и кончилось тем, что он сказал, что вечером уезжает в Бенарес, и предложил мне ехать с ним вместе. Я с восторгом согласился. Мы ехали третьим

классом. Вагон был набит битком, люди ели, пили, разговаривали, жарница была страшная. Я всю ночь не сомкнул глаз, и к утру меня сильно разморило, а он был свеженький, как огурчик. Я спросил его, как это так, а он отвечал: «Я размышлял о том, что не имеет образа, и черпал покой в Абсолюте». Я не знал, что и думать, но своими глазами видел, что он оживлен и бодр, точно всласть выснался в удобной постели.

Наконец мы дотащились до Бенареса, там его встретил молодой человек примерно моего возраста, и мой спутник попросил его найти мне комнату. Звали его Махендра, он преподавал в университете. Очень был приятный человек, неглупый и воспитанный, мы сразу прониклись друг к другу симпатией. Вечером он повел меня покататься на лодке по Гангу. Это было восхитительно — до того красив этот город, сползающий к самой воде, даже сердце замирает; но на утро у него было припасено зрелище и того лучше; он зашел за мной еще до рассвета, и мы опять сели в лодку. И тут я увидел такое, чего и вообразить не мог. Я видел, как тысячи и тысячи людей шли к реке совершать очистительные омовения и молиться. Я видел, как высокий, страшно худой мужчина, патлатый, со спутанной бородой и в одной набедренной повязке, стоял, воздев длинные руки и закинув голову, и громко молился восходящему солнцу. Не могу вам передать, как это меня потрясло. Я пробыл в Бенаресе полгода и еще много раз ходил на заре к Гангу, чтобы увидеть эту поразительную картину. Я не мог на нее надивиться. Эти люди верили не с прохладцей, не с оговорками и сомнениями, а всем своим существом.

Ко мне все были очень добры. Когда они убедились, что я приехал не для того, чтобы охотиться на тигров, и не для того, чтобы что-то продать или купить, а только чтобы учиться, они стали всячески мне помогать. Им понравилось, что я хочу научиться хинди, и они нашли мне учителей. Давали мне книги. Не уставали отвечать на мои вопросы... Вам что-нибудь известно об индуизме?

— Очень мало.

— А я думал, вас это должно интересовать. Можно ли вообразить что-нибудь более грандиозное, чем концепция, что вселенная не имеет ни начала, ни конца, но снова и снова переходит от роста к равновесию, от равновесия к упадку, от упадка к распаду, от распада к росту, и так далее до бесконечности?

— А какова, по мнению индусов, цель этого бесконечного чередования?

— Вероятно, они бы ответили, что такова природа Абсолюта. Понимаете, они считают, что назначение всего сущего в том, чтобы служить стадией для наказания или награды за деяния прошлых существований души.

— И это предполагает веру в переселение душ?

— В него верят две трети человечества.

— То, что в какую-нибудь теорию верит много людей, еще не есть гарантия ее истинности.

— Да, но это хотя бы значит, что к ней стоит приглядеться. Христианство вобрало в себя многое от неоплатонизма, оно могло бы вобрать и эту идею, одна раннехристианская секта даже верила в нее, но она была объявлена еретической. Если бы не это, христиане верили бы в нее так же свято, как верят в воскресение Христа.

— Если я вас правильно понял, это значит, что душа переходит из тела в тело в ходе бесконечного опыта, обусловленного праведностью или греховностью предшествующих поступков?

— По-моему, так.

— Но подумайте, ведь «я» — это не только мой дух, но и мое тело, кто может сказать, в какой мере мое я, моя сущность обусловлена случайностями моего тела? Был бы Байрон Байроном без своей хромоты или Достоевский Достоевским без своей эпилепсии?

— Индусы не стали бы говорить о случайности. Они ответили бы, что это ваши поступки в предыдущих жизнях предопределили вашей душе обитать в несовершенном теле.— Ларри побарабанил пальцами по столу, глубоко задумавшись и уставясь глазами в пространство. Потом со слабой улыбкой на губах заговорил снова: — Вам не приходило в голову, что перевоплощение одновременно и объясняет, и оправдывает земное зло? Если зло, от которого мы страдаем, следствие грехов, совершенных в предыдущих жизнях, мы можем сносить его с покорностью и надеяться, что, если в этой жизни мы будем стремиться к праведности, наши будущие жизни будут не так несчастны. Но собственные невзгоды сносить легко, для этого требуется лишь немножко мужества; по-настоящему нестерпимо то зло, часто кажущееся столь незаслуженным, от которого страдают другие. Если ты способен убедить себя, что это зло — неизбежное следствие прошло-

го, тогда ты можешь жалеть людей, можешь и должен по мере сил облегчать их страдания, но причин возмущаться у тебя не будет.

— Но почему бог не создал мир, свободный от страданий и горя, с самого начала, когда в человеке еще не было ни праведности, ни греховности, которые определяли бы его поступки?

— Индусы сказали бы, что начала не было. Каждая душа, сосуществуя с вселенной, существует от века, и природа ее обусловлена каким-нибудь предыдущим существованием.

— И что же, оказывает эта вера в переселение душ ощутимое воздействие на жизнь тех, кто ее исповедует? Ведь вот где, в сущности, главный критерий.

— Думаю, что оказывает. Могу рассказать вам про одного человека, которого я лично знал, на его жизнь она несомненно оказала очень даже ощутимое воздействие. Первые два-три года в Индии я жил главным образом в туземных гостиницах, но изредка меня приглашали к себе друзья, а раза два я пожил в великой роскоши как гость махараджи. Через одного из моих знакомых я получил приглашение погостить в одном из мелких северных княжеств. Столица там была прелестная — «багряный город, вечности ровесник». Меня представили министру финансов. Он получил европейское образование, учился в Оксфорде. Производил впечатление человека передового, неглупого и просвещенного и к тому же слыл чрезвычайно дельным министром и ловким, прозорливым политиком. Он носил европейское платье, следил за своей внешностью, одни аккуратно подстриженные усики чего стоили; и собой был недурен, хоть и полноват, как многие индусы не первой молодости. Он часто приглашал меня в гости. У него был большой сад, и мы сидели в тени развесистых деревьев и беседовали. У него была жена и двое взрослых детей. В общем, казалось бы, типичный англоизированный индус. Я ушам своим не поверил, когда узнал, что через год, когда ему стукнет пятьдесят, он намерен отказаться от своего прибыльного поста, передать свою собственность жене и детям и идти бродить по свету как нищенствующий монах. Причем самое удивительное было то, что ни его знакомые, ни махараджа не усматривали в этом ничего из ряда вон выходящего.

Однажды я ему сказал: «Вы человек без предрассудков, вы знаете жизнь, вы начитаны в естественных нау-

ках, философии, литературе, скажите положе руку на сердце, верите вы в перевоплощение?»

«Дорогой мой друг, — ответил он, — если бы я в него не верил, жизнь не имела бы для меня никакого смысла».

— А вы в него верите, Ларри? — спросил я.

— Это очень трудный вопрос. Мне кажется, мы, люди Запада, не в состоянии верить в него так же безоговорочно, как верят на Востоке. У них эта вера вошла в плоть и кровь. У нас вместо нее может быть только личное мнение. Я, например, и верю в него, и не верю.

Он помолчал, подперев рукой опущенную голову. Потом выпрямился.

— Хочу вам рассказать, какое у меня однажды было странное переживание. Как-то ночью в моей маленькой комнате в ашраме я упражнялся в размышлении, как меня учили тамошние друзья. Я зажег свечу и постарался сосредоточить на ней внимание и через некоторое время совершенно отчетливо увидел сквозь пламя длинную череду фигур. Первой была пожилая дама в кружевном чепце, с седыми локончиками, свисавшими на уши. На ней был узкий черный корсаж и черная шелковая юбка, вся в оборках, так, кажется, женщины одевались в семидесятых годах, и стояла она ко мне лицом, в грациозной, застенчивой позе, опустив по бокам руки ладонями вперед. На ее увядшем лице было прелестное выражение доброты и мягкости. Чуть позади нее, но в профиль ко мне, стоял высокий тощий еврей, горбоносый и толстогубый, в желтом кафтане, с желтой ермолкой на густых черных волосах. У него был вид ученого, на лице печать фанатического аскетизма. Позади него, опять лицом ко мне, и видный яснее всех — протяни руку и тронешь — находился молодой мужчина с веселым румяным лицом, без всякого сомнения англичанин шестнадцатого столетия. Он стоял крепко, слегка расставив ноги, — этаким дерзкий, бесшабашный гуляка. За ним маячила еще бесконечная вереница фигур, как очередь перед кинематографом, но они были как в тумане, разглядеть их я не мог. Я видел только смутные очертания, да какое-то движение проходило по ним волнами — так пшеница колыхается под летним ветром. Не знаю, сколько это длилось — минуту, или пять, или десять, — а потом они постепенно растаяли в ночном мраке, и ничего не осталось, только ровное пламя свечи.

Ларри усмехнулся.

— Можно, конечно, предположить, что я задремал

и видел сон. Или, сосредоточив все мысли на этом маленьком огоньке, я впал в какое-то гипнотическое состояние, и эти три фигуры, которые я видел так же ясно, как вижу вас, были забытыми картинами, сохранившимися у меня в подсознании. А может быть, это был я сам в прошлых воплощениях. Может быть, не так давно я был пожилой дамой в Новой Англии, а до этого — левантинцем-евреем, а еще раньше, вскоре после того как Себастьян Кабот отплыл из Бристоля, — щеголем при дворе Генриха принца Уэльского.

— А что случилось с вашим приятелем из багряного города?

— Два года спустя я оказался на юге, в городке под названием Мадура. Вечером в храме кто-то тронул меня за плечо. Я оглянулся и увидел бородатого человека с длинными черными волосами, в одних трусах, с посохом и миской для подаяний, как ходят там святые люди. Я только тогда узнал его, когда он заговорил. Это был мой приятель. От удивления я онемел. Он спросил меня, что я делаю, с тех пор как мы не виделись, и я ответил, спросил, куда я направляюсь, я ответил, что в Траванкур, тогда он сказал, чтобы я отыскал там Шри Ганеша. «Он вам даст то, чего вы ищете». Я просил рассказать мне о нем, но он улыбнулся и ответил, что когда я его увижу, то сам узнаю о нем все, что мне положено знать. Я успел оправиться от удивления и, в свою очередь, спросил, что он делает в Мадуре. Он сказал, что совершает паломничество — обходит пешком святые места Индии. Я спросил, как он питается и где ночует. Он сказал, что, когда ему предлагают приют, спит на галерее, а то под деревом или в ограде храма; а что до еды — если предлагают поесть — не отказывается, а нет — обходится без обеда. Я посмотрел на него повнимательнее и сказал: «А вы похудели». Он, смеясь, заявил, что это полезно для здоровья. Потом он простился со мной — забавно было услышать из уст этого нищего в набедренной повязке: «Пока, старина» — и прошел в ту часть храма, куда мне не полагалось входить.

Из Мадуры я уехал не сразу. Тамошний храм, кажется, единственный в Индии, по которому белый человек может свободно расхаживать, лишь бы он не входил в святилище. К ночи там собиралось множество народу: мужчин, женщин, детей. Мужчины — голые по пояс, в одних дхоти, лоб, а часто и грудь и руки густо нама-

заны белой золой от сожженного коровьего навоза. Они склонялись ниц то у одного священного места, то у другого, а иные лежали ничком на земле в ритуальной позе самоуничижения. Они молились, читали священные стихи, перекликались, здоровались, ссорились, затевали ожесточенные споры. Там стоял несусветный, а между тем каким-то непонятным образом там ощущалось присутствие живого бога.

Проходишь длинными залами между изукрашенных скульптурой колонн, и у подножия каждой колонны сидит нищенствующий праведник, перед каждым миска для подаяния или маленькая циновка, на которую верующие изредка бросают медяк. Одни одеты, другие почти голые. Одни провожают тебя пустым взглядом; другие читают про себя или вслух, точно мимо них и не снуют эти толпы. Я искал среди них моего приятеля, но больше ни разу его не встретил. Наверное, он уже продолжил путь к своей цели.

— Какая же это была цель?

— Освободиться от уз нового рождения. По учению веданты, сущность человека, которую они называют «Атман», а мы называем душой, отлична от тела и его чувств, отлична от рассудка и разума; она не есть часть Абсолюта, поскольку Абсолют, будучи бесконечным, не имеет частей; она и есть Абсолют. Она не сотворена, она существовала всегда, и когда она наконец сбросит семь покрывал невежества, то возвратится в бесконечность, из которой пришла. Она — как капля воды, что поднялась из моря и дождем упала в лужицу, а потом стекла в ручеек, пробралась в узкую речку, потом в мощный поток, бегущий по горным ущельям и широким равнинам, отклоняясь то вправо, то влево, встречая на пути и каменные завалы, и упавшие деревья, и, наконец, вливающийся в бескрайнее море, из которого поднялась.

— Но к тому времени, когда эта бедная капля опять сольется с морем, она наверняка потеряет свою индивидуальность.

Ларри усмехнулся.

— Вам ведь хочется пососать кусок сахара, а не превратиться в сахар. Что такое индивидуальность, как не проявление нашего эгоизма? Пока душа не избавится от него, она не может слиться с Абсолютом.

— Вы очень бойко толкуете об Абсолюте, Ларри, и слово это звучит внушительно. Но что оно, по-вашему, означает?

— Реальность. Что она такое — этого нельзя сказать. Можно только сказать, чем она не является. Она необъяснима. Индусы называют ее «Брахман». Она нигде и везде. Она все подразумевает, и все от нее зависит. Это не человек, не вещь, не первопричина. У нее нет никаких свойств. Она за пределами неизменности и перемены, целое и часть, конечное и бесконечное. Она вечна, потому что ее законченность и совершенство не имеют отношения к времени. Она — истина и свобода.

«Ну и ну!» — сказал я про себя, а вслух спросил:

— Но как может страждущее человечество находить прибежище в чисто умозрительной концепции? Людям всегда требовался личный бог, к которому в тяжелую минуту можно обратиться за утешением и поддержкой.

— Возможно, когда-нибудь в далеком будущем люди станут умнее и поймут, что искать утешения и поддержки нужно в собственной душе. Мне лично представляется, что потребность молиться — это всего лишь пережиток древней памяти о жестоких богах, которых нужно было умилостивить. Я думаю, что бог либо внутри меня, либо нигде. А если так, кому или чему мне молиться? Самому себе? Люди пребывают на разных уровнях духовного развития, и в Индии, например, воображение создало проявления Абсолюта, известные как Брама, Вишну, Шива и еще под множеством имен. Абсолют — в Ишваре, создателе и правителе мира, и в смиренном фетише, которому крестьянин на своем выжженном солнцем клочке земли приносит в жертву цветок. Бесчисленные индийские боги — это всего лишь образы, облегчающие понимание той истины, что «я» человека и высшее «я» — одно.

Я задумчиво поглядел на Ларри.

— Хотел бы я знать, почему вас потянуло к этой суровой вере?

— Думаю, что могу вам объяснить. Мне всегда казалось немного смешным, что основатели той или иной религии ставили человеку условие: веруй в меня, иначе не спасешься. словно без веры со стороны они сами не могли в себя уверовать. Прямо как те древние языческие боги, которые худели и бледнели, если люди не поддерживали их силы жертвоприношениями. Веданта не предлагает вам что-либо принимать на веру; она только требует от вас страстного желания познать Реальность; она утверждает, что вы можете познать бога так же, как можете познать радость или боль. И сейчас в Индии есть люди,

может быть, сотни людей, которые убеждены, что они этого достигли. Меня особенно пленяет мысль, что постигнуть Реальность можно с помощью знания. В более поздние эпохи индийские мудрецы, снисходя к человеческой слабости, допускали, что спасения можно достигнуть также через любовь и добрые дела, но они никогда не отрицали, что самый достойный, хоть и самый трудный путь — это путь познания, потому что орудие его — самое драгоценное, чем обладает человек, — его разум.

VII

Здесь я должен прервать свой рассказ и пояснить, что я не пытаюсь сколько-нибудь последовательно описать философскую систему, известную под названием «веданта». Для этого мне недостает знаний, да если б я ими и располагал, такое описание было бы здесь не у места. Разговор наш продолжался долго, и Ларри наговорил гораздо больше, чем я счел возможным воспроизвести, — ведь и я как-никак пишу не научный трактат, а роман. Для меня главное — Ларри. Я и вообще-то коснулся этого сложного предмета только потому, что, если б я не упомянул хотя бы вкратце о раздумьях Ларри и о его необычайных переживаниях, вызванных, возможно, этими раздумьями, очень уж неправдоподобной показалась бы та линия поведения, которую он избрал и о которой читателю скоро станет известно. Мне до крайности обидно, что я не в силах дать хотя бы отдаленное представление о его чудесном голосе, придававшем убедительность даже самым пустячным его замечаниям, или о смене выражений на его лице, исполненном то важности, то легкой веселости, то задумчивом, то лукавом — сопровождавшей его рассказ, как журчание рояля, когда скрипка выпевает тему за темой. Он говорил о серьезных вещах, но говорил просто, непринужденно, немного, пожалуй, застенчиво, но не более книжно, чем если бы речь шла о погоде и видах на урожай. Если у читателя создалось впечатление, что в его манере было нечто наставительное, то в этом повинен я. Скромность его была столь же очевидна, как его искренность.

В кафе остались считанные посетители. Кутилы давно удалились. Печальные создания, промышляющие любовью, расплозились по своим убогим жилищам. Заглянул усталый мужчина и выпил стакан пива с бутербро-

дом; еще один, шатаясь, как в полусне, заказал чашку кофе. Мелкие служащие. Первый отработал ночную смену и идет домой спать. Второму, поднятому звонком будильника, еще предстоит томительно длинный рабочий день. Мне в жизни довелось побывать в разного рода диковинных ситуациях. Не раз я был на волосок от смерти. Не раз соприкасался с романтикой и понимал это. Я проехал верхом через Среднюю Азию по тому пути, которым Марко Поло пробирался в сказочную страну Китай; я пил из стакана русский чай в чопорной петроградской гостиной, и низенький господин в черной визитке и полосатых брюках занимал меня разговором о том, как он убил некоего великого князя; я сидел в зале богатого дома в Вестминстере и слушал безмятежно певучее трио Гайдна, а за окном рвались немецкие бомбы. Но в такой диковинной ситуации мне еще, кажется, не доводилось оказаться: час за часом я сидел на красном плюшевом диванчике в парижском ночном ресторане, а Ларри говорил о боге и вечности, об Абсолюте и медлительном колесе бесконечного становления.

VIII

Ларри уже несколько минут как умолк, торопить его не хотелось, и я ждал. Но вот он подарил меня короткой дружеской улыбкой, словно вдруг вспомнил о моем присутствии.

— Приехав в Траванкур, я обнаружил, что мог и не наводить заранее справок о Шри Ганеше. Там все его знали. Много лет он прожил в пещере в горах, а потом его уговорили спуститься в долину, где какой-то добрый человек подарил ему участок земли и построил для него глинобитный домик. От Тривандрума, столицы княжества, путь туда неблизкий, я ехал целый день, сперва поездом, потом на волах, пока добрался до его ашрамы. У входа стоял какой-то молодой человек, я спросил его, можно ли мне увидеть його. У меня была с собой корзина фруктов — традиционное приношение. Через несколько минут молодой человек вернулся и провел меня в длинное помещение с окнами во всех стенах. В одном углу, на возвышении, застланном тигровой шкурой, сидел в позе размышления Шри Ганеша. «Я тебя давно жду», — сказал он. Я удивился, но решил, что ему говорил про

меня мой приятель. Однако, когда я назвал его, Шри Ганеша покачал головой. Я преподнес ему фрукты, и он велел молодому человеку их унести. Мы остались одни, он молча смотрел на меня. Не знаю, сколько длилось это молчание. Наверно, с полчаса. Я вам уже описывал его внешность; но я не сказал, какая от него исходила необычайная безмятежность, доброта, покой, отрешенность. Я после своего путешествия весь взмок и устал, но тут постепенно ощутил удивительное отдохновение. Он еще молчал, а я уже был уверен, что именно этот человек был мне нужен.

— Он говорил по-английски? — спросил я.

— Нет, но мне, вы знаете, языки даются легко, и на юге я уже успел нахвататься тамильского, так что много понимал и сам мог объясниться. Наконец он заговорил: «Зачем ты сюда пришел?»

Я стал рассказывать, как попал в Индию и чем занимался три года, как ходил от одного святого человека к другому, будучи наслышан о их мудрости и праведности, и ни один не дал мне того, что я искал. Он перебил меня:

«Это я все знаю. Говорить об этом лишнее. Зачем ты пришел ко мне?»

«Чтобы ты стал моим гуру»¹, — ответил я.

«Единственный гуру — это Брахман», — сказал он.

Он все смотрел на меня до странности пристально, а потом тело его внезапно застыло, глаза словно обратились внутрь, и я увидел, что он впал в транс, который индусы называют «самадхи», то есть сосредоточением, и во время которого, по их верованиям, антитеза субъекта и объекта уничтожается и человек становится Абсолютным Знанием. Я сидел перед ним на полу скрестив ноги, и сердце у меня отчаянно билось. Сколько времени прошло, не знаю, потом он глубоко вздохнул, и я понял, что он опять в нормальном сознании. Он окинул меня взглядом, исполненным бесконечной доброты.

— Оставайся, — сказал он. — Тебе покажут, где можно спать.

Меня поселили в хижине, где Шри Ганеша жил, когда только спустился в долину. Здание, где он теперь проводил и дни, и ночи, построили позже, когда вокруг него собрались ученики и все больше народу стало при-

¹ Учителем.

ходить к нему на поклон. Чтобы не выделяться, я перешел на удобную индийскую одежду и так загорел, что, если не знать, кто я, меня вполне можно было принять за местного жителя. Я много читал. Размышлял. Слушал Шри Ганешу, когда он был в настроении говорить; говорил он не много, но всегда был готов отвечать на вопросы, и слова его будили много мыслей и чувств. Как музыка. Сам он в молодости упражнялся в очень суровом аскетизме, но своих учеников к этому не понуждал. Он стремился отлучить их от рабства эгоизма и плотских страстей, толковал им, что путь к освобождению лежит через спокойствие, воздержание, самоотречение, покорность, через твердость духа и жажду свободы. Люди приходили к нему из ближайшего города за три-четыре мили — там был знаменитый храм, куда раз в год стекались на праздник несметные толпы; приходили из Три-вандрума и других отдаленных мест, чтобы поведать ему свои горести, спросить его совета, послушать его наставления; и все уходили утешенные, с новыми силами и в мире с самими собой. Суть его учения была очень проста. Он учил, что все мы лучше и умнее, чем нам кажется, и что мудрость ведет к свободе. Он учил, что самое важное для спасения души — не удавиться от мира, а всего лишь отказаться от себя. Он учил, что работа, проделанная бескорыстно, очищает душу и что обязанности — это предоставленная человеку возможность подавить свое «я» и слиться воедино с вселенским «я». Удивительно было не столько его учение, сколько он сам — его милосердие, величие его души, его святость. Самая близость его была благом. Около него я был очень счастлив. Я чувствовал, что наконец-то нашел то, что искал. Недели, месяцы летели с невероятной быстротой. Я решил, что побуду там либо до его смерти — а он говорил, что не намерен много дольше обитать в своем брэнном теле, — либо до тех пор, пока мне не будет дано озарение — то состояние, когда ты наконец разорвал путы невежества и познал с неоспоримой уверенностью, что ты и Абсолют — одно.

— А тогда что?

— Тогда, очевидно, нет больше ничего. Земной путь души окончен, и она больше не вернется.

— И Шри Ганеша умер? — спросил я.

— Да нет, не слышал.

Не успел он это сказать, как понял смысл моего вопро-

са и смущенно усмехнулся. Чуть помедлив, он продолжал, но так, что я сначала подумал, что он хочет уйти от второго вопроса, явно вертевшегося у меня на языке и вполне естественного, — было ли ему дано озарение.

— Я не все время проводил в ашраме. Мне повезло познакомиться с одним местным лесничим, который жил на окраине деревни в предгорьях. Он был ревностным почитателем Шри Ганеши и, когда выдавалось свободное время, проводил у нас по два, по три дня. Приятный был человек, мы с ним много беседовали. Он был рад случаю попрактиковаться в английском. Через некоторое время он сказал мне, что у лесничества есть домик в горах и, если мне когда-нибудь захочется там побывать и пожить в одиночестве, он даст мне ключ. И я стал туда удаляться время от времени. Путь туда занимал два дня — сначала автобусом, до той деревни, где постоянно жил лесничий, потом пешком, но проделать его стоило — такое там было великолепие и тишина. Я забирал с собой рюкзак с вещами, нанимал носильщика, чтобы тащил припасы, и жил там, пока они не иссякнут. Домик был просто бревенчатая хижина с пристройкой, где стряпать, а внутри была походная койка, на которую каждый мог постелить свою спальную циновку, стол и два стула. Там, на высоте, никогда не было жарко, а по ночам бывало даже приятно развести костер. У меня сердце замирало от счастья при мысли, что ближе чем за двадцать миль от меня нет ни одной живой души. Ночью я нередко слышал рев тигра или страшный шум и треск, когда через джунгли продирались слоны. Я надолго уходил гулять. Там было одно место, где я особенно любил посидеть, потому что оттуда открывался широкий вид на горы, а внизу было озеро, к которому в сумерках сходились на водопой олени, кабаны, бизоны, слоны и леопарды.

Когда я прожил в ашраме уже два года, я отправился в мое горное убежище по причине, которая покажется вам смешной. Мне захотелось провести там мой день рождения. Пришел я накануне. А наутро проснулся еще затемно и подумал, что хорошо бы с моего любимого места посмотреть восход солнца. Дорогу туда я мог бы найти хоть с закрытыми глазами. Я пришел, сел под деревом и стал ждать. Еще не рассвело, но звезды побледнели, день был близок. У меня возникло странное чувство, что вот-вот что-то должно случиться. Постепенно,

почти незаметно для глаза, свет стал просачиваться сквозь темноту — медленно, как таинственное существо, скользящее меж деревьев. Сердце у меня забилося, словно в предчувствии опасности. Взошло солнце.

Ларри помолчал, виновато улыбаясь.

— Не умею я описывать, у меня нет слов, чтобы создать картину; я не в силах вам рассказать так, чтобы вы сами увидели, какое зрелище мне открылось, когда день воссиял во всем своем величии. Горы, поросшие лесом, за верхушки деревьев еще цепляются клочья тумана, а далеко внизу — бездонное озеро. Через расщелину в горах на озеро упал солнечный луч, и оно заблестело, как вороненая сталь. Красота мира захватила меня. Никогда еще я не испытывал такого подъема, такой нездешней радости. У меня появилось странное ощущение, точно дрожь, начавшись в ногах, пробежала к голове, такое чувство, будто я вдруг освободился от своего тела, а душа причастилась такой красоте, о какой я не мог и помыслить. Будто я обрел какое-то сверхчеловеческое знание, и все, что казалось запутанным, стало просто, все непонятное объяснилось. Это было такое счастье, что оно причиняло боль, и я хотел избавиться от этой боли, потому что чувствовал — если она продлится еще хоть минуту, я умру; и вместе с тем такое блаженство, что я был готов умереть, лишь бы оно длилось. Как бы мне вам объяснить? Этого не опишешь словами. Когда я пришел в себя, я был в полном изнеможении и весь дрожал. Я уснул.

Проснулся я в полдень. Я пошел в свою хижину, и на сердце у меня было так легко, что казалось, я не иду, а парю над землей. Я приготовил себе поесть, голоден был как волк, и закурил трубку.

Ларри и сейчас набил трубку и закурил.

— Мне страшно было подумать, что это было прозрение и что я, Ларри Даррел из Марвина, штат Иллинойс, удостоился его, когда другие, которые ради него годами занимались умерщвлением плоти и лишали себя всех земных радостей, все еще ждут.

— А может быть, это было всего лишь гипнотическое состояние, вызванное вашим настроением, одиночеством, таинственностью рассветного часа и вороненой сталью вашего озера? Чем вы можете доказать, что это было именно прозрение?

— Только тем, что сам я в этом ни минуты не сомневаюсь. Ведь переживание это было того же порядка,

как то, что знавали мистики во всех концах света, во все века. Брахманы в Индии, суфьи в Персии, католики в Испании, протестанты в Новой Англии. И в той мере, в какой можно описать то, что не поддается описанию, они и описывали его примерно в тех же словах. Отрицать тот факт, что такое переживание бывает, невозможно; трудность в том, чтобы его объяснить. Слиялся я на мгновение в одно с Абсолютом, или то прорвалось наружу подсознание, или сказалось сродство с духом вселенной, которое во всех нас скрыто, право, не знаю.

Ларри передохнул и поглядел на меня не без лукавства.

— Между прочим,— сказал он,— вы можете коснуться мизинцем большого пальца?

— Конечно,— сказал я и тут же это проделал.

— А вам известно, что на это способен только человек и приматы? Рука — поразительное орудие именно потому, что большой палец противостоит другим пальцам. Так нельзя ли предположить, что этот противостоящий большой палец, конечно, в каком-то рудиментарном виде, сначала развился только у отдельных особей далекого предка человека и гориллы, а общим для него признаком стал лишь через несчетное число поколений? И точно так же что, если единение с высшей Реальностью, которое пережило столько разных людей, указывает на появление у человека некоего шестого чувства, то это чувство в очень-очень далеком будущем станет свойственно всем людям и они смогут воспринимать Абсолют так же непосредственно, как мы сейчас воспринимаем чувственный мир?

— А как это должно на нас отразиться? — спросил я.

— Этого я не могу предугадать, так же как первое живое существо, обнаружившее, что может коснуться мизинцем большого пальца, не могло предвидеть, какие бесконечные возможности открывает это простенькое движение. О себе могу только сказать, что неизъяснимое чувство покоя и радостной уверенности, которое охватило меня в ту минуту, живет во мне до сих пор и красота мира сияет мне так же свежо и ярко, как когда это видение впервые меня ослепило.

— Но как же, Ларри, ведь из вашей идеи Абсолюта должно бы следовать, что мир с его красотой всего лишь иллюзия, майя?

— Неправильно полагать, что индусы считают мир

иллюзией; они только утверждают, что он реален не в том же смысле, как Абсолют. Майя — это всего лишь гипотеза, с помощью которой эти неутомимые мыслители объясняют, как Бесконечное могло породить Конечное. Шанкара, самый мудрый из них, решил, что это неразрешимая загадка. Понимаете, труднее всего объяснить, почему и зачем Брахман, то есть Бытие, Блаженство и Сознание, сам по себе неизменный, вечно пребывающий в покое, имеющий все и ни в чем не нуждающийся, а значит, не знающий ни перемен, ни борьбы, словом, совершенный, зачем он создал видимый мир. Когда этот вопрос задаешь индусу, обычно слышишь в ответ, что Абсолют создал мир для забавы, без какой-либо цели. Но когда вспомнишь потопаы и голод, землетрясения и ураганы и все болезни, которым подвержено тело, моральное чувство в тебе восстает против представления, что все эти ужасы могли быть созданы забавы ради. Шри Ганеша был слишком добр, чтобы в это верить; он полагал, что мир — это проявление Абсолюта, излишки его совершенства. Он учил, что бог не может не творить и что мир есть проявление его, бога, природы. Когда я спросил, как же так, если мир — проявление природы совершенного существа, почему этот мир так отвратителен, что единственная разумная цель, которую может поставить себе человек, состоит в том, чтобы освободиться от его пут? Шри Ганеша отвечал, что мирские радости преходящи и только Бесконечность дает прочное счастье. Но от долговечности хорошее не становится лучше, белое — белее. Пусть к полудню роза теряет красоту, которая была у нее на рассвете, но тогдашняя ее красота реальна. В мире все имеет конец, неразумно просить, чтобы что-то хорошее продлилось, но еще неразумнее не наслаждаться им, пока оно есть. Если перемена — самая суть существования, логично, казалось бы, строить на ней и нашу философию. Никто из нас не может дважды вступить в одну и ту же реку, но река течет, и та, другая, река, в которую мы вступаем, тоже прохладна и освежает тело.

Арии, когда пришли в Индию, понимали, что известный нам мир — только видимость мира нам неведомого, но они приняли его как нечто милостивое и прекрасное. Лишь много веков спустя, когда их утомили завоевания, когда изнуряющий климат подорвал их жизнеспособность, так что они сами испытали на себе вторжение вражеских орд, они стали видеть в жизни только зло

и возжаждали освободиться от ее повторений. Но почему мы на Западе, особенно мы, американцы, должны страшаться распада и смерти, голода и жажды, болезней, старости, горя и разочарований? Дух жизни в нас силен. В тот день, когда я сидел с трубкой в своей бревенчатой хижине, я чувствовал себя более живым, чем когда-либо раньше. Я чувствовал в себе энергию, которая требовала применения. Покинуть мир, удалиться в монастырь — это было не для меня, я хотел жить в этом мире и любить всех в нем живущих, пусть не ради них самих, а ради Абсолюта, который в них пребывает. Если в те минуты экстаза я действительно был одно с Абсолютом, тогда, если они не лгут, ничто мне не страшно и когда я исполню карму моей теперешней жизни, я больше не вернусь. Эта мысль страшно меня встревожила. Я хотел жить снова и снова. Я готов был принять любую жизнь, какое бы горе и боль она ни сулила. Я чувствовал, что только еще, и еще, и еще новые жизни могут насытить мою жадность, мои силы, мое любопытство.

На следующее утро я спустился с гор, а еще через день прибыл в ашраму. Шри Ганеша удивился, увидев меня в европейском платье. А я надел его в доме у лестничного, перед тем как подняться к хижине, потому что там было холодно, да так и забыл переодеться.

«Я пришел проститься с тобой, учитель, — сказал я. — Я возвращаюсь к моему народу».

Он ответил не сразу. Он сидел, как всегда, скрестив ноги, на своем возвышении, застланном тигровой шкурой. Перед ним в жаровне курилась палочка благовоний, распространяя слабый аромат. Он был один, как в первый день нашего знакомства. Он вглядывался в меня так пристально, точно проникал взглядом в самые глубины моего существа. Без сомнения, он знал, что со мной произошло.

«Это хорошо, — сказал он. — Ты скитался достаточно долго».

Я опустил на колени, и он благословил меня. Когда я поднялся, глаза у меня были полны слез. Он был человек высокой души, святой. Я всегда буду гордиться тем, что мне довелось его узнать. Я простился с его учениками. Некоторые из них прожили там по многу лет, другие пришли позже меня. Свои скудные пожитки и книги я там оставил на случай, что кому-нибудь пригодятся, и закинув за спину пустой рюкзак, в тех же спортивных брю-

как и коричневом пиджаке, в которых туда явился, и в потрепанном пробковом племе запагал обратно в город. Через неделю я сел в Бомбее на пароход и высадился в Марселе.

Между нами легло молчание, каждый задумался о своем. Но, как я ни устал, был еще один вопрос, который мне очень хотелось ему задать, и я заговорил первый.

— Друг мой Ларри, — сказал я, — ваши долгие поиски начались с проблемы зла. Проблема зла — вот что вас подгоняло. А вы за все время ни разу не дали понять, что хотя бы приблизились к ее разрешению.

— Может быть, разрешить ее вообще невозможно, а может, у меня на это не хватает ума. Рамакришна утверждал, что мир — забава бога. «Это все равно что игра, — говорил он, — в этой игре есть радость и горе, добродетель и порок, знание и невежество. Если совсем исключить из мира грех и страдания, игра не может продолжаться». С этим я никак не могу согласиться. По-моему, скорее уж так: когда Абсолют проявил себя, сотворив видимый мир, зло оказалось неразрывно связано с добром. Не могло бы быть потрясающей красоты Гималаев без невообразимо ужасного сдвига земной коры. Китайский мастер, который изготавливает вазу из тончайшего фарфора, может придать ей изящную форму, нанести на нее прекрасный узор, раскрасить ее в очаровательные тона и покрыть безупречной глазурью, но в силу самой ее природы не может сделать ее не хрупкой. Уронив ее на пол, и она разлетится вдребезги. Возможно, вот таким же образом все, что есть для нас ценного в мире, может существовать только в сочетании со злом.

— Это остроумная теория, Ларри, только не очень-то она утешительна.

— Разумеется, — улыбнулся он. — В пользу ее можно сказать одно: если пришел к выводу, что что-то неизбежно, значит, нужно с этим мириться.

— Какие же у вас теперь планы?

— Мне нужно закончить здесь одну работу, а потом поеду домой, в Америку.

— И что там будете делать?

— Жить.

— Как?

Он ответил невозмутимо, но в глазах у него мелькнула шаловливая искорка, — он знал, каким неожиданным для меня будет его ответ.

— Упражняясь в спокойствии, терпимости, сочувствии, бескорыстии и воздержании.

— Программа, что и говорить, обширная, — сказал я. — А почему воздержание? Вы же молоды. Разумно ли пытаться подавить в себе то, что, наряду с голодом, есть самый мощный инстинкт всякого животного?

— Мне в этом отношении повезло: для меня половая жизнь всегда была не столько потребностью, сколько удовольствием. Я по собственному опыту знаю, как правы индийские мудрецы, когда утверждают, что целомудрие способствует укреплению силы духа.

— Мне-то казалось, что мудрость состоит в том, чтобы уравновесить требования тела и требования духа.

— А индусы считают, что именно этого мы на Западе и не умеем. По их мнению, мы с нашей техникой, с нашими фабриками и машинами и всем, что они производят, ищем счастья в материальных ценностях, тогда как истинное счастье не в них, а в ценностях духовных. И еще они считают, что избранный нами путь ведет к гибели.

— И неужели Америка представляется вам подходящей ареной для применения добродетелей, которые вы перечислили?

— А почему бы и нет? Вы, европейцы, ничего не знаете об Америке. Оттого, что мы наживаем большие состояния, вы воображаете, что мы только деньги и ценим. Вовсе мы их не ценим; чуть они у нас появляются, мы их тратим — хорошо ли, плохо ли, но тратим. Деньги для нас ничто, просто символ успеха. Мы — величайшие в мире идеалисты; я лично считаю, что идеалы у нас не те, что нужно. Мне лично представляется, что самый высший идеал для человека — самоусовершенствование.

— Да, это благородная цель.

— Так не стоит ли хотя бы попробовать ее достигнуть?

— Но неужели вы воображаете, что вы один можете оказать какое-то воздействие на такую беспокойную, беззаконную, подвижную и насквозь индивидуалистическую толпу, какую являют собой американцы? Да это все равно что пытаться голыми руками сдержать течение Миссисипи.

— Попробовать можно. Колесо изобрел один человек. И закон тяготения открыл один человек. Ничто не остается без последствий. Бросьте в пруд камень — и вы уже немного изменили вселенную. Напрасно думают, что жизнь

индийских праведников никчемная. Они — звезды во мраке. В них воплощен идеал, поднимающий дух их ближних; рядовым людям, возможно, никогда его не достигнуть, но они его уважают, и он оказывает на их жизнь благое влияние. Когда человек становится чист и совершенен, влияние его распространяется вширь, и те, кто ищет правды, тянутся к нему. Возможно, что, если я буду вести такую жизнь, какую для себя наметил, она окажет воздействие на других; воздействие это может оказаться не больше, чем круг на воде от брошенного камня, но за первым кругом возникнет второй, а там и третий; как знать, быть может, хоть несколько человек поймут, что мой образ жизни ведет к душевному покою и счастью, и тогда они, в свою очередь, станут учить других тому, что переняли от меня.

— Сдается мне, Ларри, что вы недооцениваете те силы, с которыми решили тягаться. Филистеры, знаете ли, уже давно отвергли костер и дыбу как средства подавления опасных для них взглядов, они изобрели более смертоносное оружие — издевку.

— Меня сломить нелегко, — улыбнулся Ларри.

— Ну что ж, могу сказать одно: счастье ваше, что у вас есть постоянный доход.

— Да, он сослужил мне хорошую службу. Без него я не мог бы сделать все то, что сделал. Но теперь мое ученичество окончено. Теперь деньги были бы для меня только обузой. Я решил с ними разделаться.

— Весьма неразумное решение. Единственное, что может позволить вам вести избранный вами образ жизни, это материальная независимость.

— Напротив, материальная независимость лишила бы мой образ жизни всякого смысла.

Я не сдержал раздраженного жеста.

— Все это прекрасно для нищенствующего святого в Индии: он может спать под деревьями, и благочестивые люди, чтобы набраться праведности, готовы наполнять его миску едой. Но американский климат не годится для ночевки под открытым небом, и хотя я, возможно, не так уж много знаю об Америке, одно я знаю: если в чем-нибудь все ваши соотечественники согласны между собой, так это в том, что, если хочешь есть, изволь работать. Бедный мой Ларри, да вы там еще и оглядетесь не успеете, как вас упекут в тюрьму за бродяжничество.

Он засмеялся.

— Я знаю. Надо приспособливаться к обстановке. Конечно, я буду работать. Приеду и попробую получить работу в гараже. Я неплохой механик, думаю, что это мне удастся.

— А не будет это пустой тратой энергии, которую с большей пользой можно употребить на другое?

— Я физическую работу люблю. Я всегда спасался ею от умственного переутомления, очень помогает. Помню, я читал одну биографию Спинозы и еще тогда подумал, как глупо: Спинозе для заработка пришлось шлифовать линзы, и автор книги сокрушался об этом как о величайшем несчастье. А я уверен, что Спинозе это послужило подспорьем в его умственной работе, хотя бы уже потому, что на время отвлекло его внимание от утомительных теоретических выкладок. Когда я мою машину или копаюсь в карбюраторе, голова у меня отдыхает, а когда кончишь такую работу, приятно сознавать, что не зря провел время. Конечно, я не мечтаю работать в гараже всю жизнь. Я сколько лет не был в Америке, надо заново ее узнавать. Постараюсь устроиться шофером грузовика. Это даст мне возможность изъездить всю страну из конца в конец.

— Вы забываете о самой полезной функции денег — они сберегают время. Жизнь так коротка, столько хочется сделать, надо дорожить каждой минутой, а вы подумайте, сколько теряется времени, если идти пешком, когда можно ехать автобусом, или ехать автобусом, когда можно взять такси.

Ларри улыбнулся.

— Правильно, я и сам об этом думал. Но с этой трудностью я справлюсь — заведу собственное такси.

— Это каким же образом?

— В конце концов я осяду в Нью-Йорке, отчасти потому, что там самые лучшие библиотеки. На жизнь мне нужно очень немного, мне решительно все равно, где жить, есть я могу один раз в день, мне этого хватает; к тому времени, как я вдосталь насмотрюсь Америки, я сумею скопить достаточно денег, чтобы купить такси и работать шофером.

— Вас нельзя оставлять на свободе, Ларри. Вы совсем спятили.

— Ничего подобного. Я очень разумный человек и очень практичный. Как шофер-владелец, я смогу работать столько времени, сколько мне потребуется, чтобы заработать на кров и пищу и еще на ремонт машины.

Остальное время я смогу посвящать другим делам, а если захочу поскорее куда-нибудь попасть, опять же буду ездить на своей машине.

— Но подумайте, Ларри,— поддразнил я его,— такси — это такая же собственность, как государственная облигация. Как шофер-владелец, вы окажетесь в рядах капиталистов.

Он рассмеялся.

— Нет. Мое такси будет для меня всего-навсего орудием труда. Как посох и миска для нищенствующего паломника.

На этой шутливой ноте наш разговор, собственно, и закончился. Я уже заметил, что в ресторане стало прибавляться посетителей. Мужчина во френче сел за столик недалеко от нас и заказал сытный завтрак. По его усталой, но довольной физиономии можно было сказать, что он с удовольствием вспоминает ночь, проведенную в любовных утехах. Несколько старичков, встав спозаранку — старость обходится немногими часами сна, — не спеша пили кофе с молоком и сквозь толстые стекла очков читали утренние газеты. Мужчины помоложе, одни аккуратные, вытощенные, другие в поношенных пиджаках, забегали проглотить чашку кофе с булочкой по пути в магазин или в контору. Появился древний старик с кипой газет и стал обходить столики, предлагая свой товар и почти не находя покупателей. Я глянул на большие зеркальные окна — на улице было совсем светло. Минут через пять в огромном ресторане погасили электричество, осталось гореть только несколько ламп в самой его глубине. Я посмотрел на часы. Четверть восьмого.

— Может, позавтракаем? — предложил я.

Мы поели рогаликов, хрустящих и теплых, только что из печи, выпили кофе с молоком. Я устал и раскис, вид у меня, наверно, был жуткий, а Ларри точно и не провел бессонной ночи. Глаза его сияли, на гладком лице не пролегло ни одной складки, и выглядел он лет на двадцать пять, не больше. Кофе немного взбодрило меня.

— Можно мне дать вам совет, Ларри? Я их даю нечасто.

— А я их нечасто слушаюсь, — отвечал он с широкой улыбкой.

— Обдумайте все очень тщательно, прежде чем расстаться с вашим и так весьма скромным состоянием. Раз потеряв, вы его не вернете. А может наступить день,

когда деньги вам окажутся очень нужны либо для вас самого, либо для кого другого, тогда вы ох как пожалеете, что свалили такого дурака.

Он прищурился насмешливо, но беззлобно.

— Вы придаете деньгам больше значения, чем я.

— Еще бы, — отпарировал я резко. — У вас они всегда были, а у меня нет. Они дали мне то, что я ценю выше всего, — независимость. Вы и представить себе не можете, каким довольством наполнило меня сознание, что я, если захочу, кого угодно могу послать к черту.

— Но я никого не хочу посылать к черту, а если б захотел, то сделал бы это и не имея счета в банке. Поймите, для вас деньги означают свободу, а для меня рабство.

— Вы упрямый осел, Ларри.

— Знаю. Тут уж ничего не поделаешь. Но если на то пошло, время передумать у меня есть. Я уеду в Америку только весной. Мой приятель Огюст Котте, художник, сдал мне свой домик в Санари. Я там проведу зиму.

Санари — это тихий приморский курорт на Ривьере, между Бандолем и Тулоном, там селятся художники и писатели, которых не прельщает мишурное веселье Сен-Тропеза.

— Местечко вам понравится, только скука там смертная.

— Мне нужно поработать. Я собрал большой материал и решил написать книгу.

— О чем?

— Узнаете, когда она выйдет в свет, — улыбнулся он.

— Если хотите, пришлите ее мне, когда кончите. Я почти наверняка смогу найти вам издателя.

— Спасибо, не трудитесь. У одних моих знакомых американцев есть в Париже небольшая типография, я с ними уже договорился, они мне ее напечатают.

— Но такое издание едва ли обеспечит книге сбыт, и рецензий не будет.

— А я за рецензиями не гонюсь и на сбыт не рассчитываю. Мне нужно совсем мало экземпляров, только послать друзьям в Индию да для тех немногих знакомых во Франции, которых она может заинтересовать. Особого значения она не имеет. Я напишу ее для того, чтобы вытряхнуть из головы весь этот материал, а опубликовать хочу потому, что по-настоящему судить о произведении можно, мне кажется, только когда увидишь его напечатанным.

— Готов согласиться с обоими вашими доводами.

Мы уже кончили завтракать. Я попросил счет. Официант подал его мне, а я передал Ларри.

— Раз уж вы решили бросить ваши деньги на свалку, можете, черт возьми, заплатить за мой завтрак.

Он рассмеялся и заплатил. От долгого сидения ноги у меня затекли и еле двигались, спина разболелась. Хорошо было выйти на улицу и вдохнуть свежий, чистый воздух осеннего утра. Небо голубело. Авеню Клиши, ночью неуютная и убогая, словно приосанилась, как изможденная накрашенная женщина, когда подражает легкой девичьей походке, и выглядела вполне приятно. Я остановил проезжавшее такси.

— Вас подвезти? — спросил я Ларри.

— Нет. Я спущусь к реке, выкупаюсь там в каком-нибудь бассейне, а потом мне нужно в библиотеку, порыться в справочниках.

Мы простились. Я посмотрел, как он пересекает улицу большими, упругими шагами. Сам же, будучи не столь вынослив, сел в такси и вернулся к себе в гостиницу. Часы у меня в номере показывали начало девятого.

— Нечего сказать, в хорошенькое время пожилой джентльмен является домой, — укоризненно заметил я, обращаясь к обнаженной даме (под стеклянным колпаком), с 1813 года возлежавшей на ампирных часах в причудливой и, на мой взгляд, чрезвычайно неудобной позе.

Она продолжала разглядывать свое позолоченное бронзовое лицо в позолоченном бронзовом зеркале, а часы знай себе твердили «тик-так». Я пустил в ванной горячую воду. Полежал в ванне, пока вода не остыла, а потом растерся, проглотил таблетку снотворного и, взяв с тумбочки первый попавшийся томик, читал «Морское кладбище» Валери, пока не уснул.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

I

Полгода спустя, апрельским утром, когда я работал в кабинете на крыше моего дома в Кап-Ферра, ко мне поднялась горничная и сказала, что меня хочет видеть полиция из Сен-Жана (ближайшего городка). Я ненавижу, когда меня прерывают. И зачем я им понадобился? Совесть моя была чиста: на нужды благотворительности

я уже подписался. Мне тогда выдали квитанцию, которую я хранил в автомобиле, так что, если меня останавливали за превышение скорости или за остановку в неподобающем месте, я, доставая права, как бы нечаянно вытаскивал и ее и таким образом отделялся вежливым предупреждением со стороны блюстителей закона. Скорее всего, подумал я, на мою горничную или кухарку поступил анонимный донос, что у нее не в порядке документы, — такие милые шутки во Франции не редкость; будучи в хороших отношениях с местными полицейскими, которым я на прощание всегда подносил стакан вина, я и тут не предвидел особых затруднений. Оказалось, однако, что эта пара (они всегда работали парами) явилась ко мне по совсем другому делу.

Мы, как водится, поздоровались за руку и справились о здоровье друг друга, а затем старший из них — назывался он бригадир и обладал внушительного вида усами — достал из кармана блокнот. Полистав его грязным большим пальцем, он спросил:

— Говорит вам что-нибудь такое имя: Софи Макдональд?

— Одну женщину с такой фамилией я знаю, — ответил я осторожно.

— Мы только что имели телефонный разговор с полицейским управлением в Тулоне. Главный инспектор срочно вызывает вас туда.

— Зачем? — спросил я. — С миссис Макдональд я знаком еле-еле.

Я уже решил, что она попала в какую-нибудь историю, по всей вероятности связанную с опиумом, но не понимал, какое отношение это может иметь ко мне.

— Это меня не касается. Ваша связь с ней установлена неопровержимо. Она пять дней не появлялась у себя на квартире, а теперь в гавани вытащили из воды тело, и полиция имеет основания полагать, что это она. Вам предлагается опознать ее.

Я передернулся как от озноба. Впрочем, особенно удивлен я не был. При такой жизни, какую она вела, легко было допустить, что в минуту упадка она покончит с собой.

— Но ее же ничего не стоит опознать по одежде и по документам?

— Она была найдена раздетой догола, с перерезанным горлом.

— Боже милостивый! — произнес я в ужасе. И тут же

стал соображать. Кто их знает, наверно, они могут по-тащить меня туда силой, так уж лучше подчиниться добровольно. — Хорошо. Приеду первым же поездом.

Я посмотрел расписание и увидел, что поспеваю на поезд, прибывающий в Тулон в шестом часу. Бригадир сказал, что известит об этом главного инспектора по телефону, и просил меня по приезде тотчас явиться в полицию. Больше я в тот день не работал. Я сложил в саквояж все, что мне могло понадобиться, и после второго завтрака поехал на вокзал.

II

Когда я явился в штаб-квартиру тулонской полиции, меня сразу провели в кабинет главного инспектора. Он сидел за столом, грузный, смуглолицый и мрачный, видимо — корсиканец. Окинув меня, вероятно по привычке, подозрительным взглядом, он заметил ленточку ордена Почетного легиона, которую я предусмотрительно приколот к петлице; с елейной улыбкой он предложил мне сесть и стал многословно извиняться за то, что потревожил столь заслуженного человека. Я в том же тоне заверил его, что почту за счастье быть ему полезным. Затем мы перешли к делу. Теперь, когда он заговорил, глядя на разложенные перед ним бумаги, голос его опять звучал резко и нагло.

— История не из приятных. У этой Макдональд была прескверная репутация. Пьяница, наркоманка, нимфоманка. Спала не только с матросами, а и с местными подонками тоже. Как это возможно, что человек вашего возраста и с вашим положением был с ней знаком?

Мне очень хотелось ответить, что это не его дело, но я проштудировал сотни детективных романов и знал, что дерзить полиции не рекомендуется.

— Я знал ее очень мало. Познакомился с ней в Чикаго, когда она была еще девочкой. Позднее она там же вышла замуж за вполне порядочного человека. Потом года два назад я встретил ее в Париже — у нас оказались общие знакомые.

Я все думал, как он вообще мог связать меня с Софи, но тут он пододвинул ко мне какую-то книгу.

— Найдена в ее комнате. Если вы потрудитесь взглянуть на посвящение, то согласитесь, что оно едва ли подтверждает ваши слова о том, что вы с ней едва знакомы.

Это был мой роман во французском переводе, тот самый, который она увидела в витрине и просила меня надписать. Под моей фамилией стояло: «Mignonne, allons voir si la rose» — первое, что тогда пришло мне в голову. Выглядело это, и правда, несколько интимно.

— Если вы думаете, что я был ее любовником, то ошибаетесь.

— Это меня не интересует, — сказал он и, вдруг подмигнув, добавил: — К тому же, не в обиду вам будь сказано, судя по тому, что я слышал о ее склонностях, вы, пожалуй, были не в ее вкусе. Но всякому ясно, что постороннюю женщину вы бы не назвали Mignonne.

— Эта строчка, господин комиссар, начало знаменитого стихотворения Ронсара, чьи стихи, конечно же, известны такому образованному и культурному человеку, как вы. А написал я ее, потому что был уверен, что ей это стихотворение известно и она вспомнит дальнейшие строки и, возможно, поймет, что жизнь, которую она ведет, мягко выражаясь, недостойна.

— Ронсара я, разумеется, читал в школе, но теперь я по горло завален работой и признаюсь, тех строк, о которых вы говорите, что-то не припоминаю.

Я прочел ему первую строфу и, отлично понимая, что он даже имя Ронсара слышит первый раз в жизни, не опасался, что он может вспомнить и последнюю строфу, которую едва ли можно истолковать как призыв к праведной жизни ¹.

¹ Пойдем, возлюбленная, взглянем
На эту розу, утром ранним
Расцветшую в саду моем.
Она, в пурпурный шелк одета,
Как ты, сияла в час рассвета
И вот уже увяла днем.
В лохмотьях пышного наряда —
О, как ей мало места надо!
Она мертва, твоя сестра.
Пощады нет, мольба напрасна,
Когда и то, что так прекрасно,
Не доживает до утра.
Отдай же молодость веселью!
Пока зима не гонит в келью,
Пока ты вся еще в цвету,
Лови летящее мгновенье —
Холодной вьюги дуновенье,
Как розу, губит красоту.

(Перевод В. Левика.)

— Она, видимо, была не без образования. Мы нашли в ее комнате с десяток детективных романов и несколько книжек со стихами. Там был Бодлер, и Рембо, и еще на английском языке какой-то Элиот. Он что, известный поэт?

— Очень.

— У меня времени нет читать стихи. Да я по-английски и не читаю. Если он хороший поэт, жаль, что он не писал по-французски, чтобы его могли читать образованные люди.

Я представил себе, как мой главный инспектор читает «Бесплодную землю», и мысленно порадовался. Вдруг он перебросил мне через стол любительский снимок.

— Это кто, вы не знаете?

Я сразу узнал Ларри. Он был в купальных трусах, и я догадался, что снимок сделан в то лето, когда он приезжал к Изабелле и Грэй в Динар. Первым моим побуждением было сказать: «Не знаю», — меньше всего мне хотелось, чтобы Ларри оказался замешан в эту гадостную историю; но я подумал, что, если полиция дознается, кто это, мои слова могут быть истолкованы как желание что-то скрыть.

— Это Лоренс Даррел, американский гражданин.

— Единственная фотография, найденная среди вещей этой женщины. В каких они были отношениях?

— Они росли в одном и том же городке под Чикаго. Друзья детства.

— Но это снимок недавний, сделан, как я подозреваю, на одном из курортов на севере или на западе Франции. Где именно — это мы узнаем без труда. Кто он такой, этот человек?

— Писатель, — ответил я храбро. Инспектор чуть вздернул мохнатые брови, из чего я заключил, что люди моей профессии в его глазах отнюдь не безупречны по части нравственности. — Человек со средствами, — добавил я, чтобы прибавить ему респектабельности.

— А где он сейчас?

Опять я хотел сказать, что не знаю, и опять решил, что это может хуже запутать дело. У французской полиции, может быть, немало грехов, но найти нужного им человека они умеют быстро.

— Он живет в Санари.

Инспектор поднял голову, явно заинтересованный.

— Где?

Я помнил, что в конце нашего последнего парижского разговора Ларри сказал, что Огюст Котте сдал ему свой домик, и, вернувшись к рождеству на Ривьеру, написал ему, приглашая к себе погостить, но Ларри, как и следовало ожидать, отказался. Я дал инспектору его адрес.

— Позвоню в Санари и прикажу, чтобы его доставили сюда. Пожалуй, есть смысл допросить его.

Было ясно как день, что инспектор готов заподозрить Ларри в убийстве, но меня это только посмешило. Я был уверен, что ему ничего не стоит доказать свою полную непричастность к этому делу. Я попросил инспектора рассказать мне все, что известно о страшной гибели Софи, но он мог только добавить кое-какие подробности к тому, что я уже знал. Тело вытащили на берег два рыбака. «Раздетой догола» было романтической гиперболой моего сен-жанского полицейского. Убийца оставил ей поясик и лифчик. Если она была одета так же, как в день нашей последней встречи, значит, он стянул с нее только свитер и брючки. Оpoznать ее оказалось невозможно, и полиция дала объявление в местной газете. В ответ на него в полицию явилась женщина, державшая в одном из глухих переулков меблированные комнаты, куда мужчинам разрешалось приводить женщин и мальчиков. Она служила в полиции и поставляла сведения о том, кто у нее бывает и зачем. Несчастную Софи тем временем выставили из гостиницы на набережной, где она жила, когда мы с ней виделись, — даже ко всему притерпевшийся владелец не выдержал столь скандального поведения. Она попросила ту женщину сдать ей спальню с крошечной гостиной. Это помещение выгоднее было сдавать на короткое время, по два-три раза в ночь, но Софи предложила хорошую плату, и хозяйка согласилась брать с нее помесечно. И вот она явилась в полицию и рассказала, что ее жиличка уже несколько дней как отсутствует. Она не тревожилась, решила, что та отлучилась в Марсель или в Вильфранш, куда прибыли корабли британского торгового флота, — в таких случаях туда слетаются женщины, молодые и старые, со всего побережья; но потом она прочла объявление в газете и подумала, не о ее ли жиличке идет речь. Ей показали тело, и она после минутного колебания признала в нем Софи Макдональд.

— Но раз тело уже опознано, зачем вы обратились ко мне?

— Мадам Белле — честнейшая женщина и с безупречной репутацией, — сказал инспектор, — но у нее могли быть свои, неизвестные нам причины опознать покойную; да и вообще я считаю, что тут требуются показания кого-то из ее личных знакомых, так будет вернее.

— Как вы думаете, есть у вас шансы изловить убийцу? Инспектор пожал грузными плечами.

— Мы, конечно, ведем расследование. Мы уже опросили целый ряд лиц в тех притонах, где она бывала. Ее мог убить из ревности какой-нибудь матрос, уже отбивший отсюда со своим кораблем, или какой-нибудь бандит, позарившийся на ее деньги. Как выяснилось, она всегда имела при себе некую сумму, которая такого человека могла прельстить. Возможно, кое-кто и знает, на кого может пасть подозрение, но из тех людей, среди которых она вращалась, едва ли кто назовет подозреваемого, разве что выскажется в его защиту. При том, с какой швалью она зналась, такого конца вполне можно было ожидать.

Сказать на это мне было нечего. Инспектор просил меня прийти завтра к девяти часам утра, он к тому времени успеет порасспросить «того господина с фотографии», а затем полицейский проводит нас в морг.

— А как насчет похорон?

— Если после опознания тела вы, как друзья покойной, пожелаете сами похоронить ее и взять на себя сопряженные с этим расходы, вам будет выдано соответствующее разрешение.

— Говорю с уверенностью и за себя, и за мистера Даррела, мы хотели бы получить его как можно скорее.

— Вполне вас понимаю. Это печальная история, и желательно, чтобы несчастная женщина была предана земле без проволочек. Кстати говоря, у меня имеется карточка отличного гробовщика, он вам все это устроит быстро и за умеренную плату. Я напишу на ней несколько слов, чтобы он отнесся к вам с должным вниманием.

Я не сомневался, что из суммы, которую я заплачу, ему достанутся комиссионные, однако тепло поблагодарил его и, когда он почтительно проводил меня до двери, сразу направился по указанному на карточке адресу. Похоронных дел мастер был понятлив и деловит. Я выбрал гроб, не самый дешевый, но и не самый дорогой, принял предложение достать для меня пару венков у знакомого владельца цветочного магазина — «чтобы изба-

вить мосье от тягостной обязанности и из уважения к покойнице», как он выразился — и договорился, что катафалк подадут к мертвецкой на следующий день в два часа. Я невольно отдал дань его деловой хватке, когда он сообщил мне, что насчет могилы я могу не беспокоиться, он сделает все, что нужно, и более того, «мадам, надо полагать, была протестанткой», так он позаботится о том, чтобы на кладбище нас встретил пастор и прочел заупокойную службу. Но поскольку я иностранец и он видит меня впервые, я, разумеется, не буду в претензии, если он попросит меня о любезности — внести задаток. Цену он заломил неожиданно высокую — видимо, с тем расчетом, что я буду торговаться, и, когда я без дальних слов достал чековую книжку и выписал чек, был явно удивлен и, кажется, даже слегка разочарован.

Я снял номер в гостинице и на следующее утро опять пришел в полицию. Меня попросили обождать, а через некоторое время предложили пройти в кабинет главного инспектора. Там, на том же стуле, на котором я сидел накануне, сидел Ларри, очень серьезный и убитый. Инспектор приветствовал меня сердечно, как родного брата после долгой разлуки.

— Ну вот, *mon cher monsieur*, ваш друг как нельзя более откровенно ответил на все вопросы, которые я задал ему по долгу службы. У меня нет оснований не верить его заявлению, что он не видел эту несчастную женщину уже восемнадцать месяцев. Он вполне удовлетворительно отчитался в том, где провел последнюю неделю, а также объяснил, каким образом его снимок был найден в ее комнате. Снимок этот был сделан в Динаре и оказался у него в кармане, когда он как-то с ней завтракал. Из Санари о нем поступили самые благоприятные сведения, да я и сам, скажу без ложной скромности, неплохо разбираюсь в людях; я убежден, что он неспособен на преступление такого рода. Я решился высказать вашему другу сожаление, что женщина, которую он знал с детства, пользовавшаяся всеми преимуществами, которые дает нормальная семейная жизнь, так плохо кончила. Но такова жизнь. А теперь, господа, один из моих людей проводит вас в морг, и после того как вы опознаете тело, вы вольны проводить время как вам угодно. Советую вам сытно позавтракать. У меня тут имеется карточка лучшего тулонского ресторана, я напишу на ней пару слов, и это обеспечит вам самое внимательное обслуживание. После

такого тягостного переживания хорошая бутылка вина обоим вам будет полезна.

Теперь доброжелательство исходило от него, как сияние. Полицейский привел нас в морг. В этом учреждении дела шли не слишком бойко. Всего один стол был занят. Мы подошли к нему, и служитель откинул край простыни, прикрывавший голову. Зрелище было не из приятных. Морская вода уничтожила завивку, и крашенные серебристые волосы волглými прядками облепили череп. Лицо отвратительно раздулось, на него было жутко смотреть, но это, без всякого сомнения, было лицо Софи. Служитель стянул простыню пониже и показал нам то, чего мы предпочли бы не видеть: страшную рану на шее, от уха до уха.

Мы вернулись в полицию. Инспектор был занят, но мы сказали то, что от нас требовалось, его помощнику; тот вышел и скоро вернулся с нужными бумагами. Мы отнесли их гробовщику.

— Теперь пойдем выпьем, — сказал я.

Ларри не проронил ни слова с тех пор, как мы ушли от инспектора, только когда мы вернулись в полицию, подтвердил, что опознал в покойнице Софи Макдональд. Я повел его на набережную, в тот кабачок, где мы с ней сидели около года назад. Дул сильный мистраль, и вода в гавани, обычно спокойная, была вся в клочьях белой пены. Рыбачьи лодки покачивались у причалов. Солнце ярко светило, и, как всегда во время мистраля, все вокруг приобрело необычайную отчетливость, словно увиденное в хорошо отрегулированный бинокль. Пульсирующая сила, разлитая в этой картине, била по нервам. Я выпил бренди с содовой, Ларри же не притронулся к своему стакану. Он сидел в хмуром молчании, и я не тревожил его.

Через некоторое время я посмотрел на часы.

— Пошли, поедим чего-нибудь, — сказал я. — Нам к двум часам надо быть в мертвецкой.

— Да, я голоден. Я утром не поел.

Судя по тому, как выглядел инспектор, он знал толк в еде, и я повел Ларри в рекомендованный им ресторан. Я помнил, что Ларри почти не ест мяса, и заказал омлет и жареного омара, потом попросил карту вин и, опять-таки следуя совету инспектора, выбрал одну из лучших марок. Вино принесли, я налил Ларри полный стакан.

— Пейте, и никаких гвоздей,— сказал я.— Может, оно вам подскажет тему для разговора.

Он послушно осушил стакан.

— Шри Ганеша говорил, что молчание — тоже беда,— заметил он негромко.

— Это приводит на ум веселое сборище высокообразованных преподавателей Кембриджского университета.

— Боюсь, вам придется одному расплачиваться за эти похороны,— сказал он.— У меня нет денег.

— Не возражаю,— отвечал я и вдруг понял, что кроется за его словами.— Неужели вы в самом деле совершили эту глупость?

Он чуть помедлил с ответом. В глазах его мелькнул знакомый мне насмешливый огонек.

— Неужели расстались со своими деньгами?

— Оставил себе только на что дожить, пока не прибыл мой пароход.

— Какой еще пароход?

— В Санари в соседнем доме со мной живет агент линии грузовых судов, которые курсируют между Ближним Востоком и Нью-Йорком. Ему сообщили по телеграфу из Александрии, что с одного судна, скоро прибывающего в Марсель, пришлось списать двух заболевших матросов, и предложили подыскать двух человек на их место. Мы с ним приятели, и он обещал меня взять. На прощание я подарю ему мой старый «ситроен». Когда я взойду на судно, у меня не будет ничего, кроме той одежды, что на мне, и чемодана с кое-какими вещами.

— Что ж, деньги ваши и дело ваше. Вы свободны в своих поступках.

— Свободен, вот это верно. Никогда еще мне не было так хорошо и спокойно. В Нью-Йорке получу жалованье, будет на что жить, пока найду работу.

— А как ваша книга?

— Книга? Закончена и напечатана. Я составил список тех, кому просил ее послать, на днях получите.

— Спасибо.

Говорить было как будто не о чем, и мы доели завтрак в дружелюбном молчании. Я заказал кофе. Ларри закурил трубку, я — сигару. Я задумчиво смотрел на него. Почувствовав мой взгляд, он глянул на меня и лукаво подмигнул.

— Если вам очень хочется сказать мне, что я круглый идиот, не стесняйтесь, я не обижусь.

— Нет, такого желания у меня нет. Я только подумал, что, может быть, ваша жизнь сложилась бы более гармонично, если бы вы женились и обзавелись семьей, как все люди.

Он улыбнулся. Я, наверно, уже раз двадцать упоминал, какая чудесная у него была улыбка — милая, доверчивая, уютная, отражавшая всю его подкупающую прямо-ту и правдивость; и все же я должен упомянуть о ней еще раз, потому что сейчас в ней было вдобавок что-то ласковое и грустное.

— Теперь уж поздно. Из всех женщин, которых я встречал, я мог бы жениться только на бедной Софи.

Я изумился.

— И вы это говорите после всего, что случилось?

— У нее была удивительная душа — пылкая, добрая, устремленная ввысь. У нее были высокие идеалы. Даже в том, как она под конец рвалась навстречу гибели, было какое-то трагическое величие.

Я помолчал, не зная, как отнестись к этим странным суждениям.

— Почему же вы еще тогда на ней не женились?

— Она была ребенком. Сказать по правде, когда я ходил в дом к ее деду и мы с ней читали стихи под старым вязом, я и сам не понимал, сколько в этой угловатой девочке заложено душевной красоты.

Я с удивлением отметил про себя, что он даже не упомянул об Изабелле. Не мог же он забыть, что был с ней помолвлен. А раз так, значит, он, очевидно, не придавал этому эпизоду никакого значения, считал, что оба они были слишком молоды, сами не знали, чего хотят. Я был готов поверить, что ему ни разу даже в голову не пришло, что она с тех самых пор по нему страдает.

Нам пора было двигаться. Мы дошли до площади, где Ларри оставил свой автомобиль, теперь уже порядком обветшавший, и поехали в морг. Похоронных дел мастер оказался на высоте. Под безоблачным небом, на резком ветру, гнувшем кладбищенские кипарисы, вся процедура совершилась без сучка без задоринки и от этого показалась еще ужаснее. Когда все кончилось, он сердечно пожал нам руки.

— Ну вот, господа, надеюсь, вы довольны. Все сошло отлично.

— Отлично, — подтвердил я.

Прошу мосье не забыть, что я всегда к его услугам, если потребуется. Обслуживаем и загородных клиентов.

Я поблагодарил его. У ворот кладбища Ларри спросил, нужен ли он мне еще зачем-нибудь.

— Да нет.

— Я бы хотел как можно скорее вернуться в Санари.

— Забросьте меня сначала в мою гостиницу, ладно?

По дороге мы не сказали ни слова. Он подвез меня к подъезду, мы простились, и он укатил. Я заплатил по счету, собрал саквояж и взял такси на вокзал. Мне тоже хотелось поскорее уехать.

III

Через несколько дней я выехал в Англию. По пути я не собирался нигде останавливаться, но, после того что случилось, мне захотелось повидать Изабеллу, и я решил на сутки задержаться в Париже. Я послал ей телеграмму, справляясь, могу ли в такой-то день прийти часа в четыре и остаться у них пообедать, и, прибыв в свою гостиницу, нашел там ответную записку: обедают они с Грэем в гостях, но она будет рада, если я зайду, только не раньше половины шестого, а то у нее примерка.

Было холодно, то и дело принимался идти дождь, и я подумал, что Грэй навряд ли поехал в Мортфонтен играть в гольф и сидит дома. Это не входило в мои планы, я хотел застать Изабеллу одну, но первые же ее слова меня успокоили: Грэй в клубе путешественников, играет в бридж.

— Я ему велела не засиживаться там, если он хочет вас повидать, но обедать мы приглашены к девяти, значит, можно ехать к половине десятого, так что время поболтать у нас будет. Мне много чего надо вам рассказать.

Они уже договорились о сдаче квартиры, распродажа коллекций Эллиота состоится через две недели. Им хочется на ней присутствовать, так что пока они перебираются в «Риц». А потом — домой, в Америку. Изабелла решила продать все, кроме современных картин, которые висели у Эллиота в Антибе. Сама она ими не дорожила, но рассудила, и вполне правильно, что они ей пригодятся в их новом жилище — для престижа.

— Жаль, что дядя Эллиот не держался более передовых взглядов — ну, знаете, Пикассо, Матисс, Руо. То,

что он собрал, конечно, по-своему неплохо, но боюсь, как бы оно не показалось старомодным.

— На этот счет вы можете не беспокоиться. Через несколько лет появятся новые художники, и Пикассо с Матиссом уже будут казаться не более современными, чем ваши импрессионисты.

У Грэй деловые переговоры близятся к концу, сообщила она, ее капитал позволит ему вступить в одну процветающую компанию на правах вице-президента. Компания связана с нефтью, и жить они будут в Далласе.

— Первым делом нужно будет подыскать подходящий дом. Обязательно с садом, чтобы Грэй было где копаться после работы, и с очень большой гостиной, чтобы я могла устраивать приемы.

— А мебель Эллиота вы не хотите с собой взять?

— Мне кажется, это не совсем то, что нужно. У меня все будет очень современное, возможно — с легким налетом мексиканского, для самобытности. В Нью-Йорке сразу надо будет выяснить, кто сейчас считается лучшим специалистом по внутренней отделке.

Лакей Антуан поставил на стол поднос с целой батареей бутылок, и Изабелла, помня, что девять мужчин из десяти считают, что умеют приготовить коктейль лучше, чем любая женщина (так оно, кстати, и есть), со свойственным ей тактом попросила меня смешать нам по коктейлю. Я налил сколько нужно джину и ликера, а затем добавил капельку абсента, превращающую скучный сухой мартини в напиток, на который олимпийские боги несомненно променяли бы свой прославленный домашнего приготовления нектар — мне он всегда представлялся чем-то вроде кока-колы. Подавая бокал Изабелле, я заметил на столе какую-то книгу.

— Ага, — сказал я. — Вот и сочинение Ларри.

— Да, принесли сегодня утром, но я была так занята — надо было сделать тысячу дел, а завтракала я не дома, а потом поехала к Молинэ. Просто не знаю, когда у меня до нее дойдут руки.

Я с грустью подумал, как часто бывает, что писатель работает над книгой много месяцев, вкладывает в нее всю душу, а потом она лежит неразрезанная и ждет, пока у читателя выдастся день, когда ему совсем уж нечего будет делать. Томик был страниц на триста, хорошо отпечатан и со вкусом переплетен.

— Вы, наверно, знаете, что Ларри провел всю зиму в Санари?

— Да, мы с ним только на днях виделись в Тулоне.

— Правда? А что вы там делали?

— Хоронили Софи.

— Разве Софи умерла? — вскрикнула Изабелла.

— Иначе зачем бы нам было ее хоронить?

— Неуместные шутки. — Она помолчала. — Не стану притворяться, будто мне ее жаль. Надо полагать, сгубила себя пьянством и наркотиками?

— Нет, ей перерезали горло, раздели догола и бросили в море.

Сам не знаю, почему я, как и бригадир из Сен-Жана, допустил тут некоторое преувеличение.

— Какой ужас. Несчастливая. Конечно, при такой жизни она неизбежно должна была плохо кончить.

— То же самое сказал и полицейский комиссар в Тулоне.

— А они знают, кто это сделал?

— Нет. А я знаю. По-моему, ее убили вы.

Она изумленно воззрилась на меня.

— Какие глупости. — И добавила с едва заметным смешком: — Не угадали. У меня железное алиби.

— Прошлым летом я встретил ее в Тулоне. Мы с ней долго разговаривали.

— Она была трезвая?

— В достаточной мере. Она мне объяснила, почему так получилось, что она исчезла за несколько дней до того, как должна была выйти замуж за Ларри.

В лице Изабеллы что-то дрогнуло и застыло. Я в точности пересказал ей то, что узнал от Софи. Она слушала настороженно.

— Я с тех пор много об этом думал, и чем больше думал, тем больше убеждался, что дело тут нечисто. Я завтракал у вас десятки раз, и ни разу у вас к завтраку не подавали водки. В тот день вы завтракали одна. Так почему на подносе вместе с чашкой от кофе стояла бутылка зубровки?

— Дядя Эллиот только что мне ее прислал. Я хотела проверить, правда ли она такая вкусная, как мне показалось в «Рице».

— Да, я помню, как вы тогда ее расхваливали. Меня это удивило, ведь вы не употребляете крепких напитков —

бережете здоровье. Я еще подумал, что вы нарочно подзадориваете Софи. Издеваетесь над ней.

— Благодарю вас.

— Как правило, вы не опаздываете и не подводите людей, с которыми сговорились встретиться. Так почему вы ушли, когда знали, что Софи заедет за вами и вам предстоит такое важное для нее и интересное для вас дело, как примерка ее подвенечного платья?

— Она же вам сама сказала. У Джоун стали портиться зубы. Наш дантист завален работой, и мне приходилось соглашаться на те часы, которые он предлагал.

— С дантистом обычно договариваются о следующем визите, перед тем как уйти.

— Я знаю. Но утром он позвонил мне, сказал, что принять не может, и предложил перенести визит на три часа дня. Ну, я, конечно, согласилась.

— А почему было не отправить к нему Джоун с гувернанткой?

— Она, бедняжка, боялась. Я знала, что со мной ей будет не так страшно.

— А когда вы вернулись и увидели, что зубровки почти не осталось, а Софи ушла, это вас не удивило?

— Я решила, что ей надоело ждать и она отправилась к Молинэ одна. А когда приехала туда и узнала, что она не появлялась, просто не знала, что и думать.

— А зубровка?

— Ну да, я заметила, что ее сильно поубавилось. Я решила, что ее вышил Антуан, совсем уже собралась с ним поговорить, но ведь он был на жалованье у дяди Эллиота, дружил с Жозефом, ну, я и решила, что не стоит поднимать историю. Работает он очень хорошо, а если изредка пропустит рюмочку, мне ли его осуждать?

— Какая же вы лгунья, Изабелла.

— Вы мне не верите?

— Ни вот настолько.

Она встала и перешла к камину. В нем потрескивали дрова, в такой ненастный день это было особенно приятно. Изабелла стояла, облокотившись одной рукой о каминную полку в грациозной позе, — она умела принимать такие позы как бы непреднамеренно, что меня всегда в ней пленяло. Как большинство элегантных француженочек, она днем ходила в черном, что очень шло к ярким

краскам ее лица; и сейчас на ней было черное платье изысканно простого фасона, эффектно облегавшее ее стройную фигуру. С минуту она молча попыхивала сигаретой.

— В сущности, я могу быть с вами совершенно откровенной. Все сложилось очень неудачно — и то, что мне пришлось уйти, и то, что Антуан оставил на столе бутылку и чашку. Он должен был их унести сразу после моего ухода. Когда я вернулась и увидела, что бутылка почти пуста, я, конечно, поняла, что случилось, а когда Софи исчезла, я не сомневалась, что она запила. А не сказала я этого потому, что не хотелось огорчать Ларри, ему и без того было тошно.

— И вы твердо помните, что не давали Антуану специальных указаний оставить бутылку на столе?

— Конечно.

— Не верю я вам.

— Ну и не надо. — Она со злобой швырнула сигарету в камин. Глаза ее потемнели от ярости. — Ладно, хотите знать правду, так получайте, и ну вас к дьяволу. Да, я это сделала и не жалею, что сделала. Я же вам говорила, что ни перед чем не остановлюсь, лишь бы не дать ей выйти за Ларри. Вы палец о палец не захотели ударить, ни вы, ни Грэй. Вы только пожимали плечами и сетовали, что это ужасная ошибка. Вам было все равно. А мне нет.

— Если б вы ее оставили в покое, она бы сейчас была жива.

— И была бы женой Ларри, и он был бы самым несчастным человеком. Он воображал, что сделает из нее другую женщину. Какие же вы, мужчины, идиоты! Я знала, что рано или поздно она сорвется. Это простым взглядом было видно. Когда мы все вместе завтракали в «Риде», вы сами заметили, в каком состоянии у нее были нервы. Я видела, вы смотрели на нее, когда она пила кофе: рука у нее так дрожала, что она боялась взять чашку одной рукой, ухватила двумя руками, чтобы не расплескать. И как она смотрела на вино, когда официант наливал нам бокалы, — следила за бутылкой этими гадостными своими линялыми глазами, точно змея за цыпленком, ясно было, что она бы душу продала за глоток вина.

Теперь Изабелла смотрела мне прямо в лицо, глаза ее метали молнии. Голос стал хриплым, слова так и насккивали одно на другое.

— Я это задумала, когда дядя Эллиот стал разглагольствовать про эту проклятую польскую водку. Мне ее даром не надо, но я притворилась, будто в жизни не пила такой прелести. Я была уверена — дай ей только случай, и она нипочем не устоит. Потому я и повезла ее на выставку мод. Потому и предложила подарить ей подвенечное платье. В тот день, когда нужно было ехать на последнюю примерку, я сказала Антуану, чтобы подал зубровку к завтраку, а потом сказала, что ко мне должна прийти одна дама, и пусть попросит подождать и предложит ей кофе, а зубровку пусть не убирает — может, ей захочется выпить рюмочку. Джоун я и правда повела к дантисту, но никакого уговора у меня с ним, конечно, не было, и он нас не принял, так я сводила ее в кино, посмотреть журнал. Про себя я решила — если окажется, что Софи не притронулась к водке — ну тогда конечно, я смирюсь и постараюсь с ней подружиться. Я не вру, честное слово даю. Но когда я вернулась и увидела бутылку, то поняла, что поступила правильно. Она сбежала, и уж кто-кто, а я-то знала, что она не вернется.

Изабелла умолкла и тяжело перевела дух.

— Что-то в этом роде я себе и представлял, — сказал я. — Вот видите — я был прав. Вы ее зарезали, все равно что сами взяли нож и полоснули ее по горлу.

— Она была скверная, скверная, скверная. Я рада, что она умерла. — Она бросилась в кресло. — Дайте мне выпить, черт бы вас побрал.

Я смешал ей еще коктейль.

— Дьявол вы, а не человек, — сказала она, протягивая за ним руку. Потом разрешила себе улыбнуться. Улыбка была как у ребенка, когда он знает, что набедокурил, но пробует умилить вас своей наивной прелестью, чтобы вы не рассердились. — Только не говорите Ларри, ладно?

— Ни за что не скажу.

— Честное слово? На мужчин так трудно положиться.

— Обещаю, что не скажу. Да если б и захотел, едва ли мне представится такая возможность: я, скорее всего, никогда больше его не увижу.

Она резко выпрямилась.

— Это почему?

— В настоящую минуту он плывет в Нью-Йорк на грузовом пароходе либо матросом, либо кочегаром.

— Нет, правда? Поразительное существо. Он был здесь с месяц назад, что-то ему нужно было проверить в Публич-

ной библиотеке для своей книги, но он ни слова не сказал о том, что едет в Америку. Я рада, значит, мы будем встречаться.

— Сомневаюсь. Его Америка будет так же далеко от вашей, как пустыня Гоби.

И я рассказал ей, что Ларри сделал и что намерен делать. Она слушала меня раскрыв рот. Удивление и ужас были написаны на ее лице. Время от времени она перебивала меня восклицанием: «Он с ума сошел. С ума сошел». Когда я замолчал, она опустила голову, и две крупные слезы скатились у нее по щекам.

— Вот теперь я действительно его потеряла.

Она отвернулась от меня и заплакала, уткнувшись лицом в спинку кресла и уже не скрывая своего горя. Я был бессилен ей помочь. Я не знал, какие несуразные пустые надежды она еще лелеяла, пока я не сокрушил их своим рассказом. Я смутно догадывался, как нужно ей было хоть изредка его видеть или хотя бы знать, что он — часть ее мира, — это казалось ей связующей нитью, пусть самой тоненькой, которую его последний поступок оборвал, так что она почувствовала себя навеки покинутой. Какие же напрасные сожаления ее терзают? Я подумал — пусть плачет, ей станет легче. Я взял со стола книгу Ларри и посмотрел оглавление. Мой экземпляр еще не прибыл, когда я уезжал с Ривьеры, теперь я мог получить его только через несколько дней. Книга оказалась для меня полной неожиданностью. Это был сборник очерков, примерно такого же объема, как эссе Литтона Стрэчи о «Выдающихся викторианцах», и тоже о всяких известных личностях. Выбор их озадачил меня. Был там очерк о Сулле, римском диктаторе, который достиг неограниченной власти, а потом отказался от нее и вернулся к частной жизни; был очерк про Акбара, великого могола, завоевателя целой империи; и про Рубенса, и про Гете, и про лорда Честерфилда, автора знаменитых писем. Чтобы написать эти очерки, нужно было прочесть тысячи страниц, и меня уже не удивляло, что работа над книгой заняла столько времени, но я не мог взять в толк, почему Ларри не пожалел этого времени и почему выбрал именно данных героев. А потом мне пришло в голову, что каждый из них по-своему достиг в жизни наивысшего успеха, и я догадался, что это-то и привлекло внимание Ларри. Ему захотелось дознаться, что же такое в конечном счете успех.

Я раскрыл книгу наугад и стал читать — мне было интересно, как он пишет. Язык ученого, но ясный и естественный. Ни следа претенциозности или педантизма, слишком часто отличающих писания дилетантов. Чувствовалось, что он искал общества лучших писателей мира так же прилежно, как Эллиот Темплтон искал общества знати. Меня прервал шумный вздох Изабеллы. Она выпрямилась в кресле и с гримасой отвращения допила нагретый коктейль.

— Хватит реветь, и так глаза, наверно, ни на что не похожи. — Она достала из сумки зеркальце и с тревогой взгляделась в себя. — Ну да, пузырь со льдом на полчаса, вот что мне нужно. — Она напудрилась, подмазала губы. Потом задумчиво посмотрела на меня. — Вы теперь будете намного хуже обо мне думать?

— А для вас это имеет значение?

— Представьте себе, имеет. Я не хочу, чтобы вы думали обо мне плохо.

Я усмехнулся.

— Дорогая моя, я личность в высшей степени аморальная. Когда я хорошо отношусь к человеку, я могу скорбеть о его грехах, но на мое отношение к нему это не влияет. Вы по-своему неплохая женщина, и притом в вас бездна прелести и очарования. Ваша красота меня радует, хоть я и знаю, что она в большой мере зиждется на удачном сочетании безупречного вкуса и неколебимого упорства. Для полного совершенства вам недостает только одного...

Она ждала улыбаясь.

— Нежности.

Улыбка погасла, и она метнула на меня взгляд, начисто лишенный приязни, но прежде чем она собралась ответить, в комнату ввалился Грэй. За три года, проведенных в Париже, Грэй сильно прибавил в весе, его красное лицо стало еще краснее, и волосы заметно поредели, но он пребывал в отменном здоровье и в отличном настроении. Он был искренне рад меня видеть. Разговаривал он одними штампами. Произнося самые заезженные речения, явно был убежден, что только что сам их выдумал. Он не ложился спать, а «отправлялся на боковую» и спал не иначе, как «сном праведника», если шел дождь, так непременно «лило как из ведра», и Париж до конца оставался для него «веселым городком». Но он был такой незлобивый и нетребовательный, такой

честный, надежный и скромный, что не чувствовать к нему симпатии было невозможно. Я был от души к нему расположен. Сейчас он был всецело поглощен предстоящим отъездом.

— Ох и здорово будет опять впрячься в работу,— говорил он.— Я просто жду не дождусь.

— Значит, все у вас решено?

— Подписи своей я еще не поставил, но дело верное. Тот парень, с которым я вхожу в долю, был моим соседом по комнате в колледже, он малый первый сорт и свинью мне не подложит, это я знаю. Но как только мы прибудем в Нью-Йорк, я слетаю в Техас, своими глазами проверю, как там что, и, можете быть уверены, уж докопаюсь, нет ли там какого подвоха, прежде чем выложить хоть доллар из тех деньжат, что мне дала Изабелла.

— Грэй, знаете ли, превосходный бизнесмен,— сказала она.

— Да уж не хуже других,— улыбнулся он.

Он принялся, как всегда слишком многословно, рассказывать мне о фирме, в которую вступает, но я в таких делах смыслю мало и понял, в сущности, одно: что у него есть все шансы нажить уйму денег. Он так увлекся своим рассказом, что даже предложил Изабелле:

— Слушай, на черта нам сдался этот званый обед? Может, посидим тихо-мирно вдвоем в ресторане?

— Ну что ты, милый, как можно. Ведь обед устроили в нашу честь.

— Я-то, во всяком случае, не мог бы составить вам компанию,— вмешался я.— Когда я узнал, что вечер у вас занят, я позвонил Сюзанне Рувье и стоворился с ней повидаться.

— Кто такая Сюзанна Рувье? — спросила Изабелла. Мне захотелось ее поддразнить.

— Так, одна из девиц, которые остались мне в наследство от Ларри.

— Я всегда подозревал, что он где-то прячет хорошенькую модисточку,— подхватил Грэй с добродушным смехом.

— Вздор,— отрезала Изабелла.— О половой жизни Ларри мне все известно. Ее просто нет.

— Ну, раз так, выпьем на прощанье,— сказал Грэй.

Мы выпили, и я с ними простился. Они вышли проводить меня в переднюю, и, пока я надевал пальто, Изабелла продела руку под локоть Грэя и, ластясь, загляну-

ла ему в глаза с выражением, отлично имитирующим ту нежность, в недостатке которой я ее обвинил.

— Скажи мне, Грэй, только честно, по-твоему, я бесчувственная?

— Что ты, родная, с чего ты взяла? Тебе это кто-нибудь сказал?

— Нет.

Она повернулась к нему спиной и показала мне язык, что Эллиот несомненно счел бы весьма неаристократичным.

— Это не то же самое,— шепнул я, выходя на площадку, и закрыл за собою дверь.

IV

Когда я опять оказался в Париже, Мэтьюрины уже уехали и в квартире Эллиота жили чужие люди. Я очень чувствовал отсутствие Изабеллы. На нее приятно было смотреть, с ней легко говорилось. Она была сметлива и незлопамятна. Больше я никогда ее не видел. Я не люблю и ленюсь писать письма, Изабелла же просто не умеет их писать. Если нельзя общаться по телефону или по телеграфу, она предпочитает вообще не общаться. К рождеству я получил от нее открытку с изображением красивого дома с колоннами, окруженного виргинскими дубами,— очевидно, это был тот самый дом, который они не смогли продать, когда так нуждались в деньгах, а теперь, видимо, раздумали продавать. Судя по штемпелю, открытка была опущена в Далласе, из чего я заключил, что дело сладилось и они водворились на новом месте.

В Далласе я не бывал, но думаю, что там, как и в других крупных американских городах, имеется жилой район, откуда на машине рукой подать и до делового центра, и до загородного клуба и где люди со средствами обитают в прекрасных домах с большими садами и из окон гостиной открывается красивый вид на окрестные горы и доли. В таком-то районе и в таком доме, отделанном от подвала до чердака в сверхсовременном духе самым модным нью-йоркским декоратором, наверняка и живет теперь Изабелла. Надо надеяться, что ее Ренуар и ее Гоген, ее натюрморт Мане и пейзаж Моне не выглядят там анахронизмами. Столовая там, без сомнения, достаточно просторная для дамских завтраков с хорошим

вином и первоклассной едой, которые она устраивает довольно часто. Изабелла много чему научилась в Париже. Она не остановила бы свой выбор на этом доме, если бы сразу не оценила, что гостиная отлично подойдет для вечеров с танцами, которые она станет у себя устраивать, пока ее дочки еще не выезжают в свет. А скоро, глядишь, уже пора будет выдавать их замуж. Джоун и Присцилла, конечно же, прекрасно воспитаны, учились в лучших школах, и Изабелла позаботилась о том, чтобы всячески повысить их ценность в глазах приемлемых поклонников. Грэй, надо полагать, стал еще краснее лицом, еще больше обрюзг, облысел и погрузнел; а вот Изабелла, мне кажется, не могла измениться. Она и сейчас красивее своих дочерей. Мэтьюрины, должно быть, стали украшением местного общества и пользуются заслуженной популярностью. Изабелла всегда интересна, изящна, обходительна и тактична, а Грэй — в полном смысле слова Парень Что Надо.

V

Сюзанну Рувье я продолжал изредка встречать до тех пор, пока неожиданная перемена в ее положении не заставила ее покинуть Париж, а тогда она тоже ушла из моей жизни. Как-то днем, года через два после описанных событий, с приятностью проведя часок среди книг в галереях Одеона, я увидел, что у меня осталось свободное время, и решил навестить Сюзанну. Перед этим я не видел ее полгода. Она открыла мне дверь — в заляпанной красками блузе, на большом пальце нацеплена палитра, в зубах кисть.

— Ah, c'est vous, mon cher ami. Entrez, je vous en prie¹.

Немного удивленный непривычной церемонностью ее тона, я вошел в маленькую комнату, служившую и гостиной, и мастерской. На мольберте стоял холст.

— Я так занята, просто вздохнуть некогда, но вы садитесь, а я буду работать дальше. Мне каждая минута дорога. Поверите ли, Мейерхейм устраивает мне персональную выставку, нужно подготовить тридцать картин.

— Мейерхейм? Но это замечательно. Как это вам удалось?

¹ А, это вы, мой друг. Входите, пожалуйста (фр.).

Надо сказать, что Мейерхейм — не какой-нибудь захудалый торговец с улицы Сены, из тех, чьи лавчонки вот-вот прогорят и закроются. Мейерхейм — владелец отличного выставочного зала на имущем берегу Сены и пользуется всемирной известностью. Художник, которого он пригрел, находится на верном пути к успеху.

— Мосье Ашиль привел его посмотреть мои работы, и он нашел, что я очень талантлива.

— *A d'autres, ma vieille*, — сказал я, что в переводе значит примерно: «Расскажи своей бабушке».

Она поглядела на меня и хихикнула.

— Я выхожу замуж.

— За Мейерхейма?

— Еще чего. — Она отложила палитру и кисти. — С утра работаю, можно и отдохнуть. Выпьем-ка мы с вами стаканчик порто, и я вам все расскажу.

Одна из мелких неприятностей парижской жизни состоит в том, что вам в любое время суток могут предложить стаканчик скверного портвейна. С этим нужно мириться. Сюзанна принесла бутылку и два стакана, налила и со вздохом облегчения опустилась на стул.

— Сколько часов простояла на ногах, а у меня ведь расширение вен, боли ужасные. Ну так вот. Жена мосье Ашиля в начале этого года умерла. Она была хорошая женщина и хорошая католичка, но женился он на ней не по любви, а из деловых соображений, и, хоть он очень ее уважал, сказать, что он после ее смерти был безутешен, было бы преувеличением. Сын его женат и преуспевает в семейной фирме, а теперь и дочка сосватана за графа. Правда, бельгийского, но настоящего, без подделки, у него даже есть фамильный замок под Намюром. Мосье Ашиль говорит, что его покойная жена не захотела бы, чтобы из-за нее отложилось счастье двух любящих сердец, и, хоть они еще в трауре, свадьба состоится, как только будет улажена материальная сторона. Мосье Ашилю, конечно, будет скучно одному в их большущем доме в Лилле, ему нужна женщина — не только чтобы о нем заботиться, но и вести весь дом, как того требует его положение. Короче говоря, он попросил меня занять место его покойной жены и выразился так умно: «В первый раз я женился, чтобы покопчить с конкуренцией между двумя фирмами, и не жалею об этом; но не вижу, почему бы во второй раз мне не жениться для собственного удовольствия».

— Позвольте вас поздравить, — сказал я.

— Мне, конечно, будет недоставать моей свободы. Я ее очень ценю. Но нужно думать о будущем. Скажу вам по секрету, мне ведь пошел пятый десяток. Мосье Ашиль сейчас в опасном возрасте: вдруг ему взбредет в голову увлечься двадцатилетней девчонкой, что я тогда буду делать? И о дочке подумать надо. Ей шестнадцать лет, она все хорошеет, вылитый отец. Я дала ей неплохое образование. Но что пользы отрицать факты, когда они так очевидны? У нее нет ни таланта, чтобы стать актрисой, ни темперамента, чтобы стать шлюхой, как ее бедная мать. Так я вас спрашиваю, на что она может рассчитывать? Место секретарши, работа на почте? А мосье Ашиль великодушно согласился, чтобы она жила с нами, и обещал дать за ней хорошее приданое, так что приличное замужество ей обеспечено. Поверьте мне, милый друг, что бы там ни говорили, а для женщины нет лучшей профессии, чем замужество. Раз дело шло о счастье моей дочери, я просто не могла не принять такое предложение, пусть и предстоит поступиться кое-какими радостями (впрочем, с годами они все равно становились бы все менее доступны), потому что, имейте в виду, когда я выйду замуж, я намерена стать жутко добродетельной, — долгий опыт убедил меня в том, что основой счастливого брака может быть только абсолютная верность с обеих сторон.

— В высшей степени нравственная позиция, моя прелесть, — сказал я. — А как мосье Ашиль, будет по-прежнему раз в две недели ездить в Париж по делам?

— О-ля-ля, за кого вы меня принимаете, дружок? Когда мосье Ашиль попросил моей руки, я ему сразу сказала: «Имейте в виду, мой дорогой, когда вы будете ездить в Париж на заседания правления, я буду вас сопровождать. Одного я вас сюда не пущу, так и знайте». А он говорит: «Вы же не воображаете, что я способен на какие-нибудь глупости». «Мосье Ашиль, — сказала я ему, — вы мужчина в расцвете сил, и кому как не мне знать, что у вас очень страстный темперамент. У вас есть все, чем может плениться женщина. Словом, по моему, вам лучше не подвергаться соблазнам». В конце концов он согласился уступить свое место в правлении сыну, теперь тот будет вместо него приезжать в Париж. Мосье Ашиль притворился, что считает мое требование неразумным, но на самом деле он был страшно польщен. —

Сюзанна удовлетворенно вздохнула. — Если бы не безграничное тщеславие мужчин, нам, бедным женщинам, жилось бы еще труднее.

— Все это так, но какое отношение это имеет к вашей персональной выставке у Мейерхейма?

— Мой бедный друг, вы сегодня что-то плохо соображаете. Я же вам годами внушаю, что мосье Ашиль очень умен. Он должен думать о своем положении, а люди в Лилле всегда норовят осудить человека. Мосье Ашиль желает, чтобы я заняла в тамошнем обществе место, подобающее жене столь значительного лица. А вы же знаете этих провинциалов — обожают совать свой длинный нос в чужие дела, они же первым делом спросят: Сюзанна Рувье? А кто она такая? Так вот, ответ им будет готов. Она — та известная художница, чья выставка, состоявшаяся недавно в галерее Мейерхейма, удостоилась таких громких и заслуженных похвал. «Мадам Сюзанна Рувье, вдова офицера колониальной пехоты, с мужеством, характерным для истой француженки, в течение нескольких лет содержала своим талантом себя и свою прелестную дочь, безвременно лишившуюся отцовской заботы, и мы счастливы сообщить, что в скором времени широкая публика получит возможность оценить ее тонкое искусство и уверенную технику в галерее безошибочного знатока мосье Мейерхейма».

— Это что за галиматья? — спросил я.

— Это, мой дорогой, реклама, которую авансом организует мосье Ашиль. Она появится во всех крупных газетах Франции. Он проявил небывалое великодушие. Мейерхейм запросил безбожную цену, но мосье Ашиль согласился, словно речь шла о сущих пустяках. На предварительном просмотре будет шампанское, а откроет выставку сам министр изящных искусств — он кое-чем обязан мосье Ашилю — и произнесет очень красивую речь, в которой будет превозносить мои женские добродетели и художественный талант, а под конец сообщит, что государство, почитающее своим приятным долгом награждать достойных, приобрело одну из моих картин для Национального собрания. Там будет весь Париж, а критиков Мейерхейм взял на себя. Он гарантирует, что их отзывы будут не только благоприятные, но и достаточно длинные. Они, бедняги, так мало зарабатывают, это чистая благотворительность — дать им немножко подработать на столе.

— Все это вы заслужили, дорогая. Вы всегда были большой молодец.

— Et ta soeur, — ответила она, что уже совсем непере- водимо. — Но это еще не все. Мосье Ашиль купил на мое имя виллу в Сен-Рафаэле, на берегу моря, так что в лилльском обществе я займу место не только как известная художница, но и как женщина с капиталом. Через два-три года он удалится от дел, и мы будем жить на Ривьере, как благородные. Пока я буду поглощена искусством, он сможет кататься на лодке и ловить креветок. А теперь я покажу вам мои картины.

Сюзанна занималась живописью уже несколько лет, по очереди подражала манере целого ряда своих любовников и выработала-таки свой собственный стиль. Рисовала она по-прежнему плохо, но чувство цвета у нее заметно развилось. Она показала мне пейзажи, которые написала, когда гостила у своей матери в Анжу, уголки Версальского сада и леса Фонтенбло, уличные сценки, привлекавшие ее внимание в парижских предместьях. Это была живопись воздушная и невещественная, но в ней была прелесть полевого цветка и даже какая-то небрежная грация. Одна картина понравилась мне больше других. и, чтобы сделать приятное Сюзанне, я выразил желание купить ее. Не помню уж, как она называлась, — не то «Поляна в лесу», не то «Белый шарф», я и по сей день этого не выяснил. Я спросил, сколько она стоит, цена оказалась сходная, и я сказал, что возьму ее.

— Вы ангел! — воскликнула Сюзанна. — Вот у меня и почин есть. Конечно, получить ее вы сможете только после выставки, но я прослежу, чтобы в газетах упомянули, что ее купили вы. В конце концов, вам лишняя реклама тоже не повредит. Я рада, что вы выбрали именно эту вещь, я считаю ее одной из своих лучших работ. — Она взяла зеркало и, прищурившись, посмотрела, как картина в нем отражается. — В ней есть шарм, — сказала она, — это уж точно. Взять хотя бы зеленые тона — какие они сочные и вместе с тем нежные! А это белое пятно в центре — подлинная находка. Оно придает композиционное единство всей картине. Да, тут виден талант, что и говорить, настоящий талант.

Я убедился, что она уже перешагнула грань, отделяющую любителей от профессионалов.

— Ну, а теперь, дружок, посплетничали, и хватит. Мне надо работать.

— А мне пора уходить,— сказал я.

— Кстати, где этот бедный Ларри, все там, у краснокожих?

Так непочтительно она имела обыкновение именовать обитателей Страны Господа Бога.

— Насколько я знаю, да.

— Нелегко ему, наверно, там приходится, ведь он такой милый, мягкий. Если верить кино, жизнь там страшная — гангстеры, ковбой, мексиканцы. Правда, как мужчины эти ковбой даже довольно привлекательны. О-ля-ля. Но в Нью-Йорке, говорят, опасно ходить по улицам без револьвера.

Она вышла со мной в переднюю и поцеловала в обе щеки.

— Мы с вами хорошо проводили время. Не поминайте лихом.

VI

Вот и конец моей повести. О Ларри я с тех пор ничего не слышал, да и не ожидал услышать. Поскольку он обычно выполнял свои намерения, вполне возможно, что, вернувшись в Америку, он поступил работать в гараж, а потом водил грузовик, пока не узнал получше родную страну, из которой отлучался на такой долгий срок. А тогда он вполне мог выполнить и свою фантастическую затею — стать шофером такси; правда, то была всего лишь шальная мысль, в шутку брошенная на столик в ночном ресторане, но я не слишком удивился бы, узнав, что он привел ее в исполнение; во всяком случае, садясь в Нью-Йорке в такси, я всякий раз заглядывал в лицо шоферу — а не глянут ли на меня в ответ глубоко посаженные глаза Ларри с затаившейся в них улыбкой? Этого не случилось. Началась война. В авиацию он уже не годился по возрасту, но, возможно, он опять водит грузовик на родине или за морем, а возможно, работает на заводе. Мне хочется думать, что в свободное время он пишет книгу, в которой пытается рассказать обо всем, чему научила его жизнь и чем он хочет поделиться с другими, но если такая книга и начата, конца ей не видно. Время у него, впрочем, есть, ибо прожитые годы не оставили на нем следа и он по-прежнему молод душой и телом.

Он не честолюбив, не гонится за славой; перспектива стать «деятелем» была бы ему глубоко противна; возмож-

но, он и не желает большего, чем жить той жизнью, какую выбрал и просто оставаться самим собой. Он слишком скромен, чтобы ставить себя кому-то в пример, но, возможно, надеется, что несколько мятущихся душ, привлеченных к нему, как бабочки к свету свечи, разделят его веру в то, что подлинное удовлетворение может дать только жизнь духа, и еще — что, следуя кротко и бескорыстно по пути к совершенству, он будет тем самым служить людям не хуже, чем если бы писал книги или проповедовал перед тысячными толпами.

Однако все это домыслы. Сам я «из праха земного»; я могу только восхищаться светлым горением столь исключительного человека, но не могу поставить себя на его место и проникнуть в тайники его души, что мне как будто удавалось иногда с людьми более заурядными. Ларри, как и хотел, растворился — его поглотил тот бурный человеческий конгломерат, то скопище людей, раздираемых противоречивыми интересами, заблудившихся в мировом хаосе, тяготеющих к добру, внешне так уверенных в себе, а внутренне таких растерянных, таких добрых и жестоких, доверчивых и опасливых, скупых и великодушных, которое зовется населением Соединенных Штатов. Мне больше нечего о нем сказать. Я понимаю, как это огорчительно, но что поделаешь. Однако, заканчивая эту книгу с неприятным сознанием, что оставил читателей в неведении, и не зная, как поправить дело, я оглянулся на свое длинное повествование в надежде найти хоть какой-то способ закончить его не столь огорчительно и, к величайшему своему изумлению, убедился, что совершенно неумышленно написал не что иное, как историю со счастливой развязкой. Ведь все мои персонажи, оказывается, обрели то, к чему стремились: Эллиот — доступ в высокие сферы; Изабелла — прочное положение в культурном и деятельном общественном кругу, подкрепленное солидным капиталом; Грэй — постоянное прибыльное дело и к тому же контору, где проводить время от девяти до шести часов; Сюзанна Рувье — уверенность в завтрашнем дне; Софи — смерть, а Ларри — счастье. И пусть надменно брюзжат просвещенные критики: мы-то, читающая публика, все в глубине души любим истории с хорошим концом, так что моя развязка, пожалуй, не так уж и огорчительна.

СОДЕРЖАНИЕ

<i>И. Левидова. Предисловие</i>	5
ПИРОГИ И ПИВО, ИЛИ СКЕЛЕТ В ШКАФУ. Перевод	
<i>А. Иорданского</i>	21
ОСТРИЕ БРИТВЫ. Перевод М. Лорие	
Глава первая	201
Глава вторая	250
Глава третья	290
Глава четвертая	326
Глава пятая	376
Глава шестая	429
Глава седьмая	471

Мозм С.

М 87 Пирог и пиво, или Скелет в шкафу; Острие бритвы: Романы. Пер. с англ./Предисл. И. Левидовой.— М.: Худож. лит., 1981.— с. 499. (Зарубеж. роман XX века)

В книгу вошли два романа известного английского писателя XX века С. Мозма. Первый из них «Пирог и пиво» (1930) своеобразно трактует тему о положении художника в капиталистическом мире, о судьбе тех художников, которые плывут по течению, подчиняясь неписаным законам своего класса и тех, которые против этих законов восстают. Второй роман «Острие бритвы» (1944), в сущности, о том же, но герои его не люди искусства, а рядовые американцы, один из которых, травмированный впечатлениями первой мировой войны, не в силах вернуться к «нормальной жизни» своих соотечественников, а посвящает себя поискам смысла жизни, причин зла.

70304-194

М————— 170-81 4703000000

И (Англ)

028(01)-81

Мюэм Сомерсет

ПИРОГИ И ПИВО, ИЛИ СКЕЛЕТ В ШКАФУ ОСТРИЕ БРИТВЫ

Редактор Н. Будавей

Художественный редактор

И. Сальникова

Технические редакторы

С. Ефимова, В. Кулагина

Корректоры Г. Киселева, О. Наренкова

ИБ № 2038

Сдано в набор 22.10.80. Подписано к печати 15.12.80. Формат $84 \times 108^{1/32}$. Бумага типогр. № 2. Гарнитура «Обыкновенная новая». Высокая печать с ФПФ. 26,25 усл. печ. л. 27,907 уч.-изд. л. Тираж 75 000 экз. Изд. № VI — 260. Зак. № 645.

Цена 3 р. 20 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература», 107882, ГСП, Москва, Б-78. Ново-Басманная, 19
Полиграфкомбинат им. Я. Коласа Госкомиздата БССР, 220827, Минск, Красная, 23.